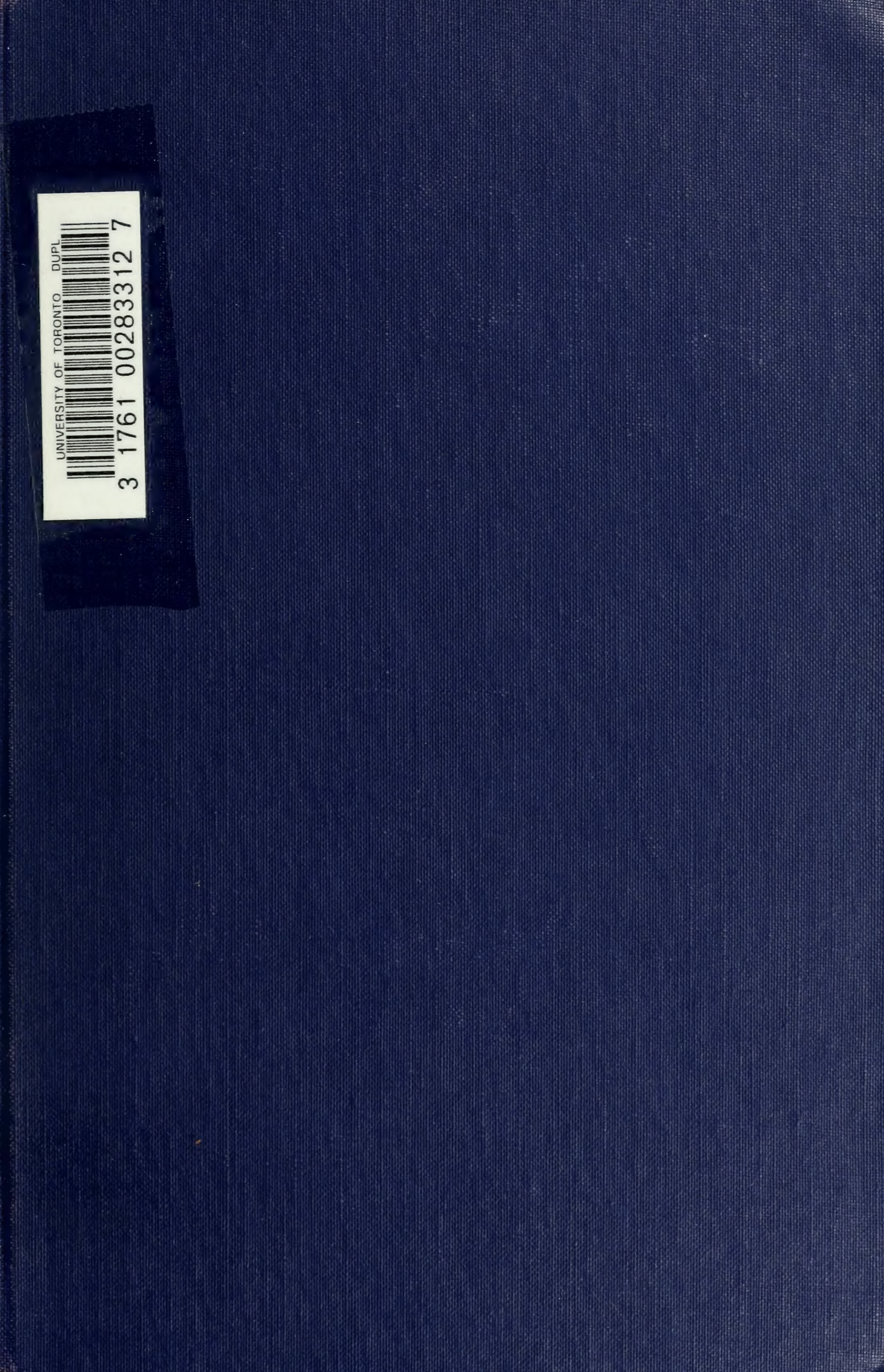

UNIVERSITY OF TORONTO DUPL
3 1761 00283312 7

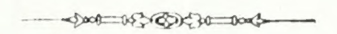
This "O-P Book" Is an Authorized Reprint of the Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography by University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan, 1963

Ив. Ивановъ.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ.

Изданіе журнала „МІРЪ БОЖІЙ".



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1898.

СОДЕРЖАНІЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

стр.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

стр.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

I.

Въ наше время всевозможныхъ «кризисовъ» и «переходныхъ состояній» литературѣ и литературной критикѣ выпала едва ли не самая печальная доля. Нельзя сказать, чтобы область художественнаго слова оскудѣла талантами. Страна, въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ дававшая тонъ европейской культурной работѣ, и на нашихъ глазахъ можетъ гордиться литературной производительностью. Имена французскихъ авторовъ въ концѣ XIX-го вѣка пользуются такою же всемірной славой, какая сопровождала, напримѣръ, дѣятельность первостепенныхъ свѣтилъ прошлаго, въ родѣ Вольтера и его соратниковъ. Нельзя отрицать и дѣйствительнаго таланта у такихъ людей, какъ Золя, Додэ, Монассанъ. Процвѣтаетъ даже поэзія, т. е. ежегодно появляются тучи стихотворныхъ сборниковъ. Невидимому, вполнѣ краснорѣчиво опровергается ходячее мнѣніе, будто нашъ вѣкъ отличается исключительной прозаичностью и зараженъ неизлѣчимымъ матеріализмомъ. Напротивъ, очень энергичная новѣйшая поэтическая школа твердо намѣрена водворить на землѣ до сихъ поръ невиданную красоту, и раскрыть предъ нами небывало-свѣтлыя безграничныя перспективы чистѣйшаго вдохновенія...

То же самое и въ критикѣ. На каждомъ шагу произносятся авторитетнѣйшія имена литературныхъ судей, настоящихъ философовъ въ области искусства. Русскіе читатели не перестаютъ до послѣднихъ дней въ тѣхъ же иноземныхъ книгахъ искать окончательныхъ отвѣтовъ на исконные вопросы эстетики, какъ науки, и непогрѣшимыхъ приговоровъ надъ отдѣльными писателями и произведеніями. Противъ именъ Золя и Монассана съ полнымъ основаніемъ можно поставить имена Тэна и Брандеса и логически заключить о такомъ же процвѣтаніи критики, какимъ пользуется ея предметъ—художественная литература.

«Все обстоитъ благополучно!» могъ бы воскликнуть наблюдатель, окинувъ общимъ взглядомъ современыхъ авторовъ и читателей.

И между тѣмъ, немедленно противъ этого утѣшительнаго вывода послышится протестъ и именно съ той стороны, гдѣ, по только что указаннымъ фактамъ, ему, кажется, совсѣмъ нѣтъ мѣста.

Вы говорите, литература да еще художественная процвѣтаетъ? Жестоко заблуждаетесь. Ея дни сочтены. Если вамъ и попадаются еще страницы, проникнутыя священнымъ огнемъ, это послѣднія сказанія, недопѣтыя пѣсни. Еще, можетъ быть, вы сами услышите ихъ послѣдніе отзвуки и будете присутствовать при безнадежномъ умираніи истиннаго искусства.

Трагическій конецъ неизбѣженъ. Посмотрите, кто въ концѣ нашего вѣка заправляетъ жизнью и является господиномъ во всѣхъ ея областяхъ? Люди, по самой природѣ и особенно по условіямъ своего существованія менѣе всего расположенные къ «искусствамъ творческимъ, прекраснымъ». Это—демократія, провозгласившая неукротимую и безконечную *борьбу интересовъ*, призвавшая всѣ человѣческія силы и способности на поприще политики, исключительно практическихъ стремленій даннаго времени. Это — чернь, горящая жаждой завоевать себѣ первенствующее мѣсто въ государствѣ и обществѣ, и уже на самомъ дѣлѣ занимающая вершины современной цивилизаціи... Развѣ ей нужны поэты, художники, романисты, годами, вдали отъ людской суеты, лелѣющіе чудныя грезы своего творческаго духа и являющіе ихъ міру— будто отдѣланные бриліанты чистѣйшей воды?

Нѣтъ. Широкій путь дѣльцамъ, ораторамъ и особенно журналистамъ, и какой-нибудь заброшенный закоулокъ для горсти чудаковъ, смѣющихъ еще ропотъ лиры предпочитать уличному шуму.

Древній философъ предлагалъ изгнать изъ идеальнаго государства поэтовъ, новѣйшій философъ, блестящій ученый и самъ поэтъ, убѣжденъ, что поэты просто перестанутъ родиться въ грядущемъ царствѣ демократіи. Вопросъ о хлѣбѣ убьетъ слово, и полудикій матеріалистъ Калибанъ до послѣдней пылинки развѣетъ чары благороднаго артиста Просперо.

Таковы идеи Ренана, превосходно развитыя въ одной изъ его философскихъ драмъ.

Идеи не умерли. Ими могли воспользоваться люди совершенно другого характера и направленія, и, пожалуй, еще логичнѣе доказать неминуемую гибель творчества.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ оно можетъ устоять не противъ де-

мократіи, а вообще, противъ поразительно-быстрыхъ успѣховъ положительнаго знанія въ наукѣ и здраваго смысла въ жизни? Искусство живетъ чувствомъ и воображеніемъ. Разсудокъ и простой реальный фактъ—его смертельные враги. Правда, поэтическихъ силъ въ настоящее время еще большой запасъ у всѣхъ культурныхъ народовъ. Человѣчество еще не пережило даже юношескаго возраста, какъ бы подчасъ ни были прозаичны и жестоко-разсудительны отдѣльныя личности. Въ общемъ у людей еще много восторженности и свѣжести, сколько бы ни казалась дѣйствительная жизнь дѣломъ грубымъ и труднымъ, и для поэтовъ—этихъ вѣчныхъ дѣтей—еще не мало наивно впечатлительныхъ любителей *пересозданной* правды.

Но все это не вѣчно. Люди нравственно выростутъ, созрѣютъ умомъ и чувствомъ, и тогда современные, самые трезвые романы покажутся имъ такой же безплодной и смѣшной забавой, какою даже нынѣшніе юноши считаютъ, напримѣръ, сказки и легенды.

Вѣдь когда то чудесныя небылицы были общимъ достояніемъ. Въ нихъ вмѣщалась вся мудрость, всѣ познанія человѣка. До сихъ поръ множество племенъ не знаетъ высшей духовной пищи, кромѣ пѣсни, басни, фантастическаго разсказа. Въ культурныхъ обществахъ не осталось и тѣни этой наклонности.

Можно взять въ примѣръ и другія искусства—танцы, драматическія представленія, пѣніе, музыку. Когда-то, даже среди цивилизованныхъ народовъ и въ эпохи высшаго ихъ развитія, эти удовольствія считались гражданской и религіозной обязанностью. Танцами сопровождались торжественнѣйшія празднества въ честь боговъ и великихъ людей, и театральныя зрѣлища составляли необходимую часть культа. Теперь танцы и даже драматическое искусство утратили свой нравственный смыслъ, сохранились ради услажденія женщинъ, молодыхъ людей и, можетъ быть, скоро превратятся просто въ дѣтское развлеченіе.

Не произойдетъ ли того же самаго и съ литературой? Не станутъ ли искусство и поэзія *атавизмами*, признаками ископаемаго быта? Стихи, напримѣръ, несомнѣнно близки къ полному исчезновенію изъ области серьезной литературы, стихотворецъ въ современной печати почти то же самое, что дѣйствующее лицо интермедіи въ старинной драмѣ: если бы не надо было чѣмъ-нибудь занять публику въ антрактѣ, подобнаго артиста можно бы и не выпускать на сцену... А что же романъ, безраздѣльно владѣющій новой *художественной* публикой,—вы думаете, онъ спасется отъ общаго крушенія?

Врядъ-ли. Присмотритесь къ знаменитѣйшимъ современнымъ романистамъ, ко всей модной и, повидимому, сильнѣйшей литературной школѣ. Вождь ея Золя.

Спросите у него, кто онъ, т. е. какого жанра писатель, онъ не назоветъ себя ни беллетристомъ, ни поэтомъ; онъ—*естествоиспытатель*. Да, и въ самомъ прямомъ буквальномъ смыслѣ слова. Онъ стыдится *искусства*, какъ простой *реторики, словеснаго шума* или *игры на флейтѣ*. Онъ—*экспериментаторъ*, совершенно такой же, какъ Клодъ Бернаръ, только въ другой области. Тотъ изслѣдуетъ физическіе организмы, писатель—нравственные и общественные. Любимыя выраженія Золя о себѣ и о своихъ послѣдователяхъ: анатомы, физіологи, отнюдь не художники и даже не литераторы. Клодъ Бернаръ говоритъ: «экспериментаторъ—судебный слѣдователь природы». «Мы романисты,—спѣшитъ прибавить Золя,—судебные слѣдователи людей и ихъ страстей».

Есть еще нѣсколько опредѣленій писателя новѣйшаго типа: онъ—собиратель документовъ для законодателей и криминалистовъ, т. е. онъ статистикъ, если угодно, прокуроръ, полицейскій чиновникъ или другое должностное лицо, только не наблюдатель въ старомъ смыслѣ слова. Онъ вѣритъ исключительно въ анализъ и не стѣсняется догматами религіи добра и зла. Такъ открыто заявляетъ глава школы и пускаетъ въ ходъ всю энергію стиля и храбрость вождя всякій разъ, когда на пути встрѣчается отголосокъ отжившаго свой вѣкъ искусства, малѣйшій намекъ на вдохновеніе или просто авторское участіе душой и сердцемъ въ изображаемой дѣйствительности.

Вы видите, сами литераторы открещиваются отъ литературнаго званія и бросаются во всѣ области человѣческой дѣятельности за поисками новыхъ, не литераторскихъ—правъ на существованіе. Развѣ это не краснорѣчивое свидѣтельство въ высшей степени оригинальнаго поворота? Развѣ романистъ, во что бы то ни стало желающій *прикрыть* свое дѣло естествознаніемъ или юриспруденціей, не доказываетъ шаткости чисто литературныхъ основъ для болѣе или менѣе достойнаго положенія писателя? Вѣдь Золя совершенно искренно отожествляетъ свои романы съ протоколами и документами, т. е. съ чисто фактическими данными. Онъ счелъ бы себя оскорбленнымъ, если бы вы похвалили его за силу творчества, за *выдумку*, какъ выражался Тургеневъ, высоко цѣнившій даръ художника—наблюденную жизнь претворять въ фактъ своего творческаго духа.

И такъ, уже въ наше время литературѣ, какъ самостоятельному искусству, нѣтъ мѣста. Оно только *форма* для занимательнаго воспроизведенія точныхъ явленій жизни и писатель—лицо страдательное, своего рода одушевленный аппаратъ для воспріятія дѣйствительности и передачи ея публикѣ.

Судьба литературной критики еще печальнѣе, и здѣсь положеніе дѣла даже опредѣленнѣе, чѣмъ въ искусствѣ.

Если демократическій строй современной и особенно грядущей жизни такъ враждебенъ поэзіи, онъ рѣшительно не допускаетъ тщательнаго изученія поэтическихъ произведеній, фатально устраняетъ съ литературной сцены разсужденія эстетическаго и просто историко-литературнаго содержанія. Новое время создало особый видъ литературы—*журналистику*, и вотъ она-то жесточайшій врагъ не только критики, а вообще—вдумчивой безпристрастной мысли.

Власть журналистики появилась на европейскомъ горизонтѣ одновременно съ распаденіемъ стараго аристократическаго и художественно-прекраснаго общества. Революція—ея родоначальникъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе всего столѣтія, она не перестаетъ развиваться съ страшной быстротой и становится единственной царицей публики. Ея жизненный нервъ, смыслъ ея бытія—*фактъ*—непремѣнно новый, пойманный на лету и сообщенный читателямъ, во имя только новизны, безъ всякой заботы о качествѣ и значеніи факта. Печать—это громадная хроника, безконечная вереница *faits divers*, по возможности полное отраженіе чрезвычайно сложной и суетливой современной жизни.

Очевидно, въ этомъ океанѣ все спускается до уровня *факта*, все—предметъ «разныхъ сообщеній»—и парламентская рѣчь, и уличный скандалъ, и театральная пьеса, и книга знаменитаго романиста. И послѣдняя новость, пожалуй, самая несущественная въ ряду другихъ, потому что практическое вліяніе литературныхъ произведеній въ средѣ, дающей тонъ новой жизни, совершенно ничтожно. Здѣсь просто ихъ не читаютъ, за обиліемъ насущныхъ дѣлъ. Преданіе о блестящихъ салонныхъ обществахъ, тратившихъ ежедневно цѣлые часы на восторги и толки по поводу какой-нибудь брошюры Вольтера или пьесы Бомарше, звучатъ для насъ едва вѣроятной сѣдой стариной.

Можетъ ли при такихъ условіяхъ журналистика заниматься критикой? Вѣдь критика непремѣнно выясненіе извѣстныхъ идей, пропаганда ихъ, съ цѣлью прямого воздѣйствія на воззрѣнія и

практическую жизнь читателя. Для этого писатели должны стоять во главѣ умственнаго движенія. Ничего подобнаго нѣтъ въ нашемъ столѣтіи. Политическая рѣчь и финансовый бюллетень гораздо важнѣе для публики, чѣмъ основательнѣйшій разборъ хотя бы даже романа Золя.

Въ результатѣ журналистика свела критику къ нулю, замѣнила ее новостями книжнаго рынка, самое большее выписками изъ выходящихъ книгъ, т. е. на мѣсто эстетики водворился *репортажъ*.

Во Франціи, со смерти Сентъ-Бёва, съ конца шестидесятыхъ годовъ непрестанно раздаются жалобы на безнадежный упадокъ критики: жалуются, конечно, идеалисты, которымъ трудно примириться съ исчезновеніемъ когда-то столь великой общественной силы. Какой-нибудь академикъ, философъ или профессоръ, въ родѣ Ренана, Каро, Лансона, сдѣлаетъ отчаянную вылазку противъ современной литературной язвы, выставитъ съ большимъ эффектомъ изъяны журналистики, ея растлѣвающее вліяніе на писателей и публику,—статья, можетъ быть, прочтется съ интересомъ, — но жизнь не внемлетъ даже самымъ благороднымъ воплямъ! Она тяжелой вѣковой стопой давитъ послѣдніе отпрыски стараго культа и на мѣсто Аполлона неумолимо воздвигаетъ какую-то темную, безформенную массу, именуемую «политикой», «соціальными вопросами» и просто «интересами дня».

И, чтó особенно любопытно, эта замѣна стихійно подчиняетъ даже тѣхъ, кто негодуетъ на врага критическаго искусства.

Тотъ же Золя не уступитъ ни одному академику негодованіемъ на журналистику, пожравшую критику, на *репортеровъ*, устранившихъ всякій литературный трибуналъ. Но чтó же такое собственная дѣятельность Золя, какъ не репортажъ, хотя и болѣе высокаго стиля? Вѣдь онъ, въ качествѣ естествоиспытателя, судебнаго слѣдователя и добросовѣстнаго протоколиста, обязанъ вѣчно гоняться за тѣми же *faits divers*, романъ превращать въ хронику. Брюнетьеръ, можетъ быть, и не правъ, когда вотъ уже нѣсколько лѣтъ всю натуральную школу упорно отождествляетъ съ репортерствомъ и порнографіей, но большая доля истины здѣсь несомнѣнна. Золя съ своими знаменитыми записными книжками, собраніемъ газетныхъ вырѣзокъ, и особенно изъ отдѣла судебныхъ отчетовъ, самый настоящій представитель не литературы, а журналистики. Она — первоисточникъ искусства Золя и питательный нервъ его таланта. Не даромъ же онъ самъ

рекомендуетъ ученымъ и юристамъ изучать его романы, какъ подлинные фактическіе документы.

Можно ли послѣ этого жаловаться на упадокъ критики, если само искусство такъ покорно приспособляется къ всемогущей современной стихіи? Критикѣ оставалось до конца совершить намѣченный путь, и она это сдѣлала, повидимому, окончательно.

II.

Параллельно съ художественнымъ репортажемъ натуральной школы, возникъ еще болѣе откровенный критическій репортажъ критиковъ импрессіонистовъ. Имя популярнѣйшаго изъ нихъ—Леметра—извѣстно и у насъ.

Онъ неоднократно принимался доказывать невозможность критики въ старой формѣ, т. е. съ опредѣленными принципами и взглядами. Ни сужденій, ни приговоровъ въ искусствѣ нѣтъ, существуютъ одни лишь *впечатлѣнія*. Зависятъ они не отъ убѣжденій, вообще не отъ какихъ бы то ни было постоянныхъ и прочныхъ силъ, а исключительно отъ настроенія духа, отъ случайнаго совпаденія разныхъ обстоятельствъ. Ни руководящей идеи, ни опредѣленной цѣли совсѣмъ не требуется для критической статьи. Это—просто занимательная *causerie*, ни къ чему никого не обязывающая. Пришелъ человѣкъ въ общество, садится въ кружокъ, и начинаетъ сообщать, что видѣлъ и слышалъ. Завтра, можетъ быть, онъ совсѣмъ иначе разскажетъ все это... Что же дѣлать! Это будетъ вина его памяти или состоянія его желудка, а вовсе не какихъ-либо нравственныхъ или умственныхъ недочетовъ. О нихъ не можетъ быть даже и вопроса именно въ литературной критикѣ.

Отсюда самая подходящая форма—газетный фельетонъ. Онъ не составитъ дисгармоніи съ прочими *faits divers*, онъ вполнѣ терпимъ въ самой бойкой журнальной лавочкѣ, потому что ни по содержанію, ни по существу ничѣмъ не отличается отъ репортажа. Разница только въ словесной формѣ: репортажъ о явленіяхъ литературы *виртуознѣе*, чѣмъ о городскихъ происшествіяхъ.

И хотите знать настоящую мораль современной эстетики, высказанную знатокомъ дѣла, все тѣмъ же незамѣнимымъ Золя? Его рѣчь, какъ всегда, ясная и откровенная, вполнѣ примѣнима и къ критикѣ.

«Для меня вопросъ таланта является рѣшающимъ въ литературѣ. Я не знаю, что понимаютъ подъ словами писатель нравствен-

ный и писатель безнравственный. Но я очень хорошо знаю, что такое писатель талантливый и писатель бездарный. А разъ у писателя есть талантъ, я считаю, что ему все дозволено. Страница, хорошо написанная, имѣетъ свою собственную нравственность, которая заключается въ красотѣ, въ методѣ, въ энергіи... По моему, непристойными слѣдуетъ считать только тѣ произведенія, которыя дурно задуманы и плохо выполнены».

Ясно до ослѣпительности. *La frase bien tournée* стóитъ какой угодно хорошей мысли. Съ этой точки зрѣнія и излагаются «впечатлѣнія» новыми критиками. Лемэтръ нисколько не задумывается бойкій водевиль предпочесть всей «славянщинѣ», т. е. Достоевскому и гр. Толстому. Для полнаго торжества школы онъ однажды устроилъ своей публикѣ такое зрѣлище.

Ему хотѣлось доказать, что въ литературѣ вовсе нѣтъ ни великаго, ни ничтожнаго въ нравственномъ смыслѣ, а есть только матеріалъ для хорошо отдѣланныхъ фразъ впечатлительнаго фельетониста.

Лемэтръ взялъ нѣсколько пьесъ Ожье и Дюма съ особенно популярными и, казалось, вполнѣ опредѣленными героями, и послѣ впечатлѣній критика злодѣи оказались довольно близкими къ добродѣтели, а хорошіе люди очень недалеко отъ порока. Вышло,—не изъ чего было публикѣ волноваться гнѣвомъ или сочувствіемъ, вообще не имѣлось ни малѣйшихъ основаній точно опредѣлять *нравственную* цѣнность дѣйствующихъ лицъ и смыслъ всего произведенія.

Тотъ же самый результатъ, чтó и у Золя, и вообще у всякаго корректнаго репортера. Какое ему дѣло до внутренняго характера происшествія, было бы оно интересно, какъ новость, а ужъ онъ его распишетъ самыми отборными красками!

Намъ припоминается одно не критическое, а художественное произведеніе Лемэтра, трехактная комедія *Le pardon*. Она чрезвычайно типична для новѣйшихъ направленій и въ искусствѣ, и въ идеяхъ, если только это понятіе умѣстно въ импрессіонизмѣ.

Дѣло идетъ, конечно, о супружеской измѣнѣ. Это роковая тема господствующей школы, но выводы, извлекаемые изъ нея Лемэтромъ, не лишены оригинальности. Мужъ узналъ о преступленіи жены; вопросъ, какъ устроиться дальше? Простить ее немыслимо: грѣхъ не подлежитъ забвенью, разстаться съ ней логичнѣе всего, но автору это кажется слишкомъ избитымъ мотивомъ. Онъ заставляетъ мужа, въ свою очередь, согрѣшить, и тогда, по убѣж-

денію Леметра, нѣтъ препятствій къ новому счастью супруговъ. Пьеса заканчивается *моралью* въ томъ смыслѣ, что мужу жены-измѣнницы непремѣнно слѣдуетъ совершить такое же преступленіе: это самый дѣйствительный путь вновь связать распавшіяся узы.

Вы видите, даже у импрессіонистовъ есть свой *методъ*. Осуществляется онъ, очевидно, при полномъ устраненіи со сцены самаго понятія о человѣческой нравственности и даже о человѣческомъ достоинствѣ. Пьеса написана очень искусно, въ ней всего три дѣйствующихъ лица: своего рода драматическій фокусъ. Его болѣе чѣмъ достаточно для литературной правоспособности и для серьезнаго общественнаго интереса.

Дальше идти некуда. Искусство и критика сами себѣ произнесли приговоръ и даже опредѣлили свое новое положеніе. Искусство признало себя несвоевременнымъ и поспѣшило затушеваться за спиной науки, критика также помирилась съ перспективой самоубійства. Искусство больше не творитъ, не создаетъ изъ частныхъ явленій жизни чего-то новаго, болѣе яркаго и сильнаго, даже болѣе истиннаго и жизненно-полнаго, чѣмъ отдѣльно взятый фактъ. Писатель ограничиваетъ свое честолюбіе, по возможности, точной записью опытовъ и наблюденій, въ сущности только наблюденій, потому что эксперименты естествоиспытателя отожествлять съ какимъ угодно даже самымъ обширнымъ репортажемъ значитъ наивно или преднамѣренно извращать понятія и самые факты. Въ результатѣ, литература, усиливаясь перестать быть искусствомъ, не пристала и никогда не пристанетъ къ наукѣ. Она переживаетъ будто агонію, судорожно хватаясь за совершенно несродный, чуждый ей предметъ спасенія. Она въ положеніи пловца, покинувшаго давно насиженный берегъ и тщетно тоскующаго о пріютѣ на недоступной сторонѣ потока. Погибнетъ этотъ пловецъ въ волнахъ или вернется вспять?

Исконный стражъ литературы—критика, въ настоящее время утратила свою роль, она болѣе чѣмъ равнодушна къ искусству, она не имѣетъ ничего общаго съ самой основой его бытія. Она больше не судитъ и не оцѣниваетъ, она только ощущаетъ и волнуется не въ смыслѣ какихъ-нибудь глубокихъ и сильныхъ чувствъ, а лишь мимолетнаго нервнаго или чувственнаго возбужденія. *C'est un jeu... Je m'amuse*—вотъ девизы критиковъ, буквально ими признанные и неуклонно оправдываемые до послѣдняго дня. Примѣните этотъ *методъ* къ геніальнѣйшимъ произведеніямъ искусства и къ пошлѣйшимъ продуктамъ бульварныхъ парижскихъ

сценъ, вы легко увидите, гдѣ проще *игра* и доступнѣе *забава*. Тамъ именно и будетъ сочувственное «впечатлѣніе» критика.

Мы могли бы не рисовать этихъ печальныхъ картинъ и совершенно пренебречь судьбой литературы не нашей, а заграничной. Вѣдь цѣль наша—русская критика, какое же намъ дѣло до Золя и Лемэтровъ?

Къ сожалѣнію, нѣтъ никакой возможности обойти непріятный вопросъ. Французская литература и особенно критика всегда были и до сихъ поръ остаются первенствующими во всѣхъ литературахъ. Англійскихъ и итальянскихъ критиковъ у насъ не знаютъ даже по именамъ, за самыми скудными исключеніями; на долю Германіи былъ и, повидимому, долго еще будетъ одинъ Лессингъ. Совершенно иное значеніе французовъ.

Многіе изъ нихъ не только читаются, но занимаютъ положеніе классическихъ писателей. Сентъ-Бёвъ не забытъ до настоящаго времени, Тэнъ—чуть ли не общепризнанный авторитетъ, Брандесъ, также насчитывающій у насъ не мало поклонниковъ, самъ называетъ себя ученикомъ только-что названныхъ учителей, даже импрессіонизмъ, въ лицѣ Лемэтра, стяжалъ обширную извѣстность въ нашей періодической печати, и чтобы дополнить картину, приходится упомянуть самого Франциска Сарсэ,—одно изъ курьезнѣйшихъ явленій парижской blague по банальности и культурной ограниченности!..

Это—цѣлый Олимпъ, и нѣтъ основаній разсчитывать, чтобы и *будущее* его населеніе не встрѣтило у насъ такого же пріема. Можетъ быть, долго еще суждено намъ изображать галлерею на всеевропейскихъ спектакляхъ. По крайней мѣрѣ, до сегодня мы все еще проявляемъ высшую температуру даже при сравнительно заурядной игрѣ совсѣмъ не первостепенныхъ артистовъ. Взять хотя бы того же Сарсэ. Въ отечествѣ давно опредѣлили его «преобладающую способность» — судить о литературѣ съ пониманіемъ и чувствомъ лавочниковъ и французскихъ «титулярныхъ совѣтниковъ». Это—фигура комическая и для литературы оскорбительная, чуть ли не единственный фельетонистъ въ Парижѣ, не умѣющій писать хорошимъ французскимъ языкомъ... Но у насъ другое дѣло! Сарсэ—сотрудникъ большой газеты, человѣкъ извѣстный и мы, будто провинціалъ, въ первый разъ попавшій въ столичный театръ, всѣ декораціи находимъ восхитительными и всякую игру неподражаемой. Да, какъ бы странны ни казались эти выраженія о русскихъ чувствахъ по поводу заграничныхъ

авторовъ и модъ, они вполнѣ оправдываются и нашими общественными науками, и нашей литературой—искусствомъ и публицистикой.

Мы не имѣемъ права равнодушно смотрѣть на судьбу несомнѣнно самой блестящей и вліятельной европейской критики. У насъ является совершенно естественная мысль: а что же ждетъ наше художественное творчество и нашу критику? Вѣдь мы—*genus europaeum*, какъ выражался Тургеневъ, и обязаны въ силу законовъ природы пройти *европейскій* путь цивилизаціи. Мы его начали и продолжаемъ. Мало того. На каждомъ нашемъ шагу можно указать самые подлинные слѣды *европеизма* и мы еще до сихъ поръ заботимся о преумноженіи этихъ слѣдовъ, немедленно принимаясь клясться именами день за днемъ возникающихъ на Западѣ знаменитостей.

Спросите у русскаго журналиста, не мечталъ ли онъ въ часы «юемистокловой» безсонницы стать русскимъ Тэномъ, Брандесомъ, даже Сарсэ? Онъ такъ часто съ вѣрноподданнической покорностью подражающій имъ или просто компилирующій ихъ произведенія? И въ устахъ публики несомнѣнно высшей похвалой русскому критику звучало бы заявленіе: это—русскій Сентъ-Бёвъ! И сколько сердецъ сжимается отъ мысли никогда не слышать и не произносить подобныхъ сравненій!..

И вотъ въ отечествѣ Сентъ-Бёвовъ и Тэновъ совершается полный разгромъ критическаго искусства и литературнаго творчества. Бѣдные скиоы не останавливаются и предъ этой перспективой. «Репортажъ и порнографія» быстро водворяются на русской почвѣ, въ еще болѣе грубыхъ формахъ, чѣмъ на Западѣ, потому что Золя все-таки крупный литературный талантъ, а Мопассанъ, можетъ быть, даровитѣйшій писатель всѣхъ новѣйшихъ западныхъ литературъ. Скиоы мчатся и дальше: будто по психопатическому воздѣйствію они усердствуютъ на поприщѣ декаданса и символизма... Короче, нѣтъ ни одной прихоти міровой столицы, ни одного даже временнаго припадка среди парижскихъ скучающихъ лицедѣевъ или просто литературныхъ промышленниковъ, ничего, что бы немедленно не пріѣхало къ намъ на пароходѣ.

И мы, слѣдовательно, должны ждать импрессіонизма? Сойдутъ со сцены писатели стараго типа, и на смѣну имъ придетъ поколѣніе репортеровъ всевозможныхъ спеціальностей. Ихъ грядущее царство уже чувствуется,—даже больше: къ нимъ пристаютъ старики, трусливо и угодливо поддѣлываясь подъ тонъ *новаго* слова..

Не выходитъ ли въ результатѣ, — писать при такихъ условіяхъ исторію русской критики, значитъ становиться въ положеніе римскихъ историковъ и моралистовъ эпохи упадка. Въ сущности, пожалуй, хуже.

III.

У старыхъ писателей, приходившихъ въ отчаяніе отъ современныхъ пороковъ и забвенія античной доблести, была искренняя вѣра въ душеспасительное слово. Когда Ливій разсказывалъ о древнихъ республиканцахъ, а Тацитъ изображалъ идеальные нравы дикихъ германцевъ, оба историка разсчитывали подѣйствовать своими повѣствованіями на растлѣнныхъ современниковъ, вызвать у нихъ соревнованіе, пробудить совѣсть и снова на классической почвѣ великихъ подвиговъ создать Муціевъ и Цинциннатовъ.

Да, такъ думали и даже откровенно заявляли историки. Съ ними была согласна и публика. Исторія всѣми считалась благодарнѣйшимъ источникомъ *примѣровъ* и нравственно-просвѣщающаго краснорѣчія. Мы не знаемъ, на сколько практически оказалась плодотворной эта идея: вѣроятно, весьма недостаточно. Но для насъ любопытны чувства писателей, ихъ завидная вѣра въ великую силу своего труда.

У насъ не мыслимо ничего подобнаго. Иному читателю показалось бы прямо забавнымъ, если бы мы пригласили его брать примѣръ съ какого-нибудь Надеждина, Полевого, Бѣлинскаго и стали разсказывать объ ихъ дѣятельности, въ надеждѣ исправить литературные нравы и вкусы публики. Что было, того не будетъ вновь, — могли бы отвѣтить намъ. И совершенно справедливо. Плохъ тотъ народъ и безпомощна его литература, если приходится искать спасенія и руководительства въ прошломъ, если въ лицѣ Бѣлинскихъ, какъ бы они талантливы ни были, національная мысль сказала свое послѣднее слово—ума и энергіи.

Нѣтъ. Мы не имѣемъ въ виду никакихъ поученій. Наша цѣль неизмѣримо серьезнѣе и труднѣе. Мы стремимся не къ внушенію, а логикѣ, желаемъ въ прошломъ отыскать не мораль, а законъ историческаго развитія нашей литературы. Мы прослѣдимъ его безъ всякаго вмѣшательства гражданскихъ чувствъ и публицистическихъ настроеній.

Это заявленіе можетъ показаться чрезвычайно притязательнымъ и даже, пожалуй, двусмысленнымъ. Именно русская критика—это извѣстно рѣшительно всякому читателю—до такой сте-

пени переполнена публицистикой и гражданскими мотивами, что разсказывать ея исторію и остаться свободнымъ какъ разъ отъ ея самыхъ сильныхъ и жизненныхъ стихій —задача неразрѣшимая. Голосъ партіи, личнаго сочувствія заговоритъ непремѣнно, и особенно у историка, начавшаго свою работу какъ разъ гражданскими сѣтованіями и явнымъ критическимъ недовольствомъ.

Да, конечно, сочувствіе и противоположное настроеніе неизбѣжны вообще во всякомъ историческомъ разсказѣ. Мы твердо убѣждены,—объективная, будто чистое искусство — цѣломудренная исторія, врядъ ли осуществима. До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, всѣ громогласныя заявленія историковъ достигнуть безпристрастія и *безличія* натуралистовъ въ научной работѣ кончались не только полной неудачей, а приводили даже къ совершенно противоположной практикѣ, напримѣръ, у Тэна. Желаніе болѣе достойнаго и даровитаго представителя исторической науки Ранке «погасить свое *я*», чтобы видѣть вещи въ ихъ чистой, ничѣмъ незаслоненной формѣ, идетъ въ разрѣзъ съ основными качествами историка. Именно, разносторонность и отзывчивость личности, первыя условія яснаго и глубокаго пониманія дѣйствительности. А потомъ, такое самоотреченіе психологически невозможно, если только у повѣствователя о чужихъ мысляхъ и дѣлахъ существуетъ какое-либо свое опредѣленное міросозерцаніе и живой интересъ, хотя бы только къ цивилизаціи и къ человѣческому прогрессу вообще.

Мы, слѣдовательно, даже и помышлять не можемъ объ оцѣнкѣ русскихъ критиковъ «по методу натуралистовъ». Мы сознаемся въ полной своей неспособности разсматривать даже самыхъ мелкихъ дѣятелей общественной мысли, будто растенія и организмы. Насъ, какъ и всякаго историка, связываетъ неразрывная нравственная связь со всѣми существами нашей породы, и древній писатель правъ, видя самый прочный залогъ славы великихъ благодѣтелей человѣчества въ существованіи этой связи. Люди отдаленнѣйшихъ поколѣній могутъ протянуть руку Сократу, какъ близкому другу, и если бы они не почувствовали желанія сдѣлать это, ихъ съ полнымъ правомъ можно было бы обвинить въ одномъ изъ самыхъ отвратительныхъ пороковъ. Такихъ Сократовъ знаетъ и наша исторія и мы не надѣемся впасть въ великій грѣхъ неблагодарности.

Но въ началѣ работы насъ занимаетъ не отношеніе къ отдѣльнымъ личностямъ, не та или другая оцѣнка фактовъ и людей.

а самый смыслъ нашей исторіи. Онъ, конечно, также лишенъ платоническаго характера, не представляется намъ въ формѣ чисто-литературнаго упражненія. Напротивъ, желаніе открыть его подсказано самыми повелительными, на нашъ взглядъ, интересами русскаго художественнаго творчества и русской критической мысли въ настоящемъ и будущемъ. Наблюдая новѣйшій поворотъ въ развитіи западной литературы, русскій читатель какъ нельзя болѣе естественно можетъ задаться вопросомъ: какое же положеніе займетъ русское искусство среди явныхъ признаковъ упадка и разложенія одной изъ самыхъ блестящихъ европейскихъ литературъ? Не дѣйствуютъ ли и въ его исторіи тѣ самыя силы, какія привели французскихъ писателей къ натурализму, импрессіонизму и символизму? Вопросы эти тѣмъ настоятельнѣе, что отголоски названныхъ теченій нашли у насъ сочувственный пріемъ и съ новой силой пробудили исконный недугъ русскаго человѣка— проявить возможно точную переимчивость и безупречную подражательность. Что это—неизбѣжный симптомъ въ поступательномъ движеніи нашей литературы, такая же *исторически необходимая* форма, какъ и на Западѣ, или мимолетное и болѣзненное отклоненіе съ исконнаго прямого пути?

Отвѣтъ, повидимому, съ самаго начала возможенъ вполнѣ опредѣленный: наша литература—растеніе пересадочное. Изъ этой идеи Бѣлинскаго прямое слѣдствіе: законность совпаденія нашихъ литературныхъ явленій съ европейскими, т. е. водвореніе натурализма и символизма въ творчествѣ, импрессіонизма въ критикѣ. А если не импрессіонизма, по крайней мѣрѣ системъ Тэна, Сентъ-Бёва или эклектической критики въ лицѣ Брандеса.

Но именно этотъ логическій и даже въ дѣйствительности осуществляющійся выводъ, по нашему убѣжденію, является величайшимъ недоразумѣніемъ, какое только возможно въ обобщеніяхъ историческаго и культурнаго содержанія. Мы—*genus europaeum*, мы—ученики Европы и въ наукѣ, и въ искусствѣ; эти положенія вполнѣ правильны. Но мы не даромъ прожили около семи вѣковъ внѣ западной цивилизаціи. При самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ культурнаго развитія, народъ, обладающій запасомъ нравственныхъ силъ, непремѣнно выработаетъ извѣстный оригинальный складъ натуры, создастъ *свою* почву для будущихъ общечеловѣческихъ сѣмянъ.

Что такая натура и почва существуютъ у русскаго народа— это простой труизмъ. Иностранцы, напримѣръ, даже увѣрены, будто

именно русскій типъ менѣе всего способенъ сглаживаться и ассимилироваться при какихъ бы то ни было внѣшнихъ воздѣйствіяхъ. Для истины *въ такой* формѣ не требуется нашихъ доказательствъ. Но вопросъ получаетъ совершенно другое направленіе, перенесенный въ область литературы.

Въ послѣднее время наши писатели стяжали обширную извѣстность на Западѣ, особенно во Франціи. Вы полагаете, потому что за ними единодушно признана невѣдомая западному человѣку оригинальность творчества и міросозерцанія? Вовсе нѣтъ.

Одновременно съ распространеніемъ въ публикѣ сочиненій Тургенева, Толстого, Достоевскаго поднялся оглушительный вопль критиковъ. Они, подобно мольеровскому герою, принялись кричать: *Au voleur! Au voleur*, т. е. откровенно уличали нашихъ романистовъ въ плагіатѣ изъ ихъ же французскихъ авторовъ. А что не плагіатъ, то сплошная нелѣпость, «славянщина» или утомительно скучная, или просто безсмысленная. Прочтите статьи Леметра, Сарсэ, Вогюэ о произведеніяхъ, какія у насъ считаются славой русской литературы, вы, пожалуй, устыдитесь быть соотечественниками такихъ двусмысленныхъ компиляторовъ. *Преступленіе и наказаніе*, напримѣръ, просто глава изъ похожденій Лекока, весь Тургеневъ—ученикъ Бальзака. Правда, Тургеневъ заявлялъ о своемъ отвращеніи именно къ этому французскому романисту, но это только вѣчная человѣческая неблагодарность! Можно ли представить, чтобы у русскихъ вчерашнихъ и даже еще сегодняшнихъ варваровъ было что-нибудь свое въ мысляхъ или въ воображеніи! Русская *оригинальность* или пережитки средневѣковаго варварства, или иллюзія читателей, слишкомъ падкихъ на модныя увлеченія чужимъ, не-французскимъ.

И припомните презрительные отзывы Зоя о гр. Толстомъ, вліятельнѣйшихъ современныхъ критиковъ объ Островскомъ, негодующія страницы Гонкура о *денаціонализаціи* и одичаніи французовъ подъ вліяніемъ «московитскихъ» сочувствій, познакомьтесь съ высокомѣрными снисходительными настроеніями «друзей» Тургенева, вы, при извѣстной впечатлительности и обычной русской довѣрчивости къ западнымъ авторитетамъ, невольно задумаетесь надъ участью нашихъ бѣдныхъ великихъ людей! Если первостепенные писатели являются у насъ только популяризаторами Флобера, Жоржъ Зандъ, Бальзака, чего же ждать отъ менѣе сильныхъ, вообще отъ настоящаго и будущаго нашей литературы?..

Мы рѣшаемся утверждать нѣчто совершенно обратное неиз-

бѣжному отвѣту на этотъ вопросъ. Мы намѣрены доказать, что русская и французская литература *два совершенно различныхъ типа* въ исторіи мірового творчества, и здѣсь французская должна быть понимаема какъ *представительница* вообще западно-европейскихъ литературъ.

Въ культурной основѣ русскаго истинно-художественнаго слова и въ психологическомъ складѣ русскаго писателя выразился совершенно своеобразный характеръ творческаго генія, столь же мало похожій по своей *внутренней сущности* на французскій, какъ, напримѣръ, русская народная пѣсня на испанскую серенаду или провансальскій романсъ.

У Достоевскаго или Тургенева, несомнѣнно, можно встрѣтить не мало идей и мотивовъ, напоминающихъ романы Гюго и Жоржъ Зандъ, но здѣсь столько же французскаго, сколько у всякаго культурнаго человѣка—общечеловѣческой цивилизаціи, будь онъ парижанинъ или японецъ. Въ области общихъ идей терпимости, свободы, демократизма все человѣчество *genus europaeum* точно такъ же, какъ въ общихъ законахъ логическаго мышленія вся зоологическая порода, homo sapiens—нѣчто цѣльное и единое. Но общіе принципы мысли и основныя цѣли нравственнаго и общественнаго развитія не мѣшаютъ великому разнообразію *выводовъ* и *путей*. И именно въ этомъ разнообразіи и заключается высшее достоинство человѣческой природы и залогъ наиболѣе полнаго и гармоническаго развитія цивилизаціи.

Гюго раньше Достоевскаго написалъ *Les Misérables*, слѣдовательно, былъ предшественникомъ русскаго писателя въ защитѣ униженныхъ и оскорбленныхъ; онъ также раньше его воспѣлъ душу и даже нравственныя совершенства «падшихъ ангеловъ», слѣдовательно, предвосхитилъ драму и идиллію Сони. Такъ именно и полагаютъ французскіе критики, и—трудно рѣшить, чего больше здѣсь, прискорбной наивности или смѣшного національнаго самообольщенія?

Поставьте рядомъ хотя бы Маріонъ Делормъ и ту же Соню, Рюи Блаза и Мармеладова, вамъ немедленно самая мысль о какомъ бы то ни было заимствованіи покажется нестерпимо дикой, невѣроятной. До такой степени одна и та же общая нравственная идея можетъ быть выражена въ совершенно различныхъ художественныхъ образахъ и такъ могутъ расходиться пути, ведущіе къ одной и той же цѣли!

Подобныя сопоставленія можно бы распространить до безко-

нечности, и вездѣ насъ поразитъ ослѣпительная разница художественныхъ пріемовъ у русскихъ и западныхъ писателей, разница именно тамъ, гдѣ культурная и нравственная основа образа или мотива тождественна. Очевидно, предъ нами двѣ необычайно глубокихъ разновидности творческой психологіи, приведшія не только къ несходнымъ результатамъ, но создавшія для себя почти противоположные пути историческаго развитія. Исторія русской литературы тамъ, гдѣ предъ нами дѣйствительно національная литература не имѣетъ ничего общаго съ исторіей европейскихъ литературъ, ни по фактамъ, ни по внутреннему смыслу.

Можетъ показаться, мы настаиваемъ на очень простомъ и общеизвѣстномъ фактѣ. Къ сожалѣнію, нѣтъ. Основная оригинальная черта именно историческаго хода нашего искусства до сихъ поръ не раскрыта и не оцѣнена. Принято думать, русская литература своего рода энциклопедія европейскихъ литературъ, наше творчество—складъ чужихъ вѣковыхъ богатствъ. Не даромъ самое передовое и плодотворное теченіе нашей общественной мысли именуется *западничествомъ*. Въ статьяхъ о Писемскомъ мы доказывали, какъ, въ сущности, мало было западнаго въ русскомъ западничествѣ, мало какъ разъ въ его практическихъ, освободительныхъ вліяніяхъ. Теперь мы намѣрены возможно ярче и полнѣй выставить на видъ основную и для насъ руководящую истину: русская художественная литература и, слѣдовательно, критика—явленія совершенно самобытныя въ кругу другихъ литературъ и неизмѣримо болѣе оригинальныя, чѣмъ, напримѣръ, та же французская литература по сравненію съ итальянской и англійской, нѣмецкая параллельно съ французской, и, въ свою очередь, англійская литература XIX-го вѣка рядомъ съ французскимъ романтизмомъ и натурализмомъ.

Понятіемъ самобытности мы пользуемся безъ всякихъ нарочитыхъ чувствъ. Мы не намѣрены проникаться никакими «національными» настроеніями: подобныя настроенія не имѣютъ ни малѣйшей цѣны, если они только лиризмъ и чувство. Если же культурные результаты русскаго творчества дѣйствительно *исторически* оригинальны и сильны своей собственной силой, тогда нѣтъ необходимости ни въ какихъ восклицательныхъ знакахъ. А если этой силы на самомъ дѣлѣ не имѣется, тогда ничего не можетъ быть жалче и недостойнѣе взвинченнаго національнаго самолюбія и самохвальства. Мы думаемъ, *въ области художественной и критической литературы* мы совершенно спокойно имѣемъ право раз-

считывать на краснорѣчіе *фактовъ*, а не *словъ*, и предоставить исторіи и логикѣ защищать нашу «любовь къ отечеству» и даже «національную гордость» Весь нашъ интересъ сосредоточенъ исключительно на культурномъ вопросѣ, и мы представимъ общую картину литературнаго прогресса—европейскаго и русскаго, съ единственной цѣлью—утвердить исходныя точки нашего изслѣдованія историческихъ судебъ русской критики и возможныхъ заключеній на счетъ ея будущаго. Мы возьмемъ французскую литературу, какъ самую типичную и самую вліятельную до послѣднихъ дней. Нашъ обзоръ приведетъ насъ къ вѣрному пониманію современнаго положенія искусства и критики на родинѣ нашихъ исконныхъ учителей, безъ всякихъ усиленныхъ освѣщеній оттѣнитъ все, что заключается оригинальнаго въ сравнительно кратковременномъ развитіи нашей литературы и намѣтитъ исторически-убѣдительную цѣль ея дальнѣйшихъ путей.

IV.

Надъ Франціей пронеслось множество политическихъ бурь, на литературной сценѣ смѣнились ряды героевъ и вереница самыхъ разнообразныхъ зрѣлищъ, но одинъ герой остается до сихъ поръ незамѣнимымъ и одно зрѣлище продолжаетъ блистать вѣковой неувядаемой красотой. Этотъ герой—*классицизмъ* съ его поэтами, просто писателями и даже религіозными проповѣдниками. Расинъ,—это «французская религія», по выраженію современнаго критика. Боссюэ,—совершеннѣйшій артистъ классическаго стиля, того «благороднаго» эффекта звучныхъ фразъ, предъ какимъ французская нація будетъ замирать, вѣроятно, до конца своихъ дней. Даже импрессіонизмъ, ловя лишь летящій часъ и изнывая по пестротѣ и возможно быстрой смѣнѣ впечатлѣній, отдалъ честь классицизму,—Леметръ пріостановилъ головокружительный полетъ своего пера ради геніальности того же Расина. Очевидно, классицизмъ—высоко-національное дѣтище французскаго генія, и «классическій вкусъ» исполненъ такого же обаянія для современнаго республиканскаго партера, какое повергало въ восторгъ «ученыхъ дамъ» временъ Мольера.

Это фактъ въ высшей степени поучительный въ психологическомъ и культурномъ смыслѣ Онъ показываетъ, до какой степени классическій духъ, l'esprit classique, утвердился въ сознаніи французовъ и какъ глубоко проникъ въ ихъ художественные инстинкты. Дѣйствительно, вся литература французовъ отъ эпохи

Ришелье до нашихъ дней *классична*, т. е. развивается неизмѣнно въ предѣлахъ заранѣе опредѣленной *школы, системы*, подчиняется твердо установленнымъ *формуламъ*. Каждый вліятельный и даровитый французскій писатель или членъ оффиціальной академіи или основатель своей собственной, онъ или подданный уже сложившейся «литературной республики», или законодатель новой. Безъ кодекса нѣтъ искусства, безъ формулы немыслимо геніальное произведеніе, безъ авторитета незаконна авторская слава. Всѣ эти положенія съ неуклонной послѣдовательностью оправдываются всѣми періодами французской литературы.

Появленіе классицизма возвѣщалось самыми краснорѣчивыми знаменіями. Первая книга, положившая основу безсмертной теоріи, объявляла, что хорошій вкусъ въ искусствѣ немыслимъ безъ двухъ условій: безъ вмѣшательства кружка друзей въ творчество писателя и безъ правительственной опеки. Авторъ книги Дюбелле, ученый и вліятельный, писалъ: «Я хотѣлъ бы, чтобы всѣ короли и принцы, любители родного языка, запретили строгимъ указомъ своимъ подданнымъ выпускать въ свѣтъ, а типографщикамъ печатать какое бы то ни было сочиненіе, не выдержавшее предварительно редакціи ученаго мужа».

Эти слова оказались одновременно и программой, и пророчествомъ. Въ нихъ заключается зародышъ будущей академіи и правительственныхъ воздѣйствій, при посредствѣ ученыхъ мужей, на литературу и писателей. Книга Дюбелле относится къ началу XVI-го вѣка. За ней слѣдовалъ длинный рядъ эстетическихъ законодательныхъ уложеній. Французы съ необычайнымъ усердіемъ принялись изобрѣтать и отыскивать въ древней и средневѣковой литературѣ принципы для «редакціи» поэтическихъ произведеній. Въ интересахъ системы и формулъ былъ перетолкованъ и распространенъ Аристотель, создана знаменитая теорія трехъ единствъ, совершенно невѣдомая античному философу, и къ началу XVII-го вѣка окончательно установилась классическая школа, а немного спустя возникъ и неусыпный стражъ эстетическаго законодательства,—академія.

Это центральные факты не только французской литературы, а вообще національной психологіи и культурнаго прогресса одной изъ важнѣйшихъ міровыхъ націй. Художественное творчество по заранѣе даннымъ формуламъ и съ одобренія руководящаго авторитета,—въ этомъ положеніи вся сущность французскаго генія поэзіи и критики.

*

До какой степени она близка національному духу, существуетъ внѣ времени и случайныхъ вліяній какой бы то ни было эпохи, доказываетъ изумительная готовность даровитѣйшихъ писателей войти въ извѣстную, строго опредѣленную колею и вложить свой талантъ въ общепризнанныя рамки.

Академія съ первыхъ же лѣтъ становится настоящимъ инквизиціоннымъ судилищемъ въ вопросахъ литературы. Она возникла изъ частнаго кружка писателей, конечно, друзей между собой и естественныхъ враговъ всякаго, кто не желалъ признавать «совѣщаній» этого трибунала. Ришелье оставалось только воспользоваться уже готовымъ началомъ и создать своего рода верховную литературную коммиссію.

Ея неограниченная власть немедленно была признана и даже воспѣта въ стихахъ и прозѣ бездарными педантами-рифмоплетами, подручными кардинала, и такими талантами, какъ Расинъ и Корнель. Авторъ *Сида* вздумалъ сначала сыграть въ оппозицію, правда, очень скромную, въ сущности даже не въ оппозицію, а въ легкую фронду молодого и уже знаменитаго писателя. Корнель оказался слишкомъ французомъ, чтобы пойти противъ классической піитики, напротивъ, постарался оправдать ее на совершенно неподходящемъ сюжетѣ. Вотъ этотъ-то сюжетъ, испанская драма, и явился оппозиціей кардиналу, какъ министру, ненавидѣвшему всякое напоминаніе объ Испаніи немедленно послѣ жестокой борьбы съ этой страной. Все остальное обстояло благополучно, и академія всего однимъ распоряженіемъ привела къ порядку безпокойнаго поэта. Воцарился истинный деспотизмъ сорока «безсмертныхъ» надъ французской поэзіей и, слѣдовательно, надъ всей европейской литературой, по крайней мѣрѣ, на два вѣка. Въ нашемъ отечествѣ еще Грибоѣдову и Пушкину придется считаться съ отголосками французскаго академическаго педантизма, еще *Горе отъ ума* будетъ подвергаться уничтожающей критикѣ со стороны просвѣщеннѣйшихъ друзей поэта, на основаніи *Поэтическаго искусства* Буало, и даже въ автора *Ревизора* время отъ времени будутъ летѣть камни классическаго происхожденія.

Трудно оцѣнить все *культурное* вліяніе французской академіи на искусство и даже на нравственный міръ писателей. Оно отнюдь не менѣе значительно и *національно*, чѣмъ французская монархія. Одинъ изъ даровитѣйшихъ политическихъ писателей и историковъ начала XIX-го вѣка, обозрѣвая многообразную смѣну государственныхъ формъ во Франціи, высказалъ мысль: наши республики—

монархіи, въ которыхъ временно свободенъ тронъ. Остроумный публицистъ безъ особенныхъ затрудненій могъ прослѣдить живучесть *монархическаго духа* въ самыя, повидимому, «свободныя» эпохи. То же самое еще легче можно бы сдѣлать и относительно *классическаго духа.* Формы будутъ мѣняться, иногда даже безпощадно отрицать одна другую, но самая сущность литературныхъ направленій тожественна отъ Буало до Золя.

Теоретикъ XVII-го вѣка въ стихахъ изложилъ законы классическаго искусства. Основной принципъ его въ высшей степени любопытенъ: Буало разъ навсегда оригинальное поэтическое вдохновеніе объявилъ *folie*, безуміемъ, и потребовалъ отъ авторовъ точнаго повиновенія «игу разума». На его языкѣ разумъ звучалъ естественностью, правдой, вообще самыми, повидимому, основательными понятіями, но въ дѣйствительности сводился къ цѣлому ряду совершенно условныхъ формулъ, подсказанныхъ *классическимъ вкусомъ.* Главнѣйшія заключались въ правилахъ «строгой благопристойности»—*l'étroite bienséance*, въ аристократической чопорности стиля, въ размѣренной, строго обдуманной гармоніи жестовъ, въ безукоризненной салонной тонкости поступковъ. *Поэзія* для Буало совершенно тожественна съ *разумомъ*, т. е. съ логическими построеніями неуклонно послѣдовательнаго разсудка. Поэтъ ничѣмъ не отличается отъ оратора, и Расинъ, даже по поводу Федры, одержимой, надо думать, самой жгучей и безразсудной любовью, могъ гордиться, что на сценѣ показалъ нѣчто въ высшей степени *разумное, raisonnable.*

Классикъ не могъ и думать увлечься свободной, прихотливой игрой воображенія, прислушаться къ голосу сердца и дать мѣсто вдохновеннымъ образамъ и прочувствованнымъ рѣчамъ въ поэмѣ или на драматической сценѣ.

Это было немыслимо не только подъ давленіемъ литературной теоріи: публика XVII-го вѣка, т. е. высшее аристократическое общество не допускало ни свободы, ни сердца. Античные герои наравнѣ съ Оронтами и Акастами воплощали непремѣнно салонъ, дворъ, со всей ихъ красивой ложью и поддѣльной красотой. Та же расиновская Федра, щеголяя самой разумной страстью, не могла, по образцу своей древней предшественницы, эврипидовской героини, лично оклеветать Ипполита предъ его отцомъ и своимъ мужемъ. Эту обязанность выполняетъ служанка и наперсница Энона, и поэтъ вполнѣ основательно объясняетъ, почему.

«Клевета, — разсуждаетъ онъ, — заключаетъ въ себѣ нѣчто

слишкомъ темное и низкое, чтобы вложить ее въ уста принцессы». Подобная низость «болѣе свойственна кормилицѣ, которая могла питать болѣе рабскія наклонности».

Это значитъ, человѣкъ высшаго сословія благороденъ и нравствененъ въ силу своего происхожденія. Корнель только за принцами и вельможами признаетъ способность «обладать добродѣтелью съ ея мельчайшими практическими результатами». Для классиковъ народъ—*la racaille*, «животное, неспособное распознавать хорошія произведенія», «низкая толпа», и судьба литературы была бы «очень странной», если бы писатели вздумали нравиться «животному, неспособному ни на что хорошее».

Это слишкомъ рѣзкій, мало классическій стиль, но и самые величественные поэты, въ родѣ Корнеля, выражаются не иначе, какъ *le peuple stupide—безсмысленный народъ*.

Даже Мольеръ, остроумно издѣвавшійся надъ педантами и «смѣшными маркизами», не одинъ разъ принимался защищать исключительную чистоту и литературность придворнаго вкуса. Очевидно, автору комедій можно было усомниться въ «разумѣ» трагической схолистики, но аристократическій принципъ изящнаго оставался недосягаемымъ.

Таково первое дѣтище французскаго художественнаго генія, самый ранній плодъ академическаго надзора за Парнассомъ. Можно не придавать рѣшающаго значенія аристократизму классиковъ и считать его общественнымъ и политическимъ признакомъ времени. Слѣдуетъ только помнить какое воздѣйствіе обнаружилъ этотъ принципъ на искусство, на художественные и психологическіе пріемы поэтовъ, на идеи и формулы критиковъ.

Такъ какъ все человѣчество, кромѣ высокорожденнаго меньшинства было признано недостойнымъ предметомъ для господствующаго поэтическаго жанра, неминуемо, конечно, опредѣлился въ извѣстномъ направленіи драматическій строй пьесъ и характеристика дѣйствующихъ лицъ. И то, и другое одинаково безпощадно было вдвинуто въ рамки салонныхъ приличій, и подчинено эстетической формулѣ. Оба принципа шли рядомъ и какъ нельзя болѣе совпадали. Бѣдность, безличіе, удручающее однообразіе аристократическихъ будней и аристократическаго нравственнаго міра вполнѣ могли довольствоваться чистой риторикой монологовъ и сценами, лишенными всякаго дѣйствія. Неронъ, Цезарь, Александръ низведены до уровня галантныхъ любовниковъ, ихъ исторіи и эпохи подогнаны подъ мѣрку салоннаго этикета, и всѣ герои

могли въ теченіе всѣхъ пяти актовъ упражняться въ тожественныхъ краснорѣчивыхъ изліяніяхъ и ни на одну минуту не проявить *своей* подлинной индивидуальности.

Отсюда, едва ли не величайшіе два изъяна классицизма—полное пренебреженіе къ исторической перспективѣ и крайнее упрощеніе человѣческой психологіи. Французская трагедія, перебравшая почти всѣ эпохи и всѣхъ героевъ древности и среднихъ вѣковъ, воспроизводившая самыя отчаянныя коллизіи любовной страсти, въ родѣ противоестественныхъ увлеченій и потрясающихъ семейныхъ злодѣйствъ, не представила ни одного дѣйствительно историческаго лица и не раскрыла ни одной тайны нашей души. Это совершенно фантастическая дѣйствительность подъ покровомъ извѣстныхъ именъ и событій, и первобытный анализъ въ уборѣ крикливыхъ эффектныхъ фразъ. Это, однимъ словомъ, полная противоположность шекспировской поэзіи, неистощимой въ оригинальныхъ мѣстныхъ и историческихъ краскахъ, всецѣло построенной на изученіи *исторіи* и *личности*, а не приспособленной ко вкусамъ и нравамъ экзотическаго, одноцвѣтнаго, хотя и блестящаго общества одной эпохи.

Всѣ эти идеи и факты классицизма отнюдь не мимолетныя явленія, не достоянія одного вѣка, они духъ и плоть *всей* французской литературы. Въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ мы будемъ наблюдать два по существу однородныя теченія: или классицизмъ вновь пріобрѣтаетъ власть надъ писателями и публикой, въ своихъ подлинныхъ формахъ, или писатели усиливаются создать *отрицательный моментъ* для классицизма, найти ему совершенный *контрастъ* и установить господство этого контраста исконными *классическими* средствами, т. е. путемъ формулъ, системы, литературной школы и, слѣдовательно, неофиціальной академіи. Но непремѣнно какой-нибудь академіи, все того же вѣчнаго «кружка друзей» и «редакціи ученыхъ».

Ясно, сущность культурная и психологическая нисколько не мѣняется, царитъ ли извѣстная система съ ея точными принципами, или на мѣсто ея становится другая съ совершенно обратными идеями. Творчество по прежнему ничего не пріобрѣтаетъ ни въ правдѣ, ни въ свободѣ. Нетерпимая формула вызываетъ столь же нетерпимую оппозицію и находитъ себѣ преемницу въ не менѣе рѣшительной такой же формулѣ. Классицизмъ требовалъ строгой, *узкой* благопристойности, во что бы то ни стало втискивалъ въ три единства и въ правила хорошаго вкуса какую угодно

«не благопристойную» исторію, т. е. отъ начала до конца оставался совершенно равнодушнымъ къ дѣйствительности и къ оригинальнымъ стремленіямъ творческаго таланта.

Контрастъ этому деспотизму будетъ проповѣдь крайняго художественнаго реализма, непремѣнно крайняго, потому, что борьба всегда пропорціональна силѣ сопротивленія. Если классикъ не признаетъ никого, кромѣ принцевъ, романтикъ на такой же пьедесталъ возведетъ какъ разъ «безсмысленное стадо», низшіе слои народа. Классикъ говоритъ и ходитъ, будто произноситъ привѣтствіе на королевской аудіенціи и танцуетъ на балу у ея величества; романтикъ потребуетъ не свободы, а разнузданности въ рѣчахъ, вплоть до нарушенія правилъ грамматики, и заставитъ своихъ героевъ уже не ходить, а прыгать, бѣгать «опрометью», говорить «съ пламенѣющими щеками», стоять «будто пораженнымъ громомъ» и вообще походить на «сумасшедшихъ». Таковы подлинныя ремарки самыхъ искреннихъ враговъ классицизма.

Очевидно, это будетъ тоже система и, если угодно, въ своемъ родѣ также классическая, по своей прирожденной ненависти къ простотѣ, къ жизненному реализму, къ глубокой разносторонней психологіи. Классицизмъ Расина и Буало въ полномъ смыслѣ явленіе роковое. Оно, конечно, не могло бы возникнуть, если бы не коренилось въ самыхъ нѣдрахъ французскаго національнаго духа, не могло бы создать геніальнѣйшихъ произведеній искусства—на взглядъ даже современныхъ французовъ. И мы должны логически придти къ заключенію: *классическій духъ* -- подлинный выразитель французскаго творческаго генія, и онъ въ теченіе вѣковъ не измѣнилъ ни своей сущности, ни своего вліянія на литературу: онъ по прежнему система и школа, и менѣе всего — жизнь и вдохновеніе.

Это немедленно обнаружилось въ первую же *эпоху протеста*. Подъ ударами просвѣтительной мысли пали главнѣйшія основы стараго общественнаго строя — феодализмъ, католичество, даже вѣковая королевская власть, но классицизмъ только подновилъ свой внѣшній обликъ, и то далеко не во всѣхъ главнѣйшихъ произведеніяхъ вѣка.

V.

Зданіе классицизма, какъ искусства, начинало колебаться въ эпоху, повидимому, самаго пышнаго разцвѣта. Насмѣшки Мольера надъ трагической напыщенностью и отвлеченнымъ ге-

роизмомъ являлись зловѣщимъ признакомъ. Крайне бѣдный запасъ драматическихъ эффектовъ и худосочная психологія классической трагедіи быстро истощились. Уже ближайшимъ преемникамъ Расина пришлось прибѣгать къ самымъ неправдоподобнымъ вымысламъ и хитросплетеннымъ романическимъ интригамъ. Кребильонъ, признанный наслѣдникъ великихъ классиковъ ранняго поколѣнія, переполнилъ свою сцену всевозможными ужасами и противоестественными преступленіями. Трагедія снизошла до школьнаго упражненія въ реторикѣ, и даже Вольтеръ, считавшійся самымъ свѣдущимъ историкомъ въ теченіе XVIII-го вѣка, способствовалъ разложенію классицизма какъ разъ своими «историческими пьесами». Онѣ еще болѣе, чѣмъ трагедіи Расина, лишены реальнаго историческаго содержанія и представляютъ сцену для необузданной игры воображенія въ характерахъ и фактахъ.

Естественно, живой мертвецъ вызвалъ не мало охотниковъ докончить агонію. Возникла такъ-называемая *мѣщанская драма*, совершенно порвавшая съ аристократизмомъ трагедіи, ея стихотворной формой и даже съ единствами. Не всѣмъ было легко отказаться отъ этого наслѣдства «великаго вѣка» Людовика XIV, и именно Вольтеръ оказался самымъ упорнымъ консерваторомъ въ области художественной критики. Онъ сдѣлалъ нѣсколько уступокъ вкусамъ новой общественной и политической силы—буржуазіи, но это не мѣшало ему колебаться между старымъ и новымъ направленіемъ до конца дней.

Нашлись болѣе отважные преобразователи, и первое мѣсто среди нихъ принадлежитъ Мерсье, краснорѣчивому критику, плодовитому драматургу, позже мужественному дѣятелю революціи.

Идеи Мерсье необычайно богаты и разносторонни. Онъ можетъ быть названъ предшественникомъ двухъ главнѣйшихъ литературныхъ школъ XIX-го вѣка — романтизма и натурализма. Насъ не должны смущать воспоминанія о жестокой междоусобной войнѣ этихъ направленій. Мы увидимъ, война, при всемъ шумѣ, касалась отнюдь не существенныхъ вопросовъ, не имѣла въ виду и даже не могла—создать новыхъ основъ искусства и критики. Въ романтизмѣ таилось множество сѣмянъ натуральнаго романа, и впослѣдствіи натурализмъ буквально повторилъ теоретическія и художественныя увлеченія своего врага. Снова повторяемъ, это общая судьба всѣхъ французскихъ литературныхъ теченій, какъ бы они на первый взглядъ ни разнились по цвѣту и направленію. Это своего рода круговое движеніе въ фатально ограниченныхъ предѣлахъ.

Мерсье воплощаетъ искреннѣйшую и послѣдовательную оппозицію классицизму, какъ теоріи и какъ искусству. На этомъ пути онъ во многомъ расходится съ энциклопедистами. Онъ совершенно не способенъ идти на какія бы то ни было сдѣлки съ основами стараго порядка, онъ исповѣдуетъ демократическій символъ вѣры безъ всякихъ оговорокъ въ идеяхъ и безъ малѣйшей уступчивости на практикѣ. Онъ не посѣщаетъ философскихъ салоновъ, не стремится просвѣщать знатныхъ дамъ и угождать ихъ утонченному вкусу и малому развитію, приспособляя новыя идеи къ старымъ формамъ трагедіи, посланія, или просто легкой болтовни. У него свой кружокъ писателей, исключительно занятыхъ вопросомъ о народѣ и о чисто-демократической литературѣ. Естественно, Мерсье представилъ самый полный и энергическій протестъ противъ идейнаго и художественнаго содержанія старой литературы.

Прежде всего Мерсье романтикъ по своимъ эстетическимъ восторгамъ и по своему представленію о роли поэта. Онъ первый изъ французскихъ писателей классическимъ трагикамъ противоставилъ Шекспира,—пріемъ, усвоенный впослѣдствіи нѣмецкими и французскими романтиками. Мерсье восхваляетъ народность и реализмъ шекспировскаго творчества, французскіе классики въ его глазахъ ничтожные риѳмачи, *petits rimailleurs*, поглощенные одной лишь заботой о «благопристойности». И нѣтъ сомнѣнія, Мерсье понималъ Шекспира неизмѣримо лучше, чѣмъ современные французскіе критики, и не могъ, конечно, допустить мысли о грубѣйшихъ выходкахъ Вольтера противъ «пьянаго дикаря».

Столь же романтическая идея—и характеристика поэта-трибуна, политическаго и даже соціальнаго дѣятеля въ прямомъ смыслѣ слова. Поэтъ-классикъ—забавникъ богачей и знатныхъ, теперь онъ явится защитникомъ несчастныхъ, ораторомъ угнетенныхъ, точнымъ воспроизводителемъ не красивыхъ пустяковъ тунеяднаго салоннаго общества, а подлинной дѣйствительности народнаго быта. Ни одна сцена у новаго драматическаго писателя не будетъ сочинена ради празднаго времяпрепровожденія: все будетъ проповѣдью и воплощеніемъ жизненной правды.

Но именно изъ демократическаго принципа и вытекаетъ вполнѣ послѣдовательно другая, не романтическая теорія искусства. Если вы хотите дѣйствовать на публику правдивымъ воспроизведеніемъ народной жизни, вы неминуемо придете къ реализму, и вопросъ, гдѣ вы съумѣете остановиться на этомъ пути. Судьба угнетенныхъ и несчастныхъ часто принимаетъ такія въ дѣйствительности вполнѣ

реальныя формы, что на сценѣ или въ романѣ она окажется самымъ *натуралистическимъ* мотивомъ, можетъ произвести впечатлѣніе преднамѣренно мрачнаго вымысла.

Основатели мѣщанской драмы съ Дидро во главѣ впервые произнесли великое слово *реализмъ*, но оно, по неотвратимымъ условіямъ эпохи, сейчасъ же стало орудіемъ борьбы и, притомъ, самой безпощадной и нетерпимой. Классическая ложь въ искусствѣ и рабскіе инстинкты въ идеалахъ естественно должны были вызвать не менѣе *революціонныя* чувства, чѣмъ злоупотребленія въ области политики, напримѣръ, феодализмъ и католичество. И такъ какъ старая школа художественную красоту превратила въ жеманство и искусственныя прикрасы, новая ту же красоту бросилась искать на противоположномъ полюсѣ, въ отрицаніи самой красоты. У Мерсье впервые начинаетъ звучать знаменитое изреченіе романтиковъ: «отвратительное прекрасно», и, слѣдовательно, впервые полагается основаніе натурализму самаго крайняго направленія. Въ результатѣ получится формула и составится система, повидимому, уничтожающія классическій духъ, но на самомъ дѣлѣ воспроизводящія его во всей полнотѣ только на изнанку. Теорію натурализма можно цѣликомъ найти въ разсужденіяхъ Мерсье, только и помышлявшаго искоренить наслѣдіе классическихъ риомачей. Подчасъ Мерсье идетъ даже дальше Золя, потому что, кромѣ художественнаго фанатизма, имъ руководитъ еще и общественный протестъ.

Мерсье, конечно, требуетъ этнографически точнаго воспроизведенія на сценѣ народной жизни; герои-крестьяне должны являться въ своемъ будничномъ платьѣ, говорить своимъ грубымъ языкомъ, не щадя ни вкуса, ни взоровъ культурной публики. Всѣ подробности ихъ бѣдственнаго существованія будутъ раскрыты въ живыхъ драматическихъ сценахъ. Писатель примется искать сюжетовъ всюду, гдѣ особенно много фактовъ человѣческой несправедливости и всевозможнаго извращенія нравственныхъ законовъ. Онъ особенно внимательно воспользуется судебной хроникой, и безъ всякаго смягченія выведетъ на всеобщій позоръ людей-чудовищъ. Онъ пойдетъ дальше, проникнетъ въ тюрьмы, въ дома умалишенныхъ, и свои наблюденія также добросовѣстно сообщитъ публикѣ. Правда, картины эти могутъ вызвать у зрителей чувство ужаса но именно такія впечатлѣнія и должны испытывать счастливцы и богачи, не знающіе темныхъ сторонъ жизни. Мерсье готовъ на дилемму—или приводить читателей въ содроганіе, или заставить ихъ не читать его произведеній.

Критикъ не ограничивался теоріей. Его драмы—тѣ же протоколы и документы, обстоятельное изложеніе судебнаго процесса чередуется съ подробнымъ докладомъ о положеніи, напримѣръ, рабочаго класса, о качествѣ продуктовъ, спускаемыхъ торговцами бѣднякамъ за дешевую цѣну. Декоративная обстановка сценъ у Мерсье нисколько не уступаетъ натуральнымъ драмамъ новѣйшаго происхожденія по основательности и откровенности.

Увлеченія Мерсье вызвали въ свое время насмѣшки, и, замѣчательно, сатиру на теоріи стараго драматурга можно безъ всякихъ поправокъ отнести на счетъ современныхъ золаистовъ. Тотъ же «репортажъ» съ заранѣе опредѣленной цѣлью набрать возможно больше исключительно мрачныхъ происшествій и героевъ, тотъ же фанатизмъ въ мелочахъ и разныхъ спеціальныхъ данныхъ, то же, наконецъ, забвеніе правды и жизни ради отвлеченно поставленной задачи.

И не слѣдуетъ думать, будто Мерсье единственный въ своемъ родѣ ослѣпленный гонитель классицизма. Дидро, болѣе умѣренный и художественно чуткій, впадаетъ въ такія же крайности. Также возмущенный классической благопристойностью, онъ заставляетъ своихъ героевъ волноваться самыми глубокими чувствами и проявлять ихъ на сценѣ. Всѣ они изливаютъ «потокъ чувствъ», *un torent des sentiments*. Такъ выражается одинъ изъ нихъ; авторъ, съ своей стороны, употребляетъ чисто романтическія ремарки, въ родѣ *en sanglotant, en pleurant*, рядомъ, одновременно, и исполнителю, пожалуй, трудно было выполнить въ точности подобное указаніе— *рыдать* и *плакать*.

Восемнадцатый вѣкъ только первый опытъ борьбы противъ классицизма, и мы уже видимъ почти всѣ главныя идеи будущихъ школъ. Не достаетъ только рѣзкихъ словесныхъ формулъ для этихъ идей, но системы несомнѣнно намѣчены вполнѣ точно. Классическимъ законамъ противоставлены романтическіе и натуральные, и новый кодексъ, подобно своему предшественнику, налагаетъ руку одинаково и на талантъ писателя, и на предметъ искусства. Поэту нѣтъ безусловной свободы вдохновенія, а дѣйствительности нѣтъ безконтрольнаго доступа въ литературу. Новый поэтъ не долженъ упускать изъ виду основной задачи покончить съ классицизмомъ и съ его «благопристойностью». Цѣли этой можно бы достигнуть, просто отбросивъ въ сторону старый педантизмъ и искренне и свободно приблизившись къ самой жизни. Но французскій геній не можетъ допустить подобнаго беззаконія, надъ

нимъ паритъ неистребимый духъ классицизма, и протестъ быстро формулируется въ новую теорію искусства, и съ этихъ поръ личное вдохновеніе такое же «безуміе», какъ и при классицизмѣ. Отсюда подавляющее изобиліе эстетическихъ разсужденій въ литературѣ XVIII-го вѣка. Свободнѣйшая, повидимому, эпоха въ каждомъ писателѣ находитъ законодателя и всѣ драматурги сначала пишутъ свои теоріи словесности—въ видѣ предисловій, а потомъ уже пьесы. Этотъ любопытный фактъ бросается въ глаза при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ чьими угодно сочиненіями Дидро, Вольтера, Мерсье, Бомарше и ихъ безчисленныхъ послѣдователей. Совершенно такъ поступали и классики — Корнель и Расинъ, никогда не пропуская случая посвятить публику въ свою «систему».

Французскій поэтъ будто страшится недоразумѣнія или оскорбительнаго равнодушія публики, если онъ не объяснитъ ей *разсудочныхъ* побужденій своего творчества. Такой-же политикѣ будутъ слѣдовать Гюго и Золя, и достаточно этого закона въ исторіи французской литературы, чтобы оцѣнить своеобразные пути ея развитія.

Они неизмѣнно отправляются отъ системъ и формулъ. Для нихъ личность автора и правда жизни несравненно менѣе важные принципы искусства, чѣмъ строгое соблюденіе «законовъ». Такъ именно будетъ выражаться самый «бурный геній» французскаго романтизма—Гюго. И мы, ознакомившись съ классицизмомъ и оппозиціей писателей XVIII-го вѣка, знаемъ сущность всѣхъ руководящихъ эстетическихъ идей вплоть до нашего времени.

Эта оппозиція была такъ же прервана ходомъ событій, какъ и политическія и всякія другія мечтанія просвѣтителей. Терроръ положилъ конецъ надеждамъ на идеальное и беспрепятственное преобразованіе стараго строя, и быстро привелъ къ бонапартовской имперіи. Наполеонъ, оставаясь корсиканцемъ и Тимуромъ новаго времени, былъ возстановителемъ дореволюціоннаго государственнаго порядка, на сколько его уму вообще были доступны идеи и факты гражданскаго и политическаго характера.

Естественно, возникновеніе новыхъ титуловъ, изобрѣтеніе новаго хитрѣйшаго придворнаго этикета, вообще необыкновенно точное воспроизведеніе *политической* комедіи мѣщанина во дворянствѣ, повлекло и обновленіе классицизма. Со сцены снова зазвучали имена античныхъ героевъ, напыщенные, трескучіе монологи, пустопорожностью содержанія далеко оставлявшіе за собой даже упражненія старыхъ классиковъ.

Послѣдніе отголоски просвѣтительной мысли и романтизма XVIII-го вѣка пріютились въ сочиненіяхъ г-жи Сталь, и здѣсь яростно преслѣдовались новѣйшими академическими блюстителями литературнаго порядка, усердными соревнователями Шатлэновъ и Буало.

Но все равно, какъ полицейскому и казарменному правленію Наполеона далеко до историческихъ основъ старой монархіи, и никакому бонапартизму немыслимо было сравняться съ наслѣдственной, хотя и выродившейся властью бурбоновъ, такъ и новоявленнымъ классикамъ пришлось сыграть только интермедію въ вѣковомъ спектаклѣ французской литературы, на время занять мѣсто настоящихъ артистовъ. Все равно, какъ природа, одаривъ Бонапарта большими военными талантами, до послѣдней степени обидѣла его по части истинно-человѣческаго благородства и царственнаго великодушія, такъ и его «собственные» литераторы при самомъ мучительномъ усердіи проявляли удручающую бездарность и старались взять отвагой и совершеннымъ забвеніемъ литературности въ литературѣ.

Реставрація, смѣнившая имперію, легла, по остроумному выраженію современниковъ, на бонапартовское ложе, т. е. старалась сохранить монархическое наслѣдство Наполеона, и, по возможности, вернуться къ временамъ «красныхъ каблуковъ». Разсчеты—самые легкомысленные и дерзкіе, и они даже въ теоріи грозили неминуемой гибелью ископаемымъ политикамъ и философамъ.

Вся исторія реставраціи наполнена неукротимой борьбой либерализма съ «замогильными выходцами», какъ именовали злые языки вернувшихся въ Парижъ эмигрантовъ, спутниковъ и подданныхъ Бурбоновъ въ дореволюціонномъ смыслѣ. Борьба привела къ рѣшительному низверженію династіи, іюльская революція покончила въ политикѣ со всѣми вожделѣніями феодаловъ и правовѣрныхъ католиковъ.

Этому перевороту на общественной сценѣ соотвѣтствовало появленіе необыкновенно шумной и запальчивой литературной школы—романтизма. Глава ея прямо отожествлялъ свою роль въ искусствѣ съ перемѣнами въ области политики: романтизмъ, говорилъ онъ, то же самое въ поэзіи, что либерализмъ въ парламентѣ. Онъ могъ бы сказать еще яснѣе: именно политическій либерализмъ, окончательная, повидимому, [illegible] конституціонныхъ порядковъ надъ пережитками старой мон[illegible]тили Гюго, бывшаго монархиста, въ демократа—и вполнѣ послѣдовательно—въ литературнаго

революціонера. Судьба искусства и теперь, какъ въ эпоху классицизма и просвѣщенія, неразрывно примыкала къ политической исторіи и новая теорія будетъ такъ же строго сообразоваться съ цѣлями новаго оппозиціоннаго теченія въ обществѣ, какъ раньше мѣщанская драма знаменовала наступающее торжество третьяго сословія. Мы можемъ сказать больше: романтизмъ Гюго былъ ни болѣе, ни менѣе, какъ той самой истиной, чьи разсѣянные лучи давно блистали въ страстныхъ рѣчахъ Мерсье.

VI.

Гюго приступилъ къ основанію новаго направленія съ безпримѣрнымъ эффектомъ. Появленіе на сцену романтизма готовится въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, слышится сначала будто отдаленный шумъ приближающейся арміи, въ воздухѣ пахнетъ порохомъ, кое гдѣ на горизонтѣ мелькаютъ отдѣльные застрѣльщики... Все это происходитъ еще при реставраціи, и только въ самомъ концѣ ея, наканунѣ революціи, появляется приснопамятный *манифестъ*—предисловіе къ драмѣ *Кромвель*.

Гюго къ этому времени уже глава и вождь. Въ его квартирѣ основалась настоящая революціонная академія, тѣсно сплоченный кружокъ поэтовъ и критиковъ. Они пойдутъ за своимъ полководцемъ на жизнь и на смерть. Иначе вѣдь нельзя. Безъ кружка, безъ салона, безъ академіи немыслима литературная школа,—все равно, будетъ это гостиная титулованнаго мецената и оффиціальный храмъ безсмертія, или мансарда демократическаго трибуна, и сборище студентовъ и художниковъ. Гюго даетъ новое эстетическое уложеніе, его единомышленники станутъ защищать его искусство и его теорію совершенно тѣми же средствами, какъ это дѣлалось принцами и учеными дамами во времена Расина. Только защита будетъ гораздо шумнѣе и запальчивѣе, какъ и подобаетъ демократическому вѣку.

Что же такое романтизмъ Гюго?

Поэтъ и его друзья провозглашали свободу, либерализмъ, заявляли принципъ самаго неограниченнаго художественнаго творчества: «что существуетъ въ природѣ, то и въ искусствѣ». На сцену снова выступилъ Шекспиръ, какъ богъ-покровитель новой литературы. Классическая схоластика втаптывалась въ грязь и классиковъ даже не удостоивали сколько-нибудь приличнаго надгробнаго слова: до такой степени они казались презрѣнными! Объ академіи нечего и говорить. Она сама почувствовала своего врага

и такіе либеральные политики, какъ Тьеръ, не могли отыскать у Гюго всего *четырехъ* стиховъ хотя бы только посредственныхъ. Очевидно, сраженіе происходило вполнѣ серьезное и противъ академіи съ исторической давностью выросла другая съ самыми необузданными надеждами на будущее.

Пылъ борьбы еще ярче сказывался въ публикѣ и критикѣ. Даже парламентъ послѣднихъ лѣтъ реставраціи не видѣлъ такихъ схватокъ, какія происходили на представленіяхъ драмъ Гюго. Это своего рода *Иліада* и *Одиссея* вмѣстѣ: столько романтикамъ потребовалось битвъ и столько всевозможныхъ приключеній по пути къ торжеству литературнаго либерализма! Въ театръ отряжались цѣлыя полчища молодежи, изобрѣтались особые костюмы—по возможности эксцентричные, часто партіи достигали совершенно воинственнаго азарта и въ публикѣ ходили слухи даже о готовящихся насиліяхъ и преступленіяхъ противъ личностей. Гюго могъ впослѣдствіи съ гордостью вспоминать объ этомъ періодѣ: еще ни одинъ поэтъ не приблизилъ до такой степени поприще искусства къ полю сраженія и не умѣлъ поднять столько страстей въ честь литературныхъ вопросовъ—и притомъ въ одну изъ самыхъ живыхъ политическихъ эпохъ. И все-таки,—въ результатѣ трагическій спектакль выходилъ по существу старой комедіей «много шуму изъ ничего».

Манифестъ Гюго, повидимому, самый основательный трактатъ о поэзіи новаго времени. Авторъ начинаетъ съ исторіи,—затѣмъ, чтобы придти къ теоріи,—разбираетъ факты прошлаго, чтобы построить зданіе будущаго. Путь — совершенно логическій. Но посмотрите, какъ его совершаетъ французскій эстетикъ!

Мы знаемъ, классики съумѣли привязать къ античной драмѣ неизвѣстную даже Аристотелю теорію единствъ, т. е. по своему формулировали одно изъ самыхъ свободныхъ произведеній поэтическаго генія и живое эллинское творчество замѣнили педантическими фокусами. То же самое совершаетъ и Гюго въ историческомъ обзорѣ литературы. Для него, какъ и для классиковъ, полнота и подлинность фактовъ не имѣютъ никакого значенія. Онъ стремится къ заранѣе намѣченной системѣ, и не обозрѣваетъ фактовъ, а подбираетъ ихъ, не объясняетъ, а перетолковываетъ. Тогда истинно-классическій, теперь романтическій пріемъ, позже станетъ научнымъ, натуралистическимъ въ рукахъ Тэна и этотъ послѣдній представитель *классическаго духа* даже откровенно признаетъ, что иначе нельзя и поступать съ критикою.

Исторія поэзіи, какъ она изложена у Гюго, удивительно напоминаетъ пресловутую классификацію фактовъ у Тэна. Оба автора безъ всякой пощады уродуютъ дѣйствительность, преспокойно вычеркивая изъ нея все для себя неудобное. Такъ, Гюго—первобытную поэзію считаетъ *лирической*, хотя библейскій разсказъ не подходитъ подъ этотъ жанръ. Дальше, новая поэзія непремѣнно будто бы *драматическая*, между тѣмъ какъ Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ имѣютъ, вѣроятно, нѣкоторыя права считаться драматургами. Автору требовалась стройная лѣстница формулъ и онъ быстро поднялся до вершины, не примѣтивъ самыхъ краснорѣчивыхъ препятствій.

Тоже и въ характеристикѣ романтизма. Новая школа должна ввести въ искусство *смѣшное* — le grotesque. Оно должно создать типъ красоты, будто бы невѣдомый древнимъ. Античные поэты, по представленію Гюго, занимались исключительно только возвышеннымъ, героическимъ проявленіемъ красоты и не знали контраста. Опять всякому легко припомнить Терсита изъ *Иліады*, Ира изъ *Одиссеи*—дѣйствующихъ лицъ, менѣе всего героическихъ и составляющихъ несомнѣнную противоположность настоящимъ «богоподобнымъ» и «богоравнымъ» героямъ въ родѣ Ахиллеса и Гектора.

Гюго могъ бы пойти дальше и изучить по тому же Гомеру удивительное разнообразіе психологіи именно въ тѣхъ образахъ, которые кажутся особенно цѣльными и *одноцвѣтными*. Онъ могъ бы оцѣнить способность Ахиллеса—первостепеннаго воителя грековъ—тосковать, проливать слезы и музыкой лиры заглушать боль оскорбленнаго сердца. Другой—такой же доблестный витязь—Гекторъ вдохновляетъ поэта на одну изъ трогательнѣйшихъ сценъ во всей европейской поэзіи—прощанія съ женой и сыномъ.

Греки жили слишкомъ полной и свободной жизнью, были одарены слишкомъ глубокимъ и естественнымъ даромъ творчества, чтобы ихъ поэзію можно было заключить въ какую-нибудь отвлеченную схему. Умъ французскаго критика, воспитанный на фанатической систематизаціи искусства, внесъ тотъ же духъ и въ чужую литературу, и въ свою собственную школу.

Онъ могъ быть правъ, возмущаясь психологической безпомощностью французскихъ классиковъ. Расины и Корнели умѣли воплощать только одну страсть, т. е. и человѣческую природу сводили къ единообразію и строжайшему формализму. Гюго имѣлъ всѣ основанія протестовать и, какъ истый французскій преобразователь, немедленно впалъ въ противоположную крайность.

Герои классиковъ — простыя отвлеченія, герои романтиковъ будутъ соединеніе непримиримыхъ контрастовъ, Кромвель явится и шутомъ, и злодѣемъ, въ другихъ драмахъ станутъ чередоваться мотивы гротеска съ самыми грандіозными рѣчами и сценами. Но такъ какъ все это будетъ взято не изъ дѣйствительности, создано не на основаніи наблюденій и свободнаго творческаго процесса, а путемъ разсудка, съ цѣлью удовлетворить теоріи, въ результатѣ и романтикъ не больше классиковъ приблизится къ дѣйствительно-человѣческой жизни и психологіи.

Всѣ эти Кромвели, Рюи Блазы такія же выдуманныя фигуры и странныя явленія, какъ и прежніе Нероны и Александры. Пожалуй, даже въ новыхъ герояхъ еще меньше индивидуальности, чѣмъ въ старыхъ: романтикъ задается извѣстнымъ политическимъ принципомъ и олицетворяетъ въ дѣйствующихъ лицахъ тѣ или другія общественныя идеи. Такъ, Рюи Блазъ долженъ представлять народъ, донъ-Саллюстій и донъ-Цезарь—дворянство въ эпоху государственнаго упадка. У романтика быстро сложатся такія же психологическія формулы, какъ и у классиковъ. Маріонъ Делормъ — чисто идеальное понятіе въ поэзіи Гюго, такое же, какимъ для Расина была *вообще* принцесса, дама знатной породы. О развитіи характеровъ не можетъ быть и рѣчи. Они появляются готовыми на сцену, опять-таки по классическому обычаю, и весь драматизмъ заключается въ эпизодахъ и сценическихъ положеніяхъ. Контрасты чередуются совершенно механически, распредѣлены по извѣстному надуманному плану.

Въ результатѣ, мы сколько угодно можемъ униваться благородными идеями поэта и необыкновенно доблестными героями; его драмы столь же далеки отъ художественной жизненной правды и столь же мало имѣютъ общаго съ анализомъ человѣческой души, какъ и всякія риторическія упражненія на заранѣе поставленныя темы.

А между тѣмъ, Гюго для своей теоріи требовалъ *безусловнаго* господства въ литературѣ и на сценѣ. Онъ искренне считалъ себя обладателемъ непогрѣшимой окончательной истины, т. е. всеобъемлющей формулы. Въ искусствѣ, говорилъ онъ, не должно быть ни этикета, ни анархіи, а *законы*. Но поэтъ забылъ, что слово этикетъ само по себѣ вовсе не такое тлетворное, и *законы* могутъ создать условія, не менѣе стѣснительныя, чѣмъ какой угодно этикетъ. У классиковъ былъ аристократическій тонъ, у романтиковъ могутъ явиться не менѣе обязательныя правила демократическаго

поведенія. Зло не въ направленіи поэзіи, а именно въ томъ фактѣ, что сами поэты не могутъ представить искусство безъ спеціальнаго надзора—не за общественными идеалами литературы, а *за пріемами* творчества. Они никакъ не могутъ дорости до мысли: пусть всякій, кто одаренъ художественнымъ талантомъ, по своему воспроизводитъ жизнь и изучаетъ душу. Нѣтъ. Если ты хочешь быть передовымъ авторомъ, ты обязанъ непремѣнно въ самыхъ яркихъ краскахъ изображать *гротескъ*, потому что ты протестуешь этимъ противъ классическаго этикета. Потомъ, въ человѣческомъ нравственномъ мірѣ ты долженъ открыть страшную смуту страстей, настоящій хаосъ настроеній и отмѣтить ихъ такими ремарками: *глаза воспламеняются* или *погруженъ въ ангельское созерцаніе* (*absorbé dans une contemplation angélique*)... И все это опять затѣмъ, чтобы наповалъ сразить благопристойное однообразіе противниковъ.

Естественно, романтикъ, подобно своимъ учителямъ прошлаго вѣка, прямымъ путемъ дойдетъ до натурализма. «Да здравствуетъ природа, грубая и дикая—*brute et sauvage*!» — воскликнутъ ученики Гюго, и романтическая идея о значеніи *отвратительнаго* въ искусствѣ цѣликомъ перейдетъ въ противоположный лагерь.

Золя въ теченіе многихъ лѣтъ будетъ вести необыкновенно шумную войну съ риторами и музыкантами, т. е. съ послѣдователями Гюго. Но по существу обѣ стороны на почвѣ искусства отлично могли бы примириться. Золя такой же романтикъ, только безъ принципіальныхъ задачъ политическаго содержанія: натурализмъ—безъидейный, негражданскій романтизмъ, а романтизмъ — общественно-тенденціозный натурализмъ. Эти опредѣленія будутъ самыми вѣрными.

Правда, Золя прибавитъ нѣчто уже совсѣмъ новое въ смыслѣ современнаго прогресса: онъ введетъ *научность* въ свою грубую и дикую природу. Съ нимъ рядомъ явится критикъ и даже психологъ съ той же идеей относительно художественоой литературы, и они вмѣстѣ создадутъ новую школу, пока послѣднюю, съ такой точной, чисто-французской системой, съ такими математически-простыми формулами. Но именно эта школа и докажетъ все безсиліе французскаго генія вступить на единственно-законный, естественный путь литературнаго развитія, отдѣлить вдохновеніе отъ разсудка, т. е. творческое воспроизведеніе явленій дѣйствительности не замыкать въ преднамѣренно изобрѣтенныя отвлеченныя рамки. Поэтъ не ораторъ, художникъ—не діалектикъ: такія про-

стыя понятія! А между тѣмъ, три вѣка французская критика бьется надъ смѣшеніемъ и даже отожествленіемъ двухъ различныхъ способностей человѣческаго духа.

Никто не станетъ доказывать совершенную независимость творчества отъ разума: это другая крайность,—распущенность такъназываемыхъ бурныхъ геніевъ. Истина одинаково далека и отъ «геніальнаго безумія», и отъ деспотическихъ формулъ, она въ личной свободѣ художника, предоставленнаго контролю своего же личнаго разума, она въ гармоническомъ единеніи óбразовъ и идей, и отнюдь не въ рабствѣ тѣхъ и другихъ предъ какимъ бы то ни было эстетическимъ уставомъ, будь то салонный этикетъ или «законы» литературнаго либерализма.

Золя и Тэнъ не только не овладѣли этой истиной, а произвели надъ ней гораздо болѣе жестокое насиліе, чѣмъ всѣ ихъ предшественники.

VII.

Идеи натуральной школы, одно изъ любопытнѣйшихъ явленій вообще въ исторіи человѣческой мысли. Самымъ отважнымъ романтикамъ врядъ-ли удалось бы измыслить два такихъ изумительныхъ контраста рядомъ, какъ *научная критика* и *экспериментальный романъ.* Нашему столь положительному и скептическому вѣку суждено было присутствовать при союзѣ умилительнѣйшей въ мірѣ наивности съ небывалыми философскими претензіями. Будто малолѣтній школьникъ, легкомысленный и беззаботный, нарядился въ величественный уборъ какого-нибудь средневѣкового изобрѣтателя философскаго камня!

Прежде всего, что такое *экспериментальный романъ?*

Отвѣчаетъ Золя:

«Экспериментальный романъ есть слѣдствіе научнаго развитія нашего вѣка; онъ захватываетъ и дополняетъ физіологію, которая сама опирается на физику и химію; замѣняетъ изученіе абстрактнаго, метафизическаго человѣка изученіемъ человѣка естественнаго, подчиненнаго физико-химическимъ законамъ и опредѣляемаго вліяніемъ среды; однимъ словомъ, онъ—литература нашего научнаго вѣка, подобно тому, какъ классическая и романтическая литература соотвѣтствуютъ вѣку схоластики и теологіи».

Коротко и ясно, и, главное, очень энергично. Осуждены, повидимому, безнадежно всѣ заблужденія прошлыхъ временъ—«Долой всѣ теоріи!», «Опаснымъ мечтаніямъ нѣтъ мѣста!» восклицаетъ

глава новой школы, раздавая удары по адресу академическаго педантизма и романтической идеологіи.

На основаніи физіологических разсужденій Клода Бернара, Золя разъ навсегда причисляетъ романистовъ къ сонму ученыхъ, физіологовъ и химиковъ. Разницы никакой. «Для всѣхъ человѣческихъ явленій существуетъ безусловный детерминизмъ», и литераторъ имѣетъ право анализъ личности и общества отожествлять съ опытами знаменитаго естествоиспытателя. Получается совершенно «новая формула». Непремѣнно формула, иначе не будетъ порядка въ развитіи новаго искусства.

Въ чемъ же заключается эта формула?

Золя съумѣлъ точно рѣчь Клода Бернара приспособить къ своимъ романамъ, т. е. подставилъ слово литература тамъ, гдѣ у его авторитета читалась медицина, и безъ всякихъ затрудненій *опыты* химика отожествилъ съ *наблюденіями* писателя. На помощь компилятивному теоретическому труду Золя явится Тэнъ и представитъ уже настоящую полную систему научной критики.

Исходная точка таже: идея детерминизма. Человѣкъ—автоматъ, его нравственный міръ—часы, всѣ процессы совершаются по строго опредѣленнымъ законамъ, совершенно такимъ же, какъ, напримѣръ, пищевареніе.

И Тэнъ проведетъ параллель между химическимъ анализомъ и психологіей, пріемами физіолога и критика, параллель, до послѣдней черты неуклонную, свидѣтельствующую о *совпаденіи* методовъ естественнонаучнаго и критическаго. Напримѣръ, «совокупность 20 тысячъ фразъ», составляющихъ *Пантагрюэля*, равносильна «превращенію пищи» въ желудкѣ, и философія Раблэ, его личный характеръ столь же опредѣленныя данныя, какъ составъ желудочнаго сока—ферментъ, пепсинъ, кислота,

Правда, вы можете замѣтить, пепсинъ подлежитъ непосредственному вашему *анализу* и анализъ даетъ всегда тожественные результаты относительно одного и того же химическаго тѣла, между тѣмъ какъ душа человѣка можетъ быть только *наблюдаема* по внѣшнимъ проявленіямъ ея силъ и свойствъ и выводы изъ наблюденій, у разныхъ наблюдателей, получаются часто совершенно противоположные.

Ничего не значитъ. «Психологическій анализъ—родъ химіи», безчисленное число разъ повторяетъ авторъ и доходитъ до отожествленія наблюденій психіатровъ съ «видоизмѣненіями» элементовъ, какія химики могутъ производить при своихъ опытахъ.

Это только первый шагъ. Дальше Тэнъ постарается человѣка низвести къ продукту, столь же простому, какъ, напримѣръ, сахарный сиропъ. Какой угодно талантъ, исключительная личность—произведенія опредѣленныхъ естественныхъ силъ, и въ результатѣ геній и весь нравственный міръ не болѣе, какъ одна какая-либо *преобладающая способность*. Поэтому, достаточно изучить расу, среду, эпоху, и можно заранѣе предсказать психологію писателя и, слѣдовательно, содержаніе его произведеній.

Обратите вниманіе на эту удивительную идею о *преобладающей способности* и *механизмѣ* душевнаго развитія. Развѣ вамъ не слышатся отголоски самаго подлиннаго классицизма съ его вѣчнымъ стремленіемъ низвести человѣка къ одной страсти и драматизировать только эту страсть? А эта математическая формула, такъ выражается самъ критикъ, развѣ не идеальное проявленіе классическаго духа, создавшаго геометрически-правильные сады Ленотра и безукоризненно-*разумныя* трагедіи Расина? Идея научности вооружила руку критика на такое *уродованіе дѣйствительности*—такъ выражается другъ и поклонникъ Тэна,—что даже классическая психологія и эстетика въ сравненіи съ тэновскими характеристиками Шекспира, Байрона и многихъ другихъ поэтовъ и государственныхъ людей кажется либеральной и разностороннеѣ.

Классики просто не признавали Шекспира, Тэнъ его возвеличилъ, но предварительно до неузнаваемости исказилъ и душу, и геній англійскаго драматурга. Въ бѣсноватомъ, отрѣшившемся отъ преградъ разсудка и морали, никто, конечно, не узнаетъ автора *Гамлета*, *Лира*, *Макбета*. Никому также неизвѣстенъ и Байронъ, невмѣняемый маньякъ, до послѣдняго нерва одержимый противообщественными страстями. Таковы плоды психологической химіи въ критикѣ!

Но для насъ не столько важны выводы Тэна, сколько сущность его критическаго направленія. Оно самое деспотическое, бездушно-формальное изъ всѣхъ системъ, существовавшихъ во Франціи. Оно идеей автоматизма убило всякое представленіе даже о нравственной свободѣ личности. Что же касается таланта, вдохновенія, они утратили всякое самостоятельное значеніе, разъ весь духовный міръ человѣка являлся неотразимымъ выводомъ изъ внѣшнихъ посылокъ.

Никто безпощаднѣе Тэна не обращался съ фактами исторіи и психологіи. Операціи классиковъ съ античными героями простительны: Расинъ не выдавалъ себя за химика и натуралиста, но

что сказать о психологѣ и историкѣ, почерпнувшемъ свои принципы въ естественныхъ наукахъ, и своей дѣятельностью вызвавшемъ у благосклоннѣйшаго критика-историка такой отзывъ:

«Для Тэна все сводится къ задачѣ по динамикѣ: видимая вселенная наравнѣ съ человѣческой личностью, произведеніе искусства и историческое событіе. Каждая изъ этихъ задачъ составляется изъ самыхъ простыхъ элементовъ. Рискуя даже искалѣчить дѣйствительность, Тэнъ добивается рѣшенія съ непоколебимой строгостью математика, доказывающаго теорему, логика, составляющаго силлогизмъ. Если предъ нимъ писатель или артистъ онъ *вводитъ* то, чѣмъ каждый изъ нихъ долженъ быть благодаря расѣ, средѣ и эпохѣ (моменту); потомъ, когда онъ уловилъ господствующую способность его натуры, онъ *выводитъ* изъ нея всѣ его дѣйствія и всѣ его произведенія».

Болѣе вѣрнаго пути, чѣмъ подобная критика, нельзя и вообразить—для полнѣйшаго извращенія достовѣрнѣйшихъ фактическихъ данныхъ. И это называлось естественно-научнымъ анализомъ, научной психологіей и исторіей литературы! *).

Тэнъ не только съ легкимъ сердцемъ совершалъ безпримѣрно-фантастическіе опыты надъ писателями и историческими событіями, но внесъ не малую лепту и въ гордый полетъ натурализма: «то, что историки дѣлаютъ относительно прошедшаго, великіе романисты и драматурги дѣлаютъ относительно настоящаго». Это заявленіе вполнѣ совпадало съ научными претензіями Золя и, естественно. глава натурализма послѣ тэновскихъ натуралистическихъ изслѣдованій въ области искусства еще болѣе утвердился на пьедесталѣ «экспериментатора» и «физіолога».

Въ результатѣ—экзекуціи научной критики вполнѣ достойно дополнялись натуральнымъ творчествомъ. И тамъ, и здѣсь водворялся репортажъ, фанатическая погоня за отдѣльными фактами, съ мучительнымъ стремленіемъ во что бы то ни стало вогнать ихъ въ извѣстныя *группы* и создать *систему*. И критики, и романисты на своихъ поприщахъ договорятся до истинно-гомерическихъ откровенностей. Оба—*ученые* и *натуралисты* —они представятъ единственные въ своемъ родѣ образцы комическаго ослѣпленія и несовершеннолѣтней наивности.

Тэнъ прямо заявитъ: «историкъ стремится (court) къ общей

---

*) Подробная оцѣнка ученой и критической дѣятельности Тэна—см. наши статьи, «*Русское Богатство*», январь—апрѣль 1896 года.

идеѣ путемъ фактовъ, *которые доказываютъ ее*», и разсказъ историка становится занимательнымъ именно потому, что «факты выбраны» и «расположены въ извѣстномъ порядкѣ». Выборъ и расположеніе фактовъ—единственныя цѣли историка, полнота свѣдѣній и вдумчивость въ дѣйствительность *ради нея самой, ради жизненной правды*—все это понятія, совершенно невѣдомыя критику. Онъ искренне пишетъ слова *choisir parmi les faits*, гордится «молніями» своего «воображенія», способными «резюмировать теоріи» и «въ шести строкахъ» изображать портреты, и ни на минуту не задумывается надъ убійственнымъ смысломъ своего краснорѣчія,—убійственнымъ нетолько для какой бы то ни было научности, а просто для сколько-нибудь добросовѣстнаго историческаго труда.

Золя, конечно, нечего отставать отъ критика, и его *формула* ничѣмъ не уступаетъ тэновской. У него тоже бездна записныхъ книжекъ, цитатъ изъ газетъ, личныхъ репортерскихъ записей: все это документы общественной физіологіи. Чтобы написать романъ, надо ихъ распредѣлить по группамъ и произвести *выборъ между фактами.*

Цѣль выбора подсказана давно положеніемъ натурализма въ современной литературѣ. Онъ явился протестомъ противъ романтиковъ-идеалистовъ, противъ ихъ громкой и восторженной реторики, противъ культа героизма. На сторонѣ романтиковъ были *идеи*, политическіе и нравственные принципы, натурализмъ долженъ заняться одной *правдой*, жизнью какъ она есть, безъ всякихъ красивыхъ освѣщеній. Но *правда* натурализма будетъ своеобразной правдой, *полюсомъ* для романтическихъ образовъ. И такъ какъ въ этихъ образахъ можно открыть все, что угодно, только не реальную психологію живыхъ людей, натурализмъ создастъ *контрастъ*, возьметъ тѣ же романтическіе образы, только наизнанку. Небывало-благороднымъ героямъ и на рѣдкость величественнымъ происшествіямъ будутъ противопоставлены столь же исключительно-отвратительныя порожденія зла и разсказаны исторіи безпросвѣтно-темныхъ инстинктовъ.

Такое нравственное и психологическое содержаніе натурализма вполнѣ подойдетъ подъ общее культурное настроеніе эпохи. Она—вся разочарованіе въ идеяхъ и идеалахъ, она, устами того же Тэна, произноситъ смертный приговоръ нашимъ надеждамъ видѣть когда-нибудь человѣка свободнымъ отъ звѣрскихъ наклонностей уничтожать ближняго. Царство силы вѣчно и «охота за дичью» не прекратится въ той или другой формѣ до послѣднихъ

дней нашей планеты. Тэнъ даже возмущался воспитателями, внушающими юношамъ идею совмѣстной общественной работы и заставляющими преступниковъ считать явленіемъ отрицательнымъ и ненормальнымъ. Напротивъ. Преступники только выраженіе искoннаго порядка въ людскомъ обществѣ—звѣрской борьбы за личный интересъ.

Эта философія цѣликомъ вошла въ историческіе труды Тэна о революціи и легла въ основу научнаго романа Золя.

«Опаснымъ мечтаніямъ нѣтъ въ немъ мѣста,—говоритъ авторъ;—зло изображается во всемъ его ужасѣ, паденіе обставлено всей грязью и всѣми муками, являющимися его послѣдствіемъ, и всегда приходишь неизмѣнно къ тому выводу, что добродѣтель и счастье заключаются въ логикѣ, въ признаніи правды, въ равновѣсіи человѣка съ природой, его окружающей».

Слова, на первый взглядъ, вполнѣ основательныя. Но вопросъ, что признавать логикой и правдой и съ какой природой находиться въ равновѣсіи? А потомъ, какъ отдѣлить *мечтанія* отъ *логики* и согласоваться съ природой не значитъ ли подчиняться ей?

Тэнъ и Золя, принципіальные враги идеализма и романтической школы, предвосхитили правду и логику даже раньше фактовъ: это—правда разочарованія или равнодушія и логика зла. А природа—сплошная сцена борьбы за существованіе, торжества стихійной силы надъ слабостью. Таковъ, по мнѣнію нашихъ «натуралистовъ», выводъ современной науки.

Въ результатѣ, человѣкъ Золя будетъ *человѣкъ-звѣрь*, а логика—*ужасъ, грязь* и *муки*. И все это овладѣетъ литературой вовсе не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ жизнь представляла неистощимую сокровищницу только золаическихъ документовъ—нѣтъ, а потому, что у писателя *новая формула*. И на этотъ разъ она гораздо повелительнѣе, чѣмъ раннія формулы классицизма и романтизма: она—выводъ изъ опытныхъ наукъ, она—въ художественномъ и психологическомъ смыслѣ та же *химія* и тотъ же *анализъ*, какими живетъ современное естествознаніе.

Кромѣ столь эффектнаго научнаго капитала, натурализмъ въ томъ же естествознаніи почерпнулъ и еще одну, въ высшей степени удобную и вполнѣ современную идею. Ученые производятъ опыты, не задаваясь никакими нравственными цѣлями, не вмѣшивая ни политическіе, ни общественные интересы въ свои изслѣдованія. Такъ же должны держать себя и писатели. Золя чувствуетъ непреодолимое отвращеніе къ политикѣ, не находитъ до-

статочно презрительныхъ выраженій заклеймить политическую борьбу и парламентскія пошлости — *les misères parlementaires*, какъ выражался Сентъ-Бёвъ. Это общее настроеніе новѣйшихъ французскихъ знаменитостей. Тэнъ также не зналъ, куда скрыться отъ шумнаго политическаго свѣта, Ренанъ даже превратился въ драматурга съ цѣлью написать памфлетъ на современную демократію. Еще умѣстнѣе, конечно, идейное безразличіе у *экспериментатора*.

Но опять фразы одно, а результаты совершенно другое. Золя жестоко возмущался, когда Тэнъ безпрестанно завѣрялъ своихъ читателей въ своемъ безпристрастіи *натуралиста* и въ способности изслѣдовать историческія событія будто растенія и животные организмы, а на самомъ дѣлѣ сочинилъ единственный въ своемъ родѣ пасквиль на цѣлую историческую эпоху и ея дѣятелей. Это, дѣйствительно, бревно въ глазу ученаго, но не мѣшало бы Золя оглянуться и на самого себя.

Правда, въ немъ ничего нѣтъ *политическаго*, это гражданинъ, по закону Солона, вполнѣ заслуживающій изгнанія изъ своего отечества, но *моралистъ* очень яркій и опредѣленный, до такой степени, что именно морали Золя болѣе обязанъ популярностью, чѣмъ таланту. Онъ усиленно старается защитить себя отъ упрековъ въ порнографіи и содержаніе своихъ романовъ пристегиваетъ къ научной системѣ. Но въ то же время онъ литературный талантъ ставитъ внѣ какихъ бы то ни было нравственныхъ обязательствъ. Слейте эту мысль съ «трезвымъ» философскимъ міросозерцаніемъ Тэна и того же Золя, и совершенно логически получится именно нравственная формула: чѣмъ больше грязи, тѣмъ больше правды.

А потомъ судьба натурализма еще при жизни самого учителя ясно обнаружила внутреннія язвы экспериментальнаго романа. Онъ вызвалъ оппозицію, не менѣе рѣшительную, чѣмъ его собственная война съ риторами и идеалистами.

VIII.

Въ противовѣсъ натуралистическому культу звѣрской природы и отвратительной дѣйствительности, возникли давно забытые восторги чистые предъ таинственнымъ и прекраснымъ. Это единственное оправданіе символизма. Онъ знаменовалъ пресыщеніе *грязью* и *ужасами*, и обнаружилъ стремленіе спастись въ область того самаго *l'inconnu*, о которомъ съ невыразимымъ презрѣніемъ

отзывался Золя. Утомленные стонами и оргіями, омутами и застѣнками, люди возжаждали сладкихъ звуковъ и небеснаго далека.

Даже больше. По исконному обычаю французовъ клинъ выбивать такимъ же клиномъ, символисты однимъ взмахомъ крыльевъ улетѣли не только отъ золаической грязи, а вообще отъ бренной земли. Золя подборомъ документовъ умѣлъ создать ультра-дѣйствительность, если такъ можно выразиться,—его оппоненты устранили вообще дѣйствительность и стали воздѣлывать до такой степени утонченное, неуловимое содержаніе, что поэзія превратилась въ звуки безъ всякаго общедоступнаго опредѣленнаго смысла, не только идейнаго, а даже грамматическаго. Золя разсчитывалъ на публику съ самымъ первобытнымъ эстетическимъ пониманіемъ, можно сказать, съ однимъ физіологическимъ чутьемъ, новая школа объявила своей славой и гордостью—творить только для немногихъ посвященныхъ и достоинство произведенія соразмѣрять степенью его невразумительности.

Однимъ словомъ, символизмъ такое же *напряженное* и *разсчитанное* отрицаніе натурализма, какимъ была романтическая «свобода» относительно этикета. И естественно, при всей небесной воздушности формъ и эфемерности смысла, символисты неминуемо выработали также свою *формулу*. Даже и не требовалось ея вырабатывать: она логически подсказывалась положеніемъ, какое занялъ символизмъ рядомъ съ натуральнымъ романомъ, такъ же, какъ и романтическіе «законы» непосредственно вытекали изъ воинственнаго натиска романтиковъ на «красные каблуки».

Символизмъ не заслуживаетъ самъ по себѣ серьезнаго вниманія: онъ лишь временный отрицательный моментъ. Но въ общей исторіи французскаго творчества онъ краснорѣчивое звено. Онъ возникъ одновременно и рядомъ съ импрессіонистской критикой и явился дѣтищемъ одного и того же культурнаго процесса. Импрессіонизмъ—критика *впечатлѣній*—антиподъ критикѣ *теорій* и *принциповъ*, т. е. критическому догматизму.

Если мы вникнемъ въ психологическую суть новѣйшаго направленія, мы непремѣнно придемъ къ ясному чувству разочарованія въ какихъ бы то ни было разсудочныхъ правилахъ художественнаго творчества и къ проблескамъ сознанія великаго значенія свободы. Въ этомъ чувствѣ и сознаніи положительная черта импрессіонизма.

Онъ правъ, пока отрицаетъ и классическую схоластику, и мнимонаучный формализмъ. Онъ правъ даже, выдвигая на пер-

вый планъ *впечатлѣнія* въ области искусства и отдавая имъ предпочтеніе предъ «этикетомъ» и «законами». До этихъ предѣловъ импрессіонизмъ имѣетъ извѣстный историческій смыслъ, такъ же какъ и оппозиція символистовъ обладаетъ долей истины. Но дальше начинается чисто французскій оборотъ дѣла: разъ, ни схоластическій, ни политическій, ни научный догматизмъ въ искусствѣ и въ критикѣ не нашелъ почвы, пусть не будетъ не только догматизма, а вообще ничего сколько-нибудь похожаго на *опредѣленный взглядъ*.

Были цѣпи, теперь полнѣйшая свобода, на каждомъ шагу назойливо бросались въ глаза неотразимо проводимая теорія, школа, теперь прочь даже простую послѣдовательность впечатлѣній, и чѣмъ сужденія объ одномъ и томъ же предметѣ будутъ чаще и рѣшительнѣе противорѣчить другъ другу, тѣмъ критика вѣрнѣе приблизится къ идеалу.

Древніе софисты, отвергая безусловную истину, говорили: «человѣкъ—мѣра вещамъ». Импрессіонисты идутъ гораздо дальше: не человѣкъ, а его минутное настроеніе, часто едва уловимое ощущеніе—мѣра и истинѣ, и красотѣ. Объ искусствѣ нельзя *поучать*, можно только разсказывать о своихъ волненіяхъ. И Лемэтръ чувствуетъ такое же отвращеніе къ Золя и натурализму, какъ и символисты. Въ натурализмѣ очень много *формулъ, школы* и *системы*: Лемэтръ хочетъ быть свободнымъ, какъ вѣтеръ пустыни...

Но, снова повторяемъ, пусть слово свобода не чаруетъ вашего слуха: помните, оно произносится не во имя божества, а съ цѣлью искоренить его враговъ. Слѣдовательно, съ самаго начала сторонники свободы не свободны, они во власти страсти, одушевлены гораздо больше ненавистью къ своимъ противникамъ, чѣмъ любовью къ истинѣ, дѣйствуютъ скорѣе подъ вліяніемъ запальчивости, чѣмъ вдумчивой мысли и внутренняго влеченія къ правдѣ.

Въ результатѣ, нравственна цѣна провозглашенной свободы крайне невысока. Изъ страха впасть въ догматизмъ и идейность, импрессіонистъ спускается до уровня самаго банальнаго, такъ называемаго здраваго смысла. Принципы его художественныхъ впечатлѣній—умѣренность и аккуратность. Все, что сколько-нибудь выше буржуазнаго, будничнаго опыта, Лемэтръ считаетъ чудовищнымъ и мистическимъ. Отсюда его презрѣніе къ русской литературѣ, переполненной слишкомъ, на его взглядъ, фантастическими и туманными мотивами. Здѣсь же отчасти и причина его ненависти къ романтизму, дѣйствительно весьма грѣшному въ пре-

увеличеніяхъ по части героизма. Лемэтръ признаетъ только мудрость—практическую и вполнѣ осязательную—*une sagesse à la portée de la main.* Онъ прирожденный врагъ умственныхъ усилій и слишкомъ глубокихъ волненій: это—натура эпикурейская, чувственная и пассивная. Она, очевидно, какъ нельзя болѣе приспособлена къ смѣнѣ совершенно безцѣльныхъ впечатлѣній и ни къ чему не обязывающихъ сужденій.

Понятно, симпатичнѣе всѣхъ писателей Лемэтру долженъ казаться классикъ въ родѣ Расина. Въ сущности, классическая трагедія тоже игра, салонное красивое развлеченіе, а идеалы Расина самые кроткіе и благонамѣренные, и Лемэтръ провозгласитъ его образцовымъ французомъ!

Дѣйствительно, трудно еще отыскать болѣе невинный и усладительно-спокойный спектакль, чѣмъ танцующія фигуры и музыкальнѣйшіе въ мірѣ монологи классическаго трагика!

И онъ—*le français de France, французъ Франціи, типъ французскаго генія!* Это выраженія импрессіониста, и поучительнѣе ихъ трудно и представить. Новый критикъ не хочетъ ни теорій, ни классификацій, ни особенно «поученій юношеству». Онъ поэтому отвергаетъ академическую піитику и романтическій либерализмъ, но спасетъ Расина ради его безобидности и умѣренности, ради его духовнаго родства съ современными мѣщанскими идеалами—se laisser aller et se laisser vivre, жить потихоньку день за день, пользуясь, по возможности, пріятными впечатлѣніями. Лемэтръ, напримѣръ, даже вообразить не можетъ ничего очаровательнѣе Парижа и парижскихъ бульваровъ, ничего благороднѣе и разумнѣе *парижскаго духа—l'esprit parisien.* Во имя этихъ прелестей онъ и ополчился на «славянщину» и вообще на «варваровъ» — гр. Тостого, Ибсена, Достоевскаго. Эти дикари грозили разрушить зачарованный кругъ эпикурействующаго Жоржа Дандэна.

Таковъ эстетическій и нравственный полетъ современной литературной философіи во Франціи! Мы видимъ, при всемъ отвращеніи импрессіонистовъ къ поученіямъ и системамъ, у нихъ неизбѣжно составилось свое маленькое законодательство: не выше бульвара и не дальше Булонскаго лѣса!

Какого содержанія можетъ быть искусство, вдохновляемое подобной критикой? Въ натурализмѣ есть извѣстная сила, смѣлость, мало всесторонней правды, творческаго воспроизведенія дѣйствительности, но сколько угодно драматизма. Что же можетъ внушить импрессіонистское томленіе по слегка раздражающимъ чувствен-

нымъ ощущеніямъ, по сразу усваиваемой давно всѣми пережеванной умственной пищѣ?

Отвѣтъ не труденъ. Литература должна вернуться вспять, до классицизма, и снова превратиться въ одну изъ принадлежностей комфорта въ жизни господъ, имѣющихъ возможность предаваться «чувственной лѣни» и смаковать собственныя впечатлѣнія безъ малѣйшаго душевнаго безпокойства и умственнаго напряженія. Критика уже снизошла до чрезвычайно милой, какой-то порхающей болтовни. Еще Сентъ-Бёвъ находилъ, что «хорошая критика» можетъ излагаться только въ формѣ болтовни—*en causant*. Теперь это искусство усовершенствовано, и Леметръ, безъ всякихъ церемоній, будетъ «критиковать» автора или актера буквально по слѣдующему методу: *As tu fini, espèce d'echauffé?.. Eh! va donc...* Вообще, какъ водится на бульварѣ въ дружескомъ разговорѣ. Что же дѣлать литературѣ?

Если такъ *забавенъ* и *легокъ* критикъ, каково положеніе беллетриста! Ему уже прямо остается лѣзть изъ кожи, лишь бы все было *легко* и *пріятно*. А такъ какъ его не стѣсняютъ болѣе никакія теоріи и идеи, и менѣе всего «поученія», естественно въ какомъ жанрѣ будетъ осуществляться пріятность и легкость.

И вы думаете, наконецъ, въ этой литературѣ явится и правда, и жизнь, такъ какъ навсегда, повидимому, покончено съ формулами и этикетами? Отнюдь нѣтъ.

Трудно и пересчитать, сколько важнѣйшихъ благороднѣйшихъ культурныхъ силъ лежитъ внѣ импрессіонистскаго міросозерцанія. Оно эгоистическое и консервативное въ смыслѣ полнаго равнодушія къ общему прогрессу, инертное даже въ вопросахъ личнаго совершенствованія, отмежевало себѣ самый узкій кругъ чувствъ и идей, какой только можно представить въ цивилизованномъ обществѣ.

Въ глубинѣ импрессіонизма лежитъ органическая усталость, сближающая нашихъ современниковъ съ жертвами «эпохи упадка». Даже сами критики новаго направленія и безусловно передовые философы, въ родѣ, напримѣръ, Ренана, испытываютъ какую-то своеобразную гордость, сравнивая свое время съ послѣдними вѣками римской имперіи. И Леметру, повидимому, доступны всѣ настроенія, свойственныя безнадежно одряблѣвшей природѣ вырождающагося общества.

Онъ крайне низко цѣнитъ дѣятельность мысли и профессію писателя считаетъ послѣдней, заслуживающей разумнаго выбора.

«Что значатъ», восклицаетъ онъ, «наши мелкія, ничтожныя умственныя удовольствія предъ великими животными радостями физической жизни!» И критикъ тоскуетъ по кожѣ, обросшей волосами, по лѣсной берлогѣ, по свободному царству инстинктовъ...

Есть, конечно, доля кокетства и фиглярства въ этой тоскѣ, какъ вообще во всей «болтовнѣ» подобныхъ людей. Но не мало и подлинной правды: писатель, отказавшійся отъ какого бы то ни было идейнаго смысла литературы и сбросившій съ себя всякія логическія и нравственныя обязательства, дѣйствительно можетъ тяготиться даже умственнымъ процессомъ и самымъ ничтожнымъ вмѣшательствомъ сознанія въ буржуазный комфортъ и пріятныя ощущенія.

Очевидно, въ искусствѣ съ такимъ источникомъ вдохновенія останется только самый жалкій клочекъ современной дѣйствительности и *выборъ фактовъ* въ импрессіонистской литературѣ окажется еще болѣе бѣднымъ, чѣмъ въ натурализмѣ. Вся новѣйшая школа знаменуетъ собой немощь и равнодушіе. Это уже не воинственная оппозиція ненавистному литературному направленію, а бѣгство отъ него въ сторону, безсильное отмахиваніе руками отъ идей романтизма и жестокой натуральной правды. Цѣлые вѣка деспотическихъ литературныхъ системъ будто въ конецъ измочалили художественный геній Франціи. Начиная съ «Института» Ришелье вплоть до проектированной «Академіи Гонкуровъ»—искусство и критика изъ одной сѣти законовъ и правовъ попадали въ другую, еще болѣе цѣпкую и сложную. Это—длинная смѣна «литературныхъ республикъ» съ очень большими полномочіями президента и министерскаго совѣта.

Расинъ, Гюго, Золя обозначаютъ своими именами три великихъ школы, и замѣтьте, художники въ то же время всегда критики. Едва почувствовавъ творческія силы и раскрывъ глаза на свѣтъ Божій, они уже спѣшатъ заручиться рулемъ и вооружиться очками. У нихъ нѣтъ даже представленія о двухъ основныхъ принципахъ всякаго художественнаго таланта: *личная* свобода вдохновенія и *непосредственное* сближеніе писателя съ жизнью. Нѣтъ. Французъ непремѣнно прицѣпитъ помочи къ какому угодно поэтическому генію и изобрѣтетъ средостѣніе между поэтомъ и дѣйствительностью.

Въ результатѣ необыкновенно блестящее и всемірно-вліятельное развитіе французской литературы представляется въ видѣ однообразно волнующагося моря: волна то падаетъ, то поднимается,

не мѣняя сущности своего состава. Чѣмъ глубже паденіе, тѣмъ будетъ выше подъемъ, чѣмъ нетерпимѣе система одной школы, тѣмъ азартнѣе будетъ оппозиція, столь же систематическая и строго формулированная.

Эта исторія *національна* до послѣдней черты. Самый типъ французскаго ума ничего не могъ создать, кромѣ вѣчнаго неистребимаго *классическаго духа*, т. е. такихъ же формулъ въ искусствѣ, какими питается математическій геній, столь свойственный французамъ. Ни одинъ народъ не обладаетъ такой способностью упростить идею, подъискать для нея идеально точную и прозрачную словесную форму, низвести её до послѣдняго предѣла элементарности и общедоступности. И поэтому никто не можетъ сравняться съ французами въ искусствѣ популяризаціи и Франція искони была призванной *распространительницей идей*, самой благодарной прозелиткой и проповѣдницей философскихъ системъ и научныхъ теорій. Это въ полномъ смыслѣ провиденціальное назначеніе французскаго генія. Онъ съумѣлъ выработать и языкъ, какъ нельзя болѣе подходящій для ясныхъ и популярныхъ опредѣленій, *классически* стройный и точный.

Но тотъ же благодѣтельный геній распространилъ свой *резонирующій разумъ—la raison raisonnante*, свою стихійную наклонность къ формуламъ и классификаціямъ на область, менѣе всего подлежащую строго логическимъ процессамъ. Въ творчествѣ всегда останется нѣчто *невѣдомое* и *произвольное*, неуловимое и неуложимое ни въ какіе законы и формулы. Здѣсь самому основательному критику и вліятельнѣйшему писателю слѣдуетъ помнить отвѣтъ германскаго императора нѣмцу: «не мнѣ управлять вдохновеніемъ поэта»... Пусть его *личность* и окружающая его *жизнь* будутъ его руководителями и наставниками. Если личность дѣйствительно даровита, нравственно богата и благородна, она непремѣнно сама подойдетъ къ правдѣ жизни и сама откроетъ и идеи и принципы. Даже больше. Пусть самъ художникъ не подозрѣваетъ на своемъ пути никакихъ тенденцій, даже пусть разсудочно бѣжитъ отъ нихъ, онѣ все таки проникнутъ въ его творчество, если только оно *жизненно* и *искренне*. Еще опрометчивѣе стараться вложить въ извѣстныя рамки самый процессъ творческой работы. Онъ такое же органическое явленіе, какъ всякое живое созданіе природы, и подчиненъ только своимъ внутреннимъ законамъ. Если это созданіе *естественно* сильно и въ самомъ себѣ таитъ сѣмена красоты, оно принесетъ свои плоды, все равно, какъ

роза непремѣнно дастъ роскошные цвѣты, и шиповникъ при самомъ тщательномъ уходѣ все-таки выйдетъ лишь отдаленнымъ намекомъ на розу.

Французскій умъ пошелъ другимъ путемъ. Онъ почти уничтожилъ грань между поэтомъ и ораторомъ и употреблялъ всѣ усилія, при помощи законовъ и академій, если не создавать поэтическіе таланты, то уже созданные ровнять, обстригать и привязывать къ подпоркамъ. Провозглашая даже правду и природу, онъ безсознательно урѣзывалъ и ту, и другую. Возмущаясь классическимъ отожествленіемъ свободнаго вдохновенія съ безуміемъ, онъ и въ самомъ безуміи отыщетъ формулу и Полоній съ одинаковымъ основаніемъ и о Гамлетѣ, и о романтикахъ могъ бы сказать: это безуміе *систематическое*.

Школы, непрерывный рядъ *школъ*—вотъ альфа и омега литературной исторіи Франціи, и въ сильнѣйшей степени другихъ европейскихъ странъ. Самая національная литература англійская владѣетъ Шекспиромъ, не принадлежащимъ ни къ какой школѣ *въ трагедіяхъ*. Эта оговорка необходима, потому что шекспировскія комедіи цѣликомъ входятъ въ итальянскую школу комическаго жанра, ту самую, гдѣ научился писать фарсы и Мольеръ. Но за то послѣ Шекспира тянется длинный рядъ англійскихъ классиковъ, своего рода академиковъ въ пудрѣ и французскихъ кафтанахъ, и даже неукротимѣйшій геній новой англійской поэзіи Байронъ пишетъ драмы «по правиламъ» въ духѣ французскаго института и осмѣливается заявить о преимуществахъ Попа передъ Шекспиромъ.

Германія съ самаго начала покорно воспринимаетъ иго классицизма, потомъ въ лицѣ Лессинга учится у Дидро и въ драмѣ Шиллера создаетъ бурный романтизмъ и литературную *либеральную* партію. Но психологическіе и реальные таланты шиллеровской драмы тожественны съ «природой» французскаго романтизма: у него она также оглушительно кричитъ и съ такимъ же пристрастіемъ дѣлаетъ бѣшеные прыжки вмѣсто человѣческаго разговора и обыкновенныхъ движеній.

Дальше натурализмъ. Это уже настоящая эпидемія для всѣхъ европейскихъ литературъ, и сама побѣдоносная, объединенная Германія принесли едва ли не обильнѣйшую дань и въ романахъ, и въ пьесахъ на алтарь золаической школѣ.

Можно, конечно, и во французской, и въ другихъ критикахъ услышать голоса, протестующіе противъ той или другой системы,—голоса умѣренности и независимости. Можно насчитать также нѣ-

сколько талантливыхъ писателей, не подчинявшихся игу оффиціальнаго литературнаго кодекса. Но это *дикіе*, если здѣсь умѣстенъ языкъ парламентскихъ партій. Еще за предѣлами Франціи они имѣли и могутъ имѣть свое *независимое* значеніе, по крайней мѣрѣ, въ искусствѣ, въ самой Франціи они своего рода «естественные» люди. Въ критикѣ они способны на многія дѣльныя замѣчанія въ смыслѣ отрицанія, но окончательно освободить искусство они безсильны. Сентъ-Бёвъ, напримѣръ, лично романтикъ, далеко ушелъ отъ «законовъ» Гюго, но это движеніе отнюдь не было прогрессомъ собственно критической мысли.

Сентъ-Бёвъ такая же ничтожная, въ сущности, даже неопредѣлимая величина въ положительной критикѣ, какой пестрый и презрѣнный паразитъ въ политикѣ. Ему ничего не стóило перейти въ какой угодно лагерь, лишь бы остаться на сторонѣ торжествующихъ и располагающихъ наградами и всякими земными благами. Въ *психологическомъ* отношеніи это прямой предшественникъ импрессіонизма, *въ нравственномъ*—совершенный представитель оппортюнизма. Критика у него преобразилась въ остроумную, часто блестящую, но чисто увеселительную болтовню. Его страсть писать біографіи и составлять психологическія характеристики въ результатѣ приводила къ погонѣ за разными *bêtes noires* сплетническаго и пикантнаго содержанія. Ничего прочнаго и цѣльнаго не могли дать эти упражненія, не одушевленныя никакой нравственной вѣрой, никакимъ общественнымъ символомъ. Тэнъ быстро затмилъ Сентъ-Бёва, выдвинувъ снова *формулы* и *системы*...

Теченіе русской литературы на раннихъ порахъ неизбѣжно впало въ общее море, и на русскомъ языкѣ литература заговорила по французски еще усерднѣе, чѣмъ нѣмецкіе Готшеды и англійскіе Драйдены. Но это была не національная литература; она столь же далека отъ народнаго духа, какъ и ея публика, она не менѣе противоестественна, чѣмъ крѣпостникъ-энциклопедистъ и недоросль-вольтерьянецъ. Но именно она и была родоначальницей до сихъ поръ существующаго взгляда, будто русское искусство только одна изъ вѣтвей европейскаго творческаго генія, можетъ быть, даже одно и то же растеніе только на другой почвѣ.

На самомъ дѣлѣ врядъ ли еще въ какой области раскрылось съ такой силой и яркостью культурное отличіе русской національности отъ общеевропейскаго типа, какъ именно въ содержаніи и процессѣ художественнаго творчества.

IX.

При самомъ поверхностномъ взглядѣ на исторію русской литературы бросается въ глаза въ высшей степени оригинальный фактъ. Вся исторія съ XVIII-го вѣка до нашего времени рѣзко дѣлится на два періода, будто на двѣ главы совершенно разнаго характера и содержанія. Одну можно бы назвать россійско-европейская словесность, другую—русская литература. Одна—развитіе западныхъ литературныхъ школъ на русской почвѣ, другая—вся сплошь занята *національной* школой, до такой степени своеобразной и независимой, что рядомъ съ ней неизбѣжно исчезаютъ всякія соображенія о внѣшнихъ вліяніяхъ и руководствахъ.

Ровно въ теченіе столѣтія—отъ петровской реформы до двадцатыхъ годовъ слѣдующаго вѣка—наши писатели говорили на русскомъ языкѣ по-французски или по-нѣмецки, все равно, какъ французскіе классики полагали своей гордостью на французскомъ языкѣ писать по-гречески и по латыни. Это означало родное слово вкладывать въ чужія формы и заставлять служить темамъ и мотивамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ народной жизнью и будничной современной дѣйствительностью. Такое оранжерейное искусство перекочевало по всѣмъ странамъ Европы, но нигдѣ оно не имѣло такой любопытной и неожиданной судьбы, какъ у насъ.

Всюду оно встрѣчало необыкновенно сильнымъ отпоромъ появленіе новыхъ художественныхъ направленій, вступало съ ними въ шумный бой, и то исчезало со сцены, то снова разцвѣтало, хотя бы и блѣднымъ цвѣтомъ. Такъ, напримѣръ, было во Франціи. Классицизмъ, разбитый мѣщанской драмой и сентиментализмомъ, воскресъ при первой имперіи и разсчитывалъ заполонить литературу при реставраціи. Ничего подобнаго нѣтъ въ нашихъ лѣтописяхъ. Не только классицизмъ, но всѣ другія, даже болѣе жизненныя школы, завяли и умерли какъ-то внезапно, будто отъ дуновенія какого-то смертельнаго для нихъ вѣтра. Стоило появиться Грибоѣдову, классицизмъ оказался навсегда похороненнымъ, явился Пушкинъ—всѣ счеты покончены съ романтизмомъ, началъ писать Гоголь—быстро и навсегда установился русскій національный реализмъ, ни по происхожденію, ни по художественнымъ задачамъ не прикосновенный къ европейскому направленію.

Въ результатѣ, основныя эстетическія ученія западныхъ литературъ остались для нашего искусства чисто внѣшними фактами, будто случайно набѣжавшими волнами. Столѣтнее существо-

ваніе не закрѣпило за ними никакихъ правъ на историческую прочность и даже не создало въ нихъ силъ для сколько-нибудь замѣтной борьбы. Достаточно одного произведенія, единоличнаго протеста даровитаго поэта, чтобы цѣлая школа мгновенно распалась, перешла въ область преданій или, самое большее, стала предметомъ педантическаго культа архивныхъ аристарховъ.

Чѣмъ объясняется такое совершенно исключительное явленіе во всей европейской литературной исторіи?

Вопросъ непосредственно приводитъ насъ къ общей оцѣнкѣ такъ-называемыхъ западныхъ вліяній на литературное развитіе русскаго общества.

Самый пышный разцвѣтъ этихъ вліяній падаетъ на екатерининскую эпоху. На Западѣ въ это время происходила ожесточенная борьба классицизма съ новыми художественными и общественными идеями. На смѣну салонной аристократической публики шло третье сословіе и требовало болѣе реальнаго и свободнаго искусства. Удары старымъ теоріямъ наносились со всѣхъ сторонъ,—въ философіи, въ политикѣ, въ эстетикѣ, и на столько успѣшно, что къ сторонникамъ новшествъ постепенно приставали убѣжденнѣйшіе классики, въ родѣ Вольтера, и, скрѣпя сердце, принимались писать чувствительныя драмы и мѣщанскія трагедіи.

Борьба не могла ограничиться Франціей, быстро перешла границы и вызвала талантливѣйшаго критика даже въ самой скромной и спокойной литературѣ—въ нѣмецкой. Лессингъ превратился въ усерднаго ученика Дидро и сталъ во главѣ блестящаго періода германскаго творчества. Именно въ этотъ моментъ и наши авторы съ особеннымъ усердіемъ стали учиться у Вольтера и энциклопедистовъ. Въ первомъ ряду учениковъ числилась сама императрица.

Но посмотрите, въ чемъ заключалось это ученье и какіе плоды выросли на русской почвѣ отъ западныхъ сѣмянъ?

Въ то время, когда во Франціи искусство Расина подвергается сплошному осмѣянію, даже Вольтеръ поднимаетъ руку на классическія трагедіи и издѣвается надъ шаблонностью и пустотой ихъ содержанія, у насъ именно классицизмъ въ самой уродливой формѣ находитъ преданнѣйшихъ послѣдователей. Какимъ-то чудомъ русскіе писатели минуютъ дѣйствительно современныя теченія западной литературы, и сосредоточиваютъ всѣ свои сочувствія на отживших формахъ и развѣнчанныхъ идеяхъ. Ни Дидро, ни Мерсье, ни Бомарше, ни Лессингъ не удостоиваются чести попасть въ число нашихъ учителей; мѣсто это занимаютъ Буало и другіе, еще

болѣе ископаемые охранители классическаго Парнасса. Даже Гриммъ, оффиціальный корреспондентъ Екатерины, авторитетнѣйшій собиратель литературныхъ новостей и признанный судья, не производитъ на русскихъ читателей никакого впечатлѣнія ядовитѣйшими замѣчаніями о «нелѣпой любви» расиновскихъ трагедій. Освободительное движеніе проходитъ мимо нашихъ соотечественниковъ и они ухитряются наложить на себя оковы ниспровергнутаго педантизма какъ разъ въ самую живую и свободную эпоху западнаго искусства.

И вспомните, какими курьезами, по истинѣ достопамятными противорѣчіями и странностями сопровождается первое сколько-нибудь значительное *вліяніе* европейской литературы на русскую!

Во главѣ отечественнаго классицизма стоитъ Сумароковъ.

Самъ по себѣ это отнюдь не жалкій, забитый стихокропатель, въ родѣ Тредьяковскаго. Напротивъ, у него есть и характеръ, и чувство личнаго достоинства, и «любленіе къ стихотворству», для своего времени довольно безкорыстное, даже похожее на сознаніе писательскаго значенія. Сумароковъ не способенъ, подобно автору *Телемахиды*, взять *безчестье* за кровную обиду и состоять на роли шута у знатнаго мецената. Онъ даже не прочь вступить въ препреканія съ московскимъ градоначальникомъ за независимость своей музы, открыто заявить, что не домогается его милостей и на поприщѣ поэзіи ставитъ себя выше вельможи...

Для екатерининской эпохи это своего рода гражданскій подвигъ, тѣмъ болѣе, что раздражительный драматургъ у самой государыни вызвалъ заявленіе видѣть лучше представленіе страстей въ его драмахъ, чѣмъ въ его письмахъ... Такой черты нѣтъ въ біографіи ни Расина, ни Корнеля.

Но именно жесточайшая буря поднята Сумароковымъ какъ разъ во славу Расина—противъ новѣйшей литературной школы, въ лицѣ Бомарше. Сумароковъ не вынесъ представленія мѣщанской драмы *Евгенія*, и вздумалъ искать защиты у самого престола. Противниками россійскаго Вольтера оказывалась не только московская администрація, но вся *публика* старой столицы. Это—фактъ достопамятный. Впослѣдствіи мы оцѣнимъ его историческій смыслъ.

Сумароковъ незадолго до своего московскаго пораженія обратился съ посланіемъ къ «фернейскому патріарху», по его мнѣнію, надежнѣйшему столпу классицизма. Вольтеръ находился въ усерднѣйшей перепискѣ съ Екатериной, обмѣнивался съ ней

самыми отважными комплиментами, часто ничѣмъ не уступавшими образцовому придворному тону, и письмомъ Сумарокова воспользовался для лишнихъ царедворческихъ изліяній по адресу своей высокой поклонницы.

Естественно, въ Ферне нашлось полное сочувствіе восторгамъ Сумарокова предъ Расиномъ, раздалось энергичнѣйшее негодованіе на новую драму, на *мѣщанскія имена* ея героевъ. Драматурги объявлялись бездарными аферистами, оставившими писать трагедіи по неспособности, и ихъ произведеніямъ давалось остроумное прозвище «незаконнорожденныхъ пьесъ»—*ces pièces bâtardes*..

Легко представить восторгъ Сумарокова. Самъ всеобщій учитель царей и вельможъ считалъ честью соглашаться «во всемъ» съ русскимъ писателемъ!.. Естественно послѣ такого по истинѣ королевскаго посвященія, Сумароковъ уже безповоротно вообразилъ себя Юпитеромъ россійскаго литературнаго Олимпа и совершенно потерялъ мѣру въ самохвальствѣ и авторской гордости.

А между тѣмъ, и письмо Вольтера, и чувства его ученика выходили сплошнымъ обморачиваніемъ и недоразумѣніемъ. Весь эпизодъ изумительно краснорѣчивъ и поучителенъ вообще для точнаго представленія о томъ, какъ и чему наши литераторы учились у Европы.

Сумароковъ безукоризненно зналъ французскій языкъ,—Вольтеръ и въ этомъ отношеніи не преминулъ ему сказать очень эффектную любезность,—но никакія силы, очевидно, не могли внушить соревнователю Расина *понимать* какъ слѣдуетъ французскія книги, отнюдь не головоломныя, а тѣ же вольтеровскія пьесы.

Правда, опредѣлить точно эстетическую теорію Вольтера не особенно легко: здѣсь постоянно прирожденный классикъ борется съ современникомъ Дидро и Бомарше, т. е. писателей, стяжавшихъ славу не трагедіей, а драмой. Но, во всякомъ случаѣ, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію лицемѣріе Вольтера, когда онъ Расина именуетъ превосходнѣйшимъ писателемъ и возмущается мѣщанствомъ новыхъ пьесъ.

Письмо къ Сумарокову написано въ февралѣ 1769 года, но еще въ пятидесятыхъ годахъ Вольтеръ настоятельно доказывалъ необходимость слиянія трагическаго съ комическимъ, сцены «трогательныя до слезъ» признавались особенно цѣнными и умѣстными, такъ какъ и сама жизнь переполнена контрастами. Вольтеръ не желалъ только сплошной слезливости и требовалъ смѣха рядомъ съ чувствами. Это и значило защищать новый жанръ, тѣмъ болѣе, что тотъ же Вольтеръ одобрялъ драму Дидро.

Мало этого. Въ томъ же году, когда Сумароковъ получилъ письмо изъ Фернэ, авторъ письма въ предисловіи къ трагедіи *Гебры* высказывалъ слѣдующія истины, повидимому, не оставлявшія камня на камнѣ въ классическомъ святилищѣ:

«Чтобы легче внушить людямъ доблести, необходимыя для всякаго общества, авторъ выбралъ героевъ изъ низшаго класса. Онъ не побоялся вывести на сцену садовника, молодую дѣвушку, помогающую своему отцу въ сельскихъ работахъ, офицеровъ, изъ которыхъ одинъ командуетъ небольшой пограничной крѣпостью, другой служитъ подъ его командой: наконецъ, въ числѣ дѣйствующихъ лицъ простой солдатъ. Такіе герои, стоящіе ближе другихъ къ природѣ, говорящіе простымъ языкомъ, произведутъ болѣе сильное впечатлѣніе и скорѣе достигнутъ цѣли, чѣмъ влюбленные принцы и мучимыя страстью принцессы. Достаточно театры гремѣли трагическими приключеніями, возможными только среди монарховъ и совершенно безполезными для остальныхъ людей».

Вотъ до какихъ выводовъ договаривался восторженный почитатель Расина и его искусства «изображать любовь трагически», какъ выражалось фернейское посланіе!

И Вольтеръ практически слѣдовалъ своимъ новымъ убѣжденіямъ уже потому, что только они и могли спасти его славу драматурга у публики восемнадцатаго вѣка.

Ничего этого не знаетъ русскій классикъ и до конца своей дѣятельности изнываетъ мучительнымъ желаніемъ «явить Россіи театръ Расиновъ».

И просвѣщенные современники отдаютъ должное этой мукѣ. Для нихъ авторъ *Хорева*, *Семиры* и прочихъ умилительныхъ и столь же утомительныхъ школьныхъ упражненій на реторическія темы—«наперсникъ Буаловъ, россійскій нашъ Расинъ!..» И самъ этотъ наперсникъ не знаетъ, какимъ аршиномъ и измѣрить свои заслуги предъ отечествомъ, и выраженіе Ломоносова о немъ «бѣдное свое риомачество выше всего человѣческаго знанія ставитъ», нисколько не преувеличиваетъ дѣйствительности.

И все это происходило у насъ именно въ то самое время, когда Вольтеръ велъ слѣдующую поучительную бесѣду съ Мармонтелемъ.

Начинающій писатель явился къ патріарху за совѣтомъ на счетъ своихъ первыхъ литературныхъ шаговъ. Вольтеръ указалъ ему на театръ, какъ на самый вѣрный путь къ славѣ. Мармонтель откровенно объяснилъ свое полное незнаніе жизни, незнакомство съ обществомъ, неумѣнье создавать характеры.

— Ну, такъ сочиняйте трагедію,—былъ отвѣтъ.

Юноша послѣдовалъ совѣту, и оказался не хуже другихъ.

Однимъ словомъ, жанръ Расина отживалъ свои дни и утрачивалъ послѣдній кредитъ, и будто отъ смертной агоніи на родинѣ искалъ спасенія въ странѣ скиѳовъ. Никакіе современные уроки не могли увлечь первенствующаго писателя дѣйствительно новыми художественными задачами. Онъ фатально, будто потерявъ глаза и смыслъ, устремлялся въ дебри стараго педантизма и угощалъ своихъ современниковъ давно испортившимися продуктами классической кухни. Даже пребываніе въ Петербургѣ главы новой драмы, Дидро, не образумило «наперсниковъ Буаловыхъ», и они, въ глухотѣ и слѣпотѣ къ литературному прогрессу, остаются до конца достойными соревнователями своихъ соотечественниковъ-крѣпостниковъ, пожалуй, еще лучше Сумарокова владѣвшихъ французскимъ діалектомъ, но не французскими идеями.

Именно идеями. Не было бы особенной бѣды, если бы Сумароковъ проглядѣлъ *форму* литературы, и вообще если бы наши писатели совсѣмъ миновали слезливую и мѣщанскую драму, какъ жанръ.

Но вопросъ получалъ совершенно другое значеніе въ связи съ *содержаніемъ* новой формы.

X.

Вольтеръ, мы видѣли, въ трагедіи счелъ необходимымъ дать мѣсто простому солдату, въ другихъ пьесахъ онъ выводитъ крестьянъ и крестьянокъ: это логическое слѣдствіе измѣны Расину. Драма—демократическое явленіе, точнѣе буржуазное, но изъ нея не исключался и народъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Она въ литературѣ то же самое, чѣмъ впослѣдствіи явились принципы 1789 года въ политикѣ. И заимствовать форму драмы, значило сбросить съ себя обязанность писать о привилегированныхъ и только ради нихъ приблизиться къ національной дѣйствительной жизни и, насколько доступно литературному таланту и слову, открыть пути общественному развитію, идеямъ личной и народной свободы.

Можно подумать, мы слишкомъ многаго требуемъ отъ русскаго ученика французскихъ писателей XVIII вѣка. Нисколько. Предъ нимн прошли годы, когда опаснѣйшая изъ названныхъ нами идей, народная свобода, могла получить доступъ въ ихъ произведенія. Положимъ, эти годы промелькнули будто предразсвѣтный сонъ и притомъ не обѣщая утра даже въ отдаленномъ будущемъ, все-

таки съ подлинными питомцами европейскихъ влiянiй немыслимы были бы такiя, напримѣръ, сцены.

Авторъ *Наказа* въ либерализмѣ устремляется даже дальше тѣхъ писателей, чьи книги переписываетъ, вопреки Монтескьё безусловно возмущается пытками и религiозными преслѣдованiями и достигаетъ поразительнаго эффекта: сочиненiе государыни и правительницы громадной, на европейскiй взглядъ, совершенно варварской страны осуждается на сожженiе во Францiи... И что же? Дровъ въ этотъ костеръ могли бы подложить самые усердные поклонники Вольтера, и одинъ изъ первыхъ—его корреспондентъ.

Сумароковъ рѣшительно возсталъ въ защиту крѣпостного права, и не по какимъ-либо политическимъ соображенiямъ; это было бы еще извинительно для екатерининскаго подданнаго. Нѣтъ. Въ отзывѣ Сумарокова на мечтательныя идеи императрицы читаемъ: «Нашъ низкiй народъ никакихъ благородныхъ чувствiй не имѣетъ».

И дальше слѣдовало доказательство еще болѣе «нацiональное». Освободить крестьянъ невозможно, иначе пришлось бы угождать слугамъ. Да и не нужна никакая свобода: среди помѣщиковъ и крестьянъ царствуетъ любовь и миръ.

Когда это говорилось, у Екатерины еще не успѣлъ остыть, извнѣ по крайней мѣрѣ, философскiй азартъ, и она на рѣчи Сумарокова отвѣтила убiйственной критикой:

«Изображенiе въ поэтѣ работаетъ, а связи въ мысляхъ понять ему тяжело».

Очень зло и мѣтко, но не на всегда. Скоро придетъ время, и сама Екатерина будетъ разсуждать о крѣпостныхъ порядкахъ буквально по «изображенiю» своего поэта. Все-таки ея замѣчанiе не теряетъ своего значенiя для характеристики сумароковскаго и вообще русскаго европеизма.

Сумароковъ и его соотечественники умѣли даже у свободнѣйшихъ мыслителей прошлаго вѣка извлекать непремѣнно тѣневую сторону, предразсудки—личные или нацiональные и пропускать самую сущность авторскаго мiросозерцанiя. Напримѣръ, Сумароковъ очень точно вычиталъ у Вольтера—*Шекспира непросвѣщеннаго*, но совершенно проглядѣлъ прогрессивныя идеи своего учителя во всѣхъ направленiяхъ, даже въ художественной литературѣ, съ непоколебимой гордостью водворялъ на русской сценѣ расиновъ генiй, конечно, до послѣдней степени поблекшiй и измельчавшiй, съ легкимъ сердцемъ изрекалъ смертный нравствен-

ный приговоръ цѣлому народу даже при полномъ оффиціальномъ поощреніи совершенно другихъ воззрѣній!

Писатель, слѣдовательно, мнящій себя россійскимъ Вольтеромъ въ литературѣ, въ дѣйствительности дѣвственный россійскій крѣпостникъ и на истинно-европейскій взглядъ XVIII-го вѣка всесовершеннѣйшій скиѳъ и варваръ. Послѣдствія этого недоразумѣнія не ограничатся общими идеями. Писатель, защищающій рабство и отрицающій у громаднаго большинства своихъ соотечественниковъ человѣческій образъ, самъ лично получитъ возмездіе сторицей за свою же проповѣдь.

Онъ осуждаетъ себя на такое же рабство предъ всякой внѣшней силой. Онъ лишаетъ себя единственнаго условія, при какомъ осуществимо достоинство писателя, вообще умственнаго работника, не стремится создать для себя *публику* внѣ сословій и привилегій. Онъ остается лицомъ къ лицу съ знатнымъ меценатствомъ и приговариваетъ себя къ участи паразита, вмѣсто высокаго назначенія народнаго просвѣтителя.

Именно къ этой цѣли стремилась французская литература, современная Сумарокову, именно Вольтеръ напрягалъ всѣ усилія, пускался даже въ торговыя и финансовыя предпріятія, лишь бы обезпечить свою независимость какъ писателя и аристократическое меценатство съ неизбѣжнымъ писательскимъ паразитствомъ замѣнить популярностью и широко-общественнымъ вліяніемъ ума и таланта.

Вольтеръ достигъ своего идеала. Въ Россіи, конечно, успѣхъ представлялъ несоизмѣримыя трудности, но для насъ важно не практическое осуществленіе идеи, а сама идея. Ея-то и не разглядѣла наша «классическая» литература, и, соревнуя Расину на сценѣ, наши драматурги считали для себя вполнѣ удовлетворительнымъ и общественную роль поэтовъ Людовика XIV. Даже больше. Все равно, какъ въ поэзіи Сумароковъ, при всѣхъ стараніяхъ, не могъ достигнуть стихотворческаго искусства своего образца, такъ и въ дѣйствительности роль русскаго классика оказывалась тѣмъ ниже, чѣмъ русское крѣпостническое барство первобытнѣе и притязательнѣе аристократизма французскихъ маркизовъ.

Таковъ смыслъ и культурные плоды ранняго воздѣйствія Европы на русское общество. Выводы совершенно ясны. Прежде всего это воздѣйствіе, *исторически* и *нравственно—реакція*, сравнительно съ самой наглядной европейской современностью. Въ результатѣ, оно вмѣсто того, чтобы полагать первую существеннѣйшую основу вся-

каго прогресса—сближать класы и сословія, по крайней мѣрѣ, въ области идеала,—создастъ новую пропасть между европейски-просвѣщеннымъ господиномъ и безнадежно-дикимъ рабомъ. Въ области литературы европейская школа на руской почвѣ безусловно отрицательное явленіе. Класицизмъ, и теоріей, и практикой, явился первымъ средостѣніемъ между искуствомъ и національной жизнью, между писателями и народомъ. Дѣятельность руских класиковъ только въ одномъ отношеніи положительна и для развитія литературы значительна: выработкой языка. Дальше мы подробнѣе объяснимъ этотъ вопросъ. Теперь для насъ достаточно общихъ заключеній, устанавливающихъ границы руского ранняго европеизма.

Онѣ по истинѣ самобытны. Изъ указаннаго нами правила можно отыскать и исключенія. Несомнѣнно, Радищевъ и Новиковъ лучше понимали Европу XVIII-го вѣка, чѣмъ Сумароковъ и Фонвизинъ. Но мы пока говоримъ собственно о литературныхъ, художественныхъ вліяніяхъ, а не политическихъ и философскихъ. Предъ нами—эстетическія школы, а не идейные символы и общественныя системы. И вотъ, вмѣшательство-то этихъ школъ въ исторію руской литературы—отрицательный моментъ въ развитіи національнаго творчества. Сама по себѣ западная литературная школа не вноситъ ни въ сознаніе общества, ни въ дѣятельность писателя ничего прогресивнаго и просвѣтительнаго. Напротивъ. Она играетъ ту же роль, что́ и всякое нашествіе, иноземное завоеваніе: закрѣпощаетъ источники оригинальнаго роста національныхъ силъ.

Если даже на родинѣ французскій класицизмъ занялъ положеніе, враждебное и презрительное къ народу, иной судьбы онъ не могъ имѣть и въ другой средѣ. Онъ, кромѣ того, доказалъ, что усвоеніе литературной формы отнюдь не является неизбѣжнымъ условіемъ совершенствованія содержанія и цѣлей искуства. Чисто-эстетическій прогресъ не сообщаетъ литературѣ ни болѣе благороднаго нравственнаго смысла, ни болѣе жизненной общественной силы. Ради этихъ результатовъ требуется другая почва—сближеніе литературы не съ какой бы то ни было теоріей, а съ дѣйствительностью, не съ школьной прозой, а съ родной жизнью.

Только съ этого момента начинается литература, какъ историческая и культурная сила. Только отъ этой черты можно считать періоды ея дѣйствительнаго развитія. Вся предшествующая эпоха то же самое, что̀ обученіе чужому искуству говорить и понимать чужой говоръ. Усвоиваются отдѣльныя слова, грамматическія правила, извѣстная красота рѣчи, но отсюда еще очень

далеко до всесторонняго мышленія на извѣстномъ языкѣ. Для русскихъ писателей этотъ путь оказался не особенно длиннымъ. Но послѣ классицизма предстояло господство еще другихъ школъ, болѣе совершенныхъ въ художественномъ и идейномъ смыслѣ. Именно это совершенство и подтвердитъ нашъ взглядъ на русскій литературный европеизмъ.

XI.

Чувствительное и мѣщанское направленіе съ теченіемъ времени, конечно, должно было смѣнить классицизмъ и на русскомъ Парнасѣ. Это произошло уже въ то время, когда революція подводила практическіе итоги просвѣтительной литературѣ. Мѣщане со сцены перешли въ представительное собраніе и съ изумительной быстротой на первыхъ порахъ осуществили самыя смѣлыя мечтанія поэтовъ третьяго сословія.

Привилегіи исчезли, родовитое дворянство само отказалось отъ вѣковыхъ сословныхъ преимуществъ, и національное собраніе повторило съ точностью и эффектомъ рѣчи и подчасъ даже сценическую игру героевъ изъ мѣщанской драмы.

Въ самый разгаръ этихъ событій французскую столицу посѣтилъ глава русскаго сентиментализма и талантливѣйшій пѣвецъ поселянъ и простыхъ горожанокъ.

Это былъ двадцатитрехлѣтній юноша, превосходно образованный, владѣвшій главнѣйшими европейскими языками, начитанный въ ихъ литературахъ и, вдобавокъ, впечатлительный, умный и очень даровитый.

Онъ отправился заграницу и для услады чувствительнаго сердца, и для утѣхи любознательному уму. Онъ, повидимому, совершенно культуренъ и никоимъ образомъ не обозвалъ бы знаменитѣйшихъ французскихъ энциклопедистовъ бульварными шарлатанами, презрѣнными стяжателями и эгоистами, ни разу, вѣроятно, не почувствовалъ желанія перестрѣлять «почтальоновъ-скотовъ», и не пришелъ бы въ смертный ужасъ, увидѣвъ въ театрѣ солдата рядомъ съ начальствомъ.

Нѣтъ. Все это, перечувствованное и пересказанное авторомъ *Недоросля*, недоступно будущему историку *Бѣдной Лизы*. Онъ коротко и ясно заявитъ своимъ соотечественникамъ: «Пусть Виргиліи прославляютъ Августовъ, пусть краснорѣчивые льстецы хвалятъ великодушіе знатныхъ, я хочу хвалить Флора Силина, простого поселянина!..» И дѣйствительно восхвалитъ.

Пока онъ умиляется предъ «счастливыми швейцарами», погружается въ сладкую меланхолію у памятника Руссо, и убѣжденъ въ очень красивой и трогательной истинѣ: «Цвѣты грацій украшаютъ всякое состояніе». Это очевидно изъ блаженнѣйшаго состоянія «просвѣщеннаго земледѣльца», когда онъ сидитъ «на мягкой зелени съ нѣжной своей подругою» и не хочетъ завидовать счастью даже «роскошнѣйшаго сатрапа».

Сцена, дѣйствительно, очень поэтическая, тѣмъ болѣе, что просвѣщенный поселянинъ предполагается отдыхающимъ послѣ «трудовъ и работы», слѣдовательно, настоящій образованный крестьянинъ, чуть не за сохой читающій *Письма русскаго путешественника.*

И вотъ такой-то восторженный поэтъ очутился лицомъ къ лицу съ самыми громкими трибунами «поселянъ», т.-е. французскаго народа. Одно изъ *писемъ* помѣчено: *Парижъ, 18 мая 1789 года.* т. е. написано въ первые дни послѣ открытія генеральныхъ штатовъ. Путешественникъ надолго остался въ Парижѣ и имѣлъ полную возможность воспринять и оцѣнить какія угодно впечатлѣнія и въ какомъ угодно количествѣ.

Что же получилось въ результатѣ?

Мечтатель, способный приходить въ восторгъ отъ швейцарской свободы, впадать въ глубокомысліе по поводу женевскаго философа, въ Парижѣ оказывается Іереміей революціи. Всѣ его сочувствія—*по ту сторону,* т. е. къ старой французской монархіи. При ней «все блаженствовало»,—таково убѣжденіе чувствительнаго русскаго странника. Онъ ухитряется отыскать какого-то аббата изъ очень распространенной породы салонныхъ паразитовъ и разгуливаетъ съ нимъ по парижскимъ улицамъ, оплакивая минувшее «благоденствіе».

Опять очень любопытное явленіе. Именно эти аббаты, не имѣвшіе ничего общаго ни съ церковью, ни съ духовными обязанностями, патентованные сплетники аристократическихъ гостиныхъ и при счастливыхъ обстоятельствахъ—«друзья дома», еще при Людовикѣ XV вызывали глубочайшее отвращеніе у современниковъ. Напримѣръ, одинъ изъ министровъ, маркизъ Даржансонъ, отнюдь не атеистъ и не радикалъ, въ своихъ запискахъ писалъ даже особую главу подъ такимъ названіемъ: «О скандалѣ. Уничтожить (éteindre) смѣшную породу свѣтскихъ людей, именуемыхъ аббатами...»

И просвѣщенный россіянинъ, полъ-вѣка спустя, не находитъ

въ Парижѣ ничего болѣе поучительнаго, чѣмъ бесѣда съ подобнымъ обломкомъ навсегда похороненнаго прошлаго. Онъ съ упоенiемъ слушаетъ росказни аббата о салонахъ, насмѣшки надъ энциклопедистами, а рѣчи Мирабо считаетъ пустой болтовней и не видитъ въ нихъ ничего, кромѣ грубой сварливой запальчивости.

Зачѣмъ французы перестали думать «о памятникахъ любви и нѣжности!»—вотъ самое настоящее сердечное горе русскаго наблюдателя. Зачѣмъ исчезли «цвѣты» изящныхъ обществъ и пало «священное дерево» подъ ударами «дерзкихъ»—такова политика нашего философа. А житейская мудрость еще проще. «Я не зналъ въ Парижѣ ничего, кромѣ удовольствiй», признается авторъ, и дальше единственное въ своемъ родѣ излiянiе чувствъ:

«Я оставилъ тебя, любезный Парижъ, оставилъ съ сожалѣнiемъ и благодарностью! Среди шумныхъ явленiй твоихъ жилъ я спокойно и весело, какъ беззпечный гражданинъ вселенной, смотрѣлъ на твои волненiя съ чистою душею, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море...»

И вы напрасно стали бы искать болѣе или менѣе цѣнныхъ и просто фактическихъ свѣдѣнiй о необыкновенной эпохѣ и исключительныхъ людяхъ. Ничего меланхолическiй, скромно-эпикурействующiй пастырь не видалъ и не понялъ. Надъ его головой могли гремѣть какiе угодно громы, подъ ногами колебаться земля,—онъ ни на одну минуту не прервалъ бы своихъ воздыханiй о любви, о нѣжности, о грацiяхъ, о цвѣтахъ. Имѣло ли послѣ этого смыслъ учиться иностраннымъ языкамъ, читать французскихъ писателей и нѣмецкихъ философовъ, если въ Парижѣ 89 года можно было не знать ничего, кромѣ удовольствiй, а въ Германiи Лессинга и Канта считать «истиннымъ философомъ того, кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ?»

Рѣшительно не вышло бы никакого изъяна ни для удовольствiй, ни для уживчивости, если бы ни Руссо, ни Гёте не были извѣстны даже по именамъ будущему россiйскому исторiографу. Онъ научился единственному искусству у заграничныхъ учителей, и то какъ и для чего научился! Онъ умѣетъ безъ конца растекаться въ чувствительномъ лиризмѣ, поминутно обращаться къ сердцу, природѣ, человѣческому счастью и прочимъ, не менѣе опредѣленнымъ и трогательнымъ предметамъ, впослѣдствiи онъ воспоетъ Лизу, непремѣнно *бѣдную* во всѣхъ смыслахъ слова. Все это несомнѣнные отголоски чувствительности и народности новой французской литературы.

Но опять, будто по волшебству, исчезъ ея живой духъ, и Флоръ Силинъ ни единой чертой не напоминаетъ буржуазныхъ и демократическихъ героевъ западной драмы. Онъ, скорѣе, пейзанъ г-жи Помпадуръ, на красныхъ каблучкахъ, въ разноцвѣтныхъ лентахъ и съ вѣчной любовной пѣсенкой на устахъ...

Опять про русскаго писателя можно съ полнымъ правомъ повторить рѣчь Екатерины: «изображеніе въ поэтѣ работаетъ, а связи въ мысляхъ понять ему тяжело».

Именно въ мысляхъ. Потому что, кто же, съ нѣкоторой связью въ мысляхъ, изъ всей революціонной бури могъ извлечь спереточнаго аббата и при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ французской исторіей, додуматься до идеи о всеобщемъ благоденствіи подъ властью Бурбоновъ! Кто, наконецъ, могъ проглядѣть великій культурный смыслъ философской и литературной борьбы въ Германіи, и какую угодно истину предпочесть молчалинской добродѣтели!..

Очевидно, требовалась незаурядная власть воображенія надъ самымъ, повидимому, убѣдительнымъ краснорѣчіемъ жизни и логики.

И что̀ послѣ этого означали потоки слезъ, пролитыхъ русскимъ авторомъ и его читательницами надъ прудомъ Симонова монастыря! Какой смыслъ могла имѣть смѣхотворная идиллія о просвѣщенномъ поселянинѣ и доброй поселянкѣ!.. Ничего, кромѣ все той же лжи, какую вносилъ въ литературу и классицизмъ, того же роковаго пренебреженія къ правдѣ и дѣйствительности. Все равно, какъ высокопросвѣщенный классическій піита именно въ своемъ «просвѣщеніи» и своей школѣ черпалъ лишнія основанія отрицать у «нашего народа» благородныя чувствія, точно также пѣвецъ сельскихъ нѣжностей считалъ свой гражданскій долгъ вполнѣ уплаченнымъ послѣ сентиментальныхъ воркованій о невиданныхъ міромъ земледѣльцахъ и ихъ подругахъ. Непосредственно отъ бумаги, залитой реторическими слезами, можно было вполнѣ свободно и съ сознаніемъ собственнаго достоинства перейти къ крѣпостнической практикѣ, т. е. просто къ торговлѣ и мѣнѣ непросвѣщенными поселянами и не столь нѣжными поселянками. Такой именно путь и совершалъ нашъ путешественникъ.

Это даже не противорѣчитъ вообще психологическимъ законамъ. Литературныя упражненія, эстетическія волненія и книжное краснорѣчіе отнюдь не влекутъ къ реальнымъ послѣдствіямъ въ жизни, если только не та же жизнь подсказала мотивы и идеи краснорѣчія. Напротивъ, работа надъ бумагой дѣлаетъ человѣка постепенно почти совершенно равнодушнымъ къ человѣческой

кожѣ, и онъ перестаетъ различать свои впечатлѣнія отъ своихъ поступковъ, игру своей фантазіи отъ дѣйствительности. Всѣ предметы преобразовываются и даже мѣняютъ свои подлинныя имена. Мужикъ замѣняется мужичкомъ, деревня — сельскимъ раемъ, помѣщикъ—добрымъ бариномъ, бѣдствія однихъ и роскошь другихъ переводятся очень изящнымъ стилемъ — скромный хлѣбъ труженика и избытокъ богачей.

Все какъ слѣдуетъ, и чувствительный поэтъ, только что воспѣвшій Флора Силина, азартно будетъ защищать народное рабство, потому что, вѣдь, то поселянинъ, а эти—просто мужики. Сказка никогда не сойдется съ былью, и именно поэтому доставитъ не мало утѣхъ просвѣщеннымъ любителямъ цвѣтовъ и грацій.

Но исторія сентиментализма въ Россіи представила и еще другія, не менѣе любопытныя явленія.

Съ классицизма нечего было спрашивать *дѣятельной* мысли: онъ по самой сущности — литература застоя и «благоденствія». Не то чувствительная школа. На Западѣ она по происхожденію и по смыслу—*протестъ*. У самыхъ скромныхъ французскихъ чувствительныхъ драматурговъ, въ родѣ Лашоссэ—одного изъ родоначальниковъ новой драмы—уже обнаруживается ея основная задача.

Сначала вопросъ идетъ о правахъ чувства. Они выше сословныхъ предразсудковъ и случайностей фортуны. Они сами по себѣ источникъ счастья и основа человѣческаго достоинства. Даже если примѣнить эту истину только къ любви и браку, старая семья—вся разсчетъ и предразсудокъ — неминуемо рушится и, слѣдовательно, пробивается первая брешь въ вѣковомъ зданіи привилегій и родовыхъ преимуществъ.

Но, вполнѣ послѣдовательно, права чувства можно распространить и дальше, на какую угодно область общественныхъ явленій. Гдѣ несправедливость, гдѣ существуютъ униженные и оскорбленные, тамъ и поприще для чувства и для чувствительной литературы. И французскіе драматурги, а за ними Лессингъ и Шиллеръ, быстро перенесли на сцену рѣшительно всѣ современные вопросы политики, церкви, сословныхъ отношеній. У нѣмцевъ не всѣ эти мотивы развились съ одинаковой полнотой, но у французовъ XVIII-го вѣка сцена превратилась въ настоящую парламентскую трибуну, и партеръ въ теченіе десятилѣтій игралъ роль самаго отзывчиваго и добросовѣстнаго миттинга *).

*) См. нашу книгу: *Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII-го вѣка.*

Для насъ собственно важенъ общій выводъ: чувство въ европейской литературѣ явилось необыкновенно живой нравственной и общественной силой и именно этимъ своимъ достоинствомъ стяжало новой литературѣ громадную популярность.

При старой французской монархіи всюду было сколько угодно жертвъ, и католическая церковь соперничала съ государствомъ и дворянствомъ въ умноженіи ихъ числа и отягощеніи ихъ участи. Естественно, художественная литература, независимо отъ какихъ бы то ни было философскихъ воздѣйствій, неминуемо распространила свою власть на всю исторію и на все настоящее Франціи, просто потому, что была воодушевлена гуманностью, состраданіемъ и справедливостью. Она хотѣла быть только нравственной, и немедленно стала политической, и именно драмѣ и сценѣ философы обязаны распространеніемъ своихъ идей среди низшихъ классовъ публики.

Въ какой же роли является чувство у насъ?

Въ совершенно неузнаваемой. Оно будто измѣнило свою природу, утратило нервы и кровь и лишилось всякой человѣческой чуткости. Съ нимъ совершилось то же самое превращеніе, какое испыталъ библейскій богатырь, побывавъ въ рукахъ языческой блудницы: онъ утратилъ силу и достоинство и сталъ презрѣнной игрушкой въ нечистыхъ рукахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не игра мирно-пастырское созерцаніе величайшаго историческаго переворота и развѣ не чудовищная метаморфоза европейскихъ идей въ слѣдующемъ ученіи русскаго философа?

Всякое общество священно уже потому, что существуетъ. «Самое несовершеннѣйшее» должно вызывать у насъ изумленіе своей «чудесной гармоніей». «Вѣкъ златой» возможенъ всюду, при всевозможныхъ условіяхъ, такъ какъ для счастья необходима только добродѣтель. Высшая мудрость—полнѣйшая тишина и покорность судьбѣ. Пусть все идетъ на свѣтѣ по закону инерціи: человѣкъ обязанъ не покидать своего поста—мирнаго пастыря, смотрящаго съ горы на бурное море, или еще лучше, находчиваго сибарита, умѣющаго вырывать цвѣты удовольствія изъ самой пасти Сциллы и Харибды.

И вы не думайте, будто это говоритъ юношеская неопытность, молодое, неосмысленное, хотя, можетъ быть, и доброе сердце. Нѣтъ. Всѣ эти идеи и картины лягутъ въ основу окончательной исторической философіи Карамзина и будутъ вдохновлять его на всѣхъ поприщахъ ученаго, поэта, публициста.

Движеніе XVIII вѣка, повидимому, столь ему близкое и извѣстное лично, получитъ краткую и энергическую оцѣнку: всѣ эти философы и политики «скучали и жаловались отъ скуки». Не болѣе. Чего же хлопотать намъ о разныхъ «либералистахъ» и идеологахъ: у насъ все тихо и мирно, больше ничего не требуется и мы должны «благодарить небо за цѣлость крова нашего».

И чувствительный рыцарь «Бѣдной Лизы» и Флора Силина не остановится ни предъ какими средствами отстоять свои «святыни», т. е. крѣпостничество и бюрократію во всей ихъ патріархальной неприкосновенности. Онъ двинетъ всѣ рессурсы своего краснорѣчія и отнюдь не сентиментальныхъ передержекъ противъ Сперанскаго, относительно Александра I повторитъ исторію Сумарокова съ Екатериной, т. е. заявитъ себя непримиримымъ врагомъ реформаторскихъ мечтаній молодого государя и благородныхъ совѣтовъ его ближайшихъ друзей. Бывшій поклонникъ «счастливыхъ швейцаровъ» начнетъ теперь издѣваться надъ республиками и конституціями, хотя бы это были даже Англія и Америка, Бонапарта возвеличитъ въ ущербъ Вашингтону и свои чувствительные навыки пуститъ въ ходъ уже не затѣмъ, чтобы воспѣть «просвѣщеннаго земледѣльца», а изобразить россійскаго дворянина во образѣ отца и патріарха.

Таковъ русскій представитель той самой литературной школы, какая во Франціи олицетворялась Дидро и Мерсье, въ Германіи зажгла гражданскимъ огнемъ юношеское сердце Шиллера и драмами поэта подняла всю молодежь до тѣхъ поръ будто политически-заснувшей страны.

Разъясненія излишни: слишкомъ краснорѣчивы факты! Они показываютъ, какъ мало внутренняго, нравственнаго прогресса въ смѣнѣ европейскихъ школъ на сценѣ русской литературы. Мы дальше оцѣнимъ заслуги Карамзина предъ русскимъ языкомъ—заслуги очень почтенныя, но мы теперь же должны запомнить, что собственно литературное направленіе здѣсь не при чемъ. Классики также не мало поработали для русскаго слога, но то исторія грамматики и стилистики, а не литературы.

Въ литературномъ смыслѣ сентиментализмъ остался такимъ же отрицательнымъ явленіемъ въ нашемъ отечествѣ, какъ и классицизмъ, еще даже въ сильнѣйшей степени.

Классицизмъ рѣзко и открыто, по уставу своего ордена, отвращалъ негодующіе или презрительные взоры отъ національной дѣйствительности и являлъ жестокосердіе и аристократизмъ убѣж-

деній въ силу своей художественной сущности, какъ привилегированной литературы. Это—искренній и честный врагъ правды, жизни и народа.

Не то сентиментализмъ.

Въ его репертуарѣ явились разные Силины и Лизы, поселяне и поселянки, зазвучали томные восторги предъ «бѣдностью» и «безвѣстностью», подчасъ даже предъ швейцарами-республиканцами... Можно подумать, дѣло повернуло противъ «Августовъ» и «знатныхъ» на пользу «всякаго состоянія» и даже «земледѣльца»...

Ничуть не бывало, въ результатѣ одна феерическая декорація и праздная игра писательскаго «изображенія», въ сущности обманъ и лицемѣріе. Да, иначе нельзя оцѣнить *нравственныя* качества карамзинскаго художества, и не надо пространныхъ доказательствъ, чтобы подобное литературное явленіе признать болѣе тлетворнымъ и порочнымъ, чѣмъ первобытно-откровенный классицизмъ.

Сентиментализмъ россійскихъ повѣстей и драмъ сослужилъ крайне печальную службу общественной нравственности нашихъ предковъ.

Онъ оказался для нихъ такимъ же удобнымъ, спасительнымъ средствомъ, какимъ искони вѣковъ обряды и разное ханжество являются у людей, въ дѣйствительности невѣрующихъ и жестокихъ.

Поплакать надъ чувствительной пьесой, пережить легкую нервную встряску надъ «трогательной» книгой—то же самое, что для ханжи выполнить извѣстный обиходъ «святаго человѣка». И любопытно, какъ разъ строжайшее выполненіе внѣшнихъ предписаній религіи закаляетъ сердце лицемѣра и ожесточаетъ его природу. Даже въ русской комедіи прошлаго вѣка извѣстенъ типъ богомольной барыни, безпощадной именно во время молитвы, жестокой съ своими слугами непосредственно послѣ набожныхъ и будто бы проникновенныхъ настроеній.

То же самое съ театральной и книжной чувствительностью. Всплакнувъ надъ *Бѣдной Лизой*, иной «отецъ и патріархъ» считалъ свой долгъ человѣколюбію сполна уплаченнымъ и могъ, пожалуй, даже приналечь на патріархальныя экзекуціи надъ подданными за то, что эти подданные такъ мало походили на героевъ сентиментальнаго автора и, слѣдовательно, не заслуживали «цвѣтовъ грацій», т. е. пощады своему человѣческому званію.

Въ результатѣ, нравственное вліяніе сентиментализма отнюдь не можетъ считаться благодѣтельнымъ въ нашей литературѣ и въ нашемъ обществѣ. Онъ по существу продолжалъ дѣло клас-

сицизма, т. е. еще больше углублялъ пропасть между литературнымъ словомъ и культурнымъ прогрессомъ, чисто-художественными увлеченіями и долгомъ писателя предъ своимъ народомъ. Постепенно создавался особый классъ эстетиковъ, риторовъ, маскарадныхъ лицедѣевъ на мотивы манерной граціи и слезливаго празднословія, и отчужденность между народомъ и тонко-просвѣщенными господами росли съ каждымъ новымъ шагомъ европеизма на русской почвѣ.

Въ крѣпостной практикѣ это явленіе отразилось разцвѣтомъ особаго класса аристократовъ—изъ лакейской среды, бурмистровъ, управляющихъ, вообще посредниковъ между бариномъ-европейцемъ и дикаремъ-мужикомъ. Потому что баринъ сталъ слишкомъ изященъ и цивилизованъ, чтобы лично имѣть дѣло съ своими «вассалами», и французская образованность русскихъ «феодаловъ» возымѣла совершенно для Европы неожиданныя послѣдствія: отягчила гнетъ, лежавшій на закрѣпошенной массѣ, и еще глубже унизила народъ предъ первымъ единственно просвѣщеннымъ сословіемъ.

Мы, конечно, не намѣрены подобные результаты приписывать именно европейскимъ вліяніямъ: мы говоримъ о преобразованіи этихъ вліяній въ русской средѣ, точнѣе—о вырожденіи европейской культуры въ высшемъ русскомъ обществѣ. Снова повторяемъ, вырожденіе не безусловно, бывали и настоящіе, прямые ученики европейской цивилизаціи. Но предъ нами литература и ея даровитѣйшіе, по крайней мѣрѣ, самые видные дѣятели. И они-то оказываются достойными соотечественниками тургеневскаго энциклопедиста и англомана, не выносившаго даже одного вида мужика. Очевидно, русская европейструющая литература сама по себѣ не заключала никакихъ сѣмянъ просвѣщенія и гуманности, оставалась однимъ изъ украшеній барскаго комфорта и еще ярче оттѣняла помѣщичью теплицу отъ мужицкой избы, привиллегированное тунеядство и эгоизмъ отъ крестьянскаго труда и неисчислимыхъ жертвъ.

Сентиментализмъ смѣнился третьей и послѣдней школой—романтической. Плоды ея въ нашемъ климатѣ еще оригинальнѣе: это одна изъ самыхъ своеобразныхъ комедій вообще въ исторіи человѣчества.

XII.

Мы видѣли, чѣмъ романтизмъ былъ на Западѣ,—ожесточенной войной противъ старыхъ преданій аристократической литературы. Но этого мало. Романтизмъ не ограничился искусствомъ, его юно-

шеская страсть борьбы захватила вопросы исторіи, какъ науки, идеалы отдѣльной личности, какъ члена общества. Всѣ эти задачи неразрывно связаны и вытекали изъ общаго неукротимаго стремленія къ свободѣ и оригинальности въ творчествѣ и въ жизни.

Мы знаемъ, эту свободу скоро подчинили *законамъ*, заключили въ теорію и формулу, но самая идея не могла остаться совершенно безплодной. Послѣ классиковъ, пустословившихъ по гречески хотя и на родномъ языкѣ, романтизмъ потребовалъ *національности* въ искусствѣ, на мѣсто античныхъ героевъ и ископаемой исторіи выдвинулъ на сцену прошлое новыхъ европейскихъ народовъ, не отступая предъ самыми первобытными его источниками, предъ средними вѣками. Новые поэты хотѣли быть дѣйствительно національными и народными. Современныя событія какъ нельзя болѣе благопріятствовали этому желанію. Наполеоновскія войны подняли глубочайшіе слои національнаго бытія всѣхъ народовъ, призвали на сцену исторіи именно націи и народнымъ силамъ отдали рѣшеніе грандіозной борьбы всей Европы съ французскимъ цезаремъ.

Въ результатѣ совершенно долженъ былъ измѣниться характеръ поэзіи и исторіи. Ученые принялись изучать народную старину, собирать народныя пѣсни, сказанія, въ своихъ работахъ центръ тяжести принесли на раскрытіе вѣковой народной жизни и выясненіе роли массъ въ великихъ событіяхъ прошлаго. Часто наука и поэзія здѣсь шли рука объ руку, вдохновляя другъ друга, снабжая взаимно идеями и матеріаломъ. Напримѣръ, изъ самаго ранняго французскаго романтизма извѣстенъ любопытнѣйшій фактъ воздѣйствія поэта на ученаго.

Поэтъ — Шатобріанъ, ученый — Огюстэнъ Тьерри. Историкъ впослѣдствіи разсказывалъ, какъ онъ рѣшилъ свое призваніе.

Ему было всего пятнадцать лѣтъ. Онъ учился въ школѣ и хуже всего зналъ исторію по крайне плохимъ и бездарнымъ учебникамъ. Однажды вечеромъ, уединившись въ школьной залѣ, Огюстэнъ читалъ поэму Шатобріана *Мученики*. Здѣсь, по обычаю автора, до чрезвычайности много треска и блеска и неисчерпаемое море пустозвонной мнимо-религіозной реторики. Но рядомъ встрѣчались картины, свидѣтельствовавшія о несомнѣнной чуткости романтическаго поэта къ средневѣковой народной старинѣ.

Между прочимъ, описывались франки. Для юнаго читателя этотъ таинственный народъ былъ извѣстенъ только по имени ничего отчетливаго ни въ правахъ, ни въ національномъ характерѣ завоевателей Галліи учебники не сообщали. И вдругъ,

поэма рисуетъ дикій, но величественный и грозный строй неукротимыхъ воиновъ, покрытыхъ звѣриными шкурами, лѣсомъ копій и съ громовой бранной пѣсней на устахъ. Пѣсня приводилась здѣсь же дословно...

Тьерри не выдержалъ впечатлѣнія, вскочилъ съ мѣста и, ходя изъ угла въ уголъ, принялся повторять громкимъ, восторженнымъ голосомъ военный гимнъ варваровъ.

Красота и своеобразная сила картины съ этихъ поръ навсегда завоевали будущій великій талантъ ученаго и писателя. И уже достаточно этой заслуги, чтобы обезсмертить романтизмъ и въ поблекшихъ—для насъ искони фальшивыхъ — лаврахъ Шатобріана оставить хотя бы одинъ зеленѣющій цвѣтокъ.

До послѣднихъ дней западными историками не забыты романтическія національныя увлеченія и ихъ великое значеніе для новой науки. Въ увлеченіяхъ часто обнаруживалось не мало уродливаго смѣшного и жалкаго. Иные фанатики мечтали о самомъ подлинномъ воскрешеніи старыхъ бардовъ и давно погребенной дѣйствительности. Но хористы неизбѣжны при всякомъ зрѣлищѣ, и чѣмъ оно грандіознѣе, тѣмъ ихъ больше. Они не помѣшали первымъ нѣмецкимъ романтикамъ, въ родѣ Шиллера, стать первыми трибунами народа, его свободы и достоинства, и новѣйшимъ нѣмецкимъ историкамъ именно съ этой эпохой связывать освобожденіе своей науки изъ тьмы филологическихъ кабинетовъ и дипломатическихъ канцелярій для широкаго поприща общенаціональнаго просвѣщенія и блага.

Впослѣдствіи французскій романтизмъ XIX вѣка остался вѣренъ своимъ началамъ и Гюго требовалъ безусловно національныхъ, мѣстныхъ и историческихъ красокъ въ драмѣ. Результаты не соотвѣтствовали энергіи принципа, и мы знаемъ почему, но смыслъ романтической школы съ того самаго момента, когда впервые было произнесено и опредѣлено г-жей Сталь самое слово *романтизмъ* и до послѣднихъ его отголосковъ въ нашемъ столѣтіи оставался неизмѣннымъ: *l'esprit de la liberté*, по выраженію той же писательницы, т.-е. самобытность, оригинальность, національная и личная борьба противъ всего нивеллирующаго, банальнаго и безличнаго.

Въ нравственномъ мірѣ отдѣльнаго человѣка романтическая стихія выразилась въ высшей степени любопытнымъ мотивомъ — *разочарованіемъ*. До сихъ поръ не написана ни культурная, ни психологическая исторія этого явленія, а между тѣмъ врядъ ли еще какимъ *нравственнымъ* фактомъ такъ краснорѣчиво характеризуется новое время, какъ разочарованіемъ.

Съ самаго начала и особенно съ теченіемъ времени къ этому настроенію новаго человѣка пристало неисчислимое множество всевозможной мелочи и пошлости. Въ обществѣ рѣшительно всѣхъ европейскихъ народовъ протекали цѣлыя десятилѣтія, сплошь заполоненныя разочарованными и равнодушными. Трудно и вообразить, сколько литературныхъ произведеній всевозможныхъ жанровъ посвящено этой изумительной эпидеміи, не поддававшейся, повидимому, никакому цѣлебному средству, даже самому вѣрному и сильному—смѣху. И до сихъ поръ кое-гдѣ, въ укромномъ и затхломъ захолустьѣ все еще поблескиваетъ старая мишура и смущаетъ простодушные взоры.

Въ чемъ же тайна такого единственнаго успѣха?

Отвѣтъ очень простой. Разочарованіе—это вѣдь неудовлетворенность, вообще недовольство окружающей жизнью, критика на нее, хотя бы молчаливая, страданія за ея уродства и презрѣнность, хотя бы и никому невѣдомыя и непонятныя. А кто недоволенъ и критикуетъ, тотъ, предполагается, стоитъ *выше* предмета критики, и разочарованіе, слѣдовательно, ничто иное, какъ тоска по идеалу, жажда чего-то исключительнаго, благороднаго и сильнаго. Разочарованный — своего рода искупительная жертва пошлаго и бездушнаго міра.

И это справедливо.

Возьмите разочарованіе въ жизни и поэзіи его подлинныхъ, искреннихъ исповѣдниковъ, вы непременно откроете именно эти страданія избранной натуры, ея органическій протестъ во имя личной свободы и человѣческаго достоинства противъ общественной косности и стадности.

Совершеннѣйшее воплощеніе разочарованія—байронизмъ. Этого и слѣдовало ожидать. Самая яркая протестующая личность должна была явиться на почвѣ исконной политической свободы и нравственной независимости. Байронъ —великобританецъ до послѣдняго нерва своего вѣчно-возмущеннаго организма, хотя именно на немъ съ небывалой послѣдовательностью оправдалась истина: никто не бываетъ пророкомъ въ своемъ отечествѣ.

О Байронѣ точнѣе будетъ сказать не въ отечествѣ, а въ родномъ обществѣ, т.-е. въ англійской аристократіи. Она никогда не поступалась и не поступится ни своими правами, ни своимъ достоинствомъ, но поведетъ борьбу съ соблюденіемъ традицій и прецедентовъ. Это капитальный фактъ всей англійской политической и общественной исторіи, и его-то нарушилъ Байронъ съ безпримѣрной отвагой и запальчивостью.

Трудно было наслѣднику «бѣшенаго Джэка» и цѣлаго ряда другихъ, не болѣе смиренныхъ предковъ, дѣйствовать «въ границахъ» и съ соблюденіемъ всѣхъ обрядностей самой сложной въ мірѣ британской внутренней политики. Но это не значило, будто мятежный лордъ порвалъ всѣ національныя связи въ своей революціонной дѣятельности. Напротивъ. Онъ остался лордомъ со всѣми его даже предразсудками и со всѣмъ традиціоннымъ комизмомъ.

Онъ, подобно какому-нибудь самому заурядному, всю жизнь безмолвному наслѣдственному законодателю, кичится своей знатностью и весьма часто заставляетъ насъ подозрѣвать, ужъ не защищаетъ ли онъ *личную независимость* во имя *своей власти*. Онъ изнываетъ по славѣ Наполеона и носится съ не особенно зрѣлой идеей, что его имя и бонапартовское оказываются съ тожественными иниціалами. Это стоитъ гордости Шатобріана, когда тому довелось имѣть квартиру въ той самой мѣстности, гдѣ когда то обиталъ Бонапартъ.

Все это жалкая суета суетъ, тѣмъ болѣе мелкая, чѣмъ серьезнѣе сущность байронизма.

А она—полная противоположность бонапартовской славѣ.

Байронъ единственный въ первой четверти нашего вѣка вѣрный преемникъ просвѣтительныхъ идей. Онъ подлинный ученикъ Руссо, но не фанатическій. Съ женевскимъ философомъ у него общаго только дѣйствительно положительные и разумные идеалы человѣчества: благородная, независимая личность, преисполненная ненависти ко всякому лицемѣрію и стаднымъ инстинктамъ, личность, жертвующая счастьемъ своему достоинству.

Въ этомъ мотивѣ настоящій *культурный* смыслъ байроновской поэзіи. Предъ нами разочарованіе не во имя отрицанія, а извѣстнаго идеала, правда, не вполнѣ опредѣленнаго въ подробностяхъ, но яснаго и увлекающаго въ цѣломъ.

Недаромъ наши поэты, Пушкинъ и Лермонтовъ, нашли въ поэзіи и даже личности Байрона нравственную опору для себя въ некультурной, заносчивой средѣ такъ называемаго «свѣта». Пушкинъ въ біографіи англійскаго поэта почерпнулъ не малое ободреніе для своей поэтической дѣятельности, непонятной и даже унизительной въ глазахъ окружающаго общества. И это нравственное вліяніе байронизма на лучшихъ русскихъ людей неизмѣримо важнѣе и глубже, чѣмъ литературное, до сихъ поръ совершенно незаслуженно занимающее столько мѣста въ русскихъ представленіяхъ о творчествѣ Пушкина и особенно Лермонтова.

Таковы основныя стихіи западнаго романтизма. Всѣ названные нами поэты и множество другихъ быстро стяжали обширную извѣстность среди нашихъ писателей и даже читателей. Мы увидимъ, романтизмъ сильно занималъ русскую критику и одно время волновалъ журналистовъ сильнѣе, чѣмъ всѣ политическіе вопросы. Что же вышло въ результатѣ этой популярности и этихъ волненій?

XIII.

При одномъ звукѣ *романтизмъ* всѣмъ на память непремѣнно приходитъ прежде всего имя Жуковскаго. Онъ единогласно признанъ даровитѣйшимъ, даже единственнымъ идеальнымъ романтикомъ и у современниковъ, и у потомства. Онъ «родился романтикомъ»—говоритъ о немъ Пушкинъ. И это справедливо, но всякія прирожденныя наклонности требуютъ пищи и поощренія, для души Жуковскаго все это нашлось въ нѣмецкой поэзіи. Онъ питомецъ нѣмецкаго романтизма по преимуществу, т. е. творчества Шиллера и германскихъ бардовъ эпохи Наполеона.

Мы знаемъ, ихъ вдохновеніе неудержимо, часто слѣпо стремилось воскресить вѣковую національную старину своей родины, они именно мнили себя новѣйшими наслѣдниками средневѣковыхъ бардовъ и рыцарей и свой историческій патріотизмъ часто доводили до театральной тевтономаніи.

Но старина блистала не одной національностью и народностью. Въ глубинѣ столѣтій, не отличавшихся умственнымъ свѣтомъ, жило много темныхъ преданій и неразгаданныхъ, запутанныхъ происшествій. Темнота здѣсь означала буквально темноту мысли, неразгаданность создавалась легковѣріемъ и наивнымъ воображеніемъ...

Но развѣ для восторженныхъ чтителей старины во имя ея «священныхъ сѣдинъ» и національной страсти, допустимы такія прозаическія объясненія? Нѣтъ, темнота—это таинственность, неразгаданность, выспренняя недоступность, нѣчто, превышающее силы обыкновеннаго человѣческаго разсудка и требующее романтической фантазіи и спеціальнаго чувства.

Въ результатѣ одновременно съ положительнымъ и жизненнымъ ядромъ романтизмъ пріобрѣлъ также свой хвостъ—изъ «туманности» и «неопредѣленности» основныхъ недостатковъ романтизма, по мнѣнію Гёте.

Теперь послѣдователямъ романтиковъ предстояло или ограни-

читься національными и историческими задачами, т. е. ясной, оригинальной поэзіей или дать волю мечтамъ и снамъ и погрузиться въ міръ призраковъ и чудесъ.

Жуковскій выбралъ послѣдній путь.

Національность въ его поэзіи ограничилась весьма сомнительными созданіями въ родѣ Свѣтланы, Людмилы, если и русскихъ, то съ крѣпкой примѣсью космополитическаго «вѣчно женственнаго» элемента. Герои нашего романтика гораздо ближе походятъ на просвѣщенныхъ земледѣльцевъ и нѣжныхъ подругъ Карамзина, чѣмъ на подлинныхъ русскихъ людей. Въ сущности, Жуковскій поэтъ карамзинскаго сентиментализма, только съ примѣсью разной международной чертовщины.

Вотъ въ ней-то и выразился русскій романтизмъ, какъ плодъ нѣмецкихъ вліяній. Жуковскій могъ вполнѣ серьезно разсказывать о привидѣніяхъ, будто лично ему знакомыхъ, и мы не знаемъ до какихъ предѣловъ могла доходить любимая идея поэта: «*мы, не должны смущаться сердцемъ*... мы должны *вѣрить, вѣрить* и *вѣрить*». Такъ подчеркиваетъ самъ Жуковскій, очевидно особенно настаивая на покоѣ и вѣрѣ.

Да, *покой*. Это всеобъемлющая черта въ характерѣ нашего романтика. На Западѣ именно романтики поднимали особенно много шуму подчасъ ради даже самого шума, это они по преимуществу бурные геніи, герои «стремленія и натиска»... А у насъ о романтическомъ поэтѣ Гоголь могъ написать такія строки:

«Благоговѣйная задумчивость, которая проносится сквозь всѣ его картины, истекаетъ изъ того грѣющаго, теплаго свѣта, который наводитъ необыкновенное успокоеніе на читателя. Становишься тише во всѣхъ своихъ порывахъ и какою-то тайною замыкаются твои собственныя уста».

Замѣчательно, сентиментализмъ изъ дѣятельной общественной силы превратился у насъ въ идиллическое усладительное лганье, романтизмъ изъ школы реформы и борьбы сталъ меланхолическимъ сибаритскимъ созерцаніемъ. Духъ жизни и энергіи, будто по какому-то роковому закону, отлеталъ отъ европейскихъ литературныхъ ученій, и русскіе ученики умѣли заимствовать въ большинствѣ случаевъ *отстой* каждаго движенія, а не его цвѣтъ и силу. Они часто предпочитали становиться подъ знамя второстепенныхъ иноземныхъ учителей, даже не различая звѣздъ разныхъ величинъ и не проникая въ смыслъ дѣятельности самихъ вождей.

Сумароковъ, Карамзинъ, Жуковскій—по содержанію, а первые

два и по формѣ своихъ произведеній, несомнѣнно, стояли ближе къ Мармонтелямъ, Жанлисамъ, Тикамъ, чѣмъ къ Вольтерамъ, Дидро, Шиллерамъ. Пушкинъ такъ оцѣнивалъ русскій классицизмъ:

«Французская обмельчавшая словесность envahit tout. Знаменитые писатели не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи, но бездарные писаки—грибы, выросшіе у корней дубовъ»...

Это не во всемъ объемѣ примѣнимо къ русско-нѣмецкому романтизму, и притомъ Жуковскій не мечталъ быть оригинальнымъ поэтомъ, славу свою ограничивалъ усвоеніемъ русской литературѣ чужихъ произведеній. Но тамъ, гдѣ сказывались его личныя наклонности къ творчеству, отъ западнаго романтизма оставались лишь, по выраженію Гоголя, «страсть и вкусъ къ призракамъ и привидѣніямъ нѣмецкихъ балладъ».

И что̀ особенно любопытно, національныя стремленія романтизма на русской почвѣ дали совершенно неожиданные плоды. Жуковскій силенъ и знаменитъ именно способностью перелагать красоту и духъ иноземнаго творчества на русскій языкъ, т. е. проникаться мотивами чужого вдохновенія. Жуковскій часто превосходитъ переводимыхъ поэтовъ изяществомъ и поэтичностью языка, но муза остается все-таки зарубежной богиней и нашъ даровитѣйшій романтикъ—только переводчикъ.

О другихъ идеяхъ романтизма нечего и говорить. Онѣ цѣликомъ покрываются изреченіями идиллическаго героя, грека Эсхила:

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ:
Все въ жизни къ великому средству—
И горесть, и радость—все къ цѣли одной.
Хвала жизнедавцу—Зевесу!

Что̀ это значитъ, подробнѣе объяснено въ швейцарскомъ письмѣ, путемъ такъ-называемой «горной философіи».

Философъ созерцаетъ страну, гдѣ когда-то совершались великіе физическіе перевороты, и приходитъ почти къ карамзинскому идеалу: сидѣть спокойно на горѣ и глубокомысленно взирать на волнующееся внизу море... Мы говоримъ *почти*, потому что личная природа Жуковскаго гораздо гуманнѣе и благороднѣе, чѣмъ сердце и умъ сентиментальнаго ритора, и онъ готовъ признать извѣстныя права за прогрессомъ. Но только пусть они осуществляются сами собой, а человѣкъ долженъ неутомимо работать и благодушно пользоваться жизнью «на своемъ мѣстѣ, въ своемъ кругѣ»... Повѣрьте, убѣждаетъ нашъ оптимистъ, при какихъ угодно условіяхъ всякому можно быть *справедливымъ*, а «въ этомъ

его человѣческая свобода». Очевидно. это карамзинская *добродѣтель*, совершенно будто бы довлѣющая для человѣческаго счастья и всевозможныхъ идеаловъ.

У Жуковскаго въ теченіи всей жизни не поднималась рука на защиту крѣпостного права, какъ его мыслилъ авторъ *Бѣдной Лизы*: напротивъ, трудно отыскать среди современниковъ болѣе искренне-сердечнаго и дѣйствительно *хорошаго человѣка*, чѣмъ нашъ романтикъ. Но съ высоты «горной философіи» онъ судитъ объ европейской исторіи и жизни совершенно въ духѣ своего лицедѣйствующаго современника. Для него событія сорокъ восьмого года не болѣе, какъ буйство черни. хотя онъ лично можетъ наблюдать германское движеніе, и послѣдній выводъ его буквально московитскій, патріотическій въ смыслѣ *Исторіи государства Россійскаго*.

А между тѣмъ, еще въ 1822 году, подъ вліяніемъ пребыванія въ Европѣ, Жуковскій освобождаетъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, въ то же время ведетъ войну съ цензурой за слѣдующіе стихи Шиллера:

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und wäre er in Ketten geboren—

«человѣкъ созданъ свободнымъ, и свободенъ, даже если бы родился въ цѣпяхъ». Цензура не пропускаетъ этихъ строкъ, и поэтъ не печатаетъ всего перевода.

И смыслъ шиллеровскихъ словъ — подлинный романтизмъ въ области общественныхъ вопросовъ Сорокъ восьмой годъ также одна изъ страницъ романтической исторіи, при всѣхъ его увлеченіяхъ и крайностяхъ. Можно было не признавать его во всѣхъ подробностяхъ, но зачеркивать однимъ взмахомъ пера — значило краснорѣчивѣйшую дѣйствительность Германіи приносить въ жертву призракамъ и туманамъ ея юродствовавшихъ бардовъ.

Легко представить, что должно было произойти въ русскомъ обществѣ съ другимъ романтическимъ мотивомъ—разочарованіемъ. Нравственная сущность его даже не коснулась русскаго сознанія, но за то съ необыкновенной переимчивостью и поэты, и ихъ публика усвоили хвостъ байронизма, т. е. все каррикатурное, лубочно-эффектное и эгоистическое. И вполнѣ естественно.

Высшее общество объявило «якобинцемъ» Жуковскаго за только что приведенные стихи Шиллера, какъ же оно послѣ этого могло *понять* байронизмъ?

На помощь пришелъ самъ же Байронъ съ его аристократи-

ческими причудами, съ маскарадными мистификаціями, съ головокружительными любовными приключеніями, и со всевозможнымъ психопатизмомъ его героинь—то искреннихъ въ своемъ «безуміи», то еще чаще позировавшихъ въ интригующей роли жертвъ знаменитаго и «фатальнаго» человѣка.

Всей этой пустяковиной и фокусничествомъ отнюдь не исчерпывался байронизмъ, но русскимъ ли недорослямъ было отдѣлять грязь отъ золота? Что ярче бросалось въ глаза, и особенно что̀ являлось доступнѣе и не налагало никакихъ умственныхъ усилій и нравственныхъ обязательствъ, то и хваталось обѣими руками.

Въ результатѣ литература и общество принялись щеголять въ новой формѣ лжи и лицемѣрія, ничѣмъ не уступавшей праздному чувствительному нытью ранней школы. Жуковскій очень остроумно выразился о стихахъ одного изъ самыхъ бойкихъ русскихъ романтиковъ — Языковѣ: его поэзія—«восторгъ, никуда не обращенный».

То же самое можно сказать, и о противоположныхъ настроеніяхъ: тоска, ни на чемъ не основанная и ни къ чему не стремящаяся.

Москвичъ такъ же удобно щеголялъ въ гарольдовомъ плащѣ, какъ и во французскомъ кафтанѣ. Даже еще удобнѣе. Мрачный, меланхолическій видъ, «змѣящаяся», многозначительно горькая улыбка окончательно освобождали его отъ всякой практической дѣятельности, кромѣ уловленія женскихъ сердецъ. Вѣдь онъ презираетъ окружающій міръ и людей, чего же ему дѣлать здѣсь? Достаточно, если онъ будетъ удостоивать «людское стадо» созерцанія своей особы!

И съ какимъ усердіемъ русская литература въ теченіе десятилѣтій живописуетъ блѣдныхъ поручиковъ разныхъ, преимущественно декоративныхъ войскъ! Сколько тратится изобрѣтательности, чтобы выдумать фамилію возможно болѣе зловѣщую въ родѣ Тамарина, Анчарова! Сколько надо изворотливости описать все ту же трафаретную фигуру «интересными» красками и заставлять «говорить молчаніе», такъ какъ герою вообще не полагается разговорчивости, а только въ торжественныхъ случаяхъ «открывать душу».

А сколько изведено стиховъ и рифмъ на слова *тоска, отчаяніе, презрѣніе*! И до послѣднихъ дней все еще русскіе юнцы время отъ времени бряцаютъ по ржавымъ струнамъ и разсчитываютъ собрать публику на пошлый, давно заигранный фарсъ.

Но въ извѣстной средѣ понятіе о пошлости совсѣмъ другое, и тамъ, гдѣ театральныя слезы раньше сходили за истинное чувство, гусарское разочарованіе являлось несомнѣннымъ героизмомъ, исключительностью натуры. Героизмъ рѣшительно никого не безпокоилъ. Два стиха Шиллера, сравнительно съ сотней Тамариныхъ и Грушницкихъ, цѣлая революція, «странный либерализмъ», по мнѣнію «свѣта». И этихъ стиховъ не терпятъ, не допускаютъ всего *десятка словъ*, но превосходно уживаются съ самыми «фатальными» гарольдами.

Очевидно, и въ романтизмѣ среди русскаго общества разыгралась только новая комедія на старую тему—лицемѣрія, безсилія и неразумія. Русскіе читатели западныхъ поэтовъ умѣли совершенно обезвредить и облагонамѣрить самыхъ, повидимому, неукротимыхъ романтиковъ. Нужна была по истинѣ на рѣдкость затхлая и мертвая атмосфера, чтобы байронизмъ низвести до уровня перваго встрѣчнаго недоросля! Но требовался также и не совсѣмъ обычный строй души, чтобы изъ цѣлой литературной школы извлечь какъ разъ ея отрицательныя стороны и даже, на мѣстѣ талантливѣйшаго и серьезнѣйшаго поэта, того же Жуковскаго, весь романтизмъ свести къ идиллическимъ картинамъ и разной «чертовщинѣ».

«Онъ святой, хотя родился романтикомъ», выражался Пушкинъ о пѣвцѣ Свѣтланы. Это *хотя* достойно вниманія. Его можно приставить ко всякому русскому поэту, пересаживавшему иноземные цвѣты въ свое отечество. Сумароковъ — крѣпостникъ, хотя считалъ себя ученикомъ Вольтера, Фонвизинъ — типичный московскій баринъ и россійскій дворянинъ, хотя преслѣдовалъ злонравіе и создалъ мудраго и любвеобильнаго Стародума, Карамзинъ-сладкопѣвецъ—благонадежнѣйшій рыцарь «старой» Россіи, пожалуй, даже Московіи...

Мы называемъ только генераловъ нашей западнической литературы, о рядовыхъ нечего и говорить, насколько они зависѣли отъ того или другого литературнаго направленія. Всѣ неизбѣжно попадали въ общее теченіе вмѣстѣ съ самой публикой. Она была не менѣе писателей «просвѣщенна», но не могла допустить и мысли, чтобы просвѣщеніе нанесло какую-нибудь поруху чину, званію и состоянію человѣка голубой крови и бѣлой кости. О русскихъ меценатахъ даже съ гораздо бо́льшимъ основаніемъ можно повторить рѣчь, сказанную Вольтеромъ по поводу философскихъ увлеченій знатныхъ господъ—европейцевъ.

Эти господа, принимая у себя литераторовъ и болтая съ ними о разныхъ опасныхъ вещахъ, по словамъ Вольтера вообще отнюдь не противника благородныхъ покровителей, такъ думали про себя:

«У насъ сто тысячъ экю ренты, и, кромѣ того, почести. Мы не желаемъ всего этого лишиться ради нашего удовольствія. Мы раздѣляемъ ваши взгляды, но мы заставимъ васъ сжечь при первомъ же случаѣ, чтобъ научить васъ, какъ высказывать свои мнѣнія».

И подобная угроза въ устахъ русскихъ философовъ являлась еще менѣе шуточной, чѣмъ во Франціи. Радищевъ и Новиковъ доказали, что значило въ самый разгаръ западническихъ вліяній на русскую литературу и аристократическое общество не умѣть высказывать своихъ мнѣній.

Державинъ, напримѣръ, умѣлъ.

Онъ отлично зналъ, какую собственно роль играетъ поэзія въ глазахъ современной публики: не болѣе, какъ роль лимонада, напитка очень пріятнаго и даже сладостнаго въ лѣтнюю жару. Но кто же станетъ ради этого оказывать особый почетъ или просто цѣнить производителей прохладительныхъ напитковъ!

Они нисколько не важнѣе и не почтеннѣе, чѣмъ всякій другой поставщикъ житейскаго комфорта: поваръ, обойщикъ, даже просто лакей.

И Тредьяковскій можетъ быть вполнѣ свободно побитъ, Сумароковъ — спеціально натравленъ на другого писателя, Фонвизинъ съ удовольствіемъ будетъ потѣшать петербургскіе салоны шутовскимъ изображеніемъ своихъ собратьевъ—литераторовъ.

И вдругъ такіе-то господа посмѣютъ обезпокоить «законныя права» своихъ читателей и поощрителей! Вышло бы нѣчто совершенно противоестественное, «революціонерное», какъ выражались просвѣщенные бригадиры и чувствительныя совѣтницы.

Въ результатѣ, всѣ литературные школы у насъ оказывались просто *школьничаньемъ*, потому что надъ ними тяготѣла одна неизмѣримо болѣе существенная и вліятельная школа, — школа современной общественной жизни. Чего стоили какой-нибудь сентиментализмъ или романтизмъ, когда баринъ писалъ и баринъ же читалъ? Баринъ не въ смыслѣ происхожденія, а строго-опредѣленной психологіи. И ко всѣмъ періодамъ нашей *школьной литературы* одинаково примѣнимо мѣткое сужденіе Гоголя о началѣ XIX-го вѣка:

«Поверхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія на-

шей поэзіи: одно общесвѣтское стало ея предметомъ, и она сдѣлалась сама похожею на умнаго и ловкаго свѣтскаго человѣка, когда онъ сидитъ въ гостиной и ведетъ разговоръ совсѣмъ не затѣмъ, чтобы повѣдать душевную исповѣдь свою или подвинуть другихъ на какое-нибудь важное дѣло, но затѣмъ, чтобы просто повести разговоръ и пощеголять умѣньемъ вести его обо всѣхъ предметахъ».

Это необыкновенно проницательно и вѣрно: «не затѣмъ, чтобы повѣдать *душевную исповѣдь*» и не для какихъ-либо жизненныхъ цѣлей, а просто ради нервнаго возбужденія, ради разговорнаго процесса.

«Я воспою Флора Силина»' «я разсѣю въ монологахъ своихъ трагедій множество правоучительныхъ истинъ и меня за это похвалитъ даже французскій журналъ» *), «я изображу съ негодованіемъ жестокую помѣщицу», «я воспою русскаго молодца и русскую красавицу», но все это «не ведетъ къ послѣдствіямъ».

Въ салонѣ примутъ всѣ эти шалости пера и произойдетъ точь-въ-точь сцена изъ гоголевской повѣсти.

Свѣтская барыня въ мастерской художника замѣчаетъ этюдъ мужика, приходитъ въ экстазъ и взываетъ къ дочери:

— Ахъ, мужичокъ! Lise, Lise! мужичокъ въ русской рубашкѣ! смотри! мужичокъ!..

Совершенно такъ же она закричитъ, отыскавши въ лѣсу грибъ, въ модномъ журналѣ—интересную прическу, въ веселой газетѣ—новый рецептъ притираній...

Очевидно, русской литературѣ никогда бы не стать ни литературой, ни русской, если бы она осталась на пути европейскихъ школъ и отечественнаго аристократизма. Предстояла настоятельная необходимость порвать и со школами, и съ обществомъ: это одинъ и тотъ же актъ прогресса и онъ въ дѣйствительности совершился одновременно, въ жизни и дѣятельности однихъ и тѣхъ же людей.

XIV.

Сорокъ лѣтъ тому назадъ, въ нашей литературѣ поднялъ много шуму вопросъ о поколѣніяхъ. *Отцы* и *дѣти* надолго, можно ска-

*) Въ парижскомъ «*Journal étranger*», въ 1755 году помѣщена сочувственная статья о «*Синавѣ и Труворѣ*», переведенной на французскій языкъ кн. Долгоруковымъ. Трагедія восхвалялась особенно за нравственныя сентенціи.

зать, до послѣднихъ дней, стали на очередь дня и заняли первое мѣсто въ высшей публицистикѣ. Два даровитѣйшихъ писателя отозвались на злобу цѣлымъ рядомъ произведеній, одно изъ нихъ навсегда дало кличку самому явленію, въ другомъ авторъ, Писемскій, обобщалъ его въ слѣдующихъ яркихъ, но правдивыхъ словахъ:

«Ни одна, вѣроятно, страна не представляетъ такого разнообразнаго столкновенія въ одной и той же общественной средѣ, какъ Россія. Не говоря ужъ объ общественныхъ сборищахъ, какъ, напримѣръ, театральная публика или общественныя собранія, на одномъ и томъ же балѣ, составленномъ изъ извѣстнаго кружка, въ одной и той же гостиной, въ одной и той же, наконецъ, семьѣ, вы постоянно можете встрѣтить двухъ трехъ человѣкъ, которые имѣютъ только нѣкоторую разницу въ лѣтахъ и уже, говоря между собою, не понимаютъ другъ друга».

Эта картина стала чисто-русскимъ жанромъ, но она не особенно древняго происхожденія. Семейная и общественная гармонія царствовала у насъ нерушимо въ теченіе долгихъ вѣковъ, и только въ нынѣшнемъ столѣтіи, приблизительно, въ концѣ первой четверти, на сценѣ появились отцы и дѣти, съ трудомъ понимающіе другъ друга.

Фактъ вполнѣ опредѣленно отмѣченъ современникомъ и пріуроченъ къ эпохѣ отечественной войны. Русскимъ войскамъ впервые пришлось свести близкое знакомство съ Европой не по книгамъ только, а по личнымъ продолжительнымъ наблюденіямъ. Раньше вся Европа для русскаго человѣка начиналась и кончалась въ Парижѣ. Это своего рода Мекка для тонко просвѣщенныхъ подданныхъ Екатерины, и въ то же время патентованное царство всевозможныхъ удовольствій. Именно они-то и заставляли даже «семипудовыхъ» скиоовъ совершать довольно сложное путешествіе. Но за то цѣль достигалась всегда и всенепремѣнно. Мы видѣли, Карамзинъ съумѣлъ взять съ Парижа обычную дань даже во время революціи.

Теперь, по слѣдамъ Наполеона, отправилось въ Европу не мало людей совершенно другого сорта. Ихъ, еще молодыхъ и сильныхъ, не успѣло растлить отечественное воспитаніе на рабскихъ хлѣбахъ. Общеевропейская смута сблизила съ Россіей нѣсколькихъ иностранцевъ иной породы, чѣмъ Вральманы и Гильоме, изъ Германіи—Штейна, изъ Франціи—Сталь и множество простыхъ офицеровъ наполеоновской арміи изъ третьяго сословія, не имѣвшихъ ничего общаго съ авантюристами и космополитическими паразитами.

Любопытно было прислушаться къ впечатлѣніямъ этихъ людей, не имѣвшихъ основаній ни ненавидѣть Россію, какъ націю, ни льстить ей. Впечатлѣнія у всѣхъ оказались почти тожественны.

Плѣнные французы смѣялись надъ русскими, не умѣвшими ни говорить, ни писать на родномъ языкѣ. Штейнъ подражательность иностранцамъ считалъ одной изъ тлетворнѣйшихъ язвъ русской жизни, а г-жа Сталь, довольно неожиданно для петербургскихъ и московскихъ европейцевъ, не находила, повидимому, словъ достойно изобразить пустоту, малообразованность и низкій умственный уровень высшаго русскаго общества. Вѣковая погоня за тонкимъ просвѣщеніемъ, екатерининскій либерализмъ привели къ самому удивительному результату: г-жа Сталь убѣждена, что въ атмосферѣ русскихъ салоновъ «нельзя ничему научиться, нельзя развивать своихъ способностей, и люди здѣсь не пріобрѣтаютъ никакой охоты ни къ умственному труду, ни къ практической дѣятельности».

Отъ взоровъ иностранцевъ не скрылся основной недугъ нашего отечества — крѣпостное рабство, и Штейнъ находилъ неизбѣжнымъ освобожденіе крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ. Вообще, въ эпоху народнаго возбужденія по всѣмъ странамъ Европы и у насъ послышались рѣчи, на поводъ бившія чувствительное прекраснодушіе московскихъ патріотовъ и петербургскихъ лицемѣровъ.

И нашлись слушатели для этихъ рѣчей.

Это не были особенно знатные господа: тѣ, напротивъ и теперь остались вѣрны себѣ. Бонапарта отожествили съ революціей, а революцію вообще со всякой дѣятельной общественной мыслью. Здравый смыслъ пріютился у людей, менѣе чиновныхъ и взысканныхъ фортуной, чѣмъ фамусовскій Максимъ Петровичъ,— у своего рода разночинцевъ среди знати.

Впослѣдствіи изъ ихъ среды выйдутъ геніальные писатели. Они своей карьерой, нерѣдко даже трагической участью докажутъ свою оторванность отъ «столбового» дворянства, хотя всѣ они будутъ носить благородныя фамиліи, даже болѣе благородныя, чѣмъ князья Тугоуховскіе, полковники Скалозубы, семьи Хлестовыхъ и Фамусовыхъ. Только благородство на этотъ разъ осуществится не въ ловкомъ прислуживаніи на родинѣ и не въ увеселительныхъ поѣздкахъ за иноземнымъ просвѣщеніемъ, а въ уничтоженіи ветхаго человѣка во имя независимой мысли и дѣятельнаго гуманнаго чувства.

Эти опасные мотивы ворвались въ вихрь салонныхъ сплетенъ и пошлостей какъ-то сразу, будто новое нашествіе.

Современникъ разсказываетъ:

«Я видѣлъ лицъ, возвращающихся въ Петербургъ послѣ отсутствія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и выражавшихъ величайшее изумленіе при видѣ перемѣны, происшедшей въ разговорѣ и поступкахъ столичной молодежи. Казалось, она пробудилась для новой жизни и вдохновляясь всѣмъ, что было благороднаго, чистаго въ нравственной и политической атмосферѣ. Гвардейскіе офицеры въ особенности привлекали вниманіе свободой и смѣлостью, съ которой они высказывали свои мнѣнія, весьма мало заботясь,—говорили они въ общественномъ мѣстѣ, или въ салонѣ, были слушателями—сторонники или противники ихъ ученій» *).

Эти ученія заключались въ первомъ пробужденіи національнаго сознанія и народническаго чувства. До сихъ поръ русскіе дворяне чувствовали себя русской націей только, если можно такъ выразиться, по иностранному вѣдомству. Они гордились побѣдами надъ турками и прочими народами, обширными завоеваніями, знаменитыми полководцами, но по вопросамъ внутренней политики это было *сословіе*, а не ***нація***. И французскій дипломатъ при Екатеринѣ даже и мысли не могъ допустить, чтобы въ нашемъ отечествѣ когда либо образовалась цѣльная единая нація, какъ государственное тѣло.

Оффиціальный исторіографъ и публицистъ подтверждалъ эту мысль, освящая вѣковыя пропасти между русскими классами и сословіями.

Но борьба съ Наполеономъ силою вещей оказалась не сословной, а національной, и въ Россіи даже болѣе, чѣмъ на Западѣ. Крѣпостному мужику требовалось, несомнѣнно, больше нравственныхъ усилій возстать на иноземнаго врага, чѣмъ нѣмецкому бюргеру, и недаромъ г-жа Сталь была поражена именно движеніемъ русскаго народа.

Нашлись и соотечественники, способные воспринять великій историческій смыслъ эпохи и гвардейскіе офицеры, столь смущавшіе «очаковскихъ» старичковъ, были первыми русскими по чувству, по духу, по идеаламъ и даже по языку. Восклицаніе Чацкаго — «умный, добрый нашъ народъ» не имѣло ничего общаго съ небылицами о просвѣщенномъ земледѣльцѣ и его нѣжной подругѣ. Тамъ свѣтскій праздный разговоръ, здѣсь «душевная исповѣдь», настоящее личное чувство. Тамъ самодовольство

*) *La Russie et les Russes*, par N. Tourgueneff. Bruxelles, 1847, I, 66.

чистаго господина, самолюбованіе чувствительной ханжи, здѣсь искренняя страстная любовь къ родинѣ и жгучая тоска объ ея несовершенствахъ.

Сравните карамзинское патріотическое самохвальство, эту изумительную, по истинѣ варварскую мысль, будто «Европа годъ отъ году насъ болѣе уважаетъ»—съ фактами сплошныхъ или злобныхъ, или презрительныхъ чувствъ иностранцевъ къ русскимъ, вы оцѣните всю громадность шага, сдѣланнаго молодежью послѣ наполеоновскихъ войнъ.

«Европа уважаетъ»... и это въ то время, когда искренніе доброжелатели Россіи, въ родѣ Сталь и Штейна, находили доброе слово какъ разъ о предметѣ, невѣдомомъ гордому патріоту Московіи и совершенно не входившемъ въ разсчеты европейскихъ критиковъ нашего отечества.

Народъ,—вотъ слово, котораго одного было бы достаточно для увѣковѣченія перваго русскаго молодого поколѣнія, оставившаго пути своихъ отцовъ.

Всякое уклоненіе съ торной дороги ведетъ къ жертвамъ, и жертвы приносились. Онѣ, на современный взглядъ, можетъ быть не особенно героичны, но для всей дореформенной эпохи онѣ — истинные гражданскіе подвиги.

Вспомните, еще товарищъ Лермонтова объяснялъ военную карьеру поэта крайне низменнымъ общественнымъ положеніемъ гражданскихъ чиновниковъ. Для нихъ иного названія и не существовало, кромѣ «подъячіе». Пренебречь военнымъ мундиромъ значило бросить въ лицо современному «свѣту» жестокій вызовъ и собрать надъ своей головой бурю насмѣшекъ, презрѣнія и даже ненависти. Могло быть и хуже. Дворянинъ, съ минуты появленія на свѣтъ предназначенный для выпушекъ и петличекъ, становится политически неблагонадежнымъ, разъ онъ пренебрегаетъ скалозубовской философіей.

И такіе смѣльчаки являются.

Одинъ поступаетъ на службу въ уголовную палату, другой — въ надворный судъ, третій уѣзжаетъ въ деревню, читаетъ книги и даже берется учить грамотѣ крестьянъ, а кто остается въ столицахъ, тотъ не пропускаетъ случая поднять на смѣхъ психопатическихъ барышень, поклонницъ военной формы, и, что ужаснѣе всего, самихъ героевъ!

Очевидно, отцы не понимаютъ своихъ дѣтей и это взаимное отчужденіе гораздо глубже и напряженнѣе, чѣмъ впослѣдствіи

междоусобица старенькихъ романтиковъ съ молодыми позитивистами. Здѣсь приходилось разрывать гораздо болѣе многочисленныя и крѣпкія связи съ прошлымъ, на каждомъ шагу подвергать риску свое *личное* счастье въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Вѣдь еще не народилась новая дѣвушка. Маріанны принадлежали отдаленному будущему, и надворный судья одновременно подвергался обвиненію со стороны отцовъ въ неблагонадежности и даже якобинствѣ, а у дочерей встрѣчалъ или недоумѣніе, или просто отвращеніе.

А это многаго стоило. Общественный протестъ безпрестанно превращался въ біографическую драму для непокорнаго сына, усложнялъ и безъ того не легкую задачу благороднаго поколѣнія.

Разрывъ не имѣлъ бы серьезныхъ послѣдствій, если бы ограничился единичными запальчивыми представленіями въ салонахъ, исключительнымъ подвижничествомъ избранныхъ людей—на службѣ или въ деревнѣ. Великій смыслъ явленія быстро выяснился и упрочился въ полномъ преобразованіи литературы.

XV.

Новой молодежи, отметавшей сословныя и свѣтскія преданія общества, естественно было совершенно измѣнить старыя отношенія къ «искусствамъ творческимъ, прекраснымъ».

Уже эти слова въ устахъ Чацкаго звучатъ знаменательнымъ чувствомъ—все равно, какъ и его рѣчь о народѣ. Такъ не будетъ выражаться читатель, поглощающій страницы стиховъ, будто прохладительный напитокъ, на досугѣ, между другими, болѣе существенными развлеченіями. Очевидно и здѣсь изчезаетъ старое эпикурейское бездушіе, свѣтскій формализмъ, и литература становится словомъ живымъ, насущнымъ хлѣбомъ дѣйствительно просвѣщенной мысли.

Но вѣдь это еще болѣе странное новшество, чѣмъ чиновничья служба! И главное, болѣе опасное, потому что книгу могутъ прочесть многіе и заразиться тѣмъ же недугомъ уваженія къ умственному труду и писательскому таланту.

Въ результатѣ, эпоха протестующихъ надворныхъ судей увидѣла едва ли не самый жестокій и продолжительный расколъ между исконной публикой, аристократическимъ обществомъ и литературой. Не только расколъ, а непримиримую, воинственную ненависть, не заглохшую въ теченіе десятилѣтій.

Раньше писатель жилъ въ самомъ глубокомъ и трогательномъ мирѣ съ высшимъ «свѣтомъ». Его здѣсь не особенно уважали, но именно поэтому онъ и велъ себя тише воды, ниже травы. Готовясь писать какое-нибудь новое творенiе, онъ всякiй разъ или открыто, или безмолвно обращался къ своей публикѣ съ умильнымъ запросомъ: *чего изволите?..*

И немедленно появлялась или трагедiя на тему «громъ побѣды раздавайся», или жанровая картинка съ мужичкомъ...

Вдругъ такой порядокъ радикально измѣнился. Прежде писательство доставляло одно наслажденiе, во всякомъ случаѣ, никто не думалъ тѣснить ни Карамзина, ни Жуковскаго только за то, что они занимаются литературой; напротивъ, даже поощряли и часто одобряли. Теперь ничего подобнаго.

Прочтите бiографiи Грибоѣдова, Пушкина, Лермонтова—трехъ поэтовъ, создавшихъ новую литературу, вы будете поражены однимъ и тѣмъ же фактомъ. Всѣ они будто прирожденные враги окружающаго общества, для двухъ изъ нихъ война начинается въ нѣдрахъ семьи, для всѣхъ троихъ идетъ всю жизнь на свѣтскомъ поприщѣ и заканчивается трагической развязкой.

Грибоѣдову приходится совершить своего рода мытарство изъ за литературныхъ влеченiй. Семья требуетъ карьеры, службы и даже прислуживанья, будущiй авторъ *Горя отъ ума* весь поглощенъ мечтами о писательствѣ, т. е. о совершенно презрѣнномъ занятiи, въ глазахъ матери. Междоусобица достигаетъ такихъ предѣловъ, что поэтъ рѣшается завидовать прiятелю: у того нѣтъ матери, которой онъ долженъ казаться неосновательнымъ! Даже больше. Грибоѣдовъ приходитъ къ убѣжденiю, что «истиннымъ художникомъ можетъ быть только человѣкъ безродный».

Ярче трудно выразить разладъ отцовъ и дѣтей на зарѣ нашей нацiональной литературы.

Подобная исторiя съ Пушкинымъ, пожалуй, даже еще болѣе оскорбительная. Ему приходится отвоевывать свое достоинство поэта, званiе литератора предъ начальствомъ, предъ товарищами по службѣ. О семьѣ нечего и говорить: здѣсь просто не признаютъ даже умственнаго развитiя у будущаго генiальнаго поэта и не интересуются ни нравственной ни даже внѣшней его жизнью.

И послушайте, какъ осмѣливается говорить Пушкинъ о своихъ литературныхъ занятiяхъ въ письмѣ къ начальнику. Мы рядомъ слышимъ отголоски стараго, но далеко не отжившаго общественнаго взгляда на литературу, и возникновенiе новаго, въ полномъ смыслѣ революцiоннаго.

«Ради Бога, не думайте, чтобъ я смотрѣлъ на стихотворство съ дѣтскимъ тщеславіемъ риѳмача или какъ на отдохновеніе чувствительнаго человѣка. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мнѣ пропитаніе и домашнюю независимость».

Тотъ, кому было адресовано письмо, сослуживцы поэта и его свѣтскіе пріятели ничего подобнаго не могли представить.

И не только они.

Пройдетъ вся славная дѣятельность поэта, онъ погибнетъ кровавой смертью, и все-таки о немъ нельзя будетъ говорить въ печати. Появится одно краткое извѣстіе, но и за него редакторъ получитъ жестокій выговоръ... Стоитъ ли говорить о человѣкѣ, не бывшемъ ни генераломъ, ни министромъ? «Писать стихи не значитъ еще проходить великое поприще»...

Это будетъ сказано по поводу литератора, покровительствуемаго верховной властью, поэта, съ громадной популярностью во всей странѣ, камеръ-юнкера и аристократа!

Чего же ждать другимъ, менѣе блестящимъ и сильнымъ!

Естественно, начало новой литературы своего рода драматическая хроника и не по обыкновенной вполнѣ понятной причинѣ, не по цензурнымъ строгостямъ, а по общественному варварству, стихійной враждѣ «свѣта» къ нравственно-отвѣтственному, идейно-осмысленному слову.

Цензура сравнительно капля горечи въ испытаніяхъ, претерпѣнныхъ нашими поэтами отъ окружавшаго ихъ общества. Но даже и эта капля въ сильнѣйшей степени общественнаго происхожденія. Яростнѣйшими врагами грибоѣдовской комедіи явились московскіе тузы и сплетницы, первыми гонителями Лермонтова за стихотвореніе на смерть Пушкина и первыми виновниками его изгнанія были именно «надменные потомки»; исторія знаетъ ихъ даже по именамъ. Наконецъ, не цензура приковала Грибоѣдова къ карьерѣ ненавистными цѣпями съ послѣднимъ звеномъ — насильственной смертью, не цензура отравила семейное счастье Пушкина, а у Лермонтова о цензурѣ рѣдко даже упоминается, но за то ни у одного поэта въ мірѣ нельзя найти столь обидныхъ и безпощадныхъ издѣвательствъ надъ «свѣтомъ»...

Да, величайшимъ врагомъ русской національной литературы оказалась публика, точнѣе, новой литературѣ пришлось создавать и новую публику. Подобно Чацкому, бѣгущему изъ фамусовскаго салона, писателямъ также необходимо было окончательно выйти

изъ старой теплицы и кликнуть кличъ къ другимъ читателямъ и зрителямъ, къ иному міру, гдѣ вѣковое сибаритство, жеманная игра въ бутафорскій героизмъ и дѣтскую маниловщину не опустошили еще душъ и сердецъ, гдѣ можно было говорить искреннимъ, роднымъ языкомъ о родныхъ людяхъ и дѣлахъ.

Этотъ міръ пока представлялся еще очень тѣснымъ, немноголюднымъ, но ему суждено рости и шириться со дня на день! Стоило только великимъ національнымъ талантамъ обратиться къ націи и среди нея неминуемо должны послышаться отвѣтные, сочувственные, вскорѣ восторженные отголоски.

И когда у русскаго писателя образовалась, наконецъ, публика, вопросъ объ его человѣческомъ достоинствѣ и независимости рѣшился окончательно. Изъ наемника и забавника *господъ*, онъ сталъ учителемъ и вождемъ *друзей*. Не всегда осуществлялась и даже могла осуществиться эта дружба, но по временамъ чувство нравственнаго единенія литературы и публики будетъ сказываться такъ ярко, такъ вдохновенно, что одинъ подобный моментъ, по культурному и общественному значенію, стóитъ всѣхъ почестей и поощреній меценатскаго царства.

Мы видимъ, сколько исключительно трудныхъ задачъ предстояло преобразователямъ литературы. Можно сказать, нигдѣ и никогда писатель не находился лицомъ къ лицу съ такой тучей темныхъ силъ. Нигдѣ ему одновременно не приходилось сѣять и обрабатывать почву для посѣва.

На Западѣ задолго до борьбы мѣщанскихъ драматурговъ съ классицизмомъ существовала вполнѣ готовая публика, съ нетерпѣніемъ ждавшая увидѣть себя на сценѣ и въ романѣ. Писатели только рѣшились промѣнять однихъ поклонниковъ на другихъ.

То же самое и съ романтизмомъ.

Гюго изъ монархиста и бонапартиста превратился въ либерала подъ самымъ повелительнымъ давленіемъ современныхъ политическихъ событій, и принялся сочинять законы литературнаго либерализма, настоятельно поощряемый многочисленными сочувственниками.

Ничего подобнаго у насъ въ первой четверти вѣка.

Писатель обращался будто въ пространство съ новыми идеями и новымъ творчествомъ. Въ личную жизнь, со всѣхъ сторонъ неслись къ нему почти исключительно неодобренія и насмѣшки. Сочувствующая публика, если она и существовала, не принадлежала къ средѣ поэта и только въ рѣдкихъ случаяхъ, напримѣръ, на первомъ

представленіи грибоѣдовской комедіи, можно было различить новаго читателя. Впослѣдствіи его Гоголь изобразилъ въ лицѣ «очень скромно одѣтаго человѣка»...

И этотъ читатель отличался скромностью не только по платью, но и по способу и возможности высказывать свои мнѣнія. Господа comme il faut, чиновники разныхъ лѣтъ и ранговъ, даже «неизвѣстно какіе люди» могли кричать несравненно громче и внушительнѣе, потому что за нихъ стояла привычка, патентованная критика въ лицѣ ученыхъ эстетиковъ и бойкихъ журналистовъ. Писателю самому предстояло и творить, и оправдывать свои творенія.

Задача въ высшей степени рискованная. Всѣ авторитеты на сторонѣ школъ, піитикъ и вообще *теорій*. За отважнаго нововводителя только здравый смыслъ и художественная талантливость. Противъ него буквально вѣками выработанныя правила вкуса, точныя формулы, оправданныя общепризнанными образцовыми произведеніями непогрѣшимой французской словесности. За него—свобода и простота творчества, національность его содержанія.

Но вѣдь давно извѣстно, простота дается людямъ несравненно труднѣе, чѣмъ самая хитрая искусственность, вездѣ и въ жизни, и въ искусствѣ. А національность,—это совершенно новый міръ, нѣчто дикое для патріотовъ съ «народной гордостью» въ карамзинскомъ стилѣ и для младенчествующихъ мечтателей «святого» романтизма. Національность,—*подлинная* русская дѣйствительность, освѣщенная русскимъ народнымъ юморомъ и разумомъ... Развѣ все это снилось даже въ самыхъ романтическихъ видѣніяхъ пѣвцамъ подмосковныхъ Кларисс?

Борьба являлась неизбѣжной, и счастье русскаго искусства, что во главѣ нападающихъ стали сильнѣйшіе таланты не только нашей, а вообще всей новой европейской литературы.

XVI.

Поэты родятся—это старая истина, ее слѣдуетъ дополнить: родятся и критики, потому что создавать художественныя произведенія и цѣнить ихъ—таланты родственные, одинаково не внушаемые учебниками и диссертаціями.

Это правило, хотя и не во всей полнотѣ, понималъ еще Жуковскій. Въ статьѣ *О критикѣ* онъ очень краснорѣчиво изображалъ и оправдывалъ критиковъ, какъ художниковъ-психологовъ, какъ лю-

дей чуткихъ и къ «дѣйствіямъ страстей и тайнамъ характеровъ», и къ красотамъ природы.

Нашъ романтикъ только не закончилъ своего изображенія, не дерзнулъ окончательно установить права чуткости, личной художественной свободы поэта и критика. Онъ все еще толкуетъ о «правилахъ образованнаго вкуса», восхищается лагарповской теоріей драматическаго искусства, хотя и обмолвливается очень знаменательной мыслью.

«Онъ, т. е. истинный критикъ, знаетъ всѣ правила искусства, знакомъ съ превосходнѣйшими образцами изящнаго, но въ сужденіяхъ своихъ не подчиняется рабски ни образцамъ, ни правиламъ; въ душѣ его существуетъ собственный идеалъ совершенства»...

Распространите это замѣчаніе на всю литературу, все равно, классическую и посредственную, предоставьте художественно одаренной натурѣ выбирать *свои* пути и стремиться къ *своему* совершенству, вы немедленно введёте искусство въ исключительную зависимость отъ творческаго таланта, жизненности и значительности его созданій. Вы покончите съ правилами и теоріями, и поставите судьями правду и свободу.

Не Жуковскому, лишенному оригинальнаго поэтическаго генія, было вступить на эту дорогу, хотя его статья возникла очень рано, въ 1809 году, среди полнаго торжества чувствительности и наканунѣ романтизма. Этотъ фактъ въ высшей степени любопытенъ. Онъ показываетъ, какъ непрочно было у насъ господство европейскихъ школъ. Въ статьѣ Жуковскаго будто борется заря новаго дня съ тѣнями ночи, правила искусства съ личнымъ художественнымъ инстинктомъ... Представьте, этотъ инстинктъ воплотится въ сильной, цѣльной поэтической личности, сильной настолько, чтобы увлечь за собой публику, и по своей цѣльности неспособной на сдѣлки:—правиламъ конецъ!

Такъ и произошло сначала благодаря одной комедіи Грибоѣдова.

Прежде всего замѣчательны юношескія наклонности будущаго грознаго врага классицизма. Какъ истый сынъ своего поколѣнія, Грибоѣдовъ еще школьникомъ обнаруживаетъ любопытнѣйшія ***національныя*** влеченія. Онъ составляетъ програму научныхъ занятій, и на первомъ планѣ этихъ *Desiderata* стоитъ изученіе русской исторіи по источникамъ, по лѣтописямъ, запискамъ Герберштейна. Дальше слѣдуетъ даже филологія, грамматическія занятія русскимъ языкомъ. Первые литературные опыты—сатиры и эпиграммы...

Это опять достойно вниманія. Всѣ три основателя русской національной литературы начнутъ и должны будутъ начать крайне запальчивыми насмѣшниками надъ окружающей средой. Эпиграммы, а не лирическіе гимны, столь обычные у юныхъ поэтовъ, отмѣтятъ первое пробужденіе творчества у Грибоѣдова, Пушкина и Лермонтова. Они, конечно, не единственные напѣвы юношеской музы, но уже самое появленіе ихъ внушительно. Они вызывались не столько прирожденными сатирическими вкусами поэтовъ, сколько обиліемъ лжи, всевозможныхъ уродствъ на каждомъ шагу въ современномъ свѣтскомъ обществѣ.

Фактъ, отлично понятый Гоголемъ. Геніальный поэтъ говоритъ рядомъ о комедіяхъ Фонвизина и Грибоѣдова и имѣетъ въ виду только ихъ *возникновеніе*, не касается ни авторскихъ настроеній, ни практическаго значенія сатиры того и другого автора. Мы знаемъ, какая громадная разница между смѣхомъ Фонвизина и Грибоѣдова и изъ какихъ совершенно несходныхъ общихъ идеаловъ исходило негодованіе у екатерининскаго комика и у человѣка первой четверти XIX-го вѣка.

Но основа, создавшая обѣ комедіи, дѣйствительно одинакова.

«Наши комики, — пишетъ Гоголь, — двинулись общественною причиною, а не собственною, возстали не противъ одного лица, но противъ цѣлаго множества злоупотребленій, противъ уклоненія всего общества отъ прямой дороги. Общество сдѣлали они какъ бы собственнымъ своимъ тѣломъ: огнемъ негодованія лирическаго зажглась безпощадная сила ихъ насмѣшки. Это—продолженіе той же брани свѣта со тьмою, внесенной въ Россію Петромъ, которая всякаго благороднаго русскаго дѣлаетъ уже невольно ратникомъ свѣта. Обѣ комедіи ничуть не созданія художественныя и не принадлежатъ фантазіи сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгъ внутри земли нашей, чтобы явились онѣ почти сами собою, въ видѣ какого-то грознаго очищенія».

Столь же непосредственное, стихійно-необходимое очищеніе произошло и въ самомъ искусствѣ, въ силу не надуманной тенденціи, а личнаго невольнаго отвращенія къ фальши и рабству литературы. Все равно, какъ дѣйствительность вызвала сатиру только въ силу *благородства* новыхъ наблюдателей жизни, такъ старое искусство подверглось нападенію въ силу *поэтической природы* молодыхъ писателей.

И Грибоѣдовъ одновременно съ эпиграммами общественнаго содержанія предпринимаетъ пародію *Дмитрій Дрянской* на клас-

сическую трагедію Озерова. Это первая стычка нарождающейся національной критики съ европейскими школами. Генеральное сраженіе—*Горе отъ ума*.

Трудно сказать, въ какомъ отношеніи грибоѣдовская комедія вызвала больше протестовъ—или какъ сатира на общество, или какъ оскорбленіе *правилъ*.

Противъ сатиры возмущались ея жертвы Фамусовы, Хлестовы: этого и слѣдовало ожидать и поэтъ не имѣлъ права ни изумляться, ни особенно огорчаться. Онъ вполнѣ откровенно списывалъ своихъ героевъ съ реальныхъ лицъ. Но врядъ ли онъ могъ отнестись съ такимъ же настроеніемъ къ литературной критикѣ, притомъ исходившей отъ его ближайшихъ друзей.

Одинъ изъ нихъ, Катенинъ, усердный почитатель французскаго классицизма, затянулъ обычную пѣсню на счетъ правилъ и авторитетовъ, укорялъ автора за то, что въ его пьесѣ «дарованія больше, нежели искусства». Въ болѣе точномъ переводѣ это означало: болѣе жизни, чѣмъ теоріи, правды, чѣмъ искусственности.

Отвѣтъ Грибоѣдова по истинѣ заслуживаетъ безсмертія. Съ него слѣдуетъ считать начало русской національной критики. *Поэтъ* явился предшественникомъ всѣхъ позднѣйшихъ литературныхъ идей, не исключая Бѣлинскаго и публицистовъ шестидесятыхъ годовъ.

«Дарованія болѣе, нежели искусства»—самая лестная похвала, которую ты могъ мнѣ сказать,—отвѣчалъ Грибоѣдовъ классику,—«не знаю, стою ли ея? Искусство въ томъ только и состоитъ, чтобъ поддѣлываться подъ дарованіе; въ комъ болѣе вытверженнаго, пріобрѣтеннаго потомъ и мученьемъ искусства угождать теоретикамъ, т. е. дѣлать глупости, въ комъ, говорю я, болѣе способности удовлетворять школьнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ, нежели собственной творческой силы, тотъ, если художникъ, разбей свою палитру и кисть, рѣзецъ или перо свое брось за окошко. Знаю, что всякое ремесло имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ скорѣе дѣло, и не лучше ли вовсе безъ хитростей? *Nugae difficiles*. Я какъ живу, такъ и пишу: свободно и свободно».

Это заявленіе, до конца осуществленное на практикѣ, должно быть поставлено во главѣ нашей литературы... И оцѣните всю разницу подобнаго авторскаго рѣшенія съ поведеніемъ французскихъ самыхъ отважныхъ поэтовъ!

Тамъ непремѣнно поднималась рѣчь о новыхъ *правилахъ* въ

замѣну старыхъ. Писатель, одновременно съ своимъ оригинальнымъ творчествомъ, стремился образовать *школу* и написать для нея *законы*. Если онъ и говорилъ о *свободѣ*, то разумѣлъ не личную творческую свободу художника, а свободу *отъ чужого подданничества* и подчиненность новому главѣ школы, chef de l'école, и новому регламенту искусства.

Совершенно обратное у насъ.

Первый дѣйствительно сильный и оригинальный поэтъ своей силой пользуется для провозглашенія принципа *свободы*, безъ всякихъ оговорокъ; напротивъ, онъ желалъ бы безусловно устранить *хитрости* и *глупости*, именно все то, безъ чего, по воззрѣніямъ школьнаго искусства, немыслимо настоящее искусство.

Это рѣшительный разрывъ съ иноземными литературными вліяніями и онъ съ каждымъ годомъ будетъ становиться ярче и безповоротнѣе. Преемники Грибоѣдова по освобожденію русской литературы отъ европейскаго школьнаго ига быстро дойдутъ до глубочайшей основы національнаго творчества, откроютъ поэзію въ народныхъ сказкахъ и пѣсняхъ.

Откуда придетъ это вдохновеніе?

Вопросъ—исключительный по своему интересу во всей литературной европейской исторіи.

Пушкинъ съ дѣтства поглощаетъ французскія книги, окруженъ французскими учителями, обиходный языкъ—французскій и будущій поэтъ старается даже сочинять по французски... Но здѣсь же рядомъ присно памятная няня Родіоновна. Ей поэтъ писалъ такія, напримѣръ, обращенія:

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя!..

За что?.. Не за одно любящее сердце, а за *науку* также, самую неожиданную въ старомъ барскомъ домѣ, за народныя сказки и были, за истинно художественное наслажденіе, подчинявшее себѣ умъ и душу будущаго великаго поэта.

Дальше, его достойный наслѣдникъ, юноша страстной, неукротимой натуры, повидимому, самой природой созданный для эффекта, ослѣпительнаго трагизма, оглушительнаго краснорѣчія иноземнаго, особенно французскаго романтизма. И онъ дѣйствительно увлечется поэтомъ бурныхъ желаній и воинственнаго гнѣва.

Но опять, будто нѣкіимъ внушеніемъ, пѣвецъ Демона поднимается на защиту русскихъ сказокъ, даже не зная ихъ съ такой основательностью, какъ Пушкинъ.

Съ тринадцати лѣтъ онъ принимается переписывать произведенія русскихъ поэтовъ, два года спустя онъ жалѣетъ, что не слыхалъ въ дѣтствѣ русскихъ народныхъ сказокъ: «въ нихъ,— думаетъ Лермонтовъ,—вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности».

А вотъ письмо, написанное Лермонтовымъ изъ Москвы по поводу шекспировскаго *Гамлета*. Автору въ это время шестнадцать лѣтъ и онъ защищаетъ и драматурга, и пьесу противъ любительницы французскаго театра.

«Начну съ того, что имѣете переводы не съ Шекспира, а переводъ перековерканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французовъ, не умѣющихъ обнять высокое, и глупымъ ихъ правиламъ, перемѣнилъ родъ трагедіи и выпустилъ множество характеристическихъ сценъ: эти переводы, къ сожалѣнію, играются у насъ на театрѣ».

Мы оцѣнимъ впослѣдствіи весь практическій смыслъ впечатлѣній Пушкина и Лермонтова, когда познакомимся съ отчаянными усиліями университетскихъ профессоровъ литературы во что бы то ни стало поддержать въ сердцахъ своихъ слушателей пламя классицизма и культа французскаго художественнаго генія.

Но трудно было даже съ самымъ блестящимъ учительскимъ краснорѣчіемъ бороться противъ непреодолимой власти генія, питаемаго могучими соками національности.

Грибоѣдовская комедія совершила безпримѣрное завоеваніе публики: задолго до представленія на сценѣ и до появленія въ печати, по Россіи, говорятъ, разошлось до сорока тысячъ списковъ пьесы и на первомъ представленіи, по словамъ очевидца, не было зрителя, не знавшаго комедіи наизусть...

Что могла сдѣлать какая угодно *школа* противъ подобныхъ фактовъ? А между тѣмъ, на помощь Грибоѣдову возставала новая, еще болѣе грозная творческая сила. Ей предстояло нанести послѣдній ударъ россійско-европейскимъ направленіямъ и обезпечить будущее русскому искусству.

XVII.

Можетъ быть, ни на одномъ русскомъ писателѣ не отразилось до такой степени хаотическое состояніе исторіи нашей литературы, какъ на Пушкинѣ. Поэту давно воздвигнутъ всероссійскій памятникъ, а между тѣмъ образъ его до сихъ поръ является со-

отечественникамъ въ какомъ-то смутномъ, едва проницаемомъ туманѣ.

До послѣднихъ дней еще возможенъ судъ надъ авторомъ *Евгенія Онѣгина*, какъ надъ чистымъ художникомъ въ новѣйшемъ смыслѣ, какъ надъ брезгливымъ аристократически-гордымъ жрецомъ «святого искусства», и до сего дня извѣстная отповѣдь толпѣ, вырвавшаяся у поэта въ одну изъ столь многочисленныхъ минутъ его праведнаго негодованія, ставится во главу его изображенія, какъ писателя и какъ человѣка своего времени.

Даже образованность и широкое умственное развитіе поэта до послѣдняго времени оставались сомнительными вопросами въ біографіи Пушкина. А между тѣмъ, если и усомниться въ точности и правдивости сообщеній современниковъ, напримѣръ, записокъ Смирновой, восторженныхъ воспоминаній Гоголя, достаточно совершенно подлинныхъ произведеній самого поэта, для вполнѣ опредѣленной оцѣнки его—не поэтическаго генія: онъ внѣ сомнѣній, а критическаго ума и изумительной культурности всей его природы.

Было бы въ высшей степени любопытной психологической задачей написать подробную исторію литературнаго развитія Пушкина. Врядъ ли можно назвать еще другого поэта въ какой бы то ни было литературѣ, прошедшаго такой быстрый и въ то же время содержательный путь критической мысли. Ея постепенный ростъ у Пушкина, пожалуй, даже поразительнѣе его творческихъ успѣховъ.

Сначала это не болѣе, какъ очень талантливый школьникъ, виртуозъ рифмъ, повидимому, безнадежно легкомысленный, «французъ», по прозвищу товарищей. Онъ не внушаетъ довѣрія даже ближайшимъ и благосклоннѣйшимъ своимъ знакомымъ. По крайней мѣрѣ, члены современныхъ тайныхъ обществъ не посвящаютъ его въ свои собранія: онъ не надеженъ, недостаточно серьезенъ для такого дѣла!

Поэта постигаетъ изгнаніе за вольные стихи, но и оно не создаетъ ему особенно почетной репутаціи. Тѣмъ болѣе, что и жизнь, и поэзія Пушкина на югѣ не давали никакого основанія уважать въ немъ дѣйствительно-страдающаго писателя и гражданина. Блестящія произведенія слѣдуютъ одно за другимъ, кружатъ головы читателямъ и читательницамъ, но никому и на умъ не приходитъ, какой душевный процессъ совершается съ авторомъ *Руслана*, *Плѣнника*, Алеко и другихъ эффектнѣйшихъ романтическихъ созданій.

А между тѣмъ, въ самый разгаръ славы, поэтъ рѣшается на истинно-героическій, самоотверженный шагъ: онъ идетъ прямымъ путемъ къ разрыву съ публикой, упоенной его поэмами. Онъ въ теченіе четырехъ лѣтъ переростаетъ просвѣщеннѣйшихъ читателей, своихъ личныхъ друзей и еще вчерашнихъ учителей, у него слагается своя критика и теорія словесности, совершенно не допустимая на взглядъ современныхъ любителей и знатоковъ литературы.

Революція начинается съ Байрона.

Пушкинъ такъ много обязанъ англійскому поэту! Вѣдь всѣ его герои демонической складки и ихъ героини—прямые потомки байроновской музы. А *Кавказскій плѣнникъ*, напримѣръ, можетъ считаться даже весьма точнымъ подражаніемъ *Корсару*. Самъ авторъ это признаетъ: вѣдь онъ «съ ума сходитъ» отъ Байрона!..

Года два спустя по выходѣ въ свѣтъ этого самаго *Плѣнника*, Пушкину приходится высказать свое общее мнѣніе о Байронѣ по поводу его смерти. Онъ не согласенъ съ чувствами кн. Вяземскаго, оплакивающаго безвременную, по его мнѣнію, кончину «властителя думъ» русской молодежи.

«Тебѣ грустно по Байронѣ, — пишетъ Пушкинъ, — а я такъ радъ его смерти, какъ высокому предмету для поэзіи... Геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостью... Постепенности въ немъ не было. Онъ вдругъ созрѣлъ и возмужалъ, пропѣлъ и замолчалъ, и первые звуки его уже ему не возвратились».

Эта идея *своевременной* смерти Байрона была высказана и Гёте, четырьмя годами позже, въ бесѣдахъ съ Эккерманомъ. Ни о какомъ заимствованіи русскаго поэта не можетъ быть, конечно, и рѣчи.

Любопытны и дальнѣйшія совпаденія литературныхъ сужденій молодого Пушкина съ нѣкоторыми идеями старца Гёте. Геніальное художественное чувство, очевидно, не знаетъ возрастовъ.

Одновременно съ байронизмомъ, Пушкина очень занимаетъ вопросъ вообще о романтической школѣ. Поэтъ усиливается объяснить себѣ сущность русскаго романтизма, безпрестанно касается этой темы въ письмахъ къ друзьямъ, даже въ романѣ *Евгеній Онѣгинъ* и, повидимому, никакъ не можетъ придти къ удовлетворительному отвѣту.

Но теоретическій отвѣтъ и невозможенъ былъ. Жуковскій считался представителемъ романтической школы, но Пушкинъ отлично понималъ, что отъ «святости» и «чертовщины» пѣвца Свѣтланы

одинаково далеко до подлиннаго романтизма. О поэзіи Ленскаго дается, между прочимъ, такой отзывъ:

Такъ онъ писалъ темно и вяло,—
(Что романтизмомъ мы зовемъ,
Хоть романтизма тутъ ни мало
Не вижу я;—да что намъ въ томъ)?

О стихахъ Жуковскаго нельзя сказать *вяло*, но темнота и особенно сентиментальность претили Пушкину не менѣе вялости. Въ отзывѣ о Жуковскомъ онъ настаиваетъ преимущественно на его «образцовомъ переводномъ слогѣ». Буквально то же самое повторитъ впослѣдствіи и Гоголь.

Очевидно, Пушкинъ не способенъ помириться съ «святымъ» романтизмомъ русской литературы. Но онъ вскорѣ поканчиваетъ и съ демоническимъ направленіемъ. Уже въ 1825 году его собственныя поэмы ему «надоѣли». «*Русланъ*—молокососъ, *Плѣнникъ*—зеленъ». Онъ будто инстинктивно нападаетъ на настоящую романтическую струю.

Развѣнчивая поэмы, онъ прибавляетъ: «я написалъ трагедію и ею очень доволенъ, но страшно въ свѣтъ выдать: робкій вкусъ нашъ не стерпитъ истиннаго романтизма».

Рѣчь шла о *Борисѣ Годуновѣ* и означала прежде всего совершенное уничтоженіе французской классической теоріи. Это само собой разумѣлось, хотя Пушкинъ не преминулъ набросать не мало замѣтокъ нарочито противъ старой школы. Гораздо важнѣе дальнѣйшіе выводы.

Авторъ сосредоточилъ все свое вниманіе на *историческомъ* духѣ эпохи и *національныхъ* чертахъ героевъ и событій. Онъ изучаетъ лѣтописи, сочиненіе Карамзина, добивается житія какого-нибудь юродиваго, вообще работаетъ скорѣе какъ изслѣдователь, чѣмъ вдохновенный поэтъ.

И это называется романтизмомъ! Наименованіе слишкомъ лестное и не всегда заслуженное даже для европейской школы.

Пушкинъ всѣми силами избѣгалъ эффектовъ, приподнятаго драматизма, искусственно-подчеркнутыхъ характеровъ... Развѣ все это входило въ обычную практику даже талантливѣйшихъ романтиковъ? Кто изъ нихъ рѣшался исторической правдѣ и будничной простотѣ принести въ жертву сценичность и показную яркость трагедіи? Кто съ талантомъ автора *Цыганъ* и *Бахчисарайскаго фонтана* рѣшился бы подчинить полетъ своего воображенія первобытному повѣствованію темнаго лѣтописца?

Очевидно, если это и былъ романтизмъ, то весьма своеобразный, не похожій ни на романтизмъ Шиллера, ни на «либеральную» школу Гюго, ни на байронизмъ Ламартина, и менѣе всего на поэзію самого Байрона. Ближе всего русскій поэтъ сталъ къ Шекспиру.

Трагедіи Байрона рѣзко осуждены за монотонность, лаконическую аффектацію, вообще за *неестественность*. Пушкинъ смѣется надъ романтическими злодѣями, даже фразу «дайте мнѣ пить» произносящими по злодѣйски, ставитъ въ примѣръ Шекспира: онъ предоставляетъ герою говорить какъ ему угодно, сообразно съ его драматическимъ характеромъ.

Но Пушкинъ видѣлъ въ Шекспирѣ только *принципіальнаго* учителя, а не руководителя во всѣхъ частностяхъ творчества. Шекспиръ вѣренъ природѣ и исторіи: это общее правило, и Шекспиру будетъ вѣренъ не тотъ, кто подражаетъ его отдѣльнымъ произведеніямъ, а кто вообще стремится воспроизводить правду и исторію.

Въ Англіи прошлое—*свое* англійское, ничѣмъ не похожее на русское, и русскій послѣдователь Шекспира долженъ возсоздавать въ искусствѣ *русскую* дѣйствительность. А эта дѣйствительность сама по себѣ лишена всякаго романтизма, въ ней нельзя найти ни лицъ, ни событій, переполняющихъ драматизмомъ и сильными эффектами шекспировскую сцену. Въ русской исторіи нѣтъ ни Ричардовъ, ни Норфольковъ, ни Маргаритъ. Здѣсь все неизмѣримо скромнѣе, зауряднѣе, проще. Слѣдовательно, и русская *романтическая* трагедія выйдетъ по существу вовсе не романтической даже въ шекспировскомъ смыслѣ. Это будетъ скорѣе *реальная* историческая хроника въ прямой зависимости *отъ предмета*, избраннаго поэтомъ. И такимъ путемъ романтизмъ *логически* исчезаетъ съ русской сцены, разъ признаны основы національности и жизненности.

Пушкинъ, слѣдовательно, толкуя о романтизмѣ, увлекаясь Шекспиромъ, стоялъ на пути къ самому настоящему реализму, къ той самой литературѣ, какую онъ первый привѣтствовалъ въ произведеніяхъ Гоголя.

XVIII.

Пушкинъ слишкомъ хорошо зналъ современныхъ цѣнителей искусства, чтобы не предвидѣть участи своихъ критическихъ вы-

водовъ. Онъ «размышлялъ о трагедіи», создавая Годунова, но не написалъ къ ней предисловія: «Я бы произвелъ скандалъ»—je ferais du scandal,—писалъ Пушкинъ своему другу Раевскому.

И поэтъ объяснялъ почему. «Это жанръ, можетъ быть, менѣе всего признанный». И дальше онъ пускался въ ядовитѣйшія насмѣшки надъ классицизмомъ, писалъ, въ сущности, *предисловіе* къ своей трагедіи.

И Пушкинъ долженъ былъ написать его въ какой бы то ни было формѣ.

Ему предстояло безпрестанно защищать свою трагедію и свой романъ отъ друзей; о критикахъ нечего и говорить.

Стоило Пушкину отбросить романтическіе уборы, и со всѣхъ сторонъ послышались сожалѣнія о паденіи таланта. «Свѣтильникъ души поэта угасъ», говорили самые благосклонные читатели. Гоголь много лѣтъ спустя писалъ по поводу *Мертвыхъ душъ*: «Мнѣ бы скорѣе простили, если бы я выставилъ картинныхъ извергову, но пошлости не простили мнѣ»... Въ сильнѣйшей степени эту участь испытывалъ Пушкинъ, быстро переходя къ реальному національному искусству.

Евгеній Онѣгинъ повторилъ исторію *Горе отъ ума* съ единственной разницей: тамъ смущались классики, здѣсь романтики.

Раевскій, одинъ изъ первыхъ посвятившій Пушкина въ чары демонизма, не узнавалъ блестящаго пѣвца кавказской природы въ скромномъ бытописателѣ. Ему хотѣлось *романтизма* въ общепринятомъ смыслѣ, и не входила въ душу простая русская жизнь и совершенно не героическій отечественный герой: такъ же смотрѣлъ на романъ и другой, не менѣе просвѣщенный пріятель автора, Бестужевъ.

Онъ предъявлялъ самыя высиренныя требованія къ поэзіи. Пушкинъ доказывалъ ея права и на «легкое и веселое»; картина свѣтской жизни также входитъ въ область поэзіи».

Все это трудно понять самимъ свѣтскимъ людямъ; еще труднѣе оказалось для профессоровъ и журналистовъ.

Мы впослѣдствіи ближе познакомимся съ критическими взглядами двухъ даровитѣйшихъ представителей науки и публицистики въ эпоху появленія новой пушкинской поэзіи—Надеждина и Полевого. Исходные принципы критиковъ различны, но они сошлись въ своихъ приговорахъ надъ романомъ Пушкина. Для того и для другого *Евгеній Онѣгинъ* оказывался пустяковиннымъ бумагомараніемъ, *capriccio*, нигилизмомъ, «поэтической бездѣлкой», самое

большое—«блестящей игрушкой»! А профессоръ даже все творчество Пушкина называлъ только «пародіей».

А между тѣмъ, Надеждинъ отнюдь не былъ педантомъ, а Полевой—случайнымъ ремесленникомъ: оба стояли въ первомъ ряду современныхъ эстетиковъ и вообще писателей. Легко представить, сколько поэту пришлось испортить крови ради рецензентовъ и критиковъ! Вся его надежда могла основываться исключительно на публикѣ въ возможно широкомъ смыслѣ, на торжествѣ правды и таланта въ общественномъ мнѣніи.

И вотъ къ этой-то публикѣ поэтъ обратился съ *своей* теоріей словесности, сообразно съ цѣлями изложилъ ее стихами и вставилъ въ самый романъ.

Прежде всего еще въ третьей главѣ остроумно изображены сентиментализмъ и романтизмъ, часто сливавшіеся въ одну смѣхотворную пародію на дѣйствительность.

Свой слогъ на важный ладъ настроя,
Бывало пламенный творецъ
Являлъ вамъ своего героя,
Какъ совершенства образецъ.
Онъ одарялъ предметъ любимый,
Всегда неправедно гонимый,—
Душой чувствительной, умомъ
И привлекательнымъ лицомъ.
Питая жаръ чистѣйшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готовъ былъ жертвовать собой,
И при концѣ послѣдней части
Всегда наказанъ былъ порокъ,
Добру достойный былъ вѣнокъ.

Вы видите, эти стихи—прямые предшественники знаменитой гоголевской насмѣшки надъ пристрастіемъ писателей къ «добродѣтельному человѣку». Такъ писалъ Пушкинъ, приблизительно, въ 1824 году, т. е. въ періодъ своего охлажденія къ байронизму.

Но вѣдь Гоголь—признанный живописатель пошлости, самыхъ мелкихъ и непоэтическихъ явленій. Всѣмъ извѣстно его сопоставленіе *двухъ* поэтовъ—лирика и сатирика, писателя, минующаго скучные характеры и печальную дѣйствительность, ни разу не измѣнявшаго возвышеннаго строя своей лиры, вообще витающаго вдали отъ бреннаго земного праха, и писателя, выставляющаго тину житейскихъ мелочей и повседневные характеры.

Давно принято въ этомъ сопоставленіи видѣть Пушкина и самого Гоголя. Это заблужденіе, и прежде всего несправедливость со стороны Гоголя.

Стоило ему прочесть пятую главу Онѣгина и *Родословную моего героя*, чтобы отказаться видѣть пропасть между своимъ учителемъ и самимъ собой, именно какъ изобразителемъ «пошлости».

Вотъ любопытнѣйшее послѣдовательное развитіе реальной теоріи искусства въ пушкинскихъ стихахъ.

Сначала идетъ вопросъ только о національности и будничности мотивовъ и героевъ:

Быть можетъ, волею небесъ
Я перестану быть поэтомъ,
Въ меня вселится новый бѣсъ,
И Фебовы презрѣвъ угрозы,
Унижусь до смиренной прозы.
Тогда романъ на старый ладъ
Займетъ веселый мой закатъ.
Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно въ немъ изображу,
Но просто вскмъ перескажу
Преданья русскаго семейства,
Любви плѣнительные сны,
Да нравы нашей старины.

Поэту самому будто странны такіе вкусы у него, байрониста и романтика—и онъ юмористически сравниваетъ себя—прежде и теперь.

Порой дождливою намедни
Я завернулъ на скотный дворъ...
Тьфу! прозаическія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ!
Таковъ ли былъ я, расцвѣтая!
Скажи, фонтанъ Бахчисарая!
Такія ль мысли мнѣ на умъ
Навелъ твой безконечный шумъ,
Когда безмолвно предъ тобою
Зарему я изображалъ...

Теперь далеко до Заремы, до Гиреевъ и прочихъ сновъ юности. На смѣну имъ явятся не только не романтическія фигуры, а даже не допустимыя въ простомъ свѣтскомъ обществѣ. Мы видѣли, поэтъ защищалъ свѣтскую жизнь, какъ предметъ поэзіи, теперь онъ устремляется гораздо глубже въ «фламандскій соръ» требуетъ мѣста среди литературныхъ героевъ «коллежскому регистратору», «станціонному смотрителю» и даже пьяному мужику.

О коллежскомъ регистраторѣ рѣчь ведется совершенно въ гоголевскомъ духѣ: «малый онъ обыкновенный», не Донжуанъ, не Демонъ, даже не цыганъ,

А просто гражданинъ столичный,
Какихъ встрѣчаемъ всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
Отъ нашей братьи не отличный...

И, наконецъ, полнѣйшее заушеніе всякимъ чинамъ въ искусствѣ и всевозможному шуму и блеску всякихъ эстетическихъ *измовъ*.

Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ...
Теперь мила мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака.
Мой идеалъ теперь хозяйка,
Да щей горшокъ, да самъ большой...

Теорія шла къ быстрому осуществленію на практикѣ. Всѣ прозаическіе романы Пушкина—искусство фламандской школы, и со временемъ изъ подъ пера геніальнаго лирика, можетъ быть, явились бы первые образцы народнической литературы. Пушкинъ, весь одушевленный національными инстинктами и горячимъ стремленіемъ къ жизни и простотѣ, сошелъ съ поприща русской литературы истиннымъ творцомъ ея національнаго великаго будущаго.

И помните, творцомъ-художникомъ вопреки современной наукѣ и критикѣ. Одинъ только всевластный талантъ былъ одновременно учителемъ и соратникомъ поэта. Это—въ полномъ смыслѣ вдохновеніе геніальной натуры, органическое влеченіе къ творческой свободѣ и къ вѣчнымъ идеаламъ искусства.

Пушкинъ высказывалъ въ высшей степени серьезную мысль, будто иронически оправдывая себя за выборъ «ничтожнаго» героя. «Вы правы,—говорилъ онъ рыцарямъ школъ, — но и я совсѣмъ не виноватъ», и, предоставляя читателямъ воскликнуть или «экой вздоръ» или «браво», онъ, поэтъ, своего пути не измѣнитъ: онъ убѣжденъ въ своемъ *правѣ*.

И мы увидимъ, на какой высотѣ должно было стоять это убѣжденіе, чтобы и себя оборонять отъ оглушительныхъ воплей «экой вздоръ», и ободрять другихъ, столь же одинокихъ на своей писательской дорогѣ. Мы впослѣдствіи оцѣнимъ всю важность пушкинскаго вліянія на Гоголя, разберемъ, что означало привѣтствіе геніальнаго прославленнаго поэта для начинающаго невѣдомаго литератора. Мы поймемъ также, почему Тургеневъ и Писем-

скій, столь, повидимому, несходные люди талантами и личностями, одинаково признавали Пушкина своимъ учителемъ и открытіе ему памятника—своимъ торжествомъ...

А теперь намъ остается сдѣлать общіе выводы изъ нашего обзора историческихъ судебъ русской литературы до вступленія ея на путь прогрессивнаго національнаго движенія.

Эти выводы, при всей своей значительности, подсказываются простой логикой фактовъ, въ сущности даже самими чистыми фактами.

XIX

Пушкинъ окончательно установилъ пути художественной литературы. Гоголю, въ принципахъ, ничего не оставалось прибавить къ наслѣдству своего учителя. Пушкинъ до конца остался для него единственнымъ руководящимъ критикомъ, внушителемъ художественныхъ задачъ и рѣшающимъ цѣнителемъ ихъ выполненія. Гоголь, по его словамъ, всегда имѣлъ предъ глазами тотъ или другой приговоръ поэта, старался мысленно отгадать его судъ надъ каждой написанной строкой и его одобреніе предпочиталъ какому угодно успѣху.

Гоголь, слѣдовательно, неразрывными нитями привязалъ всю свою дѣятельность къ пушкинскому генію. Это будетъ началомъ отнынѣ неумирающихъ традицій.

Авторъ *Мертвыхъ душъ*, въ свою очередь, станетъ образцомъ для другихъ художниковъ и, подобно Пушкину, увлечетъ за собой и критику. Роли писателей, по смыслу и результатамъ, окажутся поразительно сходными.

Пушкинъ своей «романтической» драмой и фламандскимъ искусствомъ нанесъ смертельный ударъ всѣмъ школамъ россійско-европейской словесности, на мѣсто хитростей литературнаго ремесла, утвердилъ права личнаго таланта, и заставилъ критику считаться не съ *правильностью* художественныхъ произведеній, а съ ихъ *правдой*.

То же самое назначеніе выполнилъ реализмъ Гоголя.

Соперникомъ поэта въ критикѣ на этотъ разъ явилась сила несравненно болѣе зрѣлая и авторитетная, чѣмъ піитики классиковъ и прочихъ школяровъ. Искреннія философскія увлеченія русской молодежи пытались создать новый кодексъ литературнаго уложенія. Они всецѣло захватили первенствующаго современнаго кри-

тика, налегли тяжелымъ деспотическимъ гнетомъ на его умъ даровитѣйшаго публициста и душу прирожденаго художника.

Снова узы теорій грозили опутать и таланты, и жизнь, и безпощадно увѣчить вдохновеніе и свободу. Съ какими идеально-возвышенными намѣреніями присуждались къ смерти лучшія достоянія творчества, если не цѣликомъ, то въ своихъ нерѣдко наиболѣе блестящихъ частностяхъ! Съ какой стремительностью обрушивались громы философскаго доктринерства не только на факты литературы, но и дѣйствительной жизни, если они не вкладывались въ непогрѣшимыя отвлеченныя формулы!

Мы увидимъ дальше результаты этого новаго школьничества, отнюдь не послѣдняго въ исторіи нашего идейнаго развитія, и оцѣнимъ услуги, вновь оказанныя критической мысли творческимъ геніемъ. Мы прослѣдимъ постепенныя столкновенія философскаго идеализма тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ съ литературнымъ направленіемъ Гоголя и опредѣлимъ смыслъ борьбы.

Въ общемъ онъ останется тотъ же, какимъ былъ при Грибоѣдовѣ и Пушкинѣ: школа съ своимъ духомъ систематизаціи и властительскими притязаніями на искусство снова отступитъ предъ искусствомъ — по существу свободнымъ и сильнымъ только своей внутренней правдой и громаднымъ общественнымъ значеніемъ. Бѣлинскій въ повѣстяхъ Гоголя почерпнетъ неизмѣримо болѣе цѣлесообразныя и прочныя свѣдѣнія, чѣмъ въ гегельянствѣ, и именно съ этими повѣстями въ рукахъ самъ же возстанетъ на абстрактный фанатизмъ своей молодости.

Въ слѣдующую эпоху повторится та же исторія, хотя и не въ столь рѣзкой опредѣленной формѣ.

Опять подъ вліяніемъ европейскихъ внушеній, не всегда точно понятыхъ и еще рѣже по достоинству оцѣненныхъ, начнется разрушеніе эстетики. Въ самое короткое время воинственный азартъ достигнетъ наивысшей температуры, эстетика будетъ отожествлена не только съ «чистымъ» поэтическимъ вдохновеніемъ, а вообще съ художественными явленіями, съ творческой даровитостью.

Запальчивость нападокъ не уступитъ смѣлости обобщенія, и самыя отчаянныя вылазки новыхъ теорій устремятся—и совершенно естественно—на сильнѣйшаго родоначальника русскаго искусства—на Пушкина.

И это произойдетъ во имя самыхъ, повидимому, жизненныхъ и реалистическихъ задачъ литературы!

Въ дѣйствительности, и здѣсь нападающими будетъ управлять

школа, извѣстное апріорное воззрѣніе, почерпнутое въ «послѣднихъ словахъ» мнимо-положительной исторической науки. Это она подскажетъ идею объ исключительномъ значеніи для человѣческой культуры опытныхъ знаній и о безплодности, даже чужеядности искусства. Она вооружитъ юныхъ рыцарей біологіи и химіи и придастъ внушительную научную окраску ихъ на самомъ дѣлѣ совершенно ненаучному и исторически неосмысленному предпріятію.

Опять противъ доктринерства станетъ неистощимо-жизненное творчество. Оно и безъ открытой полемики изобличитъ всю призрачность и безцѣльность «разрушенія», изобличитъ исконной своей способностью художественными образами и фактами будить общественное сознаніе и воспитывать въ смутной средѣ современниковъ идеалы гражданственности съ гораздо большимъ успѣхомъ, чѣмъ этого могли бы достигнуть всѣ естественныя науки вмѣстѣ.

Первое мѣсто среди этихъ изобличителей займетъ, какъ и слѣдовало ожидать, преданнѣйшій ученикъ Пушкина. Тургеневу придется не разъ вступить въ открытое сраженіе съ «дѣтьми», и, помимо многихъ второстепенныхъ и временныхъ счетовъ, судьба сраженія всякій разъ будетъ рѣшеніемъ того или иного будущаго литературы и критики.

Тургеневъ снова повторитъ ученіе Пушкина о процессѣ и смыслѣ художественнаго творчества, придастъ этому ученію еще болѣе ясную и полную внѣшнюю форму, оправдывая его въ то же время собственными краснорѣчивѣйшими произведеніями.

Впослѣдствіи мы познакомимся съ подробностями этого когда-то столь шумнаго и до сихъ поръ еще не замолкшаго вопроса о тенденціи и о чистомъ художествѣ. Мы увидимъ, — въ сущности отвѣтъ не подлежалъ сомнѣнію съ самаго начала. Борьба вызвана вовсе не заблужденіями художниковъ, а новымъ наплывомъ европейскихъ формулъ въ русскую критику. Тургеневъ и писатели равной съ нимъ силы по существу не могли быть эстетическими празднословами и неосмысленными служителями чистой красоты. Авторъ *Отцовъ и дѣтей* не нуждался въ напоминаніяхъ на счетъ значительнаго содержанія литературныхъ произведеній, гражданскаго долга писателей и вообще просвѣтительнаго и цивилизующаго назначенія искусства.

Всѣ эти вопросы рѣшались личнымъ геніемъ художника. Критикѣ здѣсь нечего было дѣлать, и своими антиэстетическими строеніями она могла только затормазить благотворное движеніе въ пол-

номъ смыслѣ идейной, хотя и художественной литературы, вызвать недоразумѣнія между писателемъ и малосознательными читателями.

Это дѣйствительно отчасти и произошло, но только отчасти, на время.

Художникъ опять остался побѣдителемъ. Волна самаго, повидимому, солиднаго европейскаго повѣтрія схлынула даже скорѣе, чѣмъ можно было ожидать. Она едва пережила своихъ творцовъ и до слѣдующихъ поколѣній долетѣлъ только невнятный гулъ еще недавно столь шумной битвы.

Въ наше время снова воскресаетъ старый спектакль. Но уже и пьеса и дѣйствующія лица не представляютъ ни малѣйшей опасности. Русскій символизмъ до сихъ поръ не встрѣтилъ врага въ лицѣ первостепенной художественной силы, какъ это было при раннихъ европейскихъ нашествіяхъ на русскую литературу. Но, повидимому, новѣйшая школа, ея формула до такой степени тщедушна и даже противолитературна, такъ явно противорѣчитъ нагляднѣйшему историческому развитію искусства и особенно его современнымъ естественнымъ задачамъ, что доктрина умретъ сама собой, отъ внутренняго недуга. И, можетъ быть, этотъ исходъ будетъ началомъ излѣченія русской критической мысли отъ болѣзненной стремительности къ паролямъ и лозунгамъ западно-европейскаго происхожденія.

А между тѣмъ, цѣли и содержаніе русской критики вполнѣ опредѣлены ея кратковременной, но необычайно богатой и краснорѣчивѣйшей исторіей.

Никакихъ школъ, никакихъ отвлеченно-формулированныхъ направленій, никакихъ ни чисто-эстетическихъ, ни научно-общественныхъ системъ: совершенная свобода личнаго творчества и искреннее, любовно-вдумчивое отношеніе къ родной дѣйствительности.

Для таланта нѣтъ другихъ ограниченій, кромѣ свойствъ самого этого таланта и голоса кругомъ развивающейся жизни.

Послѣднее въ высшей степени существенное условіе. Личную свободу художника можно понять въ самомъ превратномъ смыслѣ, и декаденты эту свободу кладутъ во главу угла своего формально обязательнаго «безумія».

Но абсолютной свободы нѣтъ ни для художника, ни вообще для смертнаго. Не проходитъ мгновенія, когда бы мы не чувствовали своей ничѣмъ неустранимой связи съ внѣшнимъ міромъ. Нельзя представить ни единой мысли, ни единаго мимолетнаго на-

строенія свободныхъ отъ всепроникающаго «духа земли». Самые фантастическіе образы подсказаны дѣйствительностью — грубой и непосредственной. Самыя идеальныя построенія отвлеченнаго ума созданы изъ того же матеріала, только иначе размѣщеннаго и связаннаго.

И недаромъ легенды объ отшельникахъ и подвижникахъ съ такимъ постоянствомъ разсказываютъ объ «искушеніяхъ»... Нѣтъ, очевидно, спасенія отъ міра даже тамъ, гдѣ, повидимому, ближе всего небо!

Въ этомъ законѣ весь смыслъ мірового процесса.

Если бы наша нравственная жизнь могла питаться исключительно своимъ содержаніемъ, немедленно исчезъ бы всякій интересъ существованія. Оно всецѣло основывается на способности *воспріятія* и возможности *воздѣйствія*. Насъ инстинктивно влечетъ жизнь, потому что мы также инстинктивно увѣрены въ своей, хотя бы и очень относительной, власти надъ ней. А всякая разумная и успѣшная власть мыслима только при тщательномъ изученіи предмета, подлежащаго ей. Въ результатѣ, мы воспринимаемъ впечатлѣнія и часто страданія отъ внѣшняго міра съ тѣмъ, чтобы, въ свою очередь, его заставить воспринять наши идеи, его явленія, насколько возможно, подчинить нашей личности.

Отсюда логическій выводъ: чѣмъ совершеннѣе и глубже воспріимчивость, чѣмъ, слѣдовательно, обширнѣе область воспринимаемаго міра, тѣмъ достижимѣе возможность идейныхъ вліяній на дѣйствительность.

Само собой разумѣется, вліянія могутъ осуществляться только при участіи опредѣленно-направленной воли, но именно эта опредѣленность и обусловливается количествомъ и качествомъ изученныхъ явленій жизни.

Примѣните эти соображенія къ художественному таланту, и вы совершенно послѣдовательно получите точную мѣрку его идеальной и практической цѣнности.

Она прямо и непосредственно зависитъ не отъ какихъ бы то ни было нарочитыхъ усилій автора сказать публикѣ непремѣнно что-нибудь значительное и поучительное, не отъ благороднѣйшихъ въ мірѣ тенденцій, а отъ прирожденной воспріимчивости и чуткости творческаго духа.

Тургеневъ выразилъ эту истину по поводу частнаго случая, защищая свое собственное произведеніе. Онъ не формулировалъ никакой теоріи творчества—ни психологической, ни художествен-

ной, но простая искренняя исповѣдь художника важнѣе всякихъ обобщеній и системъ.

Во время полемики, вызванной *Отцами и дѣтьми*, Тургеневу пришлось, между прочимъ, выслушать жестокія укоризны за *тенденцію* и *рефлексію*, т. е. за недостатокъ свободнаго творчества и чисто-поэтическаго вдохновенія.

Авторъ, въ общемъ, крайне добродушно и сдержанно отвѣчалъ своимъ критикамъ, но малѣйшій намекъ на тенденцію, очевидно, особенно болѣзненно отзывался на его писательской совѣсти.

Онъ готовъ признать какіе угодно недостатки въ своемъ романѣ, готовъ согласиться, что ему «мастерства не хватило», но *тенденція*!.. Ничего не можетъ быть несообразнѣе съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла!.. Онъ просто *не знаетъ*, какъ и почему извѣстнымъ образомъ сгруппировались у него лица и вышли именно такими, столь неугодными критикамъ.

«Я всѣ эти лица рисовалъ, какъ бы я рисовалъ грибы, листья, деревья; намозолили мнѣ глаза, я и принялся чертить. А освобождаться отъ собственыхъ впечатлѣній потому только, что они похожи на тенденціи, было бы странно и смѣшно».

Слѣдовательно,—впечатлѣнія, замѣтьте — *только отраженія* внѣшняго міра въ чувствѣ и сознаніи наблюдателя могутъ походить уже на тенденціи... Таковъ вѣдь выводъ изъ словъ Тургенева, и онъ подтверждается ежедневнымъ опытомъ—не писателей и художниковъ, а самыхъ обыкновенныхъ смертныхъ.

Но когда же впечатлѣнія граничатъ съ тенденціей, т. е. *сами по себѣ*, независимо отъ преднамѣренной окраски и искусственнаго подбора, преисполнены нравственнаго и общественнаго смысла?

Очевидно, когда они производятся предметами и явленіями, занимающими первое или, по крайней мѣрѣ, безусловно значительное мѣсто въ современной жизни. Въ иныхъ случаяхъ достаточно только назвать эти предметы, или описать самыми элементарными и даже небрежными чертами, чтобы рѣчь для весьма многихъ слушателей получила тенденціозный смыслъ и вызвала безпокойныя и мучительныя чувства.

Именно въ такомъ положеніи очутился Пушкинъ, когда вздумалъ отъ байронизма и романтическихъ эффектовъ перейти къ заурядныме «неинтереснымъ» героямъ «свѣта», потомъ къ «просто гражданину столичному» и, наконецъ, къ мужику.

Это тоже выходило *тенденціей*. «Коллежскій регистраторъ» допущенный въ область художественной литературы, производилъ

на современныхъ изящныхъ читателей и оффиціальныхъ блюстителей словесности не менѣе дикое впечатлѣніе, чѣмъ нигилистъ Базаровъ на Фета.

И какъ было Пушкину отражать это впечатлѣніе?

Защищать права «фламандскаго сора», доказывать человѣческое достоинство и извѣстное общественное значеніе «обыкновенныхъ малыхъ»—не дѣло художника. Эта задача предстояла критикѣ. Пушкинъ просто заявлялъ, что онъ чувствуетъ себя въ своемъ правѣ писать о томъ, къ чему его влечетъ личный творческій талантъ.

О тенденціи здѣсь, конечно, не можетъ быть и рѣчи, но впечатлѣнія дѣйствительно могли сойти за тенденціи въ глазахъ извѣстной публики.

Въ дѣйствительности тенденція оставалась именно на сторонѣ этой публики. Она требовала, чтобы художникъ направлялъ свое вниманіе на предметы, не вызывающіе безпокойства въ мысляхъ и чувствахъ просвѣщеннаго читателя, тщательно сортировалъ свои впечатлѣнія и отказывался отъ нѣкоторыхъ совершенно.

Во имя чего?

Отвѣты могутъ быть очень разнообразные, но общій ихъ смыслъ *насиліе* надъ талантомъ писателя, властный контроль надъ его нравственнымъ міромъ и чисто инквизиціонное вмѣшательство даже въ его ощущенія и настроенія.

Ученые критики могли поставить предъ лицомъ поэта авторитетъ науки объ изящномъ, т. е. піитику, школу, свѣтскіе франты—сослаться на хорошій тонъ и утонченный вкусъ, чистымъ поэтамъ естественно напасть на умъ и рефлексію.

Всѣ эти идолы и выдвигались неоднократно, выдвигаются и теперь противъ художественнаго творчества, неизмѣримо менѣе тенденціознаго, чѣмъ наука, этикетъ и культъ красоты.

Тотъ же Тургеневъ очень остроумно направилъ обвиненіе въ тенденціи противъ чистѣйшаго изъ эстетиковъ Фета. И вполнѣ справедливо, и фактически-основательно.

Фетъ съ необыкновеннымъ азартомъ нападалъ на умъ и разсудокъ, не хотѣлъ видѣть и слѣда ихъ въ произведеніяхъ искусства, т. е. насильственно калѣчилъ и личность художника, и процессъ его творчества... Что можетъ быть тенденціознѣе? И съ Фетомъ могутъ успѣшно соперничать, именно по разсчитанной преднамѣренности писательства, современные мечтатели о сверхземномъ художествѣ. Имъ также приходится зорко слѣдить за

своимъ умомъ, если онъ у нихъ имѣется, и не допускать его разстраивать гармонію звуковъ.

Очевидно, Пушкинъ—родоначальникъ «впечатлѣній, похожихъ на тенденціи», и въ то же время разрушитель тенденцій въ искусствѣ, какъ разъ съ момента вступленія на путь «тенденціозныхъ» впечатлѣній. Всякая литературная школа, вооруженная теоріями и формулами, и есть самое грубое воплощеніе тенденцій. Протестъ противъ школы, ея хитростей и ремесленническихъ уставовъ—самый подлинный разрывъ съ тенденціей, начало свободы и правды творчества.

Это начало, мы видѣли, положено тремя великими поэтами, и одновременно навсегда опредѣлились пути новой критики, соотвѣтствующіе полному преобразованію искусства.

На развалинахъ европейскихъ школъ должна была вырости національная критическая мысль, столь же независимая и жизненно содержательная, какъ и ставшее во главѣ ея художественное творчество.

XX.

Творчество стало во главѣ критики — это оригинальнѣйшая черта русской литературы; вдохновеніе поэтовъ предшествовало идеямъ эстетиковъ, впечатлѣнія явились первоисточниками тенденцій.

Подобное явленіе знала античная Греція. Тамъ піитика Аристотеля возникла послѣ блестящаго развитія искусства и составилась изъ обобщеній уже готовыхъ фактовъ. Творчество эллинскихъ трагиковъ выросло на свободѣ и естественныхъ національныхъ силахъ. Никакой теоретикъ не вмѣшивался въ этотъ ростъ и, впослѣдствіи, вся заслуга Аристотеля состояла въ точномъ *осмысливаніи дѣйствительности*, а не въ стремленіи передѣлать ее путемъ отвлеченныхъ эстетическихъ предписаній. Скромная, но добросовѣстно выполненная задача и сохранила до сихъ поръ за критикой Аристотеля право на существованіе.

Трактаты позднѣйшихъ классиковъ, много толковавшіе объ Аристотелѣ, на самомъ дѣлѣ не имѣли съ нимъ ничего общаго,— прежде всего по своимъ цѣлямъ.

Они разсчитывали создать искусство и неограниченно управлять имъ. Они и достигли своего идеала, но столь же мертворожденнаго и скоропреходящаго. Ложноклассическая критика погибла

даже раньше своего дѣтища, и погибла въ силу своего противоестественнаго положенія. Критика—спутникъ и сотрудникъ искусства, а не господинъ и самодовлѣющій указчикъ.

Этотъ принципъ достигъ осуществленія въ русской литературѣ съ паденіемъ школъ предъ національнымъ творчествомъ.

У критики немедленно исчезли мотивы и вопросы, до сихъ поръ переполнявшіе статьи журналистовъ и лекціи профессоровъ. Если она хотѣла сохранить старыя сокровища, ей оставалось пребывать въ области литературы, явно приговоренной къ смерти. О «правилахъ» и «хорошемъ вкусѣ» можно было толковать только по поводу трагедій Сумарокова, окончательно заслоненныхъ новой комедіей, сентиментализмъ и романтическое направленіе приходилось пояснять повѣстями Карамзина и балладами Жуковскаго, совершенно разбитыхъ, въ общественномъ мнѣніи, произведеніями Лермонтова и Пушкина. Въ полномъ смыслѣ мертвецамъ приходилось возиться съ трупами и староверамъ бороться съ непреодолимой властью талантовъ и ихъ славы.

Конечно, охотники даже до такихъ подвиговъ не могли перевестись въ нѣсколько лѣтъ. Но самый естественный врагъ всего осужденнаго жизнью—ничѣмъ неотвратимый процессъ вырожденія и вымиранія—шелъ своимъ чередомъ, и новая критика не замедлила стать рядомъ съ новымъ искусствомъ.

Какая же судьба ей предстояла?

Вопросъ отнюдь не рѣшался съ перваго же шага. Мы увидимъ, сколько заблужденій, колебаній, сдѣлокъ съ мертвой стариной отмѣтили раннія движенія критики. Но основныя задачи ея опредѣлились очень скоро, въ силу фактической необходимости.

Если искусство разорвало съ отвлеченной эстетикой и обратилось къ свободѣ и дѣйствительности, критикѣ оставалось идти тѣмъ же путемъ, изъять изъ своего обихода вопросъ о правилахъ творчества и заняться оцѣнкой его смысла и содержанія.

А мы знаемъ, въ чемъ заключалось это содержаніе: воспроизведеніе русской будничной жизни, вплоть до народнаго быта. Художественная литература брала на себя обязанность изучать только землю, и навсегда покинуть эфирныя высоты мечтательной красоты и идеальнаго величія. Поэтъ рѣшался рыться въ житейскомъ «сорѣ» и обыкновенными, часто даже совершенно невзрачными и отнюдь не героическими «малыми» замѣнить эффектнѣйшихъ витязей. А для этой цѣли ему приходилось возможно ближе подойти къ самой неприглядной дѣйствительности, гдѣ и помину

нѣтъ о небесной красотѣ, сказочномъ счастьѣ, гдѣ немощи и лишенія до послѣдней степени обездоливаютъ человѣка и уродуютъ его «божественный образъ».

Перенесите изъ этого міра самыя спокойныя, непосредственныя впечатлѣнія, только искренне и честно перенесите въ свой разсказъ или на свою картину, и вы тотчасъ же у публики затронете чувства, у критика вызовете идеи,—совершенно невѣдомыя ни классическимъ, ни романтическимъ читателямъ и эстетикамъ.

О чемъ будетъ говорить критикъ по поводу вашего произведенія?

Раньше онъ могъ наполнить всю свою статью разсужденіями о стилѣ, о законахъ искусства, потому что самъ авторъ полагалъ всѣ свои силы именно на эти основы своихъ писательскихъ правъ. Теперь вы тоже можете многое сказать о моемъ слогѣ, о чисто-художественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ моего произведенія, но помимо всего этого останется нѣчто, самое существенное—*смыслъ* моей работы.

И какой смыслъ!

Чтобы выяснить его, вы не можете ограничиться критикуемой книгой, вы должны *знать* многое помимо ея, отнюдь не менѣе автора, знать не книги также, а тотъ самый «фламандскій соръ», откуда авторъ взялъ героевъ и факты для своего произведенія.

Вы, слѣдовательно, отъ книги неизбѣжно обращаетесь къ жизни и совершенно логически становитесь одновременно и критикомъ литературнаго явленія, и судьей надъ извѣстной дѣйствительностью. А это значитъ—изъ цѣнителя искусства вы превращаетесь въ публициста, т. е. моралиста, политика, соціолога.

И превращеніе произошло съ вами вовсе не потому, что вы взялись за критику нарочито съ публицистическими намѣреніями. Все равно, какъ художникъ не разсчитывалъ на тенденціозныя общественныя воздѣйствія, воспроизводя свои *впечатлѣнія*, такъ и его критикъ можетъ быть неповиненъ въ результатѣ своихъ *идей*.

Впечатлѣнія художника походили на *тенденціи* въ силу самого своего источника, и идеи критика, безъ вмѣшательства его воли, могутъ приблизиться къ *проповѣди* опредѣленнаго смысла въ силу своего предмета. Здѣсь переходъ часто незамѣтенъ для самого писателя, все равно какъ *впечатлѣнія* привели Пушкина и Гоголя къ самымъ краснорѣчивымъ поучительнымъ результатамъ, безусловно независимо отъ какихъ бы то ни было публицистическихъ инстинктовъ того и другого поэта.

Давно извѣстна истина, жизнь—самый могущественный *учитель*, и она неуклонно выполняетъ это назначеніе и въ практическихъ опытахъ незамѣтныхъ людей, и въ произведеніяхъ геніальныхъ художниковъ и мыслителей. Въ этомъ фактѣ великое значеніе литературнаго реализма. Онъ, *въ силу своей сущности*, чреватъ всевозможными *нравственными* результатами. Въ искусствѣ онъ то же, что солнце въ природѣ.

Оно одинаково щедро изливаетъ свои лучи и на каменистую пустыню, и на благословеннѣйшій въ мірѣ край. Оно совершаетъ свое дѣло стихійно, по безстрастному закону природы, но всюду, гдѣ только есть малѣйшая возможность развиться живому организму, подъ его лучами возникаетъ процессъ зарожденія и расцвѣта.

Таково дѣйствіе и художественнаго произведенія, изображающаго правдивую подлинную жизнь.

Эту простую логику и *неразрывное сцѣпленіе* причинъ съ послѣдствіями трудно понять эстетикамъ и читателямъ старой искусственной, отъ начала до конца фантастической литературы. Чистые вымыслы воображенія — пустоцвѣты творчества, можетъ быть, очень красивые и ароматные, но безплодные и тунеядные.

До какой степени несоизмѣрима разница между идеальнымъ искусствомъ и реализмомъ, разница *органическая*, *фатальная*, понималъ даже писатель классической эпохи. Стоило ему подойти къ дѣйствительности и сравнить ее съ современной трагической школой, чтобы немедленно опредѣлилась могучая внутренняя сила жизненнаго вдохновенія.

«Я думаю,—писалъ Мольеръ,—гораздо легче витать въ области высшихъ чувствъ, бросать въ стихахъ вызовъ счастью, осыпать обвиненіями судьбу, поносить боговъ, чѣмъ проникать въ смѣшныя стороны человѣческой природы и заинтересовывать публику несообразностями повседневной жизни. Когда вы изображаете героевъ, вы дѣлаете это, какъ вамъ вздумается. Это совершенно произвольные образы, въ нихъ нечего искать какого-либо сходства съ какой бы то ни было дѣйствительностью. Вы слѣдуете только порывамъ вашего личнаго воображенія, которое часто естественность и правду приноситъ въ жертву чудесному. Но когда вы беретесь изображать дѣйствительныхъ людей, вы должны ихъ брать, какими они являются въ жизни. Необходимо, чтобы ваши созданія походили на дѣйствительность, и ваша работа утратитъ всякое значеніе, если въ ней не узнаютъ типовъ современниковъ».

Очевидно, при такомъ процессѣ творчества неизбѣжно участіе

ума и *разсудка*. Изображать восходъ солнца, цвѣты, трели соловья можно безъ этихъ благороднѣйшихъ силъ человѣческой природы. Но когда художественному воспроизведенію подлежитъ человѣкъ и общество, художникъ обязанъ *понимать*, слѣдовательно, мыслить. А критику предстоитъ при первомъ же взглядѣ на трудъ художника прибѣгнуть къ *сравненію*, опредѣлить соотвѣтствіе литературныхъ образовъ дѣйствительнымъ явленіямъ. Опять—на сценѣ *личный* умъ и *личный* общественный и культурный кругозоръ.

Такимъ путемъ реализмъ искусства совершенно преобразовываетъ критику.

Это преобразованіе совершалось и совершается всегда и вездѣ, но въ русской литературѣ оно приняло своеобразное направленіе, отличное отъ западно-европейскаго.

И мы знаемъ, почему.

На Западѣ реализмъ и даже натурализмъ сохранилъ существенныя преданія старой словесности, т. е. употребилъ всѣ усилія сложиться въ школу, въ эстетическую формулу. Русскій реализмъ, національно не связанный ни съ какими школьными преданіями, явился именно противошкольнымъ и внѣсистемнымъ художественнымъ фактомъ. Результаты въ критикѣ очевидны.

Ей оставалось только судить о правдивости и реальности литературныхъ произведеній, т. е. сопоставлять жизнь и искусство. Даже въ простѣйшей формѣ эта задача непосредственно приводила критика къ *разбору* жизненныхъ явленій и *оцѣнкѣ* уровня пониманія и анализа у художника. Только въ этихъ предѣлахъ и должна была вращаться критическая мысль русскаго эстетика.

Его французскій собратъ, взявшій въ руки, положимъ, драму или романъ изъ школы Гюго, имѣетъ предъ собой рѣшительное заявленіе основателя школы воспроизводить дѣйствительность съ фактической вѣрностью—самымъ уродливымъ явленіямъ. Но это не все. Критикъ, помимо этихъ *реальныхъ* принциповъ, слышитъ изъ тѣхъ же устъ еще цѣлый *эстетическій* уставъ. Очевидно, его критика, разъ она хочетъ быть полной и соотвѣтствовать художественному факту, должна разбиться, по крайней мѣрѣ, на двѣ струи: нравственно-общественную и школьно-теоретическую.

Ничего подобнаго у русскаго критика.

Его авторъ не признаетъ никакихъ *хитростей*, и было бы совершенно безцѣльно судить человѣка по законамъ ему невѣдомымъ. Но тотъ же авторъ заявляетъ притязанія на вѣрное изо-

бражение жизни, и этимъ самымъ указываетъ цѣль критическаго анализа.

Естественно, анализъ выйдетъ не трактатомъ по эстетикѣ, а публицистической статьей.

Мы не должны понимать слово *публицистика* непремѣнно въ смыслѣ какой-нибудь партійной, намѣренно-односторонней проповѣди. Публицистика можетъ быть и не быть такою проповѣдью, все равно, какъ и художникъ можетъ совершенно произвольно скомбинировать свои впечатлѣнія, внести своего рода школу въ свои наблюденія и свое творчество. Все это отнюдь не требуется, чтобы впечатлѣнія непремѣнно были поучительны и дѣйствительны въ практическомъ смыслѣ; для этого достаточно самого предмета, вызывающаго впечатлѣнія.

Точно также и критику нѣтъ необходимости слѣпо исповѣдывать какой-либо нравственный и общественный символъ, чтобы его анализъ вышелъ значительнымъ по содержанію и просвѣтительнымъ по смыслу.

Опять предметъ анализа неминуемо превратитъ критика въ философа и учителя. Цѣнность философіи и высота учительства будутъ обусловлены способностью *понимать* предметъ, т. е. искренностью и культурностью личной мысли критика. Но вѣдь и достоинство реальнаго художественнаго произведенія зависятъ отъ глубины и той же искренности поэтическихъ впечатлѣній. Идеалъ и безусловная истина ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ недостижимы, все равно, какъ они—вѣчно искомые предѣлы даже въ опытныхъ наукахъ. Высшая цѣль нравственныхъ усилій человѣчества—вѣрный путь къ истинѣ, и, несомнѣнно, на такой путь одновременно вступили и русское искусство, свободное и реальное, и русская критика, идейная и публицистическая.

XXI.

Принято думать, будто произведенія русскихъ критиковъ переполнены всевозможными вопросами, только не художественными, потому что литературная критика, по разнымъ условіямъ, явилась для русскихъ писателей единственнымъ доступнымъ орудіемъ общественной мысли.

Это справедливо только отчасти и касается только внѣшней исторіи вопроса. Публицистическая сущность нашей критики создана историческимъ развитіемъ художественнаго творчества. Оно—

первый и самый могущественный источникъ постепеннаго наплыва публицистики въ эстетику и, наконецъ, окончательнаго исчезновенія эстетики.

Оригинальное явленіе обнаружилось на первыхъ же порахъ, въ самый ранній періодъ критики. Въ сущности, вся ея исторія сводится, во-первыхъ, къ борьбѣ публицистическихъ мотивовъ съ эстетическими теоріями, а потомъ къ преобразованію публицистическихъ темъ.

Непосредственно послѣ петровской реформы, съ возникновеніемъ свѣтской литературы, должна возникнуть критика. Работа ей во всѣхъ отношеніяхъ предстояла громадная.

Первый основной вопросъ, поглотившій мысли и таланты новыхъ писателей, заключался въ точномъ опредѣленіи *языка*, какимъ слѣдовало пользоваться новой литературѣ. Вопросъ усложнялся до крайней степени именно условіями реформы.

Съ одной стороны трудно было разграничить *два языка* такъ же просто, какъ установлены *два алфавита*, точнѣе, даже *не установлены*, а намѣчены и далеко не сразу разграничены. Установленіе гражданской азбуки совершалось въ теченіе довольно продолжительнаго времени и Тредьяковскому пришлось перенести жестокія нравственныя муки и въ высшей степени запальчивую полемику изъ-за нѣкоторыхъ *буквъ*. Славянскій языкъ не могъ безъ самой упорной борьбы свѣтскую литературу предоставить исключительной власти русскаго.

Съ другой стороны та же реформа наводнила книжную литературу множествомъ иностранныхъ словъ.

Не имѣя ни времени, ни силъ создавать русскія выраженія для европейскихъ понятій, реформа завѣщала ближайшимъ поколѣніямъ настоящій словесный хаосъ.

Онъ представлялъ не только смѣсь различныхъ языковъ *въ отдѣльныхъ словахъ*, но подчинялъ иноземнымъ вліяніямъ самый *характеръ родного* языка, его слогъ и грамматическій строй.

У нарождающейся литературы, слѣдовательно, оказалось два врага—внутренній и внѣшній. Борьба съ ними наполняетъ первый періодъ русской критики.

Его можно назвать *стилистическимъ*.

Но какъ бы ни былъ настоятеленъ вопросъ о самомъ языкѣ, самая ранняя критика не могла уклониться и отъ другихъ задачъ, господствовавшихъ одновременно въ европейской литературѣ. Широко прорубленное «окно» одинаково давало доступъ и чужому искусству, и чужимъ идеямъ объ искусствѣ.

Иноземнымъ военнымъ инструкторамъ, обучавшимъ русскую армію, соотвѣтствовали такіе же инструкторы молодой словесности. Очевидно, вопросъ о теоріи и школѣ неизбѣжно долженъ чередоваться съ поисками за литературнымъ языкомъ и слогомъ, и въ критикѣ рядомъ съ *стилистикой*, развивалась *схоластика*.

Таково содержаніе перваго періода русской критики—*стилистическо-схоластическое*.

Но оно не единственное. Литературными и эстетическими темами не ограничились первые критики — Ломоносовъ, Тредьяковскій, Сумароковъ—и не могли ограничиться. Даже больше. Они представили образцы публицистики во всѣхъ ея формахъ, идейно-культурной и личной, прогрессивной, общественно-просвѣтительной и публицистики — партіи, памфлетовъ, даже «юридическихъ бумагъ». Не всѣ три писателя одинаково повинны во всѣхъ этихъ грѣхахъ, но вопросъ не въ отдѣльныхъ именахъ, а въ общемъ направленіи критической литературы.

Высшая публицистика широкихъ общихъ идей вызывалась неизбѣжно той же самой причиной, какая стояла во главѣ новой словесности -- подражательностью. Предъ русскими писателями единственный источникъ просвѣщенія—европейская наука и цивилизація. Этого факта они не могли отвергать, разъ желали продолжать дѣло великаго преобразователя. Но изъ того же источника возстали силы, грозившія поглотить все національно-русское, начиная съ платья и кончая языкомъ и мыслями. Многимъ и здѣсь можно было пожертвовать, но ни одному сколько-нибудь сознательному литературному дѣятелю не могло и на умъ придти создать изъ своей личности и дѣятельности безусловно подвластные удѣлы европейскихъ вліяній.

Отсюда одновременно съ усвоеніемъ европейскихъ знаній и обычаевъ—стремленіе отстоять національную стихію, прежде всего языкъ, исторію, нѣкоторые обычаи, а потомъ вообще національную индивидуальность, нравственную и умственную независимость.

Ясно, патріотическія чувства должны проникнуть во всѣ разсужденія критиковъ, даже если вопросъ шелъ объ языкѣ, истинѣ. И Ломоносову принадлежитъ идея о блестящемъ будущемъ русскаго языка сравнительно даже съ самыми сильными и богатыми языками. «Бодростью и героическимъ звономъ» русскій не уступаетъ, по мнѣнію Ломоносова, ни греческому, ни латинскому, ни нѣмецкому. И если нѣтъ на немъ превосходныхъ

литературныхъ образцовъ, виноватъ не языкъ, а неумѣлость и неопытность писателей.

«Ежели чего точно изобразить не можемъ, не языку нашему, но недовольному своему въ немъ искусству приписывать долженствуемъ. Кто отчасти далѣе въ немъ углубляется, употребляя предводителемъ общее философское понятіе о человѣческомъ словѣ, тотъ увидитъ безмѣрно широкое поле или, лучше сказать, едва предѣлы имѣющее море».

Легко представить, какъ съ подобными чувствами къ родному языку Ломоносовъ могъ встрѣчать рѣчь съ такими рѣченіями: *дисперація, трактаментъ, штиль-штандъ, адгерентъ, пленипотенціаръ, преферативы*.

Отдѣльнымъ словамъ соотвѣтствовали и цѣлыя произведенія, причемъ часто въ нѣсколькихъ строкахъ осуществлялось истинное столпотвореніе вавилонское изъ языковъ простонароднаго русскаго, польскаго, малоросійскаго и нѣсколькихъ иностранныхъ. Никакая самая важная тема не могла уберечь автора отъ подобнаго смѣшенія.

За пять лѣтъ до ломоносовской характеристики русскаго языка сравнительно съ античными вышла поэма необычайно торжественнаго содержанія. Называлась она *Умозрительство душевное описанное стихами о переселеніи въ вѣчную жизнь превосходительной баронессы Маріи Яковлевны Строгоновой*.

Здѣсь находятся такія, напримѣръ, строфы:

Трость, копье и гвозди, страстей инструменты;
Отъ чего трепетали свѣта элементы.

Или:

Первые жъ Господь взыде съ матерью своею
Пріять Маріи душу со свитою всею.

Или, наконецъ, такія сочетанія: «на небесномъ театрѣ тріумфъ отправляти».

Послѣ этого понятны усилія Ломоносова опредѣлить *слогъ* литературной рѣчи,—вопросъ въ высшей степени важный по времени.

Ломоносовъ ясно сознавалъ самостоятельность русскаго *слога*, т. е. языка рядомъ съ церковно-славянскимъ. Но въ самомъ словѣ *слогъ* заключалось существенное ограниченіе самой роли русскаго языка. Ломоносовъ положилъ основаніе многолѣтнему спору о совмѣстномъ существованіи въ свѣтской литературѣ двухъ языковъ, пріуровнивъ ихъ къ *содержанію* произведеній.

Употребленіе русскаго языка ставилось въ зависимость отъ

намѣреній писателя или свойствъ его таланта. Онъ могъ пользоваться этимъ языкомъ—для пѣсни, комедіи, дружескаго письма, для «описанія обыкновенныхъ дѣлъ». Если же его мысль поднималась надъ будничной дѣйствительностью, ему рекомендовался «высокій слогъ», т.-е. смѣсь русскаго языка съ церковно-славянскимъ. Такая идея естественна въ началѣ борьбы двухъ языковъ.

Не только Ломоносовъ, представитель академической критики, не могъ изречь окончательнаго приговора славянскому языку,—но долго спустя послѣ него писатели съ большими талантами и, несомнѣнно, жизненными задачами не могли отрѣшиться отъ той же идеи и слѣдовали наставленіямъ Ломоносова.

Фонвизинъ пишетъ русскимъ *слогомъ* всѣ сцены, гдѣ дѣло идетъ объ «обыкновенныхъ дѣлахъ». Но лишь только Стародумъ принимается объяснять основы высшей нравственности, его рѣчь становится «высокимъ слогомъ», т. е. смѣшеніемъ языковъ.

Ломоносовъ былъ слишкомъ талантливъ, чтобы практически ронять свою теорію дикимъ разноязычіемъ, въ родѣ стиля только-что упомянутой поэмы. Мы будемъ имѣть случай познакомиться съ изумительнымъ искусствомъ пылкаго патріота владѣть простымъ русскимъ языкомъ, сообщать ему даже легкость и игривость.

Но и теоретически Ломоносовъ указалъ на такіе источники развитія чисто-русскаго слога, что заранѣе опредѣлилъ будущій исходъ борьбы. Языкъ народный, по мнѣнію Ломоносова, долженъ принести новому литературному языку обильные питательные соки. Опредѣляя въ народномъ языкѣ три діалекта — московскій, сѣверный или поморскій, украинскій или малороссійскій — критикъ отдавалъ преимущество «отмѣнной красотѣ» перваго, но не исключалъ изъ литературы и двухъ другихъ.

Нѣтъ нужды повторять, что всѣми этими соображеніями руководило прежде всего страстное національное чувство. Если бы мы и не знали безчисленныхъ сраженій Ломоносова съ нѣмецкими учеными по исключительно патріотическимъ мотивамъ, мы вполнѣ опредѣленно могли бы прослѣдить господствующую нравственную струю ломоносовской критики — по его теоретическимъ разсужденіямъ. Ученый безпрестанно впадаетъ въ лирическій, будто въ любовный тонъ, говоря о языкѣ, часто о мелкихъ подробностяхъ и свойствахъ родной рѣчи. Онъ первый русскій публицистъ на почвѣ, повидимому, менѣе всего подходящей для публицистики— на почвѣ грамматики и слога.

И именно здѣсь дѣятельность ранней русской критики безусловно

плодотворна. Установленіе языка являлось дѣйствительной потребностью первой словесности и, слѣдовательно, знаменовало *прогрессивную* дѣятельность первыхъ критиковъ.

Совершенно иной смыслъ *схоластической* работы.

Мы видили, споры о теоріяхъ и формальныхъ правилахъ—одинъ изъ отрицательныхъ результатовъ европейскаго вліянія на русскую литературу. Они удаляли искусство отъ его истиннаго назначенія быть органомъ родной дѣйствительности, свободнымъ и національнымъ. Здѣсь значительно участіе и Ломоносова, вывезшаго изъ Германіи ложноклассическое ученіе нѣмецкаго теоретика—Готшеда. «Изученіе правилъ и подражаніе знатныхъ авторовъ»—принципъ ломоносовской піитики.

Русскій ученый, самъ усердный поэтъ, унизилъ вдохновенный поэтическій талантъ, какъ вѣрный послѣдователь классиковъ поэзію отожествилъ съ краснорѣчіемъ, Пиндара и Малерба признавалъ одинаково почтенными образцами для оды и вообще не отличалъ античнаго классицизма отъ французскаго.

Личная сильная натура увлекала Ломоносова въ сторону отъ чиннаго этикета авторитетовъ и онъ весьма часто поддавался искушеніямъ вольносатирической и просто эпиграмматической музы, сочинялъ *Гимнъ бородѣ* и всегда былъ готовъ засыпать врага ядовитѣйшими строфами особаго сорта poésie legère—откровенной, грубой, но неподдѣльно-остроумной и національно-юмористической...

Все это дѣйствительно будто невольная фронда прирожденнаго оригинальнаго таланта противъ ученаго педантизма. Въ общемъ она не поколебала разъ усвоенныхъ принциповъ.

О *схоластической* критикѣ Сумарокова мы знаемъ: здѣсь онъ въ полномъ смыслѣ «слабое дитя чужихъ уроковъ», но въ *стилистической* области онъ такой же положительный и самостоятельный дѣятель, какъ и Ломоносовъ. Тредьяковскій, безпримѣрно осмѣянный авторъ *Телемахиды*, имѣетъ также полное право на почетное мѣсто въ публицистикѣ о языкѣ. До такой степени вопросъ былъ жизненнымъ и значительнымъ!

XXII.

Пушкинъ очень презрительно отзывался о Сумароковѣ и старался возстановить литературную честь Тредьяковскаго. Это возстановленіе вполнѣ основательно, но уничтоженіе Сумарокова, несомнѣнно, пристрастно.

На великаго поэта, вѣроятно, оказали сильное вліяніе историческія свѣдѣнія о личностяхъ и судьбѣ двухъ старыхъ піитъ. Исторія Тредьяковскаго съ Волынскимъ, подробно дошедшая до потомства, одинъ изъ самыхъ возмутительныхъ эпизодовъ общественнаго варварства добраго стараго времени. Она, при какихъ угодно условіяхъ, могла вызвать сочувствіе къ пострадавшему писателю и покрыть собой всѣ нравственные недочеты въ личности Тредьяковскаго.

Сумароковъ, напротивъ, самъ могъ обидѣть кого угодно, открыто—печатно и устно—ставилъ себя и свой талантъ на недосягаемую высоту, не терпѣлъ чужой популярности рядомъ съ своей славой, и Пушкинъ имѣлъ всѣ основанія обозвать его «завистливый горделъ»... Въ результатѣ онъ долженъ столько же потерять въ глазахъ позднѣйшаго судьи, сколько выигрывалъ у современниковъ своими притязаніями и удачливостью.

Но и у Сумарокова есть свои заслуги, и даже очень опредѣленныя.

Старая критика не знаетъ болѣе горячаго защитника русскаго языка и болѣе безпощаднаго врага русскихъ французовъ. Въ восторгахъ онъ доходитъ до полнаго староверія, очевидно, по своей стремительности, даже плохо отдавая себѣ отчетъ въ своемъ идеалѣ.

Прекрасенъ нашъ языкъ единой стариной,
Но глупостію писцовъ онъ нынѣ сталъ иной.
И ежели отъ нихъ онъ узъ не освободится,
Такъ скоро никуда онъ больше не годится.

Общественная сатира идетъ у Сумарокова рядомъ съ стилистической критикой. Въ *Притчѣ о подьяческой дочери* говорится:

По благородному она всю рѣчь варила —
Новоманерными словами говорила...

Личный врагъ автора всякій, кто

Французскимъ языкомъ въ рѣчь русскую плыветъ.

Или:

Кто русско золото французской мѣдью мѣдитъ,
Ругаетъ свой языкъ и по-французски бредитъ.

Сумароковъ не забываетъ бросить камнемъ и въ родителей, не обучающихъ дѣтей родному языку.

Страсть къ чистотѣ русской рѣчи доходитъ у Сумарокова до фанатизма. Онъ готовъ возставать вообще противъ введенія «чужихъ» словъ въ русскій языкъ, напримѣръ, даже такихъ, какъ *дама, принцъ, томъ, супъ, фруктъ*. Слова, изобрѣтенныя

Тредьяковскимъ и навсегда оставшіяся въ языкѣ въ родѣ *обнародовать*, *преслѣдовать*, *предметъ*, отвергаются Сумароковымъ просто изъ-за новизны.

Подобная прямолинейность, конечно, нецѣлесообразна, но въ высшей степени поучительна мучительнѣйшая забота соревнователя Расина и Вольтера объ отечественьомъ языкѣ. Въ зависимости отъ личнаго характера, у Сумарокова эта забота выразилась въ самыхъ публицистическихъ формахъ—сатиры и притчи.

Критика Тредьяковскаго обширнѣе и оригинальнѣе патріотическаго гнѣва Сумарокова. Она даже въ *схоластической* области сказала свое слово, очень неумѣлое и невразумительное по формѣ, но дѣльное и поучительное по смыслу.

У Тредьяковскаго, конечно, не могло быть достаточно ни смѣлости, ни художественнаго чувства, чтобы возстать противъ классической теоріи, но ему удалось высказать нѣсколько весьма любопытныхъ общихъ соображеній по эстетикѣ. Они, вмѣстѣ съ драматической личной исторіей Тредьяковскаго, должны были произвести впечатлѣніе на Пушкина.

Поэтъ счелъ нужнымъ вступиться за память автора *Телемахиды* предъ Лажечниковымъ, не пощадившимъ Тредьяковскаго въ романѣ *Ледяной домъ*. «Въ дѣлѣ Волынскаго,—писалъ Пушкинъ,— играетъ онъ лицо мученика...» «Вы оскорбляете человѣка, достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей». Естественно, Пушкинъ съ особенной готовностью заявилъ, что Тредьяковскій—«одинъ понимающій свое дѣло».

И у поэта, помимо чувствительныхъ побужденій, были и совершенно положительныя основанія для такого отзыва.

Нельзя, конечно, искать у Тредьяковскаго безусловно ясныхъ представленій о процессѣ творчества и о смыслѣ творческой работы. Классицизмъ и его держалъ въ такомъ же вѣрномъ подданствѣ, какъ и его болѣе даровитыхъ современниковъ. Но иногда сквозь запутанную и крайне неуклюжую рѣчь профессора элоквенціи мелькаютъ искры настоящей эстетической правды.

Напримѣръ, его понятіе о комедіи для своего времени — новость и образецъ критической проницательности. Если бы идею Тредьяковскаго примѣнить на практикѣ, комическому таланту Сумарокова не осталось бы и минуты жизни.

Тредьяковскій пишетъ:

«Осмѣхаемые каждаго вѣка нравы и худая сторона дѣйствій народныхъ есть самое внутреннее и составляющее комедію. Смѣш-

ное есть самое существо комедіи. Впрочемъ, есть смѣшное въ словахъ и есть смѣшное въ вещахъ. Смѣшное искусство, кое желается на театрѣ, долженствуетъ быть копіею съ онаго *смѣшнаго*, которое есть въ натурѣ. И комедія будетъ ни къ чему годная, ежели въ ней не можно узнаться и не видно тѣхъ поступокъ, кои показываютъ люди, живущіе совокупно. Она всегда должна держаться натуры и не отходить отъ нея никогда».

Положимъ, это разсужденіе сильно напоминаетъ извѣстныя намъ мольеровскія идеи о комедіи и могло, слѣдовательно, попасть на страницы Тредьяковскаго изъ пьесы *Критика на школу женщинъ*. Но для русскаго писателя XVIII-го вѣка высшій идеалъ—разумный выборъ чужихъ мыслей и самостоятельное отношеніе къ ученіямъ разныхъ учителей. Сумароковъ, при всей своей запальчивости и притязательности, не переставалъ носиться съ авторитетомъ Вольтера, плохо понятымъ и не провѣреннымъ. У Тредьяковскаго нѣтъ этого безусловнаго рабства, по крайней мѣрѣ, критической мысли предъ однимъ какимъ-либо иноземнымъ вдохновителемъ.

Предъ нами очень рѣдкій примѣръ. Тредьяковскій, разумѣется, не посягаетъ на поэтическіе таланты Буало и откровенно признаетъ себя неискуснымъ подражателемъ французскаго автора. Сравнивая оду Буало съ своей собственной, Тредьяковскій мирится на очень скромномъ успѣхѣ: «довольно съ меня и того, что я нѣсколько возмогъ оной послѣдовать».

Но столь почтительныя и робкія чувства къ учителю и образцу не помѣшали Тредьяковскому повторить идею Платона о «маніи, которая внушается поэтамъ музами» и точно установить разницу между поэтическимъ вдохновеннымъ талантомъ и ремесленническимъ искусствомъ: «иное быть піитомъ, а иное стихи слагать».

«Манія» врядъ ли заслужила бы одобреніе французскаго автора піитики, отожествлявшаго свободное вдохновеніе поэта съ *безуміемъ*—отнюдь не въ поэтическимъ смыслѣ слова.

Но едва ли не самое сильное право Тредьяковскаго на пушкинскую защиту заключается въ *стилистической* критикѣ.

Идея о тоническомъ стихосложеніи не исключительное достояніе Тредьяковскаго. Что же касается осуществленія теоріи, то нечего и разсуждать о правахъ на первенство Ломоносова и Тредьяковскаго. Достаточно одного примѣра. Въ 1734 году Тредьяковскій сочинилъ оду на взятіе Гданска. Здѣсь, между прочимъ, такое обращеніе къ лирѣ:

Воспѣвай же лира пѣснь сладку
Анну то-есть благополучну
Къ вящщему всѣхъ враговъ упадку,
Къ нещастію въ вѣки тѣмъ скучну.

Всего пять лѣтъ спустя появилась первая ода Ломоносова. Она начиналась такими стихами:

Восторгъ внезапный умъ плѣнилъ,
Ведетъ на верхъ горы высокой,
Гдѣ вѣтръ въ лѣсахъ шумѣть забылъ,
Въ долинѣ тишины глубокой...

Всѣмъ даже современникамъ было очевидно, на чьей сторонѣ побѣда. Но теорія Тредьяковскаго отъ его практическихъ неудачъ не теряетъ значенія, и особенно — основанія этой теоріи.

Профессоръ самой ископаемой науки, примѣрнѣйшій кабинетный книгоѣдъ съумѣлъ почувствовать красоту и силу народной поэзіи. Правда, это чувство, повидимому, не проникало слишкомъ глубоко и Тредьяковскій воспользовался только внѣшней стороной народнаго творчества. Но послушайте его отзывъ о ней, и не забудьте, въ какую эпоху восхвалялась поэзія простого народа:

«Сладчайшее, пріятнѣйшее и правильнѣйшее разнообразныхъ ея стопъ, нежели иногда греческихъ и латинскихъ, паденіе подало мнѣ непогрѣшительное руководство къ введенію тоническихъ стопъ».

Очевидно, не отъ недостатка добрыхъ намѣреній и правильныхъ идей зависѣла жалкая участь Тредьяковскаго и единственная въ исторіи смѣхотворная роль ученаго и поэта. *По существу*— Тредьяковскій ясно представлялъ значеніе прирожденнаго поэтическаго чувства, цѣнилъ по достоинству свободное художественное творчество, *по формѣ*—призналъ руководствомъ чисто-національную поэзію, т. е. дѣйствительно живой источникъ всего позднѣйшаго литературнаго развитія: всѣ данныя для прочной и успѣшной дѣятельности! Но у столь основательнаго теоретика и помину не было не только о «маніи», т. е. творческомъ геніи, а просто о литературныхъ способностяхъ. И въ силу исконнаго закона человѣческаго самолюбія, у Тредьяковскаго, кажется, даже пропадалъ и здравый смыслъ, когда ему приходилось судить свои собственныя піитическія созданія.

Напримѣръ, теоретически Тредьяковскій не переставалъ возставать противъ малѣйшей порчи русской рѣчи, противъ барбаризмовъ, солецизмовъ, противъ насилія надъ смысломъ во имя риѳмы, требовалъ, «чтобы риѳма звенѣла безъ малѣйшаго повреж-

денія смыслу». Во имя того же принципа и, что еще замѣчательнѣе, во имя естественности Тредьяковскій высказывалъ въ полномъ смыслѣ революціонное правило для нашего XVIII-го вѣка: «драматическому стихотворенію надлежитъ быть въ теченіи слова всеконечно сходственну съ естествомъ». И на этомъ основаніи въ драмѣ не должно быть риѳмъ: предвосхищеніе пушкинской реформы!...

Но практически всѣ истины превращались въ поэзію, послужившую впослѣдствіи въ рукахъ Екатерины однимъ изъ наказаній для провинившихся придворныхъ. Судьба, дѣйствительно, трагическая: знать и не умѣть сдѣлать, понимать и не умѣть доказать!..

Мы до сихъ поръ разбирали положительные результаты ранней критики и оставались все время въ области идей и теорій. Но критика всѣмъ этимъ отнюдь не ограничилась. Публицистическій характеръ даже ея общихъ принциповъ, развернулся неудержимо рѣзко въ личной полемикѣ. Она составляетъ неотъемлемую и во многихъ отношеніяхъ замѣчательную часть въ исторіи русской критической мысли. Именно она особенно ярко отразила общественное положеніе литературы и ея идейную силу. Это настоящая война, съ полной откровенностью обнаруживная таланты и характеры полководцевъ.

XXIII.

Изъ всѣхъ литературныхъ произведеній Ломоносова для современныхъ читателей едва ли не самое поучительное одно изъ его писемъ къ Шувалову. Одъ Ломоносова въ настоящее время никто не станетъ читать для эстетическаго удовольствія, въ критическихъ трактатахъ также нельзя искать непосредственной практической пользы.

Совершенно иное значеніе письма. Въ нѣсколькихъ десяткахъ строкъ трудно представить болѣе краснорѣчивую жанровую картину изъ исторіи литературы и вообще нравовъ и просвѣщенія извѣстной эпохи, и при этомъ бросить въ высшей степени яркій свѣтъ на самихъ героевъ.

Мы позволимъ себѣ напомнить этотъ удивительный документъ читателямъ.

Письмо вызвано происшествіемъ, достаточно яснымъ изъ разсказа Ломоносова.

«Никто въ жизни меня больше не изобидилъ,—писалъ онъ

Шувалову,—какъ ваше высокопревосходительство. Призвали меня сегодня къ себѣ—я думалъ, можетъ быть, какое-нибудь обрадованіе будетъ по моимъ справедливымъ прошеніямъ. Вы меня отозвали и тѣмъ поманили. Вдругъ слышу: Помирись съ Сумароковымъ! то-есть сдѣлай смѣхъ и позоръ; свяжись съ такимъ человѣкомъ, отъ коего всѣ бѣгаютъ, и вы сами нерады. Свяжись съ тѣмъ человѣкомъ, который ничего другаго не говоритъ, какъ только всѣхъ бранитъ, себя хвалитъ и бѣдное свое риомачество выше всего человѣческаго знанія ставитъ; Тауберта и Миллера для того только бранитъ, что не печатаютъ его сочиненій, а не ради общей пользы. Я забываю всѣ его озлобленія, и мѣшать не хочу никоимъ образомъ, и Богъ мнѣ не далъ злобнаго сердца. Только дружиться и обходиться съ нимъ никоимъ образомъ не могу... Не хотя васъ оскорбить отказомъ при многихъ кавалерахъ, показалъ я вамъ послушаніе; только васъ увѣряю, что въ послѣдній разъ и ежели не смотря на мое усердіе будете гнѣваться, я полагаюсь на помощь Всевышняго, который мнѣ былъ въ жизни защитникъ, и никогда не оставилъ, когда я пролилъ передъ нимъ слезы моей справедливости. Ваше высокопревосходительство, имѣя нынѣ случай служить отечеству вспомоществованіемъ въ наукахъ, можете лучшія дѣла производить, нежели меня мирить съ Сумароковымъ... Буде онъ человѣкъ знающій, искусной, пускай дѣлаетъ пользу отечеству, я по моему малому таланту также готовъ стараться. А съ такимъ человѣкомъ обхожденія имѣть не могу и не хочу, который всѣ прочія знанія позорилъ, которыхъ и духу не смыслитъ. И сіе есть истинное мое мнѣніе, кое безъ всякія страсти нынѣ вамъ предлагаю. Не токмо у стола знатныхъ господъ, или у какихъ земныхъ владѣтелей, дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мнѣ далъ смыслъ, пока развѣ выниметъ».

Таковы личныя отношенія между двумя первенствующими писателями эпохи и таково ихъ положеніе предъ знатными господами! Ломоносовъ не могъ не поступиться своимъ достоинствомъ, но и въ немъ, очевидно, заговорила кровь сердца: слишкомъ опредѣленный смыслъ имѣла сцена, устроенная Шуваловымъ!

Сводить литераторовъ для мира или для ссоры—это такое рѣдкостное удовольствіе, не уступающее дракѣ шутовъ! Потѣха не утратитъ привлекательности для благородныхъ меценатовъ и много лѣтъ спустя послѣ Ломоносова и Сумарокова. Еще Державинъ, самъ пѣвецъ Фелицы, будетъ разсказывать, какъ фаворитъ Зубовъ

для веселаго зрѣлища старался натравливать на него Елагина и тотъ въ глаза издѣвался надъ его одами, находя ихъ грубыми и безсмысленными.

И эти сцены отнюдь не исключительное изобрѣтеніе русской жизни: онѣ перешли къ намъ изъ Европы одновременно съ искусствомъ Расина.

Верховный законодатель европейской и русской литературы могъ служить образцомъ по части увеселенія земныхъ владѣтелей. Буало, подобно нашему Фонвизину, умѣлъ превосходно изображать въ смѣхотворномъ видѣ своихъ знакомыхъ. Этотъ талантъ создалъ ему популярность въ аристократическихъ салонахъ и однажды Буало удостоился позабавить Людовика XIV. Король потребовалъ, чтобы и Мольеръ, здѣсь же присутствовавшій, былъ изображенъ ловкимъ артистомъ.

Правда, Буало скоро устыдился своего искусства и бросилъ его, но поучителенъ запросъ на подобныя способности и готовность писателей удовлетворять ему.

Очевидно, французская дѣйствительность безпрестанно могла давать Мольеру мотивы для его сценъ съ педантами. Трисотены и Вадіусы—живыя фигуры, онѣ даже и исторически соотвѣтствуютъ подлиннымъ личностямъ. На каждомъ шагу въ прецiозномъ салонѣ можно было натолкнуться на оригинальную полемику. Вѣдь вся судьба піиты зависѣла отъ благосклонности знатнаго господина и вопросъ о побѣдѣ надъ соперникомъ становился вопросомъ жизни и смерти!

Знатные господа не пренебрегали вмѣшиваться въ личные счеты литераторовъ и весьма часто разжигали ихъ съ величайшимъ усердіемъ. Извѣстно, напримѣръ, генеральное сраженіе, устроенное салонными дамами между Расиномъ и Прадономъ.

Расинъ имѣлъ несчастье не угодить герцогу Неверу и герцогинѣ Бульонской и они рѣшили натравить на него довольно бездарнаго риомоплета, въ литературномъ отношеніи безсильнаго, но за него стоялъ «свѣтъ»! Послѣ перваго представленія расиновской «Федры» Прадону поручили написать трагедію на ту же тему. Приказаніе исполнено, пьеса принята на сцену, требуется обезпечить успѣхъ. Это дѣлается очень просто: скупаются билеты на шесть первыхъ представленій, и прадоновская «Федра» торжествуетъ. Нѣкая знатная дама сочиняетъ даже сонетъ противъ Расина...

На поэта, истиннаго сына меценатской эпохи, приключеніе производитъ потрясающее впечатлѣніе: онъ рѣшается лучше со-

всѣмъ не писать для театра, чѣмъ вести борьбу съ коалиціей литераторовъ и герцоговъ.

Въ другой разъ роль герцоговъ и герцогинь играетъ самъ Людовикъ XIV. Громадный успѣхъ *Школы женщинъ* вызываетъ зависть сатириковъ и драматурговъ. Одинъ изъ нихъ сочиняетъ памфлетъ, и король поручаетъ Мольеру отвѣчать на нападеніе въ соотвѣтствующемъ тонѣ.

Этотъ порядокъ не прекращается вплоть до конца XVIII вѣка.

Именно этому вѣку приписываютъ искреннія увлеченія «свѣта» философіей и либеральной литературой. Именно эта эпоха славится просвѣщенными салонами и, будто бы, необычайно цивилизованными хозяйками. Слава въ дѣйствительности страдаетъ большими изъянами: и на солнцѣ дамскаго просвѣщенія и аристократическаго либерализма очень много безусловно темныхъ пятенъ.

Писателямъ очень часто говорили комплименты, ихъ портретами и бюстами украшали туалетные столики, брошюрами и книгами наполняли кабинеты и гостиныя, но всѣ эти Дидро, Даламберы, Вольтеры неизмѣнно оставались артистами, а ихъ дѣятельность—интереснымъ спектаклемъ. Такъ именно и называли благородные читатели шумъ, поднимаемый Вольтеромъ и *Энциклопедіей*.

Но вѣдь во всякомъ спектаклѣ главный интересъ въ сценичности, въ комизмѣ, въ живомъ ходѣ дѣйствія. Вольтеръ и его товарищи, конечно, неизмѣримо талантливѣе Буало и Расина, но тѣмъ забавнѣе устроить схватку между философами и другими бойкими литераторами!

И схватка устраивается не одна, а цѣлый рядъ вплоть до самой революціи.

Во главѣ застрѣльщиковъ идутъ все тѣ же знатные господа и даже не совсѣмъ знатные, по происхожденію, по крайней мѣрѣ, но по своей меценатской роли въ современной литературѣ. Г-жа Дюдеффанъ, напримѣръ, по отзывамъ современниковъ, едва ли не самая интересная и оригинальная салонная любительница философіи, остроумнѣйшая спорщица съ самими энциклопедистами, усерднѣйшая корреспондентка Вольтера...

Все это—культура, но дальше начинается барство. Переписка съ Вольтеромъ не мѣшаетъ дамѣ оказывать вниманіе жесточайшему литературному и личному врагу фернейскаго патріарха—Фрерону, читать его журналъ *Литературный годъ* и даже восхищаться его выходками противъ Вольтера... И въ результатѣ всего

этого та же г-жа Дюдеффанъ сообщаетъ Вольтеру о небывалыхъ козняхъ энциклопедистовъ противъ него...

Развѣ это не традиціонная роль праздныхъ меценатовъ въ средѣ литераторовъ,—несомнѣнно интереснѣйшаго класса развлекателей.

Но г-жа Дюдеффанъ сравнительно невинное явленіе.

Тотъ же Даламберъ, сообщающій продѣлки этой дамы, пишетъ Вольтеру: «Версаль кишитъ Палиссо мужскаго и женскаго пола».

Палиссо—одинъ изъ главнѣйшихъ враговъ энциклопедистовъ, авторъ многочисленныхъ сатиръ на философію и философовъ. И вотъ онъ-то находитъ при дворѣ покровителей и даже сотрудниковъ.

Завѣдомый другъ и покровитель Вольтера, министръ Шуазёль подзадориваетъ сатирическій талантъ Палиссо, проводитъ его пьесы на сцену, организуетъ даже клику и вообще играетъ роль одновременно и подстрекателя, и забавляющагося барина.

Такое же покровительство находитъ у Шуазёля и Фреронъ.

Вольтеру становится трудно считаться съ этими фактами: вѣдь Шуазёль открыто состоитъ съ нимъ въ прекрасныхъ отношеніяхъ! Чѣмъ объяснить двоедушіе министра?

Любопытно, какая мысль приходитъ на умъ остроумнѣйшему и находчивѣйшему писателю. Шуазёль слишкомъ большой баринъ—*trop grand seigneur*, а большіе господа на дѣла частныхъ лицъ смотрятъ, какъ на «грызню собакъ».

Чувствовалъ ли Вольтеръ весь горькій смыслъ своего объясненія или ему ничего не оставалось, какъ рѣзко охарактеризовать вѣковой фактъ, скрѣпя сердце опредѣлить культурную сущность барскихъ литературныхъ интересовъ?

Но многимъ знатнымъ господамъ мало казалось подстрекательства, они не гнушались принимать непосредственное участіе въ самой «грызнѣ». Одинъ изъ плодовъ салонной сатирической фантазіи увѣковѣченъ исторіей: сцена въ комедіи Палиссо—*Философы*.

Сцена любопытна не только для французской литературы, но и вообще для всякой—извѣстнаго періода, и особенно для русской. Сцена показываетъ, къ какимъ пріемамъ прибѣгали знатные критики и на какой, слѣдовательно, путь толкали литературную полемику.

Происходитъ бесѣда между философомъ и его слугой. Философъ проповѣдуетъ полное презрѣніе къ законамъ. Слуга спрашиваетъ:

— Слѣдовательно, все дозволено?

— За исключеніемъ дѣйствій, вредныхъ вамъ и вашимъ друзьямъ... Все дѣло въ томъ, чтобы быть счастливымъ, а какимъ путемъ—это все равно.

Слуга, наслушавшись подобныхъ правилъ, собирается обобрать своего господина. На гнѣвный окрикъ философа онъ отвѣчаетъ:

— Личный интересъ—это скрытый принципъ, вдохновляющій насъ и управляющій всѣми существами.

— Какъ, измѣнникъ, обокрасть меня!—восклицаетъ господинъ.



— Нѣтъ,—оправдывается его ученикъ.—Я пользуюсь своимъ правомъ. Всякая собственность—общее достояніе.

Вся эта бесѣда, имѣвшая въ виду уличить энциклопедистскую партію въ самыхъ низменныхъ покушеніяхъ на личную и общественную нравственность, была внушена автору одной изъ литературныхъ дамъ, принцессой Робеккъ.

Тлетворнѣйшимъ фактомъ во всѣхъ этихъ исторіяхъ оказалось поощреніе со стороны сильныхъ особъ—сатиры на личности. Вообще цензура въ теченіе всего XVIII вѣка крайне строга, большею частью безпощадна ко всѣмъ критическимъ поползновеніямъ литературы. Но она немедленно становится на сторону критики, если она превращается въ пасквиль на кого-либо изъ новыхъ писателей.

Нравственное вліяніе такой политики на публику и писателей вполнѣ очевидно. Она гораздо больше унижала и часто оподливала литературу, чѣмъ какіе угодно рабскіе инстинкты каждаго литератора отдѣльно.

XXIII.

Въ то время, когда русской критикѣ приходилось переживать самый трудный младенческій періодъ, когда она болѣе всего нуждалась въ добрыхъ внушеніяхъ и руководствахъ, во французской литературѣ совершались самыя непоучительныя зрѣлища.

Возьмемъ нѣсколько сообщеній современниковъ. Всѣ они относятся къ началу шестидесятыхъ годовъ, т. е. ко времени, когда западные отголоски становились у насъ особенно громкими и обильными.

«Въ настоящее время,—пишетъ одинъ очевидецъ, —Парижъ занятъ исключительно литературными распрями. Достаточно обладать заслугами въ наукѣ и искусствахъ, чтобы стать добычей

самой ядовитой сатиры. Личности, наиболѣе уважаемыя по талантамъ и безупречной жизни, оказываются первыми жертвами этой ненависти» *).

Съ этого времени, прибавляетъ другой свидѣтель, сатиры на личности входятъ въ моду съ поразительной быстротой **).

Фактъ вызываетъ глубокое сожалѣніе у всѣхъ, кому дорога честь французской литературы.

Они обращаются съ упреками къ писателямъ, истощающимъ силы въ междоусобной войнѣ, между тѣмъ какъ даже въ Китаѣ люди науки единодушно служатъ родинѣ. Слышатся жалобы на цензуру и правительство, допускающихъ позорить гражданъ на сценѣ Корнелей ***).

Но соображенія о Корнеляхъ, очевидно, направлялись не по адресу. Пьесы Палиссо приходилось давать въ театрѣ при усиленной стражѣ полиціи, публика часто производила настоящіе скандалы, подвергалась арестамъ, и литература такимъ путемъ все больше извращалась и унижалась совершенно нелитературными героями и подвигами. Такъ продолжалось въ теченіе всего философскаго вѣка.

Мы должны помнить, кто былъ ближайшей публикой писателей этой эпохи и на сколько писатель и его трудъ зависѣли отъ публики. Мы не должны также упускать изъ виду громадной силы правительственныхъ и цензурныхъ воздѣйствій на литературные нравы—именно въ то время, когда умственная дѣятельность менѣе всего могла похвалиться нравственной независимостью и достоинствомъ общественнаго положенія. Мы поймемъ тогда смыслъ изложенныхъ явленій и съумѣемъ безпристрастно оцѣнить презрѣнныя, часто позорныя страницы литературной исторіи во Франціи и у насъ.

Писателю требовалось великое напряженіе самосознанія, чтобы спокойно и достойно оцѣнить свое писательское дѣло. Эта оцѣнка дается только при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, когда личное самолюбіе и человѣческая личность не подвергаются униженіямъ ежечасно, при малѣйшемъ проявленіи чисто-авторскихъ притязаній.

Извѣстенъ психологическій законъ: чѣмъ больше человѣка несправедливо, насильственно оскорбляютъ, тѣмъ онъ мучительнѣе

*) Favart. *Mémoires*. I, 37.

**) Grimm. *Correspondance littéraire*. IV, 276.

***) Coyer. *Oeuvres*. Londres 1765, I. 90—1. Grimm. Ib. IV. 240.

усиливается при всякомъ случаѣ приподнять себя, набавить цѣны именно тому, что менѣе всего цѣнится.

Великая истина заключена въ гоголевскихъ *Запискахъ сумасшедшаго*: именно одинъ изъ ничтожнѣйшихъ пасынковъ общества долженъ заболѣть *маніей величія*. Обиды, переполнившія его душу болью и горечью, разрѣшаются страннымъ взрывомъ—въ противоположную сторону. Это—безуміе, но въ жизни безпрестанно совершается тотъ же актъ только не въ такихъ рѣзкихъ формахъ. Забитые и истерзанные люди такъ часто отводятъ душу въ иллюзіяхъ, для нихъ неизмѣримо болѣе цѣнныхъ, чѣмъ дѣйствительность,—въ вѣчномъ повтореніи ролей горе-богатыря и рыцаря на часъ!

На подобное положеніе осуждены и писатели варварскаго меценатскаго вѣка.

Психологія ихъ прекрасно выясняется изъ одного эпизода съ самымъ жалкимъ героемъ жестокихъ временъ, съ Тредьяковскимъ. Эпизодъ разсказанъ имъ самимъ, и здѣсь поучительна всякая подробность.

Академикъ Миллеръ, издатель журнала *Ежемѣсячныя сочиненія*, отказался напечатать нѣкоторыя произведенія Тредьяковскаго въ академическомъ изданіи. Обида — вопіющая! Вѣдь Тредьяковскій такой же членъ академіи, какъ и Миллеръ.

Обиженный обратился за объясненіями.

«По какой бы онъ власти», говоритъ Тредьяковскій, «и по чьему повелѣнію лишаетъ меня моего законнаго права тѣмъ, что моихъ пьесъ не принимаетъ отъ меня въ книжки, и апробованныхъ не печатаетъ? Но онъ мнѣ на то съ презрѣніемъ, какъ будто должнымъ уже и заслуженнымъ, отвѣтствовалъ при всемъ же собраніи, что не долженъ мнѣ ничего сказать, сколько бъ я его ни спрашивалъ. Гдѣ жъ то узаконено, чтобъ члену секретарь не долженъ былъ ничего сказывать? Трудно бъ терпѣть и великодушному человѣку, бывшему на моемъ мѣстѣ. Однако я извнѣ замолчалъ, а внутри раздирался на части» *).

Всего нѣсколько наивныхъ строкъ, и весь авторъ XVIII-го вѣка цѣликомъ! Необходимость молчать, личная приниженность и безъисходныя муки самолюбія .. Легко представить, съ какой стремительностью воспользуется этотъ человѣкъ случаемъ, когда,

*) П. Пекарскій. *Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналѣ 1755—1764 годовъ.* Приложеніе къ XII-му тому «Записокъ Имп. академіи наукъ. Спб. 1867».

наконецъ, можно не только «внутри» раздираться на части! А такіе случаи возможны съ такими же оффиціально-безправными людьми, какъ самъ оскорбленный, т. е. съ братьями-писателями. Здѣсь уже не будетъ ни удержу, ни пощады, тѣмъ болѣе, что и на другой сторонѣ окажется столько же накопленный желчи и мучительно-сдавленнаго самолюбія.

Отсюда, прежде всего, чисто болѣзненное, будто гипнотически-внушенное самохвальство. Тредьяковскій и Сумароковъ отнюдь люди не глупые, а между тѣмъ стóитъ имъ начать говорить о своихъ заслугахъ и талантахъ, и невольно припоминается Поприщинъ.

Извѣстна гордость Тредьяковскаго *Телемахидой*, но еще оригинальнѣе его общая оцѣнка своихъ поэтическихъ способностей. Онъ «безъ вертопрашнаго тщеславія» заявлялъ, что «въ пріискиваніи риѳмъ пріобрѣлъ навыкъ, не грызя ногтей и безъ пораженія ладонью чела».

И это говорилось о такихъ, напримѣръ, граціозныхъ стансахъ:

Плюнь на скуку
Мореку суку
Держись черней и знай штуку!

Или о такомъ лиризмѣ:

О лѣто, ты лѣто горяче
Мухами обильно паче:
Только тѣмъ ты, лѣто, не любовно,
Что не грибовно...

Но вѣдь это тотъ самый авторъ, который нещадно и публично былъ избитъ и рукопашно, и палками и молилъ власть о своемъ «безчестьи и увѣчьи!..» Надо же было дать исходъ наболѣвшей человѣческой душѣ!

Сумароковъ не только не отставалъ отъ Тредьяковскаго, а явилъ даже, пожалуй, единственный въ своемъ родѣ примѣръ маніи величія при полномъ, повидимому, здравомъ разсудкѣ и твердой памяти.

Мы уже слышали отъ Ломоносова, чего стоило послушать Сумарокова на счетъ его «риѳмачества». Печатныя изліянія писателя переполнены тѣмъ же нестерпимымъ ѳиміамомъ собственному генію, и, разумѣется, пламя на этомъ алтарѣ разгоралось тѣмъ ярче, чѣмъ энергичнѣе внѣшнія посягательства на талантъ и славу драматурга.

«Мнѣ хвалу сплететъ Европа и потомки», безъ всякаго сму-

щенія возглашалъ творецъ *Дмитрія Самозванца* въ отвѣтъ на неблагодарность публики и оскорбленія властей. Если Россія не желала оказывать почета своему геніальному гражданину, онъ во всеуслышаніе заявитъ: «я Россіи сдѣлалъ честь своими сочиненіями». Если правительство допускаетъ великаго писателя терпѣть нужду, онъ именно по этому поводу поставитъ свое перо превыше всѣхъ матеріальныхъ наградъ.

Теперь представьте хотя бы даже легкую стычку между подобными самолюбіями, сведите на аренѣ Тредьяковскихъ, Сумароковыхъ и даже Ломоносовыхъ, какое зрѣлище представится вамъ?

Ломоносовъ прямо просилъ «у Господа», чтобы ему «не знаться съ Сумароковымъ», а все изъ-за пререканій, что выше и значительнѣе: «знанія» или «риомачество», т. е. дѣятельность драматурга или перваго русскаго ученаго! И какого! Ломоносовъ могъ разсказать о себѣ совершенно легендарную исторію, представить всѣмъ завистникамъ и врагамъ подлинное свое подвижничество ради науки и мысли!

Онъ не могъ не гордиться своими *дѣйствительными* заслугами и совершенно послѣдовательно не цѣнить въ себѣ русской исключительно даровитой натуры.

Естественно, всякое посягательство со стороны соотечественника на «знанія», а иностранца на русское имя подымали всю кровь въ сердцѣ Ломоносова, и тогда горе и Сумарокову, и нѣмцамъ-академикамъ!..

И предъ нами развертывается рядъ изумительныхъ сценъ. На первый взглядъ онѣ могутъ произвести впечатлѣніе крайне жалкое и унизительное для памяти нашихъ первыхъ критиковъ. И впечатлѣніе будетъ законно. Но только мы должны помнить, что отнюдь не болѣе достойныя сцены разыгрывались и среди нашихъ учителей въ неизмѣримо болѣе культурномъ обществѣ, чѣмъ Волынскіе и Зубовы.

Мольеръ откровенно вывелъ аббата Котэна въ *Ученыхъ женщинахъ* и достигъ чрезвычайнаго эффекта на публику и свою жертву. Тотъ же Мольеръ въ *Версальскомъ экспромптѣ* назвалъ по имени своего литературнаго врага, Бурсо—«автора безъ репутаціи», т. е. полное ничтожество.

А Буало?

Прежде всего, онъ не выполнилъ своего публичнаго обѣщанія, безусловно обязательнаго для всякаго писателя и безъ торже-

ственныхъ заявленій,—не привлекать своихъ критиковъ къ иному суду, кромѣ «трибунала музъ». Относительно того же Бурсо онъ не вытерпѣлъ: ходатайствовалъ предъ королемъ запретить представленіе сатирической комедіи своего врага на сценѣ.

Наконецъ, Вольтеръ.

Здѣсь грѣховъ сколько угодно. Возьмемъ самый эффектный, стяжавшій въ свое время европейскую извѣстность.

«Патріархъ», выведенный изъ терпѣнія нападками Фрерона, написалъ комедію *Шотландка*. Одному изъ героевъ предназначена самая позорная роль: это—продажный критикъ, политическій доносчикъ, круглая бездарность, вообще, по отзыву героини пьесы: «самый безстыдный и самый подлый плутъ во всѣхъ трехъ королевствахъ. Наши собаки кусаютъ по инстинкту отваги, а онъ по инстинкту низости» *).

И этотъ герой носилъ имя *Frélon—Оса*, вмѣсто подлиннаго *Fréron*!

Цензуру смутила такая откровенность и она потребовала измѣнить имя. Вольтеръ поставилъ *Wasp*—англійское слово, означающее также *оса*: слѣдовательно, замѣны въ сущности не произошло.

И комедія появилась на сценѣ!..

Легко представить впечатлѣнія парижанъ. Очевидецъ пишетъ:

«Ни одно произведеніе Вольтера не было принято съ такимъ восторгомъ. Каждому слову апплодировали и ногами, и руками, въ особенности всему, что̀ относилось къ Фрерону... Г-жа Фреронъ, занявшая мѣсто въ первомъ ряду амфитеатра, чтобы своей красивой фигурой поощрять сторонниковъ мужа, едва не упала въ обморокъ. Одинъ мой знакомый, сидѣвшій рядомъ съ ней, сказалъ: «Не безпокойтесь, сударыня, личность Вэспа нисколько не похожа на вашего мужа. M-r Фреронъ не клеветникъ, и не доносчикъ». «Ахъ,—воскликнула она наивно,—что̀ ни говорите, а его всегда признаю̀тъ»...

Самъ Вольтеръ былъ пораженъ успѣхомъ пьесы, и жалѣлъ, что онъ не поработалъ надъ ней еще тщательнѣе.

Въ какомъ направленіи произошла бы эта работа, показываетъ *Avertissement—Предувѣдомленіе*, написанное авторомъ къ изданію своего произведенія.

Здѣсь разсказывалось объ успѣхѣ комедіи. Фреронъ назывался прямо по имени *F.*—вмѣстѣ съ своимъ журналомъ «*L'Année littéraire*»

*) «L'Ecossaise», Acte II, 1.

и приводилось письмо какого-то лорда, убѣждавшее автора подвергнуть общественному суду всѣхъ «подлыхъ гонителей литературы» и «клеветниковъ добродѣтели», тайно интригующихъ противъ философовъ.

Вольтеръ не пощадилъ даже супруги Фрерона. Она, будто бы, послѣ перваго представленія *Шотландки* поцѣловала автора (онъ былъ запачканъ—barbouillé—двумя поцѣлуями) и поблагодарила за сатиру на ея мужа.

Раздраженіе Вольтера не ослабѣвало до глубокой старости. Во время болѣзни онъ писалъ, что согласенъ идти въ чистилище, если только Фрерона пошлютъ въ адъ.

Такова одна изъ многихъ траги-комедій литературной французской исторіи XVIII-го вѣка!

Среди истинныхъ почитателей Вольтера нашлось, конечно, не мало противниковъ подобной полемики. Они сожалѣли, что Вольтеръ унизился до пасквиля на недостойнаго врага *). Но патріархъ, очевидно, держался другого взгляда и, несомнѣнно, своимъ авторитетомъ и успѣхомъ помогалъ рости полемикѣ, оскорбительной для литературы.

Насъ послѣ этого не изумятъ отечественныя чернильныя битвы. Несомнѣнно, по формѣ онѣ должны быть нерѣдко грубѣе французскихъ образцовъ, но сущность одна и та же. И тамъ, и здѣсь писатели, въ силу извѣстныхъ культурныхъ условій, независимо отъ личныхъ самолюбій и воинственнаго азарта, окунаются въ бездну мелочей, путаются въ личныхъ счетахъ и по временамъ дѣйствительно изображаютъ битву шутовъ и педантовъ.

XXIV.

Мы видѣли, какъ споры о языкѣ и грамматикѣ могли приводить нашихъ раннихъ критиковъ къ вопросамъ о національности и даже народности. Это—высшая публицистика, *templa serena*—*ясныя небеса* нашей ранней критики.

Но тѣ же самые споры неминуемо должны коснуться и другихъ мотивовъ, не столь широкихъ и возвышенныхъ. На новой нивѣ слишкомъ много дѣла, и каждый дѣлатель могъ претендовать на первенство и благодѣтельность именно своей обработки. При особенной психологіи критиковъ здѣсь почти не су-

*) Grimm. IV, 276.

ществовало разницы между крупнымъ и мелкимъ фактомъ, между филологической идеей и даже знакомъ препинанія. Все одинаково могло вызвать самый страстный бой.

И такой бой шелъ непрерывно между Сумароковымъ и Тредьяковскимъ.

Мы приведемъ нѣсколько образчиковъ во всей ихъ неприкосновенности: они безъ нашихъ поясненій введутъ читателя въ сущность дѣла.

Прежде всего о знакахъ препинанія,—пишетъ Сумароковъ. Сначала онъ разгромилъ ударенія—*силы*, потомъ продолжаетъ:

«Мало сего педантства еще; такъ выдумали они то есть невѣжи, почитающіе невѣжество свое полезнымъ умствованіемъ, ставити новомодныя или паче новоскаредныя палочки: наприм. *во-ртъ, на-воду* и проч. Такая мерзость, таковыя палочки отлично были угодны г. Тредьяковскому»!

При такой страстности по поводу *черточекъ*, естественно не менѣе сильный гнѣвъ загорался изъ за буквъ,—напримѣръ изъ за буквы з; ее Тредьяковскій извергалъ и вводилъ с, а Сумароковъ защищалъ, изъ-за окончаній множественнаго числа, изъ-за *ой* и *ій*... Противники не пренебрегали описками и опечатками, напримѣръ, Тредьяковскій напалъ на Сумарокова за безграмотность изъ-за «двухъ типографическихъ небрежностей», написалъ полстраницы критики на невѣрно набранный стихъ—*хотя* вмѣсто *хоть*, и Сумароковъ принужденъ былъ даже «показывать многимъ трагедію вчернѣ» для доказательства, что «въ черномъ поправлено или скребено» не было. Въ другой разъ тотъ же Тредьяковскій «въ прежестокую вступилъ ярость, дѣлаетъ протчія восклицанія и протчія неистовствы»—все потому, что не вѣрно поставлена запятая.

Но, кажется, самую жаркую распрю вызвала буква *и*.

Тредьяковскій упорно отстаивалъ *и* во множественномъ числѣ всюду въ именахъ существительныхъ и прилагательныхъ.

Сумароковъ не удовольствовался прозаическимъ опроверженіемъ нелѣпой, по его мнѣнію, идеи и написалъ стихотворную сатиру съ такимъ заключеніемъ:

На что же Трессотинъ намъ тянешь *и* некстати?
. . . .
Россійска языка небесна красота
Не будетъ никогда попрана отъ скота!
И бредъ твой выплюнувъ, повѣрь тебя заставитъ:
Скончать твой скверный визгъ, стонание совы. .

Трессотинъ, замѣняющій Тредьяковскаго, пріобрѣлъ необыкновенную популярность въ современной литературной полемикѣ послѣ того, какъ Сумароковъ осмѣялъ Тредьяковскаго въ комедіи *Трессотиніусъ*. Герой спорятъ о начертаніи буквы *твердо*, писать ли ее «объ одной ногѣ», или «о трехъ ногахъ». При всей каррикатурности комизма, онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ дѣйствительности. Тредьяковскій постоянно прибѣгалъ къ самымъ неожиданнымъ филологическимъ соображеніямъ и сравненіямъ: напримѣръ, *з* и *э* изгонялись изъ азбуки за то, что «не статны собою».

Тредьяковскій ни за что не соглашался уступить *и* и отвѣчалъ въ соотвѣтствующемъ тонѣ.

Его отповѣдь въ началѣ именуетъ противника «дуракомъ» и «вертопрахомъ негоднымъ», его разсужденія—«ямщичей вздоръ или мужицкой бредъ», и выставляется на видъ существенный фактъ: «святыхъ онъ книгъ отнюдь, какъ видно, не читаетъ»... Но постепенно отвѣтъ переходитъ въ крайне раздраженный тонъ, и авторъ совершенно забываетъ всякія филологическія и свѣтскія тонкости:

Ты жъ ядовитый змій, или какъ любишь—змѣй,
Когда меня язвить престанешь ты злодѣй!
Престань, прошу, престань,—къ тебѣ я не касаюсь,
Злонравіемъ твоимъ, какъ демонскимъ, гнушаюсь.
Тебѣ ль, Парнасска грязь, морали не-творецъ,
Учить людей писать? ты истинно глупецъ.
Повѣрь мнѣ, крокодилъ, повѣрь, клянусь я Богомъ!—
Что знаніе твое все въ родѣ есть убогомъ.
Не штука стихъ слагать, да и того ты пустъ:
Безплоденъ ты во всемъ, хоть и шумишь какъ кустъ... *).

Дальше врагу напоминалось о смерти, о Богѣ и о правдѣ, не давалось пощады и внѣшности Сумарокова. Въ другой эпиграммѣ Тредьяковскій съумѣлъ въ двухъ строкахъ изобразить внѣшнія и нравственныя черты своего критика:

Кто рыжъ, плѣшивъ, мигунъ, заика и картавъ
Не можетъ быти въ томъ никакъ хорошій нравъ!

Это изображеніе совпадаетъ съ портретомъ Сумарокова у Ломоносова:

Картавилъ и сопѣлъ, качался и мигалъ.

Любопытно, Тредьяковскій оказывался несравненно болѣе искуснымъ стихотворцемъ въ личной брани, чѣмъ въ торжествен-

*) *Образцы литературной полемики прошлаго столѣтія. Библіографическія записки* 1859, № 17.

ныхъ жанрахъ—въ поэмѣ и одѣ. Надо думать, въ первомъ случаѣ тема гораздо глубже захватывала піиту, и онъ здѣсь былъ безусловно искрененъ и въ полномъ смыслѣ одержимъ *маніей*, т. е. вдохновеніемъ.

Искренность и сила полемическихъ волненій у Тредьяковскаго подтверждается удивительнѣйшимъ документомъ, какой только возможенъ въ литературѣ. Если даже предположить извѣстную преднамѣренность, разсчитанную приподнятость рѣчи, и тогда останутся единственные въ своемъ родѣ факты писательской психологіи прошлаго вѣка.

Продолжая свои жалобы на отказъ Миллера печатать его произведенія въ *Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ*, Тредьяковскій пишетъ:

«Послѣ сего, ненавидимый въ лицо, презираемый въ словахъ, уничтожаемый въ дѣлахъ, охуждаемый въ искусствѣ, прободаемый сатірическими рогами, изображаемый чудовищемъ, еще во нравахъ (что сего безсовѣстнѣе?) оглашаемый, все жъ то или позлобѣ, или по ухищренію, или по чаянію отъ того пользы, или наконецъ по собственной потребности, чтобъ употребляющаго меня праведно, и съ твердымъ основаніемъ *и* въ окончаніи прилагательныхъ множественныхъ мужескихъ цѣлыхъ, всемѣрно низвергнуть въ пропасть безславія, всеконечно уже изнемогъ я въ силахъ къ бодрствованію» *).

Но въ такое положеніе приходилось попадать каждому изъ трехъ соперниковъ. Мы знаемъ «литеральныя войны» при самыхъ разнообразныхъ комбинаціяхъ воюющихъ силъ: Сумароковъ и Тредьяковскій противъ Ломоносова, Ломоносовъ и Тредьяковскій противъ Сумарокова, и самый грозный союзъ Сумарокова и Ломоносова на Тредьяковскаго. Намъ неизвѣстно, по какимъ поводамъ заключались эти союзы, и неожиданнѣе всего единеніе Сумарокова съ Тредьяковскимъ послѣ драматической сатиры и такого, напримѣръ, повидимому, окончательнаго приговора творцу «Телемахиды»:

«Что до склада сего автора касается, такъ это и критики недостойно; ибо всѣхъ читателей слуху онъ противенъ толико, что подобнаго писателя, никогда ни въ какомъ народѣ отъ начала міра не бывало: а онъ еще и профессоръ краснорѣчія! Всѣ его и стихотворныя сочиненія, и прозаическія, и переводы таковы; такъ оставимъ его; ибо нѣтъ моего терпѣнія смотрѣть въ его сочиненія».

*) Пекарскій. *O. cit.*

Эти сочиненія всегда были одинаковыми, но они не мѣшали воинственному драматургу подавать руку «Трессотиніусу» и «Штивеліусу» для общей атаки на искуснѣйшаго одописца. Даже самого Ломоносова изумлялъ этотъ союзъ, и онъ написалъ сатиру *Злобное примиреніе*, называя враговъ Аколастомъ и Сотиномъ, а себя Пробинымъ:

> Съ Сотиномъ что за вздоръ? Аколастъ примирился:
> Конечно третій членъ къ нимъ лѣшій прилѣпился,
> Дабы три фуріи втѣснившись на Парнасъ,
> Закрыли крикомъ музъ Россійскихъ чистый глазъ...

Дальше излагались прежнія взаимныя отношенія союзниковъ, и сатира заканчивалась въ чисто-ломоносовскомъ стилѣ гнѣва и страсти:

> Кто быть желаетъ нѣмъ, и слышать наглыхъ вракъ,
> Межъ самохвалами съ умомъ прослыть дуракъ,
> Сдружись съ сей парочкой *).

Но самую типичную полемику, несомнѣнно, пришлось выдержать Сумарокову отъ союза Ломоносова съ Тредьяковскимъ.

И поводъ полемики прямо заслуживаетъ безсмертія: до такой степени онъ краснорѣчиво характеризуетъ литературные нравы и самихъ писателей XVIII вѣка!

Вся исторія загорѣлась изъ-за нѣсколькихъ хвалебныхъ стиховъ второстепеннаго литератора Елагина по адресу Сумарокова. Въ сатирѣ *На петиметра и кокетокъ* Сумароковъ чествовался, какъ «наперсникъ Боаловъ», «россійскій нашъ Расинъ», и даже «защитникъ истины» и «благій учитель»... Это значило забыть о славѣ и талантахъ всѣхъ знаменитыхъ современниковъ, и они должны были немедленно напомнить о себѣ.

Ломоносовъ безпощадно высмѣялъ и въ стихахъ, и въ прозѣ автора сатиры и его «благого учителя», а Тредьяковскій прямо выбранилъ Сумарокова:

> Въ комъ глупость безъ конца, въ комъ самый мракъ живетъ..

Такъ легко литература переходила въ личныя оскорбленія, критика въ пасквиль и откровеннѣйшее поношеніе!

Недаромъ на современномъ языкѣ самыя понятія—*критикъ* и *критика* означаютъ все, что угодно, только не «трибуналъ музъ».

*) *Любопытные документы изъ портфелей Миллера. Москвитянинъ*, январь 1854, стр. 2—3.

Въ *Покоющемся Трудолюбцѣ* — журналѣ Новикова—авторъ статьи *Путешествіе на Парнассъ* такъ изображаетъ *критиковъ*: «Видъ ихъ былъ угрюмый и свирѣпый; глаза сверкали, какъ молнія, а языкомъ они никого не щадили».

Въ журналѣ *Смѣсь* еще вразумительнѣе опредѣляется *критика*: разсказывается о пріятелѣ, который «покритиковалъ другого доброю великороссійскою пощечиною» и «сія критика весь балъ кончила». Издатель, съ своей стороны, объяснялъ читателямъ: «присылаемыя ко мнѣ критическія письма часто соединяли въ себѣ и злословіе, и осмѣяніе».

Наши авторы отнюдь не скрывали истины, хотя сами болѣе всѣхъ были повинны въ грѣхахъ критики.

Ломоносовъ, съ особенной надменностью бичевавшій своихъ соперниковъ, говорилъ: «опасно быть въ тѣ времена писателемъ, когда больше критиковъ, чѣмъ сочинителей, больше ругательствъ, чѣмъ доказательствъ».

Даже Тредьяковскій, не знавшій удержу своей ругательной магіи, жаловался: «критика наша по большей части безъ узды туда скачетъ, куда ее влечетъ устремленіе».

И тѣмъ краснорѣчивѣе безпрестанное личное повиновеніе автора «устремленію»!

Писатель XVIII вѣка могъ основательно въ теоріи понимать и литературный вкусъ, и литературныя приличія, но у него самого не хватало нравственной уравновѣшенности, истиннаго достоинства писателя и ничто извнѣ не могло внушить ему этихъ добродѣтелей. Выходило такое же противорѣчіе въ критикѣ, какое было въ искусствѣ. Поэтъ могъ отлично оцѣнивать тлетворность подражательности, издѣваться надъ «новоманерными словами» и всякой другой галломаніей, но у него не хватало творческой силы и мужества возстать вообще противъ «чужихъ уроковъ», національное чувство изъ области словаря и грамматики распространить на искусство и художественныя идеи.

Въ результатѣ—Сумароковъ могъ сочинять сколько угодно притчей на Иванушекъ и подьяческихъ дочерей, онъ все-таки изнывалъ отъ честолюбія «явить россамъ театръ расиновъ». Въ критикѣ онъ иронически отзывался о «новомодномъ критическомъ духѣ», т.-е. гдѣ «много бумаги да брани», и здѣсь же усиливался превзойти своего противника непремѣнно бранью.

Тредьяковскій впадалъ въ еще горшія противорѣчія. Онъ глубоко негодовалъ, когда его оглашали въ правахъ, но именно онъ

и представилъ самый раннiй и яркiй образецъ подобныхъ оглашателей. Даже гораздо хуже. Тредьяковскому по преимуществу наша юная критика обязана юридическимъ элементомъ.

Мы не можемъ миновать и этого предмета въ нашей исторiи это, несомнѣнно, самая *историческая* черта старой «униженной и оскорбленной» литературы.

И здѣсь русскiе критики не могли похвалиться оригинальностью: какъ въ личныхъ педантскихъ счетахъ, такъ и въ юридическихъ документахъ они могли взять не мало поучительныхъ уроковъ все у той же французской словесности, отчасти даже у своихъ почетнѣйшихъ авторитетовъ.

XXV.

Мы видѣли, съ какимъ усердiемъ французская власть стараго порядка поощряла враговъ новыхъ идей. Естественно, изъ этого поощренiя вытекалъ и вполнѣ опредѣленный способъ войны съ энциклопедистами. Его на первыхъ же порахъ въ совершенномъ блескѣ осуществилъ привилегированнѣйшiй застрѣльщикъ оффицiозной критики—Палиссо.

Палиссо, конечно, ничего не стоило составить списокъ преступленiй философовъ—безъ различiя направленiй, талантовъ, литературной дѣятельности. На первомъ мѣстѣ значились: безбожiе, матерiализмъ, проповѣдь свободы.

Отнюдь не всѣ философы и даже не большинство повинны въ этихъ смертныхъ грѣхахъ: достаточно вспомнить, какъ горячо возставалъ Вольтеръ противъ матерiализма, какъ вмѣстѣ съ Даламберомъ онъ отзывался объ «ужасной книгѣ» Гольбаха; о Руссо нечего и говорить: для него безбожiе звучало прямо личнымъ оскорбленiемъ.

Но Палиссо требовалось заклеймить страшное слово—*философы*, и оно покрыло собой всѣ оттѣнки и даже контрасты.

Можно представить, сколько понадобилось лжи, передержекъ, фальшивыхъ цитатъ и явнаго шарлатанства! И Палиссо на все это идетъ.

Уничтожая *Энциклопедiю*, какъ источникъ повальной нравственной заразы, пасквилянтъ цитируетъ слова изъ статьи Даламбера, какихъ тамъ нѣтъ, выписываетъ статью *Gouvernement—Правительство* и вставляетъ фразу собственнаго измышленiя: «неравенство состоянiй—варварское право», ссылается на книги

автора, совершенно посторонняго *Энциклопедіи*, и его идеи объявляетъ достояніемъ энциклопедистовъ.

Современникъ, наблюдавшій за этой полемикой, замѣчаетъ:

«Палиссо недостаетъ только храбрости на большія преступленія, чтобы сдѣлаться знаменитостью въ лѣтописяхъ Гревской площади. Когда вы видите, какъ человѣкъ извлекаетъ цитаты изъ сочиненій другого съ цѣлью возбудить ненависть къ нему, говорите смѣло: «это—мошенникъ»—вы не ошибетесь» *).

Такъ судитъ о продѣлкахъ Палиссо самый скромный и сдержанный сторонникъ энциклопедистовъ. Но какъ поступать съ подобнымъ противникомъ его жертвамъ? Доказать, что онъ мошенничаетъ—не трудно, но вѣдь это важно только для публики, для общественнаго мнѣнія. Оно и безъ доказательствъ стояло на сторонѣ философовъ. Несравненно важнѣе оградить *Энциклопедію* отъ другой силы—правительственной. Она всемогуща, а между тѣмъ Палиссо могъ толкнуть ее на совершенно незаслуженную кару по адресу оболганныхъ писателей.

Вольтеръ, не въ примѣръ прочимъ философамъ, оболганный Палиссо, первый указалъ практическій результатъ его предпріятій:

«Ваше сообщеніе,—писалъ «патріархъ»,—можетъ попасть въ руки принца, министра, чиновника, занятаго важными дѣлами, въ руки самой королевы, еще болѣе занятой судьбою бѣдныхъ и, по своему положенію, имѣющей мало досуга. Прочтутъ одно ваше предисловіе размѣромъ въ какой-нибудь листъ, не найдутъ времени справиться и сравнить ваши выдержки съ громадными произведеніями, которымъ вы навязываете эти отвратительныя теоріи, не сообразятъ, что авторъ теорій Ламеттри, повѣрятъ, что предметъ вашихъ нападокъ энциклопедистъ, и невинные могутъ пострадать вмѣсто преступника, теперь уже и не существующаго».

Въ заключеніе Вольтеръ совѣтовалъ Палиссо опровергнуть свои навѣты, заявить публикѣ, что онъ былъ введенъ въ заблужденіе...

Легко совѣтовать, но если Палиссо не согласенъ послѣдовать совѣту, что именно и оказалось и должно было оказаться въ дѣйствительности—какъ же тогда поступить?

Единственный путь—просвѣтить принцевъ и чиновниковъ на счетъ истиннаго смысла памфлета, т. е. обратиться прямо по адресу самихъ читателей. Иного выхода нѣтъ.

*) Grimm. IV. 275.

Разъ отъ принцевъ и чиновниковъ зависѣло съ необычайной легкостью и простотой пріемовъ наказать преступниковъ, даже и мнимыхъ, писатель попадалъ въ отчаянное положеніе—или ждать кары съ святою покорностью праведника, или прибѣгнуть къ оффиціальному документу, къ просьбѣ и разъясненію.

Одинъ изъ защитниковъ энциклопедистовъ оправдывалъ рѣзкость своихъ нападокъ ссылкой на злобу и козни «разнузданнѣйшихъ нахаловъ», явно поощряемыхъ людьми власти и силы. Если у Палиссо терпима клевета и доносъ, «рѣзкія краски» не должны изумлять публику у его жертвъ и противниковъ.

То же самое соображеніе примѣнимо и къ нашему вопросу.

Разъ власть вмѣшалась въ литературныя дрязги и поставила себя судьей писательскихъ распрей, энциклопедистамъ неминуемо придется искать защиты тамъ, гдѣ ихъ клеветники находятъ покровительство.

Это до такой степени ясно, что буквально эти соображенія невольно вырвались у одного, совсѣмъ теперь забытаго писателя маркиза Хименеса дѣйствительно ничѣмъ не замѣчательнаго, но на ряду съ Вольтеромъ попавшаго въ журналъ Фрерона.

Писатель жаловался на журналиста—не публикѣ, какъ подобало бы писателю, а начальнику полиціи и откровенно указывалъ, что шагъ этотъ у него вынужденъ высокоофиціознымъ положеніемъ Фрерона.

Къ такому же оружію прибѣгали и энциклопедисты, Вольтеръ и Даламберъ. Правда, Дидро является исключеніемъ и, конечно, для славы первыхъ двухъ философовъ имъ было бы выгоднѣе также остаться исключеніями. Но если мы, при всѣхъ смягчающихъ обстоятельствахъ, имѣемъ основаніе осудить *личную* запальчивость Вольтера, его часто открыто-памфлетическую публицистику, — его литературныя сношенія съ властями заслуживаютъ большей снисходительности.

Намъ, собственно, и незачѣмъ взвѣшивать вины на вѣсахъ Ѳемиды, мы только должны опредѣлить внутреннюю связь историческихъ явленій, до сихъ поръ вызывающихъ нареканія на память идейныхъ воителей прошлаго.

И эти нареканія въ иныхъ случаяхъ неизбѣжны, если отдѣльные факты вырывать изъ общаго культурнаго теченія.

Разъ писателямъ вообще приходилось предъ властью искать защиты противъ литературныхъ враговъ, естественно не всегда, въ жару полемики, въ припадкѣ оскорбленнаго самолюбія, удавалось соблюсти мѣру и не переходить предѣловъ необходимаго и законнаго.

Если, положимъ, Вольтеръ успѣлъ оборонить себя или своихъ друзей отъ «подлаго доноса» Палиссо, какъ онъ выражается,—въ другомъ случаѣ онъ, при своей горячности и щекотливости по части авторскаго достоинства, можетъ обратиться къ цензурѣ или къ министру съ жалобой уже не на доносъ, а просто на личную обиду.

А чувствительность къ ней у Вольтера должна быть развита больше, чѣмъ у другихъ писателей эпохи; именно онъ въ самыхъ жестокихъ формахъ вытерпѣлъ жестокіе нравы своего вѣка. До тридцати-двухъ-лѣтняго возраста Вольтеръ успѣваетъ два раза посидѣть въ Бастиліи, два раза быть изгнаннымъ, два раза побитымъ палками...

И все это для вящшаго униженія его, какъ писателя!.. Очевидно, въ теченіе всей жизни вопросъ о писательскомъ достоинствѣ, о правахъ таланта и умственной дѣятельности для него останется своего рода нервнымъ недугомъ, и онъ не взвидитъ свѣта всякій разъ, когда продажный писака дерзнетъ покуситься на его—трудомъ и геніемъ—пріобрѣтенную славу.

Въ сходномъ положеніи и Даламберъ, незаконный сынъ, подкидышъ, бѣднякъ, на взглядъ «хорошаго общества» — *canaille misérable*. Всѣ его общественныя права, все его человѣческое достоинство въ его талантахъ и его литературномъ имени. Это—единственная его собственность, и, разумѣется, онъ будетъ стоять за нее, какъ истый *собственникъ*.

Въ результатѣ, Вольтеръ не довольствуется страшными литературными экзекуціями надъ Дефонтеномъ—соратникомъ Фрерона; онъ примется взывать на него къ властямъ, потребуетъ суда надъ нимъ за его пасквиль... Большаго успѣха «патріархъ» не будетъ имѣть, жалобы направлялись не по адресу, но достаточно факта: Вольтеръ, съ извѣстной точки зрѣнія, хотя бы съ фрероновской—доносчикъ.

То же самое съ Даламберомъ.

Фреронъ помѣстилъ въ своемъ журналѣ статью противъ *Энциклопедіи* въ духѣ Палиссо, т. е. нафабриковалъ фальшивыхъ цитатъ. Даламберъ требовалъ правосудія... Это, конечно, не доносъ, но все-таки и не литература.

Для насъ не менѣе поучительно и поведеніе французской академіи. Оно также найдетъ соревнователей въ нашемъ отечествѣ.

Съ высоты педантическаго величія «безсмертные» взирали на писателей и критиковъ, какъ на нѣкій жалкій, хотя и крайне без-

покойный муравейникъ. Ученые въ расшитыхъ кафтанахъ и на казенномъ содержанiи считали долгомъ своего служебнаго достоинства презирать менѣе удачливыхъ литературныхъ тружениковъ и зорко оберегали цеховую честь своихъ сочленовъ.

Устраивая по временамъ демонстрацiи противъ новой философiи, академiя не пренебрегала и рѣшительными дипломатическими шагами для искорененiя своевольнаго духа въ журналахъ. Она въ теченiе всего вѣка съ такимъ успѣхомъ практикуетъ эту дѣятельность, что впослѣдствiи въ генеральные штаты явятся даже депутаты съ инструкцiями избирателей—или измѣнить порядокъ выборовъ въ академiю, или совсѣмъ уничтожить ее.

Вотъ какая галлерея примѣровъ и образцовъ представлялась нашимъ европействовавшимъ писателямъ!

Менѣе всего она могла воспитать у русскихъ критиковъ чисто литературные нравы. Напротивъ, ихъ влiянiе, неизбѣжное и неотразимое, могло только выразиться въ столь же грубыхъ и уродливыхъ формахъ, въ какiя театръ расиновъ переродился у Сумарокова.

Главный принципъ—прибѣжище писателей, во взаимныхъ несогласiяхъ—у трибунала власти, а не музъ. Это фактъ французской философiи XVIII-го вѣка. Во что же ему суждено превратиться въ средѣ отнюдь не философовъ, въ средѣ, лишенной столь могущественнаго и непрестанно возраставшаго общественнаго мнѣнiя, какимъ жили и весьма многое дерзали французскiе просвѣтители.

Вольтера били палками, но въ результатѣ онъ въ своей личности воплотилъ республику ума и таланта и въ граждане этой республики добивались чести попасть первые вѣнценосцы современной Европы.

А Тредьяковскiй?

Ему вѣдь тоже нанесли безчестье, но только оно такъ и осталось съ нимъ на всю жизнь. Ему предоставлено сколько угодно внутри раздираться на части, а извнѣ... въ Парижѣ и Фернэ не могли и представить такого положенiя.

Сообразно съ нимъ неминуемо преобразовались и литераторскiя сношенiя съ властью.

XXVI.

Ломоносовъ гнѣвался на Сумарокова за то, что драматургъ бранилъ Тауберта и Миллера изъ-за личной вражды, а «не ради

общей пользы». Слѣдовательно, бранить разрѣшалось, только съ выборомъ причинъ, и Ломоносовъ не пропускалъ случая дать волю своему сердцу во имя патріотическихъ чувствъ.

Этотъ, повидимому, совершенно благородный мотивъ проявлялся у великаго ученаго весьма своеобразно, и его защита славы русскаго народа нерѣдко весьма походила на самый настоящій цензорскій судъ съ пристрастіемъ и дѣлала не много чести терпимости русскаго академика.

Ломоносовъ безпрестанно разстраивался отъ *Ежемѣсячныхъ сочиненій* Миллера, недостаточно, по его мнѣнію, патріотическихъ и часто даже оскорбительныхъ для русскаго имени. Критикъ свои соображенія представлялъ на усмотрѣніе президента академіи наукъ, лицу, имѣвшему право воздѣйствовать на труды академиковъ въ какомъ угодно смыслѣ.

Вотъ образецъ ломоносовской полунаучной, полуофиціальной критики, по адресу Миллера, неутомимо работавшаго надъ источниками русской исторіи:

«Не токмо въ *Ежемѣсячныхъ*, но и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ всѣваетъ по обычаю своему занозливыя рѣчи. Напримѣръ, описывая чувашу, не могъ пройти, чтобы изъ чистоты въ домахъ не предпочесть россійскимъ жителямъ. Онъ больше всего высматриваетъ пятна на одеждѣ россійскаго тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія. Ясное и весьма досадительное доказательство сего моего примѣчанія, что Миллеръ пишетъ и печатаетъ на нѣмецкомъ языкѣ смутныя времена Годунова и Разстригины, самую мрачную часть россійской исторіи, изъ чего иностранные народы худыя будутъ выводить слѣдствія о нашей славѣ. Или нѣтъ другихъ извѣстій и дѣлъ россійскихъ, гдѣ бы по послѣдней мѣрѣ и добро съ худомъ въ равновѣсіи видѣть можно было?»

Неизвѣстно, этимъ ли путемъ, или инымъ, высшее правительство также обратило вниманіе на *Опытъ новѣйшей исторіи о Россіи* Миллера, и ученому былъ объявленъ «жестокій выговоръ съ приказаніемъ, чтобъ впредь такія сумнѣнія отъ меня напечатаны не были»,—разсказываетъ самъ Миллеръ *).

Приключеніе страшно перепугало историка, онъ поспѣшилъ оправдаться ссылкой на свое смиреніе и полную готовность подчиниться указаніямъ власти, весь свой трудъ поручилъ усмотрѣ-

*) Пекарскій. *O. cit.*, стр. 52—3.

нію конференцъ-секретаря. Письмо заключалось краснорѣчивѣйшимъ заявленіемъ въ устахъ нѣмецкаго ученаго при русской академіи XVIII-го вѣка.

«А впрочемъ вашего высокородія проницательному разсужденію всѣ свои сочиненія охотно я подвергаю и покорнѣйше прошу, чтобъ вы соизволили принять на себя трудъ прочесть мои историческія пьесы прежде напечатанія, тогда я надеженъ буду о всеобщей аппробаціи оныхъ, а я во всемъ буду слѣдовать вашимъ наставленіямъ».

Изъ письма къ другому лицу узнаемъ, что нѣкій человѣкъ, всегда желавшій погибели историка, добился прекращенія его русской исторіи.

Мы отдаемъ полную справедливость несомнѣнно искреннѣйшему и благороднѣйшему національному чувству Ломоносова и даже готовы допустить, что оно подвергалось сильному искушенію среди товарищей-иностранцевъ, на зарѣ русской науки и сколько-нибудь самостоятельной культурной мысли, но никакія оговорки не могутъ безусловно оправдать только что разсказанной исторіи съ Миллеромъ. Ломоносовъ, въ порывѣ патріотизма, не отступалъ предъ запретомъ цѣлыхъ историческихъ эпохъ для ученыхъ изслѣдованій и по самымъ ничтожнымъ поводамъ открывалъ въ книгахъ иностранцевъ «занозливыя рѣчи». Все это отнюдь не могло ободрить трудолюбивѣйшихъ изслѣдователей, въ родѣ того же Миллера, и добросовѣстности и научности ихъ трудовъ грозила несравненно сильнѣйшая опасность отъ разныхъ «аппробацій» и вполнѣ естественнаго страха даже предъ конференцъ-секретарями, чѣмъ отъ того или другого отношенія къ быту чувашей и русскихъ.

Неудивительно, что иной разъ въ жалобахъ Ломоносова трудно разграничить патріотизмъ отъ чисто-личнаго чувства, все равно, какъ у Вольтера, философскій азартъ незамѣтно переходилъ въ писательское самолюбіе.

Напримѣръ, въ журналѣ Сумарокова *Трудолюбивая пчела* появилась статья Тредьяковскаго о мозаикѣ. Предметомъ очень интересовался Ломоносовъ и считалъ его одним изъ своихъ кровныхъ дѣтищъ. Тредьяковскій, въ сущности, и не наносилъ оскорбленія этому чувству, но для Ломоносова достаточно просто неодобрительнаго отзыва о мозаичномъ искусствѣ и онъ жаловался Шувалову:

«Въ Трудолюбивой такъ-называемой Пчелѣ напечатано о мозаикѣ весьма презрительно. Сочинитель того Тр. совокупилъ свое

грубое незнаніе съ подлою злостью, чтобы моему раченію сдѣлать помѣшательство. Здѣсь видѣть можно цѣлый комплотъ: Тр. сочинилъ, Сумароковъ принялъ въ *Пчелу*, Т(аубертъ)... далъ напечатать безъ моего увѣдомленія въ той командѣ, гдѣ я присутствую»...

Слѣдовательно, даже авторъ *Телемахиды* могъ погрѣшить по части любви къ отечеству! Ломоносовъ прямо говорилъ, что его ругательства вредятъ «дѣлу, для отечества славному».

А между тѣмъ, Ломоносовъ за весь восемнадцатый вѣкъ единственный литераторъ и ученый—преисполненный истиннаго сознанія личнаго достоинства, благородно гордый своими заслугами, независимый и мужественный!..

Какіе же примѣры въ жанрѣ конфиденціальной критики могли представить другіе, напримѣръ, тотъ же Тредьяковскій!

Прежде всего самому Ломоносову пришлось испытать горчайшіе плоды нелитературной полемики.

Дѣло возникло по поводу знаменитаго *Гимна бородѣ*, несомнѣнно самаго блестящаго образчика старой легкой поэзіи. Нѣкоторыя строфы гимна и до сихъ поръ неутратили своей остроумной мѣткости и даже литературнаго изящества.

Для Тредьяковскаго шутка оказалась настоящей находкой. Онъ немедленно сталъ на стражѣ благочестія и благонравія. Ломоносовъ смѣялся надъ старовѣрческимъ культомъ бороды, профессоръ элоквенціи повернулъ вопросъ иначе, и за подписью Христофора Зубницкаго выпустилъ нѣсколько документовъ, письма къ неизвѣстному лицу, къ автору *Гимна* и, наконецъ, пародію *Передьтая борода, или гимнъ пьяной головѣ.*

Въ письмѣ къ неизвѣстному заявлялось:

«Уповаю довольно извѣстно вамъ, какимъ удаленнымъ отъ всякія чести и совѣсти образомъ авторъ непотребнаго *Гимна бородѣ* явилъ безбожное свое намѣреніе и желаніе, чтобъ обругать христіанское ученіе и таинства вѣры нашей къ немалому однихъ соблазну и развращенію, а другихъ сожалѣнію и ревности. Хотя, правда, къ отвращенію таковыхъ продерзостей наилучшее бъ средство быть могло, чтобъ въ примѣръ другихъ удостоить сего ругателя публичнымъ наказаніемъ; однако пока то сдѣлается, нехудо безбожныя его мнѣнія и разглашенія отражать другими способами» *).

Эти способы не противорѣчатъ и первому проекту. Въ письмѣ

*) Библіогр. Записки, № 15.

къ Ломоносову Тредьяковскій пускаетъ въ ходъ богатѣйшій словарь ругательствъ: «безбожный сумасбродъ», «пьяница», «онъ столько подлъ духомъ, столько высокомѣренъ мыслями, столько хвастливъ на рѣчахъ, что нѣтъ такой низкости, которой бы не предпринялъ ради своего малѣйшаго интереса, напримѣръ для чарки вина; однако я ошибся, это его наибольшій интересъ».

На этомъ «интересѣ», дѣйствительно весьма не чуждомъ Ломоносову, построенъ *Гимнъ пьяной головѣ.* И замѣчательно, нѣкоторые стихи этого *Гимна* въ стилистическомъ отношеніи едва ли не самые литературные, написанные нашимъ піитой.

Напримѣръ, такія двѣ самыхъ энергичныхъ строфы:

Съ хмѣлю безобразенъ тѣломъ
И всегда въ умѣ незрѣломъ,
Ты преподло былъ рожденъ,
Хоть чинами и почтенъ:
Но безмѣрное піянство,
Бѣшенство обманъ и чванство
Всѣхъ когда лишатъ чиновъ,
Будешь пьяный рыболовъ.

Голова о прехмѣльная,
Голова ты препустая,
Дурости, безчинства мать,
Нечестивыхъ мнѣній кладь,
Корень изысканій ложныхъ,
О забрало дѣлъ безбожныхъ,
Чѣмъ могу тебя почтить,
Чѣмъ заслуги заплатить? *)

Ничѣмъ инымъ, договаривался авторъ, какъ сожженіемъ «въ струбахъ».

Такое усердіе, въ свою очередь, не могло остаться безъ награды и даже Сумароковъ откликнулся въ пользу Ломоносова. Самъ авторъ гимна написалъ уничтожающій отвѣтъ *Зубницкому:*

Безбожникъ и ханжа, подметныхъ писемъ враль!..

Тредьяковскій отвѣчалъ сатирой обоимъ противникамъ: относительно Ломоносова главную роль играла опять «винная бочка».

Относительно Сумарокова могъ оказаться болѣе дѣйствительнымъ тотъ же путь доноса. Его Тредьяковскій испробовалъ еще раньше войны изъ-за ломоносовской сатиры, года за полтора до гимна. Очевидно, это — цѣлая организованная атака на благонадежность соперниковъ.

*) «Библ. зап.» II., стр. 570.

На Сумарокова было подано уже прямо оффиціальное «доношеніе» въ синодъ. Смыслъ доношенія ясенъ изъ нѣсколькихъ строкъ, въ своемъ родѣ удивительно типичныхъ.

«Читая октябрьскую книжку *Ежемѣсячныхъ сочиненій* сего 1755 года, нашелъ я, именованный—въ ней оды духовныя, сочиненныя г. полковникомъ Александромъ Петровымъ сыномъ *Сумароковымъ*, между которыми и оду, надписанную изъ псалма 106: а въ ней увидѣлъ, что она съ осмыя строфы по первую на десять включительно говоритъ отъ себя, а не изъ псаломника о безконечности вселенныя и дѣйствительномъ множествѣ міровъ, а не о возможномъ по всемогуществу Божію. И понеже *Ежемѣсячныя книжки* обращаются многихъ читателей руками, изъ которыхъ иные могутъ и въ соблазнъ притти: того ради по ревности и вѣрѣ моей истинному слову Божію, въ Священномъ Писаніи вѣщающему, о такой помянутыя оды лжи на Псаломника покорнѣйше донося извѣщаю» *).

Синодъ не давалъ хода доношенію въ теченіе года, но, наконецъ, все-таки запросилъ отъ академической канцеляріи свѣдѣній объ имени автора и переводчика иностраннаго сочиненія *О величествѣ Божіи размышленія*. Оно также было напечатано въ журналѣ Миллера. Синодъ немедленно требовалъ оригиналъ. Въ докладѣ, представленномъ императрицѣ Елизаветѣ, ученіе о безчисленныхъ мірахъ объявлялось крайне опаснымъ: оно «многимъ неутвержденнымъ душамъ причину къ натурализму и безбожію подаетъ». Синодъ просилъ у императрицы запретить во всей Россіи писать и печатать о множествѣ міровъ, конфисковать *Ежемѣсячныя сочиненія* и переводъ князя Кантемира книги Фонтенеля о множествѣ міровъ.

Докладъ остался безъ послѣдствій, и, несомнѣнно, такой результатъ долженъ былъ особенно огорчить професора и литератора Тредьяковскаго.

Легко представить, каково жить и рости критической мысли при такихъ условіяхъ!

Похвалы и порицанія одинаково волновали страсти и доводили до личной перебранки. Современная литература выработала даже принципіальное оправданіе подобной критики.

Смѣшивая критику съ сатирой, даже отожествляя ихъ, *Трутень* доказывалъ:

---

*) Пекарскій. Ib., стр. 42.

«Я утверждаю, что критика, писанная на *лицо*, но такъ, чтобы не всѣмъ была открыта, больше можетъ исправить порочнаго... Всякая критика, писанная на лицо, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, обращается въ критику на общій порокъ».

Это отчасти справедливо относительно сатиры и комедіи: портреты, списанные художникомъ, превращаются въ типы. Но никогда собственно *критика*, т. е. литературная полемика въ духѣ писателей XVIII-го вѣка, не могла утратить своего исключительно личнаго нелитературнаго характера.

Требовалось безусловное преобразованіе критическихъ пріемовъ, это могло совершиться только при полномъ измѣненіи общественнаго положенія писателей и ихъ дѣятельности.

До тѣхъ поръ безсильны были всѣ старанія самыхъ благонамѣренныхъ писателей ввести культурные обычаи на россійскомъ Парнассѣ.

И даже эти старанія характеризуютъ безпомощность критиковъ и крайнюю наивность ихъ задачи.

XXVII.

Мы видѣли, сколько пришлось вытерпѣть оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ притѣсненій редактору перваго русскаго научно-литературнаго журнала. *Ежемѣсячныя сочиненія* издавались академикомъ, при академіи. Миллеръ былъ однимъ изъ первостепенныхъ ученыхъ своего времени, оказалъ незабвенныя услуги русской исторической наукѣ, до изданія журнала имѣлъ за собой редакторскій опытъ: въ теченіе двухъ лѣтъ онъ завѣдывалъ *С.-Петербургскими Вѣдомостями*.

Вѣдомости при редакторствѣ Миллера пользовались крупнымъ успѣхомъ, и этотъ успѣхъ внушилъ Миллеру и другимъ академикамъ, въ томъ числѣ Ломоносову, мысль завести особое періодическое изданіе при академіи.

Собственно Миллеру принадлежала удачная идея — издавать при «Вѣдомостяхъ» особое прибавленіе подъ заглавіемъ—*Историческія, генеалогическія и географическія примѣчанія*. Они и создали въ публикѣ успѣхъ академическому органу, и указали путь, какимъ надо вести новое изданіе.

Въ концѣ 1754 года академія обсудила планъ ученаго періодическаго журнала (de ephemeride quadam erudita), и для насъ въ высшей степени любопытно одно постановленіе ученаго собра-

нія: исключить изъ журнала статьи богословскія и вообще всѣ, касающіяся до вѣры, *а равнымъ образомъ статьи критическія или такія, которыми могъ бы кто-нибудь оскорбиться*: exilent, гласилъ параграфъ, quoque omnia scripta critica vel quae aliquo modo famam alicujus laedere aut contra aliquem scripta videri posiant.

Изъ такого сопоставленія критики съ личнымъ оскорбленіемъ очевидны и популярнѣйшія свойства современной критики, и стараніе академиковъ избѣжать во что бы то ни стало недостойныхъ «литеральныхъ войнъ».

И дѣйствительно, въ *Предувѣдомленіи*, т. е. въ программѣ журнала Миллеръ заявлялъ публикѣ:

«Для сохраненія благопристойности и для отвращенія всякихъ противныхъ слѣдствій вноситься не будутъ сюда никакіе явные споры, или чувствительныя возраженія на сочиненія другихъ, ниже иное что съ обидою написанное противъ кого бы то ни было».

Редактору пришлось многое вытерпѣть, чтобы остаться вѣрнымъ этой программѣ. Съ такими сотрудниками, какъ Сумароковъ и Тредьяковскій, трудно было уберечься отъ «чувствительныхъ возраженій», и Миллеръ находился въ непрестанной войнѣ съ своими коллегами.

Но редакторъ оставался твердъ, и не печаталъ даже вообще критическихъ статей. И отдѣла соотвѣтствующаго не существовало вовсе. За первыя восемь лѣтъ изданія въ журналѣ появилась всего одна критическая статья, переводъ извѣстнаго намъ французскаго отзыва о трагедіи Сумарокова *Синавъ и Труворъ*—безусловно хвалебнаго.

Въ 1763 году *Ежемѣсячныя сочиненія* перемѣнили названіе, прибавлено было «и Извѣстія о ученыхъ дѣлахъ». Это означало особый библіографическій отдѣлъ для иностранныхъ и русскихъ книгъ.

Но и теперь критики все-таки не оказывалось. Авторы рецензій придерживались однообразнаго метода: излагали содержаніе книгъ и рекомендовали ихъ русскимъ читателямъ. Разбора и оцѣнки не допускалось. Конечно, и книги для отзыва брались непремѣнно съ положительными достоинствами—на взглядъ редактора.

Но въ статьяхъ по философіи, очень многочисленныхъ въ журналѣ Миллера, встрѣчались часто общія идеи по эстетикѣ и даже по литературѣ въ практическомъ смыслѣ.

Мнѣнія журнала о существенномъ современномъ вопросѣ—о русскомъ языкѣ—не уступали патріотическимъ восторгамъ. Ломо-

носова. Въ статьѣ московскаго профессора философіи Поповскаго, ученика и друга Ломоносова, обсуждались надежды Россіи на успѣхи въ философіи.

Ее отъ грековъ заимствовали римляне, «не можемъ ли и мы,—спрашиваетъ авторъ,—ожидать подобнаго успѣха въ философіи, какой получили римляне?.. Что касается до изобилія россійскаго языка, въ томъ передъ нами римляне похвалиться не могутъ. Нѣтъ такой мысли, кою бы по-россійски изъяснить было невозможно. Что жъ до особливыхъ надлежащихъ по философіи словъ, называемыхъ терминами, въ тѣхъ намъ нечего сомнѣваться. Римляне, по своей силѣ, слова греческія, у коихъ взяли философію, переводили по-римски, а какихъ не могли, тѣ просто оставляли. По примѣру ихъ такъ и мы учинить можемъ» *).

Прекрасно также журналъ понималъ смыслъ поэтическаго творчества. Мысль не оригинальная даже въ эпоху Тредьяковскаго, но здѣсь она выражена ясно и распространена сравнительно съ понятіемъ о *маніи* у автора «Телемахиды».

«Чтобъ быть совершеннымъ стихотворцемъ, надобно обо всѣхъ наукахъ имѣть довольное понятіе и во многихъ совершенное знаніе и искусство... Правила одни стихотворца не дѣлаютъ, но мысль его рождается, какъ отъ глубокой эрудиціи, такъ и отъ присовокупленія къ ней высокаго духа и огня природнаго стихотворчества».

Журналъ даже рѣшается предложить русской публикѣ мысль, совершенно несовмѣстимую съ современнымъ значеніемъ писателя. «Въ бездѣлицахъ я стихотворца не вижу, въ обществѣ гражданина видѣть его хочу, перстомъ измѣняющаго людскіе пороки».

Мы можемъ, слѣдовательно, судить объ основательности и здравомысліи общихъ литературныхъ идей *Ежемѣсячныхъ сочиненій*. Но все это чисто теоретическія разсужденія. Журналъ не касался *явленій* русской литературы и, слѣдовательно, никакого дѣйствительнаго вліянія на искусство и критику имѣть не могъ. А не касался мы видѣли по какой причинѣ: само слово критика звучало жупеломъ въ ушахъ всѣхъ, кто не рѣшался или былъ не въ состояніи пускать въ ходъ «занозливыя рѣчи».

Помимо такого сорта рѣчей ничего и не оставалось. Самый бойкій полемистъ эпохи—Сумароковъ,—оказывается совершенно

*) Объ *Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ*—статьи *Очерки русской журналистики, преимущественно старой. Современникъ* 1851, томы XXV- XXVI. Пекарскій. *Редакторъ, сотрудники и цензура*.

безпомощнымъ, лишь только отъ полемики хочетъ перейти къ литературнымъ сужденіямъ объ отдѣльныхъ произведеніяхъ.

Пока можно изводить противника изъ-за *паки* и *опять*, *сей* и *оный*, *ый* и *ой*, Сумароковъ въ извѣстномъ смыслѣ даже интересенъ. Но стоитъ ему начать эстетическій разборъ, и немедленно весь азартъ разрѣшается такими приговорами о стихахъ и цѣлыхъ произведеніяхъ: «преславно», «скаредный», «преизящно», «подло и гнусно». Иногда критикъ съ умилительной наивностью обнаруживаетъ свою немощь. Напримѣръ, объ одномъ явленіи трагедіи Вольтера *Меропа* (III, 4) говорится: «чего оно достойно—я чувствую, но словами изобразити не могу».

И Сумароковъ вовсе не исключительный примѣръ неумѣлости и безсилія. Съ драматургомъ сошелся гораздо болѣе дѣльный и даровитый человѣкъ—знаменитый публицистъ и ревнитель просвѣщенія XVIII вѣка, одинъ изъ крайне немногочисленныхъ разумныхъ воспитанниковъ европейской культуры своей эпохи и въ то же время рѣдкостнѣйшій примѣръ—на русской почвѣ—умственной энергіи, практической талантливости и благороднѣйшихъ стремленій.

Этотъ удивительный и разносторонній дѣятель вздумалъ внести свою лепту и въ исторію русской литературы, составилъ *Опытъ историческаго словаря о русскихъ писателяхъ*... Можно подумать,—статьи здѣсь писалъ не Новиковъ, а Сумароковъ, вдругъ ко всѣмъ чрезвычайно подобрѣвшій, забывшій всѣ ссоры и пререканія и вздумавшій всѣхъ простить и все забыть.

Словарь переполненъ панегириками или снисходительными отзывами о самыхъ мелкихъ дѣятеляхъ и фактахъ русской литературы. Въ предисловіи авторъ обѣщалъ только «великую умѣренность», а на самомъ дѣлѣ почти всѣ статьи превратилъ въ сплошную хвалу писателямъ. Обычныя выраженія о произведеніяхъ: «довольно хороши», «весьма изрядны», «слогъ чистъ, важенъ, плодовитъ и пріятенъ», или «слогъ чистъ и текущъ».

Восторгъ предъ Сумароковымъ уживается съ такимъ отзывомъ о Тредьяковскомъ: «первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству».

Эта елейность новиковскаго произведенія претила даже современникамъ, во всякомъ случаѣ болѣе юному поколѣнію читателей. Предъ нами одно изъ интереснѣйшихъ изданій начала XIX вѣка—*Разсужденіе о Дельфинѣ, романѣ г-жи Сталь-Гольстейнъ, переводъ съ французскаго*. Книжка издана въ 1803 году, но предисло-

ніе къ ней касается всей критики ранней эпохи. Между прочимъ, отзывъ о Словарѣ Новикова сопровождается чрезвычайно мѣткими замѣчаніями общаго характера: съ ними мы еще встрѣтимся.

Самый словарь уничтожается безусловно: «во всю мою жизнь не читывалъ я смѣшнѣе сей книги», говоритъ авторъ и выписываетъ рядъ дѣйствительно забавныхъ, ничего не говорящихъ отзывовъ Новикова. Авторъ хотѣлъ бы основательнаго разбора достоинства и недостатковъ поэтическихъ произведеній. Онъ видитъ большой вредъ въ «таковомъ снисхожденіи»: оно «послужитъ только къ большей порчѣ множества молодыхъ людей»: не удерживаемые критикой, юноши бросаются въ литературу вмѣсто болѣе полезныхъ занятій!..

Авторъ совершенно правъ относительно частныхъ сужденій Новикова, но въ Словарѣ встрѣчается нѣсколько достойныхъ вниманія общихъ замѣчаній: они знаменуютъ нѣчто новое сравнительно съ классической схоластикой.

Новиковъ по поводу нѣкоторыхъ пьесъ говоритъ о вѣрномъ изображеніи русскихъ нравовъ, выдержанности характеровъ, естественности дѣйствія.

Самое существенное здѣсь—замѣчаніе о нравахъ. Это—отголоски національнаго принципа критики,—отголоски очень смутные и неустойчивые, но они—непримиримое противорѣчіе прославленію сумароковскаго таланта.

Новиковъ, повидимому, не чувствовалъ диссонанса въ хвалебныхъ гимнахъ своей критики, или не хотѣлъ настаивать на общихъ истинахъ въ ущербъ личностямъ. Онъ такъ старался избѣжать злословія и осмѣянія, этихъ краеугольныхъ камней современныхъ критическихъ упражненій!

Но именно тѣмъ и любопытны и краснорѣчивы будто невольныя обмолвки автора въ пользу принциповъ, губительнѣйшихъ для всего зданія европейско-россійской словесности! Очевидно, были настоятельныя внѣшнія побужденія не нанести обиды и другой силѣ, не имѣвшей ничего общаго съ литературой Сумарокова и Тредьяковскаго.

Въ дѣйствительности эти побужденія являлись такими настоятельными и особенно для ревностнѣйшаго поборника русскаго народнаго просвѣщенія, что трудно и оцѣнить по достоинству «великую умѣренность» Новикова въ литературной критикѣ.

Въ то самое время, когда возникалъ его Словарь, въ русской печати шла ожесточенная война. Участіе въ ней принималъ Новиковъ и вообще вся современная журналистика.

Для насъ теперь и стычки, и генеральныя сраженія этой борьбы просто литературныя преданія. имена героевъ звучатъ какими-то школьными, ископаемыми звуками. А между тѣмъ, на сценѣ русской критики впервые разыгрывалась настоящая драма великаго идейнаго и психологическаго интереса. Противъ толпы старовѣровъ и просто враговъ стоялъ одинъ человѣкъ. Въ шестидесятыхъ годахъ русскаго восемнадцатаго вѣка онъ сумѣлъ вокругъ своей личности сосредоточить столько сильныхъ чувствъ собратьевъ-писателей, что намъ невольно вспоминаются другіе русскіе шестидесятые годы.

Конечно, не надо забывать перспективы! Но, вѣроятно, было же что-то исключительное и въ смѣломъ борцѣ, и въ его предпріятіи, если до насъ дошли самыя злобныя изображенія его внѣшней и внутренней природы, если его дѣятельность и личность подсказали журнальнымъ противникамъ особенное, на рѣдкость выразительное слово *Стозмій*...

Даромъ такая привилегія не дается, да еще преподнесенная съ такимъ стремительнымъ единодушіемъ!..

XXVIII.

До какой степени медленно и трудно усвоиваются культурнымъ обществомъ простѣйшія и, повидимому, вполнѣ естественныя идеи—краснорѣчивѣйшее доказательство исторія литературы.

У художественнаго творчества самая обширная публика, соприкосновеніе его съ дѣйствительной жизнью самое тѣсное и непосредственное. Писатели подлежатъ свободной и разносторонней оцѣнкѣ и болѣе, чѣмъ всѣ другіе умственные дѣятели, принуждены считаться съ условіями своей среды, съ ея постепеннымъ нравственнымъ и общественнымъ развитіемъ.

Можно сказать, сама жизнь въ ея многообразномъ движеніи первый художественный критикъ и неотразимый судья. Литературѣ ли послѣ этого не быть правдивой, жизненной, въ полномъ смыслѣ реальной?

И между тѣмъ, ни философія, ни наука не завѣщали исторіи болѣе многочисленныхъ и странныхъ заблужденій и насильственныхъ фантастическихъ вымысловъ, чѣмъ искусство.

Что̀, казалось бы, дальше могло отстоять отъ жизни и правды, чѣмъ ложно-классическая школа? Что̀ могло до такой степени деспотически врываться въ душу самого писателя и налагать рабскія оковы на его талантъ и личные опыты?

И человѣческая природа не всегда легко и радостно гнулась подъ ярмомъ. Бывали минуты возмущенія, и именно у самыхъ талантливыхъ, у самыхъ, слѣдовательно, способныхъ завоевать себѣ права и свободу.

Но это были только минуты... Негодующій голосъ умолкалъ, свѣтлое вдохновеніе отлетало отъ избранника, и онъ покорно вступалъ въ общее стадо и шелъ торнымъ путемъ правилъ и авторитетовъ.

Потребовалось два столѣтія богатѣйшимъ европейскимъ литературамъ, чтобы покончить съ игомъ классицизма. А въ исконномъ царствѣ школы рѣшительнаго конца не предвидится еще и въ наши дни!

Въ руской литературѣ не было такихъ прочныхъ школьныхъ преданій, какъ на Западѣ. Ей стоило только излѣчиться отъ основного недуга, — ученической подражательности, и идолы падали сами собой. Но именно это излѣченіе и совершалось съ большими затрудненіями и мучительными судорогами юнаго литературнаго организма. Правда, на помощь истинѣ вскорѣ пришла мощная сила художественныхъ талантовъ, но до тѣхъ поръ каждый малѣйшій шагъ по пути реализма и свободы покупался нашей критикой цѣной усиленной и часто безплодной борьбы.

Мы знаемъ, ни у одного изъ самыхъ раннихъ критиковъ не было недостатка въ національныхъ инстинктахъ. О Ломоносовѣ нечего и говорить. Патріотическое чувство увлекало ученаго даже въ тѣ области, гдѣ спорные вопросы рѣшались оружіемъ не науки и литературы. Но самое искреннее усердіе не помѣшало Ломоносову свято вѣровать въ нѣмецкія піитики и поддерживать у себя искусственное пламя одописнаго восторга.

Отъ его современниковъ еще менѣе можно было ожидать смѣлости и независимости. Что означали ихъ національныя стремленія и всяческій патріотизмъ, доказалъ самый безпощадный гонитель словесной галломаніи, Сумароковъ. Повидимому, ничего не могло быть естественнѣе, какъ понятіе о чистомъ національномъ *языкѣ* — перенести на *содержаніе* произведеній, возникающихъ на этомъ языкѣ.

Если дѣйствующія лица должны *говорить* по-руски, безъ новоманерныхъ словъ и безъ галлицизмовъ, они, конечно, обязаны и *поступать* также, быть не менѣе національными въ нравахъ, чѣмъ въ рѣчахъ. Слова, вѣдь, только результатъ другого, болѣе важнаго и глубокаго порока — страсти модныхъ господъ перестраи-

вать свою внѣшнюю и внутреннюю жизнь по иноземнымъ образцамъ. Устраните подражательность въ привычкахъ и въ образѣ мыслей, она сама собой исчезнетъ въ разговорѣ и, слѣдовательно, въ литературномъ языкѣ.

Эта столь очевидная логика оказывалась совершенно недоступной нашимъ критикамъ и они устроили грозный натискъ на писателя, позволившаго себѣ перенести національный протестъ изъ области *грамматики* на сцену *жизни*. Шагъ отнюдь не революціонный и менѣе всего безумно-смѣлый, но когда вы знакомитесь съ исторіей по современнымъ документамъ, скромный авторъ теперь совершенно забытыхъ произведеній начинаетъ казаться чуть не преобразователемъ литературы, по крайней мѣрѣ, литературныхъ идей.

Авторъ, дѣйствительно, въ высшей степени скроменъ. Въ эпоху болѣзненныхъ писательскихъ самолюбій и претензій, *Стозмый*, т. е. Владиміръ Лукинъ, производитъ совсѣмъ неожиданное впечатлѣніе.

Вообразите, онъ самъ говоритъ о недостаткахъ своихъ сочиненій, самъ искренне упрашиваетъ критиковъ серьезно разобрать его комедіи и научить его искусству писать лучше. Онъ готовъ выслушать какія угодно наставленія, лишь бы вышла польза. Онъ подчинится авторитету стараго заслуженнаго писателя, но только пусть этотъ авторитетъ заявитъ свои права не на основаніи давности и славы, а по здравому смыслу и дѣйствительному литературному таланту.

Очевидно, со стороны подобнаго критика не могло быть ни преднамѣренной злостности, ни надоѣдливой запальчивости. Сравнительно съ Сумароковымъ, это голубиная душа и застѣнчивый школьникъ. И, между тѣмъ, именно Сумароковъ, по свидѣтельству современниковъ, выходилъ изъ себя при одномъ имени Лукина.

Бывало и хуже. Нашъ авторъ подвергался опасности получить такое же возмездіе за свое литераторство, какое переносилъ Тредьяковскій. Очевидно, не было удержу ненависти, посѣянной Лукинымъ въ сердцахъ своихъ современниковъ, хотя онъ отнюдь не разсчитывалъ быть непремѣнно ихъ соперникомъ въ литературныхъ успѣхахъ.

Откуда же такая напряженная воинственность?

Лукинъ писалъ комедіи, точнѣе, передѣлывалъ ихъ съ французскихъ образцовъ и только единственную пьесу—*Мотъ, любовью исправленной*—можно считать сколько-нибудь оригинальнымъ про-

изведеніемъ. Таланта, очевидно, большого не было, и, какъ драматургъ, Лукинъ не представлялъ опасности даже Сумарокову.

О Фонвизинѣ нечего и говорить. Даже *Мотъ*, имѣвшій успѣхъ на сценѣ, не могъ сравняться съ *Бригадиромъ* и *Недорослемъ*. И все-таки ихъ знаменитый авторъ присоединилъ свой голосъ къ нападкамъ на Лукина. Перебравъ весь репертуаръ предосудительныхъ нравственныхъ качествъ, Фонвизинъ напалъ на счастливую мысль: предки Лукина «никакихъ чиновъ не имѣли», и потому даже служить съ такимъ человѣкомъ зазорно! И вообще относительно Лукина не дѣлалось никакого различія между чисто-личными вопросами и литературной дѣятельностью.

Адская Почта разсказывала скандалъ, постигшій было дерзкаго критика. *Трутень*, издававшійся Новиковымъ, помѣстилъ слѣдующее письмо къ издателю. Оно довольно точно отражаетъ чувства, вызванныя у журналистики Лукинымъ, и знакомитъ насъ съ причинами общаго негодованія, конечно, въ извращенной формѣ.

Рѣчь ведется отъ лица самого ненавистнаго критика.

«Мнѣ и славныя русскія трагедіи кажутся ничего не значущими... Словомъ, какъ бы кто хорошо ни написалъ, только не добьется отъ меня, чтобы я вмѣсто худо сказалъ хорошо; и кто что ни говори, а я все-таки стану продолжать свое искусство, т.-е. шептать на ухо, что то-то и то-то худо, а такихъ людей много, которые, сами ничего не зная, мнѣ вѣрятъ...

«Нѣсколько тому миновало мѣсяцевъ, какъ вступилъ я на двадцать восьмой годъ отъ моего рожденія, и въ такое короткое время успѣлъ всѣхъ перекритиковать, перебранить, себя прославить, у другихъ убавить славы, многимъ женщинамъ вскружить головы, молодыхъ господчиковъ отъ ревности свести съ ума и вырость безъ мала въ два аршина съ половиною. Лицо имѣлъ я очень смуглое, но съ того времени, какъ началъ притираться китайскимъ порошкомъ, сталъ гораздо бѣлѣе, а станомъ похожъ на астронома... Я опричь русской грамоты почти ничему не учился, но все знаю, выключая русской азбуки, которую тогда я не доучилъ, а послѣ не имѣлъ времени: ибо началъ упражняться въ письменахъ. А ради того и понынѣ не знаю, гдѣ ставятся *ѣ* и *е*, гдѣ *і* и *и*, гдѣ *а* и *ахъ*!—и тому подобное и гдѣ какія препинанія; для чего вмѣсто запятой, часто ставлю удивительную и вопросительную, а двоеточіе при всякомъ словѣ, ибо мнѣ кажется, что всякое слово отъ другова отдѣляется, и тѣмъ и разрѣзываетъ мысль: но сто бездѣлица...»

Такого же тона или еще болѣе рѣзкаго держались относительно Лукина и другіе журналы—*Смѣсь*, *Полезное съ пріятнымъ*. *Пустомеля*.

Противники не оставляли въ покоѣ и оффиціальную службу Лукина—секретаря при кабинетъ-министрѣ Елагинѣ, и открыто уличали его въ искусствѣ, путемъ лести, «приходити въ милость у большихъ баръ».

Можетъ быть, какъ чиновникъ, Лукинъ и могъ вдохновлять своихъ враговъ на злостныя выходки. Говоритъ же онъ о себѣ: «я родился въ свѣтъ къ принятію одолженій отъ сердецъ великодушныхъ». И онъ съумѣлъ стяжать не мало этихъ одолженій, изъ бѣднаго состоянія, хотя и дворянскаго, дослужившись до дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

Не особенно большихъ усилій стóило критикамъ развѣнчивать и драматическія упражненія Лукина: онъ самъ очень невысокаго мнѣнія о своихъ пьесахъ.

Но мы должны не забывать,—мы въ XVIII-мъ вѣкѣ. Что это значило для писателя,—намъ извѣстно. Гораздо позже исторіи съ Лукинымъ, два первенствующихъ и впослѣдствіи также высокопоставленныхъ автора—Крыловъ и Карамзинъ—засвидѣтельствовали горькую участь современнаго писателя.

Крыловъ въ одной изъ остроумнѣйшихъ своихъ сказокъ—*Каибъ*, изображалъ матеріальное положеніе усерднѣйшаго одописца. Бѣднякъ успѣлъ прославить множество меценатовъ, но все-таки не нажилъ себѣ даже приличнаго кафтана...

И трудно было достигнуть даже такого благополучія въ томъ обществѣ, гдѣ «удачнѣе можно искать щастія съ помощію портнова, парикмахера и каретника, нежели съ помощію профессора философіи» *).

Карамзинъ еще ближе подходитъ къ вопросу.

«Мы начинаемъ только любить чтеніе,—пишетъ онъ,—имя хорошаго автора еще не имѣетъ у насъ такой цѣны, какъ въ другихъ земляхъ; надобно при случаѣ объявить другое право на улыбку вѣжливости и ласки» **).

И дальше объясняется, какое право—*чины*.

Но даже и они не мѣшали писателямъ препираться другъ съ другомъ насчетъ происхожденія.

*) *Зритель*, 1792 г., декабрь, стр. 282; май, 41.

**) *Отчего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ?*

Незнатная персона былъ Тредьяковскій, всего сынъ попа, а между тѣмъ и онъ торопился укорить Ломоносова въ «подломъ» рожденіи. Мы только-что слышали, какъ смотрѣлъ на дѣло самъ *Стародумъ*, благонамѣреннѣйшій проповѣдникъ души и сердца.

Естественно, Лукинъ пробирался въ люди со всѣмъ усердіемъ, какое ему доступно. Но успѣхи по службѣ не мѣшали его независимости на поприщѣ литературы.

Здѣсь онъ не признавалъ никакихъ чиновъ, и первый поднялъ руку на славу Сумарокова. Въ глазахъ *Трутня*, несомнѣнно, достойнѣйшаго «злоязычника», именно это «дерзновеніе» являлось самымъ тяжкимъ грѣхомъ Лукина.

«Дерзновеніе» не возбуждало бы такого негодованія, если бы дѣйствительно выходило столь неосновательнымъ и комическимъ, какимъ его представляетъ журналъ. У Лукина оказывались *принципы*, настолько убѣдительные и здравые, что именно ихъ внутреннее достоинство невольно сознавалось поклонниками россійскаго Расина. А подобное сознаніе правоты врага, какъ извѣстно, сильнѣйшій мотивъ ожесточенія.

XXIX.

Новиковъ совершенно неправъ, укоряя нашего критика въ малограмотности. Напротивъ, Лукинъ обладалъ, пожалуй, болѣе обширной *грамотой*, чѣмъ издатель *Трутня*.

Онъ зналъ два новыхъ языка—французскій и нѣмецкій, и одинъ древній—латинскій. И что особенно важно, эта ученость, очевидно, усвоена Лукинымъ самостоятельно, по глубокой наклонности «къ словеснымъ наукамъ». Надъ нимъ не тяготѣла педантическая учёба, въ литературѣ и въ эстетикѣ онъ дилеттантъ и стоитъ гораздо ближе къ жизни, чѣмъ къ книгамъ. Онъ прежде всего чиновникъ, т.-е. практическій дѣятель, человѣкъ общества, и потомъ уже писатель.

Фактъ очень важный.

Въ нашей старой литературѣ безпрестанно можно встрѣтить разсужденія о необходимыхъ достоинствахъ настоящаго писателя, о способахъ развить литературный талантъ. Самые свѣдущіе наблюдатели, напримѣръ, Карамзинъ и Жуковскій, даютъ одни и тѣ же отвѣты.

Писатель долженъ жить въ обществѣ, чтобы совершенствовать свой вкусъ и вырабатывать языкъ. Конечно, и Карамзину, и Жу-

ковскому извѣстно, какъ трудно русскому литератору выполнить эту программу. Прежде всего, его могутъ не пустить въ хорошее общество, а потомъ—ему и нечему научиться здѣсь по части языка: здѣсь говорятъ по-французски и не желаютъ знать родной рѣчи.

Такъ было въ прошломъ вѣкѣ и долго оставалось позже, до тѣхъ поръ, пока *просвѣщенное общество* перестало совпадать съ карамзинскимъ *большимъ свѣтомъ*.

Но сущность идеи совершенно правильная.

Наши классики—фанатическіе буквоѣды и копировальщики чужихъ мыслей и произведеній, прежде всего, благодаря полной оторванности отъ современной общественной жизни, все равно, какова бы она ни была. Литераторы прошлаго вѣка—своего рода цехъ, отчасти каста, осужденная на исключительно кабинетную работу, на производство разныхъ словесныхъ и книжныхъ хитростей. И чѣмъ писатель полнѣе осуществляетъ свое отшельническое назначеніе, тѣмъ онъ педантичнѣе и неподвижнѣе въ своихъ профессіональныхъ взглядахъ, тѣмъ онъ покорнѣе книжному авторитету.

Напротивъ, чѣмъ писатель ближе къ живой дѣйствительности, чѣмъ онъ общественнѣе, тѣмъ свободнѣе его отношеніе къ искусству. И не случайно основатели новыхъ школъ въ старой русской литературѣ какъ разъ одновременно—и писатели, и «свѣтскіе люди».

Этого слiянія способностей и требовалъ Жуковскій, но далеко не всѣмъ оно было доступно. Ему самому и Карамзину посчастливилось больше другихъ, и въ результатѣ выиграла авторская свобода и даже внѣшняя красота произведеній.

Мы, конечно, не должны преувеличивать благодѣтельныхъ вліяній свѣтской жизни на старую литературу. Мы знаемъ, большому свѣту отнюдь было не по силамъ вызвать, даже оцѣнить настоящее жизненное искусство. Свѣтъ до конца не выходилъ изъ заколдованнаго круга лжи и забавы, считая литературу чисто эстетическимъ и увеселительнымъ украшеніемъ своего безпечальнаго существованія.

Но мы и не говоримъ объ идейномъ внутреннемъ преобразованіи художественнаго творчества, а только о внѣшнихъ успѣхахъ словесности. Устраненіе педантизма и схоластики было несомнѣннымъ движеніемъ впередъ, и оно совершалось не профессорами элоквенціи, а людьми не столь глубокомысленнаго, но за то болѣе реальнаго міра.

Лукинъ одинъ изъ его питомцевъ.

Лучшую пьесу онъ написалъ по личнымъ опытамъ. Это—совершенная новость въ русской литературѣ, вплоть до Грибоѣдова. Правда, Крыловъ и особенно Фонвизинъ могли взять нѣсколько *подлинниковъ* изъ жизни въ свои произведенія, но это отдѣльныя черты и фигуры на ихъ картинахъ. Лукинъ, не обладая талантами своихъ современниковъ, стремится перенести на сцену цѣлую жизненную драму съ ея героями и эпизодами, лично ему извѣстными и подробно изученными.

Въ предисловіи къ *Моту* авторъ сознается, что онъ самъ «въ ономъ вредномъ ремеслѣ долго упражнялся», видѣлъ гибельные плоды страсти и вознамѣрился воспользоваться своими наблюденіями для общей пользы. Лукинъ рисуетъ полную картину игорной комнаты. Онъ не можетъ забыть многочисленныхъ фигуръ, немногихъ счастливцевъ и большинства несчастныхъ, истощенныхъ и разбитыхъ своими неудачами... Впечатлѣнія были до такой степени сильны, что авторъ навсегда бросилъ игру.

Слѣдовательно, предъ нами въ полномъ смыслѣ драма нравовъ, но, къ сожалѣнію, только по замыслу. У Лукина несравненно больше добрыхъ намѣреній, чѣмъ силъ осуществить ихъ. И недостатокъ художественнаго таланта подорвалъ всѣ его усилія.

А между тѣмъ, они по существу направлены противъ всякой литературной школы, разсчитаны на полное преобразованіе языка и содержанія русской комедіи, совпадаютъ, слѣдовательно, съ позднѣйшей дѣятельностью Грибоѣдова. Но какая разница между *подлинниками Мота* и *портретами Горя отъ ума*.

Лукинъ также вывелъ на сцену дѣйствительныхъ лицъ, какъ и Грибоѣдовъ, но дѣйствительность воспроизводить оставалось почти исключительно актерамъ при помощи костюмовъ и внѣшней игры. Типа, души, цѣльнаго явленія не было въ самой драмѣ и только это обстоятельство помѣшало Лукину предвосхитить дѣло Грибоѣдова

Послушайте разсужденія Лукина, обратите вниманіе на его желаніе найти доказательства не у Буало или иного книжнаго авторитета, а у публики. Онъ ссылается даже не на Вольтера, а на впечатлѣнія какихъ-то безвѣстныхъ зрителей. На сцену, слѣдовательно, выступаетъ та самая сила, какая впослѣдствіи рѣшитъ будущее грибоѣдовской *свободы* и пушкинскаго *права*.

Лукинъ писалъ:

«Мнѣ всегда несвойственно казалось слышать чужестранныя рѣченія въ такихъ сочиненіяхъ, которыя долженствуютъ изобра-

женіемъ *нашихъ нравовъ* исправлять не только общіе всего свѣта, но болѣе *участные нашего народа пороки.* И неоднократно слыхалъ я отъ нѣкоторыхъ зрителей, что не только ихъ разсудку, но и слуху противно бываетъ, ежели лица хотя по нѣскольку на наши нравы походящія, показываются въ представленіи *Клитандромъ, Цитодиною* и *Клодиною*, и говорятъ рѣчи, не *наши поведенія знаменующія.* Негодованіе сихъ зрителей давно почиталъ я правильнымъ».

Лукинъ указываетъ нѣкоторыя частности, прямо касавшіяся Сумарокова, одного изъ усерднѣйшихъ «крадуновъ» французской комедіи.

У него слуги философствовали не хуже господъ, при бракахъ заключались свадебные контракты, невѣдомые по русскимъ законамъ и обычаямъ.

Заключеніе выходило нестерпимо оскорбительное для того же россійскаго Вольтера: «Мы на своемъ языкѣ свойственныхъ намъ комедій еще не видали».

Лукинъ даже изумлялся, какъ русская публика, при всемъ ея невѣжествѣ, не чувствуетъ отвращенія къ современной комедіи.

Улики въ плагіатѣ особенно чувствительны. Ихъ не могъ выносить даже Вольтеръ, и именно онѣ были главной причиной его озлобленія на Фрерона.

Что же чувствовалъ Сумароковъ, когда читалъ въ предисловіи къ *Пустомелѣ*, что русскія классическія комедіи «на нашъ языкъ почти силою втащены»?—«Полно, нынѣ такой вѣкъ, что и во всемъ свѣтѣ тѣ лишь знатными писателями и называются, которые лучше прочихъ выкрадутъ и искусненько прикрывши выдадутъ за свое сочиненіе»...

Самъ Лукинъ не скрывалъ своихъ заимствованій.

Но вся бѣда и была въ неизбѣжности этихъ заимствованій, хотя бы и совершенно откровенныхъ. По крайне бѣдному драматическому дарованію Лукинъ могъ только «склонять на наши нравы» чужія пьесы, т. е. заниматься передѣлками, выбрасывать изъ французскихъ комедій спеціально французское и вставлять коегдѣ «свойственное намъ». Выходила тоже въ сущности «изъ вѣтоши перекропынин».

И естественно Сумарокову и его почитателямъ притязанія Лукина казались совершенно неосновательными, а критика—обидной.

Лукинъ открыто выражалъ пренебреженіе къ *авторитету* Сумарокова, вообще не считалъ нужнымъ считаться со вкусами ста-

рыхъ писателей, генераловъ отъ литературы. Онъ не желаетъ пресмыкаться въ ихъ переднихъ и домогаться ихъ руководства и исправленій въ литературной работѣ. Старовѣры ничему его не могли научить, а пьесы только исказить «шапеленскими стихами».

Это неслыханный либерализмъ! Преемственность педантическаго цеха отметалась, и во имя чего же? Зрителей, и не только почтенныхъ, а даже во имя презрѣнной черни.

Лукинъ, порвавши съ аристократическимъ классицизмомъ, неизбѣжно долженъ былъ придти къ вопросу о самой широкой демократизаціи литературы. Единственной опорой для него оставалась публика, и притомъ менѣе всего зараженная предразсудками, т. е на языкѣ XVIII вѣка —совсѣмъ не просвѣщенная.

Отсюда—сочувствія Лукина къ народу, къ его судьбѣ и его языку.

Аристократъ Тредьяковскій съ презрѣніемъ выговаривалъ «ямщичей вздоръ» и «мужицкой бредъ», Лукинъ именно у ямщиковъ и мужиковъ будетъ учиться русскому языку. Онъ жалѣетъ, что мало живалъ и разговаривалъ съ мужиками. Для него—крѣпостные крестьяне—достойныя сожалѣнія жертвы знатныхъ тунеядцевъ, «невинные земледѣльцы», чья «кровь течетъ съ раззолоченныхъ каретъ». Онъ признаетъ этихъ «животныхъ для себя равнымъ созданіемъ»...

Достаточно этихъ идей, чтобы поставить Лукина на недосягаемую высоту не только надъ классиками, но и надъ позднѣйшими самыми трогательными апостолами литературной чувствительности.

Лукинъ стремится оправдать свои мысли на практикѣ. Онъ ведетъ упорную войну противъ иностранныхъ словъ, онъ питаетъ къ нимъ «полное отвращеніе» и усиливается замѣнять ихъ русскими.

Замѣна эта далеко не всегда удачна и самъ авторъ сознается, что его изобрѣтенія иной разъ непонятны зрителямъ. Но они необходимы «для познанія силы, пространства, а иногда и красоты природнаго языка».

Лукинъ готовъ всѣ простыя сословія вывести на сцену съ ихъ рѣчью. У купцовъ онъ заимствуетъ слово *Щепетильникъ* для французскаго *Bijoutier*, и въ этой же пьесѣ заставляетъ дѣйствовать мужиковъ съ ихъ провинціальными говорами. Публикѣ приходилось вмѣсто новомодныхъ словъ по французскому образцу слышать врядъ ли болѣе для нея понятныя выраженія отечественнаго происхожденія, въ родѣ: *сарынь, галчить, вздынуть, галиться*...

Это очень смѣло со стороны драматурга XVIII вѣка. Но смѣлость Лукина—вполнѣ обдуманный и серьезный планъ. Для него народъ—дѣйствительно герой и публика. Когда въ Петербургѣ, въ 1765 году, открылся народный театръ и сразу пріобрѣлъ большую популярность, Лукинъ торжествовалъ.

Онъ взглянулъ на новое учрежденіе, какъ на истинную школу нравственности и даже народнической литературы.

«Сія народная потѣха, — писалъ онъ, — можетъ произвесть у насъ не только зрителей, но со временемъ и писцовъ, которые сперва хотя и неудачны будутъ, но въ послѣдствіи исправятся».

Мы можемъ судить по собственнымъ разсужденіямъ Лукина, въ какой степени «писцы» нуждались въ исправленіи, начиная съ самого критика.

Лукинъ не обладалъ даже хорошимъ литературнымъ стилемъ. Отъ его предисловій вѣетъ какимъ-то канцелярскимъ духомъ, будто подьячій составляетъ хитрую казенную бумагу, а не писатель доказываетъ столь благотворныя и прогрессивныя идеи.

XXX.

О прогрессивности идей Лукина можно судить уже по чувствамъ, съ какими современные геніи и аристархи встрѣтили и сопровождали ихъ автора. Но у него были и сторонники.

Они, конечно, не считали нужнымъ подчеркивать свою связь съ ненавистнымъ *Стозмѣемъ*, осмѣяннымъ даже за свою внѣшность. Но въ журналахъ, современныхъ тому же *Трутню*, усердному защитнику Сумарокова, встрѣчаются иногда совершенно лукинскія мысли.

Напримѣръ, во *Всякой всячинѣ*, издаваемой Козицкимъ, адъюнктомъ академіи, очень дѣятельнымъ переводчикомъ и впослѣдствіи сотрудникомъ Екатерины, повторялась любимая идея Лукина насчетъ *нравовъ* компилятивной комедіи.

«Я думаю», писалъ критикъ, «что не въ однѣхъ книгахъ должно держаться сего правила, чтобы русскимъ представлять русскія умоначертанія, но и въ позорищахъ. Ибо маркизъ на русскомъ театрѣ уши деретъ, а къ свадебному контракту тетушка моя смысла не привязываетъ».

Еще любопытнѣе критика *С.-Петербургскаго Вѣстника*.

Журналъ издавался въ теченіе трехъ лѣтъ съ 1778 года нѣкіимъ Брайко.

Издатель понималъ значеніе литературной критики и серьезно поставилъ этотъ отдѣлъ въ своемъ журналѣ. Публикѣ обѣщались безпристрастныя сужденія объ авторахъ, «не смотря ни на чинъ, ни на свойства, ни на славу». Но не имѣлась въ виду рѣшительность приговоровъ.

Журналъ принималъ во вниманіе «трудности» молодой литературы, отсутствіе у русскихъ писателей образцовъ, «полныхъ словарей и хорошихъ первоначальныхъ произведеній». Въ силу этихъ соображеній журналъ имѣлъ «больше склонности хвалить, нежели порочить».

Но уже это заявленіе выходило нѣкоторымъ «порокомъ» хотя бы для того же всесторонняго образца Сумарокова. И дѣйствительно, въ самомъ началѣ *Вѣстникъ* обвинялъ знаменитаго драматурга, что онъ «не употребилъ достаточнаго старанія прилежнѣе разобрать наши нравы».

Еще ближе стоялъ къ идеаламъ Лукина поэтъ Львовъ, его младшій современникъ.

Опять полная свобода отъ педантизма и оффиціальной учености. Львовъ—членъ поэтическаго кружка, другъ Державина, Капниста, Хемницера. Это нѣчто въ родѣ домашней академіи, и трудно было, конечно, при участіи Державина поклоняться Буало. Здѣсь несравненно больше мѣста дѣйствительно поэтическому вдохновенію, свободному художественному чувству, и Львовъ является первымъ критикомъ-поэтомъ національнаго направленія.

Въ сущности опять только продолженіе ранняго теченія.

Тредьяковскій восхищался *размѣромъ* русскихъ пѣсенъ, т. е. ихъ *формой*, Львовъ почувствовалъ красоту ихъ *содержанія* и прелесть ихъ *напѣва*, т. е. открылъ въ нихъ не правила піитики, а силу творчества.

Въ этомъ отношеніи Львовъ—предшественникъ всѣхъ ученыхъ и художественныхъ цѣнителей народной поэзіи. Фактъ, достойный полнаго вниманія, если мы вспомнимъ, съ какимъ трудомъ много лѣтъ спустя даже Бѣлинскій дошелъ до пониманія предмета.

Львовъ умѣлъ оцѣнить русскія пѣсни и съ бытовой, психологической стороны. Для него это не праздное упражненіе фантазіи и чувства, а въ высшей степени поучительный культурный матеріалъ.

Такая идея въ эпоху, когда все простонародное на самый либеральный взглядъ могло представлять развѣ только нѣкій курьезъ, въ родѣ достопримѣчательностей ирокезскаго быта, великій про-

грессъ по единственно вѣрному пути національнаго развитія литературы и общественной мысли.

И Львовъ, дѣйствительно, своей поэзіей напоминаетъ отчасти позднѣйшее славянофильство. У него нѣтъ партійнаго фанатизма, но его гимны русскому духу не лишены наивности, нѣкотораго задора, свойственнаго всякому молодому идеализму.

Тѣмъ болѣе, что у Львова были весьма основательныя побужденія впасть даже въ еще болѣе приподнятый тонъ.

Галломанія высшаго общества огорчала его до боли сердца, и русскій духъ, изгнанный изъ большого свѣта, такъ изображаетъ у нашего поэта свою участь:

Поклонился я приворотникамъ
Поселился жить въ чистомъ воздухѣ
Посреди поля съ православными.
Я прижалъ къ сердцу землю русскую
И ношу ее припѣваючи;
Позовутъ меня—я откликнуся,
Оглянусь... но незнакомъ никто
Ни одеждою, ни поступками.

Естественно, Львову не нравилась современная литература, жившая чужими указками. Онъ даже Ломоносова отказывается признавать поэтомъ, для него это «сынъ усилія», т. е. искусственный слагатель стиховъ и риѳмъ, не свойственныхъ русскому духу.

Въ поэмѣ *Добрыня* Львовъ представилъ цѣлую программу національной критики. Подробностей и точныхъ принциповъ здѣсь, конечно, нельзя искать, но основная мысль ляжетъ въ основу всей послѣдующей борьбы русской критики противъ иноземныхъ школъ.

Говоря о формѣ и размѣрахъ русской поэзіи, Львовъ находитъ:

Не аршиномъ нашимъ мѣряны,
Не по свойству слова русскаго
Были за моремъ заказаны:
И глаголъ славянъ обильнѣйшій
Звучной, сильной, плавной, значущій,
Чтобъ въ заморскую рамку втискаться
Принужденъ ежомъ жаться, кучиться,
И лишась красотъ, жару, вольности;
Соразмѣрнаго силъ поприща,
Гдѣ природою суждено ему
Исполинской путь течь со славою,
Тамъ калѣкою онъ щетинится;
Отъ увѣчнаго жъ еще требуютъ
Слова мягкаго, нѣжность бархата.

Рѣчь поэта не всегда такъ спокойна. Подчасъ онъ теряетъ терпѣніе и задаетъ энергическій вопросъ русскимъ литераторамъ:

Такъ зачѣмъ же намъ надсѣдаться такъ,—
Биться палицей съ ахинеею?

Это даже сильнѣе грибоѣдовской отповѣди «глупостямъ» классицизма!

Такъ постепенно пробивалась истина сквозь толстую кору подражательскаго фанатизма и рабскихъ инстинктовъ литературы и самихъ литераторовъ. И каждый проблескъ истины, мы видимъ, неизмѣнно стоитъ въ тѣснѣйшей связи не съ эстетикой, а съ публицистикой.

Сильнѣйшіе удары литературному школярству наносятъ писатели, возмущенные европейскими вліяніями на русскіе *нравы*. Прежде всего оскорбляется ихъ національное и патріотическое чувство, а потомъ уже гнѣвъ переносится и въ область искусства. Чисто-художественный вопросъ, слѣдовательно, на русской почвѣ превращается въ культурный и позже прямо политическій.

Сходное движеніе совершалось и на Западѣ. И тамъ борьба школъ сводилась къ борьбѣ сословій, драма одолѣла классицизмъ на сценѣ, потому что она была *мѣщанская*, а классицизмъ—*аристократическій*.

У насъ о сословной борьбѣ не могло быть и рѣчи въ эпоху ранняго развитія литературы, но *національный* протестъ являлся совершенно естественнымъ. Онъ не миновалъ даже преданнѣйшихъ учениковъ западныхъ авторитетовъ, и въ результатѣ съ самаго начала интересъ эстетики, вообще, литературнаго развитія неразрывно слился съ идеей національности. И отъ роста и опредѣленія именно этой идеи зависѣли успѣхи нашей критики. Мы увидимъ, — рѣшительный моментъ ея освобожденія совпалъ съ великимъ національнымъ движеніемъ, съ эпохой отечественной войны. На помощь пришло не мало и другихъ стихій, но всѣ онѣ утверждались, создали совершенно новый кругъ идей и новую теоретическую почву для новой литературы, благодаря побѣдѣ національнаго принципа надъ чужебѣсіемъ.

У Лукина и Львова эта связь идей несомнѣнна, но они ранніе, передовые путники на широкой дорогѣ будущаго, и потому ихъ націонализмъ не производитъ цѣльнаго, безусловно внушительнаго впечатлѣнія. Рѣчи ихъ очень энергичны, но мысли дурно оформлены и смутно доказаны. У того и у другого слишкомъ много чувствъ и настроеній въ ущербъ разсужденію и доказательствамъ.

А потомъ у Лукина почти совсѣмъ не было *сатирическаго* таланта столь необходимаго для побѣдоносной борьбы за національную идею, а Львовъ не изъявлялъ притязаній играть роль критика.

Болѣе сильный союзъ сатиры и критики представилъ крыловскій журналъ *Зритель*. Онъ на своихъ страницахъ поднялъ въ высшей степени любопытную и серьезную полемику по вопросу національнаго и подражательнаго искусства. Это—первый примѣръ идейной борьбы между сотрудниками одного и того же журнала. Очевидно, ни въ обществѣ, ни въ самой редакціи не было еще рѣшительнаго отвѣта на жгучій вопросъ. Крыловъ предоставилъ современнымъ критикамъ высказаться вполнѣ свободно, будто обращаясь за окончательнымъ рѣшеніемъ къ самой публикѣ.

XXXI.

Въ чемъ заключались критическія воззрѣнія знаменитаго баснописца,—вопросъ существенный при его художественной талантливости, и въ то же время очень трудный.

Что Крыловъ противникъ подражательности, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Въ томъ же *Зритель* нанесено безчисленное множество жесточайшихъ ударовъ россійскому модному обезьянству, и притомъ не ради только сатиры, а во имя гуманнаго общественнаго чувства. *Зритель* держался искренняго демократическаго направленія, и въ каждой книгѣ преслѣдовалъ дворянское тунеядство, рабское пристрастіе къ разорительному блеску, къ иноземнымъ модамъ, и особенно—полное отсутствіе умственныхъ интересовъ въ благородной средѣ.

Въ спискѣ подписчиковъ на «Зритель» поименованъ, между прочимъ, холмогорскій дворцовый крестьянинъ Степанъ Матвѣевичъ Негодяевъ. Этотъ рѣдкостный подписчикъ могъ съ большимъ удовольствіемъ читать сатирическія сказки и рѣчи издателя.

Въ августѣ, напримѣръ, напечатана статья *Мысли философа по модѣ или способъ казаться разумнымъ, не имѣя ни капли разума*. Здѣсь описанъ день благороднаго франта, изображены его учителя и руководители—французы, обучающіе русскихъ дворянъ «трудной наукѣ ничего не думать» и предварительно кончившіе курсъ на галерахъ. Все воспитаніе сводится къ такой морали:

«Съ самаго начала, какъ станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человѣкъ, что ты дворянинъ и, слѣдовательно, что ты родился только поѣдать тотъ хлѣбъ, который посѣютъ

твои крестьяны; словомъ, вообрази, что ты счастливый трутень, у коево не обгрызаютъ крыльевъ, и что дѣды твои только для тово думали, чтобы доставить твоей головѣ право ничего не думать».

И здѣсь, слѣдовательно, предъ нами то же самое отношеніе къ народу, какое мы знаемъ изъ произведеній Лукина. Очевидно, Крыловъ будетъ не менѣе убѣжденнымъ врагомъ современной аристократической лживой литературы, чѣмъ авторъ *Щепетильника*. У Крылова только насмѣшки выйдутъ несравненно остроумнѣе и ядовитѣе. Это — прирожденный сатирическій талантъ, невольно переходящій къ убійственной художественной критикѣ на меценатское развращеніе современной литературы.

Ничего не можетъ быть забавнѣе разговора калифа Наиба съ авторомъ одъ.

Калифъ начитанъ въ лирической поэзіи, простодушно вѣритъ ея чувствамъ, и теперь, во время путешествія по своему царству, на каждомъ шагу принужденъ испытывать жесточайшія разочарованія.

Оказывается, одописаніе просто ремесло, самое безопасное, хотя не всегда прибыльное. Героемъ оды можетъ быть кто угодно, лишь бы сочинитель могъ питать надежду на награду.

Калифъ пораженъ.

— Мнѣ удивительна способность ваша,—говоритъ онъ поэту,— хвалить такихъ, въ коихъ, по вашему признанію, весьма мало находите вы причинъ къ похваламъ.

— О, это ничего: повѣрьте, что это бездѣлица: мы даемъ нашему воображенію волю въ похвалахъ, съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ послѣ всякое имя вставить можно было. Ода какъ шелковой чулокъ, которой всякой старается растягивать на свою ногу...

Поэтъ сравниваетъ ее съ сатирой и находитъ громадное преимущество оды. Въ сатирѣ нужно непремѣнно изображать дѣйствительные пороки извѣстнаго лица, а въ одѣ—сколь ни опиши добродѣтелей—никто не откажется признать ихъ своими.

Наивный калифъ видитъ важное затрудненіе: вѣдь могутъ узнать ложь, героевъ одописца счесть пустыми пузырями, имъ же надутыми.

Ничего не значитъ. У поэта имѣется самое солидное оправданіе, изъ классической піитики.

— Аристотель иногда очень премудро говоритъ, что дѣйствія и героевъ должно описывать не такими, каковы они есть, но ка-

ковы быть должны. И мы подражаемъ сему благоразумному правилу въ нашихъ одахъ, иначе бы здѣсь оды превратились въ пасквили. И такъ вы видите, сколь нужно читать правила древнихъ.

Еще любопытнѣе опытъ калифа по поводу другого излюбленнаго жанра классическаго искусства—идилліи и эклоги.

Начитавшись сихъ произведеній, калифъ давно уже горѣлъ желаніемъ насладиться золотымъ вѣкомъ, царствующимъ въ деревняхъ, воочію полюбоваться на нѣжности пастушковъ и пастушекъ. Калифъ искренно любилъ своихъ поселянъ и всегда радовался, читая про ихъ счастье въ идилліяхъ. Государь даже завидовалъ ихъ участи: «естьли бы я не былъ калифомъ», говаривалъ онъ, «то бы хотѣлъ быть пастушкомъ».

И вотъ, онъ, наконецъ, видитъ стадо...

«Великой Магометъ», вскричалъ онъ, «я нашелъ то, чево давно искалъ», и сошелъ съ дороги въ поле искать счастливаго смертнаго, который наслаждается при своемъ стадѣ золотымъ вѣкомъ».

Прежде всего требовалось открыть ручеекъ: вѣдь пастушки всегда у чистаго источника наслаждаются любовнымъ блаженствомъ, все равно, какъ модные франты ищутъ счастья въ передняхъ знатныхъ господъ.

Потомъ неразлучный спутникъ идиллическаго счастливца свирѣль.

Калифъ идетъ по полю и на берегу рѣчки дѣйствительно находитъ... но кого? Какое-то «запачканное твореніе, загорѣлое отъ солнца, заметанное грязью».

Калифъ даже сначала усумнился, человѣкъ ли это. Но голыя ноги и борода доказывали человѣческое званіе «творенія».

Все-таки оно не можетъ быть пастухомъ, калифъ справляется у грязнаго дикаря, гдѣ же искомый счастливецъ?

«Кто я», отвѣчало твореніе и въ то же время размачивалъ корку хлѣба, чтобы легче было ее разжевать».

Путешественникъ не можетъ опомниться отъ изумленія. Нѣтъ прежде всего свирѣли: оказывается, пастухъ «голодной не охотникъ до пѣсенъ». Потомъ отсутствуетъ пастушка...

«Она поѣхала въ городъ съ возомъ дровъ и съ послѣднею курицею, чтобы, продавъ ихъ, было чѣмъ одѣться, и не замерзнуть зимою отъ холодныхъ утренниковъ».

Калифъ, наконецъ, догадывается въ чемъ дѣло.

— Но поэтому жизнь ваша очень незавидна?

Пастухъ отвѣчаетъ съ истиннымъ «юморомъ висѣлицы».

— О, кто охотникъ умирать съ голоду и мерзнуть отъ стужи, тотъ можетъ лопнуть отъ зависти, глядя на насъ.

Калифъ жестоко раскаивается, что довѣрялъ идилліямъ и эклогамъ.

Выходитъ, стихотворцы обходятся съ людьми, какъ живописцы съ холстомъ: малюютъ все, что угодно ихъ воображенію, и безбожно закрашиваютъ правду.

Калифъ даетъ себѣ слово не судить по произведеніямъ поэтовъ о счастьѣ своихъ мусульманъ.

Трудно искуснѣе и остроумнѣе поразить классическую литературу въ самое сердце. И не одну классическую. Авторъ сказки предвосхитилъ критику противъ русскаго сентиментализма. Разговоръ калифа съ пастухомъ можно съ полнымъ правомъ обратить на Карамзинскую школу, и даже съ бо̀льшимъ основаніемъ, чѣмъ на ея предшественницу. Именно Карамзинъ ввелъ въ моду блаженная просвѣщеннаго земледѣльца и его нѣжную подругу, онъ создалъ повѣтріе чувствительныхъ вздоховъ и поселянскихъ фарсовъ, и на его литературѣ должна была развиться мечта у юнаго Александра объ идиллическомъ отшельничествѣ и золотомъ вѣкѣ простого смертнаго.

Ясно, при такомъ проницательномъ взглядѣ на основной недугъ современной литературы, Крыловъ могъ менѣе всего защищать первоисточникъ этого недуга. Писатель являлся слишкомъ талантливымъ *общественнымъ* сатирикомъ, чтобы остаться эстетическимъ староверомъ.

Онъ первый изъ русскихъ журналистовъ рискнулъ предложить читателямъ длинный рядъ статей по литературной критикѣ, безъ всякихъ предварительныхъ оповѣщеній о столь обширномъ отдѣлѣ. Въ глазахъ издателя художественные вопросы въ данномъ случаѣ играли роль настоятельнаго общаго интереса.

И вполнѣ естественно по той связи литературной лжи и общественныхъ представленій, какую раскрывалъ авторъ Каиба.

XXXII.

Критическія статьи *Зрителя* принадлежатъ не Крылову, а его сотруднику Плавильщикову и нѣкоему корреспонденту изъ Орла. Корреспондентъ ставитъ эпиграфомъ къ своимъ очень запальчивымъ разсужденіямъ правило: «Вода безъ теченія заростаетъ, словесность безъ критики дремлетъ». Это очень смѣлая мысль

Мы увидимъ, она не скоро получила право считаться правильной въ нашей журналистикѣ. Необходимость и даже пользу критики будутъ отвергать такіе популярные писатели, какъ Карамзинъ.

Крыловъ, очевидно, держался совершенно противоположнаго взгляда.

Рядъ статей посвященъ театру и драмѣ. Основная идея не новая—послѣ предисловій Лукина. Русскіе не могутъ слѣпо подражать ни французамъ, ни англичанамъ: «мы имѣемъ свои права, свое свойство и, слѣдовательно, долженъ быть свой вкусъ».

Онъ вполнѣ возможенъ. По мнѣнію автора, у русскихъ не менѣе хорошаго, чѣмъ у иностранцевъ, пожалуй даже больше.

Французскія пьесы, напримѣръ, безпрестанно отступаютъ отъ природы. Вся ихъ классическая теорія—сплошное насиліе надъ правдой и естественностью. Критикъ въ совершенствѣ понимаетъ нелѣпость единствъ, основную язву французской трагедіи, отсутствіе дѣйствія и обиліе монологовъ, онъ готовъ вообще сдать въ архивъ драматическія правила.

«Есть ли дѣло идетъ о пожертвованіи единству мѣста и времени истинными красотами, то тогда сочинитель погрѣшитъ самъ противъ себя и противу зрителей, представивъ имъ скуку по правиламъ». И авторъ знаетъ не мало пьесъ, написанныхъ безъ правилъ и «полнотою своею» «привлекательныхъ», а пьесы съ правилами «страждутъ недугомъ сухости».

Критикъ идетъ гораздо дальше. Онъ будто предчувствуетъ грядущій русскій романтизмъ съ его чудовищными эффектами. Онъ предупреждаетъ писателей, что жестокія злодѣянія россіянамъ несвойственны, достаточно изображать порокъ «безъ усиленнаго начертанія» и впечатлѣніе будетъ достигнуто.

Драма защищается безусловно, потому что она ближе къ природѣ, чѣмъ трагедія. Авторъ возстаетъ на авторитетъ Вольтера и Сумарокова «по естеству вещей», т. е. на основаніи наблюденій надъ дѣйствительностью, гдѣ постоянно чередуются смѣхъ и слезы.

Всѣ эти соображенія пересыпаны крайне рѣзкими выходками, не имѣющими ничего общаго съ искусствомъ. А между тѣмъ они первоисточникъ и основной мотивъ всей критики.

Авторъ—прямолинейный патріотъ. Статьи онъ начинаетъ сѣтованіемъ на иностранные нравы, магазины, таланты, вызывающіе у русскихъ самыя пристрастныя восторженныя чувства. Посредственный чужой писатель кажется геніемъ, а свой отечественный

талантъ находится въ пренебреженіи. На русской сценѣ представлять скорѣе Чингисъ-хана, чѣмъ героя родной исторіи. У театра во время французскаго представленія вся площадь заставлена шестернями, а русскимъ интересуются только пѣшеходы.

Неужели разумно «гнушаться ощущеніями, внушенными природой»? И «неужели для всѣхъ народовъ на свѣтѣ природа мать, а для насъ однихъ мачиха, которая не дала намъ никакой собственности?»

Этотъ мучительный вопросъ, очевидно, и вдохновилъ автора на литературную критику. Подъ вліяніемъ оскорбленнаго національнаго чувства, онъ дошелъ до сомнѣній въ классической трагедіи и въ безусловной талантливости французскихъ авторовъ.

Предъ нами въ нѣкоторомъ родѣ психологія Чацкаго. Начинаетъ авторъ съ уничтоженія *Свадьбы Фигаровой* и прославленія Козьмы Минина, какъ трагическаго героя, а кончаетъ негодованіемъ на иностранныя гусиныя чиненыя перья; они продаются дороже многихъ россійскихъ сочиненій!

Достается, конечно, и французскому языку—бѣдному и невыразительному.

Однимъ словомъ, патріотическое настроеніе разливается широкой волной и раздраженнаго публициста превращаетъ въ очень проницательнаго критика. Но такъ какъ все дѣло именно въ публицистикѣ, а не въ художественномъ чувствѣ и не въ эстетической вдумчивости,—авторъ доводитъ свою критику только до извѣстныхъ предѣловъ, достаточныхъ для удовлетворенія его національнаго идеала.

Въ результатѣ остаются неприкосновенными многіе предразсудки того же французскаго происхожденія. Авторъ, напримѣръ, требуетъ въ драмѣ непремѣнно торжествующей добродѣтели; только тогда нравственный смыслъ будетъ извлеченъ изъ пьесы «во всемъ своемъ блистаніи». Не допускается и Шекспиръ со всѣми оригинальными чертами его таланта. У него рядомъ съ «наиблагороднѣйшими трагическими красотами» имѣются такого сорта лица и дѣйствія, коихъ «просвѣщенный вкусъ» одобрить не можетъ.

Въ результатѣ —«Чекеперовы красоты подобны молніи, блистающей въ темнотѣ нощной: всякъ видитъ, сколь далеки они отъ блеску солнечнаго въ срединѣ яснаго дня».

Впослѣдствіи авторъ выразится еще энергичнѣе. Въ отвѣтъ на разсужденія противника онъ заявитъ совершенно въ духѣ только что раскритикованнаго Вольтера и его русскаго послѣдователя:

«Для героевъ вы хотите, чтобы родился у насъ *Чекспиръ*... Вотъ изряднаго нашли вы опредѣлителя вкуса и видно, что вы, начитавшись, заключаете вкусъ въ тѣсные предѣлы площадей, рынковъ и кабаковъ».

И это понятно. Авторъ, ратуя за природу, не дерзаетъ признать ее безъ надлежащихъ операцій надъ ея безобразіемъ—людей свѣдущихъ. «Всякая природа въ своемъ обнаженіи мало привлекательна, авторъ въ украшеніи, кажется, обновляетъ ее».

Очевидно, авторъ не заинтересованъ собственно въ коренномъ преобразованіи искусства, онъ только желаетъ убѣдить соотечественниковъ признать *свое, русское* хорошимъ и годнымъ для театральныхъ зрѣлищъ.

Такъ его идею и понялъ орловскій корреспондентъ, потерявшій всякое терпѣніе отъ патріотическихъ разглагольствованій *Зрителя*: «нѣтъ мочи моей выдержать всего того, что вы пишете»...

Въ Россіи нѣтъ писателей, равныхъ Расину, Корнелю и Вольтеру, нѣтъ и произведеній, способныхъ соперничать съ французскими. Что же смотрѣть русской публикѣ?

Не только нечего въ настоящее время, но, вѣроятно, и долго еще не будетъ созданъ русскій вкусъ по очень простой причинѣ.

Русскимъ авторамъ негдѣ брать литературныхъ мотивовъ. Большой свѣтъ въ Россіи болѣе иностранный, чѣмъ русскій, сельскіе жители коптятся въ дыму... Не захочетъ же авторъ-патріотъ видѣть въ оперѣ четырехъ пьяныхъ женщинъ съ яндовою и съ площадными пѣснями. А это картины «въ самомъ природномъ видѣ, достойныя кисти какого-нибудь фламандскаго живописца».

Авторъ предупреждаетъ русскихъ патріотовъ отъ неразумнаго увлеченія отечественнымъ просвѣщеніемъ, художествами, науками. Пріемъ крайне опасный подобное самохвальство. Рѣчь автора въ высшей степени любопытна: она долго будетъ повторяться въ русской публицистикѣ. Мы будто присутствуемъ при зарожденіи междоусобицы западниковъ и славянофиловъ.

«Прекрасное средство», восклицаетъ авторъ, «ободрять науки, говоря, что намъ не нужно болѣе учиться! Не лучше ли изъ любви къ соотечественникамъ показывать ихъ недостатки и, устыжая ихъ томную сонливость, воспламенить желаніе углубляться въ науки, дабы слава нашего непритворнаго просвѣщенія сравнилась со славою россійскаго оружія».

Прекрасныя мысли! Подъ ними, несомнѣнно, подписался бы самъ Крыловъ. По крайней мѣрѣ, къ нему отнюдь не могъ относиться

упрекъ въ равнодушномъ отношеніи къ недостаткамъ соотечественниковъ. Всѣ статьи издателя преисполнены сатирическаго духа и каждая изъ нихъ безпощадный приговоръ надъ притворнымъ просвѣщеніемъ.

Упрекъ слѣдовало направить по адресу противника *Зрителя*, его московскаго конкуррента, журнала по преимуществу восторженнаго, лирическаго и склоннаго ко всякаго рода самообольщенію личному и патріотическому.

И какъ велика оказывалась разница въ критическихъ воззрѣніяхъ того и другого изданія, прямо въ зависимости отъ того, что одинъ издатель—первостепенный сатирикъ своего времени, а другой всѣми силами открещивался отъ сатиры! «Расположеніе души моей», заявлялъ онъ публикѣ, «слава Богу, совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу».

Для благодушнаго автора, очевидно, сатира и брань казались тожественными и одинаково предосудительными.

Мы заранѣе можемъ угадать результаты.

Зритель именно на почвѣ сатиры вооружился противъ фальшивыхъ направленій литературы. Сатирическій, общественно-отрицательный духъ заставилъ его осмѣять оду и идиллію, негодованіе на модное воспитаніе вооружило его на классическую трагедію и ея теорію. Чтобы показать всю уродливость маніи подражанія, логически требовалось обнаружить несостоятельность того, чему подражали. И русскіе націоналисты невольно догадывались о сухости классическихъ пьесъ, о прозаичности французскихъ стиховъ, о посредственности многихъ иноземныхъ авторовъ. Собственно развивался не вкусъ самъ по себѣ, а здравый смыслъ направлялъ свою критику въ область вкуса.

Этого на первое время вполнѣ достаточно.

Французскія теоріи до такой степени противорѣчили именно разсудку и логикѣ, независимо отъ ихъ художественныхъ изъяновъ, что стоило умному наблюдателю отважиться отрицать и противорѣчить, и священное зданіе начинало колебаться. Отвага же внушалась патріотическимъ гнѣвомъ, даже въ сильнѣйшей степени, чѣмъ это требовалось для чисто-литературнаго протеста.

Отсюда ясны заслуги русской сатиры въ критикѣ, т. е. *художественнаго* дарованія и *публицистическаго* направленія журналистовъ. И то, и другое были на столько существенными, рѣшающими силами, что *сатирическія* статьи крыловскаго журнала по части критики, по крайней мѣрѣ, на десять лѣтъ опередили чисто-

художественныхъ судей современной литературы и заранѣе указали путь борьбы съ новымъ россійско-европейскимъ повѣтріемъ, смѣнявшимъ классицизмъ,—съ карамзинской чувствительностью.

Зритель находился въ дѣятельной полемикѣ съ *Московскимъ журналомъ* Карамзина. Поводъ, какъ увидимъ, на первый взглядъ частный и незначительный, но причина полемики несравненно глубже. Предъ нами два совершенно различныхъ критика по направленію и даже по личной психологіи. Одинъ—оптимистъ и чистый эстетикъ, другой—одинъ изъ реальнѣйшихъ и, слѣдовательно, далеко не прекраснодушныхъ наблюдателей дѣйствительности и въ силу этого совершенно непричастный чистому искусству и выспреннему счастью младенчески-восхищеннаго сердца.

XXXIII.

Въ исторіи русской литературы мало примѣровъ такого единодушнаго и безпощаднаго суда потомства надъ когда-то знаменитымъ и безусловно даровитымъ писателемъ, какъ приговоръ надъ Карамзинымъ.

Трудно представить, на какой высотѣ стояло имя автора *Бѣдной Лизы* въ послѣдніе годы его жизни. Это—настоящій культъ, религіозно-неприкосновенный и, повидимому, навсегда непоколебимый. «Исторіографъ Россійской имперіи»,—такъ офиціально именовался Карамзинъ,—уже этимъ именованіемъ вселялъ въ сердца современниковъ нѣкоторый трепетъ и благоговѣніе. Никому столько не разсыпалось самыхъ лестныхъ эпитетовъ, въ родѣ *геній, великій*. Поэты, дамы и государственные мужи на этотъ разъ сошлись въ единодушномъ преклоненіи...

Но еще не успѣла слава Россіи испустить послѣдній вздохъ, какъ откуда-то послышались довольно странныя и неожиданныя рѣчи. Оказалось, далеко не всѣхъ загипнотизировало краснорѣчіе историка, даже больше,—какъ разъ краснорѣчіе оказалось злополучнѣйшимъ наслѣдствомъ писателя.

И здѣсь также обнаружилось удивительное единодушіе. Булгаринъ шелъ рядомъ съ Полевымъ, и даже Погодинъ, позже Гомеръ исторіографа, печатаетъ въ своемъ журналѣ уничтожающую и жестокую критику на *Исторію Государства Россійскаго*.

Все это происходитъ въ теченіе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, но до такой степени энергично и *цѣлесообразно*, что капитальнѣйшій трудъ Карамзина оказываетъ плодотворнѣйшую *отрицательную* услугу русской критикѣ и вообще русскому искусству.

Статьи, посвященныя таланту и работѣ историка, безусловно самыя дѣльныя и самыя значительныя по результатамъ изъ всего критическаго матеріала первыхъ десятилѣтій текущаго столѣтія. И какъ разъ потому, что статьи эти были вызваны многочисленными недостатками историческаго произведенія Карамзина. Именно выясненіе не достоинствъ, а пороковъ *Исторіи*—изощрило перо критиковъ и установило основные принципы будущей русской литературы.

Какъ это могло произойти по поводу столь знаменитаго и талантливаго писателя?

Таланты Карамзина не только велики, но и крайне разнообразны. Онъ—стихотворецъ, журналистъ, т. е. критикъ и политическій мыслитель, авторъ повѣстей, наконецъ, ученый. И во всѣхъ областяхъ онъ всю жизнь стоитъ чуть ли не на первомъ мѣстѣ среди современниковъ. Объ этомъ фактѣ свидѣтельствуетъ всякое историческое сообщеніе и воспоминаніе его читателей. Мы, пересматривая журналы Карамзина, на поляхъ противъ его произведеній безпрестанно встрѣчали восторженныя восклицанія давно сошедшихъ въ могилу поклонниковъ и, вѣроятно, болѣе всего поклонницъ «милаго Карамзина». Его біографъ упоминаетъ о громадныхъ успѣхахъ писателя въ дамскомъ обществѣ, и мы можемъ судить, на сколько это справедливо, по многочисленнымъ посланіямъ: къ Филлидѣ, къ Аглаѣ, къ Хлоѣ, къ Деліи, къ жестокой, къ невѣрной, къ вѣрной, къ графинѣ Р, къ госпожѣ Н—ой, или просто къ Алинѣ... Это—цѣлый букетъ цвѣтовъ и грацій!

До Карамзина ничего подобнаго не испытывали русскіе литераторы. Очевидно, это—настоящій любимецъ публики, писатель дѣйствительно популярный и даже уважаемый.

Достаточно одного такого вывода, чтобы мы почувствовали себя въ совершенно новой эпохѣ русской литературы. Что́ общаго между шутовскими спектаклями піитъ и профессоровъ и блестящими свѣтскими побѣдами издателя *Аглаи!*

И вотъ здѣсь-то именно начинаются и—кончаются «безсмертныя» литературныя заслуги Карамзина. Онъ первый создалъ большую публику для книги и журнала. Онъ первый показалъ русскому обществу музъ не въ уродливомъ затрапезномъ костюмѣ педантическаго скрипуча́го риѳмоплетства, а въ легкомъ изящномъ уборѣ поэтической чувствительности и музыкальнаго свободнаго прекраснословія.

Немногаго, конечно, стоили Аглаи, Хлои и Филлиды, какъ цѣ-

нительницы литературы, но разъ онѣ читали, писателю приходилось непремѣнно пристально заботиться прежде всего о стилѣ, о языкѣ. Онъ неизбѣжно становился до послѣдней степени удобочитаемымъ, интереснымъ, по крайней мѣрѣ, по формѣ. Да, въ сущности, главнѣе всего по формѣ. Гдѣ же Филлидѣ гоняться за особенно серьезнымъ и жизненнымъ содержаніемъ!

Державинъ написалъ стихотвореніе въ честь Карамзина, еще юнаго писателя. Стихи заканчивались такимъ напутствіемъ патріарха екатерининской поэзіи:

Пой, Карамзинъ, — и въ прозѣ
Гласъ слышенъ соловьинъ!

Трудно точнѣе опредѣлить талантъ и всю дѣятельность Карамзина. Отъ начала до конца—это дѣйствительно соловей рядомъ съ розой и зарей, и гораздо болѣе *пѣніе*, чѣмъ простая рѣчь прозаическаго смертнаго.

Соловьемъ Карамзинъ началъ и соловьемъ же кончилъ. На пространствѣ десятковъ лѣтъ не произошло никакого преобразованія: сначала роль розы играла Лиза, а потомъ ее смѣнило «любезное отечество». Но ни настроеніе писателя, ни даже его литературная школа и стилистическіе пріемы нисколько не измѣнились.

Послѣднія слова, написанныя Карамзинымъ въ его *Исторіи* «Орѣшекъ не сдавался»—своего рода роковое изреченіе. Мы могли бы прибавить: «любезный, нѣжно-образованный юноша» также не сдавался ни предъ какимъ натискомъ времени, развивающихся общественныхъ идей, наростающихъ государственныхъ и нравственныхъ потребностей Россіи, быстрыхъ успѣховъ научной и критической мысли.

Какая угодно Хлоя въ самомъ преклонномъ возрастѣ могла съ полнымъ спокойствіемъ сердца и съ такой же усладой души чертить «милый Карамзинъ» на страницахъ политической исторіи, съ какой она когда-то орошала слезами жертву Симонова пруда.

Не всѣмъ дается такое постоянство, да притомъ еще столь нѣжное и трогательное. Очевидно, природа писателя обладала особымъ закономъ, чрезвычайно психологически-любопытнымъ. Соловей, съ единственнымъ предметомъ въ груди и въ мысляхъ — розой, оказался сильнѣе всѣхъ житейскихъ терній и треволненій!

И здѣсь опять типичнѣйшее явленіе, уже не литературное, а культурно-историческое. Существовали, слѣдовательно, условія, допускавшія долголѣтнюю неприкосновенность самыхъ экзотическихъ

чувствъ и эфирной философіи. Конечно, въ нашемъ мірѣ и экзотическое и эфирное непремѣнно должно питаться самыми реальными соками грязной земли, и карамзинская любезность и нѣжность вплоть до второй четверти XIX вѣка требовала, несомнѣнно, особенно богатаго и правильнаго притока этихъ соковъ.

Какъ совершался этотъ притокъ, мы подробностей не знаемъ. Извѣстенъ только поучительный фактъ со словъ самого Карамзина. Авторъ *Флора Силина, благодѣтельнаго человѣка*, проводилъ время въ деревнѣ и выполнялъ свой отеческій долгъ предъ собственными уже реальными «человѣками».

Сначала онъ *скучалъ* и *грустилъ* и «отъ скуки и отъ грусти» писалъ, находя, что это «лучшая польза нашего ремесла»... Потомъ мы узнаёмъ нѣчто совершенно другое.

Нѣкій сельскій житель, т. е. помѣщикъ, написалъ своимъ мужикамъ: «добрые земледѣльцы, сами изберите себѣ начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы»...

Прошло нѣсколько времени; оказалось, добрые земледѣльцы въ конецъ развратились. Пришлось перемѣнить политику,—какъ собственно, неизвѣстно, но только весьма скоро стадо погибшихъ овецъ снова превратилось въ счастливое общество «благодѣтельныхъ человѣковъ», вѣроятно, и для себя, и для энергичнаго помѣщика.

Какимъ путемъ сельскій житель достигъ этихъ результатовъ, онъ не объясняетъ, но только «безъ англійскихъ мудростей, безъ всякихъ хитрыхъ машинъ, не усыпая земли ни золою, не известкою, ни толчеными костями». Вся реформа ограничилась «трудолюбіемъ», и крестьяне возблагодарили своего благодѣтеля.

Таковъ разсказъ. Вы думаете, это только беллетристика, плодъ скуки и грусти? Вовсе нѣтъ. Нашъ авторъ именно и тѣмъ замѣчателенъ, что краснорѣчія не отличаетъ отъ фактовъ, своихъ чувствъ отъ идей, фантастическихъ цвѣтовъ отъ дѣйствительнаго зла. Именно только что разсказаннымъ анекдотомъ Карамзинъ стремился рѣшить государственный вопросъ, насчетъ участи крѣпостныхъ крестьянъ. Онъ не повѣствовалъ, а доказывалъ, не рисовалъ узоровъ досужаго воображенія, а вносилъ свой голосъ въ законодательные планы.

Войдите въ эту психологію, и вамъ станетъ вполнѣ ясной нравственная и литературная личность Карамзина.

Вы поймете, какую роль играла у него грусть и писаніе отъ бездѣлья, что означалъ для него переходъ отъ *Бѣдной Лизы* къ

Исторіи Государства Россійскаго, въ чемъ могло заключаться движеніе его мысли отъ поприща эстетическихъ чувствительныхъ упражненій до важнѣйшихъ вопросовъ государственной жизни. Вы, наконецъ, проникнете и въ сущность критическихъ и литературныхъ подвиговъ писателя.

Вамъ совершенно ясна слѣдующая мысль.

Если писатель, по натурѣ или по преднамѣренному плану, изгоняетъ изъ своихъ произведеній строго фактическую жизнь, если онъ желаетъ пѣть вмѣсто бесѣды и имѣть дѣло съ граціями, а не съ смертными существами, весь его талантъ долженъ неминуемо сосредоточиться на формѣ. Вѣдь только и существуютъ два орудія у писателя—*содержаніе* и *форма*, фактъ и слово, идея и стиль.

Комбинацій можетъ быть нѣсколько. Перевѣсъ того или другого элемента зависитъ отъ преобладанія въ природѣ писателя той или другой способности, чисто литературной или мыслительной. Можно представить, конечно, и совершенную гармонію: идейность, жизненность вмѣстѣ съ художественностью.

Но возможны и крайности: перевѣсъ мысли надъ формой, или наоборотъ. Во всѣхъ литературахъ можно указать множество примѣровъ всѣхъ этихъ комбинацій.

Карамзинъ—одна изъ самыхъ краснорѣчивыхъ и самыхъ типичныхъ для дореформенной литературы и крѣпостническаго общества: рѣшительное преобладаніе литературности надъ вдумчивостью и наблюдательностью. Карамзинъ—идеальный *словесникъ* въ самомъ точномъ смыслѣ, образцовый производитель словъ и фразъ, артистъ блестящей внѣшности и бѣднякъ духомъ, нищій сердцемъ—не въ смыслѣ ограниченности и жестокости, а развитой общественной мысли и жизненной сознательной гуманности.

XXXIV.

Карамзинъ первое литературное воспитаніе получилъ въ Дружескомъ обществѣ Новикова. Здѣсь онъ могъ впитать много благороднѣйшихъ идей на счетъ просвѣщенія и человѣколюбія, но по части эстетики новиковская школа не отличалась ни основательностью, ни смѣлостью. Мы это знаемъ изъ знаменитаго Словаря. Карамзинъ быстро пріобрѣлъ тѣснѣйшія связи съ нѣкоторыми членами общества, особенно съ Петровымъ, «Агатономъ», но, повидимому, не могъ заручиться опредѣленными взглядами и даже чувствами въ самой важной и увлекательной для него области, въ художественной литературѣ.

Передъ нами одновременно переводъ геснеровской идилліи, гдѣ, конечно, на первомъ планѣ пастухъ, ручей и свирѣль,—упорные планы переводить Шекспира и въ дополненіе картины—уваженіе къ Баттё и правиламъ!

Какъ все это согласить?

Никто рѣшительнѣе Шекспира не высмѣялъ идиллій и никто презрительнѣе не относился къ правиламъ. Какъ же онъ могъ попасть рядомъ съ пастушкомъ и піитикой?

Очевидно, существовало нѣсколько вліяній на юнаго любителя словесности, и шекспировское шло отъ нѣмецкаго «бурнаго генія» Ленца. Романтикъ жилъ въ Москвѣ, находился уже на закатѣ своихъ силъ и таланта, даже ума, но не забывалъ священнаго романтическаго культа—Шекспира.

Карамзинъ свидѣтельствуетъ, что Ленцъ «удивлялъ» его иногда и своими піитическими идеями, и, конечно, первое мѣсто въ этихъ идеяхъ занималъ геній Шекспира.

Это значило бурное, ничѣмъ не сдерживаемое *воображеніе* и ничего не щадящая вѣрность *природѣ*.

Русскаго юношу увлекли эти *идеи*, именно идеи, а не самая сущность шекспировской поэтической психологіи. Карамзинъ, какъ идеально чувствительный и *на слова* податливый человѣкъ, былъ очарованъ такими выраженіями, какъ *свобода, натура*. Съ нимъ произошло то же самое, что съ гоголевскимъ Маниловымъ.

Этотъ нѣжный господинъ безпрестанно попадаетъ въ безвыходный туманъ воображенія, «обвороженный фразой», и никакъ не можетъ вникнуть «въ толкъ самого дѣла». Чичиковъ можетъ лгать и плутовать сколько угодно на глазахъ растроганнаго любителя словъ и фразъ.

Есть и у Карамзина такой же лжецъ и плутъ: его природная и развитая воспитаніемъ склонность къ сентиментальнымъ побрякушкамъ и томной нервной слезливости. Она продѣлываетъ съ его воображеніемъ самые неожиданные опыты, въ то время, когда въ ушахъ звенитъ волшебное словечко *натура!*

Оно, очевидно, прямо загипнотизовало впечатлительнаго мечтателя. Карамзинъ примется повторять его и въ прозѣ, и въ стихахъ. Въ предисловіи къ переводу *Юлія Цезаря* Шекспиръ будетъ такъ оцѣненъ: «онъ смотрѣлъ только на натуру, не заботясь, впрочемъ, ни о чемъ».

Одновременно появятся стихи съ энергическимъ началомъ:

Шекспиръ натуры другъ!..

Отдавалъ ли себѣ критикъ отчетъ, что̀ такое *натура* вообще и въ трагедіяхъ Шекспира въ особенности?

Карамзинъ не признаетъ единства; это въ 1787 году, т. е. на пять лѣтъ раньше *Зрителя*, Вольтеръ прямо обзывается софистомъ и уличается въ плагіатахъ у того же Шекспира. Очевидно, съ классицизмомъ у Карамзина покончены всѣ счеты. А Вольтеръ ему втройнѣ ненавистенъ, какъ человѣкъ по преимуществу разсудочный, какъ чрезвычайно запальчивый критикъ жизни и противникъ идиллическаго застоя и, наконецъ, какъ противникъ Руссо, уважаемаго нашимъ писателемъ за чувствительность.

И такъ, одно завоеваніе несомнѣнно, и оно теоретически очень цѣнно. Но его мало для *натуры* Шекспира. Логически слѣдуетъ освободить талантъ писателя отъ всякихъ книжныхъ стѣсненій и заставить его считаться только съ реальной жизнью.

Но вотъ именно здѣсь и камень преткновенія для Карамзина.

Онъ откажется отъ одной лжи, затѣмъ чтобы подпасть подъ иго другой, не менѣе ядовитой и *противоестественной*.

И произойдетъ это потому, что у Карамзина, какъ истиннаго эстетика, *нѣтъ чутья дѣйствительности*. Онъ созерцатель и мечтатель. Онъ готовъ признать психологическую силу Шекспира въ изображеніи характеровъ, но доказать ее рѣшительно не въ состояніи. Для этого надо имѣть представленіе о *дѣйствительныхъ* характерахъ, потому что художественная психологическая критика—сопоставленіе поэтическаго образа съ подлиннымъ историческимъ или современнымъ явленіемъ.

Почему по поводу Брута слѣдуетъ воскликнуть: «вотъ характеръ!»—Карамзинъ не объясняетъ, и, насколько можно судить по его характеристикамъ героевъ русской исторіи, не могъ объяснить. Ему доступенъ только *риторическій* анализъ, т. е. моральные шаблоны. Онъ, характеризуя, непремѣнно проповѣдуетъ какой-нибудь нравственный труизмъ, не раскрываетъ жизненныя основы личности, а при помощи ея отдѣльныхъ чертъ и фактовъ иллюстрируетъ свой тезисъ.

Въ результатѣ, каждый человѣкъ подъ перомъ такого историка и психолога превращается въ нѣкій заранѣе составленный ребусъ какъ разъ на фразу, находящуюся въ распоряженіи отгадчика.

Такимъ же путемъ Карамзинъ не только будетъ объяснять готовые характеры, но и создавать свои въ собственныхъ произведеніяхъ. *Натуры* ни тамъ, ни здѣсь не окажется, но именно этотъ вопіющій недостатокъ всякой философіи и всякаго искус-

ства и создастъ славу Карамзина, какъ политическаго мыслителя, проницательнаго моралиста и интереснаго писателя.

Натура нѣчто крайне сложное, и Шекспиръ въ сильнѣйшей степени этой сложности обязанъ своимъ фіаско у французскихъ классиковъ и у всякой другой подобной публики. Понять и оцѣнить Брута—это цѣлая задача по исторіи и философіи. А познакомиться съ Эрастомъ можно буквально съ двухъ словъ.

Въ результатѣ, и для критики, и для искусства Карамзина натура осталась пустымъ, хотя и обворожительнымъ звукомъ. Онъ повторяется и позже, независимо отъ Шекспира: «вездѣ натура есть наставница» человѣка «и главный источникъ его удовольствій».

Да, натура, но только не шекспировская, а развѣ *стерновская*, да и то подправленная и пообчищенная.

«Стернъ несравненный», воскликнулъ Карамзинъ, «въ какомъ ученомъ университетѣ научился ты столь нѣжно чувствовать?»

Но этого мало, надо столь же нѣжно и говорить.

Посмотрите, какъ нашъ поклонникъ Шекспира выланциваетъ стихи, не свои только, а требуетъ исправленій и отъ другихъ.

Слово «парень» для него *отвратительно:* онъ желаетъ «покойнаго селянина, который съ тихимъ удовольствіемъ смотритъ на природу и говоритъ: *вотъ гнѣздо!* вотъ *пичужечка!*» Онъ не признаетъ также выраженій: *барабаны*, *потъ*, *сломилъ*, *вскричалъ*, *потупленная* голова...

Но это вѣдь самый послѣдовательный классицизмъ, доходящій до преціозной манерности! Классикъ не имѣлъ права даже комнату называть *комнатой* и солдата *солдатомъ*: чертогъ, воинъ, не иначе. А когда у него дѣйствіе происходило за городомъ, онъ писалъ «мѣстность сельская, но пріятная».

Также и у Карамзина, хотя онъ ненавидитъ единство.

У природы онъ беретъ только *цвѣты*, въ человѣческомъ обществѣ только *нѣжныя сердца*, и изъ этого матеріала строитъ всю свою литературу.

Объявляя объ изданіи *Вѣстника Европы*, онъ цѣлью журнала ставитъ: «указывать новыя красоты въ жизни, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей».

Подъ этимъ сахарнымъ и медоточивымъ мазкомъ всѣ явленія жизни превращаются въ леденцы и бонбоньерки.

Для всякаго факта и понятія своя особая терминологія, и изъ произведеній Карамзина можно бы извлечь цѣлый словарь новаго

преціознаго тона, ничѣмъ не уступающій фокусничеству мольеровскихъ героинь.

Что, напримѣръ, означаютъ слѣдующія фигуры?

«Призывай богинь парнасскихъ, онѣ пройдутъ мимо великолѣпныхъ чертоговъ и посѣтятъ твою смиренную хижину»...

Это ни болѣе, ни менѣе, какъ совѣтъ писателю не изображать «хладную мрачность души» своей, а «возвыситься до страсти къ добру». Переводъ стоитъ оригинала.

«Великіе геніи ведутъ людей къ сокровищамъ ума путемъ, усѣяннымъ цвѣтами».

Это просто метафора для понятія популяризаціи и доступности научныхъ свѣдѣній.

Вы чувствуете, съ какой тщательностью отдѣлывались эти узоры, и чрезвычайная усидчивость Карамзина надъ отдѣльными фразами и словами доказывается его черновыми рукописями. И замѣтьте, не въ художественныхъ произведеніяхъ, а въ *Исторіи*. Можно изумиться изобилію перечеркиваній, поправокъ въ самыхъ, повидимому, простыхъ выдержкахъ, въ фактическомъ разсказѣ... Можно представить, сколько труда у исторіографа уходило на стиль и какъ сравнительно мало оставалось на сущность дѣла!

Никто, конечно, не станетъ подвергать безусловному порицанію подобную работу, и менѣе всего у Карамзина.

Русскій литературный языкъ еще создавался и мы сейчасъ увидимъ, сколько враговъ онъ встрѣчалъ на своихъ самыхъ законныхъ и естественныхъ путяхъ. Карамзинъ своимъ словеснымъ подвижничествомъ оказывалъ ему великія, въ полномъ смыслѣ незабвенныя услуги. Но только всякая благородная цѣль, при всей своей возвышенности, требуетъ разума. Иначе и услуга можетъ стать источникомъ вреда.

Неужели, при всемъ попеченіи о хорошемъ стилѣ, требовалось непремѣнно филолога-педанта именовать «Великимъ мужемъ Русской Грамматики», а ея еще незрѣлое состояніе изображать картиной «богиня въ пеленахъ»? Неужели по поводу дамскаго пожертвованія настоятельно распространяться о «просвѣщенной благотворительности» русскихъ, готовыхъ благодѣтельствовать даже иностранцамъ: «права человѣчества всего для насъ священнѣе!..» И причемъ здѣсь «*прекрасный слогъ* и добродѣтельное сердце» жертвовательницы?

Очевидно, не было сознанія мѣры въ благомъ дѣлѣ.

А между тѣмъ, никому, кажется, идеалъ умѣренности не былъ

столь свойственъ, какъ исторіографу,—только не реторической, а практической.

По поводу, напримѣръ, народнаго просвѣщенія онъ разсуждаетъ:

«Глубокомысленный, важный умъ долженъ обуздать нетерпѣливость добраго сердца, которое, плѣняясь намѣреніемъ, хочетъ немедленныхъ плодовъ закона благодѣтельнаго».

Отчего бы этотъ принципъ не примѣнить къ краснорѣчію и не обуздать чувствительнаго сердца на поприщѣ фразъ?

Потому что фразы часто буквально убивали мысль и фактъ. Мы это увидимъ изъ критики, направленной современниками противъ *Исторіи Государства Россійскаго*.

Но у эстетика другая цѣль и, главное, другое прочно установленное воззрѣніе на какую бы то ни было литературную работу.

Карамзину удалось, можетъ быть, ненамѣренно, очень вѣрно опредѣлить себя, какъ писателя. Рѣчь идетъ о поэтѣ, но вопросъ въ извѣстной психологіи, а не разновидности таланта, тѣмъ болѣе, что и нашъ авторъ грѣшилъ очень многочисленными стихами.

«Сильный, хорошій стихъ», говоритъ Карамзинъ, «счастливое слово, искусный переходъ отъ одной мысли къ другой, радуютъ поэта, какъ младенца, и нерѣдко на цѣлый день дѣлаютъ веселымъ, особливо если онъ можетъ сообщить свое удовольствіе другу любезному, снисходительному къ его авторской слабости».

Счастливое слово, любезный другъ, удовольствіе, слабость—таковъ нравственный и практическій обиходъ писателя, способнаго младенчески быть счастливымъ.

И между тѣмъ, этотъ писатель пустился въ журналистику. Цѣль была самая прозаическая: Карамзинъ желалъ пріобрѣсти состояніе, и остальную жизнь прожить спокойно и въ полномъ эстетическомъ удовольствіи. Но достигнуть цѣли не легко тамъ, гдѣ танцовальный учитель совершенно затмѣвалъ собой профессора философіи.

Карамзинъ рѣшилъ преодолѣть всѣ трудности, и для насъ, разумѣется, самый важный и любопытный вопросъ во всей многосторонней дѣятельности нашего писателя—исторія его журнальныхъ успѣховъ и неудачъ.

Именно эта исторія опредѣляетъ положеніе Карамзина въ русской художественной и публицистической критикѣ.

XXXV.

Первое періодическое изданіе Карамзина *Московскій журналъ*, кромѣ «сочиненій въ стихахъ и прозѣ», «описанія разныхъ происшествій» и «анекдотовъ», обѣщалъ два критическихъ отдѣла—для книгъ и театральныхъ пьесъ. Издатель ручался за безпристрастіе своей критики и напоминалъ публикѣ, что «до сего времени весьма немногія книги были у насъ надлежащимъ образомъ критикованы».

Журналъ выходилъ въ теченіе двухъ лѣтъ и нельзя сказать, чтобы блистательно выполнилъ обязательства по части критики. За весь первый годъ достойна вниманія одна лишь статья объ *Эмиліи Галотти*—Лессинга,

Разборъ—изложеніе содержанія пьесы съ одобрительными восклицаніями и однотонными замѣчаніями насчетъ естественности событій и характеровъ. Но несомнѣнно, полезнымъ дѣломъ со стороны Карамзина было уже самое одобреніе драмы въ то время, когда еще классицизмъ не чаялъ своей гибели.

Рецензіи о книгахъ—или простыя упоминанія, или изрѣдка пересказъ особенно любопытнаго сочиненія съ заключительнымъ приговоромъ.

Но эти скромные подвиги давались журналу не легко. Ни публика, ни писатели никакъ не могли привыкнуть даже къ самымъ безпристрастнымъ и сдержаннымъ сужденіямъ журналиста.

Критика производила впечатлѣніе личной обиды просто потому, что она не представляла сплошного панегирика или оды достоинствамъ автора

Карамзину на первыхъ же порахъ пришлось испытать терніи журналистики.

Нѣкій Туманскій перевелъ греческое сочиненіе по миѳологіи и приложилъ свои примѣчанія. *Московскій журналъ* неодобрительно, хотя и необычайно джентльмэнски, коснулся стиля переводчика. По этой части журналъ былъ безусловно компетентенъ и не въ духѣ Карамзина допустить лично-оскорбительную статью.

Но Туманскій не стерпѣлъ критики и отвѣчалъ уже прямо пасквилемъ. За журналистами, какъ частными лицами, отрицалось вообще право на критику. Авторъ утверждалъ, что сужденія ихъ «никогда отъ людей умныхъ уважаемы не были», «извѣстно, что они за подарки истощеваютъ свои хвалы, по пристрастію, самолюбію, личной ссорѣ или зависти выискиваютъ всѣ способы унизить трудъ чуждый».

Еще чувствительнѣе для Карамзина должны были явиться нападки крыловскаго *Зрителя*. На этотъ разъ противникъ говорилъ не мало правды, и *Московскій журналъ* врядъ ли могъ вообще побѣдоносно вести борьбу съ упреками чисто-литературнаго характера.

Въ статьѣ *Критикъ Зритель* издѣвался надъ «неусыпнымъ попеченіемъ о русскомъ языкѣ». Это означало указывать на исключительно стилистическую критику Карамзина, т. е. обличать несомнѣнную односторонность. *Зритель* недоволенъ, что новоявленный журналъ не разсматриваетъ ни авторскихъ мыслей, ни плана сочиненій, ни характеровъ дѣйствующихъ лицъ. «Да и хорошо, что не за свое дѣло берется», говоритъ ядовито авторъ, «какъ заниматься такою мелочью!..»

Слѣдовательно, критическія предпріятія Карамзина немедленно натолкнулись на препятствія, и критикъ нашъ отнюдь не отличался такого сорта характеромъ, чтобы пойти на встрѣчу борьбѣ, по крайней мѣрѣ, продолжать идти своей дорогой.

Напротивъ, *Московскій журналъ* обнаружилъ всю неприспособленность чувствительной натуры къ настоящей журнальной дѣятельности.

Изданіе имѣло 300 «сускрибентовъ», т. е. подписчиковъ, это по времени было успѣхомъ и идеалъ самого издателя не поднимался выше цифры 500. Доходу все-таки журналъ не давалъ, и Карамзинъ вздумалъ замѣнить его альманахомъ, сначала вышла *Аглая*, потомъ *Аониды*. Критика въ обоихъ изданіяхъ отсутствовала, да она и не отвѣчала характеру стихотворныхъ сборниковъ.

Но, независимо отъ стиховъ, Карамзинъ, повидимому, утратилъ всякую охоту къ литературной публицистикѣ. Правда, ко второму выпуску *Аонидъ* издатель приложилъ предисловіе—статью о поэзіи и стихотворствѣ.

Здѣсь высказаны дѣльныя мысли на счетъ самостоятельности поэтическаго вдохновенія. Поэту рекомендуется не гоняться за чуждыми, несвойственными ему идеями, а описывать предметы, къ нему близкіе. Но главный совѣтъ—совершенно въ духѣ безоблачнаго чувствительнаго оптимизма. «Молодому питомцу Музъ лучше изображать въ стихахъ первыя впечатлѣнія любви, дружбы, нѣжныхъ красотъ природы, нежели разрушеніе міра, всеобщій пожаръ натуры и прочее въ семъ родѣ».

Карамзинъ даже отказался напечатать въ *Аонидахъ* слишкомъ энергичное стихотвореніе: такъ ему дорогъ покой душевный и розовое созерцаніе даже въ книгахъ!

Очевидно, это не критика, и даже исчезаетъ самая возможность ея существованія. Все равно какъ изъ идиллическаго пастыря не могъ выработаться публицистъ, вообще писатель—съ новыми, сильными идеями, такъ любезный питомецъ музъ никогда не могъ снизойти до хлопотливой борьбы, за какія бы то ни было литературные вопросы.

Карамзинъ это доказываетъ систематически, прежде всего новымъ, важнѣйшимъ своимъ журналомъ и послѣднимъ періодическимъ изданіемъ—*Вѣстникъ Европы*.

Издатель разсчитывалъ попасть въ политическій моментъ. Революція прекратилась, всюду правительства обратились къ мирнымъ задачамъ отеческаго управленія подданными, а народы уразумѣли необходимость правленія твердаго. Явилась нужда «въ общемъ мнѣніи», т. е. въ политической печати. И *Вѣстникъ Европы* имѣлъ въ виду удовлетворить общему настроенію, «лучшимъ умамъ, стоящимъ теперь подъ знаменемъ власти».

Въ результатѣ, является политическій отдѣлъ,—совершенная новость въ русской журналистикѣ.

Происходитъ это въ 1802 году. Прирожденному оптимизму издателя—полное раздолье. Карамзинъ можетъ съ полнымъ основаніемъ восхвалять правительственные планы на счетъ просвѣщенія: они дѣйствительно существовали въ первое время новаго царствованія. Бонапартъ удостаивается многорѣчивой хвалы за умерщвленіе чудовища революціи. Наконецъ, въ журналѣ печатается знаменитая статья *О любви къ отечеству и народной гордости*.

Содержаніе ея не представляетъ ничего новаго послѣ статей *Зрителя*, разница въ тонѣ. Карамзинъ благодаритъ Бога за расположеніе своей души, совсѣмъ противное сатирическому духу, а вся сила Крылова именно въ этомъ духѣ.

У Карамзина любовь къ отечеству доказывается патетически, у Крылова,—путемъ безпощадной насмѣшки надъ пасынками Россіи. Карамзинъ крайне недоволенъ подражательностью, пренебреженіемъ русскихъ къ родному языку и роднымъ талантамъ, повторяются буквально мысли Плавильщикова на счетъ богатства русской рѣчи и бѣдности французской. «Хорошо и должно учиться», заканчиваетъ Карамзинъ, «но горе и человѣку, и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ».

Это вполнѣ основательно. Но, разъ журналистъ стоитъ за самостоятельные пути развитія, онъ долженъ ихъ указать, и пре-

имущественно, конечно, тамъ, гдѣ недугъ подражательности особенно глубокъ и тлетворенъ, т. е. въ литературѣ.

Помимо патріотическихъ изліяній общаго характера, журналу необходимо было вооружиться критикой, тѣмъ болѣе, что онъ такъ краснорѣчиво изобразилъ достоинства русскаго языка!

Но критиковать, значитъ рисковать на полемику, на утрату прекраснодушнаго *одическаго* настроенія. Это уже испыталъ издатель, и теперь онъ просто изгоняетъ критику изъ своего журнала.

«Что принадлежитъ до критики новыхъ русскихъ книгъ», пишетъ онъ, то мы не считаемъ ее истинною потребностію нашей литературы (не говоря уже о непріятности имѣть дѣло съ безпокойнымъ самолюбіемъ людей). Въ авторствѣ полезнѣе быть судимымъ, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не крезы. Лучше прибавить что-нибудь къ общему имѣнію, нежели заняться его оцѣнкою. Впрочемъ, не закаиваемся говорить иногда о старыхъ и новыхъ русскихъ книгахъ, только не входимъ въ рѣшительное обязательство быть критиками». Нечего и говорить, что автору отнюдь не удалось доказать *ненужность* и *безполезность* критики. Самъ же онъ признаетъ пользу «быть судимымъ», слѣдовательно, судъ полезенъ, только не совсѣмъ удобенъ для судьи.

Вообще, Карамзинъ всѣми силами открещивается отъ всякаго подозрѣнія, какое могло бы возникнуть у русской публики, особенно у будущихъ «сускрибентовъ» на его журналъ, въ серьезности его намѣреній, какъ издателя и писателя.

Въ объявленіи объ изданіи Карамзинъ усиленно подчеркиваетъ свою исключительную заботу на счетъ *удовольствія* читателей. Онъ будетъ «указывать *новыя красоты* въ жизни», «избирать *пріятнѣйшіе*» изъ иностранныхъ цвѣтниковъ, «*украшать* словесность, языкъ», вообще—«не учить публику, а единственно занимать ее пріятнымъ образомъ, не оскорбляя вкуса ни грубымъ невѣжествомъ, ни варварскимъ слогомъ».

Очевидно, это особенная *эпикурействующая* публицистика, отъ начала до конца усладительная, разсчитанная прежде всего на пріятное времяпрепровожденіе. Недаромъ, даже по поводу политическаго отдѣла, Карамзинъ спѣшитъ отмѣтить «любопытные и забавные анекдоты»: ихъ издатель будетъ «съ осторожностью» брать изъ англійскихъ газетъ...

Несомнѣнно, былъ смыслъ и въ подобной программѣ. Тамъ, гдѣ едва набиралось триста подписчиковъ на безусловно литера-

турный журналъ, приходилось литературу преподносить въ видѣ самаго легкаго блюда, какого-нибудь безе или экзотическаго фрукта, сочинять трогательные анекдоты и политическія статьи переполнять наивнымъ національнымъ самохвальствомъ и торжественными чувствами на счетъ «счастливаго состоянія Россіи», «спокойствія сердецъ, веселыхъ лицъ, чувствительности русскихъ къ добру».

Все это цѣлесообразно для пріохочиванья публики къ чтенію. Но до такой ли степени?

Самъ Карамзинъ, въ оптимистическомъ ослѣпленіи всѣми и всѣмъ, напечаталъ статью *О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи.* Въ статьѣ указано громадное развитіе за послѣднія 25 лѣтъ московской книжной торговли, оцѣнены заслуги Новикова и сообщены дѣйствительно замѣчательные факты.

По свѣдѣніямъ Карамзина, даже бѣдные дворяне, съ годовымъ доходомъ не болѣе 500 рублей, собирали *«библіотечки»* и съ величайшимъ почтеніемъ относились къ книгамъ, перечитывали ихъ по нѣскольку разъ.

Правда, большинство этихъ книгъ—романы, и непремѣнно *чувствительные.* Но разъ существуетъ наклонность къ чтенію, читателей можно вести дальше романовъ. Карамзину не приходила на умъ эта простая мысль, и онъ лучше предпочиталъ производить ходкій, уже установившійся товаръ, чѣмъ рисковать *неудовольствіемъ* читателей.

Да, это не былъ ни учитель общественный, ни даже журналистъ въ смыслѣ общественнаго дѣятеля.

Переживъ эпоху просвѣщенія, хорошо знакомый съ ея литературой, Карамзинъ въ личной дѣятельности представилъ одинъ изъ самыхъ послѣдовательныхъ и цѣльныхъ примѣровъ идейной косности. На его языкѣ не было простой фразой требовать, чтобы «всѣ смѣлыя теоріи ума» и другія «любопытныя произведенія остроумія» остались въ книгахъ. Онъ шелъ дальше: не допускалъ теорій даже и въ книги, ограничиваясь ни къ чему не ведущими чувствами.

Даже самое дорогое дѣло—*стиль*—Карамзинъ предоставлялъ на волю судьбы и на доброе усмотрѣніе другихъ, менѣе опасавшихся «непріятностей» отъ самолюбивыхъ авторовъ. Карамзинъ всѣ силы души своей полагалъ на красоту слога, на выработку русскаго языка, но когда явилась необходимость защищать свой трудъ, писатель отошелъ въ сторону, и послѣдній бой на поприщѣ *стилистической* критики произошелъ безъ его участія.

XXXVI.

Выраженіе *стилистическая критика* для всѣхъ полемикъ старыхъ русскихъ литераторовъ неточно. Вопросъ о слогѣ сравнительно второстепенный въ началѣ и ходѣ борьбы. Ея сущность— общественнаго и политическаго содержанія, и грамматика почти для всѣхъ критиковъ является только предлогомъ для раскрытія публицистическихъ принциповъ.

Мы съ этимъ фактомъ встрѣчались неоднократно, но никогда онъ не являлся въ такомъ эффектномъ освѣщеніи, какъ въ спорѣ карамзинистовъ съ шишковистами.

Прежде всего любопытенъ идейный смыслъ борьбы.

Шишковисты выступили на сцену, какъ защитники церковнаго языка. Русскій языкъ только нарѣчіе славянскаго и долженъ всѣхъ своихъ красотъ искать въ священномъ писаніи, а не сочинять новыхъ словъ и не заимствовать выраженій изъ иностранныхъ языковъ. Изъ русской литературы должны быть удалены такія, напримѣръ, слова: эпоха, религія, трогательный, оттѣнокъ, развитіе. Взамѣнъ предлагались: непщевать, гобзованіе, умодѣліе, прозябеніе, и давно вошедшія во всеобщее употребленіе слова: аллея, аудиторія, ораторъ, героизмъ, извергъ должны уступить мѣсто—просаду, слушалищу, краснослову, добледушію, искидку. Это называлось «новыя мысли свои выражать старинныхъ предковъ нашихъ складомъ».

Достаточно этихъ примѣровъ, чтобы книгу адмирала Шишкова— *О старомъ и новомъ слогѣ*—признать неисчерпаемымъ запасомъ комизма и совершенно безцѣльнаго «словоизвитія». Никакія силы не могли заставить людей въ полномъ разсудкѣ и твердой памяти говорить и писать на самодѣльной варварщинѣ оригинальнаго филолога. Естественно, даже публика сразу оцѣнила идеи Шишкова и, по словамъ современника, «вся молодежь, всѣ дамы въ обѣихъ столицахъ ратовали за Карамзина».

Нетрудно было *писателямъ* сражаться съ такимъ противникомъ при вѣрномъ разсчетѣ на успѣхъ, и вся война могла бы остаться въ исторіи нашей критики развѣ только образчикомъ смѣхотворнаго педантическаго ристалища, отнюдь не серьезной литературной полемики.

Въ дѣйствительности, вышло совсѣмъ иначе.

Противъ Карамзина, мы видѣли, возставалъ и Крыловъ, но между нападками *Зрителя* и проповѣдями Шишкова нѣтъ ничего общаго.

Высокопоставленный критикъ, съ чисто военной рѣшительностью, обострилъ вопросъ совершенно неожиданно и перенесъ его на такую почву, что, пожалуй, на этотъ разъ малодушіе Карамзина извинительно.

Шишковъ вопросу о слогѣ придалъ характеръ государственнаго интереса и ненависть къ «высшему штилю» открыто отождествлялъ съ измѣной «обычаямъ, вѣрѣ и отечеству».

Для него преобразованія въ языкѣ равнялись нравственному упадку, религіозному отступничеству и политической революціи. Все это выражалось однимъ грознымъ понятіемъ «духъ времени», враждебный правительству и святости законовъ.

Трудно представить, какихъ предѣловъ достигалъ у Шишкова старовѣрческій азартъ. Впослѣдствіи, въ 1813 году, десять лѣтъ спустя по выходѣ своей книги, онъ даже пожаръ Москвы приписывалъ своимъ литературнымъ противникамъ: «теперь ихъ я ткнулъ бы въ пепелъ Москвы и громко имъ сказалъ: вотъ чего вы хотѣли!»

И главный вожакъ этой столь гибельной для отечества партіи оказывался пѣвецъ Филлиды, Деліи, Лизы и тому подобныхъ, менѣе всего политическихъ и революціонерныхъ предметовъ!

Но у Шишкова грамматика творила чудеса. Съ безпримѣрной находчивостью адмиралъ, впослѣдствіи одинъ изъ вліятельнѣйшихъ государственныхъ людей царствованія Александра I, умѣлъ *по буквамъ* слова предписывать цѣлую программу внутренней политики по наиважнѣйшимъ вопросамъ.

Напримѣръ, *въ государственномъ совѣтѣ* обсуждается вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Въ такихъ случаяхъ Карамзинъ прибѣгалъ къ особеннымъ анекдотамъ: его врагъ поступаетъ несравненно проще, хотя и хитроумнѣе. Онъ беретъ слово *рабъ* и доказываетъ, что оно происходитъ отъ «работаю», т. е. служу кому-нибудь «по долгу и усердію»... Очевидно, въ Россіи нѣтъ рабства, какъ учрежденія предосудительнаго и для человѣчества оскорбительнаго, а есть только усердные и жизнерадостные слуги отцовъ-патріарховъ!..

Замѣтьте, Шишковъ вовсе не представлялъ злостнаго мракобѣсія, тонкаго сознательнаго софиста. Напротивъ, какъ помѣщикъ, это, дѣйствительно, нѣчто въ родѣ патріарха, гуманнаго и на рѣдкость безкорыстнаго. Въ положеніи высшаго чиновника Шишковъ обнаруживалъ иногда мужество, недоступное другимъ, хотя бы и болѣе либеральнымъ государственнымъ мужамъ.

Всѣ нелѣпости, филологическія и принципіальныя, у Шишкова были движеніями его сердца и искренними убѣжденіями ума. Можно, конечно, представить, что это за умъ и какъ онъ могъ руководить сердцемъ? Но искренность и убѣжденность не подлежать сомнѣнію.

Тѣмъ любопытнѣе вліяніе и власть подобнаго мудреца, по истинѣ безсмертна только что разсказанная сцена въ высшемъ законодательномъ учрежденіи великой имперіи!

Естественно, литераторы должны были вполнѣ серьезно отнестись къ такому человѣку, разъ онъ могъ стоять на вершинѣ государственой лѣстницы и выводы своей филологіи осуществлять въ распоряженіяхъ и циркулярахъ.

И Шишковъ оказывался необходимымъ не только въ высшей администраціи, онъ членъ академіи и даже первостепенный академикъ—по трудолюбію и, пожалуй, даже по учености.

Типичный Карамзинъ такъ характеризовалъ академію, гдѣ блисталъ Шишковъ. Члены ея—большинство плохіе переводчики—«големные претолковники, иже отрѣвают все, еже есть руское и блещаются блаженне сіяніемъ славяномудрія».

По предложенію Шишкова, академія съ 1805 года стала издавать *Сочиненія и переводы*, и Шишковъ явился главнымъ вкладчикомъ въ эту сокровищницу славяномудрія.

Но и это не все.

Въ 1811 году Шишковъ основалъ общество—«Бесѣду любителей рускаго слова», съ спеціальнымъ научно-литературнымъ органомъ *Чтенія въ Бесѣдѣ любителей рускаго слова*. Общество скоро получило оффиціальное значеніе, даже выше чѣмъ академія. Уже по составу членовъ—Державинъ, гр. Завадовскій, Мордвиновъ, гр. Разумовскій, Дмитріевъ, сенаторъ Захаровъ—бесѣда представляла нѣчто въ родѣ литературной палаты перовъ. А потомъ Шишковъ наканунѣ отечественной войны прочелъ здѣсь свое *Разсужденіе о любви къ отечеству*: оно быстро подвинуло государственную карьеру оратора.

По этимъ даннымъ можно судить, что собственно представляло изъ себя шишковистское движеніе. Это протестъ *всяческаго* старовѣрія и *всесторонней* реакціи или, по крайней мѣрѣ, *неограниченнаго* застоя противъ какого бы то ни было новаго вѣянія, преобразованія въ идеяхъ и въ жизни русскихъ людей.

Это—сплоченная организація традицій вообще противъ прогресса, и предъ ея *культурнымъ* и *политическимъ* смысломъ от-

ступаютъ на задній планъ всѣ чисто-филологическіе вопросы. Они только создали удобный предлогъ, безобидную почву для объединенія страстей и стремленій, часто не имѣвшихъ ничего общаго съ какимъ бы то ни было стилемъ и литературнымъ направленіемъ.

Карамзинъ, повидимому, понялъ фактъ съ самаго начала и повелъ себя идеально-дипломатически.

Шишковисты, конечно, мѣтили почти исключительно въ издателя *Вѣстника Европы*. Это было ясно рѣшительно для всѣхъ, и даже Дмитріевъ настаивалъ, чтобы Карамзинъ лично отвѣчалъ Шишкову.

Карамзинъ долго отговаривался, но, наконецъ, обѣщалъ удовлетворить настойчивость Дмитріева и назначилъ даже срокъ.

Въ двѣ недѣли сочиняется отвѣтъ, Карамзинъ привозитъ его къ Дмитріеву, начинаетъ читать и приводитъ въ восторгъ слушателя. Дмитріевъ вполнѣ доволенъ. Шишковъ получитъ отпоръ отъ самаго талантливаго и наиболѣе оскорбленнаго писателя.

Но по окончаніи чтенія Карамзинъ произноситъ такую рѣчь:

— Ну, вотъ видишь, я сдержалъ свое слово: я написалъ, исполнилъ твою волю. Теперь ты позволь мнѣ исполнить свою.

И съ этими словами авторъ бросаетъ рукопись въ каминъ...

Къ достоинству русской литературы нашлись сторонники новаго направленія, способные сочинить не менѣе талантливую защиту и иначе ею воспользоваться.

У Карамзина съ самаго начала было не мало послѣдователей и даже сотрудниковъ, въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Вся талантливая литературная молодежь ни минуты не могла колебаться между той и другой партіей. За Карамзина стояла публика, т. е. самая жизненная и вѣрная опора всякаго литературнаго развитія. И этимъ уже вопросъ былъ рѣшенъ.

Карамзинистамъ приходилось сѣять сѣмя на благодарную почву, но попутно, отстаивая новый слогъ, они съумѣли коснуться многихъ несравненно болѣе важныхъ и спорныхъ вопросовъ и рѣшить ихъ въ интересахъ художественнаго прогресса и національной свободы отечественной литературы.

XXXVII.

У шишковистовъ было столько комическаго и жалкаго, что ихъ личности и мысли немедленно представили богатую поживу для сатиры. Ее слѣдуетъ считать во главѣ карамзинистской оппо-

зиціи. Она достигала цѣли вѣрнѣе, чѣмъ самая талантливая критическая статья.

Ея талантливѣйшій представитель, Василій Пушкинъ, дядя геніальнаго поэта, своими «посланіями» производилъ настоящій эффектъ среди современныхъ читателей. Александръ Пушкинъ неоднократно упоминаетъ объ его войнѣ съ шишковистами, именуя «вкуса образцомъ», «защитникомъ вкуса».

И дѣйствительно, форма пушкинскихъ сатиръ въ высшей степени изящна, стихъ энергиченъ и содержателенъ. Поэтъ умѣетъ коснуться всѣхъ отрицательныхъ сторонъ шишковистской агитаціи и заклеймить ихъ бойкимъ, остроумнымъ словомъ.

Въ посланіи къ Жуковскому подвергнута осмѣянію манія Шишкова къ старозавѣтнымъ книгамъ. Авторъ ссылается на французскіе авторитеты—Буало, Паскаля, Боссюэ, но не въ классическомъ смыслѣ. Онъ заимствуетъ изъ чужого источника только подтвержденія своихъ здравыхъ воззрѣній на талантъ и просвѣщеніе. Ему нѣтъ дѣла до единствъ и иныхъ хитростей классицизма: онъ также прославляетъ Гомера, Софокла, Эврипида, Ювенала и Лафонтэна.

Рѣчь сатирика далеко не отличается сдержанностью. Для него старовѣры «безумцы», «соборъ безграмотныхъ славянъ», вождь ихъ именуется Балдусомъ и въ уста ему влагается такая рѣчь:

О братіе мои, зову на помощь васъ!
Ударимъ на него и первый буду азъ.
Кто намъ грамматикѣ совѣтуетъ учиться,
Во тьму кромѣшную, въ геенну погрузится;
И аще смѣетъ кто Карамзина хвалить,
Нашъ долгъ, о людіе! Злодѣя истребить.

Пушкинъ отдаетъ должное личной добротѣ Шишкова:

Аристъ душою добръ, но авторъ онъ дурной.

и не только дурной, но и вредный: идеи онъ стремится замѣнить словами и погасить просвѣщеніе.

Это значило бить въ самую больную язву шишковизма, и академикъ не замедлилъ отозваться въ академической рѣчи—прямо обвинилъ своихъ противниковъ въ невѣжествѣ и французскомъ безбожіи.

Обвиненія вызвали посланіе Пушкина къ Дашкову, еще болѣе рѣзкое, чѣмъ первое.

Что слышу я, Дашковъ? Какое ослѣпленье!
Какое лютое безумцевъ ополченье!

Кто тщится жизнь свою наукамъ посвящать,
Раскольниковъ-славянъ дерзаетъ уличать,
Кто пишетъ правильно и не варяжскимъ слогомъ—
Не любитъ русскихъ тотъ и виноватъ предъ Богомъ!

Авторъ указываетъ, что «благочестію ученость не вредитъ», что невѣжда не можетъ любить отечества, тотъ не патріотъ, кто «бѣдный мыслями печется о словахъ», и не разуменъ *старословъ*, скучный и бездарный, осуждающій на костеръ писателей за любовь къ словесности и наукамъ, за *абіе* и *аще*...

Оба посланія были изданы отдѣльно, но Пушкинъ не ограничился ими. По рукамъ въ спискахъ ходила поэма *Опасный сосѣдъ*, напечатанная потомъ заграницей. Въ поэмѣ нѣтъ ничего политическаго, но сатира на Шишкова вставлена въ очень игривое повѣствованіе. Остроуміе и здѣсь не измѣняетъ автору.

Онъ мчится съ сосѣдомъ, Буяновымъ, *на паръ*, и по этому поводу обращается къ Шишкову:

Позволь, Варяго-Россъ, угрюмый нашъ пѣвецъ,
Славянофиловъ кумъ, взять слово въ образецъ!
Досель, въ невѣжествѣ коснѣя, утопая,
Мы парой *двоицу* по-русски называя
Писали для того, чтобъ понимали насъ...
Ну, къ чорту умъ и вкусъ: пишите въ добрый часъ! *).

Александръ Пушкинъ былъ въ восторгѣ отъ поэмы; отсюда его обращеніе:

И ты замысловатый
Буянова пѣвецъ,
Въ картинахъ столь богатый
И вкуса образецъ...

Въ другой разъ поэтъ называетъ своего дядю Несторомъ *Арзамаса*.

Эти данныя знакомятъ насъ съ нѣкоторыми главными врагами шишковистовъ. Въ защиту карамзинскихъ идей возсталъ рядъ журналовъ: *Цвѣтникъ* въ лицѣ Дашкова, *Московскій Меркурій*—при издательствѣ Макарова, *Сѣверный Вѣстникъ*—въ лицѣ Дм. Языкова, *Пріятное и полезное препровожденіе времени*—подъ редакціей Подшивалова. Въ противовѣсъ шишковскому литературному обществу въ 1801 году въ Петербургѣ образовалось *Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ*. Общество, не въ примѣръ *Бесѣдѣ*, состояло изъ молодежи: украше-

*) Лейпцигское изданіе 1855 года.

ніемъ его являлись Дашковъ и Василій Пушкинъ. Въ 1815 году возникъ *Арзамасъ* съ участіемъ многихъ членовъ старѣйшаго общества.

Явилась, слѣдовательно, извѣстная организація, въ распоряженіи были періодическія изданія, и борьба закипѣла. Нашлось не мало подражателей Пушкина, шишкописты едва успѣвали читать одну сатиру за другой, во всевозможныхъ формахъ, отъ басни Измайлова до комедіи Дашкова. На ихъ сторонѣ не оказывалось равносильныхъ талантовъ. Они попытались было также основать журналъ *Другъ просвѣщенія* на слѣдующій годъ послѣ выхода книги Шишкова. Но, очевидно, несравненно было удобнѣе и безопаснѣе громить измѣнниковъ и безбожниковъ за священными стѣнами академіи или въ сановитой *Бесѣдѣ*, чѣмъ считаться съ противниками на глазахъ публики. Журналъ представлялъ какое-то богоугодное заведеніе для всего бездарнаго и комическаго. Приснопамятный гр. Хвостовъ, высмѣянный въ современной литературѣ едва ли не больше всѣхъ кунсткамерныхъ рѣдкостей шишковизма, шелъ во главѣ безцѣльнаго представленія. Это вполнѣ характеризуетъ и самый журналъ, и его положеніе въ публикѣ и литературѣ.

Нѣсколько серьезнѣе явился союзникъ въ лицѣ Сергѣя Глинки, издателя отчаянно-патріотическаго *Русскаго Вѣстника*. Его изданіе началось съ 1808 года исключительно ради «возбужденія народнаго духа» противъ французскаго завоевателя. Глинка предчувствовалъ появленіе Бонапарта въ Москвѣ и, долго «лелѣя сердце жизнью мечтательной», вздумалъ, наконецъ, путемъ журнала приготовить русское общество къ грядущему испытанію.

Русскій Вѣстникъ Глинки одно изъ самыхъ прекраснодушныхъ явленій добраго стараго времени, какой-то длящійся залпъ горячихъ чувствъ, пылкихъ рѣчей и, какъ водится, достаточная безпорядочность въ мысляхъ и доказательствахъ. О критикѣ здѣсь не могло быть и рѣчи. Идеи Шишкова восхвалялись, русская старина ставилась во главу угла міровой мудрости, Симеонъ Полоцкій и Костровъ именовались рядомъ съ Сократомъ и Гомеромъ, а дѣвица Волкова даже превозносилась сравнительно съ «гречанкою Сафо».

Все это дышало безусловной искренностью, но ровно на столько же обличало безсиліе по части логики, исторіи и весьма часто здраваго смысла.

Въ эпоху всеобщаго патріотическаго подъема духа и журналъ

Глинки сослужилъ свою службу, но только не на поприщѣ литературы и критики. Воейкову ничего не стоило убить всю эстетику пламеннаго патріота одной чертой. Она при всемъ шаржѣ недалеко отстояла отъ дѣйствительности, и легко представить, сколько нестерпимо-комическаго прибавлялъ Глинка въ шишковистскій фарсъ, и безъ того отлично обставленный по увеселительной части.

Во всемъ воейковскомъ сумасшедшемъ домѣ самые правдивые и самые остроумные стихи направлены противъ московскаго союзника грознаго адмирала.

Номеръ третій на лежанкѣ
Истый Глинка возсѣдитъ;
Передъ нимъ духъ русскій въ стклянкѣ
Не откупоренъ стоитъ.
Книга Кормчая отверзта,
А уста растворены,
Сложены десной два перста,
Очи вверхъ устремлены.
О Расинъ! откуда слава?
Я тебя дружка поймалъ!
Изъ россійскаго Стоглава
Ты Гоолію укралъ.
Чувствъ возвышенныхъ сіянье,
Выраженій красота,
Въ Андромахѣ подражанье
Погребенію кота!..

Сатирамъ на шишковистовъ не уступали и критическія статьи ихъ враговъ.

Цвѣтникъ находился въ рукахъ трехъ молодыхъ критиковъ— Дашкова, Беницкаго и Никольскаго. Послѣднихъ двухъ постигла ранняя смерть: Беницкій умеръ на 28 году, Никольскій на 25-мъ. Оба не только подавали надежды, но и успѣли оправдать ихъ. Беницкій обладалъ и беллетристическимъ талантомъ. Оба не пропускали уродливыхъ староверческихъ явленій литературы въ родѣ шишковистскихъ драмъ, романовъ г-жи Радклифъ и не щадили ни авторитетовъ, ни преданій. Пока это была частная, партизанская война, но смерть пресѣкла дальнѣйшее развитіе молодыхъ свободныхъ талантовъ.

Счастливѣе Дашковъ.

До сихъ поръ можно съ удовольствіемъ и пользой прочитать его статьи, для своего времени прямо блестящія по остроумію, логичности, полнотѣ свѣдѣній.

Полемику противъ Шишкова Дашковъ велъ въ *Цвѣтникѣ* въ 1810 году, два года спустя появился въ *Петербургскомъ Вѣстникѣ*, органѣ *Общества любителей словесности, наукъ и художествъ*. Дашковъ, первый изъ журналистовъ, во всемъ объемѣ понялъ значеніе литературной критики. По его мнѣнію, она «главная цѣль» періодическаго изданія, она необходимое руководство для молодыхъ писателей при неустановившейся еще русской словесности. Критикъ «долженъ всегда быть умѣренъ и безпристрастенъ, даже недостатки отмѣчать «съ прискорбіемъ и уваженіемъ» къ извѣстнымъ писателямъ, весьма осторожно пользоваться опаснымъ оружіемъ насмѣшки.

Замѣчательнѣйшую статью Дашкова: *О легчайшемъ способѣ возражать на критики* слѣдуетъ считать смертнымъ приговоромъ шишковизму. Авторъ съ изумительной силой и достоинствомъ оцѣнилъ пріемъ Шишкова сливать литературные вопросы съ политическимъ и нравственнымъ, жестоко высмѣялъ шишковское словопроизводство и, можно сказать, похоронилъ «старослова» во мнѣніи всѣхъ, сколько-нибудь сознательныхъ и безпристрастныхъ свидѣтелей спора.

Немалую услугу оказалъ новой литературѣ Макаровъ. Онъ восторженно изобразилъ значеніе Карамзина въ совершенствованіи стиля, объяснилъ, на основаніи исторіи, законъ развитія языка одновременно съ развитіемъ идей, доказалъ, что высокій слогъ заключается не въ словахъ, а въ содержаніи, въ мысляхъ и чувствахъ автора. Макаровъ впадалъ даже въ лиризмъ, устанавливая славу своего учителя, но сущность его взглядовъ до сихъ поръ справедлива.

«Пройдетъ время, когда и нынѣшній языкъ будетъ старъ: цвѣты слога вянутъ подобно всѣмъ другимъ цвѣтамъ. Въ утѣшеніе писателю остается, что умъ и чувствованія не теряютъ своихъ пріятностей и достигаютъ до самаго отдаленнаго потомства. Красавицы двадцать третьяго вѣка не станутъ, можетъ быть, искать могилы Лизы; но въ двадцать третьемъ вѣкѣ другъ словесности, любопытный знать того, кто за 400 лѣтъ прежде очистилъ, украсилъ нашъ языкъ, и оставилъ послѣ себя имя, любезное отечественнымъ благодарнымъ музамъ, другъ словесности, читая сочиненія Карамзина, всегда скажетъ: «Онъ имѣлъ душу; онъ имѣлъ сердце!».

Макаровъ ссылается на мнѣніе публики о заслугахъ Карамзина: «Онъ сдѣлалъ эпоху въ исторіи русскаго языка».

Это осталось приговоромъ и позднѣйшей критики: Бѣлинскій повторитъ тѣ же слова.

Но борьба съ шишковистами не только выяснила значеніе Карамзина-стилиста: она устремила мысль молодыхъ критиковъ дальше слога и языка. У защитниковъ автора *Бѣдной Лизы* подчасъ, будто невольно, срываются идеи, врядъ ли особенно пріятныя учителю и лестныя для его славы. Даже у Макарова звучитъ нѣкоторая скептическая нотка по поводу могилы *Бѣдной Лизы*. Но это—произведеніе вождя партіи, хотя и не участвующаго въ бою. Иначе отнесется тотъ же критикъ и его товарищи къ мелкимъ карамзинистамъ.

Они упорно будутъ отстаивать *новый языкъ*... Но ихъ изощренный критическій анализъ не удовлетворится грамматическими перестрѣлками,—они направитъ свою разрушительную силу, хотя на первое время и сдержанную, противъ *новаго содержанія* литературы, обязаннаго существованіемъ тому же преобразователю языка.

Еще не успѣла закончиться борьба съ классицизмомъ, начинаются вылазки противъ чувствительности. Онѣ пока минуютъ самого Карамзина, но онъ не можетъ не видѣть, что рѣшается участь его прямыхъ дѣтищъ и рано или поздно придетъ очередь и для его «души» и «сердца».

XXXVIII.

Шишковъ взялся не за свое дѣло, принявшись фанатически преслѣдовать карамзинскую реформу языка. Предпріятіе варягоросса имѣло бы больше смысла и успѣха, если бы онъ попробовалъ свое оружіе не противъ отдѣльныхъ словъ Карамзина, его изящной отдѣлки стиля, а противъ чувствительнаго манерничанья, часто каррикатурнаго у даровитаго учителя и совершенно нестерпимаго у бездарныхъ учениковъ.

Карамзинъ, напримѣръ, въ письмахъ къ друзьямъ постоянно смѣется надъ Клушинымъ, именуя его Коклюшинымъ, надъ русской вертерьядой подъ заглавіемъ *Несчастный М—въ*. Но сентиментализмъ Клушина и уродства россійскаго Вертера—продукты карамзинской школы. Карамзинъ посѣялъ на русской нивѣ чувствительность и соблазнилъ многихъ нищихъ духомъ и еще болѣе нищихъ талантомъ.

Перелистайте одно—два подобныхъ произведенія, и вамъ станетъ страшно за участь русскаго языка и даже русскаго здраваго смысла. Иногда самые заурядные авторы, отнюдь не кри-

тики, напримѣръ, нѣкій М. С., сочинитель *Россійскаго Вертера*, рѣшались сомнѣваться въ правдивости геснеровскихъ идиллій, считали простой уловкой риѳмотворцевъ воспѣваніе *ручекъ* и *овечекъ* и весьма остроумно разоблачали «стихотворческія басни». Такъ, напримѣръ, тотъ же М. С. рядомъ писалъ идиллію въ стилѣ *Бѣдной Лизы*: на сценѣ и пастушки, и васильки, и даже аленькія гвоздички, а соотвѣтствующая всему этому вздору реальная картина: «крестьянская баба въ лаптяхъ, которая неосторожно рѣзвилась съ большимъ мальчишкой».

Не лучше содержанія и стиль. «Слезы покатились по лицу его подобно бѣлому полотну», «Ангелъ невинности, слезы суть твоя пища»... Это стоило классической «ахинеи», возмущавшей Львова, и было вполнѣ законно ополчиться на нее.

Но недугъ шелъ глубже. Послѣ карамзинскаго путешествія въ русской литературѣ воцарилась повальная манія вояжировать по всѣмъ направленіямъ, начиная съ поѣздокъ на богомолье и въ Малороссію и кончая странствіемъ по комнатѣ.

И все это изображалось въ книгахъ и журналахъ, читатель могъ задохнуться отъ впечатлѣній неутомимыхъ путниковъ, въ дѣйствительности производившихъ всѣ чудеса въ своемъ воображеніи и въ своихъ кабинетахъ.

Столько матеріала, заслужившаго настоящей сатиры и безпощадной критики! Но шишковисты предпочли арену патріотизма и элоквенціи въ духѣ Тредьяковскаго. Изъ той же карамзинской школы вышли и противники ея явныхъ уродствъ.

Макаровъ достойно оцѣнилъ слезливость Шаликова, эту нервно-развинченную литературу «розоваго цвѣта», реторическую и безсодержательную. Въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ*, державшемъ сторону Карамзина, напечатана горячая статья противъ увлеченія французскими авторами чувствительнаго направленія.

Статья—предисловіе къ переводной критикѣ на романъ г-жи Сталь *Дельфина* *). Авторъ до глубины души возмущенъ подражательностью русскихъ: «Мы довольно походимъ на тѣхъ дикихъ народовъ, которые съ изступленіемъ смотрятъ на провозимые къ нимъ европейцами мелочные и весьма обыкновенные товары, какіе отъ сихъ дѣтей природы принимаются за самыя драгоцѣнныя вещи».

Величайшая язва, на взглядъ автора, *чувствительность*. Она до такой степени ослѣпляетъ дамъ, что онѣ даже не различаютъ неблагопристойности французскихъ книгъ, въ томъ числѣ *Дельфины*.

*) Отдѣльное изданіе—*Разсужденіе о Дельфинѣ*. Спб. 1803.

Еще любопытнѣе протестъ противъ сентиментализма въ *Журналѣ россійской словесности*, органѣ *Вольнаго общества любителей словесности, наукъ и художествъ*. Журналъ держался не особенно твердой политики въ спорѣ шишковистовъ съ карамзинистами, склонялся, пожалуй, скорѣе на сторону новыхъ стилистовъ, но относительно сентиментализма мнѣніе журнала совершенно опредѣленное.

Къ чувствительнымъ авторамъ обращалась такая рѣчь:

«Высокопарные педанты! Нѣжные селадоны! Какъ бы счастливы были читатели ваши, если бы, не паря подъ облаками, не напыщиваясь какъ Езопова лягушка, выходя на каѳедру для площадной морали, которой вы сами не слѣдуете, не проливая на каждой страницѣ чувствительныхъ слезъ, которыя возбуждаютъ смѣхъ въ читателяхъ, писали бы просто, но ясно!».

Критики журнала издѣвались надъ сумасбродствомъ чувствительныхъ воздыхателей, всюду отыскивавшихъ цвѣты и грацій. Издѣвательство не могло не задѣть первостепеннаго поклонника конфектныхъ волшебныхъ замковъ, и Карамзину, по справедливости, слѣдовало бы возстать на защиту сентиментализма.

Но онъ до конца предпочелъ хранить молчаніе и во что бы то ни стало избѣгать «непріятностей».

А между тѣмъ, въ журналистикѣ, враждебной слезоточивости россійскихъ Стерновъ, выставлялись на видъ не только художественныя уродства модной школы. Русская критика и здѣсь оставалась вѣрна своей основной стихіи—публицистикѣ. Сентиментализмъ терпѣлъ пораженіе, какъ источникъ *жизненной* лжи, какъ словесная призма, совершенно извращавшая дѣйствительность для нравственнаго чувства и умственнаго взора краснорѣчивыхъ кабинетныхъ путешественниковъ.

Особенно любопытенъ протестъ, вышедшій изъ бывшаго карамзинскаго журнала и пропущенный отнюдь не прогрессивнымъ и либеральнымъ редакторомъ, по крайней мѣрѣ, въ области литературной критики.

Вѣстникъ Европы послѣ Карамзина, т. е. съ 1804 года переходилъ въ разныя руки; одно время редактировался даже Жуковскимъ, по самой природѣ отнюдь не публицистомъ и даже не издателемъ.

Это немедленно и доказалъ кроткій пѣвецъ Свѣтланы.

Въ руководящей статьѣ романтикъ такъ опредѣлялъ политику и критику:

«Политика въ такой землѣ, гдѣ общее мнѣніе покорно дѣятельной власти правительства, не можетъ имѣть особой привлекательности для умовъ беззаботныхъ и миролюбивыхъ: она питаетъ одно любопытство, и въ такомъ только отношеніи журналистъ описываетъ новѣйшіе и самые важные случаи міра».

Надо понимать, вѣроятно, «анекдоты», столь близкіе сердцу Карамзина, и «осторожныя» выписки изъ англійскихъ газетъ.

О критикѣ Жуковскій судитъ также на карамзинскій ладъ, т. е. вполнѣ беззаботно на счетъ литературы и весьма заботливо касательно своего спокойствія.

«Критика, но, государи мои, какую пользу можетъ приносить въ Россіи критика? Что прикажете критиковать? Посредственные переводы посредственныхъ романовъ? Критика и роскошь—дочери богатства, а мы еще не крезы въ литературѣ».

По мнѣнію Жуковскаго, современные ему писатели даже не желали быть крезами. Не замѣтно дѣятельнаго, повсемѣстнаго усилія умовъ производить или пріобрѣтать, нѣтъ образцовъ, а самая тонкая критика ничто безъ образцовъ...

И это писалось человѣкомъ, наводнявшимъ литературу переводами, твердилось въ то время, когда царили Жанлисъ, Коцебу, Радклиффъ! И царству ихъ не предвидѣлось конца, разъ журналисты отказывались отъ критики и предоставляли публикѣ самой разбираться въ невѣроятномъ переводномъ хламѣ.

Жуковскій взывалъ: «дадимъ свободу раскрыться нашимъ геніямъ!..» Это означало: дождемся красотъ и тогда воскликнемъ по адресу читателя и автора: «восхищайся, подражай, будь остороженъ!»

Подъ такими идеями могъ бы подписаться самъ Шишковъ.

По поводу статьи московскаго профессора Мерзлякова о классической трагедіи, онъ взывалъ о развращеніи юношества и увѣрялъ, что «истинные таланты никогда не возникнутъ» при существованіи критики.

Правда, Жуковскій никогда не уличалъ своихъ противниковъ ни въ какихъ смертныхъ грѣхахъ, ему случалось даже мимоходомъ признавать пользу критики, но ничто не могло подвинуть его на борьбу и полемику. А безъ этихъ условій самыя благія намѣренія—тунеядный капиталъ.

Другой издатель *Вѣстника Европы*, Каченовскій, докторъ философіи и профессоръ изящныхъ искусствъ, впослѣдствіи ожесточенный врагъ *философскаго* движенія среди профессоровъ и сту-

дентовъ, обезсмертившій себя непримиримой ненавистью къ *поэзіи* Пушкина. Трудно было даже въ допотопныя времена русской науки оригинальнѣе оправдать ученую степень и высокое положеніе въ университетѣ!

Подвиги Каченовскаго въ журналистикѣ такого же полета. «Одобреніе начальства» для него стояло рядомъ съ «благосклонностью сускрибентовъ», въ дѣйствительности неизмѣримо выше. Потому что врядъ ли «сускрибенты» были особенно довольны, когда профессоръ, вмѣсто полемики, жаловался властямъ на Полевого, издателя *Московскаго Телеграфа*, человѣка, не въ достаточной степени проникнутаго почтеніемъ къ «заслуженнымъ» сторожамъ литературнаго и научнаго кладбища.

За всѣ эти дѣла журналу Каченовскаго пришлось умереть «смертью обыкновенною, по чину естества». Такъ выражался самъ профессоръ, можетъ быть, первый и послѣдній разъ достойно оцѣнивая свою философію и критику.

Но смерть произошла только въ 1830 году, а мы пока въ самомъ разцвѣтѣ дѣятельности Каченовскаго. Онъ горой стоитъ за классицизмъ. Сравнительно свободно обращаясь съ преданіями русскихъ лѣтописей, ученый не смѣетъ коснуться археологическихъ святынь расиновскаго наслѣдства. Онъ безпрестанно говоритъ о «правилахъ здраваго вкуса» и переполняетъ журналъ восторгами предъ послѣдними, въ конецъ измельчавшими птенцами сумароковской школы. Подъ его сѣнью начнется подвижничество Надеждина, разсчитанное на полное уничтоженіе Пушкина, какъ нигилиста, т. е. **нуля** въ русской поэзіи.

Вообще, біографія *Вѣстника Европы* вполнѣ благонамѣренна и нестерпимо солидна. Пожалуй, даже при Карамзинѣ журналъ былъ терпимѣе и, во всякомъ случаѣ, обладалъ болѣе развитымъ художественнымъ чутьемъ. И все-таки педантъ въ одномъ отношеніи оказался разсудительнѣе поэта.

Подъ редакціей Каченовскаго *Вѣстникъ Европы* напечаталъ одну изъ самыхъ основательныхъ отповѣдей русскому сентиментализму. Она, положительно остроумна, отнюдь не обличаетъ пера самого редактора, тѣмъ любопытнѣе добрая воля убѣжденнаго классика!

«Кто въ театрѣ смѣется надъ новыми Стернами», гласитъ статья, «тотъ уже вѣрно стыдится щеголять сентиментальностью и вѣрно уже напалъ, иль скоро нападетъ на хорошій вкусъ въ словесности. Чувствительность сердца есть, конечно, драгоцѣнный

даръ природы: но надобно, чтобы она была управляема здравымъ разумомъ, а здравый разумъ запрещаетъ безполезно таскаться по бѣлому свѣту, разнѣживаться при всякой обыкновенной вещи, болтать безпрестанно о лазурно-розовомъ небѣ и бальзамическомъ вліяніи, и единственно въ этомъ болтаніи показать все просвѣщеніе, а въ сентиментальныхъ путешествіяхъ, сказкахъ и романсахъ—весь кругъ изящной словесности. Если разсмотрѣть, откуда проистекаетъ и куда ведетъ сія приторная чувствительность, то вдругъ окажется, что источникомъ ея будетъ нерадивое воспитаніе и невѣжество, а слѣдствіемъ—изнѣженность сердца, неспособность къ отправленію должности въ общежитіи и несносная причудливость».

Это очень лестно и книга *Вѣстника Европы*, № 13-й 1812 г., гдѣ помѣщено столь рѣдкое для своего времени разумное разсужденіе, настоящій памятникъ здраваго смысла среди удручающей классической пустыни и идиллическихъ долинъ золотого вѣка.

Легко замѣтить, что протестъ противъ сентиментализма выходитъ особенно убѣдительнымъ не по эстетическимъ соображеніямъ критика, а благодаря его въ высшей степени цѣлесообразному указанію на нравственное и общественное растлѣніе подъ вліяніемъ злополучной школы. Даже для *Вѣстника Европы* сентиментализмъ существенная немощь на пути умственнаго развитія русскаго юношества и подрывъ жизненной энергіи

Другіе, болѣе послѣдовательные критики, эту сторону вопроса подчеркнули еще откровеннѣе и ярче. Изъ ихъ разсужденій прямо будетъ вытекать идея о *практическомъ* вредѣ сентиментализма, о полномъ контрастѣ русской жизни и стерновскихъ чувствъ.

Журналъ Россійской словесности, столь рѣзко заявившій себя противъ «высокопарныхъ педантовъ», не менѣе опредѣленно проводилъ демократическіе взгляды на положеніе крѣпостнаго народа. Новаго, по существу, ничего не проповѣдывалось, повторялось еще крыловское сравненіе барской роскоши и мужицкой нужды, тонкаго французскаго воспитанія и народныхъ лишеній. Но для насъ любопытно одновременное уничтоженіе литературной чувствительности и помѣщичьяго сословнаго эгоизма, художественной лжи и общественной неправды.

Журналъ напоминалъ просвѣщеннымъ читателямъ, что мужики отдаютъ часто послѣднее рубище на барскія прихоти, на французскія моды, на лакейскія ливреи. Вообще журналъ неустанно слѣдуетъ политикѣ *Зрителя*—приводить въ связь наносное фран-

цузское просвѣщеніе съ органическимъ отечественнымъ варварствомъ, и естественно, сентиментализмъ, какъ самый пышный и самый искусственный плодъ иноземной моды, попадаетъ на первый планъ именно въ гражданскихъ сатирахъ и проповѣдяхъ современниковъ.

Опять плохо приходилось не только слабымъ дѣтищамъ карамзинской школы, но и самому ея родителю.

Карамзинъ въ эпоху журнальнаго издательства, по своему понималъ народность и національность. Въ *Аглаѣ* онъ задумалъ напечатать богатырскую сказку объ Ильѣ Муромцѣ. Дальше его демократизмъ не простирался, но и здѣсь онъ принялъ самую пріятную форму.

Въ русской старинѣ Карамзинъ искалъ еще больше услады, чѣмъ можно найти въ нѣмецкихъ идилліяхъ.

Оказывается, до сихъ поръ издатель нѣжно-розоваго альманаха изнывалъ надъ прозаической истиной и тяжкой существенностью, только теперь онъ готовится облегчить свое изстрадавшееся сердце:

Ахъ! не все намъ горькой истиной
Мучить томныя сердца свои!
Ахъ, не все намъ рѣки слезныя
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!
На минуту позабудемся
Въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ

Илья Муромецъ остался неоконченнымъ. Очевидно, даже безпощадно разсыропленное народное преданіе не совсѣмъ пришлось по сердцу поклоннику Стерна!

XXXIX.

Непреодолимая наклонность всюду стараться высасывать одинъ медъ не покинетъ Карамзина и наканунѣ его приступа къ *Исторіи Государства Россійскаго*. Онъ многозначительно сообщаетъ читателямъ о своей любви къ русскимъ древностямъ, увѣряетъ, что ему «старая Русь извѣстна болѣе, нежели многимъ изъ согражданъ его...» Откуда же и какъ получилъ Карамзинъ свои свѣдѣнія?

Отвѣтъ слѣдующій:

«Я люблю сіи времена; люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнью давно истлѣвшихъ вязовъ искать брадатыхъ моихъ предковъ, бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа

русскаго, и съ нѣжностью цѣловать руки у моихъ прабабушекъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего почтеннаго правнука, не могутъ наговориться со мною».

Вотъ, слѣдовательно, источникъ историческихъ и бытовыхъ представленій Карамзина: воображеніе и фантастическія бесѣды съ прабабушками!

Мы должны вполнѣ серьезно понимать рѣчь будущаго исторіографа. Недаромъ онъ, намекая читателямъ *Московскаго журнала* на свою будущую государственную работу именовалъ свой «трудъ»— «памятникомъ души и сердца моего», хотя бы «для малочисленныхъ пріятелей».

Души и *сердца*, это не то, что *ума* и *критики*. И въ дѣйствительности *Исторія* окажется однимъ изъ художественныхъ и литературныхъ явленій опредѣленной школы.

Это—капитальнѣйшій фактъ въ судьбахъ русской критики.

Мы увидимъ, въ какомъ направленіи вдохновилъ Карамзинъ русскую критическую мысль своимъ «памятникомъ».

Все равно, какъ его послѣдователи быстро довели сентиментализмъ и международный маскарадъ нѣжности до послѣдняго предѣла смѣхотворности и безсмыслія и этимъ вызвали неизбѣжный протестъ здраваго смысла и здороваго чувства, такъ самъ Карамзинъ на своей ученой работѣ обнаружилъ съ особенной яркостью несостоятельность своего литературнаго направленія, и его *Исторія* формой и содержаніемъ нанесла такой ударъ реторикѣ и сентиментализму, какой не по силамъ былъ ни одному, самому искусному современному противнику карамзинистовъ.

Мы знаемъ, на чувствительность будто невольно поднимали руку консервативнѣйшіе журналы и благонамѣреннѣйшіе публицисты. Нѣкоторые изъ нихъ даже усиливались спасти классицизмъ, но россійская вертеровщина рѣшительно возмущала ихъ уравновѣшенную душу.

И они правы.

Въ сентиментализмъ, при всѣхъ его заслугахъ—освобожденія литературы отъ правилъ и этикета,—по самой его природѣ могло проникнуть больше лжи и неправдоподобія, чѣмъ въ бездарнѣйшую классическую трагедію.

Классицизмъ имѣлъ дѣло съ прошлымъ, съ исторіей, съ давно погибшими героями; его наслѣдникъ настойчиво врывался въ настоящее, въ дѣйствительную жизнь и подмѣнялъ для всѣхъ очевидную осязательную правду полетами воображенія.

Чтобы развѣнчать классицизмъ Дмитрія Донского, требуется все-таки нѣкоторая ученость и извѣстная вдумчивость въ логику и психологію. Но чтобы возстать на «несчастнаго М—ва» достаточно просто твердой памяти и разсудка.

Отсюда—совершенно необходимый публицистическій характеръ почти всей критики, направленной противъ сентиментализма. Онъ только усилится и углубится, когда предъ читателями явится *подлинная отечественная исторія*, изложенная въ духѣ сентиментализма. Контрастъ правды и искусства выйдетъ прямо ослѣпительнымъ, и у Карамзина окажутся самые неожиданные противники — ученые историки Каченовскій и даже Погодинъ, здѣсь же, одновременно съ знаменитыми статьями Арцыбашева въ его журналѣ заявляющій о своемъ преклоненіи предъ исторіографомъ.

Очевидно, трудъ Карамзина *стихійно* толкалъ ученыхъ и журналистовъ на протестъ и часто уничтожающія сомнѣнія.

Такимъ образомъ, независимо отъ какихъ бы то ни было преднамѣренныхъ нападокъ принципіальныхъ враговъ, сентиментализмъ долженъ былъ погибнуть: онъ самъ себѣ вырылъ могилу и самъ себѣ пропѣлъ отходную.

И этой отходной—по волѣ иронической судьбы—явилось самое талантливое и значительное произведеніе Карамзина.

Борьба, вызванная имъ, тянется нѣсколько лѣтъ. Она отнюдь не наполняетъ всецѣло журналистики и не поглощаетъ всей современной критической мысли.

Рядомъ возникаютъ и растутъ еще болѣе могучія и богатыя послѣдствіями теченія, чѣмъ война съ отживающими литературными школами.

Все до сихъ поръ изложенное развитіе русской критики—мирная и кроткая исторія не особенно сильныхъ и глубокихъ мыслей, сравнительно покойныхъ и довольно однообразныхъ чувствъ и настроеній.

Въ литературѣ нѣтъ великихъ творческихъ талантовъ, блестящихъ образцовъ, нѣтъ, слѣдовательно, самыхъ возбудительныхъ явленій для критической работы. *Въ обществѣ* отсутствуютъ искренніе, широкіе идейные интересы, въ громадномъ большинствѣ оно живетъ на старой, для него непогрѣшимой почвѣ, и самые отважные не рѣшаются порвать своихъ связей съ исторически, установившимися общественными гранями и сословными отношеніями.

Въ результатѣ литературная критика и публицистическая по-

лемика превращаются въ домашній споръ. Только ясновидцу Шишкову могутъ казаться опасными трогательныя упражненія карамзинистовъ и кроткія поползновенія другихъ писателей—думать не согласно съ нимъ, стражемъ Синопсиса. Тотъ же самый *Вѣстникъ Европы* Каченовскаго, очень свободно критиковавшій литераторовъ, защищаетъ вообще цензуру и противопоставляетъ ее «неистовымъ революціямъ». Очевидно, при такомъ строѣ мысли нечего было опасаться ни за развращеніе юношества, ни за гибель отечественныхъ талантовъ.

Это не значитъ, будто старая критика не принесла литературѣ существенной пользы.

Напротивъ. Она успѣла затронуть важнѣйшие вопросы искусства и даже дѣйствительности. Она—нравственное чувство для жизни и здравый смыслъ для искусства—возстала на классицизмъ за долго до Грибоѣдова, обнажила язвы чувствительности, когда еще и слуху не было о стихахъ и эпиграммахъ Пушкина, наконецъ, она касалась главнѣйшаго устоя россійско-европейской словесности и уродливаго экзотическаго «просвѣщенія»—крѣпостного права.

И мы видѣли, подчасъ сильно доставалось одинаково и комедіантамъ литературы, и деспотамъ жизни.

Но, при всѣхъ добрыхъ намѣреніяхъ критиковъ и публицистовъ, у нихъ не было необходимыхъ опоръ и единственно-надежныхъ условій успѣха: въ литературѣ—произведеній, сильныхъ одинаково и творчествомъ, и правдой, въ жизни—фактовъ и людей, отвѣчающихъ идеямъ. Приходилось жить *одной теоріей*, т. е. пребывать въ нѣкоторомъ туманѣ по части конечныхъ выводовъ и цѣлей критики, существовать почти исключительно *отрицаніемъ*. Для публики—самый неблагодарный путь къ уясненію новыхъ идеаловъ. Для нея необходима *наглядная иллюстрація* мысли, яркій опредѣленный *образъ*.

Онъ замѣнитъ собой самыя основательные логическіе доводы и приведетъ къ желанному выводу самыя тугія и упорныя головы.

Нѣтъ сомнѣнія, журнальная полемика о классицизмѣ и сентиментализмѣ длилась бы еще цѣлые годы, если бы на помощь критикамъ не явились художники и не освѣтили вдохновеніемъ и чувствомъ ихъ идеи.

Справедливо также, что общественная мысль долго еще совершала бы заколдованный кругъ въ предѣлахъ карамзинской

любвеобильной мечтательности и крыловской чисто-отрицатель. сатиры, если бы въ полемику не ворвались событія и рядомъ съ литераторами не стали дѣятели.

Все это, къ великому выигрышу русскаго прогресса, произошло одновременно, т. е. событія нашли достойныхъ участниковъ и истолкователей, явленія жизни вызвали вполнѣ соотвѣтствующій откликъ въ идеяхъ, и на завоеваніе новыхъ порядковъ и новыхъ вѣрованій пошли рядомъ геніальные художники и искренніе энергическіе идеалисты. Таланты быстро нашли свою публику, это неудивительно, но также и идеалисты не остались безъ учениковъ и послѣдователей.

Въ этомъ фактѣ основной культурный интересъ преобразовательнаго періода русской критики.

По главнѣйшимъ всепроникающимъ силамъ великаго прогрессивнаго движенія критической и общественной мысли, его можно точно опредѣлить наименованіемъ *національно-философскаго*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ одной французской комедіи прошлаго вѣка, направленной противъ современной модной философіи, изображается въ высшей степени эффектная и, по замыслу автора, ядовитая сцена.

Философы вольтеріянскаго и энциклопедическаго направленія держатъ совѣтъ, какъ вытѣснить отовсюду своихъ противниковъ и дѣлятъ между собой вселенную. Одинъ долженъ возмутить Петербургъ и его академію, другой отправитъ памфлетъ въ Италію, третій, одаренный исключительной храбростью, разошлетъ двадцать повѣстей по обоимъ полушаріямъ, предсѣдатель совѣта беретъ на себя Англію.

Сцена по смыслу вполнѣ соотвѣтствовала дѣйствительности. Французскіе просвѣтители дѣйствительно властвовали надъ просвѣщеннымъ міромъ и могли похвалиться самыми блестящими и въ то же время самыми покорными вѣрноподданными. Но, мы видимъ, еще въ самый разгаръ этой власти является протестъ, насмѣшка, хотя и не поражающая особеннымъ талантомъ, но преисполненная злости и одушевленная надеждой на близкій конецъ ненавистнаго деспотизма.

До революціи это только партія, проникнутая самыми разнообразными реакціонными чувствами—религіознымъ фанатизмомъ, политической косностью, духовнымъ мракобѣсіемъ. Со времени переворота картина мѣняется. Философія быстро теряетъ кредитъ даже у вчерашнихъ друзей и усердныхъ проповѣдниковъ, и противниками ея теперь можно считать едва ли не всѣхъ спасшихся и разочарованныхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, повидимому, банкротство полное!

Столько самонадѣянныхъ обѣщаній, такой азартъ критики и

разрушенія всего стараго, и въ результатѣ ужасы террора и тьма бонапартизма.

Некогда разбирать вопроса, дѣйствительно ли философія и критика виноваты въ кровавомъ движеніи революціи. Въ минуты запуганности, вообще сильныхъ нравственныхъ потрясеній логика у людей стремится принять самую упрощенную форму. Изслѣдованіе внутреннихъ, болѣе или менѣе глубокихъ причинъ данныхъ явленій требуетъ спокойствія и вдумчивости, легче рѣшить вопросъ на основаніи внѣшняго сопоставленія фактовъ. Что стоитъ рядомъ, что слѣдуетъ другъ за другомъ во времени, то и связано между собой причинностью.

Post hoc—ergo propter hoc, и въ результатѣ—Вольтеръ и его послѣдователи, эти искренніе монархисты и въ большинствѣ еще болѣе открытые враги матеріализма и безбожія, превращаются въ сочинителей-разбойниковъ, въ безудержныхъ отрицателей всего святаго, нравственаго и даже вообще духовной природы человѣка и принципіальныхъ основъ общественнаго порядка.

Нападенія начинаются очень рано, еще въ первый періодъ революціи. Во главѣ нападающихъ идутъ рядомъ малодушные отступники въ родѣ «незаконнаго сына философіи» Лагарпа, прирожденные враги просвѣтительной мысли—Деместръ и цѣлый рядъ пророковъ и софистовъ средневѣковой реставраціи. Къ нимъ присоединяются и несравненно болѣе благородные и искренніе искатели душевнаго мира и новой вѣры.

Не въ природѣ человѣческаго духа жить среди развалинъ и пустынь, вносить въ міръ сплошное отрицаніе и сомнѣніе, и всякій разъ непосредственно послѣ стремительнаго натиска на отжившіе идеалы жизни и мысли, у людей поднимается жгучая жажда построить новое зданіе хотя бы даже изъ стараго матеріала. А если этотъ матеріалъ оказывается безнадежно негоднымъ, наскоро изготовляется новый, часто призрачный и фантастическій, но дающій хотя бы временное удовлетвореніе неистребимымъ человѣческимъ вожделѣніямъ о гармоніи и положительной истинѣ.

И въ самой Франціи, только-что привѣтствовавшей Вольтера небывалыми восторгами, торжественно хоронившей его прахъ въ Пантеонѣ, поднимаются одинъ за другимъ безпощадные критики вольтеріянства и всего философскаго движенія, завѣщаннаго его эпохой.

Критики на первыхъ порахъ по существу продолжаютъ старое дѣло и ихъ голоса кажутся особенно внушительными и даже ори-

гинальными только потому, что теперь они звучатъ совершенно кстати и предъ ними такая же обширная и внимательная аудиторія, какая еще такъ недавно была у энциклопедистовъ.

Рядомъ съ философами вольтеровскаго толка во французской литературѣ еще до революціи дѣйствовали писатели совершенно другого нравственнаго склада, будто не французскаго національнаго типа. Талантливѣйшій изъ нихъ Руссо отъ современниковъ стяжалъ наименованіе *нѣмецкаго* автора.

И дѣйствительно, его можно поставить во главѣ оригинальной породы публицистовъ, писавшихъ на французскомъ языкѣ, но по происхожденію не принадлежавшихъ чистой французской расѣ.

Руссо—женевскій гражданинъ, Швейцаріи будутъ принадлежать также г-жа Сталь, Бенжамэнъ Констанъ. Всѣ они потомки гугенотовъ, въ разныя времена оставившихъ Францію, и всѣ они отличаются одной въ высшей степени яркой и важной чертой.

У нихъ не могло быть узкаго національнаго духа, галльскаго часто нетерпимаго идолопоклонства предъ исключительно національными сокровищами ума и искусства. Они несравненно доступнѣе культурнымъ вліяніямъ другихъ націй и весьма часто вносятъ во французскую литературу мотивы, чуждые самой сущности французскаго генія.

Руссо страстно возставалъ противъ холодной философской разсудочности энциклопедистовъ, противъ ихъ пренебреженія къ другимъ способностямъ человѣческой природы, менѣе опредѣленнымъ и, можетъ быть, менѣе философскимъ, но тѣмъ болѣе глубокимъ и естественнымъ.

Въ противовѣсъ логическому разсудку, онъ взывалъ къ міру безсознательныхъ влеченій человѣческаго сердца, къ «внутреннему свѣту» чувства и свободной игрѣ поэтически-настроеннаго воображенія. Въ порывѣ протеста эту игру Руссо готовъ довести до «необъяснимаго бреда» и предпочесть даже такія настроенія бездушному резонерству идолопоклонниковъ чистаго ума. Высшихъ истинъ, по мнѣнію философа, слѣдуетъ искать не путемъ резонерства, а при помощи чувства, вдохновеннаго мечтательнаго созерцанія, когда «умъ молчитъ, а сердцу ясно».

На этихъ основахъ Руссо пытался утвердить свою религію и нравственность. Открывая источникъ истинной человѣчности и благородства въ таинственной области инстинктивныхъ движеній чувствительной природы, Руссо не прочь былъ бросить какимъ-либо жесткимъ обвиненіемъ въ лицо безсердечнымъ эгоистич-

нымъ послѣдователямъ чистой логической мысли, всемогущаго, неизмѣнно яснаго и доказательнаго разума просвѣтителей.

Этотъ разумъ, истинное дѣтище французской расы, вызвалъ у нашего мечтателя столь же рѣшительное порицаніе, какъ и нравы современнаго парижскаго общества. Руссо съ совершенно одинаковыми чувствами отнесся и къ вольтеровской философіи, и къ аристократическому свѣту. Въ философѣ отъ начала до конца жилъ первостепенный сатирикъ своего времени, и какъ разъ съ оружіемъ, направленнымъ противъ основныхъ продуктовъ національнаго французскаго ума, вкуса и тона.

Соотечественники ни на шагъ не отстали отъ своего предшественника и учителя.

Констану въ молодости приходится переживать самый шумный періодъ парижскаго просвѣщенія. Онъ гость философскихъ салоновъ, близкій знакомый популярныхъ beaux esprits, самъ отличный говорунъ и интересный кавалеръ. Но, по настроенію и образу мысли, онъ человѣкъ другой планеты.

Онъ успѣлъ побывать въ англійскихъ университетахъ, познакомился съ германской философіей и усвоилъ несравненно болѣе сложный и разносторонній взглядъ на вещи, чѣмъ французско-энциклопедическій.

Для иного парижскаго философа достаточно одного, двухъ физіологическихъ открытій, чтобы разгадать всѣ тайны человѣческой природы, какой-нибудь остроумной гипотезы или просто фикціи, чтобы проникнуть въ основу политическихъ обществъ,— Констанъ во всѣхъ этихъ вещахъ находитъ бездну неразрѣшимыхъ или, во всякомъ случаѣ, крайне трудныхъ задачъ.

И здѣсь, какъ у Руссо, вопросъ о религіи стоитъ на первомъ мѣстѣ и создаетъ цѣлую пропасть между салонными мудрецами и «нѣмецкимъ студентомъ».

Лично Констанъ не питаетъ настоятельной склонности къ вѣрѣ и еще менѣе—къ религіозному культу. Но онъ крайне осторожно судитъ о происхожденіи религій, съ изумительнымъ терпѣніемъ допытывается общаго смысла въ каждой религіозной системѣ и считаетъ великой находкой, если ему удается проникнуть въ нравственную и общественную сущность того или другого культа...

Несоизмѣримая разница съ французскими мыслителями школы Гельвеція и Гольбаха! Для нихъ историческія религіи — сплошь результатъ хитроумія жрецовъ и легковѣрія народа, лишенный всякой почвы въ самой человѣческой природѣ.

Среди блестящаго, восторженно-беззаботнаго общества конца просвѣтительнаго вѣка Констанъ проходитъ задумчивымъ, нерѣшительнымъ и для него самого съ не вполнѣ яснымъ безпокойствомъ неудовлетвореннаго ума и сердца.

Сердца, кажется, еще болѣе, чѣмъ ума.

Изъ близкаго ежедневнаго вращенія въ парижскомъ обществѣ Констанъ выноситъ столь же безотрадныя впечатлѣнія, какъ и Сенъ-Прэ. Его критика даже суровѣе, чѣмъ сарказмы героя Руссо, потому что касается самыхъ основъ французскаго характера и французской цивилизаціи. Это—приговоръ не одной какой-либо скоропреходящей эпохѣ, а психологическому и культурному типу.

Преобладающія черты французскаго характера — фатовство и реторика, стремленіе къ театральнымъ эффектамъ, удручающая узость идей, трусливость и, слѣдовательно, ограниченность идейнаго міросозерцанія.

По глубокому убѣжденію Констана, французы—нація, менѣе всего способная къ воспріятію новыхъ идей, а если они и мирятся съ этими идеями, непремѣнно подъ условіемъ не подвергать ихъ разбору и критикѣ.

Спорить съ французомъ совершенно безцѣльно. Во-первыхъ, французъ считаетъ своимъ долгомъ говорить обо всемъ, даже чего вовсе не понимаетъ и не знаетъ. А потомъ всякія доказательства разбиваются о разъ усвоенныя французомъ понятія. Это справедливо одинаково о людяхъ свѣта и литературы.

Гдѣ же противоположный полюсъ? Какую націю можно сравнить съ французами, чтобы представить образецъ серьезности въ идеяхъ и солидности въ практическихъ отношеніяхъ?

Нѣмцевъ,—отвѣтитъ Констанъ.

Ихъ нашъ наблюдатель знаетъ по многочисленнымъ личнымъ знакомствамъ. Онъ много разъ бесѣдовалъ съ нѣмецкими философами и просто образованными нѣмцами: впечатлѣнія остались самыя лестныя.

У нѣмцевъ, сравнительно съ французами, и идей гораздо больше, и добросовѣстности въ спорахъ, и оригинальности въ воззрѣніяхъ, если только умный нѣмецъ не порабощенъ какой-либо одной философской системой.

Констанъ признается, сколько онъ пользы вынесъ изъ бесѣдъ съ нѣмецкими учеными и какое горькое разочарованіе и даже раздраженіе овладѣвало имъ послѣ необыкновенно смѣлыхъ и бойкихъ французскихъ упражненій въ краснорѣчіи. Констанъ прямо готовъ

бѣжать изъ страны, гдѣ «все заключается въ притязательныхъ и преувеличенныхъ фразахъ того или другого направленія». Захолустный Веймаръ кажется ему истинными Аѳинами достойной мысли и прочныхъ убѣжденій.

Не менѣе рѣзки отзывы и о самой прославленной силѣ французскаго просвѣщенія—«умныхъ дамахъ». Для него эта порода своего рода *безтолковое метаніе въ пространствѣ—des femmes d'esprit c'est du mouvement sans but.* Послѣ пребыванія во французскомъ обществѣ одиночество кажется блаженнѣйшимъ на землѣ состояніемъ.

Третій авторъ, родомъ изъ гельветической республики,—г-жа Сталь, выросшая на идеяхъ Руссо, связанная съ Констаномъ тѣсными сердечными узами, пошла еще дальше въ критикѣ французскаго ума и генія.

Констанъ только мимоходомъ, хотя и вполнѣ опредѣленно, указалъ на нѣмцевъ, какъ на положительный противовѣсъ французскимъ несовершенствамъ. Сталь создала изъ этого сравненія цѣлую обширную систему, воспользовалась нѣмцами для самыхъ разнообразныхъ цѣлей—нравственной и философской проповѣди, литературной критики и политической оппозиціи. Она въ началѣ XIX-го вѣка повторила роль Тацита, когда-то громившаго римскіе пороки доблестями германцевъ.

Въ предпріятіи Сталь для насъ сравнительно второстепенные вопросы—ея враждебныя чувства къ наполеоновской власти. Мы должны остановить наше вниманіе на тѣхъ мотивахъ германской эпопеи французской писательницы, какіе имѣли въ виду не временную политическую форму, а вѣковыя явленія національной мысли и творчества французовъ.

Но и здѣсь находимъ существенную разницу въ смѣлости и оригинальности идей. Въ литературномъ отношеніи у Сталь были предшественники еще въ половинѣ XVIII-го вѣка. На нѣмецкую поэзію указывалъ Мерсье, одновременно съ восторженными выхваленіями шекспировскаго таланта. На французскомъ языкѣ являлись произведенія нѣмецкой музы, повидимому, менѣе всего соотвѣтствовавшія французскому духу, *Мессіада* Клопштока, *Идилліи* Гесснера, *Басни* Лессинга. Переводились, передѣлывались и давались на сценѣ пьесы даже второстепенныхъ нѣмецкихъ драматурговъ въ родѣ Шлегеля. *Вертеръ* имѣлъ очень обширную публику, не остались безъизвѣстными въ Парижѣ Шиллеръ и Лессингъ, какъ авторы драмъ.

Все это отрывочные факты, но смыслъ ихъ любопытенъ. Задолго

до революціи французская литература уже тосковала о зарейнскомъ искусствѣ, и Сталь въ этой области явилась прямой наслѣдницей старыхъ критиковъ и драматурговъ.

Иначе стоялъ вопросъ относительно *философіи*.

Проникнуть сюда было несравненно труднѣе даже для самыхъ отважныхъ поклонниковъ германской поэзіи. Даже самая простая система нѣмецкой метафизики—нѣчто недосягаемое для обыкновеннаго французскаго ума, воспитаннаго на увлекательно-прозрачной философіи Вольтера и Кондильяка. А между тѣмъ, именно въ этой безднѣ тумановъ и заключались настоящія національныя сокровища германскаго генія.

Это чувствовалъ Констанъ и число такихъ людей увеличивалось постепенно съ эпохи революціи. Неудовлетворенность разсудочнымъ эмпиризмомъ естественно приводила къ міросозерцанію, основанному на принципахъ чистаго разума, разочарованіе въ матеріалистическихъ системахъ вызывало жажду идеализма, и нѣмецкіе философы какъ разъ шли на встрѣчу этимъ исторически-необходимымъ и нравственно-мучительнымъ запросамъ вчерашнихъ признанныхъ наставниковъ всего міра.

Въ самомъ началѣ столѣтія, въ 1804 году, въ Парижѣ основывается журналъ *Archives littéraires de l'Europe*, съ цѣлью установить литературную и философскую связь между Франціей и Европой.

Подъ Европой разумѣлась преимущественно Германія. Журналъ помѣщалъ горячія статьи во славу германской учености, поэзіи и особенно философіи.

Ея высшей заслугой признавалось обсужденіе высшихъ идеальныхъ вопросовъ человѣчества, и этимъ самымъ наносился ударъ отечественному легкому философствованію [1]).

Журналъ просуществовалъ всего три года и былъ закрытъ наполеоновскимъ правительствомъ. Но столь краснорѣчивое умственное движеніе нельзя было подавить никакой внѣшней властью. Скоро Бонапарту пришлось воздвигнуть цѣлое гоненіе на книгу такого же направленія, несравненно болѣе энергичную и искусно написанную. Что въ журналѣ разбрасывалось по разнымъ статьямъ и доказывалось далеко не всегда съ одинаковымъ талантомъ, то въ книгѣ явилось будто снопомъ блестящихъ идей и фактовъ.

[1]) Virgil Rossel. *Histoire des relations littéraires entre la France et l'Allemagne*. Paris 1897. p. 151.

Гоненіе могло только поднять значеніе книги и расширить ея популярность.

II.

Французы до сихъ поръ не могутъ вполнѣ спокойно говорить о сочиненіи Сталь, посвященномъ Германіи. Всякій критикъ и историкъ непремѣнно съ особенной тщательностью подчеркнетъ исключительныя настроенія, руководившія писательницей, и ея односторонній идеалистическій взглядъ на Германію и нѣмецкій національный характеръ. Сталь воображала сплошную идиллію тамъ, гдѣ впослѣдствіи народился Бисмаркъ и всякія другія сопутствующія обстоятельства... Это возмущаетъ французское сердце.

Намъ нѣтъ дѣла до гражданскаго гнѣва современныхъ цѣнителей книги, никакія чувства не могутъ подорвать ея великаго историческаго культурнаго значенія.

Оно велико не только для французовъ и нѣмцевъ—націй, ближе всего заинтересованныхъ. Оно также фактъ для русской литературы и для умственнаго развитія одного изъ значительнѣйшихъ поколѣній русскихъ дѣятелей.

Сталь долго оставалась авторитетомъ для русскихъ критиковъ французской философіи. Отдѣльныя главы ея книги переводились въ лучшихъ русскихъ журналахъ [2]), и наши романтики и философы отчасти французскимъ путемъ пришли къ отрицанію французскаго матеріализма и французскаго искусства. Въ разсужденіяхъ первыхъ русскихъ шеллингіанцевъ безпрестанно звучатъ отголоски остроумныхъ наблюденій писательницы надъ нѣмецкой культурой и ея достоинствами сравнительно съ французскимъ поверхностнымъ *esprit*. И когда русскіе критики указывали на владычество германскихъ музъ во французской литературѣ, они могли сослаться прежде всего на примѣръ Сталь.

Ничего, конечно, не могло быть убѣдительнѣе подобной ссылки: нѣмецкая мысль, несомнѣнно, имѣла всѣ права на интересъ русскихъ, разъ ей подчинялись сами французы [3]).

Сталь, дѣйствительно, изумительно ярко освѣтила особенности германской философіи, какъ разъ соотвѣтствовавшія настроенію

[2]) Напримѣръ, въ *Мнемозинѣ* статья о Кантѣ. Ср. Колюпановъ *Біографія А. И. Кошелева*. Москва 1889. I. 440.

[3]) Кн. Вяземскій въ статьѣ о *Бахчисарайскомъ фонтанѣ*—Пушкина.

европейскаго общества послѣ революціи и французскаго философскаго господства.

Писательница подвергла критикѣ міросозерцаніе, особенно распространенное Франціей XVIII-го вѣка. Матеріализмъ нанесъ великій вредъ не только уму и нравственности, но самому характеру французовъ. Онъ поставилъ дѣятельность человѣка въ исключительную зависимость отъ внѣшняго міра, поработилъ его природу впечатлѣніямъ и обстоятельствамъ, и подорвалъ всякій интересъ къ духовному міру, изъялъ изъ обращенія какъ разъ глубочайшіе вопросы психологіи и нравственности.

Убѣдите человѣка, что его душа—нѣчто пассивное, необходимое созданіе не зависящихъ отъ нея силъ, ничто иное, какъ результатъ ощущеній удовольствія или страданія,—вы до послѣдней степени съузите кругъ умственной энергіи и философскихъ интересовъ.

Напротивъ, выдвиньте на первый планъ *нравственную природу* человѣка, докажите ея свободную самодѣятельность, необходимость—въ цѣляхъ познанія истины—изслѣдовать *ея* законы и *ея* силы, вы сосредоточите наше вниманіе прежде всего на идеяхъ, на душѣ, на разумѣ и особомъ мірѣ явленій, совершенно недоступныхъ и невѣдомыхъ матеріалистическому философу.

Въ результатѣ, среди французовъ развился и утвердился особый родъ *насмѣшливаго скептицизма*, пренебреженіе ко всему, что требуетъ особыхъ умственныхъ усилій. Для нихъ метафизика, вообще отвлеченная философія звучитъ необыкновенно забавно, въ родѣ чудовищной фамиліи нѣмецкаго барона изъ романа Вольтера *Кандидъ*.

Французская публика вполнѣ напоминаетъ анекдотическаго принца, требовавшаго спеціально для себя легкаго пути къ изученію математики. Она—тоже своего рода царственная публика—немедленно поднимаетъ на смѣхъ или презрительно отталкиваетъ все недоступное первому взгляду, не похожее на газетную статью.

Для нея ненавистна мысль—*подумать* или *изслѣдовать глубину сердца*, чтобы понять идею, художественный образъ.

Сталь, какъ истинная ученица Руссо, обрушивается на Вольтера, главнѣйшаго, по ея мнѣнію, виновника столь печальныхъ фактовъ. Ее особенно возмущаетъ *Кандидъ*, переполненный «адской веселостью», «сардоническимъ смѣхомъ», всѣмъ, что «представляетъ человѣческую природу съ самой плачевной стороны».

Вольтеръ попалъ подъ гнѣвъ писательницы, какъ жертва ис-

купленія. Она сама не можетъ не признать благороднѣйшихъ чувствъ и мыслей, вдохновляющихъ его трагедіи. Она могла бы также сослаться и на біографію писателя; здѣсь многіе эпизоды—особенно касательно практической гуманности—убѣдительнѣе всякихъ драмъ и романовъ.

Сардоническій смѣхъ Вольтера являлся не столько плодомъ насмѣшливаго отрицанія, сколько горькаго пессимистическаго чувства при видѣ безконечныхъ многообразныхъ бѣдствій человѣчества и многихъ, дѣйствительно презрѣнныхъ свойствъ человѣческой природы.

Для насъ любопытно, что Вольтеръ въ изображеніи Сталь долженъ былъ встрѣтить полное сочувствіе у русскихъ противниковъ французской философіи. Наши вольтеріанцы оказали единственную въ исторіи медвѣжью услугу своему учителю,—разславили его философію именно въ смыслѣ грубѣйшаго матеріализма и тупого нравственнаго безразличія къ добру и злу, къ мысли и чувству.

Новымъ русскимъ философамъ естественно приходилось вести борьбу съ первоисточникомъ отечественнаго развращенія, и Сталь только могла ободрить ихъ своей рѣшительностью.

Но сущность ея разсужденій не въ частныхъ примѣрахъ, а въ общей характеристикѣ культурнаго состоянія французскаго общества и въ указаніи путей къ спасенію.

Матеріализмъ одинаково извратилъ нравственность, понизилъ умственную жизнь и обезплодилъ литературу и философію. Онъ изуродовалъ человѣческую природу и заградилъ живые источники идейнаго и творческаго совершенствованія.

Надо возстановить полноту и цѣльность воззрѣній на человѣческую природу, возвысить нравственное достоинство человѣческаго бытія, и удовлетворить нашей естественной жаждѣ идеала и гармоніи.

Именно естественной.

«Сила ума,—говоритъ Сталь,—никогда не можетъ долго оставаться отрицательной, ограничиваться невѣріемъ, непониманіемъ, презрѣніемъ. Нужна философія вѣры, энтузіазма, философія, подтверждающая путемъ разума откровенія чувства» [1]).

Права энтузіазма Сталь защищала въ особой книгѣ *О литературѣ*, защищала въ интересахъ поэзіи, не существующей безъ

[1]) *De l'Allemagne.* Troisième partie, chapitre VI. Kant.

свободнаго вдохновенія, безъ лирическихъ волненій сердца. Все это въ изобиліи оказывалось у нѣмецкихъ поэтовъ, и Сталь рѣшилась разъяснить французскимъ читателямъ даже *Фауста*, какъ великое созданіе нѣмецкаго генія.

Теперь она пытается раскрыть тайны нѣмецкой философіи, толкуетъ объ этомъ предметѣ вообще, особенное вниманіе посвящаетъ Канту, не пропускаетъ его послѣдователей и противниковъ.

Никто, конечно, въ настоящее время не станетъ въ книгѣ Сталь искать поучительныхъ свѣдѣній о германскихъ философахъ; дѣло ограничивается изложеніемъ выводовъ различныхъ системъ и даже пространный разговоръ о Кантѣ—ученическій пересказъ очень сложнаго и труднаго предмета. Но ради даже такого предпріятія писательница принуждена напомнить своей публикѣ о предстоящихъ трудностяхъ и объ особенномъ вниманіи, обыкновенно не свойственномъ французскимъ читателямъ, разсказать даже для поощренія анекдотъ о привередливомъ и легкомысленномъ принцѣ.

Во всякомъ случаѣ, объясненія Сталь являлись откровеніемъ не только для парижанъ; ея работа проникнута искреннимъ интересомъ къ предмету, и часто это чувство подсказываетъ писательницѣ въ высшей степени замѣчательныя критическія соображенія. Это чисто сердечное, почти поэтическое проникновеніе въ сущность дорогого вопроса.

Такъ, напримѣръ, Сталь сравниваетъ Канта съ нѣкоторыми позднѣйшими философами. Кантъ не указалъ единаго принципа, охватывающаго въ себѣ міръ духовный и матеріальный и помирился съ ихъ взаимодѣйствіемъ. Многихъ не удовлетворило это раздвоеніе, и они сочли необходимостью продолжить систему Канта и свести идеи и явленія къ цѣльному и единому.

Сталь не считаетъ подобныхъ усилій фактомъ философскаго прогресса. Все равно, какой бы принципъ ни признать объединяющимъ—духовный или матеріальный—онъ не дѣлаетъ міръ понятнѣе. По мнѣнію Сталь, такое воззрѣніе даже противорѣчитъ нашему непосредственному чувству, признающему міръ физическій и нравственный—двумя разными мірами.

Можно спорить, что̀ именно подсказываетъ намъ наше чувство и слѣдуетъ ли полагаться на его внушенія въ вопросахъ философіи, но несомнѣнно одно: поиски абсолюта, наравнѣ съ нѣкоторыми плодотворными вліяніями, привели философовъ къ безусловно отрицательнымъ результатамъ, по существу враждебнымъ

строгой критической философіи Канта. Мы убѣдимся въ этомъ неоднократно.

Но именно стремленіе къ единому принципу являлось необходимымъ, прежде всего *исторически*.

Если дѣйствительно человѣчеству послѣ революціи требовалась философія вѣры, такую философію не могла дать чистая критика.

Она по существу продолжала дѣло разрушенія и, слѣдовательно, не вела къ всеобъемлющему единственно успокоительному идеалу.

Кантъ опредѣлилъ границы человѣческаго разума, разграничилъ, слѣдовательно, міръ познаваемаго отъ невѣдомаго. Но не этого искали наслѣдники энциклопедистовъ. Они и отъ своихъ учителей и старшихъ современниковъ достаточно слышали о недоступности истины всѣхъ истинъ. Эта увѣренность и привела многихъ къ рѣшительному отрицанію вообще подобной истины.

Что не познаваемо нашимъ умомъ, того и не существуетъ; отсюда меньше шага до матеріализма и насмѣшливаго скептицизма, столь возмущавшаго Сталь.

Очевидно, во имя спасенія новыхъ высшихъ задачъ человѣческаго духа, требовалось открытіе высшаго принципа мірозданія, философскій символъ вѣры, логическая система, удовлетворяющая нравственно-религіозному настроенію общества.

Это стремленіе къ единству отнюдь не исключительная черта пореволюціонной эпохи. Оно обнаруживалось всегда и вездѣ, лишь только человѣчеству предстояло создать новыя положительныя основы личной и общественной жизни.

Въ теченіе того-же столь безпощадно-отрицательнаго XVIII-го вѣка идея единства не умирала вплоть до революціи. Не всѣ философы наслаждались только разрушеніемъ существующаго и общепризнаннаго,—рядомъ шли попытки новыхъ сооруженій въ политикѣ, въ религіи, даже въ наукѣ. Такія понятія, какъ *естественное состояніе, прирожденныя права человѣка, внутренній свѣтъ*—ничто иное, какъ формы абсолюта. Онѣ въ высшей степени произвольны, искусственны и неопредѣленны, но, мы знаемъ,—ихъ практическое дѣйствіе на современниковъ ничѣмъ не уступало позднѣйшимъ философскимъ принципамъ.

Революція поставила было себѣ задачу не только разметать полуразвалившееся зданіе стараго порядка, но и воздвигнуть новое святилище свободы, братства и равенства.

На помощь были призваны самые строгіе *принципы единства*,

т. е. въ основу грядущаго общества и государства были положены чистѣйшія метафизическія понятія, и на первомъ мѣстѣ— понятіе человѣка какъ такого, какъ непосредственнаго продукта совершенной природы.

Задача оказалась невыполнимой, но неудача дискредитировала только опредѣленные принципы и философскія понятія, а не вообще принципіальность и философію.

Въ самый разгаръ революціонной бури у нѣкоторыхъ очевидцевъ совершался оригинальный умственный процессъ, ведшій къ новымъ единствамъ и грозные опыты революціи не только не мѣшали этому процессу, но будто давали ему новую пищу и подсказывали выводы.

III.

Сталь въ своей негодующей картинѣ французской философіи представила далеко не полную перспективу современнаго развитія французскихъ идей. Она ни единымъ словомъ не коснулась теченія, совершенно противоположнаго вольтеріанству, едва замѣтнаго до революціи, но чреватаго шумнымъ и продолжительнымъ будущимъ.

Въ исторіи человѣчества нѣтъ безусловно одноцвѣтныхъ эпохъ— можно отмѣтить только *преобладающія* настроенія и нельзя всѣ идеалы свести къ одной всеобъемлющей системѣ.

Вѣкъ энциклопедіи по преимуществу, но не исключительно— критическій. Даже у самого главы «философской церкви» Вольтера всю жизнь не иссякали стремленія, совершенно другого характера, чѣмъ его ожесточенная борьба съ католичествомъ. Именно Вольтеръ высказалъ восторженный отзывъ о религіи савойскаго викарія и отлично понималъ неудовлетворительность какой бы то ни было чисто-отрицательной философской системы.

Отсюда попытки Вольтера во что бы то ни стало создать нѣчто въ родѣ религіозныхъ представленій. Трудно давалась подобная работа мефистофелю всякихъ догматовъ, но отдѣлаться отъ нея совершенно, очевидно, не было силъ и воли даже у вольтеровской «адской веселости».

Разсудкомъ не создаются религіи, и Вольтеру менѣе всего къ лицу являться «патріархомъ» какой-бы то ни было церкви, кромѣ философской. Но, очевидно, вопросъ представлялъ великій жизненный смыслъ, если рѣшать его брался подобный человѣкъ. А это означало неизбѣжность другихъ попытокъ, и болѣе счастливыхъ

все зависѣло отъ личной приспособленности проповѣдника къ своему дѣлу. Сѣмена ожидались безусловно благодарной почвой.

Мы говоримъ не о пережиткахъ католичества, не о безплодныхъ усиліяхъ спасти вѣру отцовъ въ ея дѣвственной чистотѣ и силѣ. Даже и послѣ революціи Римъ напрасно будетъ поднимать голову, вооружаться такими блестящими защитниками, какъ Деместръ или Ламеннэ. Дѣло само себѣ произнесетъ приговоръ въ тотъ самый часъ, когда даровитѣйшій изъ рыцарей папства—Ламеннэ—торжественно отречется отъ него и направитъ весь свой талантъ на своего вчерашняго вдохновителя.

Нѣтъ. Никакіе перевороты и бѣдствія не могли помочь средневѣковому католичеству оправиться послѣ ударовъ Вольтера и энциклопедіи. Слуги Рима могли и до сихъ поръ еще могутъ сколько угодно отводить душу въ тщательномъ развѣнчиваніи личности Вольтера, въ укоризнахъ его писательской сварливости и тщеславію, легкомысленному всезнайству, разсчитанной льстивости предъ знатными и сильными,—все это не возстановитъ кредита ни инквизиціи, ни іезуитовъ, ни всего прочаго шарлатанства и варварства римской церкви, и не притупитъ стрѣлъ *Кандида* и *Философскаго словаря*.

И не даромъ тотъ же Деместръ всю жизнь оставался усерднымъ читателемъ вольтеровскихъ произведеній, ища у него таланта и искусства для борьбы противъ него же самого.

При такихъ условіяхъ не могли имѣть серьезнаго культурнаго значенія чисто-реакціонныя католическія вожделѣнія.

Раскройте книги Деместра и Бональда, на каждой страницѣ будутъ подвергаться жестокой пыткѣ или ваше нравственное чувство, или человѣческое достоинство и простой здравый смыслъ.

У одного вы прочтете доказательства, что міръ осужденъ на вѣчное кровопролитіе, на повальное страданіе—виновныхъ—за свои преступленія, невинныхъ—за чужіе грѣхи, что, наконецъ, палачъ—краеугольный камень общественнаго порядка.

И это вполнѣ послѣдовательно.

Чтобы подчинить человѣчество неограниченной и непогрѣшимой власти римскаго престола и *Index*'а, надо предварительно отнять у людей нравственное и естественное право самостоятельной мысли, а для этого логически слѣдуетъ дискредитировать самую природу и самыя способности человѣка.

Тѣмъ же путемъ шелъ и Бональдъ: въ лицѣ его Деместръ привѣтствовалъ свое второе *я*. Но здѣсь движеніе оказалось еще эффектнѣе.

Во имя священныхъ принциповъ пришлось отрицать шагъ за шагомъ не только науку, философію, но даже техническія открытія—въ родѣ телеграфа—подвергать проклятію. Каковы же могли быть принципы и какое будущее имъ предстояло, если они не уживались съ самыми естественными, ничѣмъ не отвратимыми результатами научной и умственной дѣятельности даже своихъ современниковъ!

Очевидно, не на сторонѣ новыхъ католиковъ было рѣшеніе великаго вопроса о вѣрѣ, объ единомъ идеальномъ принципѣ, какъ вообще никогда и нигдѣ никакая реакція не излѣчивала недуговъ своего времени и не давала прочнаго, искренняго, нравственнаго утѣшенія ни отдѣльнымъ личностямъ, ни всему обществу.

Живое теченіе пробивалось вдали отъ софистовъ и мракобѣсовъ, тщательно оберегая свой путь отъ гнилого дыханія электризуемаго трупа. Здѣсь задача предстояла неизмѣримо болѣе трудная, чѣмъ даже защита римскихъ догматовъ вольтеріанскимъ методомъ. Человѣческій умъ, по своей природѣ конечный и скептическій, не могъ собственными силами построить вѣчное зданіе положительнаго идеала. Примѣръ Вольтера навсегда остался убѣдительнымъ, независимо отъ какихъ бы то ни было теоретическихъ соображеній.

Предстоялъ единственный выходъ, указанный Руссо,—*внутренній голосъ*. Онъ не связанъ ни логикой, ни фактами. Это—состояніе поэтическаго восторга, безотчетное и стихійное. Это не объясненіе и доказательство тайнъ, а откровеніе и ясновидѣніе. Восторгъ можетъ перейти въ «необъяснимый бредъ»; опредѣленіе дано самимъ Руссо, часто лично испытывавшимъ этотъ переходъ. Человѣкъ можетъ не *понимать* образовъ своего *внутренняго свѣта*, но съ тѣмъ болѣе напряженнымъ интересомъ онъ готовъ *созерцать*. Отсюда преобладающая, часто исключительная роль безсознательнаго, поэтическаго и таинственнаго въ ущербъ разсудку, фактическому знанію и даже здравому смыслу. Такой результатъ неразлученъ съ самой задачей. Мы видимъ его развитіе еще до революціи; въ слѣдующую эпоху онъ налагаетъ свою печать на философскія, политическія и нравственныя системы. И что особенно любопытно: онъ иногда вторгается въ міросозерцаніе мыслителя будто помимо его воли.

Философъ начнетъ строить систему на самыхъ, повидимому, положительныхъ научныхъ данныхъ, не перестаетъ убѣждать

насъ именно въ своемъ безусловномъ уваженіи только къ наукѣ и логикѣ, и дѣйствительно пускаетъ въ ходъ громадный запасъ фактовъ изъ исторіи и естествознанія.

Но судьба искателя единаго принципа—неотвратима. Послѣ продолжительныхъ блужданій въ ясныхъ областяхъ самыхъ строгихъ наукъ—въ родѣ математики и физики—философъ попадаетъ въ безпросвѣтное и безвыходное царство мистическихъ представленій и часто дѣло доходитъ до измышленія настоящаго религіознаго культа съ таинствами и пророчествами.

Именно такой путь прошла новѣйшая позитивистская школа, начиная съ ея основателя Сенъ-Симона и кончая Огюстомъ Контомъ.

Въ этой школѣ мистицизмъ явился послѣднимъ звеномъ движенія. У другихъ съ мистицизма началась вся философія, и именно они были вполнѣ послѣдовательными представителями поколѣнія, жаждавшаго философской вѣры.

Мы только что назвали французскія имена, но тотъ же фактъ—достояніе всей европейской мысли начала XIX вѣка. Въ Германіи, гдѣ, по указаніямъ Сталь, слѣдовало искать новыхъ умственныхъ горизонтовъ, происходило то же самое сплетеніе философіи съ мистицизмомъ, потому что и здѣсь съ такимъ же усердіемъ искали всеобъединяющаго и всетворческаго принципа.

Здѣсь также системы начинались близкимъ соприкосновеніемъ съ подлинными науками, воспринимали ихъ идеи и выводы, а кончались проповѣдью созерцанія, экстаза, священнаго безумія. Сенъ-Симону съ полнымъ основаніемъ можно противоставить Шеллинга. Параллели между французской и германской мыслью можно провести еще дальше: открыть изумительныя совпаденія шеллингіанской *философіи* съ самымъ откровеннымъ *мистицизмомъ* Сенъ-Мартэна.

Такую пеструю и, на первый взглядъ, противорѣчивую картину представляетъ философское развитіе пореволюціонной эпохи. Въ дѣйствительности нѣтъ никакого противорѣчія между Контомъ, творцомъ классификаціи наукъ, закона трехъ стадій культурнаго прогресса и создателемъ «позитивнаго» культа, такъ же, какъ Шеллингъ вѣренъ себѣ и въ восторгахъ предъ открытіями новѣйшаго естествознанія и въ провозглашеніи поэтическаго созерцанія, какъ единственнаго пути къ познанію міровой истины.

Противорѣчіе заключалось не въ развитіи философскихъ системъ, а въ самихъ задачахъ философовъ. Они разсчитывали

создать *религію* изъ матеріаловъ *науки*, *вѣру* слить съ *разумомъ* и идеальную тоску *сердца* удовлетворить доводами *разсудка*. Это значило, непознаваемое по существу пытаться сдѣлать практически доступнымъ и логически убѣдительнымъ.

Естественно, въ разсужденіяхъ философа наступалъ моментъ, когда онъ принужденъ былъ покинуть почву искренне цѣнимаго имъ знанія и логики и, подобно Сенъ-Симону, обратиться къ помощи *видѣнія* или, подобно Шеллингу, къ нестоль откровенному, но не болѣе философскому источнику—*геніальному вдохновенному творчеству*.

Такимъ путемъ, въ силу исторической необходимости, мысль начала XIX-го вѣка приняла въ высшей степени своеобразное направленіе и обнаружила крайне разнородное идейное содержаніе.

IV.

Послѣ критики предыдущей эпохи и особенно послѣ разрушительныхъ потрясеній революціи, новыя поколѣнія нуждались въ новыхъ положительныхъ основахъ дальнѣйшаго нравственнаго и культурнаго развитія. Никакіе перевороты не въ силахъ остановить духовной жизни; напротивъ, они еще больше обостряютъ исконную человѣческую жажду болѣе прочной истины и болѣе цѣлесообразной дѣйствительности.

Отсюда вѣчный взрывъ религіозныхъ настроеній какъ разъ во времена политическихъ или общественныхъ катастрофъ. Такъ было и на зарѣ нашего вѣка.

Открывалось два выхода: одинъ, простѣйшій, вернуться вспять, собрать изъ обломковъ старое зданіе и зажить въ немъ по старинѣ. Немногихъ могла удовлетворить такая перестройка даже на первыхъ порахъ; о будущемъ не было и рѣчи. Другой выходъ—признать новыя завоеванія мысли и знанія и именно ими воспользоваться для заполненія пропасти, созданной тою же мыслью и тѣмъ же знаніемъ.

Это было, конечно, несравненно разумнѣе, чѣмъ фанатическая война какого-нибудь Бональда противъ неотразимыхъ истинъ «скотологіи», т. е. естествознанія. Волей-неволей приходилось «скотологію» считать силой, потому что она вступила какъ разъ въ самый блестящій періодъ своего развитія, и не только считать, но и положить ее во главу угла возможнаго сооруженія.

Здѣсь прогрессивный шагъ новой философіи, и мы увидимъ,

какіе плодотворные результаты получились отъ тѣснаго союза философіи съ опытной наукой.

Но не могъ получиться только конечный результатъ, именно самый искомый, по культурнымъ задачамъ эпохи—первенствующій.

Наука давала множество *фактовъ* и *частныхъ идей*, но совершенно не уполномочивала философа подчинить всѣ эти факты *одной силѣ* и свести идеи къ *одному принципу*. Пока дѣло шло объ отдѣльныхъ обобщеніяхъ, о группировкѣ явленій, философъ оставался ученымъ, но лишь только хотѣлъ вывести итогъ, онъ немедленно становился поэтомъ, логика уступала мѣсто фантазіи, разумъ—творчеству, философія—мистицизму.

Впослѣдствіи философы поняли фатальность такого положенія и тщательно постарались разъ навсегда отдѣлить истинную философію отъ опаснаго сосѣдства мнимаго философствованія и простого фантазерства.

Ученики позитивистской школы оцѣнили по достоинству заблужденія своего учителя, и Милль единодушно съ Литтре требовали отъ философовъ примириться съ темной областью непознаваемаго, съ безграничнымъ, но недоступнымъ намъ океаномъ, омывающимъ берегъ нашихъ фактовъ и идей. У насъ нѣтъ ни корабля, ни компаса для путешествія по этой пучинѣ...

Это, въ сущности, возстановленіе кантовскаго воззрѣнія, и оно ярко подчеркивало *регрессивную* черту въ философіи начала XIX-го вѣка. На нее могла указать еще Сталь.

Но регрессъ здѣсь явился неизбѣжнымъ симптомомъ времени и для своей эпохи, сравнительно съ другими попытками возстановить нравственную и философскую гармонію—представлялъ выигрышъ со стороны разума и науки на счетъ рабства и суевѣрія.

Это видно уже по распредѣленію того и другого теченія въ разныхъ общественныхъ слояхъ.

Деместръ вербовалъ послѣдователей среди «стараго» общества, среди обломковъ эмиграціи—во Франціи и вчерашнихъ «смѣшныхъ маркизовъ» въ другихъ странахъ. «Философская вѣра» въ различныхъ системахъ съ энтузіазмомъ воспринималась молодыми поколѣніями, цвѣтомъ просвѣщенія и нравственной силы всюду — отъ Франціи до нашего отечества.

Особенно здѣсь западно-европейская мысль вызвала богатѣйшіе идейные и практическіе результаты. На западѣ съ философіей и вѣрой вела жестокую конкурренцію политика. Парламентъ вырывалъ множество даровитыхъ силъ отъ университетской аудиторіи и изъ ученаго кабинета.

Въ Россіи ничего подобнаго. Вся умственная жизнь принуждена была сосредоточиться на литературѣ и наукѣ. Философскіе вопросы получали *исключительное* значеніе въ жизни общества и отдѣльныхъ выдающихся личностей. Въ философіи русскіе люди искали не только нравственнаго утѣшенія и научнаго единства, какъ было на Западѣ, но и отвѣта на всѣ запросы высокоодаренной, заключенной въ себѣ, души.

Отсюда необыкновенная стремительность русской воспріимчивости къ философскимъ идеямъ и страстность въ ихъ возможномъ приложеніи къ дѣйствительности. Отсюда также чисто теоретическая отважная прямолинейность выводовъ.

Вѣдь развитіе философской мысли для русскихъ философовъ не ограничивалось и не контролировалось столь же свободнымъ развитіемъ реальной жизни. Напротивъ, именно эта жизнь своими отрицательными явленіями только приподнимала авторитетъ и привлекательность отвлеченнаго идеальнаго міра. Не воспитывая у лучшихъ людей ни сочувствія къ дѣйствительности, ни опытности въ рѣшеніи жизненныхъ вопросовъ, она являлась первой причиной часто фанатическаго поклоненія философской теоріи, первымъ побужденіемъ, усвоить и развить менѣе всего положительное и практически плодотворное міросозерцаніе.

Мы увидимъ это на примѣрѣ самыхъ блестящихъ представителей русскихъ философскихъ поколѣній.

Принято думать, будто эти поколѣнія учились философіи исключительно у нѣмцевъ, будто шеллингіанство и гегеліанство начинаютъ и увѣнчиваютъ философскую полосу въ исторіи нашего общественнаго прогресса.

Дѣйствительно, имена Шеллинга и Гегеля переполняютъ литературу и производятъ впечатлѣніе единодержавной власти германской мысли надъ русской интеллигенціей вплоть до шестидесятыхъ годовъ.

Такъ предполагать тѣмъ естественнѣе, что французская *философія* послѣ революціи, отчасти даже раньше, утратила свой кредитъ повсюду, и у насъ въ то же время. Мы увидимъ, русскіе юноши даже открещивались отъ слова *философія* и вводили новый терминъ *любомудріе*. Они боялись, какъ бы ихъ не смѣшали съ поклонниками французскихъ «софистовъ»: они хотѣли быть учениками настоящей мудрости, т. е. германской.

Но именно эти нововводители съ большимъ эффектомъ пользовались *французской* мудростью, правда, не энциклопедической, но независимой отъ шеллингіанства.

Мы имѣемъ въ виду кн. Одоевскаго, его разсужденія о пагубномъ *раздорѣ* и *разрозненности* науки и жизни, о безплодной специализаціи знаній [5]).

Объ этомъ предметѣ очень краснорѣчиво разсуждалъ Сенъ-Симонъ [6]), и вотъ его-то слѣдуетъ поставить во главѣ русскихъ учителей по философіи.

Во Франціи впервые для всей Европы было произнесено осужденіе старой философіи, и въ той же самой Франціи, даже на почвѣ той же философіи, возникла новая система со всѣми признаками будущаго умственнаго общеевропейскаго движенія.

Изъ книги Сталь русскіе читатели могли узнать, какъ въ Германіи рѣшается вопросъ объ единомъ философскомъ принципѣ. Брошюры Сенъ-Симона *непосредственно* отъ XVIII-го вѣка приводили къ тому же вопросу.

Правда, полнота, послѣдовательность и ясность идей были на сторонѣ нѣмецкихъ философовъ, но сущность заключалась въ возбужденіи извѣстной темы, въ постановкѣ извѣстной философской задачи.

Значеніе сенъ-симонизма для русскаго просвѣщенія тѣмъ для насъ любопытнѣе, что онъ могъ прямымъ путемъ тѣхъ же русскихъ философовъ направить къ позитивизму, къ Огюсту Конту, т. е. установить тѣснѣйшую умственную связь между ранними философскими поколѣніями двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ съ дѣятелями шестидесятыхъ.

Изъ школы Сенъ-Симона вышли самые разнообразные элементы: пророки и жрецы новаго религіознаго культа, въ родѣ Базара и Анфантэна и подъ конецъ жизни—Конта, но также и величайшіе представители французской положительной науки—Огюстэнъ Тьерри, Литтре, Контъ въ наиболѣе сильную пору своей дѣятельности. Съ именемъ Сенъ-Симона связано, кромѣ того, развитіе соціальныхъ идей и рѣшительная постановка рабочаго вопроса, а у послѣдователей Сенъ-Симона и вопроса о женской эмансипаціи.

Естественно, отпрыски школы въ высшей степени многочисленны и вліянія ея многообъемлющи. Прослѣдить ихъ во всей полнотѣ — задача, до сихъ поръ невыполненная даже въ европейской наукѣ и для европейскаго міра. Мы должны ограничиться освѣщеніемъ тѣхъ идей сенъ-симонизма, какія оставили ясные отголоски въ нашей философско-критической литературѣ.

[5]) *Сочиненія кн. В. О. Одоевскаго.* Спб. 1844. I, 347 etc.

[6]) Въ *Lettres au Bureau des Longitudes*

V.

Одинъ изъ самыхъ отзывчивыхъ и критически одаренныхъ сыновъ русской философской эпохи разсказываетъ по личному опыту о впечатлѣніи, какое производили на русскую молодежь сенъ-симонистскія проповѣди.

За Сенъ-Симономъ шли, кого не могъ удовлетворить чисто-философскій идеализмъ, кто по врожденнымъ сочувствіямъ или разумнымъ основаніямъ стремился идею непосредственно переводить въ жизнь и всякую теорію считать значительной и цѣлесообразной по ея приложимости къ дѣйствительности.

Самъ Сенъ-Симонъ именно съ этой точки зрѣнія смотрѣлъ на философію. Ему требовался единый принципъ не для отвлеченной гармоніи міросозерцанія, а для переустройства общества и государства—на совершенномъ устраненіи чисто-отрицательныхъ завѣтовъ предыдущей эпохи и на величественномъ сооруженіи новаго положительнаго міроваго идеала.

Отсюда увлеченіе сенъ-симонизмомъ именно самой энергической и даровитой молодежи начала нашего столѣтія, отсюда вѣра въ сенъ-симонизмъ, какъ самое могущественное, одновременно научное и пророческое орудіе соціальнаго переобразованія.

«Новый міръ», пишетъ русскій молодой публицистъ, «толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сенъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ» [7]).

Чѣмъ же собственно были тронуты души и сердца русскихъ послѣдователей Сенъ-Симона?

Для нихъ, несомнѣнно, прежде всего была важна преемственная связь ученія Сенъ-Симона съ французской философіей XVIII-го вѣка, столь же важна, какъ рекомендація нѣмецкаго «любомудрія» именно французской писательницей, г-жей Сталь.

Русской интеллигенціи не приходилось дѣлать обходовъ и отваживаться на скачки. Они непосредственно отъ учителей своихъ отцовъ могли перейти къ ихъ преемникамъ и умственныя впечатлѣнія дѣтства связать съ идеалами молодости.

Сенъ-Симонъ называлъ себя ученикомъ Даламбера, одного изъ главнѣйшихъ представителей *Энциклопедіи*. И дѣйствительно, раннія философскія мечты Сенъ-Симона продолжаютъ замыслы про-

---

[7]) Герценъ. *Былое и думы*. Изд. 1878 г., I, 197.

свѣтителей, но съ существеннымъ новымъ мотивомъ. Сенъ-Симонъ и впослѣдствіи его ученики вплоть до шестидесятыхъ годовъ будутъ преслѣдовать мысль объ энциклопедическомъ сводѣ научныхъ результатовъ во всѣхъ областяхъ знанія. Сенъ-Симонъ неоднократно будетъ приступать къ плану новой *Энциклопедіи* но въ то время, когда создатели стараго словаря, съ Вольтеромъ, Дидро и Даламберомъ во главѣ, стремились преимущественно къ *разрушенію* старыхъ вѣрованій и принциповъ, Сенъ-Симонъ имѣетъ въ виду созиданіе, не *критическую*, а *органическую* работу.

Это его собственные термины. Ими обозначаются разные періоды въ исторіи культуры и Сенъ-Симонъ философовъ XVIII-го вѣка и революціонеровъ считаетъ дѣятелями критическаго момента, самъ онъ и его ученики—организаторы. Эта идея будетъ усвоена всей школой и ляжетъ въ основу книжной и общественной пропаганды сенъ-симонизма.

Но изъ какихъ же матеріаловъ возникнетъ новое зданіе?

Отвѣтъ очень простой.

Средніе вѣка имѣли свой объединяющій принципъ, но онъ теперь ни идейно, ни практически неосуществимъ, и Сенъ-Симонъ рѣшительно устраняетъ реакціонеровъ и вообще защитниковъ стараго общественнаго и церковнаго строя.

Но и противники реакціонеровъ не заслуживаютъ одобренія.

Они суевѣріямъ противоставляютъ знаніе, деспотизму — свободу, стаднымъ чувствамъ —сознаніе личности и человѣческаго достоинства, но всѣ эти благородныя понятія безсильны и безплодны. Между ними нѣтъ центральной идеи, науки находятся въ анархическомъ состояніи, не связаны другъ съ другомъ и не приведены въ дѣятельное соприкосновеніе съ жизнью.

Необходимо систематизировать все человѣческое знаніе, а первый шагъ къ этой цѣли—тщательное собираніе его результатовъ. Отсюда—идея энциклопедіи.

Если у людей будетъ въ распоряженіи «хорошая энциклопедія», явится и «совершенная наука», «общая наука» — *la science générale*. Спеціальныя науки—только матеріалъ и пути къ высшему идеалу, а идеалъ —систематизація научныхъ фактовъ и выводовъ въ одной всеобъемлющей теоріи. А эта теорія, въ свою очередь, должна объяснить тайну мірозданія и въ то же время стать нравственной руководительницей человѣческой дѣятельности.

И Сенъ-Симонъ намѣчаетъ обширный планъ единенія наукъ. Путь величественный и въ то же время логическій! Отъ физиче-

скихъ тѣлъ къ организмамъ, отъ организмовъ къ животнымъ, отъ животныхъ къ первобытному человѣку, отъ первобытнаго человѣка къ историческому, вплоть до послѣдняго времени.

Философъ очень высокаго мнѣнія о своей системѣ. Это даже не *научный методъ*, а *самъ божественный законъ*, *физика и мораль вселенной*. И Сенъ-Симонъ въ патетическомъ тонѣ взываетъ къ ученымъ: оставить ученую мастерскую, проникнуться сердечнымъ жаромъ и направить свои усилія на созданіе гармоніи и всеобщаго вездѣсущаго мира [8]).

Сенъ Симонъ даже знаетъ всѣми признанный принципъ, способный объединить новыхъ организаторовъ, принципъ изъ области естествознанія. Это ни болѣе, ни менѣе, какъ *законъ тяготѣнія*. На немъ и должна быть основана новая научная философія.

Для насъ можетъ звучать очень странно подобное рѣшеніе труднѣйшаго вопроса. Но на этотъ разъ Сенъ-Симонъ не оригиналенъ. Законъ, открытый Ньютономъ, въ теченіе всего XVIII-го вѣка и долго спустя привлекалъ жгучій интересъ философовъ и ученыхъ.

Законъ поражалъ своей простотой и величіемъ. Онъ подчинялъ строгому единству весь безграничный міръ небесныхъ тѣлъ. Астрономія вмѣстѣ съ открытіемъ Ньютона пріобрѣла завидное преимущество надъ всѣми другими науками — всеобъясняющій единый принципъ.

Но нѣтъ ли такого принципа и для другихъ отраслей знанія? Напримѣръ, для философіи и даже для политики и нравственности

Въ отвѣтъ одни искали такого закона, подходящаго къ той или другой наукѣ, болѣе смѣлые прямо распространяли тяготѣніе на все, что̀ доступно человѣческому вѣдѣнію. Богословамъ и ученымъ пришлось защищать отъ фанатическихъ систематизаторовъ Провидѣніе или науку. Лапласъ, напримѣръ, счелъ необходимымъ вооружиться за астрономію противъ мечтателей и дилеттантовъ. Это, въ свою очередь, вызвало гнѣвъ Сенъ Симона, религіозно вѣровавшаго во всеобщность ньютоновскаго открытія.

Для насъ существенъ фактъ распространенія того или другаго *естественно-научнаго* открытія до принципіальнаго объединенія, при помощи этого открытія, — всѣхъ явленій жизни. Увлеченіе надолго переживетъ Сенъ-Симона, мы встрѣтимся съ нимъ въ гер-

---

[8]) Ср. *Histoire du saint-simonisme*, par Sébastien Charléty, Paris 1896, 15—6.

манской философіи, вообще независимой отъ сенъ-симонизма, но—согласно духу времени—также проникнутой стремленіемъ создать универсальную науку природы и духа.

Для Сенъ-Симона, мы уже знаемъ, такая наука требовалась не для платоническихъ цѣлей, а для «соціальной физики». Краснорѣчивѣйшее выраженіе! Оно точно опредѣляетъ задушевные замыслы философа: свести науку объ обществѣ къ строгимъ законамъ естествознанія и придти къ соціальнымъ выводамъ путемъ тщательнаго научнаго изученія исторіи.

Отсюда ясна роль ученыхъ. Въ сущности, они прирожденные законодатели. Они—люди, способные не только объяснять, но и предвидѣть, и именно этотъ даръ ставитъ ихъ выше всѣхъ другихъ людей [9]).

Ученые должны владѣть духовной властью, т. е. устанавливать принципы управленія государствомъ и обществомъ. Они призванные руководители практическихъ дѣятелей, отнюдь не администраторы, а верховные наблюдатели за администраціей и вообще соціальнымъ развитіемъ. Осуществленіе научныхъ выводовъ принадлежитъ другимъ, иначе классъ ученыхъ, при сліяніи духовной и свѣтской власти въ ихъ рукахъ, превратился бы въ метафизиковъ, интригановъ и деспотовъ.

На этомъ соображеніи основано соціальное значеніе *промышленнаго* класса и сенъ-симонистская идеализація матеріальнаго труда наравнѣ съ умственнымъ.

Идеи этого порядка имѣли для французской внутренней политики большое значеніе: благодаря имъ, Сенъ-Симонъ явился родоначальникомъ теоретическаго соціализма, такъ же, какъ его понятіе о научномъ построеніи общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ поставило его во главѣ позитивизма.

Но есть еще третье, и для насъ важнѣйшее, открытіе сенъ-симонизма. Именно оно отводитъ мѣсто научно-соціальной школѣ въ области литературы и Сенъ-Симонъ налагаетъ не менѣе оригинальную печать своего духа на искусство, чѣмъ на философію и политику

---

[9]) Un savant est un homme qui prévoit, c'est par la raison que la science donne le moyen de prédire qu'elle est utile, et que les savants sont supérieurs à tous les hommes. *Lettres d'un habitant de Genève*, Paris 1802, p. 35.

VI.

Въ трактатахъ по математикѣ и другимъ наукамъ Сенъ-Симонъ не переставалъ пускать въ ходъ очень своеобразный пріемъ, независимо отъ логическихъ доводовъ, обращался къ *сердцу* и *чувству* ученыхъ, говорилъ о своей *страсти* «успокоить Европу» и «перестроить европейское общество».

Это значило вводить въ философію силу, постороннюю строгой идеѣ и наукѣ,—силу паѳоса, поэзіи, вообще творчества и вдохновенія. Сенъ-Симонъ не только допускалъ подобныя *настроенія* въ своемъ философско-политическомъ предпріятіи, но настаивалъ на особомъ классѣ людей, обладающихъ нарочито этими силами, т. е. вдохновеніемъ и способностью дѣйствовать на чувство. Сенъ-Симонъ называетъ этихъ людей *артистами* и считаетъ ихъ третьимъ необходимымъ элементомъ въ политическомъ строѣ.

Это отчасти платоновская идея. Греческій философъ-законодатель поручаетъ поэтамъ и пѣвцамъ распространять среди гражданъ законы и почтеніе къ нимъ. На толпу особенно дѣйствуютъ поэтическія вдохновенныя рѣчи, кажущіяся ей внушеніемъ божества и самъ Платонъ безпрестанно впадаетъ въ патетическій прорицательскій тонъ, часто совершенно затуманивающій смыслъ разсужденія [10]).

Напомнивъ Платона-законодателя республики съ философами-правителями, сенъ-симонизмъ совпалъ съ идеями античнаго мечтателя и въ самой любопытной части своей соціальной организаціи.

Сенъ-Симонъ далъ тему, его послѣдователи разработали ее съ особенной тщательностью. Разработка шла въ направленіи, совершенно отвѣчавшемъ личности и задачамъ первоучителя. Онъ началъ разсужденіями о *культѣ* въ одномъ изъ раннихъ своихъ сочиненій [11]) и кончилъ краснорѣчивой рѣчью къ своимъ ученикамъ: «Помните,—чтобы совершать великія дѣла, слѣдуетъ быть энтузіастомъ».

Эти слова одушевили всѣ позднѣйшія теоріи сенъ-симонизма. Ученики подняли силу чувства, симпатическаго воздѣйствія, творческаго вдохновенія на небывалую высоту. Они разсуждали такъ.

Исторія—«соціальная физіологія», т.-е. должна быть наукой, имѣющей свои законы и уполномачивающей ученыхъ руководить

---

[10]) Въ діалогѣ *Законы.*

[11]) Въ *Lettres d'un habitant de Genève.*

настоящимъ и предсказывать будущее. Наука можетъ привести это будущее въ логическую связь съ прошлымъ, но дальше остается труднѣйшая часть задачи, надо осуществить воспитательную и просвѣтительную, т. е. практическую цѣль науки.

Сама наука этого не въ состояніи достигнуть.

«Научное доказательство можетъ удовлетворить логическимъ основаніямъ такихъ или иныхъ дѣйствій, но у него нѣтъ доста точно силы вызвать эти дѣйствія. Для этого требуется, чтобы оно, доказательство, заставило *полюбить* ихъ. Но это не его роль. Доказательство не заключаетъ въ самомъ себѣ неотразимаго повода дѣйствовать. Наука можетъ указать средства, какъ достигнуть извѣстной цѣли? Но почему именно данная цѣль, а не другая? Почему просто не успокоиться и не остановиться на пути къ какой бы то ни было цѣли? Почему даже не отступить вспять? Чувство, т. е. глубоко ощущаемая симпатія къ намѣченной цѣли, одно только можетъ устранить затрудненія».

На арену долженъ выступить классъ людей, нарочито одаренныхъ отъ природы «симпатической способностью».

По мнѣнію сенъ-симонистовъ, во всѣ времена, во всѣхъ странахъ вліяніе на общество принадлежало людямъ «говорившимъ сердцу». Разсужденіе, силлогизмъ—только второстепенныя и промежуточныя средства. Общество поддавалось непосредственному увлеченію только благодаря различнымъ формамъ *чувствительнаго воздѣйствія*.

Въ органическія эпохи такое воздѣйствіе совершается *культомъ*, въ критическія—*искусствами*. Нравственное воспитаніе общества и заключается въ томъ, чтобы доказанныя истины превратить для него въ идею *долга*, въ предметъ *страсти*.

Отсюда отожествленіе художника и поэта съ жрецомъ, т. е. самое идеальное представленіе о творческомъ талантѣ и художественной дѣятельности. Сенъ-симонизмъ воскресилъ античный образъ поэта-пророка, поэта-философа и поэта-вождя и вознесъ на выспреннѣйшую чисто-романтическую высоту геній и вдохновеніе.

Сенъ-симонисты, возставая, подобно Сталь, противъ разсудочности XVIII-го вѣка и его презрѣнія къ энтузіазму, шли гораздо дальше писательницы въ защитѣ патетической силы человѣческой природы. Даже точныя науки не могутъ обойтись безъ вдохновенія и творчества.

Обыкновенно думаютъ, будто широкія обобщенія въ какой бы то ни было наукѣ составляются логически, изслѣдователь постепенно

восходитъ отъ одного факта къ другому и непрерывная цѣпь фактовъ приводитъ его, наконецъ, къ закону. Открыть законъ слѣдовательно, значитъ связать рядъ фактовъ общей идеей, и сама эта идея—непосредственный результатъ наблюденныхъ частныхъ явленій.

По мнѣнію сенъ-симонистовъ, это безусловное заблужденіе. Еще ни одинъ научный законъ не былъ открытъ такимъ путемъ.

Въ дѣйствительности общій принципъ является плодомъ *вдохновенія.* Наличность извѣстныхъ фактовъ *внушаетъ* изслѣдователю идею, но между такой идеей и фактами всегда существуетъ нѣкоторый *промежутокъ*, *пропасть*, заполняемая *геніемъ*, а отнюдь не строго-научнымъ методомъ [12]).

Но и этого мало.

Даже всякая наука вообще возможна только не на основаніи строго разсудочныхъ соображеній и неопровержимыхъ удостовѣренныхъ фактовъ, а на основаніи *вѣры*, т. е. силы, противоположной разсудку и наукѣ.

Напримѣръ, почему ученый стремится опредѣлить точное логическое отношеніе двухъ какихъ-нибудь явленій? Вѣдь, по безусловному требованію разума и логики, это опредѣленіе допустимо только въ томъ случаѣ, когда изслѣдователю извѣстны *всѣ* другіе сопутствующіе факты, всѣ возможныя комбинаціи ихъ и *всѣ условія*, при какихъ совершаются данныя явленія.

Напримѣръ, мы ежедневно съ одинаковой увѣренностью ждемъ восхода солнца и на слѣдующій день. Почему?

Логически мы не имѣемъ никакого права на подобный разсчетъ. Извѣстныя намъ астрономическія явленія, касающіяся вопроса, ничто сравнительно съ бездной *неизвѣстныхъ* намъ возможныхъ фактовъ. Мы, слѣдовательно, ждемъ восхода солнца на основаніи нашего *прошлаго* опыта, а вовсе не потому, что мы *знаемъ* будущее. Мы *вѣруемъ* въ неизмѣнность порядка, мы по природѣ *влюблены въ порядокъ*, по выраженію сенъ-симонистовъ, мы *стремимся* къ нему, т. е. въ свои логическіе выводы вмѣшиваемъ силу чувства, пафоса, вообще—силу неразсудочную, нелогическую и ненаучную.

Сенъ-симонисты, родоначальники позитивной философіи, съ блестящей проницательностью оцѣнили внутреннее достоинство и научные предѣлы такъ называемаго позитивнаго метода.

---

[12]) *Doctrine*, p. 132.

Въ сущности, позитивизма, какъ его представляютъ фанатическіе послѣдователи, не существуетъ и именно совершенно прямолинейный позитивизмъ *не позитивенъ*.

Въ самомъ дѣлѣ,—говорятъ, позитивный методъ состоитъ въ группировкѣ наблюденныхъ фактовъ, независимой отъ какого бы то ни было руководящаго чувства или предубѣжденія. Группировка даетъ изслѣдователю объективный законъ, соподчиняющій факты.

Но на самомъ дѣлѣ процессъ этотъ никогда не осуществляется въ такой идеально-безстрастной формѣ, какъ воображаютъ позитивисты.

Человѣкъ никогда не является безусловно независимымъ, *изолированнымъ* отъ привходящихъ вліяній. Или внѣшній міръ, *среда* или собственная *личность* господствуютъ надъ изслѣдователемъ и онъ или навязываетъ міру *формы своего бытія*, или уничтожается предъ нимъ, подчиняется ему.

Въ результатѣ изслѣдователь одновременно *изобрѣтаетъ* и *удостовѣряетъ*, и процессъ удостовѣренія—*vérification* ничто иное, какъ оправданіе предвидѣній, вдохновеній и откровеній, а вовсе не непрерывно послѣдовательный результатъ классификаціи фактовъ.

Отсюда значеніе личной талантливости изслѣдователя: изобрѣтеніе, вдохновеніе и есть то, что мы называемъ *геній*. Безъ него невозможны широкія обобщенія, открытіе законовъ, т. е. прогрессъ даже положительныхъ наукъ. Безъ него наука превращается въ безплодное компиляторство и безжизненный педантизмъ.

Если вдохновеніе и *симпатическія способности* имѣютъ такое значеніе даже въ опытномъ знаніи, естественно, ихъ роль еще выше въ соціальной наукѣ и въ соціальныхъ вопросахъ

Если всѣ выводы ученаго построены на его инстинктивной *любви* къ естественному порядку, къ гармоніи, очевидно, дѣятельность общественнаго философа, историка, законодателя, преобразователя возможна только при такой же любви къ соціальному порядку, при *энтузіазмѣ* и *самоотверженіи*—*dévouement*—во имя извѣстнаго единаго положительнаго принципа.

И сенъ-симонисты берутъ на себя двойную обязанность быть учеными и вдохновителями, людьми разсудка, *raisonneurs*, и людьми страсти, *passionés*, т. е. проповѣдниками и пророками.

Наука и промышленность, умственный и матеріальный трудъ сами по себѣ не имѣютъ цѣны. У сенъ-симонистовъ они только «средства создать для человѣка условія, наиболѣе благопріятныя

развитію глубокаго состраданія къ *слабымъ*, покорности *сильнымъ*, любви къ *соціальному порядку*, обожанію *всеобщей гармоніи*»[13]).

Сильные, на языкѣ сенъ-симонистовъ, означаютъ, конечно, людей духовной силы, людей знанія и особенно людей энтузіазма. Поэты и пророки стоятъ на вершинѣ соціальнаго зданія: они—источники воодушевленія ради общаго дѣла, они — вожди общества по путямъ, открытымъ учеными, они—творцы священнаго огня гуманности и соціальности.

Выводы изъ всѣхъ этихъ разсужденій совершенно очевидны, именно въ вопросѣ, ближе всего занимающемъ насъ.

Творческая способность возведена сенъ-симонистами на недосягаемую высоту сравнительно со всѣми другими духовными человѣческими силами. Разъ вдохновеніе—*inspiration*—является виновникомъ даже научныхъ истинъ и естественныхъ законовъ, оно, несомнѣнно, стоитъ выше науки въ строгомъ смыслѣ, оно путемъ энтузіазма и созерцанія, *intuition*, открываетъ тайны міозданія.

Съ другой стороны, тоже вдохновеніе—рѣшающая положительная сила и въ нравственной и общественной жизни человѣчества, такой же краеугольный камень въ политическомъ зданіи, какъ и въ научномъ. Слѣдовательно, энтузіазмъ и тоже созерцаніе, вообще безсознательное внушеніе выше историческаго изслѣдованія. Оно и въ области исторіи и соціальной политики можетъ подняться до такихъ горизонтовъ, какіе совершенно недоступны чисто-научной исторической работѣ.

Отъ этихъ понятій въ высшей степени легко дойти до крайне своеобразной идеи, съ какой мы встрѣтимся въ германской философіи и у ея русскихъ послѣдователей.

Единственный источникъ высшей истины, вѣрный путь къ тайнамъ природы и жизни—художественный геній, художественное творчество, непосредственное созерцаніе и творческое вдохновеніе.

Это шеллингіанская идея. О связи ея съ сенъ-симоновскими представленіями толковать безплодно. Первыя произведенія Сенъ-Симона не находятся ни въ какой связи съ германской философіей.

Правда, Сенъ-Симонъ побывалъ въ Германіи, но путешествіе произошло послѣ *Писемъ женевскаго обывателя* и не оставило у Сенъ-Симона никакихъ положительныхъ впечатлѣній.

Онъ нашелъ, что нѣмцы очень увлекаются отдѣльными науками, но ничего не сдѣлали для всеобщей науки, для *science*

[13]) *Ib. Introduction.*

générale и не могутъ, слѣдовательно, представить ничего поучительнаго для соціальнаго преобразователя на почвѣ положительнаго знанія.

Совпаденіе сенъ-симонистскихъ воззрѣній съ послѣднимъ выводомъ шеллингіанской системы такое же исторически и нравственно-необходимое, какъ изумительное сходство идей французскаго мистика Сенъ-Мартэна съ основными философскими представленіями того же Шеллинга.

Сенъ-Мартэнъ не находился ни въ какихъ отношеніяхъ съ германскимъ философомъ, а между тѣмъ дошелъ до идеи абсолютнаго тожества. Природа ничто иное, какъ проявленіе божества, осуществленіе мысли, слова и творчества Бога. Первый моментъ творчества—*раздѣленіе* твари и творца, второй—*сліяніе въ безразличіи*, въ абсолютѣ [14]).

Сенъ-Мартэну неизвѣстны *термины* нѣмцевъ, но *мысль* не измѣняетъ своей сущности отъ менѣе философской формы.

Совершенно ясно поставленъ у Сенъ-Мартэна и вопросъ о познаніи абсолютнаго бытія. Путь тотъ же, что у Шеллинга и у Сенъ-Симона, *интуиція*. У мистика есть свое очень любопытное обозначеніе этого субъективнаго источника высшаго вѣдѣнія—*пламя стремленія*, *la flamme de notre désir*, т. е. тотъ же энтузіазмъ, поэтическій восторгъ, вдохновенное созерцаніе. Сенъ-Мартэнъ посвятилъ особое сочиненіе психологіи *человѣка стремленій*, *L'homme de désir*.

Слѣдуетъ помнить, Сенъ-Мартэнъ вовсе не представлялъ изъ себя зауряднаго искателя чудесъ и тайнъ, отнюдь не былъ послѣдователемъ особенно распространеннаго мистицизма, весьма часто сливающаго шарлатанство съ безуміемъ или слабоуміемъ.

Сенъ-Мартэнъ оставался чуждъ разнымъ продѣлкамъ, маскарадному культу и теургическимъ операціямъ исповѣдниковъ многочисленныхъ сектъ, въ родѣ масоновъ, розенкрейцеровъ, мартинистовъ. Для французскаго мистика достаточно было личныхъ *нравственныхъ стремленій* къ совершенствованію и духовному свѣту безъ вмѣшательства видѣній и чудесъ, вообще внѣшнихъ силъ.

Для него вдохновеніе и откровеніе—естественныя состоянія ума. Именно они отличаютъ *новаго человѣка*, *человѣка стремленій*, отъ людей холоднаго разсудка и нравственнаго безразличія.

Эти идеи были высказаны еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, *L'homme*

[14]) Ср. Matter. *S. Martin, le philosophe inconnu*. Paris. 1862. p. 177.

de désir вышло въ 1790 году, одновременно съ сочиненіемъ Вольнея *Ruines*, преисполненнымъ скептицизма, разрушительной критики и отрицанія. Очевидно, самый ходъ умственнаго развитія французскаго общества подсказывалъ протестъ въ опредѣленномъ направленіи, и во Франціи среди страшнаго переворота мысль доходила до тѣхъ самыхъ выводовъ, какіе легли въ основу германской философіи того же времени.

Мы должны теперь обратиться именно къ этой философіи. Она—первостепенная учительница русскихъ философскихъ поколѣній, но не единственная. Мы видѣли, русскіе искатели новой истины могли не покидать старинной дороги своихъ отцовъ, т. е. могли продолжать интересоваться французской литературой и здѣсь найти путь къ этой истинѣ, а главное, безпощадную критику французской философіи XVIII-го вѣка. Одни писатели указывали прямо на нѣмцевъ, какъ на учителей будущаго, другіе, независимо отъ нѣмецкаго учительства, давали собственныя рѣшенія настоятельныхъ современныхъ задачъ, и эти рѣшенія, въ силу исторической логики и основныхъ законовъ человѣческой природы, совпадали съ выводами германскихъ философскихъ системъ.

Но, конечно, и во французской мысли, и въ нѣмецкой было свое оригинальное и исключительное достояніе. Прежде всего въ сенъ-симонизмѣ заключался обильный источникъ вопросовъ, лежавшихъ за горизонтомъ германскаго идеализма,—вопросовъ политическихъ и соціальныхъ. А потомъ общій духъ французской научно-философской школы, неуклонно практическій, жизненно-преобразовательный былъ далекъ отъ выспреннихъ высотъ германской чистой метафизики.

Даже наиболѣе фантастическіе мотивы сенъ-симонизма, въ родѣ пророчествъ и видѣній основателя школы, неизмѣнно направлены на дѣйствительность и когда сенъ-симонисты въ лицѣ поэта рисовали пророка и энтузіаста, они разумѣли мужественнаго соціальнаго агитатора словомъ и дѣйствіемъ, т. е. рѣчами, книгами и практическими предпріятіями.

Германскихъ философовъ, по натурѣ и по направленію мыслей, не смущало такое подвижничество, вмѣсто нравственно-политическаго идеала французской философіи, здѣсь предъ нами—нравственно философскій.

Это, сущность германскаго идеализма, но въ дѣйствительности онъ не могъ строго выдержать своего исконнаго національнаго характера.—по могущественнымъ историческимъ условіямъ.

Германія наравнѣ со всѣмъ европейскимъ міромъ была вовлечена въ жестокую—сначалѣ внѣшнюю—потомъ внутреннюю, политическую борьбу.

Наполеонъ, постепенно порабощая одно государство за другимъ, поставилъ, наконецъ, грозный вопросъ уже не правительствамъ, а націямъ. Отвѣтъ рѣшалъ не извѣстныя дипломатически-установленныя вассальныя отношенія государей, а культурную самостоятельность народовъ.

Дѣло шло не о разгромѣ той или другой арміи, не о военной дани, не о личныхъ униженіяхъ государственныхъ людей, а о самыхъ основахъ государства, о національной цивилизаціи и исторіи.

Вопросъ, очевидно, касался рѣшительно всѣхъ великихъ и малыхъ, просвѣщенныхъ и простыхъ, прямо въ силу ихъ кровной принадлежности къ составу націи.

Правда, и теперь въ Германіи нашлись эстетики и мудрецы, въ родѣ Гёте, ощутившіе только чувство перепуга при страшной тучѣ, надвигавшейся на ихъ отечество. Но это—исключительныя явленія, знаменовавшія одновременно и рѣдкостную природную политическую ограниченность и старинную нѣмецкую безпомощность въ великихъ государственныхъ нуждахъ.

Гётевское олимпійство, оригинально уживавшееся съ слѣпымъ культомъ Бонапарта, вызвало негодованіе у самихъ нѣмцевъ, и сторицею было восполнено и въ то же время отнюдь не лестно оттѣнено великимъ воодушевленіемъ прирожденныхъ служителей отрѣшенной мысли—философовъ.

Дыханіе живой жизни немедленно оказалось въ высшей степени плодотворнымъ, и подсказало нѣмецкому профессору одну изъ величайшихъ культурныхъ идей начала нынѣшняго вѣка.

Но и здѣсь, какъ и въ идеѣ объ единомъ философскомъ принципѣ, мы находимъ тѣснѣйшую связь съ предъидущей эпохой, настолько тѣсную, что переходъ къ новой идеѣ—логическое развитіе старой мысли, неоцѣненной въ свое время и ожидавшей соотвѣтствующей общественной атмосферы и воспріимчивой исторической почвы.

VII.

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ, во время борьбы литературы противъ французскаго классицизма, естественно возникла мысль о несостоятельности основныхъ силъ, создавшихъ классическую

школу и поддерживавшихъ ея господство. На первомъ планѣ являлась вѣковая вѣра французовъ въ недосягаемое преимущество своей цивилизаціи и, конечно, своего искусства предъ умственными и художественными созданіями другихъ націй.

Французы привыкли чувствовать себя аѳинянами среди европейцевъ, и эта привычка съ примѣрнымъ усердіемъ поддерживалась въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ тѣми же европейцами.

Классицизмъ, національнѣйшее дѣтище французовъ, обнаружилъ изумительное вліяніе на всѣ литературы и способствовалъ міровому блеску французскаго имени въ такой мѣрѣ, какъ ни одинъ французскій завоеватель.

Очевидно, съ правами классицизма на господство неразрывно были связаны вообще исключительныя права французской культуры, и врагамъ расиновской поэзіи логически слѣдовало направить оружіе на аѳинское самодовольство французовъ и попытаться перемѣнить ихъ взглядъ на заграничныхъ «варваровъ».

Эту тяжелую и неблагодарную роль взялъ на себя прямой предшественникъ новѣйшихъ литературныхъ школъ—Мерсье.

Путемъ драмы онъ разсчитывалъ произвести не только литературную реформу, но и уничтожить культурную пропасть между французами и другими націями Европы.

Рѣчь его и на эту тему звучитъ такой же страстью, какъ и въ защитѣ Шекспира.

Ему ненавистно національное тщеславіе соотечественниковъ, увѣренность въ безусловномъ превосходствѣ французской образованности надъ цивилизаціей всѣхъ другихъ народовъ. Безпристрастное изображеніе характеровъ, нравовъ и образа мыслей чужихъ націй показало бы французамъ, что имъ не достаетъ еще многихъ добродѣтелей. Писатели должны взять на себя эту задачу, помочь развитію своего народа, сгладить предубѣжденія между націями, питающими взаимную ненависть и презрѣніе только по плохому знакомству другъ съ другомъ [15]).

Сталь какъ разъ послѣдовала совѣту Мерсье, только не въ драматической формѣ, и впала даже въ нѣкоторую крайность, для насъ очень важную. Въ противовѣсъ французскому національному самообольщенію, Сталь снабдила романтически восторженными красками Германію. Что же должно было произойти, когда за критику французской исключительности примутся писатели другихъ

[15]) *Du Théâtre*, Amsterdam 1773, pp. 111—2.

національностей, и особенно наиболѣе пренебрегаемыхъ французами?

Одна изъ такихъ, несомнѣнно, нѣмцы, по мнѣнію Вольтера, лишенные даже человѣческой членораздѣльной рѣчи.

А между тѣмъ, именно нѣмцамъ исторія судила стать на стражѣ національной идеи. Ихъ отечество подверглось особенно чувствительнымъ униженіямъ послѣ побѣдъ французскаго цезаря и оно же вмѣстѣ съ Россіей явилось во главѣ европейской войны противъ Наполеона. Настала *политическая* національная борьба, культурная шла уже давно, еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, въ жестокихъ нападкахъ Лессинга на Вольтера и на классицизмъ.

Теперь литературѣ предстояло стать великой исторической силой, если только она хотѣла и была способна проявить жизненность и стяжать національную славу.

И она не могла не выполнить этого назначенія.

Даже въ Россіи, не знавшей ни Шиллеровъ, ни «бурныхъ геніевъ», нашествіе Бонапарта вызвало отечественную народную войну и до самыхъ основъ всколыхнуло спокойно и едва замѣтно прозябавшую русскую публицистику. Въ Германіи то же явленіе должно было принять несравненно болѣе обширные размѣры, и на почвѣ политическаго освобожденія страны создать новые мотивы общественной и даже философской мысли.

Возбужденіе оказалось до такой степени могущественнымъ, что философія и публицистика совпали, и даровитѣйшимъ представителемъ общественнаго мнѣнія и народныхъ чувствъ Германіи явился профессоръ университета, философъ.

Когда мы въ настоящее время перечитываемъ знаменитыя рѣчи Фихте, мы не перестаемъ чувствовать себя въ самой подлинной атмосферѣ *восемнадцатаго* вѣка и предъ нами возстаетъ типичнѣйшій образъ германской просвѣщенной эпохи—маркизъ Поза.

Вы помните, шиллеровскій герой умоляетъ испанскаго короля почеркомъ пера измѣнить существующій порядокъ вещей и возродить человѣчество къ новой жизни...

При какомъ настроеніи можно обратиться съ подобной мольбой къ деспоту и фанатику и твердо надѣяться на непосредственные плоды благодѣтельнаго законодательнаго акта?

При единственномъ настроеніи, проникавшемъ лучшихъ людей всей просвѣтительной эпохи, при восторженной вѣрѣ въ силу человѣческаго разума и человѣческой преобразовательной воли.

Это—чисто религіозное преклоненіе предъ творческимъ геніемъ философскаго *слова*, безпрепятственно изъ нѣдръ хаоса вызывающаго новый молодой міръ, *весну* исторіи.

Вѣра дожила во всей своей дѣвственной чистотѣ до самой революціи и именно она устремила французскихъ законодателей на трагическій путь не—преобразованій въ политикѣ или въ общественныхъ отношеніяхъ, а гораздо дальше—на путь коренныхъ передѣлокъ человѣка вообще, его природы и его вѣками выросшихъ привычекъ и вѣрованій.

И напрасно нѣкоторые новѣйшие якобинцы бѣлаго цвѣта, въ родѣ историка Тэна, усиливаются заклеймить безуміемъ и преступленіемъ героевъ революціи. Они гораздо больше жертвы, чѣмъ герои, жертвы того самаго воззрѣнія на ходъ человѣческихъ дѣлъ, какое исповѣдуетъ шиллеровскій идеалистъ.

Вообразите человѣка, непоколебимо убѣжденнаго въ торжествѣ своего *естественнаго* и *разумнаго* идеала надъ какой-угодно дѣйствительностью, представьте, однимъ словомъ, не менѣе искренняго и прямолинейнаго послѣдователя *разума*, все равно, въ какомъ угодно смыслѣ, чѣмъ въ средніе вѣка были у католичества и папы, вы непремѣнно съ такимъ прозелитомъ дойдете до фанатизма и жестокости.

Надо только помнить, — отвлеченный разумъ дѣйствительно былъ религіей восемнадцатаго вѣка и впослѣдствіи революціонеровъ, и историкъ обнаружитъ крайнее неразуміе или партійный политическій разсчетъ, если теоретиковъ и идеологовъ смѣшаетъ съ обыкновенными злодѣями и сумасшедшими, если вмѣсто тщательнаго психологическаго анализа займется полицейскимъ протоколированіемъ внѣшнихъ фактовъ.

Если ужъ дѣйствительно мы обязаны произнести судебный приговоръ «учредителямъ» и «законодателямъ», мы должны направить свой гнѣвъ прежде всего не на отдѣльныхъ личностей, а на общій нравственный источникъ заблужденій и насилій, на дѣйствительно неосновательную *философію*, на фантастическое представленіе о всемогуществѣ чисто разсудочныхъ понятій и всевозможныхъ художественныхъ идеаловъ.

Сущность этой философіи перешла далеко за предѣлы Франціи—въ среду, гдѣ не было рѣшительно никакой почвы для политическаго якобинства. Лучшее доказательство, что и такая философія по условіямъ времени являлась *исторической* необходимостью, а не произвольнымъ преступнымъ умысломъ нарочитыхъ злодѣевъ.

Это не значитъ *оправдывать* ужасы французскаго переворота, вызвавшаго на сцену несомнѣнно не мало и дурныхъ страстей и годами накипѣвшей личной ненависти и желчи, и темныхъ инстинктовъ честолюбія и мести. Это значитъ явленія, фактическіе результаты связывать съ причиной и почвой, т. е. совершать единственно цѣлесообразную и поучительную работу всякаго историческаго изслѣдованія.

Философская вѣра въ непреодолимо побѣдоносное воздѣйствіе *идеи*, т. е. нравственной человѣческой *личности* на дѣйствительность явилась логическимъ оружіемъ культурной борьбы восемнадцатаго вѣка съ преданіями. Вѣдь у человѣка вообще въ распоряженіи только два пути—установить извѣстный жизненный строй: или воспользоваться общимъ готовымъ матеріаломъ, или въ случаѣ его явной непригодности попытаться извлечь основы бытія изъ собственнаго духовнаго міра, изъ своего *я*.

Просвѣтительная философія безповоротно порвала съ прошлымъ, и особенно какъ разъ въ самой важной по человѣчеству необходимой области—*съ духовными идеалами* и вѣрованіями, т. е. съ католическимъ ученіемъ и папской церковью.

Ясно, единственнымъ прибѣжищемъ осталась та же самая сила, какая со временъ реформаціи обнажала язвы старины и постепенно разрушала ветхое зданіе.

Это и былъ *разумъ*, т. е. обобщенная человѣческая *личность*.

Онъ одновременно велъ разрушительный процессъ противъ преданій и создавалъ свои положительныя понятія, создавалъ очень простымъ путемъ, въ прямую противоположность съ представленіями своего непримиримаго врага.

Самая распространенная идея восемнадцатаго вѣка—идея *естественнаго человѣка* ничто, иное, какъ логическій полюсъ старому культу традиціоннаго, исторіей освященнаго, будь это вопіющее злоупотребленіе и несправедливость.

Это культурный смыслъ, психологическій еще яснѣе. Свести человѣка къ естественному состоянію, т. е. оторвать его отъ исторической почвы и всякихъ условій дѣйствительности, значитъ провозгласить крайній индивидуализмъ, на мѣсто религіи массы и законовъ жизни поставить религію *я* и внушенія *личности*.

Такой результатъ отнюдь не открытіе вольтеровской критики, онъ вообще плодъ всякаго коренного культурнаго протеста, онъ развился задолго до *энциклопедіи* въ нѣдрахъ лютеровскаго религіознаго движенія. Просвѣтительная философія только сдѣлала

дальнѣйшій шагъ. Протестантизмъ усиливался разумъ и личность привести въ гармонію съ священнымъ писаніемъ, философы отвергли и это ограниченіе и остались на пути такъ-называемой естественной логики и метафизики. Прямымъ ученикомъ французскихъ просвѣтителей явился Фихте, столь же тѣсно связанный съ философіей и психологіей энциклопедистовъ, какъ Шиллеръ съ ихъ политикой.

VIII.

Фихте началъ съ восторговъ предъ французской революціей и, слѣдовательно, предъ французской философіей. Ему, какъ и маркизу Позѣ, казались высшей мудростью «права человѣка» внѣ времени и пространства и онъ путемъ публицистики дѣлалъ то же самое для французскихъ идей среди германской публики, что Шиллеръ путемъ поэзіи.

Идея всепреобразующей философской личности развилась у Фихте подъ прямымъ вліяніемъ французской мысли и практики, и Фихте служилъ этой практикѣ своимъ словомъ, пока она сама служила міровому культурному прогрессу.

Но на сценѣ идеологовъ и законодателей явился скоро Тимуръ XIX-го вѣка, самъ полагавшій свою гордость именно въ этой роли. Такой оборотъ дѣла быстро разочаровалъ и французскихъ и иностранныхъ поклонниковъ революціи. Поэты въ родѣ Бэрнса и Вордсворта, горячо привѣтствовавшіе зарю свободы и правды, теперь настроили свои лиры на совершенно другой тонъ, съ общечеловѣческаго на практическій, съ французскаго на національный.

Буквально то же самое произошло и съ Фихте, и должно было произойти по еще болѣе повелительнымъ обстоятельствамъ.

Наполеонъ только грозилъ Англіи и не могъ пойти дальше континентальной системы, жестоко давившей и собственныхъ подданныхъ оригинальнаго политика. Но Германія совершенно подпала подъ дикое самовластіе завоевателя, и нѣмецкій патріотизмъ никогда еще за все существованіе германской націи не имѣлъ болѣе достойныхъ основаній проявить всю свою «тевтонскую ярость» и во всемъ блескѣ напомнить времена борьбы Лютера и Гуттена противъ Рима.

Теперь соедините чувство патріотизма, принципъ національности съ идеей личности въ смыслѣ XVIII-го вѣка, и вы получите всю философскую, политическую и культурную систему Фихте.

Все равно какъ сама французская философія—только болѣе рѣшительное проявленіе протестантскаго духа, точнѣе—идейной и нравственной оппозиціи противъ католичества, такъ Фихте прямой наслѣдникъ стариннаго гуттеновскаго гнѣва на враговъ національнаго могущества и культурной независимости Германіи.

Въ началѣ XIX-го вѣка германскому философу пришлось произвести настоящую революцію въ области національнаго сознанія. Для него это было вполнѣ свойственное предпріятіе. Онъ только что защищалъ чужую революцію, и теперь ему не предстояло даже измѣнять основного принципа, а только перенести его въ другую среду и направить къ другимъ цѣлямъ.

Личность въ философской системѣ Фихте останется на той же высотѣ, на какую поставили ее французскіе просвѣтители, а *внѣшній міръ* снизойдетъ до еще болѣе низкаго уровня, окажется еще призрачнѣе и безсильнѣе въ сравненіи съ человѣческимъ разумомъ, чѣмъ полагали энциклопедисты. Это будетъ результатомъ болѣе строгой систематичности отвлеченной мысли и болѣе напряженныхъ практическихъ стремленій нѣмецкаго профессора.

Ему предстоитъ дѣйствовать на менѣе воспріимчивыхъ слушателей, чѣмъ французская публика XVIII вѣка, и достигнуть болѣе трудныхъ идейныхъ преобразованій и въ несравненно болѣе короткій срокъ, чѣмъ Вольтеру среди давно уже скептическаго и недовольнаго общества вызвать какое угодно отрицательное чувство къ старой церкви и старому общественному строю.

Еще такъ недавно первостепенный умъ Германіи—Лессингъ—считалъ политическіе вопросы исключительнымъ достояніемъ государей и министровъ, первостепенный нѣмецкій поэтъ готовъ бѣжать на край свѣта, лишь бы спастись отъ политики, что же могли думать средніе люди, не геніи, а просто бюргеры и ихъ дѣти?

А между тѣмъ государи и министры безнадежно склонялись подъ гнетомъ иноземнаго властителя, вся надежда оставалась на тѣхъ, кто до сихъ поръ не занимался политикой и шелъ покорно во слѣдъ призваннымъ *оффиціальнымъ* распорядителямъ своихъ судебъ, однимъ словомъ, на бюргеровъ, на народъ, на молодежь.

И Фихте изъ профессора превращается въ трибуна.

«Я не могу просто думать, я хочу дѣйствовать, дѣйствовать внѣ меня!»—восклицаетъ онъ и направляетъ весь свой талантъ, всю свою логику на это *внѣшнее*.

Борьба не особенно трудна, доказываетъ философъ. Что такое

внѣшній міръ? Призракъ, не имѣющій самостоятельнаго бытія. Онъ созданъ нашимъ *я*, онъ—совокупность нашихъ представленій. Мы не можемъ познать *сущности* явленій вовсе не потому, что она непостижима для нашего разума, а просто потому, что ея не существуетъ. Ихъ творитъ наше *я*, единственно реальная сущность. Это—высшій единый принципъ, не ограниченная творческая сила, одновременно познающая и создающая все *не я*.

Очевидно, это *я* безусловно свободно, неограничено никакими внѣшними законами и условіями ни въ своихъ силахъ, ни въ своихъ цѣляхъ. *Я* создаетъ внѣшній міръ своей внутренней дѣятельностью, то же *я* указываетъ и цѣли своему созданію. Смыслъ внѣшняго міра заключается въ его соотвѣтствіи нашей волѣ, его прогрессъ ничто иное, какъ осуществленіе нашей нравственной свободы, и природа существуетъ за тѣмъ, чтобы *я* могло проявлять свою независимость и свое творчество.

Такимъ образомъ, *непознаваемость* сущности внѣшняго міра превратилась для Фихте въ *небытіе* и духовный міръ, *субъектъ* сталъ единственнымъ источникомъ бытія и его развитія.

Практическіе выводы очевидны: проповѣдь безусловной свободы личности, совершенное устраненіе всякаго внѣшняго авторитета и восторженная вѣра въ творческое воздѣйствіе духа, разума, *идей* на дѣйствительность, политическій и общественный строй, на самый ходъ исторіи.

До сихъ поръ это—понятія XVIII вѣка, и еще составляя критику на сочиненія Кондорсе, Фихте въ глубинѣ человѣческаго духа видѣлъ законъ историческаго прогресса. Но дальше начинались *временныя* приложенія теоріи, подсказанныя философу его личнымъ положеніемъ среди современныхъ событій.

Французамъ культъ разума былъ необходимъ затѣмъ, чтобы сломить иго старой церкви и стараго государства. Фихте принципъ всемогущаго творческаго *я* требовался, какъ оружіе противъ вообще старой цивилизаціи, господствовавшей надъ нѣмецкими умами, т.-е. противъ французской духовной и политической власти.

Вѣками установился порядокъ считать французовъ привилегированной націей, аристократами и избранными талантами среди всего человѣчества. Это повлекло всѣ европейскіе народы къ постыдному національному самоотреченію, къ умственному рабству, а теперь—и къ политическимъ униженіямъ.

Правы ли французы въ своихъ притязаніяхъ и дѣйствительно ли нѣмцы столь безнадежные данники чужой силы?

Для Фихте отвѣтъ заранѣе предрѣшенъ.

Еще до завершенія философской системы Фихте задумалъ «пробудить отъ усыпленія и нравственно поднять своихъ соотечественниковъ».

Система давала ему могущественное оружіе. Понятіе абсолютнаго *я* на политической почвѣ непосредственно переходило въ идею національнаго *я* и все, что Фихте—въ качествѣ философа—открывалъ въ области личнаго творчества и воздѣйствія на внѣшній міръ, все это—въ качествѣ политика—онъ неизбѣжно долженъ былъ перенести на первоисточникъ возрожденія Германіи, національность.

Сами французы XVIII вѣка выразили насмѣшливое сомнѣніе въ исключительныхъ правахъ на міровое господство французской цивилизаціи и литературы: германскій ученикъ французской мысли пошелъ гораздо дальше. Въ силу законовъ рѣшительной борьбы, одна крайняя идея вызвала другую, и на мѣсто аоинскихъ воззрѣній французскаго народа на свое провиденціальное назначеніе, выросли такія же воззрѣнія у ихъ противниковъ.

Отъ общаго принципа *національности* Фихте логически перешелъ къ идеализаціи *германизма* и во имя настоятельныхъ побужденій современности именно на эту цѣль направилъ свое стремленіе дѣйствовать, свою страсть — воодушевить родину на культурную и политическую борьбу

IX.

Въ самой натурѣ Фихте жили всѣ задатки довести разъ воспринятую идею до послѣднихъ отвлеченныхъ и практическихъ результатовъ. Какъ у всякаго бойца, да еще чувствующаго себя въ очагѣ всеобщаго возбужденія и сосредоточивающаго на себѣ общественное вниманіе, у Фихте не могло быть чисто-теоретическихъ взглядовъ. Всякая мысль превращалась у него въ *убѣжденіе*—не въ смыслѣ доказанной и безусловно усвоенной истины, а въ смыслѣ непосредственно дѣйствующей, стихійно стремящейся къ осуществленію идеи.

Отсюда, рѣзкая прямолинейность, даже фанатизмъ міросозерцанія, близкій къ вѣрѣ въ личную непогрѣшимость и не вступающій въ сдѣлки съ разными ограниченіями, частными подробностями, т. е. отдѣльными отвлеченными или жизненными препятствіями.

Этотъ психологическій законъ превосходно выраженъ Сенъ-Симономъ, философскую и научную мысль также ставившимъ во главѣ общественныхъ преобразованій.

«Создать систему — значитъ создать мнѣніе — по самой природѣ—рѣзко-рѣшительное, безусловное, исключительное» [16]).

Такую систему создалъ и Фихте изъ національнаго вопроса. Онъ родоначальникъ *національной идеи* въ ея безусловномъ смыслѣ, т. е. основатель религіи національности, всякихъ сильныхъ чувствъ и энергическихъ предпріятій на поприщѣ національной политики, національной литературной дѣятельности и національнаго просвѣщенія.

Подробности совершенно очевидны.

Фихте вполнѣ логически перешелъ къ идеѣ народности, самобытности, къ защитѣ всѣхъ основъ національной духовной оригинальности—народнаго языка, народной поэзіи и народныхъ преданій, вѣрованій и вѣнецъ всего — проповѣдь всеобщаго народнаго просвѣщенія.

Только оно можетъ окончательно освободить націю отъ унизительныхъ чужихъ вліяній, только оно упрочитъ ея самобытный, свободный путь положительнаго и культурнаго прогресса, обезпечитъ ея творческому генію жизненную силу и безсмертную славу.

Естественно, Фихте могъ договориться до народничества въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, превознести собственно народъ, низшіе классы надъ высшими, потому что послѣдніе впитываютъ въ себя чужое просвѣщеніе и даже чужіе нравы, вырываютъ пропасть между своей духовной жизнью и народной нравственной почвой.

Основная язва этого чужебѣсія—усвоеніе чужого языка и пренебреженіе роднымъ, и Фихте прямымъ путемъ отъ своей философской системы подошелъ къ вопросамъ литературы и искусства.

Національное *я* и значитъ ничто иное, какъ національное *творчество*, т. е. народное — по языку и содержанію.

Фихте неистощимъ на эту тему, и здѣсь его оригинальная заслуга не предъ одной нѣмецкой литературой.

Но философъ не могъ обойти мотива, съ такимъ блескомъ развитаго у сенъ-симонистовъ, о поэтѣ-проповѣдникѣ и общественномъ вождѣ.

[16]) Produire un système, c'est produire une opinion qui est par sa nature tranchante, absolue, exclusive. *Catéchisme politique des Industriels.* Paris 1832. p. 14—5.

Именно Фихте и долженъ былъ особенно увлечься вопросомъ объ идейномъ и творческомъ вліяніи слова на людей и жизнь. Онъ самъ въ рѣчахъ къ германскому народу является пророкомъ, то грознымъ и карающимъ, то восторженнымъ и одушевляющимъ. Онъ даже приводилъ изреченія древнихъ израильскихъ пророковъ, имѣя въ виду современную дѣйствительность и, конечно, возлагалъ самыя выспреннія надежды на вдохновенную, прочувствованную рѣчь. Недаромъ онъ просилъ у прусскаго правительства позволенія выступить передъ войскомъ съ патріотической проповѣдью. Философъ готовъ былъ превратиться въ Тиртея и отвлеченную мысль смѣнить на паѳосъ краснорѣчія.

Надо помнить, дѣятельность Фихте падаетъ на самыя тяжелыя времена для германскаго народа, послѣ тильзитскаго мира, когда власть Наполеона, казалось, не имѣла предѣла и философъ на каждомъ шагу могъ жестоко поплатиться за свое гражданское мужество.

Это положеніе сообщило особый страстный характеръ рѣчамъ Фихте и рѣзко раздѣлило его систему на два момента. Одинъ неразрывно связанъ съ современностью: это — самый принципъ фихтіанства, *субъективный идеализмъ* и въ практическихъ выводахъ культурная исключительность германской націи. Обѣ идеи внушены философу борьбой и ея развитіемъ и могли не пережить историческихъ условій, вызвавшихъ къ жизни идеи.

Но другому моменту суждено было остаться прочнымъ капиталомъ въ европейской мысли.

Фихте до такой степени тщательно и полно раскрылъ понятіе національности, его историческое и культурное значеніе, такъ ярко освѣтилъ нравственный и творческій смыслъ самобытной стихіи въ жизни народа и государства, такъ горячо защищалъ именно основныя права народа въ политическомъ и умственномъ прогрессѣ страны, что съ этихъ поръ *національное*, *національизмъ*, *народничество* стали аксіомами сами по себѣ, независимо отъ частныхъ историческихъ обстоятельствъ.

Легко, конечно, представить, идея Фихте, въ общей принципіальной основѣ одинаково обязательная для писателей и политиковъ всѣхъ націй, являлась различной въ своихъ мѣстныхъ, историческихъ опредѣленіяхъ.

Фихте доказывалъ міровое назначеніе германской стихіи, его ученики — не германцы — тѣ же доказательства естественно могли приложить къ *своимъ* національностямъ.

Почва приложенія въ началѣ XIX-го вѣка повсюду оказывалась не менѣе подготовленной, чѣмъ въ Германіи, и прежде всего въ нашемъ отечествѣ.

Оно шло во главѣ грандіозной борьбы противъ бонапартизма, и до такой степени путь этотъ былъ внушителенъ и націоналенъ, что, мы увидимъ впослѣдствіи, именно эти черты отмѣчены прежде всего самими иностранцами.

Вполнѣ послѣдовательно, къ русскимъ умамъ быстро привилось фихтіанство, какъ мощная проповѣдь національнаго принципа и, разумѣется, германофильство нѣмецкаго философа неизбѣжно превратилось въ соотвѣтствующее *русское* направленіе, впервые посѣяны были идейныя сѣмена *славянофильства*.

Мы отнюдь не должны представлять здѣсь школьническаго прозелитизма, чистокнижныхъ вліяній и еще менѣе модныхъ увлеченій, какъ это было съ русско-французскимъ аристократическимъ просвѣщеніемъ XVIII-го вѣка. Все равно, какъ было бы несправедливо философскій субъективизмъ Фихте считать только вѣяніемъ вообще духа просвѣтительной философіи, такъ и русскую національную мысль начала столѣтія невозможно привязывать къ *внѣшнимъ* заимствованіямъ. Мы увидимъ, русскіе журналисты, навѣрное не читавшіе произведеній Фихте и вообще не обладавшіе ни малѣйшими философическими наклонностями, съ необычайнымъ азартомъ развивали символъ національной вѣры.

У нихъ только не было логической стройности ни въ основѣ, ни въ подробностяхъ, говорила кровь и страсть, непосредственное чувство патріотизма, но смыслъ оставался тотъ же — *доказывалась ли* и *раскрывалась* идея или только *провозглашалась* и *внушалась*.

Великая культурная сила философскаго періода русскаго общественнаго развитія и заключается именно въ *исторической причинности* явленія, въ его *реальной почвенности*, проще и точнѣе— въ совпаденіи запросовъ практической, глубоко переживаемой дѣйствительности съ извѣстными выводами философскаго разума.

Только этимъ фактомъ и обусловливается вообще плодотворность всякаго умственнаго движенія вездѣ и всегда, только при такихъ сопутствующихъ обстоятельствахъ иноземныя вліянія на нашу общественность дѣйствительно являлись положительными, жизненно-производительными.

И мы должны теперь же установить основной законъ русскаго культурнаго прогресса. Безусловно просвѣтительныя и преобразовательныя теченія въ русской жизни создавались отнюдь не усвое-

ніемъ тѣхъ или другихъ западныхъ идей, а назрѣвали въ сознаніи самихъ лучшихъ представителей русскаго общества, съ историческою послѣдовательностью и нравственной повелительностью подсказывались всѣмъ русскимъ людямъ, кто желалъ искренне и глубоко вдуматься въ русскую дѣйствительность,

Если не было этой искренности и вдумчивости, если, независимо отъ иностранныхъ книгъ, у русскихъ просвѣщенныхъ читателей не болѣло сердце своей родной болью, не проявляло чуткости и отзывчивости не къ отвлеченнымъ разсужденіямъ, а къ реальнымъ фактамъ, самая гуманная иноземная философія не мѣшала разцвѣтать самому дикому эгоизму и варварству какъ разъ среди вольтеріанцевъ и энциклопедистовъ, среди покорнѣйшихъ подданныхъ великой философской республики.

Поколѣніе начала XIX-го вѣка отнюдь не отличалось такой покорностью. Мы встрѣтимся съ изумительной силой критической мысли, съ твердымъ сознательнымъ скептицизмомъ, направленнымъ на самыхъ вліятельныхъ учителей, и между тѣмъ не можетъ быть и сравненія между нравственными и умственными отраженіями германскихъ идей на міросозерцаніи русской молодежи двадцатыхъ и позднѣйшихъ годовъ и вольтеріанскими пошлостями екатерининскихъ «орловъ».

Германская философія не служила пищей праздному тунеядному любопытству и не являлась также единственнымъ духовнымъ достояніемъ русскихъ критиковъ и философовъ. Она только давала *обобщенія* готовымъ фактамъ и идеямъ, она приводила въ систему понятія и стремленія, внушенныя вовсе не ею, а силой, несравненно болѣе настоятельной—русской жизнью, русской политической и общественной исторіей.

Такъ будетъ повторяться со всѣми дѣйствительно преобразовательными отраженіями западныхъ идей въ русской средѣ.

Философское понятіе Фихте о національности для русскаго общества начала XIX-го вѣка будетъ такимъ же логическимъ, желаннымъ фактомъ, какимъ впослѣдствіи окажутся идеи сороковыхъ и отчасти шестидесятыхъ годовъ.

Здѣсь и заключается величайшій культурный переворотъ, разбивающій исторію русскаго прогресса на двѣ эпохи—просвѣщеннаго эпикурейскаго модничанья высшихъ сословій прошлаго вѣка, какъ разъ заинтересованныхъ въ практической безплодности европейскаго просвѣщенія на русской почвѣ, и подлинной нравственно воспринимаемой образованности новыхъ поколѣній начала текущаго столѣтія, *интеллигенціи* въ истинномъ смыслѣ слова.

Мы говоримъ *нравственно воспринимаемой*: это значитъ сознательно, свободно, не ради извѣстнаго авторитета, эстетическихъ или умственыхъ цѣлей, а ради настоятельныхъ жизненныхъ потребностей и ради духовной мучительной жажды. А это значитъ воспріятіе идей будетъ совершаться не въ сплошной, хаотической формѣ, какъ это было съ вольтеріанцами, а въ соотвѣтствіи съ принципами и причинами, стоящими выше самихъ авторитетовъ и ихъ идей, въ соотвѣтствіи съ приложимостью понятій къ дѣйствительности.

Отсюда совершенно самостоятельный интересъ русскихъ философскихъ теченій.

Въ каждомъ изъ нихъ заключается зерно той или другой европейской философской системы, но одушевленное и развитое русской средой и русскимъ умомъ.

Въ результатѣ, многое изъ каждой системы отпадаетъ и остается лишь то, что́ дѣйствительно можетъ служить объединяющимъ принципомъ въ міросозерцаніи русскихъ учениковъ иностранной мысли. И исторія русскихъ философскихъ направленій и просто увлеченій, исторія, разработанная непремѣнно въ подробностяхъ и оттѣнкахъ, исторія, до сихъ поръ совершенно отсутствующая, была бы въ полномъ смыслѣ исторіей русской культуры, по крайней мѣрѣ, до эпохи реформъ.

Фихтіанство имѣло у насъ ту же судьбу, какъ и его преемники: отъ него осталась идея національности, необходимая русскому просвѣщенію по русскимъ же историческимъ условіямъ и выросшая изъ русскихъ же историческихъ событій.

Что же касается основного принципа философіи Фихте, онъ — принципъ по преимуществу боевой, революціонный, и на родинѣ не могъ пережить соотвѣтствовавшей ему эпохи уже въ силу своей философской односторонности и узко-практической преднамѣренности.

Оба эти недостатка одинаково способны вызвать оппозицію, особенно первый. Для этого философу достаточно другой *личной* натуры, чѣмъ у Фихте — агитатора и проповѣдника. Ничего не могло быть легче, какъ появленіе полнаго контраста именно среди нѣмецкихъ философовъ, т. е. новое воплощеніе исконнаго германскаго типа мыслителя: отрѣшеннаго созерцателя, идеально-примирительнаго ума, готоваго пренебречь какой угодно дѣйствительностью во имя цѣльности и гармоніи отвлеченной системы и философію превратить скорѣе въ поэзію и даже религію, чѣмъ въ политику.

Не могъ остаться безъ дѣйствія и другой недостатокъ фихтіанства: его прямолинейная приспособленность къ извѣстнымъ практическимъ нуждамъ. Разъ онѣ миновали или даже утрачивали свой острый характеръ, ослаблялось значеніе и самой системы. Тѣмъ болѣе, что она, вся исполненная нервной стремительности и страстныхъ призывовъ, уже сама по себѣ не могла удовлетворить извѣстное намъ основное стремленіе начала XIX-го вѣка къ единому прочному философскому принципу—успокоительному послѣ разрушеній предыдущей эпохи и созидательному послѣ бурь революціи.

Изъ среды учениковъ самого Фихте вышелъ философъ, какъ нельзя болѣе способный на мѣсто *субъективизма* и *политики* выдвинуть объективное созерцаніе.

X.

Система Фихте могла оказать большую услугу Германіи въ нравственно-общественномъ отношеніи, воодушевить равнодушныхъ и ободрить павшихъ духомъ, но она по существу была безсильна какъ теорія, какъ система. Безусловное отрицаніе внѣшняго міра, какъ сущности и реальной силы, встрѣчалось съ противорѣчіями на каждомъ шагу—и въ наукѣ, и въ жизни.

Та самая темная сила, съ какой боролся Фихте,—деспотизмъ Наполеона, являлась нагляднымъ доказательствомъ безсилія философскаго разума и могущества исторической дѣйствительности.

Наполеонъ всю свою нехитрую систему внѣшней и внутренней политики построилъ именно на рѣшительномъ устраненіи идей въ смыслѣ общихъ принциповъ, на эксплоатированіи фактовъ самаго грубаго почвеннаго характера—низменныхъ инстинктовъ у отдѣльныхъ личностей, и чувствъ страха и эгоизма у общества. Цезарь являлъ изъ себя воплощенный *тактъ обстоятельствъ*: такъ любилъ онъ самъ характеризировать свою философію, и достигъ поразительныхъ успѣховъ, какіе и не грезились идеологамъ.

Очевидно, въ міровомъ порядкѣ имѣло значеніе нѣчто помимо *я*—нравственнаго и свободнаго.

А потомъ, независимо отъ возникновенія первой имперіи, права органической жизни политическихъ обществъ, такъ-называемые законы историческаго развитія, т. е. та же дѣйствительность, существующая внѣ нашего *я* и независимо отъ него, пріобрѣли небывалый кредитъ послѣ разгрома благороднѣйшихъ и теоретически-стройныхъ государственныхъ идеаловъ.

Уже Сенъ-Симонъ жестоко ополчался на адвокатовъ и метафизиковъ революціонныхъ собраній, обзывалъ ихъ кандидатами въ сумасшедшій домъ за ихъ пренебреженіе къ урокамъ исторіи. Эта идея даже въ такой рѣзкой формѣ нашла не мало сочувственниковъ, и продолжаетъ находить ихъ до сихъ поръ, но сущность ея—признаніе закономѣрнаго развитія общества въ ущербъ неограниченно-героическимъ воздѣйствіямъ личности на дѣйствительность—перешла даже къ искреннимъ защитникамъ самой революціи.

И эти защитники, въ родѣ Минье, Тьера, Гизо и многочисленныхъ либеральныхъ политиковъ и ученыхъ девятнадцатаго вѣка, нашли единственный надежный путь оправдать революцію—доказать ея *фактическую* необходимость, связать ее съ неизбѣжнымъ *ходомъ вещей* и оставить возможно меньше мѣста *творчеству отдѣльныхъ* личностей. Только при такомъ взглядѣ революція пріобрѣтала свои права въ культурной исторіи человѣчества.

Наконецъ, другой внѣшній міръ—природа—также съ чрезвычайной настойчивостью заявлялъ о своемъ бытіи какъ разъ въ эпоху фихтіанства. Наивныя мечты Сенъ-Симона распространить законъ тяготѣнія на явленія нравственнаго порядка не могли имѣть никакого серьезнаго значенія и даже логическаго смысла.

Совсѣмъ другой матеріалъ представило естествознаніе философамъ въ сравнительно очень короткій срокъ, въ теченіе двадцати-тридцати лѣтъ. За это время сдѣлано множество въ высшей степени важныхъ открытій въ области электричества, и каждое изъ нихъ вызывало сильнѣйшее возбужденіе философской мысли.

Открытіе «животнаго электричества», т. е. гальванизмъ немедленно отразился на судьбѣ «единаго принципа». Нашлись рѣшительные люди, готовые всѣ явленія органической и неорганической жизни свести къ электрической силѣ, особаго рода нервной жидкости. Міръ сразу получалъ удивительно стройное и простое единство, и новый принципъ давалъ сколько угодно мотивовъ и поводовъ къ самымъ смѣлымъ выводамъ въ области глубочайшихъ тайнъ бытія.

Физика и химія не остановились на гальванизмѣ. Дальнѣйшія открытія все рѣшительнѣе, казалось, утверждали единство міровыхъ силъ. Была доказана тѣснѣйшая взаимная связь электричества и магнетизма. Становилось очевиднымъ, — вся природа проникнута единымъ органическимъ двигателемъ, *естественной силой*, творящей многообразныя формы по извѣстнымъ неуклоннымъ законамъ.

Вопросъ о неразрывномъ единствѣ всего, подлежащаго изслѣдованію человѣческаго ума, неотразимо ставился не метафизическими соображеніями, а совершенно наглядными открытіями и наблюденіями. Уже Сенъ-Симонъ, ища логическаго естественнаго закона для созданія новаго общественнаго строя, призналъ за аксіому непрерывную цѣпь развитія отъ неорганическаго міра до соціальныхъ явленій высшаго порядка, исторію называлъ «соціальной физикой» и свое собственное подготовительное поприще проходилъ по строгому плану: началъ съ изученія неорганизованныхъ тѣлъ, перешелъ къ организмамъ и закончилъ *новымъ христіанствомъ*, т. е. новымъ законодательствомъ.

Практическіе результаты не соотвѣтствовали отвлеченной стройности проекта, но для насъ важно отмѣтить *идею развитія*, объединяющаго, по представленію сенъ-симонистской школы, всѣ явленія физическаго и нравственнаго міра.

При свѣтѣ этой идеи организмы—продуктъ не преднамѣренныхъ цѣлей, лежащихъ въ основѣ мірозданія, а необходимыя проявленія единой естественной творческой силы, дѣйствующей по законамъ, ей безусловно присущимъ.

Такимъ образомъ, всѣ организмы ничто иное, какъ только различныя ступени естественнаго развитія, между ними нѣтъ пропастей и произвольныхъ перерывовъ и скачковъ, такъ же какъ нѣтъ вмѣшательства спеціальной силы въ созданіе организмовъ рядомъ съ неорганической природой.

Этотъ взглядъ одновременно наносилъ удары и старой философіи естествознанія, и старой назидательной метафизикѣ, уничтожалъ теорію витализма и доказывалъ неосновательность узкихъ морализирующихъ телеологическихъ воззрѣній на міръ.

Ясно, при такихъ условіяхъ внѣшняя дѣйствительность пріобрѣтала сама по себѣ громадный интересъ и безусловныя независимыя права не только на опытное изслѣдованіе, но и на чистофилософскія системы.

Именно философское вліяніе новыхъ естественно-научныхъ выводовъ особенно важно и оригинально.

Идея единой естественной силы, проходящей черезъ всѣ формы и явленія и въ силу законовъ создающая столь совершенные цѣлесообразные организмы, эта идея, независимо отъ какихъ бы то ни было нравственныхъ и метафизическихъ выводовъ, преисполнена величія и поэзіи, глубины и красоты. Она какъ нельзя болѣе способна увлечь съ одинаковой силой и мысль, и воображеніе, раз-

вернуть заманчивѣйшія перспективы предъ творческимъ, логическимъ разумомъ и свободной вдохновенной фантазіей.

Въ результатѣ ни въ одной идеѣ не заключается такихъ богатыхъ источниковъ для противоположныхъ наклонностей и запросовъ человѣческой природы, для строгой науки и для «патетической силы». Философъ съ одинаковымъ успѣхомъ можетъ пользоваться фактами и образами, доказательствами и лиризмомъ. Вѣдь понятіе естественной творческой стихіи не даетъ рѣшительнаго отвѣта на высшій вопросъ философіи о первопричинѣ, и здѣсь послѣ какихъ угодно опытовъ и открытій оставалось обширное поприще для личнаго *творчества* философа.

Система, просто стремясь къ возможной полнотѣ и цѣлостности, неизбѣжно сливала въ себѣ разнообразнѣйшіе элементы, чего могло не быть въ фихтіанской системѣ рѣзко практическаго, нравственно-просвѣтительнаго характера.

Шеллингъ и по внѣшнимъ внушеніямъ, и особенно по разносторонней талантливости своей натуры создалъ оригинальное философское ученіе, изобилующее и плодотворнѣйшими логическими истинами, и въ полномъ смыслѣ романтическимъ творчествомъ.

XI.

Шеллингъ родился поэтомъ и очень долго дышалъ поэтическимъ воздухомъ современной Германіи. Необыкновенная, очень ранняя талантливость въ философскихъ вопросахъ не мѣшала первому германскому властителю русскихъ думъ до конца сохранять въ себѣ сильную поэтическую закваску. Именно одинъ изъ первыхъ русскихъ прозелитовъ нѣмецкой философіи отъ лекцій Шеллинга вынесъ совершенно опредѣленное и очень богатое послѣдствіями впечатлѣніе: «Шеллингъ поэтъ тамъ, гдѣ даетъ волю естественному стремленію своего ума». И слушатель выражаетъ даже увѣренность, что Шеллингъ писалъ въ молодости стихи [19]).

Догадка вполнѣ справедливая.

Девятнадцати лѣтъ Шеллингъ блестяще усвоилъ философію Фихте и написалъ нѣсколько произведеній въ духѣ учителя. Но въ то же время молодой философъ воспринималъ обильныя вліянія другой области — романтической поэзіи, лично былъ въ тѣсныхъ отношеніяхъ съ главнѣйшими романтиками—Тикомъ, Августомъ

[19]) Ив. Кирѣевскій въ письмѣ къ А. Кошелеву. *Полное собраніе сочиненій.* Москва 1861, стр. 15, 18.

и Фридрихомъ Шлегелями и фантастичнѣйшимъ изъ нихъ — Новалисомъ. Эта среда и вызвала его самого на стихотворное творчество.

Стихи оказались мимолетнымъ увлеченіемъ; несравненно болѣе глубокіе слѣды въ умственномъ развитіи Шеллинга оставило романтическое міросозерцаніе, особенно романтическія воззрѣнія на искусство.

Романтическая литературная школа и поразительные успѣхи естествознанія—основные факты въ возникновеніи и въ развитіи шеллингіанства. По существу оба факта вели къ совершенно гармонической системѣ, хотя и далеко не ясной и логической во всѣхъ подробностяхъ.

Для романтиковъ поэзія, искусство не только творческія силы, а высшее духовное явленіе, душа міра, сущность человѣческаго развитія. Этотъ взглядъ неуклонно развивался Шиллеромъ, независимо отъ спеціальныхъ романтическихъ теорій. Художественная геніальность и человѣческое совершенство для него тожественны. Эстетическое воспитаніе человѣчества значитъ идеально-гармоническое развитіе двухъ основныхъ сторонъ нашего нравственнаго міра—чувства и разума, природы и свободы.

Естественно *красота* и—*истина* понятія, совпадающія другъ съ другомъ [20]). Но Шиллеръ такъ думалъ только въ минуты лирическаго восторга и сознательно не совершилъ всего пути къ культу искусства; на долю романтиковъ осталось еще очень многое.

Шиллеръ строго разграничивалъ *красоту* и *мораль*, эстетическую оцѣнку отъ нравственной, указывалъ психологическую основу противорѣчій и приводилъ убѣдительные примѣры [21]). Романтики, въ качествѣ бурныхъ геніевъ не желали знать никакихъ оговорокъ и довели идеализацію искусства и генія до всеобъемлющей силы и величія.

Поэзія—истинное откровеніе міра, высшая сущность, внѣ ея нѣтъ ни религіи, ни философіи, ни познанія.

Геній, т. е. творческая сила—абсолютная личность, *я* фихтіанской системы. Здѣсь романтизмъ шелъ рядомъ съ учителемъ Шеллинга, но отнюдь не ради его цѣлой системы и практическихъ выводовъ, а перенося только его представленіе о субъектѣ на свое

---

[20]) Шиллеръ. *Художники.*

[21]) Въ статьяхъ *Мысли объ употребленіи пошлаго и низкаго въ искусствѣ* и *О нравственной пользѣ эстетическихъ нравовъ.*

понятіе геніальнаго художника. Это воплощенная личная свобода, могущество внѣ законовъ, границъ и контроля, вполнѣ самодовлѣющій міръ.

Но не единственный, иначе изъ системы получается отвлеченная мораль, сплошная практическая тенденція, исчезаетъ художественная гармонія и всякая поэтическая таинственность. Философія въ результатѣ распадается на цѣлый рядъ болѣе или менѣе частныхъ правилъ нравственнаго и политическаго содержанія.

Совершенно другой результатъ, если *я*, т. е. *генія* противоставить другому міру, *природѣ*, точнѣе, не противоставить, а привести въ естественную органическую связь.

Потому что геній, училъ еще Шиллеръ, та же природа. Отличительная черта генія—торжество надъ разными хитростями и уловками ума, рѣшеніе самыхъ запутанныхъ задачъ «съ незатѣйливою простотой и легкостью», по внушенію природы. Отсюда вѣчная наивность, непосредственность генія [22]).

Если вся сила генія въ его безсознательномъ сліяніи съ природой, въ голосѣ и внушеніяхъ природы именно ему, генію,—очевидно творческое вдохновеніе ничто иное, какъ раскрытіе природы, освѣщеніе ея тайнъ, и искусство—единственная истинная *философія природы*.

Но подлинное опредѣленіе этого процесса не философія, а *созерцаніе*, *интуиція*, вообще нѣчто противоположное логикѣ и опытному знанію, непроизвольное и таинственное.

Такова романтическая теорія искусства и творчества. Существенная для насъ черта этой теоріи сліяніе искусства и высшаго познанія, философіи и поэзіи, идей и вдохновенія.

Все это означало самое высшее превознесеніе искусства и творческаго таланта. Никогда ни одна литературная школа не увѣнчивала такой славой и блескомъ поэта во имя его дарованія, не отводила такого исключительнаго мѣста въ человѣческой дѣятельности поэзіи ради нея самой, какъ романтизмъ.

Сильная художественная даровитость, несомнѣнно, самое яркое свидѣтельство оригинальности личности, и романтики ни на шагъ не отстали отъ Фихте: во имя искусства создавали такой же идеальный субъективизмъ, какой у философа служилъ политикѣ.

Практическіе результаты очевидны.

Сколько бы ни было безпорядочной, часто туманной декламаціи

---

[22]) *Наивная и сентиментальная поэзія.*

въ проповѣдяхъ романтиковъ, они первые среди писателей-художниковъ рѣшились установить на общихъ идейныхъ основахъ великое призваніе поэта. Толкуя съ самой возвышенной точки поэтическое творчество, его психологію и его идейное содержаніе, они тѣмъ самымъ создали совершенно новыя общественныя и нравственныя права для писательской дѣятельности.

Но этого мало. Вопросъ имѣлъ и другую сторону, неразрывно связанную съ понятіемъ о поэзіи.

Разъ поэтъ—глашатай высшихъ тайнъ, такое назначеніе налагало на его личность и направленіе его таланта исключительныя нравственныя обязательства.

Романтики путемъ психологіи и эстетики дошли до тѣхъ самыхъ выводовъ относительно значенія «патетическихъ способностей», какіе были высказаны сенъ-симонистами ради практическихъ цѣлей. Это невольное совпаденіе романтизма съ одной изъ современныхъ ему философскихъ школъ. Но не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію непосредственное и въ высшей степени глубокое воздѣйствіе романтизма на шеллингіанство. Можно сказать даже, вся шеллингіанская философія искусства, для насъ особенно цѣнная, прямое наслѣдство романтическаго литературнаго направленія.

XII.

Шеллингъ, въ сущности, не оставилъ единой цѣльной философской системы, онъ нѣсколько разъ вносилъ поправки даже въ основныя положенія своей философіи, до конца находился въ процессѣ философскаго развитія, принимавшаго съ теченіемъ времени все болѣе смутныя и произвольныя формы.

Первичная наклонность къ поэтическому творчеству въ ущербъ логическому процессу довольно легко перешла въ фантазёрство, а романтическая идея о всепроникающемъ взорѣ художественнаго таланта выродилась въ самый подлинный мистицизмъ.

Эта разбросанность шеллингіанской мысли была ясна даже русскимъ послѣдователямъ философа, и одинъ изъ ученыхъ родоначальниковъ русскаго шеллингіанства — Галичъ — отдавалъ себѣ отчетъ въ недостаткахъ излюбленной системы [23]). Это не мѣшало Шеллингу навербовать многочисленныхъ восторженныхъ поклон-

[23]) *Исторія философскихъ системъ.* Спб. 1818—1819, кн. 2, стр. 293.

никовъ среди русской молодежи. Впослѣдствіи мы увидимъ, чего искала и что нашла эта молодежь въ шеллингіанствѣ.

Но очевидно одно: Шеллингъ, при всей сбивчивости и отрывочности своей системы, отвѣтилъ на жгучіе запросы современнаго общества.

Его заслуги начинаются съ того, что онъ въ философіи возстановилъ права природы, внѣшняго міра. Никакого особенно смѣлаго и оригинальнаго шага не требовалось для этого возстановленія.

Естествознаніе совершало блестящія и непрерывныя завоеванія и увлекало за собой философа. Гёте былъ однимъ изъ самыхъ эффектныхъ завоеваній современной могущественнѣйшей и модной науки. Русскому поэту удалось съ удивительной точностью опредѣлить сущность гетевскаго поэтическаго таланта и всего міросозерцанія:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ...

Это значило выполнять романтическій идеалъ художественнаго творчества, воплощать генія въ его подлинной природѣ и истинѣ.

И ни у кого правда и поэзія именно *природы* не сливались въ такой гармоніи, какъ у Гёте.

Усердныя занятія естественными науками будто подсказывали поэту все новые поэтическіе мотивы и расширяли его умственный кругозоръ до безграничной увлекательной перспективы пантеистическаго созерцанія дивныхъ «матерей», таинственныхъ, но неотразимо краснорѣчивыхъ стихій бытія.

Гёте явился прообразомъ Шеллинга—болѣе полнымъ, чѣмъ романтики. У автора Фауста, помимо лирическихъ восторговъ предъ природой, былъ большой запасъ чисто-научнаго интереса къ ней и умѣнья даже подробностями естественно-научныхъ открытій пользоваться съ творческими цѣлями.

Изученіе явленій природы, по сознанію Гёте, дисциплинировало его умъ и образовало въ извѣстномъ направленіи его поэтическій талантъ.

«Не занимайся я естественными науками,—говорилъ онъ,—я никогда не узналъ бы, каковы люди. Ни въ какой другой области нельзя до такой степени прослѣдить чистое воззрѣніе и мышленіе, ошибки чувствъ и ума, слабость и силу характера. Всюду все болѣе или менѣе шатко и неустойчиво, со всякимъ можно болѣе или менѣе сговориться; но природа не допускаетъ шутокъ, она всегда

правдива, всегда серьезна и строга; она вся—правда: ошибки и заблужденія всегда зависятъ отъ людей» [24]).

При такихъ воззрѣніяхъ Гёте могъ привѣтствовать систему Шеллинга, какъ философское поясненіе и обоснову своей поэзіи.

Шеллингъ нѣкоторое время изучалъ математику, физику, химію и даже медицину, въ теченіе всей жизни не упускалъ изъ виду ни одного естественно-научнаго открытія и стремился немедленно ввести его въ свою систему.

Итакъ, *природа* должна занять мѣсто рядомъ съ *я*.

Но въ какихъ же отношеніяхъ находятся между собой эти два міра?

Отвѣтъ опять подсказанъ естественными науками. Это, въ сущности, *единый* міръ, природа осуществляетъ въ своемъ развитіи тѣ же законы, какіе лежатъ въ основѣ нравственнаго міра.

Эта истина ясна изъ самаго простого соображенія.

Почему мы познаемъ природу, почему даже вообще разсчитываемъ на плодотворность нашихъ наблюденій и опытовъ?

Потому что мы можемъ понять ее. А это мыслимо въ единственномъ случаѣ, когда законы природы соотвѣтствуютъ, точнѣе, совпадаютъ съ законами нашего духа. Иначе книга природы для насъ оставалась бы навсегда недоступной.

Ясно, уже существованіе естественныхъ наукъ само по себѣ создавало исходный принципъ шеллингіанской философіи. Если люди понимаютъ другъ друга,—единственно потому, что у каждаго изъ нихъ мысль подчиняется тожественнымъ логическимъ законамъ, то же самое необходимо предположить и относительно объекта и субъекта, будь это внѣшній міръ и личность.

Гёте, подчиняясь своей, по преимуществу, поэтической природѣ, задумывалъ создать *поэму природы*, своего рода эпосъ съ героями естественными силами, Шеллингу-философу оставалось развить *философію природы*. И онъ выполнилъ свою задачу, оставаясь на вполнѣ логическомъ послѣдовательномъ пути—даже въ мистическихъ выводахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если *я* и *природа* представляютъ единство, возникаетъ вопросъ: какъ постигнуть его? Какъ установить *общее начало* духа и внѣшнихъ явленій?

Оно, очевидно, заключаетъ въ себѣ сліяніе двухъ принци-

---

[24]) *Разговоры Гёте, собранные Эккерманомъ.* Перев. Аверкіева, Спб. 1891. II, 146.

повъ—свободы, т. е. разума и необходимости, т. е. естественнаго развитія.

Природа не подчинена деспотическому закону цѣлесообразности, т. е. въ ея жизнь не вмѣшивается сила, ей посторонняя и чуждая.

Природа живетъ по законамъ, въ ней самой заключеннымъ, ея развитіе *необходимо*, но результаты его оказываются въ то же время *разумны, цѣлесообразны.* Организмы, несомнѣнно, являются воплощеніемъ принципа цѣлесообразности, т. е. разумной свободы.

Органическая жизнь—ступень, гдѣ безсознательное творчество природы переходитъ въ сознательный, цѣлесообразный результатъ.

Итакъ, сліяніе *необходимости* и *свободы, природы* и *разума*, единственно полное представленіе о міровомъ процессѣ.

Внѣ этой идеи только два выбора: или матерію отожествить съ разумомъ, или устранить представленіе объ органическомъ развитіи, матерію безусловно подчинить внѣшней силѣ и весь жизненный процессъ такимъ путемъ превратить въ искусственный.

Ни то, ни другое объясненіе, по мнѣнію Шеллинга, не удовлетворяетъ ни логикѣ, ни научнымъ фактамъ.

Логически, слѣдовательно, единство опредѣлено, абсолютный принципъ установленъ. Это ни всепоглощающее и всетворящее *я* Фихте, ни всенаполняющее себѣ довлѣющее инертное вещество матеріалистовъ, это *необходимо разумное, естественно-цѣлесообразное.*

Остается существеннѣйшая задача: какъ человѣческій умъ можетъ этотъ логическій результатъ сдѣлать достояніемъ своего сознанія, т. е. воспринять его не какъ внѣшній выводъ, а какъ моментъ своего бытія?

Гёте, воспѣвая природу, считалъ сущность ея недосягаемой для разсудка.

«Человѣкъ долженъ обладать способностью возвыситься до *высочайшаго разума*, дабы прикоснуться къ божеству, которое открывается въ первичныхъ явленіяхъ, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ; оно скрывается за ними и они переходятъ отъ него».

И мы знаемъ, этотъ *высочайшій разумъ* даже для трезваго положительнаго ума Гёте часто значилъ нѣчто для здраваго смысла мало доступное или даже совсѣмъ невразумительное.

Напримѣръ, автору Фауста очень часто приходилось *фантазію* ставить на недосягаемую высоту сравнительно съ умомъ.

«Если бы при помощи фантазіи,—говорилъ Гёте,—не создава

лись вещи, которыя останутся на вѣки загадкой для ума, то фантазія немного бы стоила».

И поэтъ на личномъ примѣрѣ оправдывалъ этотъ взглядъ, допускалъ въ свои произведенія óбразы и идеи, ему самому, повидимому, неясныя, во всякомъ случаѣ, не поддававшіяся точному толкованію.

Разъ у него спросили: что̀ онъ разумѣлъ въ сценѣ, гдѣ Фаустъ идетъ къ *матерямъ*.

Въ отвѣтъ, разсказываетъ разсказчикъ, «Гёте, по своему обычаю, закутался въ таинственность и, глядя на меня большими глазами, повторялъ: «матери! матери! какъ это странно звучитъ!» [25]).

Вопросъ *о матерякъ* какъ разъ касался конечнаго вопроса философіи, познанія принципа, управляющаго міромъ.

Шеллингъ этотъ принципъ свелъ къ *абсолютному тождеству* міра нравственнаго и міра природы. Но самый терминъ ничего не объяснялъ и ничего не доказывалъ. Звучалъ онъ не менѣе «странно», чѣмъ гётевскія *матери*. Но вопросъ: *яснѣе* ли и было ли у Шеллинга болѣе удовлетворительное средство раскрыть тайну, чѣмъ «большіе глаза» и загадочныя восклицанія?

Средства логическаго и научнаго, т. е. доказательнаго, не могло быть, въ силу ограниченныхъ способностей человѣческаго ума. Онъ можетъ только постигать отдѣльныя явленія и частные законы природы и духа, но охватить единое міровое начало, внѣ предѣловъ человѣческаго вѣдѣнія.

Оставался другой путь, по существу тотъ самый, какой Гёте превозносилъ въ ущербъ разсудку,—путь воображенія, фантазіи, поэтическаго вдохновенія, художественнаго творчества, т. е. *созерцаніе* вмѣсто *разсужденія*, искусство вмѣсто философіи.

XIII.

Мы видимъ, какъ мало Шеллингу потребовалось самостоятельныхъ усилій мысли и въ основныхъ положеніяхъ его системы, и въ окончательномъ выводѣ.

За права природы, въ философіи и поэзіи, поднимались первостепенные современные умы и таланты. Если Гёте только ограничился замысломъ, написать эпосъ или драму природы, французскій академикъ Лемерсье выполнилъ тему. Онъ сочинилъ поэму

[25]) *O. cit.* II, 6. 219.

Атлантіаду, гдѣ вмѣсто греческой миѳологіи царила физика и дѣйствующія лица воплощали *равновѣсіе*, *тяготѣніе*, *центробѣжную силу*, разные металлы и даже математическія науки.

Это въ полномъ смыслѣ шеллингіанское, хотя и очень грубое произведеніе. Нѣмецкій философъ не могъ дойти до такихъ уродливыхъ результатовъ, но сущность его мысли—прямое достояніе его старшихъ и младшихъ современниковъ.

Заслуга Шеллинга ограничивается талантливой систематизаціей ходячихъ мыслей и фактовъ, искусствомъ отвлеченной идеологіи сообщить привлекательность поэзіи, а фантастическіе выводы сдобрить научнымъ соусомъ.

Это поистинѣ артистическое соединеніе искони, по мнѣнію Платона, враждебныхъ силъ выгодно отразилось даже на неоригинальныхъ соображеніяхъ и на туманныхъ, чисто-вдохновенныхъ обобщеніяхъ.

Даровитѣйшій нѣмецкій историкъ философіи съ восторгомъ говоритъ о благотворныхъ вліяніяхъ шеллингіанства на науку [26]). И историкъ правъ. Шеллингъ доказалъ абсолютное тожество законовъ духа и природы; въ природѣ развивается и осуществляется духъ, природа реализуетъ законы духа.

Результаты этой идеи для естествознанія очевидны, прежде всего для физики — единство физическихъ силъ, для біологіи—единство развитія организмовъ, т. е. дарвиновская теорія. Шеллингъ устранилъ пропасть между неорганической природой и организмами, т. е. погубилъ витализмъ, съ другой стороны—связалъ низшіе организмы съ высшими необходимой естественной связью, т. е. доказалъ несостоятельность вмѣшательства метафизики въ естествознаніе.

Мы видѣли, на всѣ эти идеи Шеллинга наталкивало то же естествознаніе, но никто изъ философовъ не успѣлъ изъ этихъ внушеній создать цѣлое міросозерцаніе, способное вдохновить новыя научныя силы по извѣстному пути изслѣдованій. И мы впослѣдствіи встрѣтимъ среди русскихъ шеллингіанцевъ страстную любовь къ естественнымъ наукамъ, и какъ разъ талантливѣйшіе шеллингіанцы будутъ именно по спеціальному образованію—естественники.

Шеллингіанство, слѣдовательно, первая философская система, многому научившаяся отъ опытныхъ наукъ, но зато первая же и оказавшая имъ популярности и развитію величайшія услуги.

[26]) K. Fischer. *Geschichte der neueren Philosophie*, VI Band. Heidelberg 1894. pp. 323 etc.

Міръ—органическое цѣлое—истина, ставшая во главѣ всего умственнаго развитія нашего вѣка. Однимъ изъ первыхъ апостоловъ ея былъ и оставался Шеллингъ.

Но чѣмъ шире идея, тѣмъ больше риску она представляетъ въ приложеніяхъ и выводахъ.

Одинъ изъ самыхъ раннихъ русскихъ шеллингіанцевъ — Велланскій, оставилъ рядъ сочиненій, прославившихся своей невразумительностью и самыми странными аналогіями и обобщеніями будто бы на почвѣ естествознанія [27]). Но когда русскій философъ производилъ удивительнѣйшія операціи надъ «магнетизмомъ, электризмомъ и хемизмомъ», когда мужескій полъ признавалъ типомъ центробѣжнымъ и соотвѣтствующимъ свѣту, а женскій центростремительнымъ и соотвѣтствующимъ тяжести, и даже гордился такимъ «познаніемъ вещей»,—все это являлось подлинными отголосками шеллингіанства.

Надо было только допустить въ область философіи фантазію и творчество, и принципъ абсолютнаго тожества немедленно порождалъ самыхъ уродливыхъ дѣтищъ путемъ параллелизма между психологіей и физикой или химіей.

Самъ Шеллингъ, конечно, не могъ ограничиться только усвоеніемъ фактовъ и болѣе или менѣе опредѣленныхъ выводовъ естественныхъ наукъ, онъ прямо устремился къ систематизаціи природы по отвлеченнымъ понятіямъ, т. е. къ насильственной укладкѣ естественныхъ явленій въ разсудочныя рамки, въ интересахъ конечнаго стройнаго вывода.

Легко представить, сколько произвола и фантазёрства должно было возникнуть при такомъ философствованіи!

Творчество философа безпрестанно опережало реальную дѣйствительность и независимо отъ познанія самого абсолюта съ помощью вдохновенія и созерцанія, на каждомъ шагу впадало въ мистицизмъ и метафизическую риторику даже при объясненіи частныхъ вопросовъ.

Это, мы уже указывали, вина собственно не лично Шеллинга, а самой задачи. Но увлеченіе философа несомнѣнно. Онъ неуклонно погружался въ непроницаемый туманъ откровеній, не имѣвшихъ ничего общаго съ его ранними наставницами—естественными науками.

[27]) Ср. М. Филипповъ—*Судьбы русской философіи. Русское Богатство*. 1894, III, 139 etc. Здѣсь довольно подробное изложеніе «философическаго умозрѣнія» Велланскаго.

Такое движеніе шеллингіанства можно было предусмотрѣть заранѣе, лишь только философъ назвалъ источникъ высшаго человѣческаго познанія—поэзію, искусство.

Здѣсь опять извѣстная личная заслуга Шеллинга, именно въ остроумномъ сопоставленіи человѣческаго творчества съ творчествомъ природы.

Мы видѣли, жизнь природы развивается по законамъ и въ то же время цѣлесообразно, процессъ одновременно и необходимъ. и разуменъ.

То же самое и поэтическое творчество.

Оно въ совершенной гармоніи сливаетъ вдохновеніе и сознаніе, т. е. нѣчто непроизвольное, стихійное съ требованіями разума.

Художникъ сознательно приступаетъ и ведетъ свое дѣло, но результатъ работы создается при помощи другой силы, чѣмъ разсудокъ и критика, въ немъ всегда заключается *больше*, чѣмъ было въ сознаніи художника.

Поэтъ можетъ тщательно контролировать *процессъ* своей работы, но онъ не можетъ подчинить контролю *плодъ* ея, не можетъ предсказать его содержаніе и охватить его смыслъ. Все это—созданіе безсознательной творческой силы, и истинное произведеніе искусства—воплощеніе такой же гармоніи необходимости и разума, какъ и міровое начало.

Очевидно, творчество единственный путь къ абсолютному тожеству и искусство—высшая ступень человѣческой мудрости. Только благодаря творческой способности, человѣкъ усвоиваетъ смыслъ мірового процесса и познаетъ тайну мірового единства.

На основаніи этого представленія Шеллингъ снабдилъ, конечно, искусство самыми выспренними опредѣленіями, совпалъ вполнѣ съ лиризмомъ романтиковъ. И мы имѣемъ всѣ основанія приписать Шеллингу тѣ же заслуги, какія стяжали романтики провозглашеніемъ самостоятельнаго достоинства и великаго идейнаго значенія искусства.

Но и здѣсь рядомъ съ заслугами не слѣдуетъ забывать безусловно отрицательныхъ результатовъ.

Объявить искусство высшимъ проявленіемъ человѣческой природы, значитъ устранить шиллеровское настоятельное указаніе, насколько различна эстетическая стихія отъ нравственной и до какой степени скользкій путь—слѣдовать внушеніямъ только эстетическаго характера.

Въ области эстетики рѣшительную роль играетъ воображеніе и все, что увлекаетъ его, вызываетъ положительное чувство, напримѣръ, сила. «Самое дьявольское дѣло,—говоритъ Шиллеръ,—можетъ намъ эстетически нравиться, какъ скоро обнаруживаетъ силу».

И Шиллеръ счелъ нужнымъ подробно оцѣнить «опасность эстетическихъ нравовъ». Нравственность, основанная на чувствѣ прекраснаго, вообще на художественномъ вкусѣ, не выдерживаетъ критики.

Устами Шиллера говорилъ истинный «просвѣтитель», гражданинъ. Другія рѣчи характеризовали бы чистаго художника. А это и былъ бы крайній послѣдователь шеллингіанской теоріи искусства [28]). Здѣсь *правда* отожествлялась съ *красотой*, заключались, слѣдовательно, сѣмена самаго разнузданнаго символизма и эстетизма.

И мы, дѣйствительно, встрѣтимся съ цвѣтами, если не съ плодами этихъ сѣмянъ,—у русскихъ шеллингіанцевъ.

Столько разнороднѣйшихъ элементовъ заключалось въ системѣ нѣмецкаго философа, вызвавшаго въ Россіи первое глубокое и жизненно-вліятельное философское возбужденіе.

Не легко было ученикамъ разобраться въ этомъ сплетеніи идей, притомъ еще не всегда расчлененныхъ и уясненныхъ самимъ учителемъ.

Трудность увеличивалась не только раннимъ поверхностнымъ знакомствомъ русскихъ просвѣщенныхъ людей съ философіей, но и культурной и общественной средой, менѣе всего приспособленной къ спокойному независимому росту философской мысли.

Наконецъ, именно такая среда вызвала у лучшихъ, благороднѣйшихъ умовъ особенно настоятельные нравственные запросы къ философіи, ставила философію въ положеніе единственной учительницы жизни—личной и общественной и болѣе всего способствовала превращенію школы въ секту, философовъ въ проповѣдниковъ.

Эти неминуемыя послѣдствія философскихъ увлеченій на русской почвѣ создавали, въ свою очередь, идейную страстность, приподнимали температуру философской среды и вносили въ развитіе и смыслъ системъ менѣе всего организующую стихію.

Если мы примемъ во вниманіе всѣ эти условія, окружавшія русскія философскія поколѣнія, если оцѣнимъ сопутствующія обстоя-

[28]) Ср. Гаймъ, *Романтическая школа*, Москва 1891, 555.

тельства даже въ самомъ общемъ, съ перваго взгляда ясномъ, смыслѣ, мы отдадимъ справедливость доброй волѣ и талантливости раннихъ русскихъ учениковъ философіи, мы даже признаемъ: врядъ ли гдѣ возвышенныя представленія Сенъ-Симона, Фихте, Шеллинга о нравственномъ и общественномъ назначеніи философа осуществлялись въ такой полнотѣ, какъ въ русской литературѣ философскаго періода.

XIV.

Въ теченіе всего XVIII-го вѣка понятіе *философіи* въ Россіи имѣло два значенія: или нарочито-темнаго царства педантизма и схоластики или чрезвычайно доступной, но ровно настолько же легковѣсной системы энциклопедистовъ. У той и у другой философіи были свои поклонники и враги.

Схоластика издавна пріютилась въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ и внушала не то оторопь, не то брезгливость такъ называемому просвѣщенному обществу, т. е. аристократической интеллигенціи.

Вольтеріанство производило опустошенія среди этой самой интеллигенціи и вызывало искреннее презрѣніе и ненависть у знатоковъ «настоящей» философіи, требующей исключительныхъ усилій логики и діалектики.

При такихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи о замѣтныхъ литературныхъ вліяніяхъ философской мысли.

Философія, какъ предметъ научнаго изученія, до конца XVIII-го вѣка существовала только въ духовныхъ семинаріяхъ и академіяхъ. Этотъ философскій разсадникъ стоитъ во главѣ всей русской академической и профессорской философіи. Отсюда вышли первые учителя философской молодежи, т. е. будущихъ дѣятелей на поприщѣ критики и публицистики. Здѣсь гораздо раньше университетовъ были переведены и тщательно усвоены тѣ самыя системы германскихъ философовъ, какимъ предстояло выполнить руководящую роль въ умственномъ развитіи даровитѣйшихъ писателей тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Первоисточникъ русской философской жизни—кіевская духовная академія. На сѣверѣ философія стала прививаться одновременно съ основаніемъ московской славяно-греко-латинской академіи, въ 1682 году. Въ програму входило преподаваніе философіи *разумительной*, *естественной* и *правной*, т. е. вся область отвле-

ченнаго и нравственнаго мышленія, вмѣстѣ съ философскимъ толкованіемъ результатовъ опытныхъ наукъ.

Это толкованіе съ самаго начала должно было ограничиться крайне скромными предѣлами, по самому духу просвѣщенія, царствовавшему на духовныхъ каѳедрахъ. Но, во всякомъ случаѣ, въ теченіе цѣлаго вѣка академическая и семинарская наука не прерывала связей, по крайней мѣрѣ, вообще съ движеніемъ западной философской мысли. Приспособляя ее даже къ опредѣленнымъ, отнюдь не всегда философскимъ цѣлямъ, пропитывая ее схоластическимъ формализмомъ, она въ извѣстной степени изощряла мысль своихъ питомцевъ на вопросахъ высшаго порядка и невольно подготовляла умственную почву для будущихъ, болѣе живыхъ и полныхъ воспріятій.

Эта услуга тѣмъ важнѣе въ культурномъ отношеніи, что философія свѣтской наукой является только съ основанія московскаго университета. Но и это начало совершилось не при добрыхъ предзнаменованіяхъ. Въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій университетская философія напоминаетъ экзотическое растеніе, съ трудомъ прививающееся къ неблагодарной почвѣ и ежеминутно угрожаемое крайне суровыми стихіями. А потомъ, и сама по себѣ она долго не можетъ отдѣлаться отъ вѣкового наслѣдства—отъ педантизма, узости и безжизненности идей. Именно стихіи здѣсь занимали первенствующее мѣсто. Безъ ихъ вмѣшательства русская свѣтская философія, повидимому, съ самого начала приняла бы болѣе свѣтлое и широкое направленіе.

По крайней мѣрѣ, у первыхъ студентовъ и ученыхъ не было недостатка ни въ талантливости, ни въ смѣлости.

Профессоръ московскаго университета, Поповскій, ученикъ Ломоносова представлялъ себѣ самыя отрадныя перспективы русской философской мысли. Намъ приходилось говорить объ его статьѣ въ *Ежемѣсячныхъ Извѣстіяхъ;* она дышитъ восторженной вѣрой въ предметъ, какъ разъ менѣе всего внушавшій довѣрія въ половинѣ XVIII-го вѣка. Поповскій возлагалъ блестящія надежды на философскія способности русскаго языка. Считая философію матерью всѣхъ наукъ и искусствъ, онъ не видѣлъ никакихъ препятствій его успѣшному расцвѣту въ русскомъ университетѣ и въ русской литературѣ.

Ближайшіе факты шли на встрѣчу этимъ надеждамъ.

Со второй половины XVIII-го вѣка русскіе молодые люди, посылаемые заграницу, помимо языковъ, литературы, естествен-

ныхъ наукъ, начинаютъ интересоваться и основнымъ оригинальнѣйшимъ явленіемъ германской цивилизаціи—ея философіей, тѣмъ самымъ *нѣмецкимъ идеализмомъ*, какой впослѣдствіи будетъ проповѣдовать Сталь своимъ соотечественникамъ.

До какой степени быстро и устойчиво къ русскимъ юнымъ душамъ прививались сѣмена этого идеализма, показываетъ краснорѣчивѣйшая художественная характеристика русской идеалистической психологіи.

«Съ душою прямо *геттингенской*», — говоритъ Пушкинъ о Ленскомъ, — и весьма точно поясняетъ, что значило обладать геттингенской душой.

Одновременно поклоняться Канту и быть поэтомъ, собирать плоды учености и питать вольнолюбивыя мечты... Въ результатѣ, естественно, «духъ пылкій и довольно странный»...

Сліяніе философіи съ поэзіей, восторженныхъ рѣчей съ искренней страстью къ наукѣ,—такъ рисуется юный русскій философъ первой четверти XIX-го вѣка.

Эти черты, съ изумительной проницательностью отмѣченныя поэтомъ, останутся до конца самыми типичными для русскаго философскаго поколѣнія.

Любопытно обозначеніе типа именно *геттингенской* душой. Это—опять точное отраженіе исторіи.

Геттингенъ, по преимуществу, снабжалъ русскія учебныя заведенія профессорами. За вторую половину прошлаго вѣка въ его спискахъ безпрестанно встрѣчаются имена, увѣчавшія себя въ Россіи плодотворной общественной или ученой дѣятельностью.

Геттингенскій университетъ не воспитывалъ исключительно отвлеченныхъ идеалистовъ и мечтателей. Его культурныя вліянія выходили далеко за предѣлы спеціально-нѣмецкаго прекраснодушія, вполнѣ соотвѣтствовали жизненному направленію просвѣтительной эпохи, даже въ самыхъ отважныхъ своихъ идеалахъ ни на минуту не упускавшей изъ виду земныхъ интересовъ человѣчества.

Въ Геттингенѣ оказывался богатый запасъ умственной пищи и для романтика Ленскаго, и для Николая Тургенева, автора книги о налогахъ, и для Кайсарова, автора первой попытки поставить вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права на научную почву, и для Куницына—знаменитѣйшаго юриста своего времени, автора перваго русскаго ученаго и въ то же время политически-значительнаго сочиненія объ естественномъ правѣ.

По этимъ примѣрамъ можно судить о богатствѣ умственнаго капитала, вывозимаго русскими студентами изъ Геттингена. Оно до такой степени разнообразно и полно практическаго смысла, что за весь періодъ философскихъ увлеченій къ раннимъ задачамъ успѣло прибавиться весьма не многое—новое по существу.

Геттингенскія вліянія не могли не захватить и чисто-художественныхъ вопросовъ. Эстетика, стоявшая во главѣ романтической школы, отличалась громадной научной производительностью, даже независимо отъ эстетической религіи шеллингіанства.

Еще со временъ Ломоносова трактаты нѣмецкихъ эстетиковъ пользовались большимъ уваженіемъ среди русскихъ ученыхъ. Когда философія распространила свою власть на искусство и въ союзѣ съ романтизмомъ стала подрывать царство классиковъ, ея новыя теченія немедленно перешли и въ русскую науку.

Изъ біографіи Грибоѣдова извѣстна большая популярность профессора Буле среди московскихъ студентовъ, чувствовавшихъ особую склонность къ «искусствамъ творческимъ, прекраснымъ». Вліянію Буле приписывается раннее и глубокое развитіе у Грибоѣдова вкуса къ драматической литературѣ—жизненной и свободной. Къ сожалѣнію, мы не можемъ съ точностью опредѣлить подробности этого вліянія, во всякомъ случаѣ любопытна историческая связь первой національной русской комедіи съ философскимъ направленіемъ эстетики.

Буле превосходно зналъ русскую исторію и написалъ даже сочиненіе о критической литературѣ по исторіи. Въ области искусства онъ могъ быть вполнѣ достойнымъ соревнователемъ иностранныхъ учителей-историковъ, въ родѣ Шлецера и Миллера. Существеннымъ недостаткомъ учености Буле до конца его дѣятельности оставалось чтеніе лекцій по-латыни. Идеи профессора могли имѣть только ограниченный кругъ послѣдователей.

Малой доступности преподаванія соотвѣтствовала и самая неопредѣленность философскихъ ученій, по крайней мѣрѣ, для русскихъ студентовъ. Въ началѣ девятнадцатаго вѣка, въ разцвѣтъ системъ Фихте и Шеллинга, съ русскихъ каѳедръ звучатъ имена Лейбница, Вольфа, Канта, Якоби и многочисленныхъ dii minores германской философіи.

Всякій заграничный профессоръ непремѣнно привозитъ съ собой одну излюбленную систему, дополняетъ и исправляетъ ее по собственнымъ соображеніямъ, и въ результатѣ получается вольфіанство Шадена и Винклера, шеллингіанство Фесслера, кантіанство Фишера.

До тѣхъ поръ, пока совершается такой діалектическій и метафизическій сплавъ въ лекціяхъ иностранцевъ, философія, при всемъ своемъ вліяніи на изворотливость и тонкость отвлеченнаго мышленія русской молодежи, не можетъ имѣть большого практическаго значенія. Она остается своего рода священной мудростью, весьма часто интригующей вниманіе слушателей именно своей маловразумительностью и непроницаемыми туманами.

Въ результатѣ, даже критическая философія Канта могла развивать вкусъ къ безплодному схоластическому ратоборству, къ чисто-словесной запальчивости, убаюкивающей умственную энергію призрачными подвигами діалектическаго искусства.

Мы, поэтому, имѣемъ всѣ основанія періодъ русскаго философскаго развитія въ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ подъ руководствомъ профессоровъ-иностранцевъ, считать періодомъ исключительно подготовительнымъ, равнозначущимъ въ исторіи европейской философіи съ эпохой средневѣковой схоластики.

Несомнѣнно, какъ въ средніе вѣка въ Европѣ, такъ и въ теченіе XVIII и въ началѣ XIX вѣка на русскихъ каѳедрахъ бывали выдающіеся философскіе таланты, сильные живою и оригинальною мыслью, чуткіе къ насущнымъ нуждамъ души и сердца своихъ слушателей, и дальше мы встрѣтимся съ отголосками подобнаго философскаго учительства.

Но только съ отголосками. Само явленіе настолько мимолетно и по современнымъ условіямъ просвѣщенія—безпочвенно, что оставило по себѣ только неопредѣленную свѣтлую дымку благодарныхъ лирическихъ воспоминаній и никакихъ прочныхъ осязательныхъ вліяній. По крайней мѣрѣ, именно на авторѣ особенно горячаго лиризма, московскомъ профессорѣ Надеждинѣ, мы и не откроемъ такихъ вліяній.

Очевидно, практическая, дѣйствительно-просвѣтительная задача философіи въ Россіи была тѣсно связана съ двумя условіями: съ окончательнымъ переходомъ ея въ кругъ свѣтскихъ наукъ и съ появленіемъ русскихъ учителей философіи.

Но и эти условія вполнѣ не обезпечивали нравственныхъ и общественныхъ вліяній философіи. Необходимо было совершенно покончить съ цеховыхъ педантизмомъ и вывести философскую мысль изъ вагнеровскаго кабинета на встрѣчу природѣ и будничной человѣческой дѣйствительности.

Именно эта задача оказалась особенно трудной. Оффиціальные русскіе философы, при всей доброй волѣ и многочисленныхъ внѣшнихъ побужденіяхъ, не могутъ рѣшиться сбросить съ себя док-

торской мантіи и колпака и заставляютъ философію перекочевать изъ аудиторій на менѣе священныя поприща, но несравненно болѣе доступныя и, слѣдовательно, образовательныя.

XV.

Мы можемъ съ полной точностью говорить о *профессорской* и *студенческой* философіи: это два разныхъ типа. У нихъ одинъ источникъ и одно общее содержаніе, но совершенно различныя цѣли и, главное, настроенія, съ какими изучается предметъ.

Философія очень скоро создала рѣзкія границы между двумя слоями русскаго общества. На одной сторонѣ философія продолжала оставаться школьной спеціальностью, на другой—немедленно превратилась въ неисчерпаемый источникъ практическихъ идей въ художественной литературѣ, въ критикѣ даже въ политикѣ.

Тотъ и другой лагерь представлялся людьми часто одинаково учеными, но не одинаково образованными.

На сторонѣ каѳедральной философіи числились солиднѣйшія диссертаціи, высшія ученыя степени, нерѣдко лекторскій талантъ и даже самостоятельный научный авторитетъ.

Но все это пребывало въ высшихъ областяхъ идеологіи, и если спускалось на землю, то не за тѣмъ, чтобы заодно съ ней вдумчиво и любовно обсудить ея настоящее и будущее, а за тѣмъ, чтобы озадачить ее высшимъ позначіемъ вещей и прорицательскимъ языкомъ боговъ.

Не здѣсь, очевидно, приходится искать дѣйствительно просвѣтительныхъ теченій мысли, просвѣтительныхъ не по теоретическому достоинству, а по двигающей и вдохновляющей силѣ.

Громадная разница между двумя философскими направленіями обнаружилась вмѣстѣ съ распространеніемъ системы, заключавшей въ себѣ одинаково богатыя данныя и для безплоднаго жреческаго культа чистаго философствованія и для глубокаго возбужденія нравственныхъ и гражданскихъ инстинктовъ.

Мы видѣли, шеллингіанство легко можетъ быть приспособлено къ самымъ разнороднымъ психическимъ организаціямъ. Въ немъ можетъ найти вполнѣ убѣдительный философскій принципъ и человѣкъ съ наклонностями строгаго ученаго, прирожденный естествоиспытатель, но можетъ также получить истинное утѣшеніе и мечтатель, мистикъ, любитель неразгаданныхъ тайнъ и смутно влекущихъ глубинъ.

Въ шеллингіанствѣ съ одинаковымъ правомъ могутъ видѣть своего предшественника два особенно яркихъ и непримиримо противоположныхъ дѣтища нашего вѣка: дарвиновская теорія и мистицизмъ всякаго рода, начиная съ художественныхъ поэтическихъ символовъ и кончая религіозно-философскими культами.

Естественно, эта двойственность должна была отразиться и на русскихъ ученикахъ Шеллинга. И можно даже заранѣе распредѣлить отраженія между различными философскими лагерями.

Ученые-спеціалисты, при слабо развитой русской общественности въ началѣ столѣтія, при почти полномъ отчужденіи отъ «свѣта», весьма долго единственнаго представителя интеллигенціи, непреодолимо погружались въ бездну отрѣшенной учености и выспренняго идеализма. Русскій философъ-профессоръ съ гораздо большимъ успѣхомъ, чѣмъ его германскій собратъ, могъ въ теченіе всей жизни изображать великана въ своемъ кабинетѣ и растеряннаго ребенка на улицѣ, просто на людяхъ.

А если обстоятельства и заставляли его непремѣнно обнаружить дѣятельность въ непривычной средѣ, онъ немедленно изображалъ зрѣлище человѣка, долго пребывавшаго въ неподвижномъ состояніи, и теперь безтолково размахивающаго руками, удивляющаго прохожихъ своей походкой, звукомъ и тономъ голоса.

Мы отнюдь не увлекаемся сравненіями. Именно такое впечатлѣніе произведутъ на насъ профессорскіе походы въ область журналистики и критики. Ученые публицисты безпрестанно будутъ попадать въ трагико-комическое положеніе людей, никакъ не умѣющихъ взять требуемой ноты въ общемъ хорѣ и пускающихъ свою рѣчь то слишкомъ высоко, то нестерпимо низко, то залетающихъ въ область головоломнаго техническаго жаргона, то обнаруживающихъ въ полномъ смыслѣ дурной, не литературный тонъ.

Очевидно, здѣсь неизбѣжно находило особенно сочувственный отголосокъ все, что было въ шеллингіанствѣ романтическаго, метафизическаго, нарочито-хитроумнаго и запутаннаго.

Рядомъ съ профессорами у того же источника стояла еще болѣе жаждущая молодежь.

Въ первое время почти вся она принадлежала къ обществу, т. е. къ аристократіи, искони просвѣщавшейся у европейскихъ учителей.

Здѣсь существовала старая культурная почва, мы знаемъ, не глубокая и далеко не всегда лестная для русскаго умственнаго развитія, но во всякомъ случаѣ стихійно враждебная педантизму и цеховому ремесленничеству, будь это наука или философія.

По условіямъ русскаго просвѣщенія и это чисто отрицательное достоинство большой выигрышъ для здраваго смысла и реализма литературы въ ущербъ схоластикѣ и чистымъ отвлеченіямъ. Съ подобнымъ фактомъ мы уже встрѣчались въ эпоху борьбы школьнаго классицизма съ болѣе живой литературной школой.

Какая участь ожидала шеллингіанство въ Россіи, если бы оно превратилось въ исключительное достояніе академической учености, обнаружилось съ самаго начала, на произведеніяхъ первыхъ шеллингіанцевъ.

Система Шеллинга, какъ и всѣ другія, появилась прежде въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а отсюда перешла въ свѣтскія. Надеждинъ, впослѣдствіи профессоръ московскаго университета, обучавшійся въ московской академіи, нашелъ среди студентовъ множество рукописныхъ переводовъ нѣмецкихъ философскихъ сочиненій и, между прочимъ, *Философію религіи* Шеллинга. Это было въ 1810 году. Не отставала по части философіи отъ московской академіи и кіевская. Именно ея воспитанникъ Велланскій — историческій родоначальникъ русскаго шеллингіанства.

Онъ самъ приписывалъ себѣ эту честь и указывалъ точную хронологію своей первой философской проповѣди.

«Въ 1804 году я первый возвѣстилъ россійской публикѣ,—писалъ Велланскій,—о новыхъ познаніяхъ естественнаго міра, основанныхъ на ѳеософическомъ понятіи, которое хотя значилось у Платона, но образовалось и созрѣло въ Шеллингѣ».

Эта фраза довольно точно характеризуетъ философское направленіе самого Велланскаго.

Въ натурѣ и судьбѣ русскаго шеллингіанца успѣли развиться самыя разнообразныя стихіи, какъ нельзя болѣе подъ стать романтической и мистической сторонѣ ученія Шеллинга.

Сынъ мѣщанина, студентъ духовной академіи, онъ въ ранней молодости мечтаетъ то о монашескихъ подвигахъ, то о гвардейской солдатской карьерѣ, наконецъ, ѣдетъ заграницу на казенный счетъ, изучаетъ естественныя науки и медицину и является профессоромъ медико-хирургической академіи [29]).

Послѣднее обстоятельство, казалось бы, должно было направить философа на путь положительной мысли. Въ дѣйствительности

[29]) О Велланскомъ — *Русск. В.*, 1867, 11. *Р. Архивъ*, 1864, 801. Статьи М. Филиппова, *Р. Бог.*, 1894, 3. Колюпановъ. *O. cit.* I. 443. Никитенко. *Журналъ Мин. Нар. Просв.* 1869. янв., стр. 18. П. Милюковъ. *Главныя теченія русской историч. мысли.* М. 1897. 241.

Велланскій увлекся исключительно *творчествомъ*, поэзіей шеллингіанства, довелъ до послѣднихъ предѣловъ усилія германскаго философа истолковать міръ при помощи отвлеченныхъ началъ ума.

Устами русскаго философа говорила страсть настоящаго прозелита и въ результатѣ создалась фантастичнѣйшая система «ѳеософическаго понятія» явленій природы и духа.

Его главныя работы—*Пролюзія къ медицинѣ и Біологическое изслѣдованіе природы въ творящемъ и творимомъ*—представляютъ цѣпь самыхъ неожиданныхъ аналогій, сопоставленій и отожествленій, *догматически* внушающихъ читателю «познаніе естественнаго міра». Вся игра мысли основана на операціяхъ съ субъектомъ и объектомъ. Шеллингіанскій принципъ абсолютнаго тожества даетъ автору право сплетать міръ физическій и духовный въ самые прихотливые узоры, а открытіе животнаго магнетизма влечетъ къ особымъ теоріямъ и аксіомамъ, объясняющимъ по философіи Велланскаго важнѣйшія явленія органической жизни.

Трудно представить, какое *понятіе* о мірѣ можно заимствовать изъ подобныхъ упражненій?

Но привлекательность разсужденій Велланскаго для русскихъ читателей, искавшихъ философской пищи, заключалась какъ разъ въ недостаткахъ и странностяхъ его сочиненій.

Отъ нихъ вѣетъ глубокой искренностью и истинно благороднымъ полетомъ мысли, столь свойственнымъ всякому идейному убѣжденію. Очевидно, для автора его фантастическіе полеты въ область таинственнаго—не праздная забава эпикурейски-настроеннаго ума, столь свойственнаго всякаго рода мистикамъ, а результатъ упорныхъ думъ и напряженныхъ поисковъ истины.

Когда Сенковскій поднялъ на смѣхъ теософію Велланскаго, ученый опубликовалъ въ газетахъ вызовъ, кому желательно опровергнуть его хотя бы одну теорію съ помощью науки. Въ случаѣ успѣха оппонента, Велланскій обязывался уплатить 5.000 рублей ассигнаціями.

Вызовъ остался безъ отвѣта, но, несомнѣнно, прибавилъ лишнюю черту къ исторіи всякихъ благородныхъ донкихотствъ.

Велланскій не могъ имѣть послѣдователей въ полномъ смыслѣ слова, т. е. исповѣдниковъ его натурфилософскихъ идей. Для этого требовался исключительный складъ ума и воображенія. Но шеллингіанство въ общемъ могло только выиграть даже отъ такой пропаганды.

Восторженный прозелитъ открывалъ безграничныя перспективы

высшихъ тайнъ. Менѣе всего эта даль могла удовлетворить строгій логическій разумъ, но она несомнѣнно должна была чарующе дѣйствовать на всякій смѣлый юный умъ и, если не давала немедленно безупречныхъ отвѣтовъ на его запросы, то могла сулить въ будущемъ великія завоеванія науки и философіи.

Мы вскорѣ познакомимся съ настроеніемъ русской молодежи въ началѣ вѣка и увидимъ, для этихъ настроеній не такъ была важна идеальная разсудочная ясность и безусловно доказательная научность, сколько мощное идейное возбужденіе.

Напротивъ, чѣмъ больше было романтической таинственности въ идеяхъ, тѣмъ поэтичнѣе, обаятельнѣе являлась вся система. Именно романтизмъ и загадочность совершенно не входили въ недавно господствовавшую французскую философію и теперь уже въ силу контраста производили впечатлѣніе новаго и высшаго міросозерцанія.

Мы услышимъ отъ самихъ русскихъ философовъ какъ разъ такія признанія и естественно, теософія Велланскаго, въ настоящее время окончательно погребенная въ пыли вѣковъ, еще въ тридцатые годы находила усердныхъ читателей. Они въ потѣ лица распутывали затѣйливыя умозрѣнія философа, даже въ душѣ не осмѣливаясь протестовать противъ затѣйливости и требовать больше ясности и доказательности для умозрѣній.

Намъ ясно положеніе Велланскаго въ русскомъ шеллингіанствѣ. Его проповѣдь—отнюдь не популяризація системы и еще менѣе ея общедоступное практическое истолкованіе. Это скорѣе нечленораздѣльный ободряющій крикъ энтузіаста, увлекающаго насъ въ невѣдомую страну и съ пророческимъ ясновидѣніемъ и паѳосомъ набрасывающаго предъ нами широкую, хотя и смутную картину ея еще неизслѣдованныхъ сокровищъ.

Сохранились извѣстія о Велланскомъ, какъ о лекторѣ. Онъ, какъ и слѣдовало быть пророку, являлся скорѣе импровизаторомъ и лирикомъ, чѣмъ ученымъ и чтецомъ. Его рѣчь вызывала у слушателей глубокое вниманіе, и, вѣроятно, не всѣ послѣ лекціи могли отдать ясный отчетъ въ ея содержаніи и смыслѣ, но за то врядъ ли кто оставлялъ аудиторію безъ нѣкоего духовнаго просвѣтленія и даже умиленныхъ чувствъ. Все это—обычная законная награда благороднымъ стремленіямъ и твердой вѣрѣ въ истину и человѣка, столь рѣдкой даже при самомъ свѣтломъ умѣ и самой строгой учености и столь могущественно одушевлявшей русскаго шеллингіанца.

Эти свойства, для величайшихъ учителей философіи въ началѣ нашего столѣтія, были гораздо важнѣе и выше, чѣмъ чисто-ученая талантливость. Велланскій воплощалъ типъ именно того *артиста, поэта*, вообще человѣка съ *симпатическими и творческими способностями*, какой Сенъ-Симонъ ставилъ на вершинѣ своего соціальнаго зданія и какому Шеллингъ приписывалъ высшее вѣдѣніе.

И къ великой славѣ русскаго философа, это творчество соединялось съ неотъемлемой добродѣтелью всякаго идейнаго учителя, съ рыцарственнымъ личнымъ благородствомъ. Предъ нами не профессіональное занятіе предметомъ, не служба по каѳедрѣ извѣстной науки, а нравственное удовлетвореніе личности, служеніе дѣлу во имя неразрывной связи своего *я* съ судьбой этого дѣла.

Какъ было необходимо именно для русскаго ученаго такое отношеніе къ наукѣ! Неизмѣримо плодотворнѣе и доблестнѣе, чѣмъ самая объективная и трезвая ученость, дѣйствовало на русскую молодежь это мистическое одушевленіе жадно искомой, отъ вѣка скрытой тайной. И всѣ эти — *объекты, субъекты, хемизмы, магнетизмы* въ устахъ учителя звучали подчасъ истиннымъ откровеніемъ, и мы до конца русской философской эпохи будемъ встрѣчать все тотъ же энтузіазмъ къ философскимъ, на нашъ взглядъ, варварскимъ и, пожалуй, безплоднымъ хитростямъ и тонкостямъ.

Была, конечно, и здѣсь своя отрицательная сторона и, мы увидимъ дальше, очень существенная. Увлеченіе философскими откровеніями грозило *философію* замѣнить просто *философствованіемъ*, т. е. діалектикой, а потомъ просто софистикой, словесной и книжной реторикой. Исканіе высшей истины легко могло превратиться въ азартную страсть къ словопреніямъ и призрачно-глубокомысленнымъ ратоборствамъ.

Новая философія ничѣмъ не была обезопашена отъ схоластическаго недуга, если только безусловно не спѣшила стать твердо на почву дѣйствительности и тѣшила себя безконечными полетами въ заоблачное царство чистыхъ идей.

Красота и отвага полетовъ на первыхъ порахъ могли имѣть великое нравственное воспитательное значеніе въ средѣ, до сихъ поръ чуждой высшимъ запросамъ разума и не знавшей серьезныхъ умственныхъ усилій. Но на этой границѣ не могла остановиться философская мысль, если только она разсчитывала выполнить жизненное назначеніе.

Мы увидимъ, задача оказалась и должна была оказаться въ высшей степени трудной. Чистая теорія и ученая книга обнаружили и въ русскую философскую эпоху свою исконную односторонность, враждебность къ будничной заурядной дѣйствительности, пренебреженіе къ ней во имя своихъ отрѣшенныхъ недосягаемо выспреннихъ интересовъ.

Въ результатѣ, вся исторія русскаго философскаго движенія сводится къ постепенному *опрощенію* философской мысли, если такъ можно выразиться, къ сближенію ученыхъ съ публикой, науки съ критикой, литературы съ руской жизнью, пока, наконецъ, философская идея, литературная критика и поэзія не придутъ къ общей всеобъединяющей цѣли: къ полному соотвѣтствію критической мысли и художественнаго творчества русской дѣйствительности въ прямомъ и всестороннемъ смыслѣ.

Эта цѣль лежитъ пока въ отдаленномъ будущемъ для первыхъ русскихъ философовъ, и предъ нами долженъ пройти еще рядъ идеалистовъ-мечтателей или просто книжниковъ и жрецовъ новой философской церкви.

Младшій современникъ Велланскаго—Галичъ, второй учитель русскаго шеллингіанства. Онъ всего нѣсколькими годами моложе Велланскаго, но представляетъ, несомнѣнно, высшую стадію философскаго развитія.

Почва та же—шеллингіанство, но изъ нея извлекаются болѣе сочныя сѣмена, а главное, болѣе приспособленныя къ русской нивѣ.

XVI.

Галичъ—духовнаго происхожденія, учился сначала въ орловской семинаріи, потомъ въ петербургской учительской гимназіи, впослѣдствіи педагогическомъ институтѣ [30]).

Здѣсь преподавалась философія нисколько не лучше и не свободнѣе, чѣмъ въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и во время студенчества Галича, т. е. съ 1803 года, господствовалъ еще Вольфъ и преподаваніе носило характеръ ученическаго вызубриванія разныхъ догматическихъ, оффиціально одобренныхъ положеній.

Но 1808 году правительство задумало учредить университетъ и въ Петербургѣ. Пришлось отправить заграницу молодыхъ лю-

[30]) Подробная біографія Галича—вышеуказанная статья Никитенко.

дей для подготовленія къ профессурѣ, и въ числѣ ихъ Галича, по каѳедрѣ философіи.

Ему дана была особая инструкція, въ высшей степени любопытная не столько для характеристики оффиціальныхъ воззрѣній на предметъ, сколько по общимъ отзывамъ о современной заграничной философіи.

Инструкція указывала на перемѣны, постигшія философію «въ послѣднемъ вѣкѣ», и предупреждала насчетъ опасности попасть изучающему новую философію на ложный путь: «быть разсказчикомъ пустыхъ умствованій или безсмысленнымъ распространителемъ мистическихъ заблужденій».

Философу рекомендовалось положительное философское развитіе: онъ «долженъ обозрѣвать и научаться природѣ, не приступая еще къ сужденію о ея законахъ; онъ долженъ изыскивать человѣка, какъ разумное существо, какъ жителя земного, прежде чѣмъ начнетъ писать о свойствахъ людей».

Особенно замѣчательно мнѣніе инструкціи о методѣ философской мысли: онъ долженъ быть методомъ математическихъ наукъ, т. е. такимъ же точнымъ и научнымъ. А для этой цѣли будущему философу предварительно необходимо «знать естественную исторію, физику, медицинскую антропологію, всемірную исторію, энциклопедію наукъ и всеобщую грамматику».

Послѣдняя наука должна научить философа *языку*—«величайшему пособію для мысли», иначе его разсужденія могутъ оказаться «токмо скопищемъ безсмысленныхъ словъ».

Въ порядкѣ философскихъ наукъ психологія ставилась инструкціей на первомъ мѣстѣ, и метафизика увѣнчивала философскую ученость.

Метафизика именно и представляетъ особенно много опасностей обиліемъ сектъ и ученій. Требуется тщательная подготовка и строгій критическій выборъ, чтобы не наброситься на первую попавшуюся систему.

Трудно было внимательнѣе и разумнѣе отнестись къ предмету. Инструкція стремилась дѣйствительно къ научной и логической философіи, свободной отъ мистицизма и софистики.

Умъ и талантъ Галича находились на высотѣ предписаній. Онъ усердно воспользовался заграничнымъ путешествіемъ, ознакомился въ разныхъ университетахъ съ разными школами и остановился на шеллингіанствѣ, но отнюдь не загипнотизированный системой и не отдаваясь «истинамъ» съ младенческимъ простодушіемъ Велланскаго.

Шеллингіанство привлекло Галича совершенно другимъ содержаніемъ, чѣмъ его предшественника. Галичъ нашелъ въ системѣ всестороннее примѣненіе различныхъ способностей человѣка—разума и воображенія, разсудка и чувства. Для него это было *здравой* основой философіи, ея *жизненнымъ* содержаніемъ.

Естественно, теософія Шеллинга, его мистицизмъ не могли овладѣть сочувствіемъ Галича, и онъ не только не поусердствовалъ, подобно Велланскому, въ этомъ направленіи, но старался даже обѣлить самого Шеллинга отъ укоризнъ критиковъ въ «мистицизмѣ и піитической мечтательности» [34]).

Оправданіе нельзя назвать удачнымъ и даже исторически-вѣрнымъ.

Галичъ издалъ свою *Исторію философскихъ системъ* въ 1818 году. Девятью годами раньше Шеллингъ напечаталъ *Философскія розысканія о сущности человѣческой свободы и о предметахъ, связанныхъ съ нею.* Разсужденіе имѣло въ виду доказать возможность логическаго разумѣнія высшихъ чисто-религіозныхъ понятій, излагалась система, тожественная съ извѣстнымъ намъ ученіемъ Сенъ-Мартэна и сближавшая шеллингіанство съ древне-христіанскимъ мистицизмомъ. Съ этихъ поръ Шеллингъ не переставалъ идти путемъ аллегорій и вдохновеній и отнюдь нельзя было сказать, будто онъ только «возстановилъ уничиженную и изъ области философіи вытѣсненную фантазію въ прежнихъ ея правахъ».

Галичъ рѣшается упрекнуть Шеллинга въ одномъ сравнительно незначительномъ недостаткѣ: въ «произвольномъ словоозначеніи», т. е. въ смутѣ и неопредѣленности философскихъ терминовъ. Смута шла гораздо дальше формы и стиля.

Но для насъ важно, что русскій философъ съ самого начала не обнаружилъ наклонности къ мечтательности и фантастичности. Онъ только желалъ живой философіи, «свѣтской и житейской, приводящей истинный опытъ въ связь съ разумнымъ вѣдѣніемъ», философіи не «для однихъ кабинетовъ».

Шеллингіанство, пользуясь одинаково естествознаніемъ и воображеніемъ, удовлетворяло этому желанію.

Перетерпѣвъ въ личной жизни не мало довольно романтическихъ и юношески-легкомысленныхъ приключеній, Галичъ привезъ изъ-за границы трезвое и свободное міросозерцаніе. Въ диссертаціи—первомъ философскомъ трудѣ—онъ обнаружилъ блестящій

[34]) Галичъ. *О. с.*, часть II, стр. 295.

литературный талантъ и въ высшей степени замѣчательный взглядъ на свой предметъ.

Диссертація написана въ необычайной формѣ; она—письмо къ молодому искателю мудрости. Авторъ, между прочимъ, высказывалъ такое соображеніе:

«Здравая натура твоя есть уже рѣдкій даръ мыслить и чувствовать человѣчески; содержать всѣ силы въ естественной ихъ цѣлости и не увлекаться, не попускать себя увлекать другимъ, умѣрять порывы воображенія разсудкомъ, быть яснымъ въ душѣ и языкѣ, имѣть наипаче практическую цѣль человѣчества передъ глазами».

Дальше еще любопытнѣе шеллингіанскія признанія Галича рядомъ съ оговорками въ пользу свободнаго философскаго изслѣдованія, не подчиненнаго одной системѣ. Авторъ даже такую систему считаетъ—суетной надеждой энтузіастовъ. «Разногласіе въ воззрѣніяхъ»—неизбѣжный историческій фактъ человѣческаго развитія.

Уже эти данныя показываютъ, сколько у Галича было свободныхъ и живыхъ стихій, какъ далеко—по натурѣ—стоялъ онъ отъ буквоѣдовъ и кабинетныхъ метафизиковъ.

Оригинальность и жизнь прорывались у Галича будто невольно, въ его профессорской дѣятельности, въ его сочиненіяхъ, въ его личной жизни.

Уже по поводу диссертаціи одинъ изъ критиковъ—Велланскій—заявилъ, что «способъ представленія» не соотвѣтствуетъ «достоинству» предмета. Философъ находилъ стиль диссертаціи даже соблазнительнымъ для насмѣшниковъ надъ философіей.

Замѣчаніе не принесло плодовъ.

Гораздо позже, въ 1834 году, Галичъ издалъ одно изъ важнѣйшихъ своихъ сочиненій—*Картину человѣка*, еще болѣе серьезнаго содержанія, чѣмъ диссертація, и еще болѣе исполненное соблазновъ.

Книга имѣла въ виду изученіе духовной и физической природы человѣка, его умственной и художественной дѣятельности, его добродѣтелей и пороковъ, и авторъ нашелъ на своемъ пути достаточно поводовъ впадать въ тонъ поэта и даже публициста съ недюжиннымъ сатирическимъ талантомъ и съ очень настойчивыми поучительными цѣлями.

«Чувственная связь представленій» вдохновляетъ философа на образную рѣчь о мечтахъ и обстоятельствахъ, имъ благопріят-

ныхъ. Статья о *свободѣ* заключаетъ сильную защиту свободы мысли. «Какъ бы высоки ни были мнѣнія, догадки, идеи мудреца, онѣ должны выдержать повѣрку общаго ума человѣческаго. Только бореніе мыслей обнаруживаетъ обоюдные ихъ недостатки, только симъ путемъ мы вообще и доходимъ до опредѣлительныхъ истинъ: ибо гдѣ воплощенный разумъ безусловный?»

Не мало также искусства вмѣсто философіи—въ изображеніи любви и страсти и необыкновенно яркая характеристика пороковъ, личныхъ и общественныхъ.

Иная страница изъ книги Галича и теперь сдѣлала бы честь серьезному журналу и сообщила бы кое-какія новыя истины, хотя бы, напримѣръ, ученымъ и всякаго рода фанатикамъ *своего прихода*.

Напримѣръ, къ отдѣлу гордости Галичъ относитъ *чиновную спесь*, т. е. педантизмъ. Она «не только исключительно занимается вещами менѣе существенными, наприм., собраніемъ монетъ, китайскихъ куколъ, фоліантовъ и проч., но и навязываетъ свой односторонній вкусъ всѣмъ и каждому, не сносясь съ общимъ чувствомъ образованнаго человѣчества... Педантизмъ возможенъ не въ одномъ бытѣ ученыхъ или, по выраженію Свифта, *ословъ, навьюченныхъ книгами*; мы встрѣчаемъ его даже въ формѣ довольно чинной и щеголеватой. Общій его признакъ — слабость, особливо разсудка: она-то изъясняетъ погрѣшности на счетъ того, что важно и неважно: люди скудоумные будутъ смѣшивать малое съ великимъ и прилѣпятся къ первому всѣми силами; люди слабаго сердца будутъ чувствительны только къ бездѣлкамъ»... [32]).

Эти разсужденія не лишены эффекта въ устахъ ученаго философа.

И Галичъ оставался вѣренъ себѣ и въ личныхъ отношеніяхъ. Всѣмъ извѣстны посланія Пушкина, студента царскосельскаго лицея. Галичъ читалъ здѣсь лекціи по латинскому языку, преподавая одновременно философскія науки въ педагогическомъ институтѣ, потомъ въ университетѣ.

Латинскій языкъ находился въ полномъ загонѣ. Галичъ велъ бесѣды съ учениками о чемъ угодно, только не о грамматикѣ и стилистикѣ. Пушкинъ много разъ воспѣлъ любимаго профессора, называя его самыми поэтическими и нѣжными именами, въ родѣ слѣдующихъ:

Апостолъ нѣги и прохладъ,
Мой добрый Галичъ!..

---

[32]) *Картины человѣка*. Спб. 1831, стр. 183, 271, 290, 298.

Галичъ также «другъ мудрости прямой, правдивъ и благороденъ», но, кромѣ мудрости, еще «вѣрный другъ бокала»...

Очевидно, философъ могъ вполнѣ отъ чистаго сердца громить педантизмъ и прямо изъ житейскихъ наблюденій почерпать остроумныя и часто ѣдкія изображенія человѣческихъ пороковъ и слабостей.

Вмѣстѣ съ Велланскимъ онъ—представитель ранняго *петербургскаго* шеллингіанства. Оно неразрывно связано съ философскими школами въ духовныхъ учебныхъ академіяхъ. Это одинъ источникъ, другой—заграничныя командировки.

Правительство, въ лицѣ Екатерины II и Александра I, заботилось о достойномъ замѣщеніи русскихъ каѳедръ и нѣсколько разъ посылало отборныхъ студентовъ въ иностранные университеты.

Мы видѣли, эти посылки увѣнчивались весьма значительными результатами въ области науки и общественныхъ вопросовъ. И несомнѣнно, успѣхи съ теченіемъ времени могли только умножаться: это видно на примѣрахъ Галича и Велланскаго.

Почти сверстники по лѣтамъ, они по научному направленію стоятъ далеко другъ отъ друга. Сравнительно съ Велланскимъ, Галича можно назвать настоящимъ положительнымъ ученымъ и общественнымъ просвѣтителемъ. По крайней мѣрѣ, его сочиненія обличаютъ высокопросвѣщенный критическій умъ и благородный независимый характеръ.

Оставалось только развиться этимъ богатымъ силамъ и стремленіямъ и «практическая цѣль человѣчества», столь озабочивавшая молодого профессора, безъ всякаго сомнѣнія, много выиграла бы отъ его учености и таланта.

Въ дѣйствительности, ни Велланскій, ни Галичъ, по своимъ непосредственнымъ личнымъ вліяніямъ, не вышли изъ своихъ кабинетовъ и аудиторій. Мало этого, даже въ этихъ тѣсныхъ предѣлахъ оба философа не нашли самой необходимой свободы для своего философскаго слова.

XVII.

Надъ русской философіей гроза собралась издалека, изъ тѣхъ краевъ, откуда явилась въ Россію и сама философія. Собственно, свободой философія въ Россіи не пользовалась и раньше грозы. Еще въ 1813 году, по поводу диссертаціи Галича, совѣтъ педагогическаго института вмѣнилъ новому преподавателю въ обязан-

ность—не вводить своей системы, а держаться учебниковъ, одобренныхъ начальствомъ.

Но отъ этого ограниченія было еще далеко до окончательнаго разгрома философіи.

Разгромъ не вызывался никакими отечественными, русскими фактами. Только развѣ Скалозубы и полоумныя московскія кумушки могли кричать о безбожіи петербургскихъ профессоровъ и требовать повальнаго сожженія книгъ.

Реакція явилась европейскимъ отголоскомъ и притомъ болѣе громкимъ и глубокимъ, чѣмъ самый его источникъ.

Мы видѣли, какую роль играла философія Фихте въ національномъ германскомъ движеніи, т. е. университетъ и его питомцы. Молодежь первая восприняла проповѣди профессора-трибуна, не могла забыть ихъ немедленно, лишь только окончилась борьба съ Бонапартомъ. Напротивъ. Германскія правительства, руководимыя священнымъ союзомъ, сдѣлали все, чтобы національному освободительному движенію сообщить демократическое революціонное направленіе.

Государи въ разгарѣ борьбы надавали конституціонныхъ обѣщаній своимъ народамъ, но когда буря пронеслась, обѣщанія были выполнены немногими государствами, именно: Баденомъ, Баваріей, Саксенъ-Веймаромъ и Вюртембергомъ. Пруссія отложила вопросъ на неопредѣленный срокъ.

Очевидно, фихтіанское движеніе не утратило своей почвы. Университеты по прежнему остаются его очагомъ, особенно іенскій. Онъ организуетъ студенческіе союзы, выпускаетъ циркуляры къ другимъ университетамъ, устраиваетъ патріотическія и либеральныя празднества, жжетъ сочиненія и портреты реакціонеровъ и, наконецъ, одинъ изъ іенскихъ студентовъ убиваетъ нѣкоего Коцебу, нѣмца по происхожденію, русскаго по службѣ, автора ядовитыхъ статей противъ политическихъ агитаторовъ.

Вотъ и вся сущность событій, возымѣвшихъ громадное дѣйствіе далеко за предѣлами Германіи.

Русскіе ученые и особенно русская молодежь не имѣли рѣшительно никакого отношенія къ заграничному университетскому движенію. Даже больше. Галичъ, напримѣръ, путешествовалъ по Германіи въ 1811 году, какъ разъ въ самый разцвѣтъ дѣятельности Фихте, и мы не знаемъ ни малѣйшихъ отзвуковъ этого движенія изъ біографіи русскаго студента.

Но дипломатическій вождь европейскаго политическаго міра

Меттернихъ, усвоившій нехитрую систему запугиванья и бѣлаго террора, призналъ нѣмецкія событія достойными особаго конгресса европейскихъ государей. Программа была старая, бонапартовская, произвести рѣшительное давленіе на мысль и слово, и начать, конечно, съ университетовъ: они сами себя выдвинули на первый планъ.

Все было сдѣлано въ Карлсбадѣ, въ теченіе трехъ недѣль: такъ хвалился Меттернихъ. Жизнь, конечно, необыкновенно быстро все это раздѣлала, но пока тонъ былъ заданъ по всѣмъ направленіямъ; должна наступить эпоха экзекуцій, и прежде всего въ Саксенъ-Веймарѣ съ его іенскимъ университетомъ.

Какое касательство могли имѣть ко всему этому русскіе университеты?

По нашему отечеству не въ первый и не въ послѣдній разъ было попадать въ чужія теченія по закону инерціи и, какъ водится, въ стремительности опережать даже своихъ руководителей.

Въ Петербургѣ нашелся собственный Меттернихъ въ лицѣ Магницкаго. Сопоставленіе можетъ произвести комическое впечатлѣніе, а между тѣмъ нѣкоторое сравненіе австрійскаго канцлера съ русскимъ чиновникомъ весьма поучительно и вполнѣ естественно. Черты въ сущности психологически совершенно типичныя и общія весьма многимъ усерднѣйшимъ поборникамъ движенія вспять.

Прирожденное и воспитанное легкомысліе въ вопросахъ нравственности, полнѣйшее личное равнодушіе къ религіи и вѣрѣ, презрѣніе ко всякаго рода человѣческой независимости и оригинальности и, слѣдовательно, къ серьезной мысли и благородному искреннему чувству, внѣшнее джентльмэнство и корректность и непреодолимый цинизмъ въ глубинѣ души, эпикурейство рядомъ съ единственнымъ жизненнымъ мотивомъ—эгоизмомъ и во имя его неограниченной безпринципностью: таковъ былъ европейскій стражъ священныхъ традицій Меттернихъ. Еще въ болѣе грубой формѣ тотъ же типъ представлялъ и Магницкій, циническій атеистъ въ тѣсномъ кружкѣ пріятелей и рьяный защитникъ Бога и церкви предъ начальствомъ. Оруженосца онъ нашелъ въ лицѣ Рунича, попечителя петербургскаго университета, а послушное орудіе въ лицѣ министра князя Голицына — человѣка искренне религіознаго, но непроницательнаго и безвольнаго. Именно онъ представлялъ благодарнѣйшую жертву для застращиванія и чисто террористическаго гипноза.

Въ результатѣ, русскіе университеты оказались подъ мечемъ

палача. Казнь началась съ казанскаго. Цѣлымъ рядомъ инструкцій университетъ былъ превращенъ въ застѣнокъ, на мѣсто «лжеименнаго» разума водворилась священная инквизиція по нравственной и религіозной системѣ Магницкаго. Философіи, конечно, не было здѣсь мѣста, и профессора увольнялись за малѣйшее подозрѣніе въ соприкосновеніи даже съ кантіанствомъ, до сихъ поръ оффиціально допускавшимся въ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Разгромъ казанскаго университета только первый подвигъ Магницкаго.

Богатѣйшую поживу Магницкій усмотрѣлъ въ петербургскомъ университетѣ. Ему не стоило большихъ трудовъ овладѣть ничтожнымъ, суетливымъ карьеристомъ Руничемъ, опутать сѣтями благонамѣренности и благочестія князя Голицына, и въ результатѣ въ ноябрѣ 1821 года произошла приснопамятная исторія.

Въ стѣнахъ университета Руничъ учинилъ допросъ четыремъ профессорамъ, вѣрнѣе, даже не допросъ, а безапелляціонное судьбище, не допускавшее ни объясненій, ни оправданій. Профессорамъ грозили даже жандармами съ обнаженными палашами. Галичъ оказался однимъ изъ четырехъ.

Обвиненіе противъ него Руничъ формулировалъ коротко и ясно. «Вы явно предпочитаете язычество христіанству, распутную философію дѣвственной невѣстѣ церкви Христовой, безбожнаго Канта Христу, а Шеллинга духу святому».

Ничѣмъ эти грозныя улики не доказывались и доказать ихъ, конечно, не было возможности не только для Рунича, но и для гораздо болѣе искуснаго слѣдователя.

Галичъ не потерялъ духа, и далъ смиренно-ироническій отвѣтъ. Соли Руничъ совершенно не замѣтилъ и привѣтствовалъ новообращеннаго въ громкомъ стилѣ призваннаго насадителя «благодати Божіей».

Галичъ отвѣчалъ:

«Сознавая невозможность опровергнуть предложенные мнѣ вопросные пункты, прошу не помянуть грѣховъ юности и невѣдѣнія».

Руничъ не желалъ удовлетвориться словеснымъ раскаяніемъ и требовалъ отъ профессора переизданія его исторіи философіи съ подробнымъ описаніемъ совершившагося чуда-обращенія.

Требованіе не было выполнено, высшее правительство даже поспѣшило возстановить жертвъ Рунича въ ихъ правахъ и снова опредѣлило на службу. Но собственно профессорская дѣятельность Галича закончилась навсегда.

Руничъ, несомнѣнно, переусердствовалъ и это было признано его же начальствомъ, но философія и послѣ петербургскаго эпизода ничего не выиграла. Напротивъ. Недовѣріе къ ней, повидимому, еще больше укоренилось. «Обскурантизмъ», по выраженію Велланскаго, «началъ управлять колесницею Русскаго феба».

Результаты вышли многообразные и многознаменательные.

Такіе люди, какъ Велланскій, «ужаснулись отъ тучъ» и стали пребывать «въ бездѣйствіи».

И это были лучшіе люди. Нашлись болѣе податливые и вмѣсто молчанія и бездѣйствія, сами рѣшились говорить и работать въ требуемомъ направленіи.

Именно этотъ результатъ, неизмѣнно сопровождающій «тучи» внесъ растлѣніе въ русскую университетскую науку и гораздо болѣе всякаго педантизма и бездарности подорвалъ жизненныя силы только что посѣянныхъ сѣмянъ философіи.

XVIII.

Мы видѣли, шеллингіанство впервые явилось въ Петербургѣ. Когда о немъ услыхали въ московскомъ университетѣ—достовѣрно трудно рѣшить. Можетъ быть, еще Буле познакомилъ студентовъ съ новой системой. Во всякомъ случаѣ московскій профессоръ Давыдовъ родоначальникомъ русскаго шеллингіанства называлъ Галича, хотя отдавалъ справедливость и философскимъ заслугамъ Буле.

Это не точно. Велланскій предшествовалъ Галичу, его сочиненія были извѣстны, конечно, и въ Москвѣ, философа даже приглашали сюда на курсъ публичныхъ лекцій съ громаднымъ гонораромъ. А потомъ московская духовная академія въ 1810 году обладала блестящимъ преподавателемъ философіи,—Фишеромъ.

Онъ оставилъ по себѣ самую лестную славу среди учениковъ. Надеждинъ захватилъ только поздніе отголоски этой славы, но и онъ могъ изобразить ее въ чрезвычайно сильныхъ выраженіяхъ:

«Я учился у учениковъ Фишера и знаю, какой энтузіазмъ возбуждало въ нихъ одно воспоминаніе, одно имя великаго учителя. Дѣйствительно, то немногое, что онъ успѣлъ сообщить имъ, было исполнено такой жизни, облито такимъ свѣтомъ, что душа, чувствующая потребность и силу мыслить, естественно должна была покориться непреодолимому магическому очарованію. Въ самой академіи слѣды преподаванія Фишера невозможно было истребить совершенно».

Надеждинъ явился впослѣдствіи однимъ изъ первыхъ московскихъ послѣдователей шеллингіанства, но не первымъ.

Въ московскомъ университетѣ нашлось два профессора, по направленію своихъ ученыхъ занятій представляющихъ нѣкоторую параллель съ петербургскими шеллингіанцами. Рядомъ съ Велланскимъ можно поставить естествоиспытателя-философа, профессора сельскохозяйственныхъ наукъ, Павлова, съ Галичемъ Давыдова, профессора русской словесности.

Аналогія, конечно, очень поверхностная: Павлову былъ чуждъ теософическій полетъ Велланскаго и Давыдовъ менѣе всего могъ соперничать съ оригинальнымъ и независимымъ авторомъ *Картины человѣка*. Но одинъ стремился естественнымъ наукамъ придать философское единство и умозрительную глубину, другой на первыхъ порахъ искренне мечталъ о насажденіи исторіи философіи въ московскомъ университетѣ.

Давыдовъ предшествовалъ Павлову. Шаги его на философскомъ поприщѣ не стяжали ему авторитета у современниковъ и почетной памяти у потомства.

Профессоръ пристalъ къ шеллингіанству не по внутреннему влеченію и не по твердому убѣжденію въ достоинствахъ системы, а потому, что она стояла на очереди дня, Петербургъ исповѣдовалъ ее, Москва тосковала о ней. Эти настроенія были настолько сильны еще ко времени появленія *Исторіи философскихъ системъ* Галича, что авторъ этой книги долженъ былъ измѣнить ея планъ.

Сначала Галичъ не разсчитывалъ вовсе излагать систему Шеллинга, какъ еще незаконченную и вполнѣ невыясненную. Но потомъ, «склонясь на *требованіе* многихъ почтенныхъ читателей разнаго званія, я доставилъ въ особомъ прибавленіи по крайней мѣрѣ ключъ къ шеллинговой системѣ въ *первоначальномъ* ея видѣ» [34]).

Естественно, и московскіе профессора должны были отозваться на потребность времени.

Давыдовъ началъ преподавать логику въ 1817 году и тогда же заявилъ свое предпочтеніе Шеллингу, признавъ его своимъ руководителемъ въ предметѣ.

Этого было достаточно для блюстительскаго ока Магницкаго. Въ докладѣ Александру I о бѣсовскомъ революціонномъ духѣ ло-

---

[33]) О немъ монографія Е. Ѳеоктистова и въ статьѣ Никитенко, стр. 43 etc.

[34]) *Ист. филос. системъ. Предисловіе* ко второй книгѣ.

гика Давыдова клеймилась какъ одно изъ его проявленій, шеллингіанство признавалось вообще вольнодумствомъ и развратомъ.

Это происходило въ 1823 году. Давыдову фактъ былъ неизвѣстенъ, и профессоръ вздумалъ расширить философское преподаваніе именно въ духѣ шеллингіанства. Въ 1826 году Давыдовъ прочиталъ вступительную лекцію къ новому курсу—*О возможности философіи, какъ науки*.

Лекторъ довольно ясно излагалъ основное положеніе философіи тождества, т. е. «единство и тожество законовъ обоихъ міровъ идеальнаго и вещественнаго».

Это значило прать противъ рожна. Курсъ былъ запрещенъ и сама каѳедра философіи упразднена.

На этомъ событіи закончилась исторія русской университетской философіи въ философскую эпоху.

Шеллингіанство было окончательно устранено, какъ предметъ преподаванія, и объявлено столь же ядовитой нравственной и политической заразой, какою считалось вольтеріанство.

Разгромъ произвелъ въ высшей степени глубокое впечатлѣніе въ подлежащей средѣ. Быстро былъ усвоенъ извѣстный взглядъ на Шеллинга не только оффиціальными лицами, стоявшими на стражѣ просвѣщенія, но и самими просвѣтителями.

Дѣятельность Магницкаго вызвала обычные нравственные плоды среди людей слабыхъ, малодушныхъ или просто «пекущихся о многомъ». Гдѣ только ни проносился вихрь мракобѣсія и рабства, онъ всюду усѣявалъ свой путь «мертвецами».

Въ петербургскомъ университетѣ Руничъ нашелъ угодниковъ и предателей [35]). Еще раньше такого же результата достигъ Магницкій въ казанскомъ университетѣ.

Здѣсь водворилось подлинное шпіонство, превратило храмъ науки въ постыдный темный притонъ наушниковъ и доносителей и вызвало къ нему глубокое чувство омерзѣнія у мѣстнаго общества.

Въ Москвѣ шеллингіанство надолго осталось пугаломъ для благонамѣренныхъ профессоровъ. Каченовскій далъ тонъ еще во время преподаванія Давыдовымъ логики. Въ *Вѣстникѣ Европы* онъ выражалъ недоумѣніе, «по какому чудесному обстоятельству Шеллингъ не преподаетъ ученія своего въ домѣ сумасшедшихъ!» [36]).

Естественно, послѣ исторіи съ давыдовской лекціей, оторопь

---

[35]) Никитенко. *О. с.*, стр. 51.

[36]) *В. Евр.* 1817, № 20, стр. 259, примѣчанія за подписью *Рдръ*.

еще сильнѣе возрасла и въ 1831 году по поводу сочиненія Надеждина pro venia legendi профессора Ивашковскій и Снегиревъ подали въ факультетъ отдѣльное мнѣніе.

Надеждинъ даже не упоминалъ о Шеллингѣ, но критики усмотрѣли въ диссертаціи духъ запретной системы и желали знать: «можетъ ли сіе ученіе быть допущено въ нашемъ университетѣ?..»

Недугъ захватилъ и другія учебныя заведенія, проникалъ всюду одновременно съ экзекуціями и миссіонерскимъ давленіемъ спасителей отечества въ жанрѣ Магницкаго.

Въ нѣжинскомъ лицеѣ въ 1830 году два профессора отличились доносительской доблестью,—одинъ докладывалъ, что студенты читаютъ сочиненія *Александра Пушкина и другихъ подобныхъ*, другой—обвинялъ самого доносчика въ пристрастіи къ запрещеннымъ философскимъ ученіямъ [37]).

Легко представить, при такихъ условіяхъ философіи вообще и шеллингіанству въ особенности пришлось покинуть университетскія аудиторіи и искать себѣ менѣе виднаго, но болѣе затишнаго пріюта.

Они нашли этотъ пріютъ.

Здѣсь разцвѣло дѣятельное философское направленіе и отсюда оживотворило общественную мысль.

Чтобы оцѣнить по достоинству значеніе внѣакадемической философіи, мы должны сначала подвести итоги общелитературнымъ заслугамъ профессорскаго шеллингіанства, т. е. разсмотрѣть результаты *критической* дѣятельности ученыхъ словесниковъ и философовъ.

XIX.

Изъ двухъ первыхъ шеллингіанцевъ-профессоровъ особенно цѣннаго вклада въ эстетику мы должны ждать отъ Галича. Его личныя наклонности къ публицистикѣ и будничнымъ наблюденіямъ надъ дѣйствительностью, его отзывчивость и разнообразная талантливость, повидимому, заранѣе готовили для него поприще критика.

Оно вѣдь такъ недалеко отъ поэтическаго лиризма и сатирическихъ остротъ, въ изобиліи украшающихъ *Картину человѣка!*

Что касается Велланскаго, онъ въ качествѣ шеллингіанца не могъ миновать вопросовъ объ искусствѣ, но не могъ также и

---

37) Колюпановъ. *О. с.* I, 161.

здѣсь спуститься до земли и обыденныхъ фактовъ, какъ и въ своемъ ѳеософическомъ толкованіи міра.

Эстетическія представленія Велланскаго столь же выспренни, сколь и неуклюжи по формѣ. Имѣть какое-либо практическое значеніе для художественной литературы они врядъ ли могли, уже просто по неудобочитаемости для обыкновеннаго смертнаго произведеній философа. А потомъ общія опредѣленія въ искусствѣ тѣмъ менѣе дѣйствительны въ приложеніи, чѣмъ философичнѣе ихъ содержаніе и обширнѣе охватъ.

Что̀, напримѣръ, могъ извлечь писатель-художникъ изъ такихъ несомнѣнно, шеллингіанскихъ идей?

«Объектъ поэзіи есть представленіе универса идеальнымъ образомъ».

Если даже читатель и понималъ *универсъ* и *идеальный образъ*, онъ менѣе всего могъ цѣлесообразно примѣнить свои свѣдѣнія къ своему дѣлу. Философъ въ своемъ полетѣ залеталъ на такія высоты «скрытнѣйшихъ происшествій натуры», что подлинные объекты поэзіи, объекты, ежеминутно и неотвязно преслѣдующіе творческую фантазію и человѣческое чувство наблюдателя — тонули въ непроницаемомъ туманѣ и, слѣдовательно, сама поэзія становилась чѣмъ-то неуловимымъ и неосуществимымъ.

Наконецъ, для самого философа, теософически созерцающаго универсъ, не могутъ представлять насущнаго интереса такія мелочи, какъ русская литература—современница *Пролюзіи къ медицинѣ.* Велланскому не могло и на умъ придти сопоставить свою эстетику съ образцами искусства. Этого не дѣлалъ даже Шеллингъ, имѣвшій въ распоряженіи творчество Гёте и Шиллера.

А всякіе художественные принципы достигаютъ дѣйствительной силы и вліянія только путемъ ихъ практическаго выясненія и оправданія.

Эстетика не существуетъ безъ иллюстрацій, и критика превращается въ безплодное и безпочвенное резонерство, разъ у нея нѣтъ предъ глазами предметовъ суда—все равно, отрицательнаго или положительнаго.

Позднѣйшее шеллингіанство—не профессорское и не академическое—тѣмъ и обнаружило высшую стадію русскаго философскаго развитія, что спустилось съ высоты универса до всѣмъ извѣстнаго міра, въ критикѣ вмѣсто сокровеннѣйшихъ тайнъ заговорило о русской литературѣ, о Державинѣ, о Пушкинѣ.

Это было цѣлымъ переворотомъ и немедленно внесло множе-

ство новыхъ темъ въ философско-критическія разсужденія. *Новыхъ* не для шеллингіанства и германской философіи вообще, а для русскихъ раннихъ шеллингіанцевъ.

Достаточно назвать одинъ великій вопросъ—*національный*. Для Велланскаго онъ не существуетъ, его эстетика внѣ даже нашей планеты, не только отдѣльныхъ странъ свѣта и государствъ. Но разъ эстетика иллюстрируется и притомъ въ интересахъ русскаго читателя, *національность* немедленно занимаетъ подобающее ей первостепенное мѣсто.

И между тѣмъ, она скрывалась въ поднебесномъ туманѣ даже для Галича, автора особаго сочиненія о «наукѣ изящнаго».

Въ эстетикѣ Галичъ гораздо болѣе точный воспроизводитель идей Шеллинга, чѣмъ вообще въ философіи.

Еще въ диссертаціи Галичъ впадалъ совершенно въ тонъ Шеллинга, наставляя своего юношу: «рѣшеніе задачи міра не дается извнѣ; оно совершается во внутреннемъ твоемъ святилищѣ и притомъ творческимъ актомъ».

Въ *Картинѣ человѣка* «ощущенія прекраснаго» превознесены сравнительно съ умственными и нравственными силами. «Эстетическія чувствованія», по мнѣнію автора, «роднятъ насъ съ небожителями...» Вообще русскій философъ неистощимъ въ романтическомъ лиризмѣ тамъ, гдѣ заходитъ рѣчь о шеллингіанскомъ источникѣ высшаго видѣнія.

Въ 1825 году явился *Опытъ науки изящнаго*, на девять лѣтъ раньше *Картины человѣка*, но выспренность мысли та же.

Прежде всего, авторъ желаетъ непремѣнно остаться на исключительной высотѣ ученаго философа и заранѣе объявляетъ свое сочиненіе достояніемъ немногихъ избранныхъ. «Нелѣпое было бы легкомысліе требовать *свѣтскаго чтенія* отъ книжки, въ которой *начертываются основанія строгой науки*».

Судей предлагаемаго сочиненія можетъ быть еще меньше, чѣмъ читателей. На первомъ мѣстѣ авторъ ставитъ *философовъ* и на послѣднемъ—*поэтовъ*.

Очевидно, вся работа разсчитана по необычайно строгому масштабу, въ смыслѣ исключительной серьезности и малодоступности содержанія. Галичъ не отказывается отъ удовольствія презрительно сопоставить *журнальную статью* съ «прочнымъ зданіемъ науки». И въ то время, когда онъ позже станетъ съ большимъ остроуміемъ изобличать *педантизмъ*, теперь онъ считаетъ нужнымъ указать на смѣшеніе этого понятія съ *строгой наукой* у людей поверхностнаго направленія мыслей.

Вообще авторъ постарался всѣми силами возможно величественнѣе изобразить авторитетъ своей науки и до послѣдней степени съузить кругъ читателей своего сочиненія [38]).

Въ результатѣ явилась книга, довольно удобочитаемая по формѣ: Галичъ даже и въ роли спеціально серьезнаго ученаго не могъ утратить своего таланта. Но содержаніе ея врядъ ли могло имѣть какое вліяніе на изящное и на науку о немъ.

По времени появленія *Опыта* особенный интересъ должны были представлять разсужденія о *романтизмѣ*. Въ нихъ ничего нѣтъ ни оригинальнаго, ни яркаго послѣ книги Сталь и многочисленныхъ нѣмецкихъ теорій словесности. Любопытна только ссылка на поэта Жуковскаго: Галичъ приводитъ его стихи *Таинственный посѣтитель* [39]) съ цѣлью дать понятіе о главныхъ мотивахъ романтической поэзіи.

Что касается основного вопроса о художественномъ произведеніи, отвѣтъ формулированъ вполнѣ ясно и въ духѣ шеллингіанской эстетики. Собственно этотъ отвѣтъ только и имѣетъ извѣстное практическое значеніе, какое именно—мы указывали по поводу романтическихъ теорій творчества.

Галичъ «общую» часть своего *Опыта* заключаетъ:

«Прекрасное твореніе искусства происходитъ тамъ, гдѣ *свободный геній человѣка*, какъ *нравственно-совершенная сила, запечатлѣваетъ божественную, по себѣ значительную и вѣчную идею въ самостоятельномъ, чувственно-совершенномъ, органическомъ образѣ или призракѣ*» [40]).

Это въ высшей степени содержательное, обильное выводами опредѣленіе. Два принципа новой эстетики—свобода художника, какъ творческой личности и высокая идейность его произведенія—подчеркнуты рѣзко, даже, можетъ быть, слишкомъ настойчиво.

Свобода творчества да еще при идеальномъ представленіи о геніи, какъ *нравственно-совершенной силѣ*, могло прямымъ путемъ привести къ эстетическому идолопоклонству, къ *эстетизму* въ смыслѣ полнѣйшаго равнодушія ко всему прозаическому, земному, будничному. Теорія *чистаго искусства* таится въ выспреннемъ и неограниченномъ представленіи о *свободѣ творчества* и искусство для искусства ничто иное, какъ послѣдній аккордъ лирическаго

[38]) *Опытъ науки изящнаго*. Спб., 1825. Предисловіе.

[39]) *Ib.*, стр. 52—3, 55.

[40]) *Ib.*, стр. 10.

гимна во славу совершенства, божественности и прочихъ внѣземныхъ доблестей художественнаго таланта.

Но это—крайность и изнанка. Въ разумномъ толкованіи идея художественной свободы и личнаго достоинства художника—великій культурный шагъ сравнительно съ ремесленническимъ словеснымъ кропаніемъ и писательскимъ рабствомъ классической эпохи.

Есть оборотная сторона и въ принципѣ *идейности*. Его можно поднять на такую высоту, что окажутся *нехудожественными* и не *идейными* произведенія великаго нравственнаго и общественнаго смысла и значенія, но только не запечатлѣвающія *божественной* и *вѣчной* идеи.

Самъ Галичъ въ *предисловіи* къ *Опыту* предупреждаетъ о возможности подобнаго критическаго результата при руководствѣ его идеей объ изящномъ.

И результатъ не только возможенъ, но даже неизбѣженъ.

Мы встрѣтимся съ нимъ въ критическихъ статьяхъ Надеждина; онъ соблазнитъ также и юнаго Бѣлинскаго. Одно за другимъ будутъ «падать въ цѣнѣ», выраженіе Галича, произведенія Пушкина и во имя «божественныхъ» и «вѣчныхъ» идей на многіе годы повиснетъ надъ талантомъ величайшаго русскаго поэта гроза профессорскаго безпощаднаго приговора.

Но это опять только отрицательный моментъ—въ дѣйствительности плодотворной идеи. Надеждинъ такъ и замретъ въ безвоздушныхъ высотахъ своей науки и философіи, Бѣлинскій будетъ спасенъ отъ критическаго омертвѣнія живымъ личнымъ художественнымъ чувствомъ. Но каковы бы ни были частныя послѣдствія увлеченія идейностью, требованіе идейности отъ творческихъ произведеній явилось какъ нельзя болѣе кстати одновременно съ провозглашеніемъ свободы генія. Оно вносило извѣстныя ограниченія въ эту теорію и полагало предѣлы художественной свободѣ.

Художникъ долженъ быть свободнымъ и въ то же время идейнымъ. Это значило, подрывать въ корнѣ отпрыски чистаго эстетизма, вполнѣ возможные на почвѣ исключительной свободы.

Позднѣйшей критикѣ и предстояла сложная, но вполнѣ ясная задача: установить и практически оправдать уже готовыя понятія: творческаго свободнаго таланта и идейнаго художественнаго произведенія. По существу эти два вопроса и исчерпываютъ основное содержаніе и цѣли художественной критики.

Они неразрывно связаны другъ съ другомъ. Критику требуется одновременно и личное художественное дарованіе и совершенный

тактъ дѣйствительности, т. е. личная отзывчивость на ея многообразныя явленія, умѣнье производить имъ относительную оцѣнку и въ результатѣ цѣлесообразные запросы къ просвѣтительной силѣ искусства.

Соединить всѣ эти способности для природы, повидимому, не менѣе трудная, можетъ быть, даже болѣе трудная задача, чѣмъ создать первостепенный творческій талантъ. Извѣстная французская банальность, будто «критика — легка, а искусство — трудно», не имѣетъ никакого ни отвлеченнаго, ни историческаго права на серьезную истину. Она примѣнима только къ явленіямъ особаго рода, въ сущности ничего общаго не имѣющимъ ни съ критикой, ни съ искусствомъ.

Галичъ повторяетъ въ своей книгѣ замѣчаніе одного русскаго писателя: Россія бѣдна литературой, но богата критикой. Это было сказано до славы Пушкина и до появленія великой литературы сороковыхъ годовъ. Несомнѣнно, *такая* критика болѣе чѣмъ легка, и это доказываетъ ея роль въ литературѣ и въ обществѣ. Старая критика, мы видѣли, безпрестанно дѣлила свои владѣнія съ пасквилемъ, клеветой или изводила читателей схоластической отрыжкой.

Отсюда оставалось необозримое пространство до критики, способной подняться хотя бы до уровня современнаго искусства.

Дѣятельность Пушкина почти успѣла закончиться, Гоголь взошелъ на художественномъ горизонтѣ звѣздой первой величины, а русская критика все еще протирала глаза и металась отъ школьной указки до уличной брани, никакъ не находя достойнаго *литературнаго* пути. Даже Бѣлинскій перетерпѣлъ не мало весьма эффектныхъ крушеній раньше, чѣмъ овладѣлъ настоящимъ рулемъ и компасомъ.

И нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, отъ Бородинскихъ статей до письма къ Гоголю разстояніе несравненно больше, чѣмъ отъ *Кавказскаго плѣнника* до *Евгенія Онѣгина* или отъ *Сорочинской ярмарки* до *Ревизора*. Мы сравниваемъ не таланты критика и художниковъ, а имѣемъ въ виду трудъ и усилія, идейную работу, вносящую полное преобразованіе въ міросозерцаніе писателя.

Русской литературѣ оказалось *легче* произвести цѣлый рядъ первостепенныхъ творческихъ талантовъ, чѣмъ хотя бы двухъ равносильныхъ критиковъ. Мы увидимъ впослѣдствіи, съ какой медленностью прививались къ русской критикѣ окончательныя, повидимому, завоеванія Бѣлинскаго. Дѣятельность Добролюбова убѣдитъ

насъ, какъ *трудна* критика даже послѣ блестящаго и внушительнѣйшаго учителя и руководителя, а публицистика Писарева сразу перенесетъ насъ будто въ легендарную эпоху русской критической мысли...

Нѣтъ, исторія критики тѣмъ и поучительна, что именно она съ поразительной наглядностью раскрываетъ многотрудный, часто тягостный процессъ совершенствованія общественныхъ идей и художественно-литературныхъ воззрѣній и, слѣдовательно, съ особенной настойчивостью подчеркиваетъ заслуги отдѣльныхъ дѣятелей.

Мы только что видѣли, какъ при всей учености, при несомнѣнной доброй волѣ родоначальники русскаго шеллингіанства не могли внести новой жизни въ современную художественную литературу. Пребывая въ недосягаемыхъ областяхъ гордой науки и универсальныхъ созерцаній, они для писателей-художниковъ оставались совершенно внѣшнимъ и чуждымъ явленіемъ. Пушкинъ питалъ самыя нѣжныя чувства къ Галичу, какъ человѣку, но намъ совершенно неизвѣстны эстетическія вліянія профессора на своего ученика.

И если они были, цѣнность и сила ихъ не могли идти ни въ какое сравненіе съ личными вдохновенными стремленіями поэта къ инымъ путямъ творчества.

Тотъ же выводъ въ еще болѣе яркой формѣ справедливъ и относительно московскихъ ученыхъ эстетиковъ.

Въ то время, когда общественное мнѣніе вынуждало Галича вводить въ исторію философіи разборъ шеллингіанской системы, когда эта система волновала умы молодежи, ея учителей раздѣляла на враждебные лагери и приводила въ сильнѣйшее безпокойство офиціальную власть, въ это самое время съ каѳедры старѣйшаго московскаго университета невозбранно продолжало раздаваться слово «магистровъ» и «докторовъ» словеснаго искусства.

Мы говоримъ прежде всего о профессорѣ Мерзляковѣ.

XX.

Дѣятельность Мерзлякова входитъ какой-то промежуточной, будто *лишней* полосой въ исторію русской критики.

Онъ по рожденію принадлежитъ классической эпохѣ, по зрѣлому періоду своего университетскаго преподаванія—онъ современникъ Пушкина, его, слѣдовательно, можно назвать представителемъ *переходнаго* времени.

Отвѣтственная задача жить въ такія времена! Самое простое ея разрѣшеніе—умѣть не отстать отъ *перехода*, т. е. не впасть въ раздоръ съ временемъ, но подчиниться ему не пассивно и не противъ воли, а сознательно, съ полнымъ пониманіемъ его стремленій и съ искреннимъ сочувствіемъ новымъ людямъ.

У Мерзлякова, повидимому, были всѣ данныя выполнить эту задачу.

Очень даровитый, даже съ поэтическимъ талантомъ, лично—простой и сердечный, сынъ небогатой купеческой семьи, слѣдовательно, по прежнимъ условіямъ просвѣщенія, ученый по призванію, Мерзляковъ подавалъ надежды на самую живую и отзывчивую дѣятельность.

Обстоятельства благопріятствовали.

Ученикомъ пермскаго народнаго училища Мерзляковъ обратилъ на себя вниманіе начальства *Одой на заключеніе мира со шведами*. Оду довели до свѣдѣнія Екатерины II и юный поэтъ былъ принятъ на казенный счетъ въ московскую университетскую гимназію.

Дальше слѣдовалъ университетъ и сближеніе съ Жуковскимъ.

Послѣднее обстоятельство имѣло очень большое значеніе не только въ личномъ развитіи Мерзлякова.

Мы впервые встрѣчаемся съ фактомъ первостепеннаго культурнаго смысла въ исторіи русскаго просвѣщенія—съ студенческимъ кружкомъ. Явленіе будетъ развиваться десятки лѣтъ и по временамъ играть исключительную роль въ литературѣ.

Умственные запросы русской молодежи очень рано стали перерастать духовную пищу, предлагавшуюся въ университетскихъ аудиторіяхъ. Запросы развивались подъ вліяніемъ заграничныхъ путешествій и заграничной литературы. Еще при Екатеринѣ молодые русскіе студенты могли слушать въ германскихъ университетахъ какія угодно лекціи, увлекаться современными европейскими идеалами народнаго блага и общественной свободы, а по возвращеніи въ Россію, попадали въ міръ дѣйствительности, по самымъ своимъ жизненнымъ основамъ враждебный подобнымъ увлеченіямъ, и въ наукѣ встрѣчали или прямую ненависть къ независимой мысли, или неуклонное барственно-эпикурейское стремленіе играть съ огнемъ, не обжигаясь.

Естественно, возникало безвыходное противорѣчіе. Съ одной стороны само правительство отъ запада требовало образованія для своихъ дѣятелей и университетскихъ профессоровъ, съ дру-

гой—немедленно пресѣкало часто даже самыя скромныя попытки осуществить плоды этого образованія. Мы могли видѣть изъ исторіи съ петербургскими профессорами и особенно съ Галичемъ, въ какое ложное положеніе попадали совершенно благонамѣренные люди, на казенный счетъ ѣздившіе слушать нѣмецкихъ философовъ и искренне желавшіе оправдать разсчеты правительства—поднять умственный уровень русской молодежи.

Что общаго между крамолой и безбожіемъ и личностью и учеными трудами Галича? Очевидно, ничего, если Галичъ и послѣ катастрофы могъ состоять на государственной службѣ и печатать свои сочиненія.

И между тѣмъ, катастрофа разразилась и имѣла свои послѣдствія.

У Галича были и предшественники, и преемники.

Въ 1766 году за границу было послано двѣнадцать молодыхъ людей съ научной цѣлью; слушали они лекціи въ лейпцигскомъ университетѣ; надзиралъ за ними гофмейстеръ и монахъ-духовникъ, и результаты получились менѣе всего блестящіе.

Самые даровитые изъ путешественниковъ ничего не достигли въ своемъ отечествѣ и даже выдѣлили изъ своей среды настоящую жертву искупленія—Радищева.

Подобныя исторіи происходили и съ учеными, пріѣзжавшими по приглашенію правительства изъ-за границы. Безпрестанно имъ приходилось не по собственной волѣ отбывать на родину, или, подобно Раупаху, товарищу Галича, отрясать негостепріимный прахъ отъ ногъ своихъ.

Очевидно, всякому, кто питалъ жажду продолжать любимое дѣло и по возвращеніи изъ-за границы въ Россію, приходилось обходиться домашними средствами, т. е. оставить надежду на открытую просвѣтительную дѣятельность и замкнуться въ тѣсномъ кружкѣ единомышленныхъ и вѣрныхъ людей.

Отсюда параллельное существованіе двухъ центровъ высшаго просвѣщенія—университетовъ съ профессорами и кружковъ со студентами. И мы знаемъ, какъ долженъ былъ распредѣлиться умственный свѣтъ, исходившій изъ того и другого центра.

Университеты, въ качествѣ оффиціальныхъ учрежденій, не могли не подчиниться внѣшнимъ силамъ, въ родѣ предпріятій Магницкаго и Рунича. Они не только подчинились, но въ лицѣ многихъ своихъ членовъ даже пошли на встрѣчу господствовавшему гасительному направленію и изъ среды профессоровъ вы

двинули усердныхъ конкуррентовъ—гонителей «лжеименнаго разума». Мы видѣли факты, увидимъ и дальше, убѣдимся, что даже для чисто-литературныхъ отношенiй профессорской корпорацiи не прошла безслѣдно воспитательная дѣятельность Магницкаго.

Естественно, свѣта и воздуха оставалось искать за стѣнами университета. Для этого молодому человѣку вовсе не требовалось быть даже очень пылкимъ искателемъ, не надо было обладать нарочитыми либеральными наклонностями, а просто—не имѣть способности сегодня сжигать то, чему поклонялся вчера. А именно такъ и ставился вопросъ для русскихъ питомцевъ или заграничныхъ университетовъ, или просто заграничной философiи.

Въ силу вещей на сцену появлялось *западничество*, не какъ фанатическое обожанiе европейскаго въ противоположность русскому, а просто какъ уваженiе къ мышленiю и просвѣщенiю въ противоположность схоластикѣ и реакцiи. И въ этомъ смыслѣ первые западники явились учредителями первыхъ кружковъ, независимыхъ культурныхъ центровъ.

Членами *Дружескаго литературнаго общества*, основаннаго при дѣятельномъ участiи Жуковскаго, мы не случайно встрѣчаемъ извѣстныя имена Кайсарова и Александра Тургенева. Это имена воспитанниковъ геттингенскаго университета, людей, окунувшихся въ нѣмецкое море и не нашедшихъ пристанища на современномъ политическомъ берегу своего отечества.

Почему—показываютъ самые простые факты. Кайсарова, мы знаемъ, занималъ вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права, и даже Жуковскiй—человѣкъ отнюдь не политическiй—впослѣдствiи отвѣтилъ на этотъ вопросъ освобожденiемъ своихъ крестьянъ.

Несомнѣнно, и остальные члены кружка должны были подходить подъ это направленiе. А оно не могло ограничиться только общественными вопросами, оно было одним изъ членовъ многообъемлющаго символа просвѣщенной вѣры, т. е. и въ литературѣ заявляло соотвѣтствующiя требованiя. Примѣръ — тотъ же Жуковскiй.

Мы знаемъ цѣну его романтизма — художественную и нацiональную, но, подробно разбирая явленiя философскаго перiода нашей критики, мы не должны умолчать о связи поэзiи Жуковскаго съ философiей.

На первый взглядъ это звучитъ странно. Жуковскiй, несомнѣнно, увлекался мистицизмомъ, даже привидѣнiями, вообще «тайнами» и «ужасами» полуночнаго часа, но серьезнаго интереса къ философiи въ немъ не было.

И все-таки, его романтизмъ внесъ свою дань въ распространеніе германской философіи среди русской молодежи.

Рядомъ съ духовными учебными заведеніями, съ путешествіями за-границу слѣдуетъ помнить еще одинъ путь, какимъ философія изъ Германіи переселялась въ Россію. Это путь, далеко не столь опредѣленный и прямой, какъ другіе два, но для нѣкоторыхъ онъ могъ быть самымъ легкимъ и даже единственнымъ, по крайней мѣрѣ, какъ вступленіе въ царство новой мысли.

Одинъ изъ учениковъ философской эпохи, обозрѣвая разныя культурныя вліянія на русское общество, такъ опредѣляетъ роль поэзіи Жуковскаго:

«Она передала намъ ту идеальность, которая составляетъ отличительный характеръ нѣмецкой жизни, поэзіи и философіи; и такимъ образомъ, въ составъ нашей литературы входили двѣ стихіи: умонаклонность французская и германская» [41]).

Слѣдовательно, Жуковскій, по представленію современниковъ, своей поэзіей создалъ совершенно новую умственную почву, развилъ «сторону, идеальную, мечтательную», до него невѣдомую русскому просвѣщенному обществу «французско-карамзинскаго направленія».

Въ такомъ же смыслѣ, только еще рѣзче, выражается другой современникъ Жуковскаго, поэтъ и критикъ.

Жуковскій далъ «германическій духъ русскому языку», ближайшій къ нашему національному духу, какъ тотъ «свободному и независимому» [42]).

Это слишкомъ сильно. Авторъ самъ одаренъ «германическимъ духомъ» и переоцѣнилъ его сродство съ русскимъ національнымъ. Но для насъ важенъ взглядъ современниковъ на культурное значеніе переводовъ Жуковскаго. Несомнѣнно, они не могли создать философовъ, но они воспитывали почву для сѣмянъ философіи, и въ области эстетики стихи Жуковскаго, мы видѣли, предвосхищали отвлеченныя положенія самыхъ строгихъ русскихъ ученыхъ.

Отъ «идеальнаго и мечтательнаго» въ поэзіи не трудно было, при извѣстномъ настроеніи ума, перейти къ «идеальному и мечтательному» въ теоріи, тѣмъ болѣе, что сама эта теорія вѣи-

[41]) И. В. Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1831 годъ.* Полное собраніе сочиненій, I, 23.

[42]) Кюхельбекеръ, *Взглядъ на нынѣшнее состояніе русской словесности.* Статья, переведенная въ *В. Евр.* 1817 года изъ *Conservateur impartial.* Ср. Колюпановъ. *О. с.* II, 25.

цомъ своего зданія полагала ту же поэзію. А именно такимъ и было шеллингіанство.

Жуковскій по своимъ литературнымъ задачамъ могъ быть совершенно неповиненъ въ такихъ послѣдствіяхъ своего романтизма, но всякое художественное явленіе тѣмъ и значительно, что оно по своимъ жизненнымъ отраженіямъ часто далеко превосходитъ разсчеты самого художника. Примѣрами изобилуетъ всякая литература, и русская въ особенности.

Намъ теперь ясно, какіе общіе настоятельные мотивы могли вызывать частныя литературныя общества, кружки и собранія для литературныхъ и философскихъ бесѣдъ. На западѣ въ ту же эпоху весь континентъ кишелъ также союзами и обществами, но преимущественно политическаго направленія. Въ Россіи только въ рѣдкихъ случаяхъ политика входила въ программу кружка. Она ограничивалась чисто-культурными, просвѣтительными задачами. И вполнѣ послѣдовательно.

Эти задачи для Россіи первой четверти XIX-го столѣтія именно и являлись настойчивыми историческими нуждами и самая устойчивость и быстрое развитіе кружковъ показываютъ ихъ *почвенность*, ихъ соотвѣтствіе данному періоду русской общественной жизни.

Будущему историку русской культуры предстанетъ въ высшей степени содержательный и оригинальный вопросъ о явленіи, повидимому, произвольномъ и часто просто личномъ, въ дѣйствительности знаменующемъ одно изъ самыхъ глубокихъ теченій русскаго просвѣщенія въ высшемъ нравственномъ и общественномъ смыслѣ.

Страницу въ этой исторіи займетъ и *Дружеское литературное общество*, открывшее свою дѣятельность 12 января 1801 года.

XXI.

Цѣль *Общества* опредѣлялась исключительно литературными задачами: «очищать вкусъ, развивать и опредѣлять понятія обо всемъ, что́ изящно, что́ превосходно».

Мы не знаемъ, какъ осуществлялась эта цѣль, но собранія общества оставили глубокій слѣдъ въ памяти Мерзлякова.

Четырнадцать лѣтъ спустя, въ письмѣ къ Жуковскому Мерзляковъ восторженно вспоминаетъ о «правилахъ», «которыя пріобрѣлъ» онъ «въ незабвенномъ, можетъ быть, уже невозвратномъ для насъ любознательномъ обществѣ словесности».

Товарищескимъ бесѣдамъ онъ приписываетъ свой интересъ къ русской литературѣ, одну изъ важнѣйшихъ своихъ статей—о *Рогнѣдѣ* Хераскова—считаетъ результатомъ этихъ бесѣдъ и разсчитываетъ остаться вѣрнымъ тому, что онъ усвоилъ «въ цвѣтѣ юности».

Одновременно съ бесѣдами общества Мерзляковъ вспоминаетъ и благодѣтельные совѣты Дмитріева, автора сатиры *Чужой толкъ*, возникшей за шесть лѣтъ до основанія кружка.

Сатира возставала противъ популярнѣйшаго классическаго жанра—оды, а Мерзляковъ, съ своей стороны, говоритъ о свободѣ кружка отъ «предразсудковъ, вредныхъ нашей словесности».

Очевидно, при такихъ заявленіяхъ профессоръ не могъ быть защитникомъ классицизма въ старинной сумароковской формѣ.

Но этотъ фактъ отнюдь не могъ считаться особенной заслугой для критика начала XIX го вѣка, видѣвшаго передъ собой дѣятельность Карамзина и новой литературной школы. А непосредственно за Карамзинымъ слѣдовалъ Жуковскій, потомъ Пушкинъ: все это проходило предъ учеными глазами Мерзлякова, и вопросъ, какъ онъ разглядѣлъ и понялъ современныя явленія?

Въ 1804 году Мерзляковъ получилъ степень магистра и каѳедру россійскаго краснорѣчія и поэзіи. До самой смерти, въ теченіе двадцати шести лѣтъ, онъ руководилъ русскими молодыми поколѣніями въ области науки, повидимому, болѣе всего соотвѣтствовавшей его природѣ.

Еще до появленія на каѳедрѣ Мерзляковъ пріобрѣлъ литературную извѣстность, какъ поэтъ, сначала какъ искусный подражатель Ломоносова, Державина, Карамзина, сочинилъ, между прочимъ, оду *Непостижимому*, явно разсчитанную на соревнованіе съ державинскимъ произведеніемъ *Богъ*, а *Пѣснь Моисеева по прехожденіи Чермнаго моря* имѣла даже особенный успѣхъ.

Естественно, Мерзляковъ явился далеко не зауряднымъ лекторомъ. Студенты немедленно почувствовали вѣяніе новаго духа и явную силу таланта. По разсказу Погодина, слушатели «со всѣхъ сторонъ бросались въ аудиторію точно на приступъ, спѣша занять мѣста. Медики, математики,—о словесникахъ и говорить нечего,—юристы, кандидаты, живиіе въ университетѣ, всѣ являлись въ аудиторію, которая наполнялась въ минуту народомъ сверху до низу, по окошкамъ, даже надъ верхними лавками амфитеатра. Мерзляковъ долженъ былъ пробираться черезъ толпу. Какое молчаніе воцарилось, когда онъ сѣлъ, наконецъ, на каѳедру!..»

Профессоръ одинаково искусно декламировалъ стихи и излагалъ собственныя мысли, артистически владѣя голосомъ и захватывая аудиторію искреннимъ чувствомъ, часто величественной импровизаціей.

Рѣчь была свободна отъ всякихъ обычныхъ ученыхъ хитростей, діалектическихъ изворотовъ и педантической темноты.

Профессоръ и на каѳедрѣ сохранилъ простоту обыкновеннаго русскаго человѣка, страстно любилъ народныя пѣсни, весьма удачно подражалъ имъ и достигъ результата, неслыханнаго для старой поэзіи. Нѣкоторыя пѣсни Мерзлякова, напримѣръ, *Среди долины ровныя*, перешли въ публику, не имѣвшую никакихъ соприкосновеній ни съ наукой, ни даже съ грамотой.

Любовь къ народной поэзіи для Мерзлякова была уваженіемъ къ русской національности вообще, и профессоръ осмѣлился въ лицо высшему русскому обществу сказать горькую правду почти въ тонѣ Чацкаго.

Въ началѣ 1812 года Мерзляковъ открылъ курсъ публичныхъ лекцій. Онѣ быстро стяжали громкую популярность и собирали цвѣтъ литературнаго и аристократическаго міра.

Нашествіе Наполеона прервало чтенія; они возобновились только въ 1816 году и создали своего рода университетскую аудиторію для большой публики.

Она слышала здѣсь далеко не шаблонныя словесныя поученія. Профессоръ часто впадалъ въ рѣзкое публицистическое настроеніе, отъ лица «русскаго писателя» взывалъ къ патріотизму большихъ господъ и даже «прекраснаго пола». Ученый лекторъ предвосхитилъ извѣстный отзывъ Пушкина о «нелюбопытствѣ» русскихъ, только еще рѣшительнѣе укорялъ своихъ соотечественниковъ за холодъ и равнодушіе «къ твореніямъ, имѣющимъ своимъ предметомъ нашу славу».

Не всегда на слушателей могли производить благопріятное впечатлѣніе подобныя лекціи. Профессоръ безпокоилъ самолюбіе своей аудиторіи не только патріотическими укоризнами, но и своими критическими сужденіями. Сергѣй Аксаковъ, слушавшій одну публичную лекцію Мерзлякова, именно о *Дмитріи Донскомъ* Озерова, отмѣтилъ недовольство публики на слишкомъ строгій судъ профессора надъ популярной трагедіей.

Наконецъ, еще въ одномъ отношеніи Мерзляковъ являлся истиннымъ учителемъ современнаго общества. Онъ—самъ плебей и труженикъ мысли,—впервые заговорилъ объ общественномъ зна-

ченіи поэтическаго дарованія. Онъ призывалъ современниковъ, менѣе всего привыкшихъ уважать писателя, «почтить науку и талантъ стихотворца изъ любви къ самимъ себѣ» и «очистить чрезъ это собственныя удовольствія».

Все это выходило за предѣлы и классическихъ традицій, и старинныхъ университетскихъ привычекъ. Личная даровитость профессора давала чувствовать себя и въ содержаніи, и въ направленіи лекцій. Она также заставила его произвести важную реформу въ оффиціальномъ преподаваніи.

До Мерзлякова русская литература преподавалась въ университетѣ вмѣстѣ съ древними. Мерзляковъ сообщилъ каѳедрѣ отечественной словесности самостоятельное значеніе. Раньше произведенія русской поэзіи разбирались исключительно по латинскимъ реторикамъ, Мерзляковъ выдвинулъ на первый планъ національное содержаніе русскихъ образцовъ и старыя руководства замѣнилъ новыми.

Какими же? Вотъ съ этого вопроса и начинается рядъ минусовъ въ столь, повидимому, живой и оригинальной дѣятельности профессора.

Когда мы слышимъ отзывы о Мерзляковѣ, какъ лекторѣ, перечитываемъ его критическія статьи въ *Трудахъ Общества любителей Россійской Словесности*, въ журналахъ *Амфіонъ*, *Вѣстникъ Европы*, наши впечатлѣнія безпрестанно двоятся. Мы ни на минуту не увѣрены, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло, дѣйствительно ли съ реформаторомъ словесной науки, или съ лекторомъ и литераторомъ, ищущимъ популярности и въ то же время желающимъ спасти историческій престижъ своей ученой степени?

Прочтите разборы *Россіады* Хераскова, *Эдипа* Озерова и особенно *Дмитрія Самозванца* — Сумарокова: сколько смѣлыхъ, свѣжихъ идей! Какая отвага въ развѣнчиваніи общепризнанныхъ талантовъ и какое краснорѣчіе всюду, гдѣ защищаются интересы естественности, драматизма, психологіи! И даже нѣчто совсѣмъ новое и обѣщающее богатые плоды: профессоръ додумывается до *исторической* критики.

Онъ усиливается возстановить несправедливо попранную память Тредьяковскаго, именуетъ его «просвѣщеннымъ учителемъ литературы», даже *Телемахиду* считаетъ «излишне порицаемой», грубость языка злополучнаго піиты приписываетъ не столько самому автору, сколько его времени и въ заключеніе подчеркиваетъ заслуги Тредьяковскаго въ вопросѣ о стихосложеніи.

По поводу Сумарокова—рѣзкая отповѣдь «умственному рабству» русскихъ писателей предъ французскими. Ломоносовъ наводитъ критика на упрекъ, зачѣмъ поэтъ сочинялъ преимущественно торжественныя оды,—слѣдовало понизить тонъ лиры и выбрать болѣе будничный предметъ: «человѣкъ всего занимательнѣе для человѣка». Съ этой же точки зрѣнія восхваляется Державинъ за употребленіе простыхъ народныхъ выраженій [43]).

Вообще характеристика Державина, какъ поэта, замѣчательна. Мерзляковъ предвосхитилъ основныя мысли Бѣлинскаго, подмѣтилъ главную силу державинскаго таланта—яркость и свѣжесть красокъ, и въ то же время недостатокъ искусства, изящества, чувства мѣры. Заключеніе безусловно въ пользу оригинальнаго таланта, какъ бы мало ни было въ немъ «гармоніи и симметріи». Выводъ Мерзлякова могъ навсегда остаться въ русской критикѣ. Онъ продиктованъ подлиннымъ художественнымъ чувствомъ:

«Разсматривая внимательно всѣ превосходства и недостатки Державина, я часто воображаю, что смотрю на открытую, великолѣпную и разнообразную до безконечности природу, во всей видимой и мнимой ея безпечности и свободѣ: она прелестна, величественна и въ своихъ безпорядкахъ, и въ своихъ ужасахъ, и въ своихъ безпрерывныхъ измѣненіяхъ; вездѣ и всегда трогаетъ мои чувства, не смотря на первое упорство строгаго разума, требующаго ближайшихъ и точнѣйшихъ отношеній и связей между предметами» [44]).

Въ учебникѣ, изданномъ для студентовъ, Мерзляковъ рѣшился даже высказать общее положеніе, оправдывающее его восторги предъ природой вопреки разуму.

«Изящное не доказывается по законамъ разума», писалъ профессоръ, «и правила вкуса не извлекаются изъ чистыхъ понятій, а выводятся только изъ опытовъ и повѣряются одною критикою» [45]).

На чемъ же будетъ основана сама критика?

По мнѣнію Мерзлякова, «ее можно назвать матерью и стражемъ вкуса». Очевидно, она должна руководиться какими-нибудь прочными и ясными принципами, иначе ея авторитетъ—стража—можетъ быть одинаково и отвергаемъ, и признаваемъ.

---

[43]) *Труды О. Л. Р. С.* 1812, I, *Разсужденіе о Россійской словесности въ нынѣшнемъ ея состояніи.*

[44]) *Труды*, 1820. XVIII. *Державинъ.*

[45]) *Краткое начертаніе теоріи изящной словесности.* Москва, 1822. *Вступленіе*, § 11.

Профессоръ даетъ въ высшей степени любопытный отвѣтъ:

«Самое понятіе о прекрасномъ чуждо всякихъ законовъ; только *критика вкуса* имѣетъ здѣсь свой голосъ, болѣе или менѣе опредѣленный».

Мало этого. «Произведенія изящныхъ искусствъ, какъ предметы чувствованія и вкуса, не подвержены строгимъ правиламъ и не могутъ, кажется, имѣть постоянной системы или науки изящнаго».

Выводъ, повидимому, ясенъ: чувство, а не разсудокъ, вкусъ, а не теорія, впечатлѣнія, а не законы—таковы основы критики.

И если вы сопоставите выводъ съ уничтожающей критикой на классическія трагедіи, съ гражданскимъ негодованіемъ на чужебѣсіе и на пассивное преклоненіе предъ авторитетами,—предъ вами возстанетъ образъ критика-реформатора, профессора-просвѣтителя.

И у Мерзлякова были всѣ задатки выполнить это назначеніе, и все-таки онъ не выполнилъ, даже больше. На фонѣ талантливости все одолѣвшіе педантизмъ и малодушіе производятъ на насъ несравненно болѣе прискорбное впечатлѣніе, чѣмъ скоропалительное и пустоцвѣтное шеллингіанство Давыдова, товарища Мерзлякова и его преемника на каѳедрѣ словесности.

XXII.

Никакія независимыя идеи, самыя пылкія импровизаціи не помѣшали Мерзлякову не только преподавать учебную теорію изящнаго, но даже найти себѣ учителя въ лицѣ нѣмецкаго эстетика.

Два руководства, предложенныя студентамъ, *Краткое начертаніе теоріи изящной словесности* и *Краткая риторика* представляли компиляцію книги Эшенбурга: *Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Wissenschaften.* Книга—одно изъ дѣтищъ школьнаго классицизма.

Но сущность заключалась не въ достоинствахъ или недостаткахъ нѣмецкой теоріи, а въ томъ, что русскій профессоръ не нашелъ другого средства просвѣщать своихъ слушателей, кромѣ перевода и компиляціи.

При такомъ оборотѣ дѣла всѣ критическія новшества, отрицанія, системы и воззванія къ художественному чувству утрачивали всякое практическое значеніе.

Профессоръ твердо держался разъ принятаго пути—до такой

степени твердо, что за свои компиляторскія наклонности подвергся даже порицанію учебнаго начальства.

Въ концѣ 1827 года Мерзлякову поручили составить для гимназій риторику и піитику. Спустя два года, Мерзляковъ представилъ въ Комитетъ учебныхъ пособій рукопись. Отзывъ послѣдовалъ слѣдующій:

«Комитетъ, разсмотрѣвъ рукописи Мерзлякова, нашелъ, что онѣ суть ничто иное, какъ почти буквальный переводъ извѣстной книги Гейнзія *Der Redner und Dichter* и переводъ очень неудачный съ прибавленіемъ авторовъ древнихъ и европейскихъ изъ Эшенбурга и съ присовокупленіемъ русскихъ, весьма недостаточныхъ. Что касается до примѣровъ, то оные или переведены изъ Гейнзія же, или заимствованы безъ разбора изъ старыхъ нашихъ риторикъ и піитикъ, а потому всѣ почти обветшалыя. Такъ, въ примѣръ ироніи приводится: *Счастливы тѣ народы, у коихъ боговъ полны огороды!* Или для показанія слога сатиры приводится сатира Антіоха Кантемира *Къ уму своему*. Даже самыя опечатки старыхъ примѣровъ не исправлены какъ слѣдуетъ».

Рукопись была возвращена автору и замѣнена *Россійской Риторикой* Кошанскаго, основанной «на нынѣшнемъ состояніи нашей словесности» [46]).

Этотъ фактъ въ высшей степени краснорѣчивъ. Онъ показываетъ, на что сошла дѣятельность Мерзлякова. Жестокому отзыву комитета соотвѣтствовало и отношеніе молодежи къ профессору.

Слава его, какъ лектора, скоро стала преданіемъ. Преподаватель будто съ самаго начала вступилъ на наклонную плоскость и безостановочно шелъ къ полному паденію. Уже въ двадцатыхъ годахъ у Мерзлякова не было благодарной аудиторіи. Импровизаціи, какъ бы онѣ иногда ни удавались, не могли скрыть страшнаго для профессора порока: Мерзляковъ не слѣдилъ за своей наукой и не вдумывался въ развитіе русской художественной литературы. Вновь возникавшія явленія заставали его врасплохъ и онъ или подвергалъ ихъ суду съ точки зрѣнія своихъ риторикъ, или обличалъ полную растерянность критической мысли.

Еще въ 1818 году онъ напалъ на баллады и на «духъ германскихъ поэтовъ» на совершенно неожиданномъ основаніи, неожиданномъ послѣ войны съ русскимъ классицизмомъ:

«Что это за духъ, который разрушаетъ всѣ правила піитики,

46) Н. Барсуковъ. *Жизнь и труды М. П. Погодина.* III, 166—7.

смѣшиваетъ вмѣстѣ всѣ роды, комедію съ трагедіей, пѣсни съ сатирой, балладу съ одой и пр. и пр.» [47]).

Мы должны помнить, эта вылазка явно направлена противъ *Жуковскаго*—основателя того самаго общества, о какомъ Мерзляковъ хранилъ восторженныя воспоминанія. Выходило, слѣдовательно, противорѣчіе даже въ *личныхъ* отношеніяхъ профессора, и не по какимъ либо причинамъ эгоистическаго характера, а во славу піитики, ради идеи. Фактъ существенной важности. Правила, будто фатумъ, тяготѣли надъ мыслью ученаго и вынуждали его на поступки, способные произвести на историка весьма двусмысленное нравственное впечатлѣніе. Тѣмъ болѣе, что выходка противъ баллादъ явилась отъ *неизвѣстнаго* лица, не имѣвшаго будто никакихъ касательствъ къ бывшему члену *Дружескаго общества*.

Недоразумѣнія, все равно, какъ и ремесленническое компиляторство, могли только усилиться съ годами.

Во имя піитики были осуждены баллады, ради Горація—въ самое странное положеніе попала лирическая поэзія. Мерзляковъ вообще всю поэзію раздѣлилъ на два рода: эпическій и драматическій, а лирическую включилъ въ разрядъ эпической.

И такъ могъ разсуждать авторъ *пѣсенъ* и *романсовъ!*

Не только художественное чутье, но простое чувство *самооправданія* должно бы подсказать профессору болѣе эстетическій и уважительный взглядъ на любимый родъ поэзіи.

Послѣ этого не удивительны упражненія Мерзлякова не только въ торжественномъ одописаніи, но и въ переводахъ идиллій г-жи Дезульеръ. Профессоръ могъ впадать въ преднамѣренное піитическое «піянство» и мириться съ приторной сентиментальностью въ канье и въ красныхъ каблучкахъ.

Мерзляковъ имѣлъ несчастіе дожить до молодыхъ произведеній Пушкина. Выходили *Русланъ и Людмила*, *Кавказскій Плѣнникъ*, профессору надлежало бы сказать вѣское слово по этому поводу, тѣмъ болѣе, что студенты немедленно были охвачены жгучимъ интересомъ къ событію.

Учителю, оказалось, нечѣмъ было отозваться на увлеченіе молодежи. Блестящій стихъ Пушкина, неисчерпаемая роскошь и ослѣпительная яркость образовъ не могли, конечно, не тронуть *сердца* критика, столь удачно оцѣнившаго талантъ Державина.

Но это былъ безсознательный трепетъ, невольное и смутное

---

[47]) *Труды*, XI, *Письмо изъ Сибири*.

впечатлѣніе, слабый отголосокъ настроеній, подсказавшихъ профессору задушевныя ноты въ его собственныхъ пѣсняхъ.

Мерзляковъ *плакалъ*, читая *Кавказскаго Плѣнника*. «Онъ чувствовалъ,—разсказываютъ очевидцы,—что это прекрасно, но не могъ отдать себѣ отчета въ этой красотѣ и безмолвствовалъ».

Безмолвіе, конечно, въ данномъ случаѣ дѣлало профессору больше чести, чѣмъ рѣчи его товарищей по университету въ родѣ Каченовскаго и Надеждина. Но и безмолвіе при столь краснорѣчивомъ голосѣ самой жизни—явное свидѣтельство безсилія, отсталости, нравственной смерти заживо.

Мерзляковъ до конца оставался дѣятельнымъ членомъ университета и *Общества любителей россійской словесности*, но въ этой дѣятельности не было ни жизненности, ни современности, слѣдовательно, плодотворности, а главное, не было единства, послѣдовательности и строгой принципіальности.

Въ свѣтлые моменты профессоръ отряхивалъ руки отъ всякихъ піитическихъ узъ и, указывая на сердце, говорилъ слушателямъ: «Вотъ гдѣ система». И непосредственно за столь эффектнымъ жестомъ могла послѣдовать цѣлая диссертація о правилахъ, длинная ода со всѣми реторическими фигурами и въ самомъ «высокомъ штилѣ».

Естественно, Мерзляковъ еще при жизни, отъ своихъ же учениковъ, услышалъ вполнѣ справедливый судъ, чрезвычайно скромный по формѣ, но уничтожающій по существу.

Одинъ изъ представителей молодого поколѣнія задумалъ высказать нѣсколько соображеній по поводу сочиненія Мерзлякова *О началѣ и духѣ древней трагедіи*. Критикъ приступилъ къ своей задачѣ съ совершеннымъ уваженіемъ къ профессору, но уваженіе не помѣшало автору попасть не въ бровь, а въ глазъ заслуженному словеснику.

У Мерзлякова оказывались только «искры чувствъ», «разбросанныя понятія о поэзіи, часто облеченныя прелестью живописнаго слова, но не связанныя между собою, не озаренныя общимъ взглядомъ и перебитыя явными противорѣчіями».

Указывался и еще болѣе существенный недостатокъ, столь же неожиданный, какъ и сдѣлки профессора-поэта съ піитиками. Исторія происхожденія искусствъ у него «забавныя сказочки», нѣтъ представленія о «постепенности существеннаго развитія искусствъ». Это значило—нѣтъ историческаго метода, т. е. основного условія научности и вѣрности литературныхъ сужденій. А

между тѣмъ, могли же мы отмѣтить вполнѣ *историческую* оцѣнку дѣятельности Тредьяковскаго!..

Но и она пронеслась «искрой»...

Критикомъ Мерзлякова явился очень молодой, двадцатилѣтній юноша. Мы съ нимъ встрѣтимся, какъ съ однимъ изъ даровитѣйшихъ представителей философскаго поколѣнія и въ то же время питомцемъ внѣуниверситетскаго разсадника знанія и идей. Отсюда, мы видимъ, поднималась неизбѣжная война противъ оффиціальной академической науки, неспособной, очевидно, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ стать съ вѣкомъ наравнѣ и покончить съ обветшалыми уставами своего цеха.

Мы называемъ благопріятными условіями даровитость Мерзлякова и его прирожденное стремленіе къ критически независимой, художественно-чуткой мысли.

Только въ исключительныхъ случаяхъ ученая степень и профессура могли соединиться съ поэтическимъ талантомъ, и это соединеніе не повело ни къ какимъ положительнымъ результатамъ.

Мы только-что видѣли отзывъ *критика* изъ круга современной молодежи, еще рѣзче приговоръ *поэта*, первостепеннаго художника, болѣе всего заинтересованнаго въ вопросѣ.

Пушкинъ не согласенъ признавать никакихъ заслугъ за критикой Мерзлякова, даже упадокъ славы Хераскова онъ считаетъ независящимъ отъ мерзляковскихъ лекцій. Общее мнѣніе Пушкина о профессорѣ самое отчаянное: «добрый пьяница, но ужасный невѣжда» [48]).

Послѣднее сужденіе, въ сущности, имѣлъ въ виду и критикъ, обличавшій ученаго въ забавныхъ сказочкахъ.

Но Пушкинъ распространилъ свой взглядъ и не пощадилъ вообще университета. Для него это царство «предразсудковъ и вандализма».

И у поэта есть подлинныя данныя изрекать такой приговоръ. Онъ называетъ еще одно профессорское имя съ не менѣе безпощадными эпитетами: «Каченовскій тупъ и скученъ».

Устами поэта, несомнѣнно, говорили гнѣвъ и страсть: Каченовскій досадилъ Пушкину многообразными путями, и лично, и особенно при посредствѣ своего соратника—Надеждина.

---

[48]) Письмо къ А. Бестужеву. 21 марта 1825 г. Письмо къ Плетневу 26 марта 1831 г.

Но какъ бы мы ни смягчали форму пушкинскихъ опредѣленій, смыслъ останется непоколебимъ и исторически-справедливъ. Именно въ лицѣ Каченовскаго профессорская «наука» выступала съ самымъ громоздкимъ арсеналомъ противъ жизни и поэзіи, противъ насущнѣйшихъ стремленій молодыхъ поколѣній и настоятельнѣйшихъ фактовъ новой литературы.

XXIII.

Литературная дѣятельность Каченовскаго неразрывно связана съ *Вѣстникомъ Европы*. Послѣ Карамзина журналъ этотъ сталъ университетскимъ по сотрудничеству профессоровъ и ихъ ближайшихъ учениковъ. Каченовскій, ставшій во главѣ журнала съ 1805 года, старался придать ему ученый и вполнѣ джентльмэнскій характеръ. Онъ обѣщалъ читателямъ не помѣщать пасквилей, не нападать на личности и давать только серьезный и вполнѣ литературный матеріалъ.

По части учености обѣщанія были выполнены. Редакторъ, спеціалистъ въ русской исторіи, давалъ много оригинальныхъ и переводныхъ статей историческихъ, филологическихъ и даже философскихъ.

Далеко не всѣ статьи отличались одинаковыми достоинствами. Каченовскій въ изученіи источниковъ русской исторіи проявлялъ большую критическую проницательность и отважный скептицизмъ. Гончаровъ, слушавшій его лекціи въ тридцатыхъ годахъ, такъ передаетъ свои впечатлѣнія:

«Когда онъ касался спорнаго въ исторіи вопроса, щеки его, обыкновенно блѣдныя, загорались алымъ румянцемъ и глаза блистали сквозь очки, а въ голосѣ слышался задоръ редактора *Вѣстника Европы*. Онъ мысленно видѣлъ предъ собою своихъ ученыхъ противниковъ и поражалъ ихъ стрѣлами своего неумолимаго анализа. И всю исторію такъ читалъ, точно смотрѣлъ въ нее глубоко, какъ въ бездну, сквозь свои критическіе очки».

Несомнѣнно, анализъ и скептицизмъ приносили большую пользу слушателямъ Каченовскаго. Профессоръ, между прочимъ, дерзнулъ поднять руку и на Карамзина, подвергъ строгой критикѣ предисловіе къ *Исторіи Государства Россійскаго*. Еще плодотворнѣе могъ быть ученый анализъ касательно лѣтописныхъ легендъ.

Но отвага и скептицизмъ Каченовскаго имѣли предѣлы, весьма замѣчательные для личной характеристики ученаго.

Прежде всего, Каченовскій рѣшительно не отличался нравственнымъ мужествомъ, этимъ основнымъ условіемъ мощныхъ вліяній скептицизма и критики. Когда на него напали сильные люди за отзывы о Карамзинѣ, онъ окончательно растерялся и больше не хотѣлъ и слышать о критикѣ на исторіографа. Потомъ, вообще литературную критику ученый редакторъ считалъ дѣломъ второстепеннымъ въ журналѣ и не имѣлъ ни малѣйшаго представленія о животрепещущемъ нервѣ журналистики своего времени. Наконецъ, благонамѣренность скептическаго историка доходила до умилительно-услужливой защиты благодѣтельныхъ вліяній цензуры на литературу. Защита звучала очень внушительно, такъ какъ авторъ ссылался на французскую революцію.

Въ устахъ журналиста эта рѣчь являлась довольно неожиданной, особенно при старыхъ цензурныхъ порядкахъ.

Но еще важнѣе отношеніе Каченовскаго къ современнымъ направленіямъ мысли и литературы.

Гончаровъ замѣчаетъ, что Каченовскій—скептикъ «кажется, во всемъ». Догадка довольно удачная. Ученый дѣйствительно проявилъ свой неумолимый скептицизмъ въ области искусства и философіи, но только не на счетъ прошлаго и отжившаго, а какъ разъ противъ всего новаго и свѣжаго.

Конечно, и здѣсь сомнѣніе подчасъ оказывалось цѣлесообразнымъ, и мы указывали раньше на удачную отповѣдь *Вѣстника Европы* неразумнымъ выученикамъ карамзинской чувствительности. Но чаще всего скептицизмъ Каченовскаго билъ мимо цѣли и обличалъ въ ученомъ профессорѣ изумительную ограниченность пониманія современности и удручающую притупленность художественнаго вкуса.

Никто изъ ученыхъ педантовъ не доставлялъ такихъ благодарныхъ темъ для всякаго рода издѣвательствъ, какъ редакторъ *Вѣстника Европы*. Поэты, съ Пушкинымъ во главѣ, осыпали его эпиграммами и посланіями, и нѣкоторыя выраженія этихъ эпиграммъ, въ родѣ «во тьмѣ, въ пыли, въ презрѣньѣ посѣдѣлый», невольно припоминаются по поводу многочисленныхъ вылазокъ журнала Каченовскаго въ современную словесность.

Прежде всего, любопытенъ вопросъ касательно философіи. Каченовскій и въ университетѣ, и въ литературѣ жилъ и дѣйствовалъ среди философовъ, не всегда послѣдовательныхъ и устойчивыхъ, но, во всякомъ случаѣ, тронутыхъ господствующими теченіями.

Были и равнодушные, въ родѣ Мерзлякова, не подавшаго голоса ни за, ни противъ новыхъ увлеченій. И умолчаніе въ духѣ этого профессора, покладливаго, противорѣчиваго и далеко не всегда увѣреннаго въ своихъ собственныхъ убѣжденіяхъ.

Другое дѣло Каченовскій. Онъ заговорилъ громко и авторитетно, и какъ заговорилъ!

Пушкинъ негодовалъ на «пасквилей томительную тупость» въ *Вѣстникѣ Европы*; философы имѣли всѣ основанія еще выше поднять негодующій тонъ.

Каченовскій неоднократно пытался побить камнями нѣмецкую философію и дѣлалъ это въ чрезвычайно грубой, отнюдь не научной формѣ. Мы знаемъ отзывъ о Шеллингѣ: иного наименованія, кромѣ «галиматьи», шеллингіанство въ глазахъ русскаго профессора не заслуживало.

Этого взгляда *Вѣстникъ Европы* держался неуклонно до самой своей кончины, въ 1830 году. Каченовскій, наканунѣ прощанія съ своей публикой, продолжалъ недоумѣвать: «И чего ради, смѣемъ спросить, изъ германскихъ головъ этотъ весь товаръ, состоящій изъ невразумительныхъ или затѣйливыхъ диковинокъ, желаютъ нагрузить въ головы русскія?»

Любопытно, что профессоръ ограничивался только оригинальными примѣчаніями скептическаго направленія, самыя статьи о философіи переводились съ иностранныхъ языковъ.

Легко представить, на какомъ уровнѣ стояли философскія воззрѣнія Каченовскаго, если даже Давыдовъ счелъ необходимымъ почерпнуть кое-что изъ шеллингіанства и навлекъ на себя начальственное неудовольствіе за германскую «галиматью».

Совершенно такого же достоинства и чисто литературныя идеи Каченовскаго. Онъ оставался неизмѣннымъ защитникомъ классицизма. Здѣсь, очевидно, не хватило у него ни критики, ни простой разсудительной вдумчивости. Для профессора классическая піитика пребывала сокровищницей «правилъ здраваго смысла» и «Викторъ Гугонъ» на его взглядъ былъ однимъ только и замѣчателенъ— «уклоненіемъ отъ подчиненности» этимъ правиламъ.

При такихъ условіяхъ *Вѣстникъ Европы* превратился въ пріютъ всяческаго литературнаго старовѣрія. Мерзляковъ охотно помѣщалъ здѣсь свои статьи, съ профессоромъ дѣятельно конкуррировали разные «жители Бутырской слободы», старавшіеся поражать ненавистныя новшества стилемъ болѣе легкимъ и современнымъ.

Одна изъ жертвъ—поэма Пушкина *Русланъ и Людмила*

герой—«житель Бутырской слободы», его впослѣдствіи смѣнитъ житель Патріаршихъ прудовъ и, не смотря на значительное разстояніе между этими московскими урочищами, оба критика окажутся самыми близкими сосѣдями по духу и таланту.

«Житель» громилъ Пушкина во имя «нашихъ стариковъ», между прочимъ, Сумарокова и Петрова, находилъ иронически «очаровательную дикость» въ современной поэзіи и совершенно утрачивалъ терпѣніе при одной мысли о Пушкинской поэмѣ. Критика она особенно возмущала своимъ не аристократическимъ содержаніемъ. Она—подражаніе *Еруслану Лазаревичу*!.. «Житель», сдѣлавъ нѣсколько цитатъ, обращается къ публикѣ:

«Позвольте спросить: если бы въ московское благородное собраніе какъ-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: *здорово, ребята!* Неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться? Бога ради, позвольте мнѣ, старику, сказать публикѣ, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появленіи подобныхъ странностей. Зачѣмъ допускать, чтобы такія шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвѣщеннымъ, отвратительна, а ни мало не смѣшна и не забавна. Dixi».

Бутырскій житель вызвалъ достойную головомойку у современныхъ же читателей. *Сынъ Отечества*, направляемый Гречемъ, высмѣялъ старческое брюзжаніе московскаго журнала и довольно искусно побилъ его его же авторитетами—древними и новыми классиками—по части свободы въ эпизодахъ и стилѣ пушкинской поэмы.

Но *Вѣстникъ Европы* твердо держался своей линіи. Бутырскій житель отвѣчалъ обширной антикритикой.

Подробности этой полемики даже въ свое время не представляли насущнаго интереса для читателей. Поэтическое произведеніе по существу играло совершенно второстепенную роль въ журнальной перепалкѣ. Споръ шелъ на архивную, только отчасти преобразованную тему—о *старомъ* и *новомъ*. И *Вѣстникъ Европы* упорно отстаивалъ преданья старины глубокой.

Но, очевидно, упорство на подобномъ пути само по себѣ преизобильно всевозможными неожиданностями и противорѣчіями. Волны ненавистной, но сильной жизни поминутно врывались въ кабинетъ ученаго и подчасъ производили здѣсь удивительный безпорядокъ.

Каченовскому съ своимъ журналомъ приходилось попадать въ

положеніе своего именитаго сотрудника—Мерзлякова. На сравнительно краткихъ промежуткахъ читатели могли узнавать вещи, трудно примиримыя и прямо невозможныя при сколько-нибудь убѣжденномъ редактированіи журнала.

Въ 1820 году уничтоженъ *Русланъ и Людмила* и, конечно, авторъ поэмы, а менѣе трехъ лѣтъ спустя *Вѣстникъ Европы* напечаталъ статью Погодина о *Кавказскомъ плѣнникѣ*—«прелестномъ цвѣтникѣ на Русскомъ Парнассѣ». Не только столь лестно именовалась новая поэма, но и о прежней говорилось, какъ о благопріятномъ предзнаменованіи для будущаго развитія пушкинскаго таланта [49]). Пушкинъ титуловался «любезный поэтъ нашъ» и ему посылались самыя сердечныя напутствія на дальнѣйшіе успѣхи.

Но даже и болѣе яркіе проблески терпимости и отзывчивости не могли бы освѣтить въ общемъ сѣрую и пыльную физіономію профессорскаго журнала. Непослѣдовательность могла только вызывать у людей заинтересованныхъ лишнюю горечь раздраженія.

XXIV.

Сотрудникомъ *Вѣстника Европы* одно время состоялъ кн. Вяземскій, какъ поэтъ и какъ критикъ. Послѣдній разъ его имя въ журналѣ встрѣчается въ 1817 году, и скоро другъ Пушкина дѣятельно начинаетъ преслѣдовать Каченовскаго посланіями и эпиграммами.

Причина разлада ясна изъ статьи князя о *Кавказскомъ плѣнникѣ*, напечатанной въ *Сынѣ Отечества* [50]).

Статья любопытна во многихъ отношеніяхъ. Собственно переходы кн. Вяземскаго изъ одного журнала въ другой не имѣютъ большого значенія для судебъ русской критики. Но разрывъ съ *Вѣстникомъ Европы* знаменовалъ появленіе новой литературной школы, точнѣе, новаго эстетическаго понятія, *романтизма*.

Это понятіе не имѣло въ русской критикѣ и малой доли того значенія, какое оставалось за нимъ на Западѣ въ теченіе всей половины XIX вѣка. Мы указывали на чисто-внѣшній характеръ романтическихъ увлеченій русской журналистики. Въ Россіи не было культурной и національной почвы для романтическаго творчества въ его подлинномъ историческо-литературномъ смыслѣ.

---

[49]) *В. Евр.* 1823, ч. 128, № 1.

[50]) *Къ портрету Жуковскаго. В. Евр.* ч. 91, № 4, стр. 246. подпись К. В.

Интересъ къ романтическому направленію поэзіи проникъ въ русскую критику одновременно съ «германическимъ духомъ», т. е. съ переводами Жуковскаго, особенно съ произведеніями Байрона. Въ то время, когда философію пересаживали на русскую почву профессора и вообще ученые, новое искусство нашло первыхъ воспріемниковъ среди поэтовъ. Это вполнѣ соотвѣтствуетъ самой сущности предметовъ, но оба теченія, философское и художественное, на родинѣ имѣли общій источникъ. Мы видѣли тѣснѣйшую связь между романтизмомъ и идеями Фихте, особенно Шеллинга. Должны были сойтись оба теченія и въ русской литературѣ. Критика, если только она желала остаться на высотѣ современнаго искусства, неминуемо становилась одновременно философской и романтической.

Новая школа ничего другого не могла означать, какъ философское преобразованіе содержанія поэзіи и романтическая переработка формы. Съ одной стороны, *идейность*, невѣдомая старой классической литературѣ, съ другой — упраздненіе школьныхъ піитическихъ жанровъ и созданіе новыхъ.

Естественно, сторонники философіи непремѣнно выступали энергическими защитниками романтизма, и наоборотъ, ненавистники «нѣмецкой галиматьи» осуждали себя на неуклонное обереганіе обветшалыхъ святынь классическаго Парнасса.

Разрывъ кн. Вяземскаго съ Каченовскимъ впервые освѣтилъ этотъ фактъ и положилъ начало продолжительной войнѣ двухъ идейныхъ и художественныхъ міросозерцаній.

Борьба вызвала много шуму и подчасъ страстнаго азарта, но по смыслу и по результатамъ представила очень мало поучительнаго и плодотворнаго и въ критикѣ, и въ искусствѣ.

Мы знаемъ, какъ Пушкинъ разрѣшилъ вопросъ о романтизмѣ Долго и безплодно отыскивая теоретическое опредѣленіе школы, онъ по внушенію своего творческаго генія покончилъ съ поисками созданіемъ національнаго русскаго реализма. Это и было единственнымъ производительнымъ рѣшеніемъ вопроса—одинаково и для критиковъ, и для художниковъ.

Но то, что непосредственно давалось великому таланту и глубокому художественному чутью Пушкина, другимъ являлось въ смутной, почти недоступной дали, и авторъ *Евгенія Онѣгина* опередилъ критиковъ и публицистовъ, по крайней мѣрѣ, на пятнадцать лѣтъ своей проповѣдью будничности и реализма поэтическихъ задачъ.

Въ результатѣ послѣдовала жестокая борьба *теоретиковъ* романтизма съ величайшимъ *практикомъ* современнаго искусства. Борьба по существу выходила сплошнымъ недоразумѣніемъ, свидѣтельствовала о возрожденіи эстетическаго отвлеченнаго деспотизма только на другихъ основахъ, враждебныхъ классикамъ, но столь же нетерпимыхъ и противо-художественныхъ.

Критики романтическаго направленія образовали свою академію въ университетской наукѣ и въ печати, оградили себя формулами и правилами и будто изъ засады принялись громить современную поэзію, не стоявшую на высотѣ теоретически-выработанной *идейности смысла* и наивно-превознесенной романтической *силы творчества*.

Очевидно, романтизмъ долженъ былъ внести въ критику такой же разладъ, какой былъ созданъ философіей.

Мы видѣли, ученые философы, при лучшихъ намѣреніяхъ, не могли оказать непосредственныхъ вліяній на художественную литературу, съ самаго начала воспарили на такія недосягаемыя вершины созерцанія, что всякая дѣйствительность предъ созерцателемъ превращалась въ ничто, безслѣдно пропадала на неограниченномъ горизонтѣ его орлинаго взгляда.

То же самое произошло и съ не менѣе учеными романтиками.

Они съ высоты каѳедръ взяли столь же выспренній тонъ и поддались такому же неудержимому полету въ эфирныя высоты идеальнаго искусства, и между ихъ фантазіей и дѣйствительностью легла роковая пропасть. Они, толкуя о романтизмѣ, о вдохновеніи, о поэтической свободѣ, о творческой геніальности, являлись столь же практически-безплодными резонерами, какъ и самые отвлеченные метафизики и схоластики.

Въ результатѣ, философія и романтизмъ могли стать дѣйствительно жизненными силами только при одномъ условіи: если они окончательно освобождались отъ школьнаго педантизма и отрѣшеннаго теоретическаго священнодѣйствія, если философія переставала быть схоластической игрой въ формулы, опредѣленія и умозаключенія, а романтизмъ—новымъ виномъ для старыхъ мѣховъ, т. е. новымъ матеріаломъ для эстетическихъ рубрикъ и начальническихъ экзекуцій со стороны парнасскихъ стражей въ преобразованныхъ мундирахъ.

Это условіе вполнѣ осуществилось и въ философіи, и въ эстетикѣ. Рядомъ съ университетомъ и оффиціальными учителями философіи возникли и быстро разрослись общества свободнаго *любо-*

мудрія, рядомъ съ профессорами-журналистами дѣятельно работала молодежь, безпрестанно вступая въ жестокія схватки съ старшимъ поколѣніемъ. Критическая работа долго продолжаетъ идти двумя путями. Они по существу отнюдь не враждебны другъ другу, знамена у того и другого лагеря носятъ одни и тѣ же девизы: философія и романтизмъ. Но разница въ приложеніи этихъ девизовъ къ жизни, въ практическомъ истолкованіи основныхъ принциповъ.

Разница обнаружилась очень рано по всѣмъ направленіямъ—и философскому, и литературному. *Вѣстникъ Европы* Каченовскаго явился любопытнѣйшей сценой перваго столкновенія. Журналъ терялъ сотрудничество кн. Вяземскаго и пріобрѣталъ новаго критика въ лицѣ *Надеждина*.

Почему же одинъ могъ подвизаться на страницахъ профессорскаго органа съ чрезвычайной свободой, а другой—объявилъ безпощадную войну своему бывшему редактору?

Вопросъ во всѣхъ отношеніяхъ настоятельный.

Князю Вяземскому, послѣ разлуки съ Каченовскимъ, вздумалось привѣтствовать *Кавказскаго плѣнника*. И онъ сдѣлалъ это въ *Сынѣ Отечества*, но могъ бы сдѣлать и въ *Вѣстникѣ Европы*: здѣсь, мы видѣли, Погодинъ напечаталъ не менѣе лестную статью о пушкинской поэмѣ.

Дальше, въ статьѣ кн. Вяземскій выступилъ на защиту «поэзіи романтической», и писалъ слѣдующее:

«На страхъ оскорбить присяжныхъ приверженцевъ старой Парнасской династіи, рѣшились мы употребить названіе, еще для многихъ у насъ дикое и почитаемое за хищническое и беззаконное. Мы согласны: отвергайте названіе, но признайте существованіе. Нельзя не почесть за непоколебимую истину, что и литература, какъ и все человѣческое, подвержена измѣненіямъ: они многимъ изъ насъ могутъ быть не по сердцу, но отрицать ихъ невозможно или безразсудно. И нынѣ, кажется, настала эпоха подобнаго преобразованія» [51]).

Тѣ же истины, неизбѣжнаго паденія классицизма, будетъ доказывать и критикъ *Вѣстника Европы*, и между тѣмъ именно онъ вызоветъ неумолимое ожесточеніе у поэтовъ и публицистовъ, безусловныхъ романтиковъ. Даже пушкинскія эпиграммы на Каче-

[51]) *Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго*. Изд. гр. Шереметева. Спб., 1878. I, 73.

новскаго поблѣднѣютъ предъ нападками на его сотрудника, Надеждина—фигура, одинаково ненавистная и поэту Пушкину, и журналисту Полевому, хотя журналистъ далеко не поклонникъ поэта, напротивъ: Полевой даже нерѣдко совпадётъ въ своихъ сужденіяхъ съ приговорами Надеждина. Но какъ бы далеко ни шло единодушіе и какъ бы по временамъ ни обострялись отношенія Полевого къ Пушкину, критикъ журнала Каченовскаго не встрѣтитъ ни снисхожденія, ни простого признанія ученыхъ или литературныхъ заслугъ даже въ самыхъ ограниченныхъ предѣлахъ.

Фактъ тѣмъ краснорѣчивѣе, что Надеждинъ—даровитѣйшій и дѣятельнѣйшій представитель ученой критики. Мерзлякова онъ превосходилъ знакомствомъ съ философіей, Каченовскаго—литературной талантливостью. У него не было художественной струи, таившейся въ природѣ Мерзлякова, никакимъ поэтическимъ дарованіемъ Надеждинъ не обладалъ, но онъ зато и не прозябалъ въ неисправимомъ компиляторствѣ и кабинетной лѣни.

Германская философія, повидимому, даже ни на мгновеніе не смутила спокойствія Мерзлякова, профессоръ если и видѣлъ чужія увлеченія, то совершенно просмотрѣлъ ихъ смыслъ.

Съ Надеждинымъ не могло этого случиться. Онъ *учился* философіи, еще не разсчитывая на профессорскую каѳедру, и мы знаемъ, съ какимъ приподнятымъ чувствомъ онъ передавалъ свои воспоминанія о старыхъ учителяхъ философіи.

Это чувство ставило Надеждина на значительную высоту сравнительно съ его товарищами-профессорами, возвышало его и надъ петербургскими шеллингіанцами, потому что у молодого ученаго очень рано обнаружились живыя публицистическія наклонности. Онъ не могъ молчать, подобно Велланскому, и съ презрѣніемъ говорить о большой публикѣ, подобно Галичу. И если соединеніе поэтическаго таланта съ ученостью ставило Мерзлякова въ особенно благопріятныя условія относительно критической дѣятельности, не менѣе благопріятно сложились условія и для Надеждина, можетъ быть, даже еще благопріятнѣе. Во всякомъ случаѣ, способности журналиста не менѣе важны для критика, чѣмъ талантъ поэта, и Надеждинъ явился очень раннимъ и очень рѣдкимъ примѣромъ ученаго-публициста. Всякому ясно, сколько можно было извлечь цѣннаго матеріала изъ науки для общественной мысли и какимъ свѣтомъ—озарить мысль во имя широкаго просвѣщенія!

Что же въ дѣйствительности извлекъ Надеждинъ изъ своихъ талантовъ?

XXV.

Когда мы въ настоящее время читаемъ статьи Надеждина, насъ неотвязно преслѣдуетъ одно и то же впечатлѣніе: какія мучительныя усилія долженъ былъ употреблять этотъ человѣкъ, чтобы сочинять цѣлыя страницы непремѣнно сверхъестественнаго краснорѣчія! А если все это давалось автору легко, какъ мало тогда въ немъ жило чувства мѣры и настоящей красоты и правды!

Это какой-то фанатизмъ риторства, длящееся изступленіе въ погонѣ за прекраснословіемъ, нервная лихорадка при одной мысли вдругъ не проявить «стиля» и написать, какъ пишутъ и говорятъ обыкновенные люди. Это было бы посрамленіемъ достоинства ученаго и философа!

Къ чему ведетъ такая стремительность, мы отчасти знаемъ на примѣрѣ Карамзина. Краснорѣчіе можетъ не только затемнять смыслъ рѣчи, но даже извращать факты, создавать небывалое въ дѣйствительности и перетолковывать простѣйшія данныя. Мы увидимъ, какую богатую поживу въ этомъ направленіи представилъ исторіографъ своимъ критикамъ.

То же самое съ Надеждинымъ.

Возьмемъ нѣсколько примѣровъ изъ его докторской диссертаціи: они совершенно опредѣленно познакомятъ насъ съ литературной и ученой личностью критика. Идеи его мы пока оставимъ: намъ нуженъ психологическій процессъ, какимъ создавались идеи и форма, въ какой появлялись предъ публикой.

Прежде всего, важнѣйшій вопросъ объ *изящномъ* и объ осуществленіи его въ произведеніяхъ искусства. Профессоръ разсуждаетъ:

«Единое вѣчное и безпредѣльное *изящество* само по себѣ недоступно ни для какого сотвореннаго ока. Оно дозволяетъ только лобызать край ризъ своихъ благоговѣйному чувству въ явленіяхъ, образующихъ величественное царство *природы* или таинственное святилище *духа* человѣческаго».

Не менѣе краснорѣчиво изображеніе античнаго міросозерцанія.

«Въ *древнемъ* мірѣ, преизбыточествующій внутреннею полнотою духъ, проторгаясь внѣ себя, естественно долженъ былъ срѣтать безпредѣльный океанъ бытія, коего неукрощенныя волны колыхались, вздымаемыя внутреннею непостижимою силою, не вступавшею еще ни въ содружество, ни въ борьбу ни съ какимъ чуждымъ могуществомъ. Это было невѣдомое море, коего безбрежнаго

хребта не разсѣкало еще ни одно дерзновенное кормило, въ коего прозрачныхъ струяхъ не рисовался еще ни одинъ строптивый парусъ, напряженный человѣческой рукою. И чѣмъ слѣдовательно могло быть препинаемо или развлекаемо созерцаніе сего величественнаго океана вещественной жизни, коего безбрежный кристаллъ оцвѣтлялся только однимъ чистымъ отраженіемъ свѣтлой лазури небесъ, съ нимъ сливавшихся?» [52]).

Одновременно съ этой статьей въ *Вѣстникъ Европы* появился также отрывокъ изъ диссертаціи. Книга была написана на латинскомъ языкѣ, называлась *De origine, natura et fatis poeseos quae romantica audit*, и для двухъ московскихъ журналовъ, авторъ перевелъ нѣсколько главъ.

Отрывокъ въ журналѣ Каченовскаго не такъ философиченъ и глубокомысленъ, какъ въ *Атенеѣ*. Профессоръ Павловъ, шеллингіанецъ, редактировалъ *Атеней* и, вѣроятно, соблазнился выспреннимъ полетомъ ученаго. Но и въ другой статьѣ Надеждинъ остается на высотѣ призванія.

Напримѣръ, онъ преподаетъ намъ такое поученіе на счетъ благоразумія и умѣренности чувствъ и настроеній:

«Гражданину *настоящаго міра* не слѣдуетъ сія неумѣренная расточительность внѣшней жизни, по силѣ коей все *классическое* бытіе рода человѣческаго было не что иное, какъ веселое пированіе въ роскошномъ лонѣ природы: но, съ другой стороны, онъ не долженъ позволять себѣ и того бурнаго кипѣнія жизни внутренней, коимъ называемый духъ *Романтическаго* міра необузданно скитался по распутіямъ мечтаній и призраковъ» [53]).

Кромѣ такихъ лирическихъ «безпорядковъ», каждая страница у Надеждина пестритъ изумительно замысловатыми выраженіями и словами: «заклеймить себѣ въ собственность», «созвать всеобщее вниманіе», «завидливое черножелчіе», «зажиточное воображеніе».

Три года спустя Надеждину пришлось говорить рѣчь въ торжественномъ собраніи университета на тему той же диссертаціи *О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ*. Реторическій зудъ будто нѣсколько убавился или ораторъ постарался примѣниться къ аудиторіи, но и здѣсь встрѣчаются рѣдкостнѣйшіе перлы своеобразнаго витійства, всевозможныя фигуры перепол-

[52]) Различіе между пластическою и романтическою поэзіею, объясняемое изъ ихъ происхожденія. *Атеней*. 1830, январь, стр. 6, 9, 10.

[53]) *О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи*. *В. Евр.*, 1830, янв., 16.

няютъ рѣчь и намъ подчасъ становится жаль самоотверженно усердствующаго оратора. Тѣмъ болѣе жаль, что могло быть слишкомъ мало цѣнителей подобнаго усердія и среди современниковъ, и среди потомства.

Профессоръ наносилъ явный ущербъ словесности, сообщая своему стилю холодный, жеманный паѳосъ, во времена Пушкина создавая своего рода классическій этикетъ формы, до такой степени странный и даже противоестественный въ новой литературѣ, что именно риторство Надеждина особенно вредило содержанію его лекцій и статей.

Отъ этого содержанія нельзя было ожидать особенной поучительности и свѣтлыхъ взглядовъ. Вся научная подготовка Надеждина такого сорта, что для дѣйствительно поучительной и *двигающей* профессорской дѣятельности требовалась исключительная *жизненная* талантливость самой натуры,—тонкая, воспріимчивая, художественно-богатая. Ею не обладалъ профессоръ, и въ результатѣ на университетской каѳедрѣ и въ журналистикѣ явился новый дѣятель въ общемъ стараго типа, лишній тормазъ для русскаго творчества со стороны схоластики, для русской критики со стороны притязательной, нетерпимой учености.

Это не значитъ, будто у краснорѣчиваго словесника совсѣмъ не было ни одной положительно полезной мысли и онъ въ теченіе всей своей жизни не сказалъ ни единаго прочнаго слова. Нѣтъ. Такой сплошной мракъ просто исторически-немыслимъ въ философскую эпоху. Надеждинъ, какъ и всѣ, стоялъ у источника великихъ идей, и было бы странно, если бы ни одной капли живой воды не попало въ мутныя волны профессорскихъ диссертацій. Этого, конечно, не случилось, и Надеждинъ волей-неволей заимствовалъ не мало хорошихъ мыслей не у опредѣленныхъ учителей, а просто, можно сказать, изъ окружающаго воздуха.

Этимъ хорошимъ профессоръ обязанъ исключительно своему времени, все отсталое, педантически нетерпимое, всѣ недоразумѣнія и сознательная борьба съ лучшими явленіями современной литературы лежатъ на личной совѣсти ученаго.

Его талантъ журналиста только еще рѣзче подчеркнулъ его грѣхи и будто безповоротно украсилъ врата университетскаго храма науки въ философскій періодъ надписью: *Оставь надежду...*

Мы тщательно выдѣлимъ изъ трудовъ нашего ученаго все, что могло быть сохранено его младшими современниками, и въ чемъ на первый взглядъ можно видѣть его *учительство* въ литературной критикѣ.

Это учительство съ давнихъ поръ ставится на совершенно незаслуженную высоту, съ нимъ неразрывно связывается умственное развитіе и критическая дѣятельность Бѣлинскаго.

Такъ вопросъ представляется ближайшимъ современникамъ и профессора, и его ученика. Въ статьѣ одного изъ товарищей Бѣлинскаго съ полной увѣренностью высказана мысль, совершенно достаточная для увѣнчанія ума и таланта Надеждина при какихъ бы то ни было недостаткахъ.

Авторъ статьи отлично зналъ Бѣлинскаго, жилъ даже съ нимъ въ одномъ нумерѣ студенческаго общежитія, слушалъ лекціи Надеждина и могъ оцѣнить первыя статьи будущаго знаменитаго критика. Всѣ данныя, повидимому, для вполнѣ компетентнаго рѣшенія вопроса о взаимныхъ идейныхъ отношеніяхъ профессора и студента.

Но историкамъ извѣстно, до какой степени очевидцы оказываются близорукими какъ разъ для распознаванія ближайшихъ къ нимъ явленій. Безчисленное число разъ приходится вносить поправки даже въ фактическія сообщенія свидѣтелей и только въ рѣдкихъ случаяхъ полагаться на ихъ мнѣнія и приговоры.

Какъ въ мірѣ физическомъ, такъ и въ нравственномъ требуется извѣстное разстояніе между наблюдателемъ и предметомъ, чтобы отчетливо разсмотрѣть и общее, и подробности. Въ вопросахъ нравственныхъ задача усложняется, помимо излишней близости предмета, обиліемъ и напряженностью впечатлѣній и чувствъ въ ущербъ анализу и спокойствію. Въ нашемъ случаѣ товарищъ Бѣлинскаго, одинъ изъ первыхъ виновниковъ легенды объ учительскихъ вліяніяхъ Надеждина на даровитѣйшаго представителя современной молодежи, особенно легко могъ проглядѣть дѣйствительный смыслъ отношеній. Соученику и товарищу такъ естественно привлечь на благодѣянія общаго учителя—по отношенію именно къ сверстнику. А для этой цѣли неизбѣжно приподнимается и прикрашивается значеніе учителя и принижается самостоятельность и оригинальная сила ученика. Онъ—ученикъ—одинъ изъ многочисленныхъ студентовъ, но единственная впослѣдствіи критическая сила!

Какъ это могло случиться?

Вопросъ можно разрѣшить двоякимъ способомъ: прослѣдить духовную связь Бѣлинскаго съ умственными теченіями времени, остановиться внимательно на совершенномъ отчужденіи будущаго критика отъ казенной университетской науки, направить, слѣдовательно, анализъ на личные задатки критической мысли и художественнаго чувства студента-неудачника. Это одинъ путь—сложный и отвѣтственный.

Другой—несравненно проще. Онъ искони призывается на помощь всѣми простодушными психологами и историками, часто даже не вполнѣ сознательно слѣдующими младенческой логикѣ: post hoc, ergo propter hoc.

Особенно эта логика удобна именно при разрѣшеніи вопроса о всевозможныхъ вліяніяхъ. Для утвердительнаго отвѣта достаточно просто нѣсколькихъ механическихъ сопоставленій отдѣльныхъ фактовъ и мыслей. Въ нашемъ случаѣ, напримѣръ, стòитъ взять раннія статьи Бѣлинскаго, если угодно, и позднѣйшія, раскрыть одновременно *Вѣстникъ Европы* и діалоги Никодима Надоумко: часа можно не сидѣть, и набрать не мало параллельныхъ и аналогичныхъ мѣстъ.

А такъ какъ самъ же молодой авторъ ссылался на своего учителя, писалъ, кромѣ того, въ его же журналѣ,—заключеніе вполнѣ убѣдительное. Оно выражено въ слѣдующемъ приговорѣ товарища Бѣлинскаго:

«Сочувствуя вполнѣ восторженному удивленію молодого поколѣнія къ плодотворной дѣятельности Бѣлинскаго, я обязанъ сказать, однако, что онъ въ первые годы своей литературной дѣятельности былъ только сознательнымъ органомъ выраженія идей Надеждина. Какъ редакторъ журнала, Николай Ивановичъ, найдя въ Бѣлинскомъ человѣка, одареннаго эстетическимъ пониманіемъ, вполнѣ способнаго развивать его мысли и излагать ихъ въ изящной формѣ, сообщилъ молодому таланту философско-художественное направленіе для послѣдующей независимой дѣятельности».

Сужденіе въ сущности очень скромное, но оно все-таки превращаетъ Бѣлинскаго-юношу въ компилятора и въ покорнаго воспроизводителя чужихъ уроковъ.

На самомъ дѣлѣ ничего не могло быть, ни по личной натурѣ Бѣлинскаго, ни по содержанію его первой же критической статьи. Впослѣдствіи мы подробно оцѣнимъ это содержаніе и увидимъ, что Надеждину не могли даже и грезиться важнѣйшія идеи молодого критика, именно идеи, оставшіяся съ самаго начала до конца руководящими для Бѣлинскаго и безусловно не вѣдомыя ни Надеждину, ни другимъ университетскимъ словесникамъ.

А какъ легко вообще уличить людей одного и того же поколѣнія въ заимствованіяхъ и подражаніяхъ, показываетъ дальнѣйшій разсказъ того же товарища Бѣлинскаго. Въ разсказѣ на мѣсто Надеждина будто становится уже самъ разсказчикъ.

Для насъ любопытно, въ сущности, не настроеніе разсказчика,

а роль Бѣлинскаго. Она оставалась совершенно одинаковой по отношенію и къ студенту-товарищу, и къ профессору-редактору.

Бѣлинскій, исключенный изъ университета за неуспѣшность, оказался въ самомъ бѣдственномъ положеніи и ради какого бы то ни было литературнаго заработка принялся переводить романъ Поль-де-Кока.

Разсказчикъ часто навѣщалъ переводчика. «Въ одно изъ этихъ посѣщеній,—повѣствуетъ онъ,—я началъ ему читать свои созерцанія природы, въ которыхъ она разсматривалась, какъ откровеніе творческихъ идей, какъ безпредѣльная пучина зиждительныхъ силъ, вырабатывающихъ изъ вещества художественные образы, и стройными хороводами небесныхъ сферъ возвѣщающихъ гармонію вселенной».

«Не успѣлъ я прочесть нѣсколькихъ страницъ, какъ Бѣлинскій судорожно остановилъ меня:

«— Не читай, пожалуйста,—сказалъ онъ,—у меня у самого носятся въ душѣ подобныя мысли о творчествѣ природы, которымъ я не успѣлъ еще дать формы, и не хочу, чтобы кто-нибудь подумалъ, что я занялъ ихъ у другихъ и выдалъ за свои» [54]).

Авторъ разсказа потомъ нашелъ эти мысли въ *Литературныхъ мечтаніяхъ*.

Онѣ, слѣдовательно, никому не принадлежали, какъ исключительная собственность, и были именно тѣмъ богатствомъ, какое Бѣлинскій только и *могъ* заимствовать изъ лекцій Надеждина-шеллингіанца. Кромѣ нихъ, *Литературныя мечтанія* заключали нѣчто другое, не только чуждое профессорской критикѣ «учителя», но прямо уничтожавшее его авторитетъ.

Надеждинъ далъ Бѣлинскому только то, что самъ получилъ отъ германской философіи и что студентъ съ талантомъ и трудолюбіемъ Бѣлинскаго въ эпоху тридцатыхъ годовъ могъ найти во множествѣ другихъ источниковъ, несравненно болѣе свѣтлыхъ, чѣмъ статьи Надеждина.

Мы съ этими источниками познакомимся впослѣдствіи, а пока снова обратимся къ наукѣ и критикѣ профессора.

---

[54]) П. Прозоровъ. *Бѣлинскій и Московскій университетъ въ его время. Библіотека для Чтенія*. 1859, декабрь.

XXVI.

Надеждинъ довольно подробно разсказалъ исторію своего умственнаго развитія [55]). Но разсказъ все-таки не даетъ намъ многихъ существенныхъ моментовъ какъ разъ изъ *литературной* дѣятельности ученаго, для насъ особенно любопытной. Приходится дополнять свѣдѣнія изъ другихъ источниковъ, фактически достовѣрныхъ, но далеко не всегда идущихъ въ тонъ автобіографическому разсказу профессора.

Надеждинъ—сынъ сельскаго дьякона, воспитанникъ рязанскаго духовнаго училища, потомъ семинаріи и, наконецъ, московской академіи. Весь этотъ путь будущій профессоръ университета прошелъ съ блестящимъ успѣхомъ. Въ академіи онъ засталъ большую популярность философіи среди студентовъ и самъ увлекся предметомъ, одновременно занимался исторіей; но какая собственно философская система вызывала его исключительное сочувствіе, мы не знаемъ. По окончаніи академическаго курса слѣдовало профессорство въ рязанской семинаріи по русской и латинской словесности.

Было бы очень поучительно знать съ точностью, въ какомъ направленіи шло преподаваніе литературы у будущаго критика. Отъ него самого мы ничего не узнаемъ на этотъ счетъ, и, можетъ быть, потому, что профессору въ эпоху составленія автобіографіи было не особенно лестно вспоминать о своемъ раннемъ учительствѣ.

Дѣло происходило въ половинѣ двадцатыхъ годовъ. Шеллингіанство и романтизмъ были уже фактами русской литературы, сочиненія Пушкина вызывали всеобщій интересъ, въ высшей степени горячій, положительный или отрицательный. Даже университетская наука въ лицѣ Мерзлякова успѣла произнести осужденіе отечественному классицизму.

И вотъ въ это-то самое время рязанскіе семинаристы слышали отъ своего профессора самыя допотопныя рѣчи о поэзіи и вообще о литературѣ. Имъ образцами краснорѣчія рекомендовались отрывки изъ св. книгъ и сочиненій Ломоносова. Они предостерегались отъ увлеченій западной литературой. Тамъ, поучалъ профессоръ, господствуетъ «суетное остроуміе и дерзкое вольномысліе, прикрытое обольстительными прикрасами ложнаго краснорѣчія»

---

[55]) *Н. Н. Надеждинъ.* Автобіографія съ дополненіями. Н. Савельева. *Русскій Вѣстникъ* 1856, мартъ.

Это проповѣдывалось въ 1825 году; годъ спустя Надеждинъ уволился изъ духовнаго званія для поступленія на гражданскую службу и переѣхалъ въ Москву.

Здѣсь онъ, у своего земляка, профессора медицинскаго факультета, познакомился съ Каченовскимъ, и это знакомство открыло ему одновременно и литературную, и ученую карьеру. Каченовскій явился дѣятельнѣйшимъ воспріемникомъ молодого ученаго.

Этотъ фактъ для насъ достаточно краснорѣчивъ, но желательно было бы отъ самого Надеждина услышать объясненіе рѣшительнаго переворота въ его судьбѣ.

Въ Москвѣ Надеждинъ въ теченіе пяти лѣтъ не имѣлъ никакихъ оффиціальныхъ занятій, состоялъ домашнимъ наставникомъ въ частномъ домѣ, у «большого барина». Въ домѣ была богатая библіотека, преимущественно изъ французскихъ книгъ, между прочимъ, французскій переводъ знаменитой исторіи Гиббона.

Надеждинъ набросился на чтеніе, отъ Гиббона перешелъ къ Гизо, читалъ съ увлеченіемъ, но увлеченіе не разстраивало старой закваски, столь знакомой рязанскимъ семинаристамъ.

Читателя не подкупили ни талантъ, ни идеи западныхъ историковъ. Все это ложилось ровнымъ, спокойнымъ слоемъ, и Надеждинъ былъ очень доволенъ своей уравновѣшенностью.

«Не будь положенъ во мнѣ,—говорилъ онъ,—сначала школьный фундаментъ старой классической науки, я бы потерялся въ такъ-называвшихся тогда высшихъ взглядахъ, новыхъ романтическихъ мечтаніяхъ, которыя были à l'ordre du jour. Теперь, напротивъ, эти новыя пріобрѣтенія настилались во мнѣ на прочное основаніе, и дѣло шло своимъ чередомъ».

По обыкновенію, очень удачнымъ для Надеждина.

Каченовскій, очевидно, быстро оцѣнилъ «фундаментъ» своего молодого пріятеля, и поспѣшилъ приспособить его къ своему журналу.

Приспособленіе не представляло никакихъ затрудненій, тѣмъ болѣе, что одновременно съ сотрудничествомъ должна была зайти рѣчь и объ ученомъ будущемъ «магистра священныхъ и гуманныхъ наукъ».

Въ какомъ направленіи могъ Надеждинъ принять участіе въ *Вѣстникѣ Европы*? Мы знаемъ, журналъ велъ войну противъ германской философіи и стоялъ за классицизмъ. Успѣха среди публики журналъ не имѣлъ никакого. Ему съ каждымъ годомъ грозила «смерть обыкновенная, по чину естества», какою онъ и

умеръ. Чисто младенческая растерянность и старческая немощь обнаруживались всякій разъ, когда профессору приходилось серьезно браться за перо журналиста и критика. Ученый впадалъ въ совершенно нелитературный уличный тонъ полемики, или, чувствуя даже и на этомъ поприщѣ свое безсиліе, обращался съ мольбой къ начальству на журналистовъ и цензоровъ.

Оба «качества» для насъ представляютъ большую важность. Они полностью были усвоены новымъ сотрудникомъ *Вѣстника Европы*. Надеждинъ вполнѣ послѣдовательно выполнялъ программу профессорскаго журнала, насколько вопросъ шелъ о внѣшней писательской политикѣ.

Для примѣра намъ достаточно двухъ фактовъ. Оба они касаются самаго опаснаго противника Каченовскаго, Полеваго, и оба удостовѣрены документально.

Тщетно уловляя благосклонность читателей въ теченіе многихъ лѣтъ, Каченовскій въ концѣ 1828 года, въ самый разгаръ сотрудничества Надеждина, обратился съ своего рода манифестомъ къ публикѣ.

Онъ обѣщалъ умножить свои труды по издательству журнала. «Предполагаю работать самъ», заявлялъ профессоръ, «не отказывая однакожъ и другимъ литераторамъ участвовать въ трудахъ моихъ».

Фраза—высоко-забавная для всѣхъ, кто имѣлъ представленіе о значеніи *самого* въ журналистикѣ! Ею, конечно, не замедлили воспользоваться, и *Московскій Телеграфъ* напечаталъ жестокую отповѣдь «Бенигны», т. е. самого издателя, старческой фанфаронадѣ ученаго, указывалъ на безнадежную отсталость его въ литературѣ, неисправимую приверженность къ «смѣшнымъ предразсудкамъ» и полную неспособность научиться чему-нибудь у современнаго умственнаго движенія.

Каченовскій закипѣлъ гнѣвомъ и немедленно въ примѣчаніи подъ статьею Надоумки объявилъ, что онъ не станетъ препираться съ Бенигною, а приметъ «другія мѣры ко охраненію своей личности»

И мѣры послѣдовали.

Каченовскій подалъ жалобу въ московскій цензурный комитетъ, прежде всего на цензора, Сергѣя Глинку, разсматривавшаго журналъ Полеваго.

Оскорбленный статью Бенигны считалъ оскорбительной для мѣста своего служенія, для своихъ «дипломовъ на ученыя степени», для своего званія ординарнаго профессора и свои соображенія подтверждалъ пунктами устава о цензурѣ.

Совѣтъ университета дѣятельно принялъ сторону своего сочлена и доносилъ попечителю учебнаго округа: онъ, совѣтъ, «не можетъ оставить безъ вниманія оскорбленіе, нанесенное личности издателя *Вѣстника Европы*, одного изъ достойнѣйшихъ своихъ чиновниковъ, по утвержденію высшаго начальства съ честью въ теченіе многихъ лѣтъ преподававшаго при московскомъ университетѣ: риторику, археологію, теорію изящныхъ искусствъ и нынѣ занимающаго каѳедру россійской исторіи и статистики». Полевой сомнѣвался въ правахъ издателя *Вѣстника Европы* на его исключительныя литературныя притязанія.

Совѣтъ университета перечислялъ эти права: «избраніе высшаго начальства народнаго просвѣщенія въ публичные преподаватели словесности и законовъ ея въ университетѣ Московскомъ, званіе члена ученаго сословія Императорской россійской академіи, всемилостивѣйшія награжденія Государя Императора, которыхъ былъ удостоиваемъ издатель *Вѣстника Европы*, единственно по ученой службѣ своей при университетѣ по предмету словесности и исторіи россійской».

Въ заключеніе совѣтъ также ссылался на «пунктъ» и просилъ попечителя «принять начальническія мѣры для учиненія законнаго взысканія и для отвращенія на будущее время подобнаго оскорбленія личности чиновниковъ университета».

Процессъ не имѣлъ успѣха для Каченовскаго. Любопытно,— даже цензоръ Глинка, въ отвѣтъ на жалобу, высказалъ убійственный взглядъ на литературныя заслуги «чиновника университета» и академика.

Глинка предлагалъ перевести, «если только можно перевесть на какой-нибудь языкъ», статьи Каченовскаго и посмотрѣть: «что̀ скажутъ тогда европейскіе любители словесности, привыкшіе къ соображенію мыслей съ ясностью и точностью словъ, что скажутъ они о семъ туманномъ сбродѣ рѣчей?» «Да и я долженъ прибавить», говорилъ цензоръ уже какъ критикъ, «что если бы у насъ всѣ стали такъ писать, то россійская словесность быстрыми бы шагами отступила къ тринадцатому столѣтію».

Главное управленіе цензуры оправдало Глинку [56]).

Эпизодъ превосходно характеризуетъ профессорскую атмосферу философской эпохи и показываетъ, какъ много здѣсь было простору мысли и свободному знанію.

---

[56]) Подробное изложеніе исторіи у Барсукова II, 265.

Обидчивость Каченовскаго на чужіе отзывы не мѣшала ему самому наѣздничать безъ мѣры и удержу, во вредъ чужой «чести». Статья *Вѣстника Европы* объ *Исторіи русскаго народа* Полеваго, переполнена личной бранью и оскорбленіями [57]). Такія выраженія, какъ «лохмотья отъявленной нищеты», «уродливость изувѣченнаго натурой калѣки», «шарлатанство», пестрятъ на каждой страницѣ и все заканчивается такимъ сравненіемъ *Исторіи*: «сіе море великое и пространное: тамо гады, ихъ же нѣсть числа: животныя малыя съ великими».

Статья принадлежитъ Надеждину и показываетъ, какъ основательно сотрудникъ вошелъ въ личные интересы редактора.

Легко представить, какое впечатлѣніе подобные ученые подвиги могли производить на неученыхъ! Пушкинъ на юридическое предпріятіе Каченовскаго отозвался остроумнымъ *Отрывкомъ изъ литературныхъ лѣтописей*, а въ статьяхъ объ *Исторіи* Полеваго достойно оцѣнилъ и критику Надеждина [58]).

Эпиграфомъ къ *Отрывку* стоитъ латинская фраза: *Tantae ne animis scholasticis irae*!.. Слова «схоластическія души» и «гнѣвъ» мѣтко выражали не только характеръ разсказываемаго событія и его героевъ, но и дѣятельность новаго критика *Вѣстника Европы*.

XXVII.

Пушкинъ посвящалъ эпиграммы и Каченовскому, и Надеждину; оба они представлялись поэту выходцами какого-то темнаго и на рѣдкость тупоумнаго міра, но изъ двухъ—Надеждинъ занималъ первое мѣсто въ сильныхъ чувствахъ Пушкина.

Ему пришлось лично встрѣтиться съ тѣмъ и съ другимъ, и обѣ встрѣчи разсказаны имъ самимъ. Съ Каченовскимъ у поэта завязался «дружескій» и «сладкій» разговоръ: это—иронія, но разговоръ, очевидно, дѣйствительно былъ, и Пушкинъ свою иронію не сопровождаетъ никакимъ язвительнымъ замѣчаніемъ.

Совершенно другое впечатлѣніе отъ встрѣчи съ Надеждинымъ. «Онъ,—сообщаетъ Пушкинъ,—показался мнѣ весьма простонароднымъ, vulgar, скученъ, заносчивъ и безъ всякаго приличія.

[57]) *В. Евр.* 1830. январь, 37.

[58]) *Сочиненія*. Спб., 1887, V, 64; P. S. ко 2-й ст. объ Исторіи, стр. 78. Ср. у Сухомлинова. *Полемическія статьи Пушкина. Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію*. Спб., 1889, II. 219.

Например, онъ поднялъ платокъ, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но съ живостью, а иногда и съ краснорѣчіемъ. Въ нихъ не было мыслей, но было движеніе; шутки были плоски».

Это писалось около пяти лѣтъ спустя послѣ первыхъ статей Надеждина. Негодованіе поэта должно было улечься, тѣмъ болѣе, что статьи Надоумки не принесли ему рѣшительно никакого ущерба. И поэтъ не правъ только въ одномъ: глупостью Надеждинъ не страдалъ, и мысли у него были, хотя и не его собственныя.

Надеждинъ былъ приглашенъ въ *Вѣстникъ Европы* съ очевидной цѣлью дать генеральное сраженіе новой литературѣ и преимущественно, конечно, Пушкину, и онъ съ первой же статьи взялъ необыкновенно развязный тонъ. Это должно было сойти за живость и бойкость пера, но тяжелая схоластическая основа мысли и языка автора—всѣ его старанія быть остроумнымъ и легкимъ—превращала въ какое-то неуклюжее комическое метаніе за хлесткими словечками и головокружительно-хитросплетенными фразами.

Критикъ даже прибѣгъ къ діалогу, сочинилъ «сцену изъ литературнаго балагана», изобрѣлъ нѣкое «сонмище нигилистовъ», пересыпалъ бесѣду драматическими ремарками, латинскими восклицаніями, въ примѣчаніяхъ велъ даже переписку съ редакторомъ, вообще напрягалъ всѣ усилія сокрушить врага.

Во имя чего собственно поднимался такой шумъ, что̀ отрицалъ отважный критикъ и чего желалъ?

Первая статья Надоумко появилась въ концѣ 1828 года—*Литературныя опасенія за будущій годъ*, вторая—въ началѣ слѣдующаго—*Сонмище нигилистовъ*. Она и представила публикѣ во всемъ блескѣ мысли и талантъ критика.

Нигилистами назывались новѣйшіе авторы, лишенные «идеи», равнодушные къ «холодному смыслу и размышленію».

Но что значила на языкѣ критика *идея?*

Это понятіе для поэтическаго творчества дано германской философіей и романтизмомъ. Оно достаточно было превознесено первыми русскими шеллингіанцами. Не было рѣшительно никакой заслуги толковать объ *идеѣ* художественнаго произведенія, другой вопросъ—опредѣлить понятіе и примѣнить его къ фактамъ.

Надеждинъ уклонился отъ положительной задачи и предпочелъ болѣе легкую—отрицаніе и высмѣиваніе всего, что, по его мнѣнію лишено было идеи. Но отрицаніе—чисто словесное, бездоказатель-

ное уже въ силу того, что не былъ установленъ самый *принципъ* отрицанія и какого бы ни было приговора.

Критикъ нашелъ *благодарный* матеріалъ для своихъ упражненій въ поэмахъ Пушкина, по очень простой причинѣ. Здѣсь на сценѣ самыя простыя вещи, реальныя и даже будничныя. Ничего выспренняго, нарочито-философическаго, сколько-нибудь подходящаго подъ схоластическій масштабъ *изящнаго* и *идеальнаго*.

Въ результатѣ, поэзія Пушкина *ничто*, *нуль*, тѣмъ болѣе, что можно даже скаламбурить по случаю одной изъ поэмъ.

«Литературный хаосъ, осѣменяемый мрачною философіею *ничтожества*, разражается *Нулиными!* Неужели бѣдной нашей литературѣ вѣчно мыкаться въ мрачной преисподней губительнаго *нигилизма?*»

Фамилія пушкинскаго героя оказалась неистощимымъ мотивомъ для остротъ и каламбуровъ. Вся статья о поэмѣ въ сущности и состоитъ изъ этихъ упражненій, чередующихся съ французскими, латинскими, итальянскими восклицаніями, съ воспоминаніями объ «Іонійской философической школѣ», о «глубокомысленномъ Кантѣ», о «великомъ Галлерѣ».

Съ поэмой критику рѣшительно нечего дѣлать. «Что тутъ анатомировать?» спрашиваетъ онъ.

«Мыльный пузырь, блистающій столь прелестно всѣми радужными цвѣтами, разлетается въ прахъ отъ малѣйшаго дуновенія... Что же тогда останется?.. Тотъ же *нуль*, но въ добавокъ... безцвѣтный! А эта *цвѣтность* составляетъ все оптическое бытіе его!.. Скажемъ посему только pro forma: *Графъ Нулинъ проглотилъ пощечину Натальи Павловны*; геній поэта переварилъ ее съ творческимъ одушевленіемъ и... разрѣшился *Нулинымъ*. C'est le mot de l'énigme».

У критика есть оригинальные термины—*нигилистическое изящество*, *пародіальный геній*, *арлекинское величіе*, наконецъ, *прыщики на лицѣ вдовствующей нашей литературы*: все это для характеристики таланта и произведеній Пушкина.

Надеждину особенно ненавистно пристрастіе поэта къ слишкомъ простымъ мотивамъ и жанровымъ картинамъ. На его языкѣ «мастеръ фламандской школы» — презрительнѣйшая брань. Пушкинъ «не переросъ скудной мѣры человѣчества» и «душа его даже слишкомъ дружна съ земною жизнью».

Въ статьѣ о *Полтавѣ* критикъ безпощаденъ къ *усамъ* Мазепы, къ «бурлацкому» окрику Карла XII: это каррикатура. «Енеида

наизнанку». Если Петръ Великій царь—онъ не можетъ «держать Мазепу за усы», и ужъ, конечно, объ этомъ писать неприлично!

Эти замѣчанія вводятъ насъ отчасти въ эстетическія тайны критика, намъ давно извѣстныя, еще по *Наукѣ* Галича. Все тѣ же выспреннія возглашенія о невиданной землей красотѣ, о недосягаемыхъ идеалахъ.

Изящныя искусства «должны быть отглашеніями вѣчной гармоніи». Геній это—«творческій зиждительный *духъ*, воззывающій изъ нѣдръ своихъ собственныя, самородныя и самообразныя изящныя формы, для воплощенія вѣчныхъ идей, созерцаемыхъ имъ во всей небесной ихъ лѣпотѣ»...

Такова философія критика! На меньшемъ онъ не помирится. Все, что не «небесная лѣпота» и не «вѣчная гармонія»—все это «оскорбляетъ человѣческую природу».

Онъ и Байрона допускаетъ не потому, что англійскій поэтъ воспроизвелъ извѣстныя культурныя черты своего времени, создалъ рядъ общечеловѣческихъ образовъ, а потому, что у него все необыкновенно, все, по представленію критика, исполински-велико.

«*Байроновы* поэмы суть опустѣвшія кладбища, на которыхъ плотоядные коршуны отбиваютъ съ остервенѣніемъ у шипящихъ змѣй полуистлѣвшіе черепы. Его міръ есть адъ: и какое исполинское величіе потребно для Полифема, избравшаго себѣ жилищемъ сію безпредѣльную бездну?..»

Такой полетъ не препятствуетъ критику соперничать съ кѣмъ угодно, не только съ Пушкинымъ, и въ «арлекинскомъ величіи». Это соперничество, при зудящей страсти Надеждина быть оригинальнымъ и остроумнымъ, ставитъ его безпрестанно въ самыя комическія положенія, менѣе всего соотвѣтствующія «небесной лѣпотѣ».

Напримѣръ, критикъ желаетъ въ конецъ доконать поэта и изображаетъ ужасы, къ какимъ можетъ привести реализмъ, «вѣрные снимки съ натуры».

«Да съ какой натуры!»—восклицаетъ эстетикъ.—«Вотъ тутъ-то и заковычка!. Мало ли въ натурѣ есть вещей, которыя совсѣмъ нейдутъ для показу?.. Дай себѣ волю... пожалуй, залетишь и Богъ вѣсть куда!—отъ спальни недалеко до дѣвичьей, отъ дѣвичьей до передней, отъ передней до сѣней; отъ сѣней дальше и дальше!.. Мало ли есть мѣстъ и предметовъ еще болѣе *вдохновительныхъ*»..

Потомъ критикъ цитируетъ стихи, гдѣ описывается, что лакей принесъ на ночь Нулину:

Сигару, бронзовый свѣтильникъ,
Щипцы съ пружиною, *будильникъ.*

Критикъ снова пускается въ догадки: «Кто не чувствуетъ, что послѣднее слово есть вставка, замѣнившая другое равно созвучное, но болѣе идущее къ дѣлу слово, принесенное поэтомъ съ истинно героическимъ самоотверженіемъ въ жертву тиранскому приличію?..»

Естественно, Пушкинъ находилъ шутки своего критика плоскими и даже его статьи глупыми. Не лучшаго мнѣнія были о нихъ и современные журналисты. *Сынъ Отечества* остроумно воспользовался образцами надеждинскаго остроумія, напечатавъ замѣтку *О чутьѣ критика Имярека, живущаго на Патріаршихъ Прудахъ*, съ эпиграфомъ *Similis simili gaudet— подобный подобнымъ и любуется*, и безъ большихъ усилій пришелъ къ сравненію критика съ героиней крыловской басни.

Попадалъ Надоумко въ просакъ и въ другихъ случаяхъ, помимо остроумія. Напримѣръ, клеймя растлѣвающее вліяніе *Нулина* на молодыхъ дѣвицъ, онъ сообщалъ о себѣ: «Завалившись недавно еще за двадцать три года».

Эта метрическая справка и удивительное словечко «завалившись» стóили Надеждину эпиграммы Пушкина и злой замѣтки въ томъ же *Сынѣ Отечества*.

Взглядъ на творчество Пушкина, какъ на «галантерейную литературу» и «пародію», Надеждинъ сохранитъ до конца. Единственное исключеніе будетъ сдѣлано только для *Бориса Годунова*. И произойдетъ это совершенно неожиданно.

По поводу VII-й главы *Евгенія Онѣгина* Надеждинъ повторялъ прежнія шутки и насмѣшки надъ притязаніями Пушкина быть серьезнымъ поэтомъ, совѣтовалъ ему «*разбайрониться* добровольно и добросовѣстно», не признавалъ за нимъ таланта «изображать природу поэтически съ лицевой ея стороны, подъ прямымъ угломъ зрѣнія: онъ можетъ только мастерски выворачивать её наизнанку». Слава Пушкина не болѣе, какъ «молва, скитающаяся по гостинымъ и будуарамъ на крыльяхъ журнальныхъ листковъ, вмѣстѣ съ модами и извѣстіями о *Лебедянскихъ скачкахъ*»...

Стиль и этой статьи ничѣмъ не уступалъ красотамъ прежнихъ «сценъ». Говорилось о «стереотипныхъ пропорціяхъ», «о педантической чиновности и аккуратности природы», въ противоположность «рѣзвому скаканію разгульной фантазіи» Пушкина.

Наконецъ, критикъ давалъ рѣшительный совѣтъ «сжечь *Годунова!*»—произведеніе, очевидно, окончательно негодное.

Статья напечатана въ *Вѣстникѣ Европы*. Одновременно выходила въ свѣтъ диссертація автора, наступала смерть журналу Каченовскаго и его питомецъ вступалъ въ составъ профессоровъ московскаго университета.

Почти годъ спустя Надеждину пришлось отпѣвать журналъ, пріютившій его первыя критическія дѣтища.

Отпѣваніе не лишено извѣстнаго интереса для характеристики автора. Надеждинъ, между прочимъ, говорилъ о почившемъ *Вѣстникѣ:*

«Онъ начался нѣжными вздохами отроческой чувствительности, провелъ мужество въ шумныхъ бояхъ и окончился старческими суровыми роптаніями. Вѣтреная молодежь не была почтительна къ его преклоннымъ лѣтамъ: она издѣвалась надъ его сѣдинами и ругалась сѣтованіями. Старецъ долго сохранялъ презрительное хладнокровіе; но при дверяхъ гроба собрался съ послѣдними остатками угасающихъ силъ, ополчился на рать супостатовъ и грянулъ грозно. Вѣроятно, сіе чрезмѣрное напряженіе порвало послѣднія нити, коими онъ привязывался къ жизни, и *Вѣстникъ Европы* преставился».

Нельзя, конечно, увидѣть особенной почтительности къ «старцу» въ этой отходной, и что̀ еще любопытнѣе, это—иронія надъ старческими роптаніями и предсмертнымъ напряженіемъ.

Мы знаемъ, кому *Вѣстникъ* обязанъ своей безпокойной агоніей. Воинственный критикъ изъ молодежи, пытавшійся электризовать трупъ, говорилъ надъ нимъ послѣднее слово уже въ собственномъ изданіи. Не бо̀льшимъ уваженіемъ напутствовался здѣсь же и другой профессорскій журналъ *Атеней*, недавно еще напечатавшій отрывокъ изъ диссертаціи Надеждина.

Атеней издавался профессоромъ Павловымъ. Съ нимъ мы встрѣтимся, какъ съ главнѣйшимъ насадителемъ шеллингіанства въ Москвѣ. Но философія не помѣшала редактору ополчиться на Пушкина и извести публику совершенно непреодолимой ученостью.

О немъ ходила эпиграмма:

Журналъ казенный, философскій,
Благонамѣренный московскій...

Теперь Надеждинъ припоминалъ эту шутку и говорилъ о покойникѣ: «Онъ надѣялся подлеститься къ публикѣ ученостью—и перепугалъ ее». Но зато *Атеней* сохранилъ «невинную репутацію» и, по словамъ автора, «только при чтеніи его одного позволялось обходиться *безъ перчатокъ*».

Органъ Каченовскаго, очевидно, требовалъ перчатокъ.

Все это излагалъ публикѣ новый издатель, съ 1831 года, журнала *Телескопъ* и приложенія къ нему—*Молвы*, еженедѣльной газеты. Въ ея программѣ первое, даже исключительное мѣсто, занимали: «моды», «картинки», «модные экипажи и мебели», «модные обычаи и изобрѣтенія», «модныя издѣлія» и, наконецъ, «острыя слова и забавные анекдоты».

Очевидно, профессоръ желалъ уловлять благосклонность публики и не скупился на *пріятное*.

Теперь онъ состоялъ ординарнымъ профессоромъ теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи. Совершилось это благодаря диссертаціи *О такъ-называемой романтической поэзіи*. Она—послѣднее слово эстетической философіи ученаго и вмѣстѣ съ критикой *Телескопа* должна считаться вѣнцомъ его литературной дѣятельности.

XXVIII.

Сочиненіе Надеждина прошло въ факультетѣ не безъ затрудненій. Мы уже говорили, въ какое смущеніе пришли нѣкоторые профессора отъ шеллингіанскихъ тенденцій автора. Но были и другія, болѣе существенныя замѣчанія, прямо касавшіяся литературнаго таланта и умственныхъ способностей будущаго профессора.

Ученые критики въ своемъ докладѣ писали:

«При взглядѣ на планъ диссертаціи г. Надеждина должно сказать, что онъ изложенъ языкомъ запутаннымъ и загадочнымъ, въ чемъ, повидимому, сочинитель полагалъ главное достоинство сочиненія, почему цѣлаго—полноты, надлежащей связи и отношенія между частями, даже при самомъ величайшемъ напряженіи ума, отъ излишней метафизической тонкости выраженій, однимъ взглядомъ обозрѣть весьма затруднительно» [59]).

Если такое впечатлѣніе книга производила на спеціалистовъ, если они не могли допустить выраженій въ родѣ *людскость*, *работная матерія*, на какія же завоеванія могла разсчитывать диссертація въ большой публикѣ?

Надеждинъ взялъ въ полномъ смыслѣ жгучій вопросъ. Еще въ статьяхъ *Вѣстника Европы* онъ неоднократно проявлялъ страсть и гнѣвъ противъ новаго направленія.

---

[59]) Н. Поповъ. *Н. И. Надеждинъ на службѣ въ Московскомъ университетѣ. Журналъ Мин. Нар. Просв.* 1880, часть CCVII, стр. 12.

Въ автобіографіи онъ разсказываетъ, что его негодованіе было возбуждено особенно непочтительностью романтиковъ къ «почтеннымъ старикамъ», т. е. къ русскимъ классикамъ, и онъ «сталъ въ душѣ за классицизмъ».

Читатели, дѣйствительно, услышали о «гробницѣ романтическаго суесловія», о «великомъ Ломоносовѣ». Но это отнюдь не значило, будто у критика было вполнѣ опредѣленное художественное міросозерцаніе. Руководящую идею отыскать въ статьяхъ не менѣе трудная задача, чѣмъ и въ диссертаціи, по мнѣнію московскихъ профессоровъ.

Теперь явилась цѣлая книга о романтизмѣ.

Гораздо раньше ея въ журналѣ Измайлова *Благонамѣренный* была напечатана статья *О романтикахъ и о Черной рѣчкѣ*, нападавшая на *самозванцевъ* романтизма: они пишутъ «всякія нелѣпости», ссылаясь на «романтическій вкусъ». Въ ихъ произведеніяхъ нѣтъ «ни глубокихъ чувствъ, ни прелестей мечтательности, составляющихъ существенность поэзіи романтической» [60]).

Очевидно, критика очень скоро и въ сентиментализмѣ, и въ романтизмѣ распознала уродливыя и комическія увлеченія: для этого не требовалось особеннаго художественнаго чутья, а простой здравый смыслъ. На него именно и ссылались критики шаликовской чувствительности и романтической чертовщины.

Если Надеждинъ имѣлъ въ виду ту же цѣль—сразить псевдоромантиковъ, передъ нимъ и рядомъ съ нимъ оказывалось сколько угодно сочувственниковъ, даже болѣе полезныхъ для просвѣщенія публики, чѣмъ онъ съ своимъ краснорѣчіемъ и ученостью.

Повидимому, авторъ диссертаціи вступилъ именно на этотъ благодарнѣйшій путь.

Книга переполнена энергичнѣйшими воплями противъ «необузданнаго скаканія *Поэзіи Романтической*», «изгаринъ и поддонковъ *Романтическаго* духа», противъ «чернокнижія», «адскихъ мраковъ», вообще «*Лже-Романтическихъ* изгребій», и къ «поэтическимъ мятежникамъ нашихъ временъ» обращается такая рѣчь:

«Пусть предстанетъ даже на судъ сама *Романтическая Поэзія*: она обличитъ и сомнетъ похитительницу, украшающуюся теперь ея именемъ».

Изъ подобныхъ декламацій состоитъ весь отрывокъ, напечатанный въ *Вѣстникѣ Европы*.

[60]) Ср. Колюпановъ I, 538.

Въ *Атенеѣ* изъясняется происхожденіе романтической поэзіи и ея отличіе отъ классической: всѣ изъясненія извѣстны изъ книги Сталь и многочисленныхъ статей и трактатовъ о романтизмѣ на всѣхъ языкахъ. Только врядъ ли кто могъ формой до такой степени затемнить совершенно ясную мысль, какъ этого достигъ русскій ученый.

До сихъ поръ, слѣдовательно, ничего оригинальнаго, и позже, когда мы познакомимся съ критикой молодыхъ шеллингіанцевъ, членовъ кружковъ, идеи Надеждина утратятъ всякое право на новизну и смѣлость. Профессоръ ни на шагъ не опережалъ студентовъ, во многихъ отношеніяхъ даже отставалъ. Мы убѣдимся въ этомъ изъ простого хронологическаго сопоставленія фактовъ. Въ сущности, нападки на «буйность и кровожадность» лже-романтизма въ началѣ тридцатыхъ годовъ являлись запоздалыми: для критики и искусства это былъ вполнѣ «завоеванный пунктъ» и профессоръ велъ войну съ призраками.

Но оставался еще одинъ вопросъ, самый существенный: программа будущаго развитія литературы.

Попробуйте извлечь ее изъ разсужденій Надеждина.

Вы можете набрать сколько угодно доказательствъ, что онъ *не сочувствуетъ* классицизму. «Кумирная неподвижность *классической поэзіи*», «распукленные *Агамемноны*», «рабское ярмо французскаго вкуса, возлагаемое на поэзію, во имя *Аристотеля* и *Буало*, насилуетъ ея истинное достоинство и посему отнюдь не можетъ и не должно быть терпимо».

Это проповѣдывалъ съ большимъ краснорѣчіемъ еще Мерзляковъ почти за двадцать лѣтъ до диссертаціи, даже больше. Авторъ диссертаціи все-таки увѣнчиваетъ Ломоносова-поэта: онъ «не только былъ истинный поэтъ, но еще по превосходству поэтъ *русскій*, въ коемъ сей великій народъ пробудился къ полному поэтическому сознанію самого себя». Мерзляковъ думалъ о поэтическомъ талантѣ великаго ученаго такъ, какъ впослѣдствіи стала думать вся русская критика.

И такъ, классицизмъ упраздненъ?

Не совсѣмъ. Авторъ диссертаціи готовъ предпочесть «работное подражаніе *классицизму*», «быть снисходительнѣе къ *нео-классическому* педантизму», выбрать скорѣе *«французскій* вкусъ», чѣмъ,—вы думаете,—психопатовъ романтизма? Да,—если это Вольтеръ, Байронъ, Шиллеръ, Гёте, Пушкинъ.

Именно въ примѣръ «лже-романтическаго неистовства» приво-

дится поэзія Байрона, а Вольтеръ попадаетъ рядомъ съ нимъ собственно въ качествѣ «кощуна». Они оба «отсвѣчиваютъ мрачное пламя одной и той же есоетической преисподней». На Байрона сыплются невѣроятные громы: онъ «язва природы, ужасъ человѣчества, ненавидящій землю, отверженный небомъ», «справедливо величается отъ своихъ соотечественниковъ именемъ *сатанинскаго*».

Шиллеръ и Гёте—только за отдѣльные пороки, въ родѣ *Чернаго рыцаря* въ *Орлеанской Дѣвѣ* и чертей и вѣдьмъ въ *Фаустѣ*,—унижаются предъ «нео-классическимъ педантизмомъ», но зато Пушкинъ не находитъ пощады! По мнѣнію, критика гораздо охотнѣе можно согласиться перелистать подчасъ *Хорева* и *Димитрія Самозванца* Сумарокова, даже *Рослава* Княжнина, по крайней мѣрѣ отъ безсонницы, чѣмъ губить время и труды на безпутное скитаніе по *цыганскимъ* таборамъ или *разбойническимъ* вертепамъ. Тамъ, «если нечѣмъ полюбоваться, не съ чего и стошниться».

Очевидно, представленія критика какія-то массовыя, не уясненныя и не разчлененныя. Онъ будто поддается гипнозу страшныхъ словъ *сатана*, *цыганъ*, *разбойникъ*, *адъ*, *Каинъ*, не отдаетъ отчета ни въ общемъ смыслѣ, ни въ подробностяхъ ужасающихъ его явленій.

Причислить Пушкина къ «мятежникамъ«, тиранящимъ «терпѣніе здравомыслія» и «на алтарь чистыхъ дѣвъ извергающимъ скверныя уметы руками неомовенными», значило даже для 1830 г. писать величайшія «нелѣпыя бредни», стóившія самаго нездравомыслящаго романтизма. Не было никакой надежды изъ подобнаго источника дождаться дѣйствительно поучительныхъ мыслей, лично авторомъ продуманныхъ и доказанныхъ.

Было бы, конечно, совершенно неосновательно становиться на современную намъ почву литературной критики и поражать стараго эстетика новѣйшимъ усовершенствованнымъ оружіемъ. Мы призываемъ Надеждина отнюдь не на экстренный судъ истины, какъ она намъ представляется въ настоящее время. Мы желаемъ остаться въ точно опредѣленныхъ предѣлахъ извѣстной эпохи и судить *сравнительно* и *относительно*, принимая за высшую мѣру современниковъ самого критика.

И вотъ на этотъ-то безусловно законный и справедливый масштабъ Надеждинъ въ общемъ *ниже* своего поколѣнія. Нѣкоторыя идеи онъ довольно прочно усвоилъ отъ своихъ старшихъ современниковъ, хотя и не вполнѣ послѣдовательно. Но это какъ разъ

идеи-труизмы, нисколько не стоющія такой напряженной широковѣщательной риторики. Другія, несравненно болѣе жизненныя и по времени спорныя, но явно прогрессивныя и для будущаго литературы властныя, не удостоились ни признанія, ни даже должнаго вниманія со стороны профессора.

Любопытно,—даже самые простые и наглядные выводы современной общественной мысли принимали у Надеждина менѣе всего научный и культурный характеръ. Напримѣръ, единственный вопросъ великаго значенія, затронутый диссертаціей о народности и національности. Мы увидимъ, съ какой тщательностью онъ разъяснялся теоретически и съ какой стремительностью прилагался къ жизни молодыми философами, все тѣми же членами обществъ и кружковъ. Мы убѣдимся, на какомъ широкомъ историческомъ и философскомъ основаніи воздвигался юными писателями идеалъ народнаго творчества и національной мысли. У Надеждина все сводится къ чувству патріотизма, весьма недалекому отъ карамзинской любви къ отечеству и народной гордости.

Предшественникомъ Надеждина въ этомъ направленіи былъ извѣстный намъ неудавшійся словесникъ-шеллингіанецъ Давыдовъ. На лекціяхъ этотъ профессоръ изумлялъ слушателей громкимъ, *сановитымъ*, но совершенно не вразумительнымъ краснорѣчіемъ, умѣлъ сливать вмѣстѣ Цицерона, Квинтиліана и Гегеля, всю жизнь удовлетворяясь работой компилятора и положеніемъ академическаго метафизика. На философію взглядъ у него выработался вполнѣ соотвѣтствующій подобному житію.

Ея основы «святая вѣра наша, мудрые законы изъ исторической жизни нашей, развившіеся въ органическую систему, прекрасный языкъ, представляющій удивительную логику народа въ запечатлѣніи природы своею личностью, дивная исторія славы нашей!».

Всѣ эти данныя сами по себѣ полны психологическаго и культурнаго значенія, но у профессора вдохновленная ими «философія» превращалась въ самодовольную благонамѣренную реторику, отрѣшенную и отъ психологіи, и отъ исторіи, и вообще отъ фактовъ. А если и призывались они на сцену,—исключительно съ тѣми же патріотическими и назидательными цѣлями.

Надеждинъ—превосходный примѣръ.

Въ одной изъ статей *Вѣстника Европы* у него встрѣчается дѣльное замѣчаніе о *народности*. Она «не состоитъ въ искусствѣ накидывать русскія пословицы и поговорки гдѣ ни попало... Чтобы

быть *народнымъ*, надобно уловить *духъ* народный, а онъ не продается, подобно газамъ, въ бутылкахъ» [61]).

Это написано въ 1829 году, когда вопросъ о *народности* и *національности* волновалъ и ученыхъ, и молодежь. У Надеждина онъ такъ и остался мимолетнымъ.

Въ дисертаціи много говорится о «патріотическомъ енѳуасіасмѣ». Онъ признается «родовымъ непреложнымъ наслѣдіемъ русской поэзіи», и весь національный характеръ русскихъ сводится къ патріотизму. Будто критикъ какой угодно національности не могъ бы того же самаго доказать о своемъ народѣ!

Но Надеждинъ нагромождаетъ цѣлыя горы на своемъ открытіи, и принимается бичевать русскихъ поэтовъ, почему они не воспѣли побѣды русскихъ надъ турками! «Неужели въ груди ихъ не бьется сердце русское?.. Увы! они сдѣлались романтиками и ничѣмъ не захотятъ быть болѣе!»

Такъ ученый понималъ *національное* содержаніе поэзіи!

Время нисколько не измѣнило этого взгляда, даже упрочило и до послѣдней степени съузило. Три года спустя въ университетской рѣчи профессоръ рисовалъ безнадежное положеніе европейскихъ народовъ и быстрый прогрессъ русскаго, долженствующаго во всемъ опередить Западъ. Европейцы «изнурены вѣковой дряхлостью, согбены подъ тяжестью вѣковыхъ предразсудковъ, терзаемы болѣзненными конвульсіями возрожденія» и вообще близки къ вымиранію...

Невольно въ этомъ торжественномъ похоронномъ маршѣ слышались давнишнія рѣчи преподавателя словесности, предостерегавшаго рязанскихъ семинаристовъ отъ соблазновъ западной литературы.

Такую же своеобразную форму приняла у Надеждина и другая популярная идея,—правда, очень сложная по своему происхожденію, но представлявшая тѣмъ болѣе интереса для ученаго изслѣдователя.

Русскимъ молодымъ философамъ, искавшимъ прочныхъ культурныхъ основъ для національнаго творчества, естественно представился старый *исходный* моментъ всякаго художественнаго возрожденія — возвратъ къ классическому міру и къ классическому искусству. Россіи слѣдуетъ сбросить съ себя чужія вліянія, подавляющія ея самобытный геній, обратиться къ первоисточнику

[61]) Въ ст. о *Полтавѣ*. *В. Евр.* 1829, № 8.

европейской цивилизаціи и выработать самостоятельно содержаніе и форму искусства. Отсюда—классическія тенденціи русскихъ шеллингіанцевъ, не во имя самого классицизма, а ради освобожденія русскаго умственнаго развитія отъ рабства предъ современной европейской и особенно французской образованностью и литературой [62]).

Съ неменьшимъ усердіемъ ратуетъ за классицизмъ и Надеждинъ, но у него классическая идея просто метательный снарядъ для борьбы съ ненавистнымъ романтизмомъ, и авторъ, ослѣпленный цѣлью, впадаетъ въ безвыходныя противорѣчія съ самимъ собой.

Ему требуется противоставить античный, языческій міръ новому и христіанскому, и онъ не стѣсняется въ изображеніи эпикурейства и эгоизма классическаго человѣка: «неумѣренная расточительность внѣшней жизни», «веселое пированіе на роскошномъ лонѣ природы», античный патріотизмъ—«чисто матеріальное побужденіе», оно «не возвышалось никогда за предѣлы вещественной природы», ему было невѣдомо «познаніе внутренняго всеобщаго достоинства человѣческой природы»...

Чему же новый человѣкъ можетъ научиться отъ подобнаго міросозерцанія, т. е. отъ *содержанія* античной литературы?

Оказывается, всѣмъ добродѣтелямъ.

По мнѣнію ученаго, «древняя классическая поэзія съ самаго нѣжнѣйшаго дѣтства была наставницею добродѣтели и установительницею благочинія». Даже больше. «Вездѣ и всегда изученіе *классической* древности поставлялось во главу угла умственнаго и нравственнаго образованія юношества, какъ первоначальная стихія развиваемой духовной жизни».

Авторъ забылъ, что эпоха самаго восторженнаго культа классической древности—возрожденіе—отличалась чѣмъ угодно, только не нравственностью и не благочиніемъ.

Выводъ Надеждина изъ всѣхъ разсужденій не трудно предугадать. Ему во многихъ отношеніяхъ дорогъ классицизмъ, не можетъ онъ отвергнуть и романтизма, воплощающаго духовную природу человѣка, очевидно, надо «возвести ихъ къ дружественному гармоническому единству». Такъ предписываетъ диссертація.

Въ университетской рѣчи та же мысль нѣсколько опредѣлен-

---

[62]) Веневитиновъ въ статьѣ *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала.* Кирѣевскій. *Девятнадцатый вѣкъ.* Сочиненія I, 78.

нѣе: «соединить идеальное одушевленіе среднихъ временъ съ изящнымъ благообразіемъ классической древности, уравновѣсить душу съ тѣломъ, идеи съ формами, просвѣтить мрачную глубину Шекспира лучезарнымъ изяществомъ Гомера».

Задача—логическая, по существу съ незапамятныхъ временъ сознанная даже классическимъ міромъ въ принципѣ гармоническаго развитія нравственныхъ и физическихъ силъ. Поставить ее для профессора не требовалось никакихъ нарочитыхъ усилій мысли. Другое дѣло—указать пути осуществленія, отмѣтить данныя въ современномъ развитіи искусства, обѣщающія достиженіе великой цѣли, а прежде всего точно и ясно опредѣлить понятія «изящнаго благообразія» и «внутреннее могущество духа», т. е. истинно-художественныя *формы* искусства и его дѣйствительно-идейное *содержаніе*.

Безъ этого опредѣленія ученому всегда можетъ представиться искушеніе напасть, подобно Мерзлякову, на поэтическое произведеніе въ родѣ баллады только потому, что оно не вкладывается въ «освященныя древностью» рамки, или, подобно самому Надеждину, произнести смертный приговоръ современному роману, напримѣръ, *Евгенію Онѣгину*—во имя «небесной лѣпоты» и «вѣчной идеи».

Надеждинъ, повидимому, понялъ задачу, и постарался ее выполнить въ своемъ журналѣ *Телескопъ* и въ той же рѣчи. Эти старанія—вѣнецъ критическаго таланта профессора и собственно по нимъ можно судить, на сколько могло быть плодотворно и глубоко его вліяніе на младшихъ современниковъ.

XXIX.

Мы знаемъ желаніе Надеждина видѣть *Годунова* сожженнымъ: оно высказано въ 1830 году въ *Вѣстникѣ Европы*, годомъ раньше по поводу *Полтавы* грозно защищались «освященныя древностью и оправданныя вѣковыми опытами правила, составлявшія доселѣ коренное уложеніе критическаго судопроизводства», и вотъ въ только-что народившемся *Телескопѣ* является статья о *Борисѣ Годуновѣ*.

Предъ нами тоже діалогъ старыхъ знакомыхъ, самого автора и его пріятеля Тлѣнскаго. Но роли сильно измѣнились: Тлѣнскій принужденъ энергично укорять автора за отступничество отъ прежняго «образа мыслей». Раньше Надеждинъ считалъ Пушкина

способнымъ только на каррикатуры, теперь онъ, тотъ же поэтъ,—авторъ оригинальнаго драматическаго произведенія, вполнѣ серьезнаго и полнаго достоинствъ. Они не тускнѣютъ даже отъ невозможности подвести пьесу подъ какой-либо традиціонный титулъ: драмы, трагедіи, комедіи, и критикъ настолько безпристрастенъ и даже *чутокъ*, что довольно проницательно объясняетъ равнодушіе публики къ новому созданію Пушкина.

Публика «привыкла отъ него ожидать или смѣха, или дикости, оправленной въ прекрасные стишки, которые можно написать въ альбомъ, или положить на ноты. Ему вздумалось теперь перемѣнить тонъ и сдѣлаться постепеннѣе: такъ и перестали узнавать его!... Онъ теперь гудитъ, а не щебечетъ».

Авторъ не ожидалъ этого, и ему самому «странно такое превращеніе». Въ дѣйствительности, конечно, не столь значительно превращеніе «щебетанія», сколько «странность» авторскаго слуха. Раньше ухо критика упорно слышало одинъ фарсъ, даже во всемъ *Онѣгинѣ*, теперь оно вдругъ усовершенствовалось.

Откуда такія «чудеса», какъ выражается Тлѣнскій?

Критикъ понимаетъ большія тонкости въ пьесѣ, отлично объясняетъ роль юродиваго, какъ единственнаго органа «безмолвствующаго народа», справедливо подвергаетъ сомнѣнію доступность древнему лѣтописцу идей, какія поэтъ влагаетъ въ уста Пимена.

Не обходится, конечно, дѣло и безъ крупныхъ недоразумѣній: критикъ до глубины души возмущенъ сценой Самозванца съ Мариной: «хитрый Самозванецъ» будто бы не могъ открыть «своей Дульцинеѣ тайну», не доволенъ и смѣшеніемъ языковъ въ сценѣ битвы...

Но что все это въ сравненіи съ недавними упражненіями Надоумки!

Очевидно, профессоръ могъ говорить по временамъ вполнѣ осмысленнымъ языкомъ, писать даже сравнительно простымъ и вразумительнымъ слогомъ и, что казалось совершенно неожиданнымъ, обнаруживать художественную чуткость.

Одновременно предъ нами нѣкоторый актъ самоотверженія: критикъ самъ сознается въ перемѣнѣ своихъ воззрѣній на талантъ Пушкина.

Мы должны запомнить эту перемѣну. Она важнѣе всякихъ другихъ филисофскихъ идей профессора для его вліянія на сотрудника *Телескопа* Бѣлинскаго, если только безусловно отъ На-

деждина Бѣлинскій долженъ былъ заимствовать *естественный* взглядъ на первостепеннаго современнаго поэта,—естественный, какъ увидимъ, при великомъ *художественномъ* дарованіи молодого критика.

Но перемѣны съ Надеждинымъ не ограничились частными вопросами о произведеніяхъ Пушкина. Профессоръ рѣшилъ провозгласить два принципа великаго значенія и силы въ новой литературѣ. Правда, провозглашеніе это состоялось довольно поздно, отнюдь не было новымъ словомъ даже для большой публики. Но оно шло съ университетской каѳедры, изъ устъ авторитетнаго ученаго, освящалось, слѣдовательно, наукой и благонамѣреннѣйшей мыслью.

Объявивъ цѣлью новаго творчества единство, сліяніе классицизма съ романтизмомъ, изящества формъ съ могуществомъ духа, Надеждинъ поспѣшилъ раскрыть непосредственные частные результаты этого стремленія.

Главныхъ два: «потребность *естественности* и потребность *народности* въ изящныхъ искусствахъ».

Мы знаемъ, какъ раньше критикъ понималъ естественность. Ему казалось оскорбительнымъ для человѣческой природы все, что не совпадало съ вѣчной гармоніей и небесной лѣпотой, и именно съ этой точки зрѣнія послѣдовательно уничтожался *Евгеній Онѣгинъ*: онъ такъ близокъ къ земной жизни и не переросъ скудной мѣры человѣчества! Отсюда изящный каламбуръ: «Для *генія* не довольно смастерить *Евгенія!*»

Теперь совершенно другое теченіе мысли.

«Современное эстетическое направленіе, — говоритъ профессоръ,—требуетъ отъ художественныхъ созданій полнаго сходства съ природою, равно чуждаясь поддѣльнаго излишества, какъ въ наружныхъ матеріальныхъ формахъ, такъ и во внутренней идеальной выразительности. Оно спрашиваетъ у образа: гдѣ твой духъ? у мысли: гдѣ твое тѣло? Отсюда нисхожденіе изящныхъ искусствъ въ сокровеннѣйшіе изгибы бытія, въ мельчайшія подробности жизни, соединенное съ строгимъ соблюденіемъ всѣхъ вещественныхъ условій дѣйствительности, съ географическою и хронологическою истиною физіономій, костюмовъ, аксессуаровъ».

Это значитъ, критикъ требуетъ отъ художественнаго произведенія мѣстной и исторической вѣрности лицъ и событій. Это основное положеніе реализма, но профессоръ идетъ гораздо дальше.

Онъ желаетъ «всеобъемлющаго взгляда на жизнь», а на этотъ

взглядъ «всѣ черты, изъ коихъ слагается физіономія бытія», одинаково заслуживаютъ безпристрастнаго вниманія и художника, и критика.

Надеждинъ сравниваетъ старое искусство съ новымъ и находитъ существенную разницу именно тамъ, гдѣ раньше видѣлъ одно «арлекинское величіе». Теперь нидерландская школа—типичная представительница творчества, потому что «миніатюрная живопись дѣйствительности превращается въ господствующую подробность генія».

Профессоръ привѣтствуетъ появленіе «частныхъ сценъ домашней жизни», во всѣхъ искусствахъ, въ музыкѣ Обера, въ скульптурѣ Рауха, въ живописи Шарле, въ романахъ Бальзака, даже водевили Скриба находятъ себѣ мѣсто въ «философіи современной исторіи».

Терпимость со стороны ученаго эстетика поистинѣ безгранична, и онъ разсужденія объ естественности заключаетъ фразой, уничтожающей всѣ его прежнія издѣвательства надъ «пародіальной» поэзіей Пушкина:

«Все устремляется къ сближенію съ природой, великой во всѣхъ своихъ подробностяхъ, нелицепріятной ко всѣмъ своимъ явленіямъ».

Это совершенно полное уложеніе художественнаго реализма, правда, въ очень общей формѣ, но достаточно опредѣленное. Если бы его послѣдовательно примѣнить на практикѣ, русская литературная критика немедленно стала бы въ уровень съ современнымъ искусствомъ и русское общество не присутствовало бы при многолѣтней ожесточенной журнальной борьбѣ, отравлявшей существованіе величайшимъ художникамъ русскаго слова и ставившей часто въ недостойное положеніе даже искреннихъ поборниковъ общественной мысли.

Надеждинъ, помимо *естественности*, столь энергично отмѣтилъ и другое, «равно могущественное направленіе современнаго генія»—*народность*.

Здѣсь идея привязывается не столько къ исторической и философской почвѣ, сколько къ чувствительной, внушается патріотическими влеченіями. Такъ и объясняется понятіе народности: это «патріотическое одушевленіе изящныхъ искусствъ».

Профессоръ не замѣчаетъ, что *естественность* жестоко можетъ пострадать отъ подобнаго одушевленія, разъ оно самовластно и исключительно будетъ управлять вдохновеніемъ художника. Про-

фессоръ говоритъ проникновеннымъ тономъ о «родномъ *благодатномъ* небѣ», о «родной *святой* землѣ», о «родныхъ *драгоцѣнныхъ* преданіяхъ» и, конечно, о «родной славѣ» и «родномъ величіи».

И здѣсь же немедленно указываетъ на свободу художника отъ «вліянія предубѣжденій и страстей».

Но вѣдь патріотическое одушевленіе непремѣнно ради родной благодати, святости, драгоцѣнности, въ высшей степени легко можетъ повести къ предубѣжденіямъ, потому что оно въ такой формѣ явное *пристрастіе*, т. е. страсть въ пользу одушевляющаго предмета.

Какъ же, при такихъ требованіяхъ, критикъ отнесется къ самому національному и народному созданію русскаго искусства—къ сатирѣ? Онъ долженъ будетъ признать ее *неестественной*, такъ какъ изъ его *естественности* явно вытекаетъ панегирическое отношеніе къ родному. И мы снова впадаемъ въ потокъ краснорѣчивыхъ воззваній диссертаціи—писать оды на русскія побѣды!

Очевидно, надлежало критику отдѣлить отъ политики, по крайней мѣрѣ, полагая и утверждая *основы* ея развитія, необходимо было принципъ *народности* выяснить исторически и доказать ради его самого, а не постороннихъ практическихъ цѣлей.

И Надеждинъ приближался къ этой цѣли, но не созналъ всего ея значенія—независимаго, самодовлѣющаго.

Онъ понимаетъ безплодность подражательнаго искусства, стѣснительность чужеземныхъ вліяній для истинныхъ талантовъ, но, устраняя заимствованную внѣшнюю основу искусства, онъ не утверждаетъ національной, внутренней, т. е. не проникаетъ въ художественную и культурную силу *народнаго* творчества.

Онъ готовъ признать право на существованіе за народной поэзіей, говоритъ ей даже довольно лестные комплименты, но это снисходительное благоволеніе ученаго и эстетическаго аристократа къ *дѣтямъ природы*.

Фактъ въ высшей степени важный! Разсматривая развитіе и идею національности и народности у молодыхъ русскихъ критиковъ, мы снова убѣждаемся въ педантичности и отсталости профессора отъ своихъ современниковъ съ болѣе живой философской мыслью и болѣе глубокимъ художественнымъ чувствомъ.

Надеждинъ восклицаетъ:

«Потеряютъ ли когда свое волшебное очарованіе народныя пѣсни, народныя пляски, народныя басни и преданія, завѣщанныя намъ младенческими досугами первобытныхъ, необразованныхъ народовъ!»

*

Отвѣтъ, конечно, благопріятный, но все-таки это не «искусство человѣческое». Всѣ эти пѣсни и басни «равнозначительны съ гармоническою пѣснью соловья, съ затѣйливой архитектурой пчелы, даже съ роскошнымъ великимъ убранствомъ сельскаго крина».

Изящныя искусства начинаются только съ «разсвѣтомъ мышленья», и «истинное творческое одушевленіе» только тамъ, «гдѣ свободная игра жизни просвѣтлена идеею, покорна цѣли».

Слѣдовательно, за народомъ, какъ поэтомъ, не признается мышленія, и на сцену снова выступаетъ такая *идея* и *цѣль*, что, очевидно, извѣстное намъ изображеніе *естественности*, оправданіе мелочей будничной жизни, подрывается въ корнѣ. Потому что, именно народная поэзія какъ нельзя болѣе склонна къ такой *естественности* и несравненно рѣже, чѣмъ водевиль Скриба, можетъ впасть въ тривіальность.

XXX.

Мы видимъ, главнѣйшіе руководящіе принципы творчества и критики никакъ не могли въ мысляхъ Надеждина принять вполнѣ устойчивыхъ и ясныхъ формъ. Профессоръ безпрестанно сбивался на выспренній эстетическій путь. Его безпрестанныя обмолвки и безсиліе провести разъ воспринятую идею до ея логическихъ послѣдствій производятъ впечатлѣніе менѣе всего самостоятельнаго и убѣжденнаго мышленія. Будто ученый поддавался по временамъ современнымъ теченіямъ, но поддавался не умомъ и сердцемъ, а краснорѣчивымъ словомъ.

Въ результатѣ, сопоставляя лекціи и статьи Надеждина, можно набрать сколько угодно противорѣчій и несообразностей.

Напримѣръ, *естественность* и *народность* разъяснены въ публичной рѣчи 6-го іюля 1833 года. Кажется, на счетъ естественности, по крайней мѣрѣ, не могло быть сомнѣнія, рѣчь составлялась раньше, можетъ быть, даже за нѣсколько мѣсяцевъ и почти совпала съ статьей *Молвы* о журналѣ Кирѣевскаго *Европеецъ*.

Молва недовольна взглядами *Европейца* какъ разъ на естественность.

«Никто не выдумывалъ взгляда оригинальнѣе и своенравнѣе, какъ новый московскій журналъ... Разбирая стихотворенія Баратынскаго, онъ утверждаетъ, что самыя мелкія подробности жизни являются поэтическими, когда мы смотримъ на нихъ сквозь гармоническія струны его лиры!» При такомъ взглядѣ, по увѣренію

Европейца, «балъ, маскарадъ, непринятое письмо, пированіе друзей, неодинокая прогулка, чтеніе альбомныхъ стиховъ, поэтическое имя, однимъ словомъ, всѣ случайности и всѣ обыкновенности жизни тѣсно связываются съ самыми возвышенными минутами бытія и съ самыми глубокими, самыми свѣжими мечтами и воспоминаніями, такъ что, не отрываясь отъ гладкаго паркета, мы переносимся въ атмосферу музыкальную и мечтательно просторную». «Взглядъ чудный и небывалый!» восклицаетъ *Молва.* «Въ отличіе отъ прочихъ журнальныхъ взглядовъ мы, можемъ назвать его *сквознымъ,* но не въ смыслѣ вѣтра, ибо онъ болѣе удивителенъ, чѣмъ опасенъ» [63]).

Телескопъ, въ свою очередь, громилъ *Горе отъ ума* и объявлялъ, что оно «отжило уже почти вѣкъ свой».

Не легко было читателямъ разобраться въ убѣжденіяхъ редактора и профессора; и еще труднѣе было у подобнаго руководителя заимствоваться идеями и принципами, все равно, въ области философіи или критики.

Надеждинъ, несомнѣнно, тяготѣлъ къ шеллингіанству: мы могли это видѣть изъ его широковѣщательныхъ разсужденій объ изящномъ, о геніѣ, объ идеалѣ, о вѣчномъ и прекрасномъ. Все это шеллингіанскіе полеты, и они давно были извѣстны русской литературѣ по сочиненіямъ самыхъ раннихъ русскихъ философовъ.

Естественно, профессоръ часто достигалъ большой силы краснорѣчія: темы все были въ высшей степени благодарныя для ораторскихъ импровизацій, и аудиторія изъ юношества тридцатыхъ годовъ, какъ нельзя болѣе, приспособлена къ путешествіямъ въ заоблачныя высоты любомудрія.

И предъ нами--восторженныя воспоминанія слушателей Надеждина. Одно изъ нихъ мы приведемъ: оно передаетъ и впечатлѣнія слушателей, и средства, какими лекторъ вызывалъ ихъ.

Въ сентябрѣ 1832 года товарищъ министра народнаго просвѣщенія Уваровъ съ многими знатными лицами посѣтилъ университетъ и явился на лекцію Надеждина. Событіе осталось незабвеннымъ для очевидцевъ.

«Предметомъ лекціи было объясненіе *идеи безусловной красоты,* являющейся подъ *схемою гармоніи жизни,* о ея осуществленіи въ Богѣ подъ образомъ *вѣчной отчей любви* къ творенію и проявленіи въ духѣ человѣческомъ *стремленіемъ къ безконечному, божествен-*

---

[63]) *Молва.* 1832, № 11.

нымъ восторгомъ, а въ душѣ художника образованіемъ *идеаловъ*. Студенты, записывавшіе лекціи, бросили свои перья, чтобъ черезъ записыванье не пропустить ни одного слова, и только смотрѣли на профессора, котораго глаза горѣли огнемъ вдохновенія; одушевленный голосъ сопровождался оживленностью физіономіи, живостью движеній, торжественностью самой позы; даже посторонніе посѣтители, вмѣсто тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекціяхъ другихъ профессоровъ, невольно обратились къ профессору и смотрѣли на него, какъ будто на оракула» [64]).

При всемъ восторгѣ, Уваровъ все-таки догадался задать оракулу очень прозаическій вопросъ, «понимаютъ ли его студенты?». Надеждинъ отвѣчалъ, разумѣется, утвердительно, но это еще не рѣшало вопроса вообще о цѣлесообразности такого преподаванія.

Другой слушатель Надеждина, отдавая должное его импровизаторскому таланту, заявляетъ печальный фактъ: профессора далеко не всѣ студенты понимали, обзывали даже его лекціи схоластикой, школярствомъ. Правда, это, по словамъ автора, были слушатели, не получившіе философскаго образованія [65]). Но много ли было получившихъ? И могъ ли плодотворно влiять на аудиторію профессоръ, требовавшій—не ради предмета, а ради своего преподаванія нарочитой спеціальной подготовки?

Наконецъ, третій слушатель, Константинъ Аксаковъ, даетъ, повидимому, самыя точныя и реальныя свѣдѣнія объ успѣхахъ профессора.

«Надеждинъ производилъ съ начала своего профессорства большое впечатлѣніе своими лекціями. Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную рѣчь, почуявъ, такъ сказать, воздухъ мысли, молодое поколѣніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ занятій».

Мы видимъ, съ какой стремительностью молодежь философской эпохи набрасывалась даже на призракъ мысли. Легко представить, сколько сочувствія вызывала у подобной публики даже способность профессора вызвать у другихъ работу идей. Станкевичъ проститъ

[64]) Прозоровъ. *О с.*, стр. 10—11.

[65]) Максимовичъ. *Москвитянинъ*, 1856, № 3. Дополненія *Къ воспоминанію о Н. И. Надеждинѣ*, напечаталъ старый слушатель Надеждина, Лавдовскій, въ высшей степени восторженныя. *Моск. Вѣд.* 1856, № 81, 7-го іюля.

всѣ недостатки Надеждину за то, что профессоръ «много пробудилъ своими знаніями» въ его душѣ, и если онъ—Станкевичъ—будетъ въ раю, то Надеждину обязанъ за это. Но тотъ же Станкевичъ «чувствовалъ бѣдность преподаванія» своего благодѣтеля [66]).

Понимали, несомнѣнно, и другіе, и даже больше Станкевича. По крайней мѣрѣ, его товарищъ, Герценъ, съ большимъ сочувствіемъ вспоминающій о другомъ московскомъ шеллингіанцѣ,—профессорѣ Павловѣ,—не считаетъ нужнымъ говорить о философскихъ заслугахъ Надеждина.

Популярность профессора среди студентовъ основывалась, помимо мимолетнаго увлеченія краснорѣчіемъ, на «деликатности» его обращенія: со студентами Надеждинъ «не любилъ никакихъ полицейскихъ пріемовъ». А въ этомъ отношеніи студенты были еще менѣе избалованы, чѣмъ «воздухомъ мысли».

Но далеко не всегда Надеждинъ оставался вѣренъ даже и такому либерализму. По поводу его диссертаціи произошла исторія, напоминающая процессъ Каченовскаго съ цензоромъ Глинкой изъ-за статьи Полевого.

Тотъ же *Московскій Телеграфъ* неуважительно отозвался объ отрывкѣ изъ книги Надеждина и въ отвѣтъ «Прямиковъ изъ села Тихоміровa» въ *Московскомъ Вѣстникѣ* взывалъ о личномъ оскорбленіи.

Диссертація была представлена на судъ гг. профессоровъ. «Этотъ судъ профессоровъ», увѣрялъ Прямиковъ, «былъ строгій, основанный на правилахъ, предписанныхъ самимъ закономъ и по праву отъ Верховной Власти имъ дарованному. Слѣдовательно, это дѣло было оффиціальное. Какъ же онъ, Полевой, будучи частнымъ человѣкомъ, могъ вмѣшиваться въ такое дѣло? А тѣмъ болѣе, какъ онъ, не принадлежа собственно ни къ государственнымъ чиновникамъ, ни къ сословію ученыхъ, могъ присвоить себѣ право быть ревизоромъ дѣйствій цѣлаго университета и послѣ одобренія университетомъ оной диссертаціи и удостоенія г. Надеждина высшей ученой степени доктора, смѣетъ столь дерзко поносить и сочиненіе и сочинителя?»

Дальше приводилась статья закона, карающая преступленіе Полевого, угрожалось «уголовнымъ порядкомъ», и указывалось на вредное вліяніе «особливо» среди «молодыхъ людей» такихъ критикъ [67]).

[66]) *День*. 1862, № 40.

[67]) Барсуковъ. III, 26—7.

Не разногласитъ съ подобными справками и пристрастіе профессора—именовать своихъ литературныхъ противниковъ непремѣнно *не литературными* именами—въ родѣ «литературный *Робеспьерръ*», и даже *террористы*. Къ счастью, слово *нигилистъ* еще не имѣло соотвѣтствующаго значенія. Не лишены страсти въ извѣстномъ направленіи и удивительно яростные нападки Надеждина на восемнадцатый вѣкъ. Даже Деместры и Бональды не достигали такого паѳоса. И паѳосъ тѣмъ замѣчательнѣе, что онъ увлекалъ профессора, преподававшаго *исторію* искусствъ, слѣдовательно, обязаннаго владѣть представленіемъ объ *историческомъ* смыслѣ явленій и менѣе всего располагающаго нравственнымъ правомъ показывать внезапныя стихійныя пропасти и «рѣзкія глубокія межи» на пути человѣческой цивилизаціи.

А между тѣмъ профессоръ въ торжественномъ собраніи университета обращался къ публикѣ совершенно въ тонѣ запальчиваго агитатора на миттингѣ:

«Я вызываю васъ, м.м. г.г., указать мнѣ въ исторіи человѣческаго рода другую подобную эпоху, которая бы въ краткомъ пространствѣ столѣтія сосредоточила столько распутствъ и ужасовъ! Въ тяжкомъ вѣковомъ томленіи Римской Имперіи вы не найдете періода, съ коимъ можно бы было сравнить сей зловѣщій вѣкъ, начавшійся оргіями регентства и заключившійся свирѣпствами терроризма, вѣкъ кощунства и нечестія, разврата и безначалія, вѣкъ шарлатановъ и изувѣровъ, интригановъ и крамольниковъ, сибаритовъ и убійцъ».

Но противорѣчія и несообразности были, очевидно, рокомъ въ жизни Надеждина. Его ученая и литературная карьера прервалась политическими страданіями за напечатаніе въ *Телескопѣ* одного изъ *философическихъ писемъ* Чаадаева.

Письма, какъ извѣстно, крайне сенсаціоннаго содержанія. Они—самый рѣзкій, почти отчаянный крикъ человѣческаго сердца, надорваннаго нескончаемыми разочарованіями въ себѣ самомъ, въ судьбахъ своей родины, во всемъ человѣчествѣ. Это—лирическій пессимизмъ, въ высшей степени сложнаго и своеобразнаго состава, эффектнѣйшее выраженіе чувства, обуревающаго тургеневскаго Потугина, нераздѣльно слитыхъ любви и ненависти къ Россіи.

Въ *Письмахъ* звучало не мало и вполнѣ современныхъ мотивовъ, прежде всего тоска о культурномъ прогрессѣ Россіи, свободномъ и могучемъ не менѣе европейскаго, страстные поиски причины, почему онъ не осуществился и еще болѣе нетерпѣливая жажда источника—его возможнаго осуществленія.

Мы видѣли, одни указывали на связь съ древнимъ міромъ, на возрожденіе античнаго классицизма на русской почвѣ, какъ первоосновы всякой европейской цивилизаціи. Чаадаеву представлялся болѣе краткій путь, мимо Эллады и Византіи, прямо католичество и послѣдовательный западный европеизмъ.

Устами автора говорила страсть, своего рода азартъ ясновидящей мысли: это доказывается и складомъ *Писемъ*, и строжайшимъ искусомъ одиночества, сопровождавшимъ возникновеніе *Писемъ*. Но что также въ нихъ было много прочувствованной и выстраданной правды, засвидѣтельствовано отзывомъ Пушкина, совершенно спокойнымъ и безпристрастнымъ.

Поэтъ не согласенъ съ унизительнымъ представленіемъ Чаадаева о русской *исторіи*, но сужденія о современномъ состояніи Россіи во многомъ казались Пушкину «глубоко справедливыми», и онъ пояснялъ, почему.

«Наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствіе общественнаго мнѣнія, это равнодушіе ко всякому долгу, къ справедливости и правдѣ, это циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому достоинству дѣйствительно приводятъ въ отчаяніе. Вы хорошо сдѣлали, что громко это высказали» [68]).

Но Пушкинъ въ то же время опасался послѣдствій. И опасенія не замедлили оправдаться.

Телескопъ былъ запрещенъ, предсѣдателю цензурнаго комитета, ректору Болдыреву, предложено выйти въ отставку, Надеждинъ, редакторъ журнала, исключенъ изъ службы и сосланъ въ Усть-Сысольскъ, Чаадаевъ подвергнутъ временному надзору въ качествѣ сумасшедшаго.

Болдыревъ въ дѣлѣ не причемъ, онъ подписалъ листы, не читая, но Надеждинъ долженъ былъ отдавать себѣ отчетъ въ печатаніи подобной статьи. Что же его заставило рискнуть?

Современникамъ вопросъ представлялся такъ, будто Надеждинъ просто утопилъ цензора, пустилъ статью, не боясь за себя лично и не щадя довѣрчиваго сослуживца [69]).

Можетъ быть, редакторъ подцензурнаго изданія и могъ питать такія надежды, но, во всякомъ случаѣ, редакторъ *Телескопа* пострадалъ не за либерализмъ. *Письмо* обѣщало шумъ и шуму, дѣйствительно, произошло даже больше, чѣмъ можно было ожидать. Жур-

[68]) Письмо отъ 19 окт. 1836 на франц. яз. Сочин. VII. 411.

[69]) Барсуковъ. IV, 388.

налъ, конечно, выигрывалъ, и, естественно, редакторъ подвергся сильному соблазну.

Дальнѣйшая судьба Надеждина, редактора *Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ*, потомъ виднаго чиновника того же министерства, нисколько не соотвѣтствовала опрометчивому поступку на поприщѣ журналистики. Даже въ эпоху сороковыхъ годовъ и послѣ 1848 года никому и на умъ не приходила мысль о сомнительности убѣжденій бывшаго профессора.

И его профессорская дѣятельность постепенно отходила въ область преданій. На литературной сценѣ, правда, дѣйствовалъ одинъ изъ его учениковъ и даже сотрудниковъ, но врядъ ли самый тщательный психологическій и идейный анализъ могъ бы открыть точки соприкосновенія между неистовымъ Виссаріономъ и бывшимъ оракуломъ московскаго университета.

Врядъ ли и съ самаго начала этихъ точекъ существовало особенно много. При подробномъ разборѣ критической дѣятельности Бѣлинскаго намъ само собой представится все общее, что могло быть у него съ Надеждинымъ. Мы могли и теперь предугадать главнѣйшія общія идеи, именно тѣ, какія самого Надеждина ставили въ уровень съ современнымъ умственнымъ движеніемъ.

Но мы ни въ какомъ случаѣ не могли бы взять на себя смѣлость утверждать, будто профессоръ являлся оригинальнымъ обладателемъ этого капитала и онъ первый и единственный подѣлился имъ съ своимъ слушателемъ. Напротивъ. Мы переходимъ къ другому, внѣуниверситетскому, философскому теченію, и убѣждены, что простая исторія его обозначитъ законныя мѣста въ умственномъ движеніи тридцатыхъ годовъ, *отцамъ*, т. е. профессорамъ и оффиціальнымъ ученымъ, и *дѣтямъ*, ихъ слушателямъ, но далеко не всегда послѣдователямъ и ученикамъ.

Настоящихъ, общепризнанныхъ учителей было мало у этой молодежи. Мы уже знаемъ нѣкоторыя черты взаимныхъ отношеній между профессорами и молодыми писателями: Мерзляковъ вызываетъ почтительное, но рѣшительное осужденіе, Надеждинъ сначала увлекаетъ, но скоро разочаровываетъ. Оба профессора, казалось бы, званные и избранные руководители именно писателей: оба—ученые по литературѣ, краснорѣчію, искусству.

Но дѣйствительность не оправдала многообѣщавшихъ предзнаменованій. Истиннымъ учителемъ молодежи по философіи и, слѣдовательно, по литературному и критическому искусству, явился спеціалистъ совсѣмъ другой науки, не имѣющей ничего общаго ни съ «умозрительными теоріями», ни съ изящными искусствами.

Даже больше. Именно этого профессора современники ставятъ во главѣ московскаго шеллингіанства, мимо Давыдова и Надеждина, ему приписываютъ переселеніе германской философіи въ среду московскихъ студентовъ и съ его именемъ люди совершенно разныхъ направленій связываютъ начало философскихъ увлеченій будущихъ критиковъ и публицистовъ.

Исторически честь не единолично заслуженная, но *нравственно*, несомнѣнно, законная, разъ *сила* вліянія одного человѣка затмила *права* чужой дѣятельности.

XXXI.

Михаилъ Григорьевичъ Павловъ, студентъ харьковскаго университета, потомъ медико-хирургической академіи, наконецъ, московскаго университета, по окончаніи курса математики, и медикъ, заграницей спеціалистъ по сельскохозяйственнымъ наукамъ.

Это своего рода энциклопедія, только какъ разъ безъ предмета, создавшаго нашему ученому славу, безъ философіи. Она въ германскихъ университетахъ, повидимому, поглощала почти все его время, и потомъ, сочиняя книги по сельскому хозяйству, читая лекціи по физикѣ, Павловъ неизмѣнно оставался усерднымъ апостоломъ шеллингіанства.

Герценъ, одинъ изъ его слушателей разсказываетъ:

«Германская философія была привита московскому университету М. Г. Павловымъ. Каѳедра философіи была закрыта съ 1826 г. Павловъ преподавалъ введеніе къ философіи вмѣсто физики и сельскаго хозяйства. Физики было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но что̀ такое природа? Что такое знать?» [70]).

Отвѣты на вопросы Павловъ черпалъ въ шеллингіанской системѣ и умѣлъ излагать ихъ съ «пластической ясностью». Если профессоръ не достигалъ идеала въ этомъ направленіи, вина была въ самой философіи Шеллинга, не законченной и не уясненной во всѣхъ подробностяхъ.

Лекціи Павлова приняты были «съ жаромъ» университетской молодежью. Многіе студенты отважились на самостоятельное изу-

[70]) *Былое и думы.* VII, 119. *Записки К. А. Полеваго.* Спб. 1888, 85—6.

ченіе Шеллинга: такія увлекательныя перспективы умѣлъ показать профессоръ, самъ воодушевленный истинами новаго «любомудрія».

«Отъ первой лекціи до послѣдней», разсказываетъ одинъ изъ его слушателей, «не было ни одной холодной, ни одной сухой или скучной. Одушевленіе не оставляло профессора ни на минуту. И это одушевленіе переходило въ его слушателей. Мысли Павлова, мало принесшія намъ пользы въ самой наукѣ, послужили однакоже для насъ путеводною нитью въ другихъ, развили или, по крайней мѣрѣ, послужили къ развитію какого-то особеннаго критическаго взгляда на науку вообще, на ея начала и основанія, на ея развитіе и выполненіе» [71]).

Мы видимъ, отзывы современниковъ о Павловѣ отнюдь не менѣе благопріятные, чѣмъ о Надеждинѣ или о Галичѣ. Павловъ имѣетъ несомнѣнныя преимущества своей учительской близостью къ молодежи. Мы сейчасъ увидимъ значеніе этого факта, но предварительно мы тщательно должны рѣшить вопросъ, какъ далеко могло идти вліяніе популярнѣйшаго профессора-шеллингіанца и какіе вполнѣ озязательные плоды могло принести оно въ критической литературѣ?

Павловъ *создалъ* у слушателей интересъ къ философіи и лекціями, и сочиненіями. Въ какомъ направленіи развилась собственная мысль профессора, видно изъ его статей, предназначенныхъ для большой публики.

Съ перваго взгляда статьи, повидимому, сильно подрываютъ только что засвидѣтельствованное очевидцами достоинство Павлова, *ясность мышленія.* Напротивъ, мы прямымъ путемъ попадаемъ въ безвыходныя дебри тѣхъ самыхъ натуръ-философскихъ аналогій, гипотезъ, почти ясновидѣній, знакомыхъ намъ по произведеніямъ Велланскаго.

Очевидно, Шеллингъ у русскихъ мыслителей дѣйствовалъ преимущественно на страсть къ мнимо-научному глубокомыслію, баюкивавшему философовъ одновременно призраками строгаго познанія природы и неограниченнаго проникновенія въ ея законы и тайны.

Фактъ, вполнѣ естественный.

Если Шеллингъ, въ центрѣ широкаго и блестящаго развитія опытныхъ наукъ, могъ впасть въ мистическое толкованіе ихъ выводовъ и опытному изслѣдованію явленій противоставить твор-

---

[71]) Колюпановъ I, 475.

чество и созерцаніе,—на русской почвѣ было несравненно больше простора для самыхъ фантастическихъ экскурсій въ область невѣдомаго и непознаваемаго.

Русскіе философы оказывались, приблизительно, въ положеніи древнихъ греческихъ мудрецовъ, до-сократовскихъ временъ. Обладая весьма ограниченными свѣдѣніями о природѣ и человѣческой душѣ, эти мудрецы, именно въ силу свое ограниченности, съ чрезвычайной отвагой пускались въ открытіе причины всѣхъ причинъ, создавали поразительнѣйшіе абсолюты, часто дѣтски-наивнаго содержанія, просто брали какое-нибудь вещество—воду, огонь, воздухъ, и къ нему пріурочивали развитіе міровой жизни.

Этотъ размахъ воображенія тѣшилъ незрѣлую мысль, и какой-нибудь Ѳалесъ могъ искренне воображать себя носителемъ верховной истины, Пиѳагоръ вполнѣ серьезно облекать въ непроницаемый туманъ поэтическую игру своей фантазіи и даже дѣлить на разныя степени, будто въ священномъ орденѣ, своихъ учениковъ, сообразно съ приближеніемъ ихъ къ святилищу высшей мудрости.

Естественно, въ подобныхъ системахъ первое мѣсто занимаютъ элементарнѣйшіе пріемы мышленія—сравненіе, аналогія, часто просто—метафора, поэтическая фигура. Въ эллинской философіи, вплоть до Аристотеля лишенной сколько-нибудь значительнаго научнаго основанія, эти упражненія процвѣтаютъ даже послѣ трезвой скептической мысли Сократа, еще Платонъ будетъ сочинять поэмы вмѣсто разсужденій и безъ малѣйшихъ затрудненій самые сложные вопросы философіи и психологіи рѣшать путемъ лирическаго безпорядка, сравненій, уподобленій, аллегорій.

Достаточно вспомнить чрезвычайно размашистую задачу въ діалогѣ *Республика* о «высшемъ благѣ» и результатъ всѣхъ препирательствъ, уподобленіе этого идеала солнцу! Для эллинскаго мудреца рѣшеніе вполнѣ удовлетворительное. Такимъ оно и должно быть для всякаго первичнаго ученическаго философскаго мышленія, не умѣющаго разграничивать логики и поэзіи, идей и образовъ, знанія и воображенія.

То же самое происходитъ съ русскими шеллингіанцами.

Они, конечно, неизмѣримо ученѣе древнихъ греческихъ философовъ, но вѣдь и творчество, ихъ соблазняющее, гораздо зрѣлѣе и сложнѣе. Вода или огонь въ качествѣ абсолюта вызовутъ у нихъ улыбку сожалѣнія, но это не значитъ, чтобы они вообще отказались отъ натурфилософскихъ принциповъ. Тѣмъ болѣе, что, мы

знаемъ, само естествознаніе своими открытіями влекло философовъ на этотъ путь.

Несомнѣнно, «животный магнетизмъ», какъ всеобъемлющая основа жизни, болѣе научное и философски-глубокое представленіе, чѣмъ какая-либо изъ четырехъ стихій, постепенно возводившихся у древнихъ философовъ въ первоисточники бытія. Но *сущность* міросозерцанія та же.

Шеллингъ, на основаніи своей теоріи абсолютнаго тожества, логически могъ дойти до чисто-платоновской идеи: міръ *слѣдуетъ* изучать не по фактическимъ даннымъ, а по высшимъ категоріямъ разума, *чистыхъ отвлеченій*. «Мы явленія оставимъ въ сторонѣ,—говоритъ Платонъ,—они не дадутъ намъ настоящаго знанія, а только *мнѣнія, грёзы*. Единственный источникъ реальнаго вѣдѣнія, совершенной *увѣренности*—діалектическій процессъ мысли—*черезъ идеи къ идеямъ*» [72]).

Шеллингіанство именно и становилось на этотъ путь, стремясь чисто-философскими обобщеніями предвосхитить данныя опытныхъ наукъ и созидая міръ дѣйствительности изъ міра идей, бытіе изъ мышленія.

Метафизика искони вѣковъ вращается въ однихъ и тѣхъ же предѣлахъ. Все новое, входящее въ ея область, принадлежитъ не ей: это—матеріалъ, заимствованный ею извнѣ, изъ исторіи и естествознанія. Пріемы, путь и цѣли остаются неизмѣнными, и вполнѣ естественно не только у Шеллинга, но и у Гегеля и также у Шопенгауера будутъ звучать самые подлинные голоса древнѣйшихъ разгадчиковъ тайны Изиды, отъ Будды до Платона.

Легко представить, съ какимъ юношескимъ пыломъ должны были наброситься на столь увлекательныя приманки русскіе ученики западной философіи. Уже на примѣрѣ Велланскаго мы видѣли, до какихъ предѣловъ могъ развиться соблазнительный и безотвѣтственный натурфилософскій азартъ. Павловъ, одаренный гораздо болѣе оригинальной и точной мыслью, остался сыномъ своей эпохи и послѣдователемъ господствующей вдохновенной мудрости.

Мы видѣли, одинъ изъ слушателей Павлова придаетъ большое значеніе простой постановкѣ вопроса: что̀ такое природа?

И Павловъ, дѣйствительно, ставилъ этотъ вопросъ, но какъ отвѣчалъ?

Напримѣръ, въ журнальной статьѣ объяснялось понятіе *веще-*

---

72) *Respublica*, lib. VI.

ства. По мнѣнію философа, вещество—*свѣтъ* сгущенный и потемненный тяжестью, при взаимномъ ихъ ограниченіи.

Дальше, что такое самый свѣтъ?

«Свѣтъ есть проявленіе силы расширительной, электричество есть тотъ же свѣтъ, но смѣшанный въ предѣлахъ сильнѣйшаго ограниченія; оттуда дѣйствія его такъ порывисты, бурны, а именно отъ усилія расторгнуть узы, столь противныя его натурѣ».

Потомъ, 'опредѣленіе *животныхъ*: они—соединеніе вещества съ преобладаніемъ жидкихъ частей [73]).

Можно, конечно, до безконечности изобрѣтать подобныя опредѣленія, но врядъ ли они сколько-нибудь въ состояніи увеличить *знаніе* и помочь *пониманію* естественныхъ явленій. Весь смыслъ ихъ формальный, діалектическій, очень полезный для гимнастическихъ упражненій мысли, но безплодный для ихъ содержанія.

Больше пользы было для слушателей Павлова отъ его простыхъ сообщеній объ идеяхъ *критической* философіи. Въ статьѣ *О способахъ изслѣдованія природы* Павловъ знакомилъ публику съ кантовскимъ воззрѣніемъ на познаваемое и непознаваемое, на *явленіе* и *сущность*. Философъ, конечно, не останавливался на кантовскомъ дуализмѣ и переходилъ на шеллингіанскій путь къ всеобъемлющему вѣдѣнію. Но для русской молодежи важно было слышать «пластически ясное» изложеніе великой критической системы. Оно, при всемъ соблазнѣ шеллингіанскихъ откровеній, могло вызвать въ умахъ въ высшей степени плодотворную работу и удержать юную мысль отъ головокружительныхъ полетовъ въ царство невѣдомаго и неизслѣдуемаго.

Несомнѣнно, критической философіи на первыхъ порахъ было не подъ силу бороться съ полурелигіозной, полупоэтической системой Шеллинга, сулившей дать отвѣты на всѣ запросы идеально-тоскующаго духа, примирить всѣ противорѣчія человѣческаго ума и жизни въ чудной вѣчной гармоніи высшаго разума. Но уже весьма существеннымъ фактомъ было знакомство будущихъ критиковъ съ философіей, представлявшей своего рода противоядіе противъ крайнихъ увлеченій созерцаніемъ и догматизмомъ. Въ этомъ большое преимущество Павлова предъ Велланскимъ.

Но оставалась еще самая важная задача, та самая, къ какой въ Петербургѣ приступилъ Галичъ съ своей книгой *Наука объ изящномъ*. Мы говоримъ о приложеніи философіи къ критикѣ. Галичу оно совершенно не удалось: оно даже не стояло въ про-

[73]) *Телескопъ*, 1836, ч. 32 и 36.

граммѣ петербургскаго эстетика. Какъ же отнесся къ задачѣ Павловъ?

Онъ выступилъ на поприще журналистики съ журналомъ *Атеней*. Мы видѣли, здѣсь былъ напечатанъ отрывокъ изъ диссертаціи Надеждина. Въ той же самой книгѣ помѣщено «новое опредѣленіе романтизма»: «это—новый родъ словесности, въ которомъ, для краткости, выпускается здравый смыслъ» [74]).

Слѣдовательно, журналъ враждовалъ съ современнымъ направленіемъ литературы и стоялъ за классицизмъ?

Отвѣтъ дается утвердительный многочисленными статьями, въ родѣ хвалы *Стихотворной наукѣ* Буало, могочисленныхъ издѣвательствъ надъ романтизмомъ, и особенно критикой на произведенія Пушкина.

По поводу IV и V главъ *Евгенія Онѣгина* «Атеней» писалъ: «*Романтическое* выручаетъ стихотвореніе отъ всѣхъ притязаній здраваго смысла и законныхъ требованій вкуса». Роману Пушкина, конечно, произносится смертный приговоръ: «Нѣтъ характеровъ, нѣтъ и дѣйствія. Легкомысленная только любовь Татьяны оживляетъ нѣсколько оное».

Не пощажена и форма, стихи романа. Въ общемъ, они хороши, но «сотни мелочей» «заживо цѣпляютъ людей, учившихся по старымъ грамматикамъ» [75]).

Можно подумать, журналъ будетъ твердо стоять на стражѣ старой школы и до конца вести войну противъ Пушкина, какъ представителя неразумныхъ новшествъ?

Оказалось, *Атеней* повторилъ оригинальную исторію Мерзлякова и Надеждина: одинъ—классикъ—*плакалъ* надъ стихами Пушкина, другой—врагъ *нигилизма*—отрекся отъ своей вражды къ «нигилисту». Не судьба была профессорамъ выдерживать фронтъ даже на разстояніи весьма скромныхъ періодовъ времени. Всего годъ спустя *Атеней* напечаталъ статью о *Полтавѣ*. Авторъ—Максимовичъ—защищалъ Пушкина отъ упрековъ критики въ искаженіи характеровъ и возстановлялъ безусловно и психологическое, и историческое достоинство поэмы [76]).

[74]) *Атеней*, 1830, январь, 116.

[75]) *Атеней*, 1828, № 4; ст. подпис. *В.*, принадлежитъ М. Дмитріеву, сотруднику *Вѣстника Европы*, автору статей противъ Пушкина и заслужившему отъ поэта наименованіе лже-Дмитріева въ отличіе отъ И. И. Дмитріева. Письмо къ А. С. Пушкину, апр. 1825 г. Сочин. VII, 120.

[76]) *Атеней*, 1829. № 6.

Это происходило въ 1829 году, а годъ спустя все-таки явилась статья Надеждина, еще не признававшаго Пушкина, и сатирическая замѣтка о романтизмѣ.

Очевидно, у журнала не было твердаго символа критической вѣры, и редакторъ его или не могъ додуматься до этого символа, или считалъ его лишнимъ для своей учености и философской мысли.

Второе объясненіе, пожалуй, вѣрнѣе: при блестящихъ способностяхъ профессора, внимательное отношеніе къ современной литературѣ не могло не привести его къ устойчивымъ и болѣе основательнымъ литературнымъ понятіямъ. Но Павловъ, подобно Галичу, не желалъ снизойти до *поэтовъ* и въ критическомъ отдѣлѣ своего журнала предоставлялъ хозяйничать людямъ самаго разнообразнаго умственнаго склада.

Повидимому, и современники понимали и цѣнили безучастіе профессора къ самымъ жгучимъ вопросамъ времени. *Атеней* велъ упорную борьбу съ *Московскимъ Телеграфомъ* и статьями, и сатирическими замѣтками. Но это не помѣшало брату Николая Полевого—постоянной жертвы выходокъ *Атенея*—дать самый лестный отзывъ о Павловѣ. Очевидно, профессоръ царствовалъ въ журналѣ, но не управлялъ, по крайней мѣрѣ, насколько дѣло касалось литературной полемики и критики.

Но и собственно философская дѣятельность Павлова продолжалась недолго. Правительство поручило ему устроить земледѣльческій хуторъ, и онъ послѣдніе годы жизни посвятилъ исключительно своей оффиціальной спеціальности, сельскому хозяйству.

Мы, слѣдовательно, можемъ опредѣлить границы *практическаго* вліянія популярнѣйшаго шеллингіанца. Павловъ не былъ *руководителемъ* молодого поколѣнія, а только *возбудителемъ* новыхъ умственныхъ интересовъ. Онъ, подобно своимъ современникамъ ученымъ, не могъ стать на одномъ и томъ же *жизненномъ* пути съ будущими дѣятелями литературы и работать съ ними ради общихъ цѣлей—*литературнаго* прогресса.

Онъ, дѣйствительно, «въ дверяхъ» аудиторіи останавливалъ студента, проходилъ съ нимъ даже въ аудиторію, но дальше—пути профессора и студента расходились. Профессоръ шелъ въ свой ученый кабинетъ, а студенту предоставлялось собственными силами разбираться въ явленіяхъ *толпы* и *улицы*, точнѣе—общедоступной и тѣмъ болѣе настоятельной дѣйствительности.

Великая заслуга, конечно, *призывать* умы къ работѣ, да еще

на новомъ пути, но еще выше назначеніе всякаго учителя *совмѣстно работать* съ своими учениками, рука объ руку съ ними проходить весь намѣченный путь и нравственной чуткостью и умственной терпимостью устранить разстояніе, отдѣляющее одно поколѣніе отъ другого, и тѣмъ спасти юныхъ путниковъ отъ недоразумѣній и ошибокъ. Это единеніе и неразрывная преемственность культурной работы — высшій идеалъ всякаго прогресса, и онъ, повидимому, труднѣе всего осуществимъ въ русскомъ обществѣ. Не осуществился онъ и въ философскую эпоху.

Ея младшее поколѣніе, взявшее впослѣдствіи въ свои руки судьбу литературы и критики, осуждено было на самостоятельную работу именно въ важнѣйшей области практическаго примѣненія философскихъ идей. Мы должны помнить этотъ фактъ: онъ многое объяснитъ и, если потребуется, многое оправдаетъ.

XXXII.

При ближайшемъ, не идейномъ и историческоммъ, а *личномъ* сопоставленіи старыхъ русскихъ философовъ и молодыхъ, обрисовывается одна въ высшей степени любопытная черта.

Мы знаемъ, какъ и гдѣ напитывались философіей будущіе профессора, слышимъ даже о большой стремительности ихъ именно къ шеллингіанству, но намъ остается неизвѣстнымъ одинъ фактъ. Собственно для общей исторіи *философіи* онъ не имѣетъ большого значенія, но для характеристики *философовъ* и для точнаго представленія объ ихъ дѣятельности онъ безусловно необходимъ и поучителенъ, какъ никакая ученая книга.

Что влекло Велланскаго, Галича, Давыдова, Надеждина, Павлова къ системѣ Шеллинга?

Отвѣтовъ, конечно, можно представить не мало и вполнѣ основательныхъ: популярность системы, ея особыя достоинства. Но что собственно хватало за душу русскихъ студентовъ, слушавшихъ лекціи шеллингіанцевъ, читавшихъ сочиненія Шеллинга? Не было ли болѣе глубокаго *интимнаго* мотива предпочесть шеллингіанство другому ученію? Однимъ словомъ, не было ли именно въ этой философіи особенной нравственно притягательной силы для всѣхъ, кто искалъ истины?

Мы знаемъ, было очень многое. Мы видѣли, какими идеями шеллингіанство шло на встрѣчу тоскѣ своего времени и могло превратиться для своихъ учениковъ въ философскую религію.

Одинъ изъ слушателей Шеллинга намъ разсказываетъ случай, возможный только при дѣйствительно пророческомъ авторитетѣ учителя надъ учениками.

Въ Мюнхенѣ, въ одной изъ лекцій Шеллингъ жестоко напалъ на Гегеля, успѣвшаго уже стяжать европейскую славу. Философъ не поскупился ни на презрительную мимику, ни на унизительныя слова, и вся рѣчь вышла сопоставленіемъ его, шеллинговой, непогрѣшимой философіи съ «искусственной филигранной работой» Гегеля.

Аудиторія замерла отъ изумленія и восторга. Когда профессоръ кончилъ, студенты встали съ мѣстъ, и произошла бурная овація. Шеллингъ величественно поклонился и ушелъ походкой тріумфатора [77]).

Не существовало ли подобныхъ чувствъ и у русскихъ учениковъ германскаго философа,—чувствъ не по *разсудку*, а по *сердцу*?

Вѣдь отъ этого условія зависитъ энергія отвлеченной мысли и ея практическое направленіе. Ничто не дѣлаетъ умственнаго дѣятеля болѣе послѣдовательнымъ и чуткимъ, какъ *личный* энтузіазмъ во имя излюбленной идеи.

Былъ ли онъ у старшаго поколѣнія шеллингіанцевъ?

Врядъ ли. Мы много слышимъ о краснорѣчіи ученыхъ философовъ, но въ то же время или намъ прямо говорятъ объ ихъ «собственномъ безучастіи къ предмету», или мы сами должны предположить это безучастіе, встрѣчая на каждомъ шагу колебанія философа, будто оторопь предъ логическими выводами воспринятаго принципа и даже явное отступленіе отъ провозглашенной системы.

Въ біографіи единственнаго ученаго шеллингіанца мы находимъ живой отголосокъ любовнаго проникновеннаго чувства къ избранному философскому воззрѣнію. Легко угадать, кто этотъ философъ. Галичъ, при всѣхъ притязаніяхъ на недоступную толпѣ ученость, единственный изъ русскихъ ученыхъ философовъ обнаружилъ свободный публицистическій талантъ и даже нѣкоторые задатки художественной критики. Онъ именно и примыкаетъ къ молодому поколѣнію своеобразнымъ чувствительно-идейнымъ настроеніемъ.

Разъ одинъ изъ учениковъ Галича обратился къ нему съ такимъ запросомъ:

[77]) Karl Rosenkranz. *Schelling. Vorlesungen.* Danzig 1843, XXI.

— Скажите, Александръ Ивановичъ, можно ли сказать, что шеллингова философія рѣшаетъ удовлетворительно задачи, составляющія ея программу?

Галичъ улыбнулся своей иронической улыбкой и спросилъ у своего собесѣдника:

— А вы сами какъ думаете? Находите ее удовлетворительною?

— И такъ, и сякъ,—отвѣчалъ онъ.—Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ она меня удовлетворяетъ, въ другихъ нѣтъ.

— Ну, я поставлю вопросъ иначе: чувствуете ли вы, что вамъ съ нею нѣсколько лучше и вы сами, съ помощью ея, не сдѣлались ли немного лучшимъ?

— О, да!

— Ну, такъ и довольствуйтесь этимъ. Тотъ философскій образъ мыслей есть самый для насъ приличный, который наиболѣе содѣйствуетъ намъ къ достиженію мира съ самимъ собою и съ другими. Счастливъ тотъ, чьи убѣжденія ближе къ истинѣ, но безъ убѣжденій жить нельзя [78]).

Можетъ быть, профессору приходилось неоднократно высказывать этотъ взглядъ. Можетъ быть, именно благодаря такому *сердечному* толкованію отвлеченныхъ истинъ, Галичъ, опять одинъ изъ всѣхъ профессоровъ-шеллингіанцевъ, пріобрѣлъ, въ своихъ ученикахъ близкихъ, родныхъ друзей.

Когда надъ нимъ разразилось гоненіе, ученики немедленно пришли на помощь и съумѣли оказать ее любимому учителю въ такой формѣ, что Галичъ гордился своими обязательствами по отношенію къ молодежи.

«Отъ нихъ не стыдно принять помощь,—говорилъ онъ,—они мнѣ родные, насъ соединяетъ союзъ идей. И есть же въ идеяхъ какая-нибудь сила, когда вотъ и такой неискусный ловецъ, какъ я, уловляю ими сердца моихъ ближнихъ и становлюсь предметомъ ихъ любви и попеченій».

Да, сила была въ идеяхъ, и великая, и прочная, какой до философской эпохи не знало русское общество. Самыя понятія *идея*, *убѣжденія* явились во всемъ своемъ духовномъ величіи, облеченныя властью и чарующимъ свѣтомъ, только въ этотъ періодъ. При переходѣ изъ восемнадцатаго вѣка къ первой четверти девятнадцатаго мы попадаемъ будто въ другой міръ. Онъ не возникъ, конечно, изъ ничего: исторія не знаетъ чудесъ и внезапно-

[78]) Никитенко. *О. с.*, стр. 78.

стей. Даже величайшія катастрофы всегда связаны многочисленными нитями съ прошлымъ, спокойнымъ порядкомъ вещей. Русскіе философы имѣютъ своихъ духовныхъ отцовъ и свои преданія. Отцы—рѣдкія отдѣльныя личности, преданія—скромныя и часто печальныя, но это только лишней яркой чертой оттѣняетъ энергію дѣтей, отнюдь не устраняя исторической преемственности въ ихъ идеальныхъ стремленіяхъ и умственной работѣ.

Сами дѣятели философской эпохи вполнѣ сознаютъ свои отношенія къ прошлому русской образованности. Они извлекутъ изъ забвенія своихъ предшественниковъ, поспѣшатъ увѣнчать ихъ хотя бы запоздалыми лаврами и скорѣе готовы будутъ преувеличить ихъ заслуги, чѣмъ пренебречь ими.

Новиковъ явится на первомъ мѣстѣ.

«Память о немъ почти исчезла: участники его трудовъ разошлись, утонули въ темныхъ заботахъ частной дѣятельности, многихъ уже нѣтъ; но дѣло, ими совершенное, осталось: оно живетъ, оно приноситъ плоды и ищетъ благодарности потомства».

Такъ будетъ писать одинъ изъ представителей философскаго направленія и разъ навсегда точно и достойно опредѣлитъ культурное значеніе новиковской дѣятельности: «Новиковъ не распространилъ, а создалъ у насъ любовь къ чтенію» [79]).

Другой современникъ не согласится даже съ такой оцѣнкой, найдетъ ее несоотвѣтствующей дѣйствительному историческому положенію Новикова въ екатерининскую эпоху. Онъ не станетъ понижать заслугъ просвѣтителя, но посмотритъ на него не какъ на героя и исключительное обособленное явленіе, а какъ на выразителя цѣлаго теченія, перваго среди многихъ. Взглядъ въ высшей степени важный. Онъ показываетъ, какой ясный отчетъ люди двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ отдавали себѣ въ постепенномъ развитіи русской общественной мысли и на какой, слѣдовательно, твердой почвѣ стояли, защищая извѣстныя идеи.

Нашъ авторъ съ исторической точностью изобразитъ смыслъ старой аристократической образованности, исключительнаго достоянія знатныхъ русскихъ учениковъ Европы и совершенно посторонней для русскаго народа и даже русскаго общества въ широкомъ смыслѣ.

Существовали разныя высшія ученыя учрежденія и не было

---

[79]) Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ. Сочиненія* I. 20—21.

народныхъ школъ, и «когда въ высшемъ обществѣ нашемъ спорили о софистическихъ задачахъ Руссо и Гельвеція, мужики наши не имѣли понятія о необходимѣйшихъ житейскихъ отношеніяхъ. Высшія точки нашего общественнаго горизонта были освѣщены яркимъ пламенемъ европейской образованности, а низшія закрыты густымъ мракомъ вѣкового азіатства».

Такъ продолжалось съ реформы Петра, до самаго конца восемнадцатаго вѣка. Пропасть казалась непроходимой и именно люди, озаренные европейскимъ свѣтомъ, менѣе всего были расположены устранить ее, разсѣять мракъ азіатства въ народной средѣ. Вѣдь тогда могли бы поколебаться самыя основы благоденствія и тонкаго просвѣщенія «высшихъ точекъ!»

Слѣдовало народиться людямъ, не заинтересованнымъ въ народномъ невѣжествѣ, напротивъ, лично раздѣляющимъ невзгоды существующаго порядка.

Это и была *интеллигенція*, *средній классъ*, непричастный сословнымъ благамъ высшаго общества, но стоящій также и надъ народной массой и ея темнотой.

Это *третье сословіе* не въ западноевропейскомъ смыслѣ, это совершенно самобытное явленіе русской культуры, третье сословіе— не политическая сила, а исключительно умственная, точнѣе, просвѣтительная. Составъ его крайне разнообразный, постепенно мѣнявшійся въ зависимости отъ общихъ государственныхъ перемѣнъ.

Сначала то же дворянство, только не вельможное, дворянство мелкихъ чиновъ и скромныхъ служебныхъ карьеръ, потомъ «семинаристы», скоро стяжавшіе въ русскомъ обществѣ и въ литературѣ особую репутацію людей ученыхъ и педантовъ. По именемъ «семинариста» будутъ по привычкѣ преслѣдовать и такихъ «педантовъ», какъ Бѣлинскій: очевидно, въ семинаристѣ было нѣчто помимо затхлой учености и рабьяго школьнаго духа, былъ нѣкій *контрастъ* легкому, блестящему просвѣщенію господъ благороднаго домашняго воспитанія.

И этотъ контрастъ—дѣйствительное *знаніе* и самостоятельная *мысль*. Недаромъ, первоисточникомъ русской философіи явились именно семинаріи и ея первоучителями семинаристы въ буквальномъ смыслѣ.

Съ теченіемъ времени интеллигенція пріобрѣтала новыя силы и классическое наименованіе *разночинецъ*, внѣ табели о рангахъ, все больше и больше сливалось съ другимъ именемъ новѣйшаго *литературнаго* происхожденія, но большой *исторической* давности—

интеллигентъ. Реформы шестидесятыхъ годовъ закончили процессъ, но и до послѣднихъ дней можно еще нащупать старую пропасть между «высшими точками» и «средними людьми».

И вотъ этотъ-то процессъ ясно сознавался поколѣніемъ двадцатыхъ годовъ.

Московскій Телеграфъ, обозрѣвая путь русской образованности, писалъ:

«Около конца осьмнадцатаго столѣтія, не ближе—началъ образовываться у насъ классъ среднихъ людей между *бариномъ* и *мужикомъ* существъ, то-есть тѣхъ людей, которые вездѣ составляютъ истинную, прочную основу государствъ. Изъ среды сего-то класса вышелъ Новиковъ»...

Но онъ былъ не одинъ. Авторъ не желаетъ упустить ничьихъ заслугъ, не забываетъ даже вспомнить о немногихъ дѣйствительно просвѣщенныхъ меценатахъ, правда, не называя ихъ по именамъ:

«Не Новиковъ, а цѣлое общество людей благонамѣренныхъ, при подкрѣпленіи нѣкоторыхъ вельможъ, дѣйствовало на пользу насъ, ихъ потомковъ, распространяя просвѣщеніе. Новиковъ былъ только главнымъ дѣйствующимъ лицомъ».

Его заслуга, по мнѣнію *Телеграфа*, не въ изданіи нѣсколькихъ полезныхъ книгъ и не въ умноженіи читателей *Московскихъ Вѣдомостей*, она гораздо шире и глубже: Новиковъ «первый создалъ отдѣльный отъ свѣтскаго кругъ образованныхъ молодыхъ людей средняго состоянія».

Все значеніе Карамзина исчерпывается именно его связями съ этимъ кругомъ, тѣмъ, что онъ въ обществѣ Новикова получилъ начатки умственнаго развитія и даже литературнаго таланта. Не всѣ обладали этимъ талантомъ въ равной степени, но всѣ работали на одномъ пути и съ одинаковыми цѣлями.

«Они-то внесли образованность въ тотъ отдѣлъ нашего общества, гдѣ она производитъ многозначащіе, прочные успѣхи. Въ первый разъ сочиненіями Карамзина и распространеніемъ понятій, общихъ ему и сверстникамъ его, русскіе средняго состоянія стали сближаться съ литературою. Это было начальнымъ основаніемъ общей образованности нашей, и съ сего-то времени такъ-называемый *низшій кругъ людей* сталъ сближаться съ высшимъ, разрушивъ преграды, заслонявшія общество русское отъ академій и большаго свѣта» [80].

[80]) *Моск. Тел.* 1830, № 2, стр. 206—208.

Но Карамзинъ, литературный и журнальный органъ новиковскаго просвѣщенія, распространялъ понятія французскаго восемнадцатаго вѣка, только безъ его вольнодумства и безбожія. Онъ современникъ «стараго порядка», и за французскимъ горизонтомъ онъ не видитъ звѣздъ, или, по крайней мѣрѣ, не понимаетъ ихъ блеска и величины.

Въ *Письмахъ русскаго путешественника* онъ много толкуетъ о Кантѣ, о Гёте, но онъ, въ сущности, равнодушенъ къ нимъ: Гёте его занимаетъ преимущественно своей внѣшностью, а Кантъ—философской славой. Но въ чемъ смыслъ этой славы, Карамзинъ не понимаетъ и въ качествѣ свѣтскаго человѣка и француза, повидимому, и понимать не стремится.

«Домикъ у него маленькой», разсказывается о Кантѣ, «и внутри приборовъ немного. Все просто, кромѣ его метафизики».

Это странное слово освобождаетъ русскаго путешественника отъ всякаго безпокойства на счетъ нѣмецкой философіи. Его настроеніе вполнѣ подходитъ подъ извѣстное намъ изображеніе французскаго ума у г-жи Сталь. Карамзина гораздо больше интересуетъ Лафатеръ и его физіогномическія открытія, чѣмъ Кантъ и его «метафизика». Карамзинъ даже не дошелъ до азбучнаго представленія о философіи Канта, направленной именно противъ метафизики. Очевидно, для русскаго юноши это слово просто «жупелъ» и самъ философъ—курьёзъ или, самое большее, любопытная знаменитость.

Естественно, Карамзинъ спѣшитъ отмѣтить столь же знаменитаго соотечественника Канта, *не поклонника* кантовской метафизики.

Позднѣйшее поколѣніе отлично понимало смыслъ этихъ фактовъ. Карамзинъ «щеголеватый французъ душою», мало того, по природѣ даже не способный развиться до иного культурнаго идеала и до конца дней оставшійся въ предѣлахъ своихъ юношескихъ сочувствій [1]).

Раздвинуть ихъ съумѣлъ другой писатель, младшій современникъ Карамзина, искренній его почитатель, но по натурѣ совершенно на него непохожій.

Жуковскій—не по разсудочнымъ соображеніямъ, а по врожденнымъ влеченіямъ принялся за нѣмецкую поэзію, и мы указывали,

[1]) Н. Полевой. *Баллады и повѣсти В. А. Жуковскаго. Очерки русской литературы.* Спб. 1839, I, 104.

какое это имѣло значеніе для распространенія вообще германскихъ идей въ русскомъ обществѣ.

Но мы въ то же время объяснили, какъ ограниченъ въ сущности былъ романтизмъ русскаго поэта и какое незначительное мѣсто занималъ въ мечтательной и меланхолической поэзіи Жуковскаго первостепенный мотивъ новой европейской литературы и мысли—*національный*. А потомъ, и собственно идеи, т. е. философія, не нашли въ сердцѣ поэта сочувствія, и его современникамъ оставалось обширное поприще для изученія германскаго генія и для преобразованія отечественной литературы въ духѣ новаго умственнаго и художественнаго направленія.

Все это было ясно самимъ свидѣтелямъ литературной дѣятельности Жуковскаго. Тотъ же Полевой, отдавая полную справедливость таланту Жуковскаго, указывалъ на неподвижность этого таланта, на неизмѣнность поэтическихъ настроеній и мыслей Жуковскаго въ теченіе десятковъ лѣтъ. Не укрылось отъ критика и полное незнакомство поэта съ дѣйствительной русской народностью, и непониманіе западнаго романтизма во всемъ его художественномъ и идейномъ содержаніи.

«Поэтическая мечтательность» — все, что усвоилъ Жуковскій, въ сущности — нашелъ въ ней отвѣтъ на тоску своей души. Но это только одинъ изъ лучей романтическаго міра, другихъ поэтъ не распозналъ и не схватилъ. Онъ овладѣлъ лишь «первоначальной идеей міра не классическо-французскаго», и остался въ самомъ началѣ новаго пути.

Естественно, въ критикѣ Жуковскій не могъ создать ничего значительнаго въ томъ самомъ направленіи, какое представляла его поэзія. Не было сознательнаго проникновенія въ *идеи*, а только сочувственный откликъ на *вдохновеніе*, и романтизмъ и «германическій духъ» могли остаться мимолетными явленіями, если бы за нихъ не всталъ рядъ борцовъ *убѣжденныхъ* и *живущихъ убѣжденіями*.

Галичъ своей рѣчью о необходимости убѣжденій для самой жизни подчеркивалъ основную черту современнаго молодого поколѣнія, идейно-послѣдовательнаго и практически-преобразующаго.

Если человѣку «безъ убѣжденій жить нельзя», значитъ убѣжденія приходятъ не извнѣ, а ихъ жадно ищутъ, за нихъ отдаютъ свой покой, ради нихъ готовы на борьбу и растрату силъ.

Не со всѣми, конечно, осуществляется сполна этотъ законъ: часто борьба остается только душевной, незримой и, слѣдовательно, не вразумительной для общества. Но она непремѣнно существуетъ,

формы ея зависятъ отъ разныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ условій, характера и мужества личности. Мы увидимъ многообразные примѣры, и мыслителей-аристократовъ, не приспособленныхъ къ открытой людской сценѣ и теряющихся при первомъ столкновеніи ихъ идеальнаго духа съ «духомъ земли»... Но рядомъ съ ними явятся и настоящіе дѣлатели жизни, не отступающіе ни передъ шумомъ и пестротой толпы, ни передъ неудобствами боевой арены. Но и у тѣхъ, и у другихъ будетъ одно общее, дѣлающее ихъ родными по духу и превращающее силы отдѣльныхъ личностей въ великое движеніе эпохи: отвлеченная мысль, оживотворенная личнымъ горячимъ участіемъ, убѣжденіе, совпадающее съ вѣрой.

Это до такой степени типичныя, всѣмъ одинаково свойственныя черты, что *основы* міросозерцанія русскаго философскаго поколѣнія мы можемъ разбирать, не разбивая нашего разсужденія по отдѣльнымъ философамъ и ихъ произведеніямъ.

Единодушіе въ частностяхъ недостижимо: на этомъ настаивалъ еще Галичъ. Не было единодушія мыслителей и въ германской мысли какого бы то ни было направленія. Даже больше—не было неуклонной послѣдовательности въ собственномъ философствованіи Шеллинга. Но это не мѣшало существовать вполнѣ опредѣленнымъ *принципамъ* системы, для всѣхъ одинаково обязательнымъ.

Естественно, у каждаго изъ русскихъ шеллингіанцевъ, у Кирѣевскаго, Одоевскаго, Веневитинова явятся свои собственныя соображенія и выводы, особенно касательно практическаго приложенія философскихъ данныхъ. Но всѣ они и для себя самихъ, и для исторіи—исповѣдники одного толка и общественные просвѣтители во имя одного и того же идеала.

XXXIII.

Перечитывая воспоминанія, записки, сочиненія современниковъ философской эпохи, мы безпрестанно встрѣчаемся съ разсказами на одну и ту же тему, какъ въ былые годы молодежь увлекалась философскими спорами, сколько страсти и увлеченія вносила въ рѣшеніе вопросовъ, повидимому, совершенно безстрастнаго и неличнаго характера. Азартъ начался съ Фихте и Шеллинга и во всей полнотѣ и свѣжести перешелъ на гегельянство.

Много обыкновенно говорятъ о русскомъ равнодушіи, нелюбопытствѣ, безъидейности русской жизни, а вотъ предъ нами сцены часто умилительной наивности, самаго подлиннаго донкихотства

и въ то же время сцены, преисполненныя напряженной мысли и безкорыстнѣйшаго увлеченія надеждами на личное и общественное совершенствованіе.

Слово философія для этихъ людей заключаетъ въ себѣ «нѣчто магическое». Оно говоритъ будто о невѣдомомъ, только что открытомъ мірѣ, зажигаетъ жажду проникнуть въ его тайны, заставляетъ читателей набрасываться на самыя невразумительныя и запутанныя книги только потому, что въ нихъ идетъ рѣчь о нѣмецкомъ «любомудріи» [82]).

Спорамъ и разговорамъ нѣтъ конца. Они завязываются всюду, при малѣйшемъ поводѣ, въ университетской аудиторіи, въ квартирѣ товарища, даже на улицѣ при разставаньи юные философы не могутъ окончить бесѣды и способны «всполошить всю улицу» [83]).

Ни тяжкая болѣзнь, ни даже приближеніе конца не угашаетъ священнаго огня. Друзья приходятъ къ больному, проводятъ цѣлые дни у его постели, но философія не сходитъ со сцены, и, можетъ быть, именно печальное зрѣлище недуга и грядущей смерти еще выше поднимаетъ стремительность юношей къ «задачамъ, коихъ разрѣшеніе скрывается въ глубинѣ таинственныхъ стихій, образующихъ и связующихъ жизнь духовную и жизнь вещественную» [84]). И авторъ этихъ строкъ даетъ подлинное изображеніе нравственной природы своихъ сверстниковъ, изображая неотразимость и неизмѣнность «сего стремленія»:

«Ничто не останавливаетъ его, ни житейскія печали и радости, ни мятежная дѣятельность, ни смиренное созерцаніе; сіе стремленіе столь постоянно, что иногда, кажется, оно происходитъ независимо отъ воли человѣка, подобно физическимъ отправленіямъ».

Никакія историческія перемѣны и перевороты не устраняютъ его. Все исчезнетъ—нравы, идеи, привычки, а «чудная задача всплываетъ надъ усопшимъ міромъ». Часто осмѣянная, развѣнчанная сомнѣніями, она у новыхъ поколѣній опять находитъ страстное сочувствіе и снова съ прежней силой волнуетъ умы.

И не только умы избранныхъ, оставляющихъ прочный слѣдъ въ умственномъ движеніи эпохи. Великіе вопросы захватываютъ

---

[82]) Кирѣевскій, въ ст. о кн. Надеждина *Опытъ науки философіи*. «Москвитянинъ» 1845, кн. II, отд. *Библіографія*, стр. 33 etc., подписано *К*.

[83]) Одоевскій. *Русскія ночи*. *Сочиненія*. Спб. 1844, II, 10.

[84]) Такъ происходило во время предсмертной болѣзни Веневитинова. *Воспоминанія* Кошелева. Колюпановъ. *О. с.* II, 120. Одоевскій. *Сочин.* II, III—IV.

людей обыкновенныхъ, среднихъ способностей, и именно они своимъ большинствомъ еще ярче окрашиваютъ извѣстнымъ идейнымъ цвѣтомъ цѣлую эпоху.

Намъ описываютъ не только блестящія сраженія первостепенныхъ талантовъ, философскій бой идетъ по всей линіи молодежи тридцатыхъ годовъ. Кирѣевскій находитъ достойнаго соперника въ лицѣ будущаго дерптскаго профессора Розберга, отнюдь не блестящаго и многоученаго, но сильнаго общей силой времени, ловкаго діалектика въ популярныхъ философскихъ темахъ и неутомимаго подъ вліяніемъ всеобщаго увлеченія.

Очевидецъ разсказываетъ:

«Помню, что разъ, какъ-то вечеромъ, завязался споръ, не кончившійся до глубокой ночи, и, чтобы окончить его, согласились собраться на другой день у Кирѣевскаго. На другой день явились тамъ всѣ спорившіе, но жаркое состязаніе длилось, наконецъ, до того, что, наконецъ, Розбергъ, усталый, утомленный, перемѣнившійся въ лицѣ отъ двухъ-дневнаго спора, съ глубокимъ убѣжденіемъ и очень торжественно произнесъ:

— Я не согласенъ, но спорить больше нѣтъ силъ у меня» [85]).

Увлеченіе не минуетъ людей съ совершенно положительнымъ практическимъ направленіемъ. Именно это направленіе и окрылитъ современныхъ ловителей момента, сообщитъ ихъ дѣятельности возвышенный идейный характеръ, и достаточно обладать извѣстной культурностью натуры, общественными инстинктами, чтобы въ это столь фанатически-философствующее время превратиться въ серьезнаго работника на пути просвѣщенія и прогресса.

Именно это произошло съ Николаемъ Алексѣевичемъ Полевымъ. Впослѣдствіи мы подробно оцѣнимъ его литературныя заслуги, пока намъ достаточно указать въ немъ одного изъ любопытнѣйшихъ витязей новаго умственнаго движенія.

Полевой явился въ Москву съ большимъ запасомъ энергіи, съ наслѣдственными практическими талантами купеческаго сына, съ рѣшительнымъ желаніемъ пробить себѣ видную и не заурядную дорогу не въ коммерческомъ мірѣ, а въ высшей интеллигенціи.

Очевидно, подобный человѣкъ — наилучшій пробный камень своей современности, точный показатель ея духовныхъ нуждъ и стремленій. И Полевой на первыхъ же порахъ принимается за философію, за шеллингіанство.

[85]) Ксеноф. Полевой. *О. с.*, 154.

У него нѣтъ школьной подготовки, онъ самоучка, и если впослѣдствіи Бѣлинскому придется довольно окольными путями доходить до гегельянства, — для Полевого задача еще болѣе усложняется.

Но она должна быть разрѣшена во что бы то ни стало, даже если журналистъ разсчитываетъ на самую обыкновенную публику, просто на подписчиковъ и читателей своего изданія.

Разсчеты Полевого вполнѣ практичны и основательны. Онъ ихъ и не скрываетъ ни отъ кого, разъясняетъ въ своемъ журналѣ, твердо убѣжденный въ ихъ достоинствѣ и цѣлесообразности.

По его мнѣнію, въ журнальной дѣятельности «главное сыскать скользскую дорожку, которая вьется между излишнею важностью и ничтожною легкостью», не душить читателя длинными сухими статьями, списанными съ огромныхъ книгъ [86]). Удобочитаемость, общедоступность, новизна и свѣжесть содержанія — идеалъ журнальнаго писателя.

Легко оцѣнить, какая честь будетъ оказана философіи, если на нее обратитъ вниманіе такой искусный и дѣятельный работникъ литературы. Это значитъ, внѣ философіи буквально нѣтъ спасенія, какъ бы публика ни любила «легкія какъ пухъ книжечки».

И Полевой быстро превращается въ усерднѣйшаго шеллингіанца.

Усердіе, повидимому, практикуется исключительно въ бесѣдахъ съ людьми свѣдущими, пріятелями и даже случайными знакомыми. Эта стремительность вызоветъ насмѣшки многихъ очевидцевъ и въ томъ числѣ Пушкина [87]). Журналисты будутъ укорять издателя *Телеграфа* въ «неясномъ безпокойствѣ объ одномъ всеобщемъ началѣ», въ «безотчетномъ желаніи дать во всемъ себѣ отчетъ», «въ безсильномъ стремленіи къ неопредѣленнымъ общимъ идеямъ, въ какой-то міръ пустоты абсолютной, проистекающемъ не изъ внутренняго убѣжденія, не отъ богатства силъ и знаній, не отъ чтенія идеалистовъ-философовъ, но пріобрѣтенномъ по невѣрнымъ слухамъ о германскихъ теоріяхъ» [88]).

Мы увидимъ, насколько справедливы эти обвиненія и до какой степени серьезно Полевой успѣлъ ознакомиться съ современ-

[86]) *Моск. Телеграфъ*. 1825, I.

[87]) Дѣтскія сказки. *Вѣтреный мальчикъ*. Сочин. V, 107.

[88]) *Московскій Вѣстникъ*, 1828 г., ср. Весинъ. *Очерки исторіи русской журналистики*. Спб. 1881, стр. 101.

ными идеями, необходимыми для его критики и публицистики. Для насъ важенъ фактъ, свидѣтельствующій о нетерпѣливой жаждѣ популярнѣйшаго журналиста — познать тайны германскаго любомудрія.

Изъ источника, безусловно благосклоннаго къ Полевому, мы узнаемъ, какъ ловились эти тайны на лету, брались приступомъ съ одного натиска, будто единственное спасеніе для ума и сердца.

Напримѣръ, любопытенъ путь, какимъ шеллингіанство дошло до Полевого. У извѣстнаго намъ проф. Павлова былъ сослуживецъ по земледѣльческой школѣ Андросовъ. Онъ, постоянно встрѣчаясь съ Павловымъ, увлекся философіей Шеллинга. Съ нимъ познакомился Полевой, и въ результатѣ новый прозелитъ. Полевой жадно набросился на новыя для него идеи, по обыкновенію, слѣдовали цѣлые вечера споровъ и этого довольно для «воспріимчиваго» слушателя. «Онъ усвоилъ себѣ нѣкоторыя идеи трансцедентальной философіи, — прибавляетъ разсказчикъ, — сталъ читать книги, написанныя въ духѣ ея, и былъ уже приверженцемъ новыхъ взглядовъ, когда судьба сблизила его со многими молодыми людьми, изучавшими нѣмецкую философію» [89]).

Эта простая исторія можетъ считаться типичной. Весьма многіе современники философской эпохи именно такимъ путемъ превращались въ философовъ и горячихъ распространителей философіи.

Если извѣстное міросозерцаніе можно усвоить помимо книгъ и лекцій, — явное доказательство, что оно само превратилось въ общественную школу, овладѣло не только умами, но самой жизнью наиболѣе развитыхъ людей и стало насущной духовной пищей цѣлаго поколѣнія.

Это превращеніе и совершалось съ шеллингіанствомъ. Оно переполняло атмосферу двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ и неизмѣнно встрѣчало каждаго ученаго и литературнаго дѣятеля въ самомъ началѣ его пути.

Впослѣдствіи гегельянство станетъ рядомъ съ философіей Шеллинга, успѣетъ вытѣснить ее изъ оборота русской молодежи, но та же напряженность философскихъ страстей останется во всей неприкосновенности, пожалуй, даже усилится. Гегель на нѣкоторое время займетъ положеніе непогрѣшимаго учителя и найдетъ послѣдователей среди даровитѣйшихъ русскихъ искателей истины.

---

[89]) Кс. Полевой. 89.

Это будетъ новой волной стараго теченія, и съ нею отнюдь не изсякнетъ самый потокъ. Гегеля смѣнятъ другіе, менѣе властные вожди русскихъ молодыхъ поколѣній, но и имъ будутъ принесены обильныя жертвы чисто-ученическаго энтузіазма, часто даже болѣе беззавѣтнаго, въ честь Конта или Бокля, чѣмъ раньше—Шеллинга и Гегеля.

Слѣдовательно, молодые русскіе шеллингіанцы въ полномъ смыслѣ родоначальники великаго періода въ исторіи русскаго просвѣщенія. Къ нимъ, увлекающимся и юнымъ, вполнѣ приложима патріотическая мысль Леопарди, обѣщавшаго «патріархамъ» своей родины вѣчную хвалу «дѣтей».

Наши «патріархи» часто далеко не доживали до внушительнаго возраста, преждевременная смерть полагала конецъ блестящимъ надеждамъ друзей такихъ людей, какъ Веневитиновъ, Станкевичъ, и наименованіе «патріарховъ» можетъ произвести на насъ впечатлѣніе грустной ироніи. Но дѣло не въ продолжительности жизненнаго пути: на этотъ счетъ судьба русскихъ писателей извѣстна своей безжалостностью, а въ его нравственномъ значеніи и изумительной содержательности.

Эти люди умѣли очень рано *начинать* и многое *передумать* уже въ тѣ годы, когда для иныхъ поколѣній едва одолима школьная наука и часто совершенно непреодолима душевная истома и умственный холодъ — плоды этой науки. Умѣть не учиться, а учить себя, не «получать образованіе», а искать и находить его, не «удовлетворять требованіямъ современнаго просвѣщенія», а ставить ихъ,—вотъ въ чемъ существенная разница философскаго поколѣнія отъ его предшественниковъ и преемниковъ. Она коренится на совершенно опредѣленной нравственной почвѣ, составлявшей, повидимому, исключительный завидный удѣлъ философской эпохи. Ее объяснили сами же молодые философы: это невольное и непреодолимое стремленіе, будто физическое отправленіе, разрѣшить высшія задачи личной и общественной жизни.

XXXIV.

Шеллингіанство, по своему составу какъ нельзя болѣе приспособлено стать философіей молодости. Въ немъ столько поэзіи, столько задачъ воображенію и творчеству, такой неисчерпаемый запасъ величественныхъ идей и увлекательнѣйшихъ перспективъ, что самое поверхностное знакомство съ системой можетъ сообщить

сильнѣйшее возбужденіе всѣмъ духовнымъ силамъ отзывчивой юношеской натуры.

Такъ происходило съ русскими шеллингіанцами.

Первыя начала «любомудрія» они пріобрѣтаютъ еще въ школѣ или даже во время домашняго воспитанія.

Главной философской школой въ Москвѣ является не университетъ, а университетскій благородный пансіонъ. Здѣсь жизнь и ученье отличались гораздо большей свободой, чѣмъ въ университетѣ, воспитатели и профессора тѣснѣе сживались съ воспитанниками, вносили въ свои занятія больше личнаго интереса и идейнаго содержанія, чѣмъ въ университетскія лекціи.

Въ этомъ отношеніи пансіонъ занималъ привилегированное и въ высшей степени выгодное положеніе. Въ его стѣнахъ даже такіе сановитые подвижники оффиціальной учености, какъ Давыдовъ, превращались въ гуманныхъ и разумныхъ руководителей юношества.

Собственно всѣ сочувственныя извѣстія о Давыдовѣ связаны съ его пансіонской дѣятельностью. Онъ давалъ воспитанникамъ читать книги, бесѣдовалъ съ ними, даже издавалъ ихъ рѣчи и стихотворенія въ особомъ пансіонскомъ альманахѣ, знакомилъ молодежь съ философіей и шеллингіанствомъ.

Эти факты показываютъ, на какой путь могла бы направиться и университетская служба Давыдова, если бы внѣшнія силы не помогли превратиться ему въ *чиновника* и компилятора.

Во всякомъ случаѣ, пансіонеры многимъ были обязаны Давыдову, и именно въ литературномъ развитіи. Въ пансіонѣ происходили засѣданія Общества любителей россійской словесности, его предсѣдатель, Прокоповичъ-Антонскій, состоялъ въ тоже время директоромъ пансіона, человѣкъ добрый, сердечный, религіозно-мечтательный и даже мистикъ, но истинный другъ юношества. Давыдовъ одно время исполнялъ должность инспектора, и во главѣ съ этими двумя руководителями пансіонъ преуспѣвалъ. Съ 1821 г. къ нимъ присоединился Павловъ, и въ пансіонѣ окончательно водворилась философія.

До какой степени лекціи Павлова воздѣйствовали на слушателей, показываетъ произведеніе одного изъ пансіонеровъ, кн. Одоевскаго.

Автору было всего девятнадцать лѣтъ, и онъ призвалъ всю силу юношескаго увлеченія для прославленія философіи. Она, что солнце среди планетъ, источникъ свѣта для всѣхъ наукъ. Она—единственное средство опредѣлить вѣрность или ошибочность на-

шихъ идей. Она одинаково необходима и полезна и въ политической жизни, и въ частной, и въ семейной [90]).

Эти мысли могли быть непосредственнымъ отраженіемъ лекцій Павлова. Но одновременно у пансіонеровъ существовалъ другой, не менѣе глубокій интересъ. Общество словесности дѣйствовало на ихъ глазахъ, они привлекались къ живому участію въ его засѣданіяхъ и между собой, подъ руководствомъ Давыдова, составляли свои собранія.

Естественно, русскій языкъ и русская литература заняли первенствующее мѣсто въ пансіонскомъ образованіи. Начальство поощряло самостоятельную дѣятельность воспитанниковъ, давало имъ темы для публичныхъ рѣчей, печатало эти рѣчи. Пансіонеры жили въ литературной атмосферѣ, лично безпрестанно сталкиваясь съ представителями современной науки и словесности.

Болѣе цѣлесообразной школы для подготовленія будущихъ литературныхъ дѣятелей трудно и представить, и кн. Одоевскій всецѣло обязанъ пансіону своими авторскими стремленіями

По выходѣ изъ пансіона, столь тщательно развитыя наклонности не могли заглохнуть. Общія сочувствія невольно единили молодежь, нашелся и человѣкъ, какъ нельзя болѣе способный быть центромъ единенія.

Раичъ, сохранившій въ исторіи литературы извѣстность какъ переводчикъ *Освобожденнаго Іерусалима*, лѣтами былъ много старше университетской молодежи, но душой стоял[illegible] одномъ уровнѣ съ ея идеалистическими стремленіями, може[illegible]ть, даже многихъ превосходилъ отрѣшенной мечтательной поэтичностью натуры. Современники называютъ Раича поэтомъ-младенцемъ, добродушнѣйшимъ человѣкомъ, безкорыстнымъ, чистымъ, олицетворенной буколикой. Страстная преданность литературѣ соединялась въ немъ съ серьезной ученостью [91]). Лучшаго объединителя молодежь не могла желать.

Въ кружкѣ съ самаго начала встрѣчаются имена съ будущей громкой литературной извѣстностью: кн. Одоевскій, братья Кирѣевскіе, Полевой, Погодинъ, кн. Вяземскій, Веневитиновъ, Кюхельбекеръ. Цѣли преслѣдовались исключительно литературныя. Общество собиралось по два раза въ недѣлю и члены читали свои произведенія и переводы. Общество выпустило нѣсколько альма-

---

[90]) Сумцовъ. *Кн. В. Ѳ. Одоевскій.* Харьковъ. 1884, стр. 5.

[91]) Барсуковъ, I, 161—2.

наховъ съ избранными стихотвореніями современныхъ поэтовъ, и естественно напало на мысль объ изданіи журнала.

Какіе же планы представлялись начинающимъ писателямъ и во имя какихъ идей они готовились выступить на путь публицистики, столь неблагодарный и многотрудный въ ихъ время?

Мы знаемъ, какъ Полевому рисовалась дѣятельность журналиста и въ чемъ издатель *Телеграфа* полагалъ свои нравственныя обязанности и общественное просвѣщеніе. Основная цѣль — доступность и свѣжесть мыслей и фактовъ, популяризація въ совершеннѣйшемъ смыслѣ слова. Журналистъ долженъ вмѣшаться въ толпу, приноровиться къ ея пониманію и языку, потому что его идеалъ—быть понятымъ и создать своей дѣятельностью не избранный кружокъ сочувственниковъ, а публику, аудиторію, охватывающую, по возможности, всѣхъ читателей.

И мы увидимъ, съ какимъ успѣхомъ Полевой достигъ своей цѣли.

Его журналъ не только не открещивался отъ философіи, но, напротивъ, полагалъ ее въ основу своей критики. Съ самаго начала изданія журналъ переполненъ шеллингіанскими идеями, но предлагались онѣ публикѣ въ самыхъ изящныхъ и привлекательныхъ уборахъ: ни бойкость пера, ни ясность мысли не измѣняли писателямъ *Телеграфа*, все равно, описывали они моды или вводили читателя въ таинство абсолюта.

Въ результатѣ выходило очень искусное практическое и въ то же время безусловно литературное предпріятіе. Полевой обнаружилъ истинный талантъ общественнаго дѣятеля совершенно исключительнымъ умѣньемъ слить культурныя задачи журналистики съ ея широкимъ вліяніемъ. И мы раздѣляемъ похвалу хотя бы очень заинтересованнаго лица политикѣ *Телеграфа*: его философія «незамѣтно усвоивалась читающей публикой» [92]).

Нѣчто другое на томъ же пути произошло съ молодыми современниками Полевого и его сотоварищами по кружку Раича.

Полевой, при столь ловкомъ приложеніи своихъ не особенно глубокихъ и обширныхъ философскихъ познаній, сохранилъ большой запасъ сдержанности и трезвости въ увлеченіяхъ шеллингіанствомъ. Онъ ни на минуту не питалъ намѣренія журналъ свой сдѣлать исключительнымъ органомъ нѣмецкой философіи и душу свою положить за «любомудріе». Онъ съумѣлъ удержаться на

[92]) Ксеноф. Полевой, 158.

срединѣ между простой эксплуатаціей модныхъ идей и беззавѣтной рыцарской преданностью имъ. Недаромъ, говорятъ, его любимымъ присловіемъ была французская фраза, означавшая: «это сообразно съ обстоятельствами», «это глядя по дѣлу»... Большой секретъ уловить *относительное* значеніе вопроса въ кругу другихъ и разрѣшать его въ данномъ направленіи!

Полевой именно такъ воспользовался философіей.

«Журнальная смѣтливость издателя», говоритъ его ближайшій сотрудникъ была такова, «что онъ никогда не увлекался въ однообразное направленіе всегда имѣя въ виду общность своихъ читателей» [93]).

Товарищи Полевого также выступили впослѣдствіи на поприще издателей, и не имѣли тѣни успѣха сравнительно съ Полевымъ.

Дѣло объясняется просто, изъ *психологіи* философскихъ увлеченій издателя *Телеграфа* и его конкуррентовъ.

Прежде всего, даровитѣйшіе изъ нихъ—Одоевскій, Кирѣевскій, Веневитиновъ—по происхожденію благородные юноши, изящнаго и даже тонкаго воспитанія, въ высшей степени культурные и просвѣщенные, но въ такой же степени удаленные отъ *дѣйствительности* и *толпы*.

Эти два термина для двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, и даже позже, въ полномъ смыслѣ техническіе, означаютъ особый міръ, противоположный другому,—не дѣйствительности и не толпы, міру идей и исключительныхъ существъ, міру философіи и поэзіи.

Мы очень часто можемъ слышать отъ молодыхъ шеллингіанцевъ слова дѣйствительность, народъ, но мы не должны поддаваться сладкимъ звукамъ. Мы должны помнить, дѣйствительность имѣетъ многообразныя значенія, и впослѣдствіи, въ періодъ гегельянства, именно это понятіе принесетъ величайшія бѣдствія русской критикѣ.

Вопросъ, что̀ разумѣть подъ дѣйствительностью? Вѣдь, и профессора-шеллингіанцы, въ родѣ Галича и Надеждина, твердили о ней, и это не помѣшало одному гордо парить въ заоблачныхъ высотахъ «изящнаго», а другому — уничтожать какъ разъ самыя дѣйствительныя произведенія отечественной поэзіи и возмущаться ихъ излишней близостью къ землѣ.

То же самое понятія народъ, нація.

Эти слова съ большимъ эффектомъ произносились еще Карамзинымъ, ихъ постоянно повторяли теоретики романтизма, и тотъ

[93]) *Ib.*, 157.

же Надеждинъ въ основу литературнаго прогресса полагалъ, между прочимъ, *народность*.

Но мы знаемъ, чего стоило народолюбіе чувствительныхъ сочинителей, видѣли также, до какихъ предѣловъ доходило народничество московскаго профессора. Онъ все-таки аристократъ книги и кабинета, онъ для себя самого единственно взрослый и *сознательно-творящій* человѣкъ, а народъ—лепечущій младенецъ или даже свистящій соловей.

Молодые шеллингіанцы будутъ одарены слишкомъ развитымъ художественнымъ чувствомъ, органической и принципіальной гуманностью,—они уйдутъ далеко сравнительно съ профессорами въ идеяхъ о дѣйствительности и народѣ. Но это будетъ преимущественно *теоретическое* движеніе.

Наши философы, въ ближайшихъ своихъ намѣреніяхъ, живо напомнятъ намъ «старенькихъ романтиковъ» Тургенева.

Они вполнѣ искренно стремились и сближаться съ народомъ, и благодѣтельствовать ему, принимались даже за предпріятія на пользу народа по самымъ послѣднимъ словамъ науки, и результаты далеко не соотвѣтствовали ни планамъ, ни дѣламъ. И вы помните, въ какое траги-комическое положеніе попадаетъ Павелъ Кирсановъ съ своими фермами и комитетами.

Такой неистощимый запасъ доброй воли, такая бездна благороднѣйшихъ идей и такіе жестокіе уроки дѣйствительности!

Очевидно, нѣтъ,—въ самой природѣ романтиковъ нѣтъ силъ одолѣть эту дѣйствительность, потому что отвлеченныя идеи о ней не стоятъ на уровнѣ съ ея жизненнымъ смысломъ.

Эти замѣчанія потребуются намъ на каждомъ шагу при точной оцѣнкѣ философскихъ и критическихъ идей русскихъ шеллингіанцевъ, и въ результатѣ, рядомъ съ великими заслугами, предъ нами откроется и великій изъянъ. Мы поймемъ, на сколько для Полевого оказалось цѣлесообразнѣе быть меньше философомъ и больше публицистомъ, а Пушкину даже мало интересоваться теоріями и слѣдовать внушеніямъ своей творческой природы—запускать руку въ самую подлинную дѣйствительность и класть на свои картины самые яркіе фламандскіе штрихи.

XXXV.

«Въ началѣ XIX вѣка Шеллингъ былъ тѣмъ же, чѣмъ Христофоръ Колумбъ въ XV. Онъ открылъ человѣку неизвѣстную

часть его міра, о которой существовали только какія-то баснословныя преданія—*его душу*».

Таковъ смыслъ шеллингіанства, по мнѣнію Одоевскаго [94]). Мы знаемъ, то же самое писала Сталь о всей германской философіи. Если русскій философъ приписываетъ заслугу только Шеллингу, очевидно, это плодъ исключительнаго увлеченія извѣстной системой.

И тотъ же Одоевскій объясняетъ, почему Шеллингъ удостоился привилегіи.

«Для счастья человѣка необходимо одно: свѣтлая, обширная аксіома, которая обняла бы все и спасла бы его отъ муки сомнѣнія: ему нуженъ свѣтъ незаходимый и неугасаемый, живой центръ для всѣхъ предметовъ, словомъ, ему нужна истина, но истина полная, безусловная».

Авторъ отличительной чертой своего времени считаетъ «желаніе выйти изъ скептицизма, чему-либо вѣрить».

И предметъ вѣры, несомнѣнно, существуетъ. «Потребность свѣтлой истины свидѣтельствуетъ о существованіи сей истины». Даже больше. Сомнѣнія противны человѣческой природѣ, именно вѣра, истина, аксіома—не только возможны, но законны и естественно необходимы.

Но истина недостижима для наукъ и особенно для современныхъ, разрозненныхъ, мелочныхъ, сплошь скептическихъ. Вѣрный путь указанъ Шеллингомъ, и русскій авторъ, объясняя идеи германскаго философа, почти буквально повторяетъ упомянутое нами выше разсужденіе Платона о совершенномъ знаніи, превосходящемъ даже математику. Она связана съ чертежами, т. е. внѣшними явленіями, а совершенное знаніе должно достигаться *внутреннимъ* путемъ, у Платона—діалектическимъ, у Шеллинга—созерцательнымъ.

Шеллингъ, по мнѣнію Одоевскаго, поставилъ задачу всему девятнадцатому вѣку, и разработка этой задачи «должна наложить на него характеристическую печать, и гораздо вѣрнѣе выразить его внутреннее значеніе въ эпохахъ міра, нежели всѣ возможные паровики, винты, колеса и другія индустріальныя игрушки».

Сравненіе въ высшей степени краснорѣчивое, когда мы дальше узнаемъ смыслъ задачи. Практическая дѣятельность вѣка въ глазахъ русскаго шеллингіанца блѣднѣетъ предъ отвлеченнымъ вопросомъ и притомъ не разсудочнымъ и не логическимъ, а неуловимымъ и таинственнымъ.

[94]) *Сочиненія.* I, 15.

Шеллингъ «отличилъ безусловное, самобытное, свободное самовоззрѣніе души отъ того воззрѣнія души, которое подчиняется, напримѣръ, математическимъ, уже *построеннымъ* фигурамъ: онъ призналъ *основу всей философіи во внутреннемъ чувствѣ*, онъ назвалъ первымъ знаніемъ знаніе того акта нашей души, когда она обращается на самую себя и есть вмѣстѣ и предметъ, и зритель».

Эта дѣятельность можетъ быть возбуждена отнюдь не логическимъ путемъ, не при помощи силлогизма или факта, потому что силлогизмомъ можно *доказать*, но не *увѣрить*.

Обратите вниманіе на это точное различіе: доказательство не есть увѣренность и научная истина не есть истина, достойная вѣры. Къ такой истинѣ единственный путь — *эстетическій*, т. е. *вдохновеніе* [95]).

Во всѣхъ этихъ разсужденіяхъ для насъ ничего нѣтъ новаго, и Одоевскій самъ приводитъ цитаты изъ сочиненій Шеллинга.

Любопытно другое: русскій шеллингіанецъ съ восторгомъ идетъ за учителемъ и, признавъ эстетическую способность высшей, впадаетъ въ самый подлинный *символизмъ*.

Слово получило громкую популярность только въ наше время, но всѣ данныя для символической теоріи искусства заключались въ романтизмѣ и шеллингіанствѣ, именно въ ихъ общей идеализаціи творчества, какъ откровенія совершенныхъ истинъ.

Отсюда послѣдовательно вытекаетъ, во-первыхъ, крайне выспреннее представленіе объ избранникахъ, обладающихъ даромъ творчества, а потомъ—благоговѣйное отношеніе къ самому творчеству.

Вся философская литература тридцатыхъ годовъ переполнена апоѳеозами поэта, поэтическаго таланта, геніальной личности. А такъ какъ всякій апоѳеозъ, естественно, требуетъ контраста для своего блеска, этимъ контрастомъ явится толпа, будничная дѣйствительность, и аристократическое настроеніе проникнетъ въ литературную дѣятельность именно тѣхъ благородныхъ юношей, которые менѣе всего способны были питать сословные предразсудки по происхожденію и страдать цеховой нетерпимостью—по своей учености.

Веневитиновъ, краснорѣчивѣйшій ораторъ философскаго кружка, очень ярко выразилъ ходячее понятіе своихъ сверстниковъ о поэтѣ въ слѣдующемъ стихотвореніи:

---

[95]) *Ib.* I, 283 etc.

О, если встрѣтишь ты *его*
Съ раздумьемъ на челѣ суровомъ,
Пройди безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ тихихъ сновъ;
Взгляни съ слезой благоговѣнья
И молви: это сынъ боговъ,
Любимецъ музъ и вдохновенья.

Другіе поэты не отставали отъ Веневитинова въ усердіи возвеличивать свое назначеніе среди смертныхъ и даже безсмертныхъ. Насъ безпрестанно увѣряютъ во всемогуществѣ поэтическаго таланта, въ родствѣ поэта съ ангелами, звуки лиры отожествляются съ перунами Зевса, а чародѣй, ихъ извлекающій — имѣетъ свободный доступъ къ тайнамъ ада и рая.

Журналы печатаютъ статьи *О достоинствѣ поэта*, студенты, съ одобренія профессоровъ, говорятъ рѣчи на тѣ же темы съ университетской каѳедры въ присутствіи высшаго начальства [96]).

Можно ли, послѣ этого, укорять Пушкина, если онъ—дѣйствительный поэтъ цѣлой эпохи — заявитъ о преимуществахъ поэта надъ толпой? Пушкинъ могъ имѣть безчисленные поводы къ личному гнѣву на современную ему толпу—и читателей, и болѣе всего критиковъ. Но и безъ этого гнѣва онъ имѣлъ право въ *своей* поэзіи дать мѣсто идеѣ, считавшейся философской общепризнанной истиной.

Но разъ поэзія не только литература, а своего рода божественное откровеніе, она далеко не всегда можетъ быть доступной, понятной во всей своей глубинѣ, т. е. не всегда можетъ найти соотвѣтствующую форму. Все равно, какъ не научный опытъ даетъ истину, а только созерцаніе, такъ и слова не въ силахъ выразить идеи, а только развѣ намекнуть на нее, навести на мысль, но отнюдь не представить ее во всей полнотѣ и точности.

Душа невыразима рѣчью, и Одоевскій ссылается на Бетховена. Геніальный музыкантъ сѣтовалъ, что онъ никогда не могъ передать бумагѣ своихъ чувствъ и своего воображенія. Онъ въ исполненіи своей музыки слышалъ не то, что чувствовалъ, даже не то, что написалъ.

То же самое творческія идеи: онѣ никогда не могутъ быть переданы словами.

Каждая рѣчь обманъ и для насъ, и для нашихъ собесѣдниковъ. Каждому слову мы прибавляемъ понятіе, не выражаемое сло-

[96]) Ср. Весинъ, 176. Прозоровъ. *О. с.*, стр. 13.

вами и созданное не внѣшнимъ предметомъ, а «самобытно и безусловно исшедшее изъ нашего духа». Единственная возможность для двухъ даже единомышленныхъ людей понять другъ друга— «говорить искренно и отъ полноты душевной». Надо, такъ сказать, взаимно сблизить души, установить связь безсознательную, непосредственную, и тогда идеи собственно будутъ не выясняться, а внушаться, не передаваться, а инстинктивно восприниматься.

Въ бесѣдѣ можетъ не быть видимой логической связи и стройности, а между тѣмъ именно этотъ процессъ передачи идей и будетъ самымъ цѣлесообразнымъ. Мы его должны имѣть въ виду, особенно при объясненіи философическихъ понятій: они, выраженныя словами, простые звуки и могутъ имѣть тысячи произвольныхъ значеній, но одно настоящее достижимо только путемъ внутренняго проникновенія въ смыслъ понятія.

Отсюда — необходимость аналогій и сопоставленій, т. е. *символовъ*.

«Ты знаешь мое неизмѣнное убѣжденіе, — говоритъ Фаустъ у Одоевскаго, — что человѣкъ, если и можетъ рѣшить какой-либо вопросъ, то никогда не можетъ вѣрно перевести его на обыкновенный языкъ. Въ этихъ случаяхъ я всегда ищу какого-либо предмета во внѣшней природѣ, который по своей аналогіи могъ служить хотя приблизительнымъ выраженіемъ мысли».

Когда мы читаемъ эти разсужденія, мы чувствуемъ себя въ самой современной атмосферѣ символизма. Совпаденіе доходитъ до тожественности старыхъ шеллингіанскихъ идей съ «откровеніями» новѣйшихъ авторовъ.

У Метерлинка, напримѣръ, есть въ высшей степени любопытная статья *Le Réveil de l'âme — Пробужденіе души*. Начинается она заявленіемъ, что наступитъ и уже наступаетъ удивительное время: наши души будутъ сообщаться другъ съ другомъ безъ посредства физическихъ чувствъ. Произойдетъ освобожденіе нашей духовной стихіи и люди приблизятся другъ къ другу, взаимно проникая въ думы и чувства, безъ помощи словъ и внѣшнихъ выраженій. Знаки и слова утратятъ значеніе, все будетъ рѣшаться таинственнымъ воздѣйствіемъ *присутствія* одного человѣка на другого. И уже теперь люди стали неизмѣримо болѣе чуткими къ психической жизни другъ друга, уже теперь многое угадывается и невольно понимается, что раньше требовало вмѣшательства рѣчи [97]).

[97]) Maurice Maeterlinck. *Le Trésor des Humbles*. Paris. 1896. p. 29 etc.

Несомнѣнно, отъ этихъ соображеній не отказались бы и наши философы тридцатыхъ годовъ: такъ мало новаго подъ солнцемъ!

Кирѣевскій идетъ еще дальше. Онъ прямо защищаетъ права *гиперлогическаго* знанія, *невыразимаго.* По его мнѣнію, слово не только не въ силахъ охватить содержаніе идеи, но оно въ сущности убиваетъ жизненную силу идеи. Мысль и чувство тогда только могущественны, пока они не *вполнѣ* высказаны. Разъ они совершенно уяснились для разума и нашли выраженіе въ словѣ,—они превратились въ цвѣтокъ, изображенный на бумагѣ: онъ не растетъ и не пахнетъ. Такъ и совершенно изъясненная мысль утрачиваетъ свою власть надъ душой человѣка. «Она родится втайнѣ и воспитывается молчаніемъ» [98]).

Опять поразительное совпаденіе съ мечтаніями того же современнаго символиста. Метерлинкъ въ похвалу *Молчанію* написалъ цѣлую поэму въ прозѣ. Здѣсь, между прочимъ, говорится: «лишь только уста засыпаютъ, души просыпаются и принимаются за дѣло; потому что молчаніе—стихія, полная неожиданностей, опасностей и счастья; въ этой стихіи души пріобрѣтаютъ совершенную свободу» [99]). И здѣсь же настоятельно подверждается, что слова никогда не въ силахъ выразить дѣйствительныхъ отношеній между двумя существами. Поэтому *молчаніе любви* краснорѣчивѣе всякихъ любовныхъ *рѣчей,* и именно въ немъ заключена глубина и сила чувства.

Для насъ эти сопоставленія любопытны въ одномъ отношеніи, отнюдь не для исторіи символическихъ идей, а для полнаго освѣщенія философскихъ настроеній русской молодежи. Система Шеллинга, мы видимъ, дѣйствовала чрезвычайно энергично въ направленіи эстетическихъ теорій. Основной принципъ—художественное творчество, высшая ступень познанія—былъ цѣликомъ усвоенъ русскими шеллингіанцами со всѣми послѣдствіями, вплоть до мистическаго углубленія въ человѣческую душу и таинственнаго самоизслѣдованія путемъ созерцанія и вдохновенія.

Фактъ вполнѣ естественный. Русскіе шеллингіанцы ясно поняли господствующее идейное направленіе своего вѣка и лично восприняли это направленіе со всею страстью мятущейся молодости, и погрузились въ неотразимо влекущую даль полупредчувствуемыхъ, полусознаваемыхъ истинъ. Какою жалкой въ сравненіи съ этимъ

[98]) Кирѣевскій къ Хомякову. Письма. *Сочиненія*, стр. 90—1.

[99]) *O. c. Le Silence*, p. 17.

необъятнымъ міромъ должна была казаться старая французская философія!

И русскіе писатели, начиная съ сотрудниковъ *Телеграфа* и кончая тѣмъ же Кирѣевскимъ, въ порывѣ увлеченія германской мыслью произнесутъ смертный приговоръ «французскому направленію».

Гельвеція и Гольбаха можно называть философами только развѣ «въ насмѣшку». Вся французская литература XIX вѣка живетъ исключительно чужимъ вдохновеніемъ. Кузэнъ, Вилльмэнъ, даже Гизо—всѣ усердные ученики и подражатели нѣмецкихъ философовъ [100]).

Очевидно, для русскихъ нѣмецкая философія должна быть также источникомъ просвѣщенія, и русскіе читатели шеллинговыхъ сочиненій не отступятъ предъ самымъ рискованнымъ путешествіемъ въ туманное, для самого Колумба не вполнѣ изслѣдованное царство «абсолютнаго тожества».

И мы только-что видѣли диковинныя рѣдкости, вывезенныя иными путешественниками изъ своего странствія.

Но мы знаемъ, въ самомъ шеллингіанствѣ заключались не одни поиски за высшими тайнами. Даже эти поиски были въ сильной степени вдохновлены совершенно опредѣленными фактами, быстрыми и поразительными открытіями естественныхъ наукъ. Можно думать, именно успѣхи естествознанія возбудили ревность философіи и она поспѣшила развернуть свои силы въ томъ же направленіи, но только съ большей смѣлостью: открыть не законы, обобщить не факты, а весь міръ духовный и матеріальный заключить въ стройную, разумную систему.

Русскіе ученики Шеллинга прекрасно поняли исходную точку шеллингіанства и оцѣнили ея значеніе при новѣйшемъ развитіи положительныхъ наукъ. Не отказываясь отъ всеобъемлющей аксіомы, они не упустили изъ виду и историческаго положенія новой системы въ ряду другихъ философскихъ системъ.

Положеніе это наши шеллингіанцы опредѣлили крайне просто, какъ могла сдѣлать таже Сталь, дававшая бѣглый очеркъ исторіи германской философіи.

Шеллингъ совмѣстилъ въ своемъ міросозерцаніи всѣ предшествовавшія системы, вобралъ въ свою философію и матеріализмъ

---

[100]) Ксеноф. Полевой, 158. Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ. Сочин.* I, 31.

и идеализмъ, т. е. утвердилъ единство двухъ міровъ. А это значитъ идею слить съ дѣйствительностью, философію съ жизнью, и, слѣдовательно, литературу превратить въ практическую силу.

Этотъ выводъ, логически вытекающій изъ принципа тожества, въ своемъ развитіи, повидимому, совершенно расходится съ основной задачей шеллингіанства созерцательной и мистической. И мы указывали на эту двойственность системы, съ одной стороны неразрывно связанной съ положительной наукой, съ другой, въ качествѣ философской религіи своего времени, стремящейся къ верховной истинѣ.

Теперь предстоялъ вопросъ, какая изъ этихъ основъ шеллингіанства возобладаетъ у русскихъ послѣдователей системы? Увлекутся ли они безповоротно неизглаголанными тайнами и «полуподозрѣнными» чувствами, падутъ ли они ницъ предъ нестерпимо величественнымъ образомъ поэта-пророка и тайнамъ принесутъ въ жертву жалкую земную жизнь, а ради поэта пренебрегутъ толпой и всѣмъ заурядньмъ и будничнымъ?

Если бы вопросъ рѣшился въ такомъ смыслѣ, въ ту же минуту отлетѣлъ бы отъ русской литературы геній свѣта и правды, и она заполонилась бы безплоднымъ фантазерствомъ и отрѣшеннымъ кабинетнымъ священнодѣйствіемъ брезгливыхъ эпикурейцевъ. Результаты вышли бы вполнѣ сходные съ ограниченными практическими воздѣйствіями академическаго шеллингіанства на литературу и критику.

Молодыхъ философовъ спасла извѣстная намъ *нравственная сила* философскихъ увлеченій, напряженный *личный* интересъ къ новымъ истинамъ; именно на этой психологіи и выросла побѣда жизненныхъ задачъ шеллингіанства надъ чисто отвлеченными и мечтательными.

XXXVI.

Какъ бы высоко ни стоялъ авторитетъ Шеллинга въ глазахъ его русскихъ послѣдователей, какими бы восторженными наименованіями ни награждали они и самого философа и его систему, мы безпрестанно встрѣчаемъ оговорки, ограниченія и даже возраженія. Фактъ новый послѣ безусловно вѣрноподданнической преданности германскому философу Велланскаго и даже Галича.

Старые шеллингіанцы обнаруживали гораздо меньше расположенія критиковать и анализировать, чѣмъ вѣрить и созидать. Мы

видѣли, Велланскій и Павловъ самоотверженно пустились вслѣдъ за своимъ учителемъ въ безбрежное море натурфилософскихъ теорій и загадокъ, Галичъ усиливался оправдать Шеллинга отъ обвиненій въ мистицизмѣ и излишнемъ произволѣ воображенія въ ущербъ логикѣ. Ничего подобнаго у молодыхъ шеллингіанцевъ.

Они, конечно, охвачены общимъ интересомъ къ естественнымъ наукамъ. Кн. Одоевскій занимается химіей и ведетъ длинныя рѣчи о систематизаціи положительныхъ знаній. Но мы не знаемъ откуда это стремленіе? Оно могло быть внушено сенъ-симонизмомъ еще успѣшнѣе, чѣмъ шеллингіанствомъ, и мы склонны думать, что именно французскій источникъ долженъ занять первое мѣсто.

Выше мы указывали на совпаденіе нѣкоторыхъ идей у князя Одоевскаго съ разсужденіями Сенъ-Симона, въ раннюю эпоху его дѣятельности. Еще любопытнѣе мысли русскаго философа о научномъ методѣ въ исторіи, т. е. о самомъ рѣшительномъ приложеніи принциповъ опытныхъ наукъ.

Уже въ одной изъ статей Мерзлякова встрѣчается неожиданное для классика выраженіе—«умственная химія» [101]), т. е. анализъ психологическихъ явленій. Очевидно, даже стараго словесника коснулись соблазны времени,—у его учениковъ не случайныя обмолвки, а цѣлые въ высшей степени отважные планы.

Одоевскій отказывается понять, почему никто не догадался *къ исторіи* примѣнить «аналитическую методу», ту самую, какую «употребляютъ химики при разложеніи органическихъ тѣлъ».

Слѣдуетъ описаніе «методы»: оно будто заимствовано изъ какого-нибудь самаго отчаяннаго позитивистскаго трактата, въ родѣ философскихъ статей Тэна, или изъ его руководящей книги о французской философіи XIX-го вѣка. Тотъ же разговоръ о столь же строгомъ и послѣдовательномъ анализѣ нравственныхъ явленій, какъ и физическихъ.

«Химики,—пишетъ Одоевскій,—сначала доходятъ до ближайшихъ началъ тѣла, каковы, напримѣръ, кислоты, соли и проч., наконецъ, до самыхъ отдаленныхъ его стихій, каковы, напримѣръ, четыре основные газа... Для этого рода историческихъ изслѣдованій можно было бы образовать прекрасную науку съ какимъ-нибудь звучнымъ названіемъ, напримѣръ, *аналитической этнографіи*. Эта наука была бы въ отношеніи къ исторіи тѣмъ же,

[101]) *Труды Общ. Люб. Росс. Словесности.* 1812, I., стр. 59, въ *Разсужденіи о Росс. Словесности въ нынѣшнемъ ея состояніи.*

чѣмъ химическое разложеніе и химическое соединеніе въ отношеніи къ простому механическому раздробленію и механическому смѣшенію тѣлъ».

Автору рисуется удивительное будущее химіи. Она теперь задыхается въ удушливой атмосферѣ, ее давитъ «технологическій соръ», но она все-таки приближается къ своей настоящей цѣли: «навести ученыхъ на химію высшаго размѣра».

«Она должна заниматься внутренними, сокрытыми элементами природы», она не создана для «узды матеріалистовъ», ея назначеніе—*испытывать глубину*.

И русскій философъ не отступаетъ предъ крайнимъ предѣломъ испытанія, въ сущности, вполнѣ шеллингіанскимъ. Если на основаніи философіи тожества можно весь міръ построить по законамъ разума, вновь создать его по началамъ духа, отчего же въ результатѣ *аналитической этнографіи* не *возстановить исторію*? Это значитъ, «открывъ анализисомъ основные элементы народа, по симъ элементамъ систематически построить его исторію».

При такомъ возсозданіи исторія дѣйствительно стала бы наукой, а теперь она только романъ, исполненный прежалкихъ и неожиданныхъ катастрофъ [102]).

Дальше идти невозможно въ увлеченіи наукой и положительнымъ мышленіемъ. Позднѣйшіе прямолинейные позитивисты не открыли другой высшей цѣли, чѣмъ разложеніе сложнѣйшихъ нравственныхъ и соціальныхъ явленій на простѣйшіе факты и *логическое* возсозданіе ихъ, вполнѣ совпадающее съ *дѣйствительностью*.

Такимъ путемъ шеллингіанецъ приходилъ къ точной наукѣ и къ фактамъ. Онъ до конца оставался въ границахъ своей системы, весь вопросъ заключался только въ его преимущественномъ сочувствіи *натурѣ* или *философіи*, т. е. естественно-научной стихіи шеллингіанства или его метафизикѣ. Увлеченія въ обѣ стороны, повидимому, одинаково сильны: тамъ чистѣйшій символизмъ, здѣсь—позитивистскія надежды на химическій анализъ нравственнаго міра человѣка.

И та, и другая перспектива безгранична и соблазнительна, и естественно въ разсужденіяхъ нашихъ философовъ безпрестанно чередуются идеи того и другого порядка, тѣмъ болѣе, что всѣ онѣ могли одинаково тѣшить молодое воображеніе и давать неистощимый матеріалъ возбужденной юношески-энергической мысли.

---

[102]) *Ib.* 370—373.

И мы не должны смущаться, встрѣчая столь, повидимому, непримиримыя теченія рядомъ. Мы уже неоднократно могли отмѣтить чрезвычайно близкое сосѣдство философіи и мистики въ началѣ XIX-го вѣка, строгой науки и поэтическаго фантазерства. Мы указали и на исторически-повелительную причину этого сосѣдства—всеобщую нравственную потребность въ цѣльномъ міросозерцаніи при условіи чрезвычайно внушительнаго *наступательнаго* развитія естествознанія.

Заслуга русскихъ шеллингіанцевъ состояла въ томъ, что они на первыхъ же порахъ обняли все многообразное содержаніе излюбленной системы, и даже отдали ясный отчетъ въ несоотвѣтствіи ея теоретическихъ задачъ съ дѣйствительными разультатами.

Одоевскій, при всѣхъ своихъ восторгахъ предъ идеями Шеллинга, призналъ *неисполнимость* вызванныхъ философомъ надеждъ. Изъ чудной роскошной страны, открытой Шеллингомъ, «одни вынесли много сокровищъ, другіе лишь обезьянъ да попугаевъ». Авторъ не объясняетъ подробно своей аллегоріи, но ему, несомнѣнно, была ясна обманчивость безграничныхъ завоеваній человѣческой мысли, ослѣпившихъ нѣкоторыхъ учениковъ философа. И именно поэтому Одоевскій снова заговорилъ о фактахъ и опытномъ изслѣдованіи и горячо привязался къ естествознанію [103]).

Кирѣевскій еще яснѣе опредѣлилъ неудовлетворительную, по его мнѣнію, черту нѣмецкой философіи. Есть одно качество, ставящее французскую литературу выше всѣхъ другихъ: «это тѣсная связь литературы съ жизнью» [104]).

Шеллингъ наполнилъ этотъ пробѣлъ, но не до такой степени, чтобы могли получиться выводы русскихъ философовъ.

«Стремленіе къ существенности», «сближеніе духовной дѣятельности съ дѣйствительностью» —таковы основныя черты новой литературы. «Часъ для поэта жизни наступилъ», говоритъ Кирѣевскій, узаконяя, очевидно, безусловный реализмъ искусства. Мало этого.

Разъ мысль должна сблизиться съ дѣйствительностью, все направленіе умственнаго развитія должно быть *практическимъ*. А это значитъ, «общее мнѣніе» должно достигнуть уровня высшихъ

---

[103]) Біографъ приписываетъ кн. Одоевскому даже совершенно неосновательную заслугу, будто «онъ предсказалъ дарвиновскую теорію развитія органической жизни». Сумцовъ, стр. 40. Мы видѣли, эта теорія логически вытекала изъ шеллингіанскаго воззрѣнія на природу и русскому философу оставалось только извлечь ее изъ сочиненій своего учителя.

[104]) *Сочиненія* I. 34, прим.

современныхъ идей, иначе жизнь разойдется съ успѣхами ума. Отсюда необходимость широкаго общественнаго развитія и просвѣщенія, необходимость неограниченной и глубокой цивилизаціи [105]).

Во главѣ движенія должна стать литература, писатели будутъ просвѣтителями народа. Еще въ школѣ у юныхъ философовъ всѣ интересы сосредоточены на русской литературѣ; съ теченіемъ времени они растутъ и находятъ твердую опору въ той же философіи.

Германская мысль была всецѣло пропитана національными инстинктами. Учитель Шеллинга всю свою систему приспособилъ къ этимъ инстинктамъ и создалъ теорію германизма, какъ міровой культурной стихіи. О фихтіанскихъ идеяхъ мы очень рѣдко слышимъ отъ русскихъ философовъ тридцатыхъ годовъ, имя Фихте исчезаетъ въ лучахъ шеллинговой славы, но не можетъ быть сомнѣнія, что тотъ же Шеллингъ ввелъ своихъ учениковъ въ систему своего учителя. По крайней мѣрѣ, понятіе о культурномъ прогрессѣ въ связи съ развитіемъ національностей—прямое наслѣдство Фихте. Естественно, это понятіе у русскихъ философовъ должно преобразоваться въ другомъ, также національномъ направленіи, и съ самаго начала одновременно съ исповѣданіемъ *германской* философіи мы слышимъ настойчивое провозглашеніе *русскаго* просвѣщенія. Собственно идея національности явилась неизбѣжнымъ выводомъ изъ принципа *практическаго* сближенія *ума* съ *жизнью*. Сама жизнь требовала этой идеи и даже предупредила философовъ фактами, не особенно глубокомысленными и значительными, но, тѣмъ не менѣе, шумными и въ высшей степени популярными.

XXXVII.

Исторія всегда была и будетъ лучшей учительницей народовъ. Ея уроки всегда отличаются ясностью и непререкамой авторитетностью. Понять ихъ могутъ даже многіе изъ «малыхъ сихъ» и порывомъ взволнованнаго чувства предвосхитить глубокія и трудныя думы великихъ и сильныхъ.

Одинъ изъ такихъ уроковъ былъ данъ всѣмъ европейскимъ народамъ въ началѣ XIX вѣка, и посмотрите, въ какомъ удивительномъ единодушіи оказываются люди совершенно различнаго образованія и литературныхъ вкусовъ!

Мы упоминали о *Русскомъ Вѣстникѣ* Глинки. Въ 1808 году

[105]) *Ib.*, 69—70.

у будущаго издателя заговорило «сердце вѣщунъ» и онъ рѣшилъ издавать журналъ именно противъ французскаго просвѣщенія XVIII вѣка, «нравы и добродѣтели праотцевъ нашихъ» противопоставить чужеземному растлѣвающему вліянію. Много лѣтъ позже съ не менѣе горячимъ чувствомъ заговорятъ противъ «софистовъ» и молодые философы, чуждые всякой національной нетерпимости и патріотической воинственности.

Четыре года спустя у Глинки является послѣдователь—Гречъ, издатель *Сына Отечества*. Внукъ нѣмецкаго выходца, онъ теперь проникнутъ стремительнымъ желаніемъ служить русскому отечеству, изъ своего журнала сдѣлать «народный вѣстникъ русскій» и иноземнымъ заниматься исключительно только въ связи съ отечественнымъ.

И *Сынъ Отечества*, по свидѣтельству самого издателя, стяжалъ огромный успѣхъ, поддерживался «вельможами патріотами» и сочувствіемъ обширной публики. И успѣхъ этотъ Гречъ приписывалъ настроенію общества, «обстоятельствамъ».

Они до такой степени соотвѣтствовали разсчетамъ и чувствительныхъ, и просто ловкихъ предпринимателей печати, что и тѣ, и другіе могли ссылаться даже на восторги иностранцевъ предъ патріотизмомъ русскихъ. Рѣчь короля прусскаго о высокихъ подвигахъ русскаго мужества, о русскомъ народѣ, какъ примѣрѣ для всѣхъ другихъ, была переведена и встрѣтила, конечно, всеобщую признательность. Патріотическая волна захватила и науку. Мы знаемъ горячія рѣчи Мерзлякова, одновременно Павловъ и Давыдова внушали пансіонскимъ воспитанникамъ любовь къ родному языку, и Павловъ потомъ эти внушенія перенесъ въ свой журналъ.

Въ *Атенеѣ* о народной поэзіи высказывались идеи, несравненно болѣе послѣдовательныя, чѣмъ извѣстныя намъ разсужденія Надеждина. Въ первой же книгѣ журнала появилась статья *О направленіи поэзіи въ наше время* съ необычайно смѣлой и редактору-шеллингіанцу даже несвойственной проповѣдью *реализма* и *народности* искусства.

Статья напечатана въ самомъ началѣ 1828 года, но, несомнѣнно, мысли ея могли одушевлять и раннія лекціи Павлова въ пансіонѣ.

Авторъ статьи возстаетъ противъ *идеаловъ* въ поэзіи, т. е. слишкомъ возвышеннаго, не реальнаго содержанія. «Вѣкъ ихъ, кажется, минулъ безвозвратно. Мы требуемъ теперь человѣка дѣйствительнаго, съ его слабостями, страстями, заблужденіями, странностями. Новыя потребности указали и на новые источники».

Гдѣ же ихъ искать?

Тѣ же «обстоятельства» дали отвѣтъ. Великія историческія событія, независимо отъ какихъ бы то ни было художественныхъ теорій, подняли цѣну національнаго прошлаго, и только съ эпохи отечественной войны въ Россіи нашла почву важнѣйшая идея романтизма: уваженіе къ дѣйствительной народной старинѣ, не украшенной и не видоизмѣненной идиллической чувствительностью пресыщеннаго тонкаго вкуса, изученіе народныхъ преданій и народнаго быта во всей подчасъ эстетически-непривлядной полнотѣ.

Авторъ статьи въ *Атенеѣ* именно и характеризуетъ этотъ новый интересъ къ національной стихіи,—строгій, научный и, слѣдовательно, практически-значительный.

«Мы начали отыскивать забытыя, кинутыя преданія, памятники народнаго невѣжества и легковѣрія, нестройной гражданственности или вымышленные причудливымъ младенчествующимъ воображеніемъ. Разсчетомъ вѣка охлажденные, не позволяя себѣ необдуманныхъ порывовъ души, мы зато съ бо́льшимъ жаромъ стали собирать, какъ нѣкое сокровище, неясныя, но живыя, свободныя чувствованія простой старины, звучащія еще въ народныхъ пѣсняхъ и преданіяхъ».

Авторъ, очевидно, историческое направленіе своего времени противопоставляетъ философической идеологіи предыдущей эпохи. Мы видимъ, изъ какихъ многообразныхъ побужденій поколѣніе начала XIX вѣка становилось народническимъ въ настоящемъ и прошломъ. Политическія событія, нравственный переворотъ въ умахъ послѣ революціи, логическіе выводы новой философіи,—все соединилось во имя національнаго принципа и выдвинуло на сцену культуры народъ, какъ великую историческую силу и невѣдомаго до сихъ поръ обладателя духовныхъ богатствъ.

Естественно, въ кружкѣ Раича національный вопросъ занималъ первое мѣсто.

Здѣсь не было разныхъ мнѣній, и даровитѣйшіе представители философской мысли съ удивительнымъ единодушіемъ доходятъ до крайнихъ выводовъ, ничѣмъ не уступающихъ германофильскимъ проповѣдямъ Фихте.

Россія должна имѣть и, несомнѣнно, имѣетъ свое особое *назначеніе* въ человѣческой культурѣ. Въ чемъ состоитъ оно—вопросъ сложный и еще нерѣшенный. Достовѣрно одно, міровая роль Россіи не уступаетъ значенію другихъ народовъ, и вѣроятнѣе всего, даже превосходитъ.

Философія должна представить полную картину развитія ума человѣческаго и въ этой картинѣ Россія увидитъ собственное свое предназначеніе. Именно поэтому изученіе философіи и важно: оно должно служить русскимъ національнымъ цѣлямъ.

Такъ разсуждалъ Веневитиновъ, искуснѣйшій ораторъ кружка и подававшій едва ли не самыя блестящія надежды, какъ публицистъ и критикъ [106]).

Кирѣевскій безпрестанно свидѣтельствуетъ о своей глубокой, восторженной любви къ Россіи, всѣ силы свои посвящаетъ родинѣ и поприще писателя, какъ просвѣтителя народа, считаетъ достойнѣйшимъ изъ всѣхъ. «Куда бы насъ судьба ни завела,—говоритъ онъ о себѣ, о своихъ братьяхъ и друзьяхъ,—и какъ бы обстоятельства ни разрознили, у насъ все будетъ общая цѣль: благо отечества, и общее средство: литература».

Онъ рисуетъ эффектную сцену, какъ они лѣтъ черезъ 20 снова сойдутся въ дружескій кружокъ и отдадутъ другъ другу отчетъ, что̀ каждый изъ нихъ сдѣлалъ для просвѣщенія Россіи.

И для Кирѣевскаго философія необходима исключительно въ интересахъ независимаго національнаго прогресса.

Онъ пишетъ настоящую оду въ честь философіи, ея всемогущаго вліянія на поэзію и науку... Но откуда она придетъ для насъ, русскихъ?

Отвѣтъ любопытный. Его признали бы своимъ всѣ молодые шеллингіанцы: въ немъ нераздѣльно сливается высокое чувство уваженія къ европейской культурѣ и непоколебимая вѣра въ судьбы своей страны. Здѣсь нѣтъ ни западничества, ни славянофильства, какъ враждебныхъ крайнихъ партій. Философы конца двадцатыхъ годовъ умѣютъ оставаться подлинными русскими и даже горячими патріотами и, ни на минуту не колеблясь, отдавать должное старой западной цивилизаціи.

«Конечно,—говоритъ Кирѣевскій,—первый шагъ нашъ къ философіи, къ ней долженъ быть присвоеніемъ умственныхъ богатствъ той страны, которая въ умозрѣніи опередила всѣ другіе народы. Но чужія мысли полезны только для развитія собственныхъ. Философія нѣмецкая вкорениться у насъ не можетъ. *Наша* философія должна развиться изъ *нашей* жизни, создаться изъ текущихъ вопросовъ, изъ господствующихъ интересовъ *нашего* народнаго и частнаго быта».

---

106) Веневитиновъ. *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала.*

Нѣмецкая философія, слѣдовательно, только переходная ступень отъ французской софистики къ настоящей умственной работѣ. Кирѣевскій превозноситъ благодѣянія германскаго вліянія на русскую литературу, но онъ преисполненъ патріотическихъ чувствъ. Подчасъ его можно признать за подлиннаго славянофила, даже въ молодые годы: до такой степени близко къ сердцу онъ принимаетъ всякое малѣйшее посягательство со стороны иностранцевъ на достоинство русскаго имени и на такой выспренней высотѣ ему рисуется цивилизаторская миссія его родины!

За границей онъ попадаетъ въ среду «первоклассныхъ умовъ Европы», начиная съ Шеллинга и Гегеля и кончая звѣздами второй величины, но тоже въ высшей степени яркими, для русскаго взора,—ослѣпительными. Кирѣевскій дѣятельно посѣщаетъ лекціи профессоровъ, завязываетъ личныя знакомства, но ни на минуту не поддается гипнозу, столь часто подчинявшему въ старое время разныхъ русскихъ путешественниковъ предъ лицомъ той или другой европейской знаменитости.

Это не ученикъ, а просто любопытный слушатель, всегда способный распознать дѣйствительное золото отъ призрачнаго блеска. Онъ внимательно слѣдитъ за лекціями Шеллинга и сейчасъ же отмѣчаетъ несоотвѣтствіе возбужденныхъ надеждъ и осуществившихся фактовъ. То же самое, на что̀ указывалъ и Одоевскій, только его сверстникъ дошелъ до истины у самаго ея источника.

«Гора родила мышь», пишетъ Кирѣевскій своему вотчиму Елагину, усердному шеллингіанцу. Елагинъ первый познакомилъ съ философіей своего пасынка и, очевидно, интересовался его заграничными успѣхами въ любимомъ предметѣ. Кирѣевскій долженъ пересылать ему философскія новости и, конечно, новыя лекціи Шеллинга, и вотъ оказывалось, — философъ два года подрядъ читалъ одинъ и тотъ же курсъ. Съ такой основательной подготовкой явился русскій студентъ въ заграничную аудиторію! Сравнивая настроенія Кирѣевскаго съ россказнями Карамзина о Кантѣ, мы попадаемъ будто въ двѣ разныя и чрезвычайно отдаленныя другъ отъ друга эпохи.

Естественно, Кирѣевскій еще осторожнѣе относится къ нѣмцамъ внѣ философіи. Онъ возмущается ихъ неуважительными отзывами о русскихъ по вопросу, повидимому, довольно сомнительному: есть ли у русскихъ энергія? Наконецъ, онъ переходитъ въ наступательное положеніе и *общій* типъ нѣмцевъ изображаетъ въ самыхъ безнадежныхъ краскахъ: и наклонность къ «нелѣпому

восторгу», и тупость, и бездушіе, и въ заключеніе рѣшительный возгласъ: «Германіей ужъ мы сыты по горло!»

Возгласы, по формѣ, могутъ быть плодомъ минутнаго возбужденія, столь понятнаго у русскаго путешественника заграницей. Но у Кирѣевскаго имѣется цѣлая система культурныхъ воззрѣній. Они заслуживаютъ всего нашего вниманія, потому что такой цѣльности и по истинѣ философскаго безпристрастія и разносторонности русская общественная мысль могла достигнуть только въ отдаленномъ будущемъ, отчасти по винѣ самого Кирѣевскаго.

Онъ безпрестанно возвращается къ историческимъ судьбамъ Россіи. Мы знаемъ, вопросъ рѣшенъ на общихъ философскихъ основахъ: «просвѣщеніе — условіе и источникъ *всѣхъ* благъ» и «судьба Россіи заключается въ ея просвѣщеніи». Но гдѣ же его источникъ?

Въ Европѣ. Это настойчивый и постоянный отвѣтъ нашего автора, *въ Европѣ*, а не въ Московіи, не въ допетровской Руси.

Кирѣевскій въ важнѣйшей своей статьѣ *Девятнадцатый вѣкъ* подвергъ жестокой критикѣ патріотовъ славянофильскаго толка.

Они обвиняютъ Петра, будто онъ далъ ложное направленіе русской образованности, заимствовалъ ее изъ просвѣщенной Европы, а не развилъ «внутри нашего быта».

Въ отвѣтъ Кирѣевскій прежде всего указываетъ *на заимствованіе чужихъ мыслей* со стороны самихъ пророковъ самобытности.

«Стремленіе къ національности есть ничто иное, какъ непонятое повтореніе мыслей чужихъ, мыслей европейскихъ, занятыхъ у французовъ, у нѣмцевъ, у англичанъ, и необдуманно примѣняемыхъ къ Россіи. Дѣйствительно, лѣтъ десять тому назадъ стремленіе къ національности было господствующимъ въ самыхъ просвѣщенныхъ государствахъ Европы: всѣ обратились къ своему народному, къ своему особенному. Но тамъ это стремленіе имѣло свой смыслъ: тамъ просвѣщеніе и національность одно, ибо первое развилось изъ послѣдней. Потому, если нѣмцы искали чисто нѣмецкаго, то это не противорѣчило ихъ образованности; напротивъ, образованность ихъ такимъ образомъ доходила только до своего сознанія, получала болѣе самобытности, болѣе полноты и твердости. Но у насъ искать національнаго, значитъ искать необразованнаго; развивать его на счетъ европейскихъ нововведеній, значитъ изгонять просвѣщеніе. Ибо не имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы

ее, если не изъ Европы? Развѣ самая образованность европейская не была послѣдствіемъ просвѣщенія древняго міра? Развѣ не представляетъ она теперь просвѣщенія общечеловѣческаго? Развѣ не въ такомъ же отношеніи находится оно къ Россіи, въ какомъ просвѣщеніе классическое находилось къ Европѣ?» [107]).

Это напечатано въ началѣ 1832 года; тѣ же идеи были высказаны въ статьѣ *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ* напечатанной въ сборникѣ Максимовича *Денница* на 1830 годъ. подъ статьей въ первый разъ подписано имя автора.

XXXVIII.

Кирѣевскій очень трезво цѣнилъ русскую литературу, даже отрицалъ ея существованіе и приводилъ этотъ печальный фактъ въ связь съ другимъ: «у насъ еще нѣтъ полнаго отраженія жизни народа». Что же есть?—«Надежда и мысль о великомъ назначеніи нашего отечества».

Но это назначеніе неразрывно связано съ европейской цивилизаціей и безъ нея немыслимо и неосуществимо.

Критикъ пользуется западной мыслью о періодической смѣнѣ европейскихъ народовъ, какъ представителей просвѣщенія человѣческаго, и доходитъ до убѣжденія, что такая роль рано или поздно выпадетъ русскимъ. Западъ подготовилъ нашу образованность, онъ—ея колыбель, и когда европейскіе народы закончатъ кругъ своего умственнаго развитія, начнетъ Россія.

Авторъ договаривается до идеи, напоминающей извѣстную намъ похоронную пѣсню Надеждина,—но только напоминающей. У Кирѣевскаго пока на первомъ планѣ не патріотическое идолопоклонство, а философія исторіи съ сильнымъ вмѣшательствомъ національнаго чувства.

Каждый изъ европейскихъ народовъ, по мнѣнію Кирѣевскаго, «совершилъ свое назначеніе», т. е. закончилъ самобытное развитіе и изжилъ «отдѣльную жизнь». Всѣ *частныя* государства поглощены *цѣлой* Европой.

Но въ этомъ *цѣломъ* нѣтъ *стройнаго, органическаго тѣла*, нѣтъ *средоточія* и потому, что нѣтъ *господствующаго* народа политически и умственно. А между тѣмъ это *господство*—законъ исторіи: «всегда одно государство было, такъ сказать, *столицею* другихъ.

[107]) *Сочиненія*. I, 82—3.

было *сердцемъ*, изъ котораго выходитъ и куда возвращается вся кровь, всѣ жизненныя силы просвѣщенныхъ народовъ».

И автору, разумѣется, не трудно различныя историческія эпохи свести къ преобладанію различныхъ народовъ. Въ настоящее время на вершинѣ европейскаго просвѣщенія Англія и Германія. Но ихъ власть недолговѣчна, ихъ внутренняя жизнь закончила кругъ живого развитія и совершенствованія, и вся Европа цѣпенѣетъ и превращается въ болото, «гдѣ цвѣтутъ однѣ незабудки, да изрѣдка блеститъ холодный блуждающій огонекъ» [108]).

Выраженія очень смѣлыя, но, снова повторяемъ, это отнюдь не приговоръ надъ европейской культурой. Напротивъ, она должна быть безусловно и сознательно усвоена Россіей ради историческаго будущаго. Кирѣевскій неистощимъ на критику русской самобытности, независимой отъ европейскаго просвѣщенія.

Грибоѣдовская комедія даетъ ему благодарный мотивъ въ этомъ направленіи. Онъ недоволенъ Чацкимъ за его слишкомъ рѣшительныя нападки на русскую подражательность. Она смѣшна, но не сама по себѣ, а по своей неловкости и непослѣдовательности. Подражать слѣдуетъ *вполнѣ*, вовсе не опасаясь за цѣлость русскаго національнаго характера.

«Наша религія, наши историческія воспоминанія, наше географическое положеніе, вся совокупность нашего быта столь отличны отъ остальной Европы, что намъ физически невозможно сдѣлаться ни французами, ни англичанами, ни нѣмцами».

Вѣра Кирѣевскаго въ устойчивость русской стихіи безгранична и онъ готовъ даже помириться съ уродствомъ отечественнаго чужебѣсія, лишь бы дать бо́льшій просторъ европеизму на русской почвѣ.

«До сихъ поръ,—говоритъ онъ,—національность наша была національность необразованная, грубая, китайски неподвижная. Просвѣтить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу развитія можетъ только вліяніе чужеземное. И какъ до сихъ поръ все просвѣщеніе наше заимствовано извнѣ, такъ только извнѣ можемъ мы заимствовать его и теперь, и до тѣхъ поръ, покуда поровняемся съ остальною Европою. Тамъ, гдѣ *обще-европейское* совпадется съ нашею *особенностью*, тамъ родится просвѣщеніе истинно-русское, образованно-національное, твердое, живое, глубокое и богатое благодѣтельными послѣдствіями. Вотъ отчего наша любовь къ ино-

[108]) *Сочин.* I, 15.

странному можетъ иногда казаться смѣшною, но никогда не должна возбуждать негодованія; ибо болѣе или менѣе, посредственно или непосредственно, она всегда ведетъ за собою просвѣщеніе и успѣхъ, и въ самыхъ заблужденіяхъ своихъ не столько вредна, сколько полезна» [109]).

Авторъ самъ подалъ примѣръ желательнаго для него совпаденія *общеевропейскаго* съ *національнымъ*, и не онъ одинъ, а всѣ русскіе шеллингіанцы. Идея поперемѣннаго культурнаго главенства народовъ—открытіе германской философіи, и очень нехитрое: оно должно было устранить галломанскій періодъ и провозгласить диктатуру германизма. Шеллингъ указывалъ на признаки этой диктатуры: общеевропейское увлеченіе германской философіей. У русскихъ публицистовъ не было своихъ Шеллинговъ, не было вообще самостоятельныхъ философскихъ и научныхъ системъ, но зато много *вѣры* и *надежды*. Кирѣевскій откровенно указалъ именно на эти опоры русскаго національнаго самосознанія.

Указаніе по существу мало убѣдительное: все достовѣрное и реальное принадлежало будущему, насколько вопросъ касался Россіи. Но вѣра оказалась великой и вполнѣ дѣйствительной силой. Она вызвала *дѣла*, была оправдана вполнѣ сознательной работой своихъ исповѣдниковъ.

У молодежи тридцатыхъ годовъ двѣ идеи—о всемірномъ предназначеніи Россіи и о личномъ просвѣтительномъ призваніи ея юныхъ сыновъ—слились въ одинъ символъ и сообщили ихъ литературной дѣятельности своеобразный идеалистическій характеръ оставшійся въ исторіи русскаго просвѣщенія неотъемлемымъ достояніемъ философской эпохи. Несомнѣнно, разъ первенствующую роль играла *вѣра*, т. е. чувство, идея легко переходила въ экстазъ и утрачивала разумную сдержанность и даже логичность.

Кирѣевскій съ теченіемъ времени додумался до открытаго и безпримѣснаго славянофильства. Задатки заключались еще въ раннихъ произведеніяхъ: стоило только мысль о болотномъ оцѣпенѣніи Европы оттѣнить контрастомъ русской жизненности и свѣжести. Это уже было сдѣлано Надеждинымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, дѣлалось и неучеными публицистами, изъ породы Глинки, авторами съ вѣщими сердцами.

Очень эффектное, напримѣръ, сопоставленіе тлетворнаго европеизма съ неистощимыми богатствами русской натуры, выходило

[109]) *Ib.* I, 109.

въ статьяхъ Свиньина, дѣятельнаго сотрудника *Сына Отечества*, и издателя *Отечественныхъ Записокъ* съ 1820 года.

Свиньинъ недоволенъ былъ *скромностью* русскихъ «къ достоинству своему», и вознамѣрился познакомить ихъ съ національными героями. Журналъ неустанно прославлялъ русскихъ самоучекъ и поэтовъ. Одновременно печатались и цѣнные матеріалы для русской исторіи, но собственно не ради науки, а во имя все той же славы и «народной гордости»: «добрые ремесленники и смышленые мужички» въ глазахъ издателя стояли выше всякаго просвѣщенія, особенно европейскаго.

Не миновали такой «любви къ отечеству» и просвѣщенные шеллингіанцы.

«Западъ гибнетъ», провозгласилъ Одоевскій въ тѣхъ же *Русскихъ ночахъ*, гдѣ Шеллинга именовалъ Колумбомъ XIX-го вѣка. На западѣ все одряхлѣло и все опровергнуто: вѣра, наука, искусство. Дѣло цивилизаціи долженъ взять народъ «юный, свѣжій, непричастный преступленіямъ стараго міра», и, конечно, это русскій народъ. «Девятнадцатый вѣкъ принадлежитъ Россіи!»... [110]).

Опять *вѣра* и *надежда*, по существу тѣ самыя настроенія, какія нашихъ авторовъ въ области эстетики приводили къ тайнамъ символизма. Культурные идеалы переживаютъ у нихъ такое же превращеніе, и послѣ справедливой просвѣщенной оцѣнки европейскаго прогресса перерождаются въ романтическое народничество, философъ исторіи становится пророкомъ-ясновидцемъ.

Кирѣевскій испыталъ жестокое разочарованіе въ литературной дѣятельности. Его страстно-любимое дѣтище, журналъ *Европеецъ* на третьемъ нумерѣ былъ запрещенъ за статью самого издателя *Девятнадцатый вѣкъ*. Подверглась оффиціальному порицанію и статья о *Горѣ отъ ума*. Усмотрѣна была *политика*, выраженія Кирѣевскаго *просвѣщеніе*, *дѣятельность разума* гр. Бенкендорфомъ переведены какъ *свобода* и *революція*, открыты и *конституціонныя* вожделѣнія мирнаго шеллингіанца.

Журналъ погибъ и Кирѣевскій замолчалъ, подавленный и разочарованный. Благонамѣреннѣйшіе современные люди—въ родѣ Никитенко, Погодина, возмущались карой и не видѣли въ статьѣ ничего преступнаго. Правда, Погодинъ не одобрялъ статьи за ея европейскія сочувствія. Онъ былъ убѣжденъ, что «Россія особливый

[110]) *Сочин.* I, 314.

міръ», и что «всей Европы надежда должна быть на Россію», а Кирѣевскій вздумалъ мѣрить ее на европейскій аршинъ! [111]).

Но и Погодину не могли придти въ голову проникновенія Бенкендорфа, а Никитенко воскликнулъ: «Тьфу! Да что же мы, наконецъ, будемъ дѣлать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно!»

Максимовичъ, близко стоявшій къ Кирѣевскому, свидѣтельствуетъ объ его глубокомъ огорченіи: столь горячо лелѣянныя надежды на литературную дѣятельность рушились и вмѣстѣ съ ними въ корнѣ подорвано страстное желаніе—служить родинѣ.

Кирѣевскій замолчалъ нà долго, на цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ. Явилось нѣсколько небольшихъ статеекъ безъ имени, и за это время міросозерцаніе безвременно подшибленнаго журналиста круто мѣнялось и выразилось, наконецъ, въ знаменитомъ письмѣ къ гр. Комаровскому, въ началѣ 1852 года. Оно носитъ названіе: *О характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи*, напечатано въ московскомъ сборникѣ Ивана Аксакова.

Другія времена и другія пѣсни! У Кирѣевскаго совсѣмъ испарился *европеецъ* и остался славянофилъ чистѣйшей крови. Письмо относится къ позднѣйшей эпохѣ и намъ не представляется необходимости разбирать его подробно. Достаточно въ общихъ чертахъ указать на перемѣну въ авторскихъ взглядахъ.

Теперь и рѣчи нѣтъ о европейскомъ просвѣщеніи, какъ неизбѣжной основѣ русскаго. Западъ и Россія противоставляются другъ другу, какъ два совершенно различныхъ культурныхъ міра, и все сопоставленіе идетъ къ вящей славѣ Россіи.

Европа заимствовала религію и цивилизацію у Рима, односторонне-разсудочнаго, холодно-логическаго, не знавшаго полноты и цѣльности умозрѣнія, всесторонняго развитія нравственной жизни. Въ результатѣ—на западѣ вся культура и бытъ сложились разсудочно, искусственно, безъ всепроникающей внутренней связи и гармоніи, безъ разумнаго и духовнаго единства: государство изъ насилій завоеванія, законодательство изъ логическихъ разсужденій юрисконсультовъ и собраній и внѣшнихъ воздѣйствій на массу.

Россія получила религію и образованность отъ Византіи и къ ней перешла глубокая, нравственно-свободная мудрость древнихъ отцовъ церкви, ищущая внутренней цѣльности разума, а не внѣшней связи логическихъ понятій. Восточный созерцатель это—безмя-

[111]) *Сочиненія Кирѣевскаго*. I, стр. 80, ср. Барсуковъ, IV, 8—9.

тежность внутренней цѣльности духа, глубина самосознанія, западный схоластикъ—безпокойный діалектикъ, «всегда суетливый, когда не театральный».

Раньше нѣкоторыя мысли Кирѣевскаго о спасительной силѣ европеизма и о варварствѣ русской старины и самобытности напоминали *Философическія письма* Чаадаева, теперь все наоборотъ.

Авторъ въ прошломъ русской исторіи открываетъ блестящія картины цивилизаціи, затмевающія европейское просвѣщеніе: богатѣйшія библіотеки у нѣкоторыхъ русскихъ князей XII и XIII вѣковъ, изумительная образованность монаховъ и тѣхъ же князей: они занимались такими «глубокомысленными писаніями» отцовъ церкви, какія «даже въ настоящее время едва ли каждому нѣмецкому профессору любомудрія придутся по силамъ мудрости».

Въ столь же идеальномъ свѣтѣ рисуется автору и древнерусская семья и вообще вся нравственная личность и даже внѣшнее поведеніе русскаго человѣка. Увлеченіе доходитъ до идеализаціи, совершенно неожиданной послѣ извѣстныхъ намъ юношескихъ заявленій Кирѣевскаго о необходимости *общее мнѣніе* возвышать до уровня ума *людей просвѣщенныхъ*.

Теперь выхваляется именно личное самоотреченіе русскаго характера. Русскій человѣкъ никогда не стремился «выставить свою самородную особенность», у него единственное желаніе «быть правильнымъ выраженіемъ основного духа общества».

Отсюда недалеко до прославленія вообще пассивныхъ добродѣтелей, даже страданія и примиренія съ какими бы то ни было внѣшними условіями общественной жизни.

И Кирѣевскій, дѣйствительно, прибавляетъ такую параллель:

«Западный человѣкъ искалъ развитіемъ внѣшнихъ средствъ облегчить тяжесть внутреннихъ недостатковъ. Русскій человѣкъ стремился внутреннимъ возвышеніемъ надъ внѣшними потребностями избѣгнуть тяжести внѣшнихъ нуждъ». И русскій человѣкъ, по мнѣнію Кирѣевскаго, даже не понялъ бы, въ старину, политической экономіи: такъ идеально было его міросозерцаніе!

Не смотря на неуклюжесть и туманность выраженій, смыслъ ясенъ: у русскаго человѣка, подъ покровомъ «внутренняго возвышенія», изумительная приспособляемость къ обстоятельствамъ и неистощимое терпѣніе.

И вотъ къ этимъ-то основамъ просвѣщенія Кирѣевскій призывалъ своихъ читателей! Онъ, конечно, не мечталъ о возстановленіи старины во всей ея неприкосновенности, но, въ то же время,

«въ прежней жизни отечества», «въ самобытныхъ началахъ» указывалъ единственный источникъ науки. Какъ собственно указанныя выше начала могутъ развить науку и зачѣмъ вообще ее развивать, если еще писанія XV вѣка превосходили мудростью современныхъ философовъ и если древній русскій человѣкъ достигалъ идеала «внутренней цѣльности самосознанія», «внутренней справедливости» въ законахъ, «единодушной совокупности» въ сословныхъ отношеніяхъ и «твердости семейныхъ и общественныхъ связей? [112])»

Что-нибудь изъ двухъ: или русскій человѣкъ не такое ужъ совершенство, какъ онъ рисуется автору, или никакая новая образованность не имѣетъ ни цѣли, ни смысла. Эта дилемма до конца не исчезнетъ изъ славянофильской философіи, и именно она будетъ внутреннимъ разъѣдающимъ недугомъ всей системы, какъ бы искренни и благородны ни были ея защитники.

Но въ тридцатыхъ годахъ дилеммы еще не существовало, по крайней мѣрѣ, для молодыхъ шеллингіанцевъ. Всѣ они приблизительно въ духѣ Кирѣевскаго рѣшали вопросъ объ отношеніи европейскаго просвѣщенія къ русскому и, твердо стоя на почвѣ національности, часто даже впадая въ патріотическій лиризмъ, они не забывали своихъ учителей и ни на минуту не сомнѣвались въ великой силѣ западной цивилизаціи и въ ея благодѣяніяхъ русской литературѣ и русскому народу.

Эта идея нашла полное осуществленіе въ критикѣ и въ ученолитературной дѣятельности молодежи. Философія и народность уживались рядомъ и пролагали пути истинно идейному и національному искусству.

XXXIX.

Мы видѣли, журналъ Павлова ставилъ въ неразрывную связь изслѣдованіе народнаго творчества и проникновеніе въ литературу реализма. Молодые дѣятели съ точностью принялись выполнять эту вполнѣ логическую программу.

Братъ Кирѣевскаго, Петръ Васильевичъ, первый изъ современныхъ поклонниковъ русской старины, началъ собирать народныя пѣсни, внесъ въ это дѣло необыкновенное чутье народнаго духа, величайшее усердіе и представилъ, такимъ образомъ, на-

[112]) *Сочиненія*, II, стр. 229 etc.

глядныя иллюстраціи для художественной критики новаго направленія.

Достойнымъ соревнователемъ Кирѣевскаго явился Максимовичъ, авторъ извѣстной намъ статьи о *Полтавѣ*.

Максимовичъ, спеціалистъ по ботаникѣ, но слушатель Павлова и Давыдова, рано пристрастился къ философіи и словесности, философіи давалъ полный просторъ въ своихъ ботаническихъ разсужденіяхъ, а словесность разрабатывалъ въ журналахъ. Малороссъ по происхожденію, онъ естественно современныя національныя увлеченія перенесъ на малорусскую поэзію и издалъ три сборника украинскихъ пѣсенъ.

Первый сборникъ вышелъ въ 1827 году и предисловіе къ нему одинъ изъ краснорѣчивѣйшихъ образцовъ критики двадцатыхъ годовъ въ ея основныхъ принципахъ. Тонъ статьи показываетъ, что принципы эти еще новость, и тѣмъ важнѣе было одновременное появленіе и теоріи, и примѣровъ, превосходно пояснявшихъ теорію.

«Наступило, кажется, то время,—писалъ издатель пѣсенъ,—когда познаютъ истинную цѣну народности; начинаетъ уже сбываться желаніе: да создастся поэзія истинно-русская! Лучшіе наши поэты уже не въ основу и образецъ своихъ твореній поставляютъ произведенія иноплеменныхъ, но только средствомъ къ полнѣйшему развитію самобытной поэзіи, которая зачалась на родимой почвѣ, долго была заглушаема пересадками иностранными и только изрѣдка сквозь нихъ пробивалась».

Максимовичъ лично обладалъ поэтическимъ талантомъ и художественнымъ чувствомъ. Его сборникъ имѣлъ не только научное значеніе, онъ настоящій художественный памятникъ, одинаково цѣнный и для поэта, и для историка. Пушкинъ и Гоголь восторженно привѣтствовали трудъ Максимовича, и этотъ фактъ краснорѣчивѣе всѣхъ статей засвидѣтельствовалъ вѣрность направленія, принятаго молодыми критиками. Для старыхъ шеллингіанцевъ такое единеніе оказалось недостижимой задачей, здѣсь же мы заранѣе ждемъ возможно тщательной и разумной оцѣнки современныхъ поэтическихъ талантовъ, въ томъ числѣ Пушкина.

Максимовичъ уже доказалъ это; его товарищи и раньше, и позже его статьи шли тѣмъ же путемъ, искренне стремясь философскій идеализмъ сблизить съ дѣйствительностью, преклоненіе предъ европейской культурой съ основами русской національности. Если цѣль оказалась не вполнѣ достигнутой, причина отнюдь не

въ недостаткѣ доброй воли и еще менѣе — въ ошибочномъ понимании задачи.

Въ кружкѣ Раича съ самаго начала не умирала мысль о журналѣ. Членовъ кружка связывала совмѣстная служба при Московскомъ архивѣ иностранныхъ дѣлъ. Всѣ упомянутые нами писатели братья Кирѣевскіе, кн. Одоевскій, Веневитиновъ — «архивные юноши». Столь тѣсныя отношенія естественно внушали мысль объ общей литературной работѣ.

Вопросъ обсуждался долго и внимательно. Участіе принимали и Полевой, будущій издатель *Телеграфа*, и кн. Вяземскій, главнѣйшій его сотрудникъ въ началѣ изданія. Въ проектахъ, конечно, не оказалось недостатка, но въ обществѣ немедленно выяснилось два теченія, въ высшей степени для насъ любопытныхъ.

Соображенія Полевого на счетъ журнала не встрѣтили одобренія «архивныхъ юношей», философовъ и аристократовъ. Къ Полевому, очевидно, примкнулъ и кн. Вяземскій. Оба остались при особомъ мнѣніи, а другой проектъ былъ представленъ Веневитиновымъ въ формѣ статьи *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала*.

Это было моментомъ разъединенія среди русскихъ критиковъ. Оно основывалось не на рѣзкой разницѣ общественныхъ и литературныхъ взглядовъ: всѣ одинаково признавали романтизмъ, философію, вообще германское вліяніе. Были, конечно, степени въ *увлеченіяхъ*, но принципы для всѣхъ оставались признанными и прочными.

Вопросъ заключался въ практическомъ приложеніи этихъ принциповъ.

Здѣсь «архивные юноши» оказывались будто людьми другой планеты сравнительно съ Полевымъ, типичнымъ журнальнымъ бойцомъ, и даже сравнительно съ кн. Вяземскимъ.

Мы знаемъ, какія цѣли, по мнѣнію Полевого должен былъ преслѣдовать русскій публицистъ: это неограниченная популяризація фактовъ и идей, неустанная забота о новизнѣ и занимательности матеріала, въ общемъ самоотверженное служеніе публикѣ, хотя и вполнѣ культурное и просвѣтительное. А разъ публика занимаетъ такое мѣсто въ предпріятіи журналиста, онъ естественно превращается въ ловца сочувствій, т. е. въ литературнаго борца, въ полемизатора съ соперниками и противниками. Гдѣ же собственно предѣлъ борьбѣ и до какой температуры дол-

[113]) *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала.*

женъ достигать полемическій азартъ—вопросы несущественные и зависятъ исключительно отъ обстоятельствъ. Заранѣе можно предположить, предѣлы будутъ очень широки и температура высока, разъ журналистъ во что бы то ни стало добивается общественнаго интереса къ своему дѣлу.

Приблизительно такихъ же мыслей держался и кн. Вяземскій.

Болѣе тридцати лѣтъ спустя онъ сочинилъ *Литературную Исповѣдь* и вполнѣ откровенно опредѣлялъ духъ своей былой журнальной дѣятельности:

Когда я молодъ былъ и кровь кипѣла въ жилахъ,
Я тотъ же кипятокъ любилъ искать въ чернилахъ.
Журнальныхъ схватокъ пылъ, тревогъ журнальныхъ шумъ
Какъ хмелемъ подстрекалъ заносчивый мой умъ.
Въ журнальный циркъ не разъ, задорный литераторъ
На драку выходилъ, какъ древній гладіаторъ.

Онъ былъ «бойцомъ кулачнымъ», и это не преувеличено.

Именно кн. Вяземскій первый поднялъ полемику изъ за романтизма по поводу *Бахчисарайскаго фонтана*, безпощадно преслѣдуя «классиковъ», т. е. *Вѣстникъ Европы*, не скупился на эпиграммы, а впослѣдствіи и на очень сильныя личныя выходки противъ ненавистныхъ литераторовъ. Впослѣдствіи среди враговъ Бѣлинскаго мы встрѣтимъ кн. Вяземскаго во всемъ пылу гнѣва и страсти, и не одного Бѣлинскаго, а вообще

«Какихъ-то—не къ домекъ—сороковыхъ годовъ».

Вообще другъ Пушкина не отставалъ отъ великаго поэта въ неутомимой энергіи бросить стрѣлу по адресу литературнаго противника, и на этотъ счетъ даже припоминалъ старинныхъ бояръ, своихъ предковъ, страшныхъ охотниковъ до кулачныхъ свалокъ.

Естественно, Вяземскій одинъ изъ первыхъ поддержалъ Полевого.

Но другая партія совершенно иначе понимала свой аристократизмъ и съ негодованіемъ отвернулась бы отъ картины «боярина-богатыря», съ такимъ вкусомъ нарисованной въ *Исповѣди* Вяземскаго. Ея идеалъ проникнутъ спокойно-философскимъ созерцаніемъ и невозмутимо-культурной терпимостью, идеалъ высшаго изящнаго просвѣщенія, глубокой идейности и чисто-рыцарственнаго служенія одной истинѣ съ твердымъ разсчетомъ стяжать друзей и читателей во имя только этой истины.

Мы знакомы съ лирически-мечтательной, отчасти мистической личностью кн. Одоевскаго. Веневитиновъ не такъ былъ склоненъ

къ тайнамъ и символамъ; напротивъ, онъ стремился къ ясности и полной опредѣленности мысли. Но вся натура располагала его къ тому же жанру мирнаго аристократически-свободнаго философствованія, какимъ жилъ и Одоевскій. Недаромъ, его первое юношеское увлеченіе Гёте и первая страсть—поэзія—въ высшей степени вдумчивая, полная философскихъ отголосковъ, но прекраснодушная и по существу идиллическая.

Въ посланіи къ одному изъ друзей Веневитиновъ говорилъ:

Оставь, о, другъ мой, ропотъ твой,
Смири преступныя волненья:
Не ищетъ вчужѣ утѣшенья
Душа богатая собой.
Не вѣрь, чтобъ люди разгоняли
Сердецъ возвышенныхъ печали.

Печали молодого поэта, конечно, не безнадежныя мечтанія празднаго ума и эпикурействующаго сердца, столь часто украшающія банальность мысли и мелкоту чувства не соотвѣтствующими звуками и красками. У Веневитинова рано и быстро развиваются задатки настоящаго мыслителя. У него стихотворчество только одно изъ самыхъ незначительныхъ проявленій изумительно богатой духовной жизни и онъ самъ произнесетъ безжалостный приговоръ надъ притязательными «сынами Аполлона»:

«Многочисленность стихотворцевъ», по мнѣнію Веневитинова, «во всякомъ народѣ есть вѣрнѣйшій признакъ его легкомыслія». Истинный поэтъ непремѣнно философъ, *глубокій мыслитель*, «вѣнецъ просвѣщенія». Онъ творецъ не подъ вліяніемъ «перваго чувства»: оно «только порождаетъ мысль, которая развивается въ борьбѣ», и мысли снова надо обратиться въ чувство, чтобы явиться поэзіей. Иначе—она выродится въ простой механизмъ, станетъ «орудіемъ безсилія». Человѣкъ не можетъ дать себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ и, естественно, избѣгаетъ точнаго языка разсудка, т. е. прозы, освобождаетъ себя—подъ предлогомъ чувства—отъ обязанности мыслить и, поддаваясь безотчетному наслажденію, отвлекается отъ высокой цѣли совершенствованія.

Это—прекрасная характеристика чистыхъ художниковъ римъ и сладкихъ звуковъ. Именно такъ долженъ былъ говорить поэтъ-философъ, такъ думали и его сверстники. «Поэту необходимы знанія», твердилъ Одоевскій, «поэту необходимы убѣжденія, потому что для читателей вовсе не безразлично, какъ поэтъ относится

къ тѣмъ или другимъ явленіямъ міра физическаго и нравственнаго» [114]).

Всѣ эти идеи, конечно, не представляютъ ничего неожиданнаго: всѣ онѣ свободно могли возникнуть на почвѣ шеллингіанской идеализаціи поэта. Ничего нѣтъ поразительнаго и въ разсужденіи Одоевскаго о «поэтическомъ магизмѣ», т. е. о способности поэтовъ предвосхищать историческія изысканія ученыхъ и *проницать* тайны прошлаго независимо отъ разработки источниковъ [115]).

Достигнуть подобнаго успѣха, конечно, не могутъ простые стихотворцы съ безотчетными чувствами и мимолетными настроеніями, и мы поймемъ, почему молодые шеллингіанцы поспѣшатъ объявить Пушкина *поэтомъ-философомъ*. Это означало—выдѣлить его изъ сонма всѣхъ современныхъ сладкопѣвцевъ и ремесленниковъ [116]).

Веневитиновъ до конца своей краткой жизни останется настоящимъ подвижникомъ мысли и, скончавшись двадцати двухъ лѣтъ, оставитъ русской критикѣ почетное и богатое наслѣдство.

Но этимъ вопросъ не рѣшался. Смыслъ всякаго богатства заключается не въ количествѣ, а *въ оборотѣ*, въ практической широкой производительности богатства. Выполнялось ли это условіе дѣятельностью Веневитинова и его друзей?

Всѣ они съ глубокой убѣжденностью работали надъ личнымъ умственнымъ развитіемъ, всѣ горѣли истинно-гражданскимъ желаніемъ—сдѣлать участниками своихъ сокровищъ и русское общество, даже народъ. Насколько же удалось имъ осуществить свою столь трудную и высокую задачу?

Въ сущности, отвѣтъ въ общихъ чертахъ мы предвосхитили даже отрывочной характеристикой даровитѣйшихъ русскихъ философовъ. Факты только полнѣе объяснятъ намъ уже извѣстное и окончательно установятъ значеніе философской молодежи въ исторіи нашего общественнаго просвѣщенія. Мы отъ начала до конца пребудемъ въ области необыкновенно развитой мысли, искренняго энтузіазма, и въ то же время насъ неотступно будутъ преслѣдовать «сердецъ возвышенныхъ печали».

114) *Русскія ночи. Соч.* I, 172.

115) *Ib.*, стр. 387.

116) Кирѣевскій. Въ ст. *Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина.*

XL.

Планъ, представленный Веневитиновымъ, ясно опредѣлялъ литературное направленіе будущаго журнала. Авторъ совершенно покончивалъ съ французскимъ вліяніемъ: въ обществѣ *любомудрія*, т. е. германской философіи, — это былъ вопросъ рѣшенный. Но устранить французскія правила не значитъ отдаться полному произволу, а именно это, по мнѣнію Веневитинова, и произошло въ русской литературѣ.

Послѣ освобожденія отъ классицизма явилась всеобщая страсть къ стихотворству и совершенное пренебреженіе къ умственной работѣ, къ систематической подготовкѣ основы для новой литературы.

Такую подготовку можетъ создать только философія, какъ наука. Она вызоветъ самостоятельную дѣятельность русской мысли и упрочитъ ея *самобытное* развитіе. Философія разовьетъ въ русскомъ обществѣ и народѣ *самопознаніе*, т. е. способность отдавать себѣ отчетъ въ своемъ прошломъ и въ «своемъ предназначеніи», — и въ результатѣ русскіе люди направятъ свои нравственныя усилія къ цѣлямъ дѣйствительно-національнымъ, исторически и разумно-необходимымъ.

Ясно, начала философіи должны стать доступными русской публикѣ, и въ этомъ заключается цѣль журнала.

Тожественныя идеи исповѣдывалъ и Одоевскій. Параллельно съ нападками Веневитинова на безотчетное стихотворство, онъ въ *Вѣстникѣ Европы* нападалъ на пустоту, безсмысліе и невѣжество такъ называемаго просвѣщеннаго русскаго общества, большого свѣта. Очевидно, апостолы *любомудрія* совершенно ясно поняли, гдѣ таятся жесточайшіе враги серьезной умственной работы и идейной литературы.

Результатомъ всѣхъ этихъ разсужденій и явился альманахъ *Мнемозина*.

Цѣль журнала заключалась въ борьбѣ съ французской легковѣсной философіей, съ заграничными бездѣлками. Издатели хотѣли обратить вниманіе русскаго общества на истинную философію, «распространить нѣсколько новыхъ мыслей, блеснувшихъ въ Германіи».

Такъ объясняли издатели свое предпріятіе уже въ то время, когда оно отживало свои дни, — но программа дѣйствительно выполнялась неуклонно. Правда, выполнять пришлось очень недолго:

вышло всего четыре книги и все изданіе продолжалось годъ съ небольшимъ.

Успѣха оно не имѣло: у *Мнемозины* оказалось всего 157 подписчиковъ, какъ разъ изъ того самаго большого свѣта, какой громилъ кн. Одоевскій. Объ общественномъ вліяніи не могло быть и рѣчи. И между тѣмъ, его слѣдовало бы желать по всѣмъ даннымъ.

Издатели заручились сотрудничествомъ первостепенныхъ литературныхъ силъ: Пушкинъ, Грибоѣдовъ стояли во главѣ поэзіи, кн. Вяземскій и молодой другъ Пушкина—Кюхельбекеръ должны были украсить критическій отдѣлъ. Павловъ и Одоевскій завѣдывали философіей.

Что могъ проповѣдывать альманахъ по части философіи мы знаемъ: важнѣйшимъ произведеніемъ здѣсь были статьи кн. Одоевскаго—*Афоризмы изъ различныхъ писателей, по части современнаго германскаго любомудрія*. Любопытнѣе критика: здѣсь пальма первенства принадлежитъ статьѣ Кюхельбекера *О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической въ послѣднее десятилѣтіе.*

Еще до изданія *Мнемозины* Кюхельбекеръ пріобрѣлъ извѣстность въ качествѣ критика, и кн. Одоевскій счелъ необходимымъ заручиться его сотрудничествомъ.

Товарищъ Пушкина по лицею, сынъ нѣмецкой семьи, Кюхельбекеръ еще въ школѣ числился страстнымъ поклонникомъ литературы, преимущественно германской и романтической. Ему не требовалось философскихъ изысканій, чтобы вознегодовать на классицизмъ и своими художественными сочувствіями совпасть съ шеллингіанцами.

Кюхельбекеръ дѣйствительно и не причастенъ любомудрію. Онъ принадлежитъ къ чистымъ романтикамъ, романтикамъ по инстинктивнымъ влеченіямъ и поэтическому складу натуры, какимъ былъ и современный ему критикъ и романистъ Бестужевъ-Марлинскій. Мы упоминали объ этой нефилософской породѣ молодежи двадцатыхъ годовъ; она, независимо отъ философіи и даже дѣятельнѣе самихъ философовъ, защищала новое искусство и являлась будто переходнымъ звеномъ отъ критиковъ къ художникамъ, отъ отвлеченной мысли къ творчеству, отъ теоріи къ практикѣ.

Немедленно по выходѣ изъ лицея Кюхельбекеръ напалъ на французскій классицизмъ во имя «германическаго духа», по его мнѣнію, «ближайшаго къ нашему національному духу», и развѣнчивалъ русскихъ классиковъ, ссылаясь, между прочимъ, на критику Мерзлякова о Херасковѣ.

Двѣ статьи такого содержанія были напечатаны въ 1817 году, въ петербургской французской газетѣ *Conservateur impartial*, издававшейся при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ [117]).

Съ тѣхъ поръ взгляды Кюхельбекера на «германическій духъ» измѣнились. Его статья въ *Мнемозинѣ* основана на самобытныхъ принципахъ. Съ ними вполнѣ былъ согласенъ Пушкинъ и это обстоятельство, вѣроятно, и вызвало приглашеніе Кюхельбекера въ *Мнемозину*.

Перемѣна въ воззрѣніяхъ Кюхельбекера такъ же, вѣроятно, произошла подъ вліяніемъ Пушкина. Теперь онъ ратовалъ противъ «наносныхъ нѣмецкихъ цѣпей» и вообще противъ всякихъ иноземныхъ, и могъ вполнѣ заслужить наименованіе *перваго славянофила*, какое дали ему впослѣдствіи [118]).

Кюхельбекеръ, какъ поэтъ, впадаетъ въ еще болѣе восторженный лиризмъ, чѣмъ произошло впослѣдствіи съ Кирѣевскимъ.

«Да создастся,—восклицаетъ онъ,—для славы Россіи поэзія истинно-русская, да будетъ святая Русь не только въ гражданскомъ, но и въ нравственномъ мірѣ первою державою во вселенной! Вѣра праотцевъ, нравы отечественные, лѣтописи, пѣсни и сказанія народныя—лучшіе, чистѣйшіе, важнѣйшіе источники для нашей словесности».

Великія надежды авторъ возлагаетъ на Пушкина, какъ представителя новой національной литературы. Кюхельбекеръ очень проницательно раскрываетъ *ненародное* содержаніе поэзіи Жуковскаго, разъясняетъ психологію литературнаго *подражателя*, всегда лишеннаго силы, свободы и вдохновенія, «необходимыхъ трехъ условій всякой поэзіи». Выводъ точный и ясный: «всего лучше имѣть поэзію народную» [119]).

Одновременно Кюхельбекеръ напечаталъ въ *Мнемозинѣ* пылкое стихотвореніе—*Проклятіе*. «Гнусному оскорбителю» поэта сулились всевозможныя кары, а поэтъ превозносился какъ исключительное, божественное явленіе на землѣ...

Альманаху нельзя было отказать ни въ критической талантливости, ни въ литературности, ни еще менѣе—въ серьезности содержанія. Но всѣ эти достоинства оказались втунѣ.

Нѣкоторые тонкіе цѣнители и отзывчивые юноши съ лю-

---

[117]) Ср. Колюпановъ. II, 24.

[118]) *Русск. Стар.* 1875, XIII, 337. *В. К. Кюхельбекеръ.* Сообщ. Ю. Косова и М. Кюхельбекера.

[119]) *Мнемозина.* М. 1824, часть II.

*

бовью читали статьи сборника и особенно сочиненія Одоевскаго: объ этомъ свидѣтельствуетъ Бѣлинскій, но для большой публики такая умственная пища была слишкомъ тонкой, а философія въ формѣ афоризмовъ—прямо утомительной.

Мнемозина явилась слишкомъ аристократичной и ученой для своихъ современниковъ—и не только читателей, но и для журналистовъ. Мы впослѣдствіи познакомимся съ пріемами журнальной полемики въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ: исторія *Московскаго Телеграфа* дастъ намъ изобильный матеріалъ, а такія фигуры, какъ Булгаринъ и Сенковскій, освободятъ насъ отъ всякихъ разъясненій. Кн. Одоевскому и его сотрудникамъ уже пришлось бороться съ подобными героями, и легко представить, борьба оказалась не по силамъ.

Полевой и кн. Вяземскій—люди другого типа: они превосходно справлялись съ журнальной тлёй и Булгаринымъ, въ жуткія минуты приходилось прибѣгать къ другимъ своимъ талантамъ—*не литературнымъ*. *Мнемозинѣ* пришлось сложить оружіе, и не столько потому, что для нея страшенъ былъ Булгаринъ, сколько по несоотвѣтствію ея тона и содержанія вкусамъ и умственному уровню публики. Та же исторія произойдетъ и съ *Московскимъ Вѣстникомъ*, дѣтищемъ той же передовой философской и литературной молодежи.

Бѣлинскій очень мѣтко объяснилъ его кончину и его слова цѣликомъ можно примѣнить къ *Мнемозинѣ* и вообще ко всѣмъ литературнымъ предпріятіямъ благородныхъ любомудровъ.

«*Московскій Вѣстникъ*,—говоритъ Бѣлинскій,—имѣлъ большія достоинства, много ума, много таланта, много ученость, но мало, чрезвычайно мало смѣтливости и догадливости и потому самъ былъ причиною своей преждевременной кончины. Въ эпоху жизни, въ эпоху борьбы и столкновенія мыслей и мнѣній, онъ вздумалъ наблюдать духъ какой-то умѣренности и отчужденія отъ рѣзкости въ сужденіяхъ».

Одоевскій, приблизительно, въ томъ же смыслѣ объяснялъ неудачу и своего альманаха. Онъ несравненно рѣзче, чѣмъ Бѣлинскій, изображаетъ «жизнь» и «борьбу». Это понятно, Бѣлинскій самъ *жилъ* и лично *боролся*, на него явленія той и другой области не могли производить эстетически-удручающаго впечатлѣнія. А кн. Одоевскій именно какъ эстетикъ судитъ о бурной сценѣ дѣйствительности.

«Я и мои товарищи,—пишетъ онъ,—были въ совершенномъ

заблужденіи. Мы воображали себя на тонкихъ философскихъ диспутахъ портика или академіи, или по крайней мѣрѣ въ гостиной; въ самомъ же дѣлѣ мы были въ райкѣ: вокругъ пахнетъ саломъ и дегтемъ, говорятъ о цѣнахъ на севрюгу, бранятся, поглаживаютъ нечистую бороду и засучиваютъ рукава; а мы выдумываемъ вѣжливыя насмѣшки, остроумные намеки, діалектическія тонкости, ищемъ въ Гомерѣ или Виргиліи самую жестокую эпиграмму противъ враговъ нашихъ, боимся расшевелить ихъ деликатность».

Пораженіе неизбѣжное, и оно имѣло для кн. Одоевскаго тѣ же послѣдствія, какія гибель *Европейца* для Кирѣевскаго. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Одоевскій молчалъ и занялся службой.

Такова судьба даровитѣйшихъ шеллингіанцевъ. Они дурно справляются съ превратностями литературнаго поприща и еще неудачнѣе ведутъ себя какъ просвѣтители публики. Они не понимаютъ и не знаютъ своихъ читателей. Они слишкомъ аристократичны, не по убѣжденіямъ и еще менѣе сословнымъ предразсудкамъ, а по пріемамъ дѣятельности. Они—господа, говорящіе толпѣ умныя рѣчи съ балкона и способные придти въ ужасъ при одной мысли спуститься на улицу и сойтись лицомъ къ лицу съ своими слушателями.

Естественно, слушатели остаются совершенно равнодушными и къ рѣчамъ, и къ самимъ ораторамъ. Судьба жестокая, несправедливая, но законная и неотразимая!

Послѣ *Мнемозины* дѣятельность товарищей и единомышленниковъ Одоевскаго не прекратилась немедленно. Они нашли пріютъ въ другихъ журналахъ, хотя ихъ скоро поразилъ страшный ударъ: смерть вырвала изъ ихъ среды едва ли не самую блестящую надежду русской философской критики двадцатыхъ годовъ.

XLI.

Веневитиновъ, кромѣ *Плана*, успѣлъ написать еще нѣсколько статей—незначительныхъ по размѣрамъ, но въ высшей степени содержательныхъ. Отголоски ихъ будутъ встрѣчаться намъ вплоть до самаго зрѣлаго періода критики Бѣлинскаго.

Мы знаемъ негодованіе Веневитинова на поэтическій произволъ новой литературы, на понятіе о романтизмѣ, какъ о полномъ отсутствіи какихъ бы то ни было руководящихъ идей для поэтическаго творчества.

Это понятіе составилось вполнѣ естественно: романтизмъ устра-

нялъ классическую школу, т.-е. системы, формулы, правила, очевидно, онъ самъ—полная неограниченная свобода, капризная игра фантазіи и всевозможныя прихоти поэтической личности. Подтвержденіе этой теоріи не трудно было найти и въ западномъ романтизмѣ: бурные германскіе геніи могли служить безукоризненными образцами *натиска* въ какомъ угодно *нелогическомъ* направленіи. Страстная протестующая поэзія Байрона не противорѣчила тому же представленію. Надеждинъ имѣлъ основаніе напасть на *лжеромантизмъ*, на разнузданность нарочито своевольнаго воображенія и преднамѣренныя оскорбленія здравому смыслу и осмысленной красотѣ.

Надеждинъ могъ бы сослаться даже на теорію, не только на практику современныхъ романтиковъ, напримѣръ, на произведеніе Ореста Сомова *О романтической поэзіи*. Здѣсь романтизмъ опредѣлялся какъ «прихоть своенравной поэзіи, которая отметаетъ все обыкновенное, требуя новаго и небывалаго».

Но московскій профессоръ не представлялъ ясно цѣли своихъ нападеній, а главное, не имѣлъ для собственнаго обихода точнаго представленія о романтизмѣ и могъ громить однимъ ударомъ и уродливыя упражненія бездарныхъ фантазеровъ, и Пушкина вмѣстѣ съ Байрономъ.

А между тѣмъ настоятельно было освободить новую литературу отъ упрековъ въ безпринципности, указать и на новомъ пути принципы, по достоинству отнюдь не уступающіе старымъ правиламъ.

Эту цѣль и имѣлъ въ виду Веневитиновъ.

Защищая необходимость научнаго философскаго просвѣщенія, онъ требовалъ отъ литературы «болѣе думать, нежели производить». Молодой критикъ отвергалъ самодовлѣющее искусство, и общественное значеніе поэта опредѣлилъ въ такихъ выраженіяхъ, какія Бѣлинскій повторилъ только въ послѣдніе годы своей дѣятельности.

«Для общества,—писалъ Веневитиновъ,—безполезенъ поэтъ, который наслаждается въ собственномъ своемъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и, слѣдовательно, уклоняется отъ цѣли всеобщаго совершенствованія».

Полемизируя съ Полевымъ изъ-за *Евгенія Онѣгина*, Веневитиновъ настаивалъ на «исторической точкѣ зрѣнія въ искусствѣ», и на «одной основной мысли» критическихъ воззрѣній. Исторія научитъ насъ, что романтическая поэзія вовсе не заключается

только «въ неопредѣленномъ состояніи сердца», и что «поэты не летаютъ безъ цѣли и какъ будто единственно на зло піитикамъ». Въ самой поэзіи имѣются свои постоянныя правила, каковыя имъ должна открыть философія и исторія.

И на этомъ основаніи Веневитиновъ требовалъ отъ поэтовъ «философіи времени», т.-е. умственнаго развитія, стоящаго на уровнѣ эпохи, отъ критиковъ—руководящихъ идей, отъ профессоровъ, вродѣ Мерзлякова, — признанія «постепенности существеннаго развитія искусства».

Насъ часто поражаетъ *буквальное* совпаденіе идей Веневитинова и Бѣлинскаго, и уже этотъ фактъ свидѣтельствуетъ, по какому пути направилась бы критика молодого автора.

Напримѣръ, въ статьѣ объ *Евгеніи Онѣгинѣ* Веневитиновъ признаетъ единственно разумный способъ цѣнить явленія словесности—«степенью философіи времени, а въ частяхъ по отношенію мыслей каждаго писателя къ современнымъ понятіямъ о философіи». И съ этой точки зрѣнія, прибавляетъ Веневитиновъ, и «Аристотель не потеряетъ правъ своихъ на глубокомысліе».

Бѣлинскій въ 1842 году писалъ:

«Искусство подчинено какъ и все живое и абсолютное процессу историческаго развитія... Искусство нашего времени есть выраженіе, осуществленіе въ изящныхъ образахъ современнаго сознанія, современной думы о значеніи и цѣли жизни, о нуждахъ человѣчества, о вѣчныхъ истинахъ бытія.

Веневитиновъ въ разгаръ ожесточеннѣйшихъ нападокъ *Вѣстника Европы* на *Руслана и Людмилу*, на основаніи этой поэмы предсказывалъ *національное* значеніе пушкинской поэзіи и народность опредѣлилъ такъ, какъ ее впослѣдствіи объяснялъ Гоголь и вмѣстѣ съ нимъ Бѣлинскій въ статьяхъ о Пушкинѣ.

«Народность отражается не въ картинахъ, принадлежащихъ какой-либо особенной странѣ, но въ самыхъ чувствахъ поэта, напитаннаго духомъ одного народа и живущаго, такъ сказать, въ развитіи, успѣхахъ и отдѣльности его характера».

Правда, понятіе *духа народа* весьма неопредѣленно, и мы увидимъ, самого Веневитинова оно не навело на вѣрное представленіе о пушкинскомъ романѣ. Пришлось другому критику того же направленія, исправить недоразумѣніе. Мы видѣли, нѣчто подобное произошло и съ Надеждинымъ, четыре года спустя опредѣлявшимъ народность словами Веневитинова. Ему также мелькомъ брошенная фраза о народности не помѣшала уничтожить *Евгенія*

Онѣгина. Но, помимо частной ошибки, Веневитиновъ совершенно иначе понялъ самый талантъ Пушкина и его будущее развитіе, чѣмъ ученый сотрудникъ *Вѣстника Европы*.

Именно о статьѣ по поводу первой главы *Евгенія Онѣгина* Пушкинъ отозвался, что только ее одну прочелъ съ любовью и вниманіемъ: «все остальное или брань, или переслащенная дичь».

Поэтъ простеръ свое вниманіе дальше благосклонныхъ заявленій. Онъ читалъ у Веневитинова *Бориса Годунова*. Когда потомъ сцена Пимена съ Григоріемъ была напечатана въ *Московскомъ Вѣстникѣ*, Веневитиновъ привѣтствовалъ ее статьей, написанной для *Journal de St.-Pétersbourg*—*Analyse d'une scène détachée de la tragédie de M. Pouchkin*. Статья появилась въ печати только въ полномъ собраніи сочиненій Веневитинова, но содержаніе ея не могло остаться тайной и мы указывали на странный поворотъ во мнѣніяхъ Надеждина о Пушкинѣ именно при появленіи *Бориса Годунова*. Мы не въ состояніи установить фактической связи между критикой Веневитинова и покаяніемъ профессора, но не должны упускать изъ виду и хронологическаго отношенія фактовъ.

Веневитиновъ въ трагедіи видѣлъ освобожденіе Пушкина отъ байроническихъ вліяній, рѣшался даже признать «поэтическое воспитаніе» поэта «законченнымъ». «Независимость его таланта—вѣрная порука его зрѣлости и его муза, являвшаяся только въ очаровательномъ образѣ граціи, принимаетъ двойной характеръ Мельпомены и Кліо».

Несомнѣнно, дальнѣйшее освобожденіе Пушкина и русской литературы отъ западнаго романтизма, ея переходъ къ національному реальному искусству также встрѣтилъ бы сочувствіе критика.

Но смерть прервала всѣ надежды, и идеи Веневитинова,—исторической, философской и общественной критики—должны были ждать полнаго своего воплощенія въ лицѣ Бѣлинскаго. А пока, непосредственно послѣ кончины Веневитинова раздались вопли Никодима Надоумки...

Смерть Веневитинова глубоко поразила не только его ближайшихъ друзей. Едва ли не перваго *критика* оплакивали *поэты*. Дельвигъ и Пушкинъ видѣли въ немъ чуткаго, художественно-одареннаго цѣнителя искуства.

Самъ поэтъ и въ то же время мыслитель, Веневитиновъ стремился слить въ идеальной гармоніи творчество и идею. Любопытно его доказательства философскаго содержанія гомеровскихъ поэмъ. Оно

заключается въ ясномъ и простомъ отраженіи природы. Слѣдовательно, всякое правдивое и реальное творчество въ то же время глубоко-идейно, стоитъ на уровнѣ философскаго мышленія. Веневитиновъ не успѣлъ обѣлить всѣхъ выводовъ изъ своихъ общихъ положеній, не могъ даже выяснить съ должной полнотой и самыя положенія, но, несомнѣнно, въ его умѣ бродили начала плодотворнѣйшей художественно-идейной критики.

Это чувствовалось даже тѣми, кто врядъ ли могъ понимать всю точность философски-развитой натуры Веневитинова. Погодинъ, не находившій въ самомъ себѣ искреннихъ созвучій съ современнымъ философскимъ движеніемъ, фигура московскаго склада и славянофильской окраски, много лѣтъ спустя послѣ смерти молодого критика трогательно вспоминалъ объ его нравственной красотѣ.

«Дмитрій Веневитиновъ былъ любимцемъ, сокровищемъ всего нашего кружка. Всѣ мы любили его горячо. Точно такъ предшествовавшее поколѣніе, поколѣніе Жуковскаго, относилось къ Андрею Тургеневу, а слѣдующее, забредшее на другую дорогу, къ Николаю Станкевичу. Въ Карамзинскомъ кружкѣ это мѣсто занималъ Петровъ. И всѣ четыре поколѣнія лишились безвременно своихъ представителей, какъ будто принося искупительныя жертвы. Двадцать пять лѣтъ собирались мы остальные въ этотъ роковой день 15 марта въ Симоновъ монастырь, служили панихиду, и потомъ обѣдали вмѣстѣ, оставляя одинъ приборъ для отбывшаго друга» [120]).

Веневитиновъ очень скоро былъ оцѣненъ и въ литературѣ Это понятно. Послѣ него оставалось не мало его единомышленниковъ, по крайней мѣрѣ, въ основныхъ принципахъ новой критики. Веневитинова оцѣнили именно въ томъ смыслѣ, какъ онъ этого самъ желалъ бы. Въ немъ признали поэта-философа, писателя, обѣщавшаго съ великимъ блескомъ оправдать единодушные разсчеты молодежи на просвѣтительную службу отечеству.

Критикъ, давшій такую характеристику таланту и уму Веневитинова, нѣкоторое время оставался дѣйствующимъ лицомъ на литературной сценѣ, и въ отзывѣ о покойномъ поэтѣ излагалъ точную программу своей собственной критической дѣятельности.

Въ *Обозрѣніи русской словесности за 1829 годъ* Кирѣевскій указывалъ на Веневитинова, какъ на самаго даровитаго поэта—по-

---

[120]) Барсуковъ, II, 92—3.

слѣдователя германской мысли и литературы. Онъ «созданъ былъ дѣйствовать сильно на просвѣщеніе своего отечества, быть украшеніемъ его поэзіи и, можетъ быть, создателемъ его философіи».

Это назначеніе видно изъ поэзіи Веневитинова. Предъ нами *философъ, проникнутый откровеніемъ своего вѣка*, поэтъ глубокій и самобытный, такъ какъ у него чувство освѣщено мыслью и каждая мысль согрѣта сердцемъ, «мечта не украшается искусствомъ, но сама собою родится прекрасная». Такое творчество, ничто иное, какъ свободное развитіе собственной души поэта, не ума разукрашенное преднамѣренно и навязанное извнѣ. Это «созвучіе и сердца», отсюда содержательность и глубина веневитиновскихъ стиховъ: философія ему еще болѣе сродна, чѣмъ поэзія.

Видѣть въ подобныхъ качествахъ идеальное достоинство поэта, значитъ сознательно и безповоротно въ основу литературной критики полагать свободное вдохновеніе поэта и нравственное богатство его личности. Очевидно, теоріи сами собой становятся непримѣнимыми, и идейность обусловливаетъ цѣнность творчества.

Этими понятіями и руководился Кирѣевскій въ своей, къ великому ущербу русской критики, непродолжительной критической дѣятельности.

XLII.

Первая статья Кирѣевскаго, за подписью цифръ 9. 11, напечатана въ *Московскомъ Вѣстникѣ*. Журналъ явился отчасти взамѣнъ погибшей *Мнемозины*, по крайней мѣрѣ, въ составъ сотрудниковъ и новаго журнала входили представители философской молодежи, Веневитиновъ, Кирѣевскій. Пушкинъ и здѣсь стоялъ на первомъ планѣ среди поэтовъ, даже больше, горячо интересовался вообще судьбой журнала.

Вѣстникъ возникъ въ результатѣ союза Погодина и Пушкина. Въ этомъ заключалась его новая отличительная черта отъ прежняго органа передовой литературы, хотя оба журнала были дѣтищами одного и того же кружка. Но во главѣ *Мнемозины* сталъ философъ и мечтатель, Одоевскій; редакторомъ *Вѣстника* былъ выбранъ Погодинъ, а Пушкинъ смотрѣлъ на журналъ, какъ на свой личный органъ, долженствующій притомъ одолѣть *Телеграфъ* Полевого.

Эти факты въ высшей степени важны и могли быть богаты послѣдствіями, если бы у сотрудниковъ Погодина оказалось больше энергіи и практическихъ талантовъ.

Погодинъ не имѣлъ никакихъ нравственныхъ касательствъ къ философіи. Именовать ее галиматьей, подобно Каченовскому, онъ, конечно, не имѣлъ духу при повальномъ увлеченіи «сока умной молодежи», германскимъ любомудріемъ, но это любомудріе совершенно не входило въ его самобытную душу. Сочувствіе равнодушію къ высокимъ матеріямъ онъ могъ усмотрѣть и въ краснорѣчивомъ замѣчаніи Пушкина: «за вами смотрѣть надо».

Замѣчаніе высказано по поводу намѣренія Погодина «ошеломить» альманахъ *Сѣверные цвѣты* «чѣмъ-нибудь капитальнымъ». Великій поэтъ не считалъ такихъ подвиговъ доблестными и въ журнальномъ дѣлѣ цѣлесообразными. Можно думать даже, Пушкинъ успѣхи поэзіи, особенно близкой его сердцу, ставилъ внѣ зависимости отъ философіи, смотрѣлъ на вопросъ совершенно практически. Если у поэта нѣтъ *дарованія*, не помогутъ ни философія, ни гражданственность [121]).

Пушкинъ, конечно, имѣлъ всѣ основанія рѣшать въ такомъ простѣйшемъ смыслѣ въ высшей степени сложный вопросъ. Его самого дѣйствительно одинъ талантъ провелъ между всевозможными подводными камнями современной словесности, въ открытое море свободнаго творчества.

Поэтъ, руководясь внушеніями своей исключительной природы, отдалъ только мимолетную дань романтизму и даже байронизму, соблазнительнѣйшему изъ всѣхъ искушеній, и съумѣлъ оцѣнить по достоинству и властителей своего юношескаго вдохновенія, и твердо стать на своемъ собственномъ пути.

Но совершенно иная судьба могла быть у другихъ, слабѣйшихъ, не столько по *таланту*, сколько по *личности*, по неспособности даже и большими силами пользоваться по *своей* программѣ, независимо отъ мнѣній большинства и даже вопреки имъ.

Пушкинъ считалъ своимъ *правомъ* идти наперекоръ вкусамъ публики, отчасти имъ же самимъ воспитаннымъ. И дѣйствительно шелъ, даже заранѣе предвидя непониманіе и вражду, могъ искренно удивляться сочувствію нѣкоторыхъ избранныхъ *Борису Годунову* и самоотверженно смѣяться надъ *Кавказскимъ плѣнникомъ*, популярнѣйшимъ произведеніемъ его музы среди читателей.

Многіе ли способны на такую роль?

И вотъ здѣсь же развитіе философіи и гражданственности

[121]) Критическія замѣтки. По поводу VII главы *Евг. Онѣгина. Сочин.* VII, 130.

являлось незамѣнимымъ подспорьемъ для поэта, сколько-нибудь перероставшаго умственный и художественный уровень поклонниковъ классицизма и обожателей романтической школы въ духѣ Жуковскаго.

Пушкинъ на примѣрѣ Веневитинова могъ оцѣнить эту истину, и не одного только Веневитинова.

Другой критикъ вызвалъ у поэта еще болѣе сочувственный отзывъ, и какъ разъ за статью, встрѣтившую залпъ насмѣшекъ въ современной журналистикѣ. Очевидно, философія могла быть соперницей поэзіи и именно такимъ представлялось ея назначеніе любомудрамъ шеллингіанскаго толка.

Первая статья Кирѣевскаго *Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина* еще рѣшительнѣе разсужденій Веневитинова знаменовала этотъ союзъ: недаромъ нѣсколько позже авторъ съ такой настойчивостью подчеркивалъ у самого Веневитинова органическую связь идеи и чувства.

Это первая статья, посвященная оцѣнкѣ вообще таланта Пушкина. Только въ 1828 году и отъ писателя молодой философской школы поэтъ дождался вдумчиваго и дѣйствительно литературнаго суда надъ своими произведеніями.

Авторъ дѣлитъ на три періода дѣятельность Пушкина, повторяя отчасти мысль Веневитинова, именно считая *Бориса Годунова* однимъ изъ знаменій *поэзіи русско-пушкинской*, т. е. безусловно самостоятельной, національной.

Но только *однимъ* изъ знаменій. Здѣсь существенное преимущество идеи Кирѣевскаго надъ критикой Веневитинова.

Кирѣевскій съ самаго начала убѣжденъ въ глубокой оригинальности пушкинскаго таланта, не исчезающей даже предъ могучимъ вліяніемъ Байрона, и не обнаруживающей своей силы развѣ только въ первый періодъ—*итальянско французскій*.

Критикъ понимаетъ достоинства *Руслана и Людмилы*, чисто поэтическія, художественныя. Пушкинъ пока—исключительно поэтъ, «передающій чисто и вѣрно внушенія своей фантазіи».

Во второмъ байроническомъ періодѣ онъ является *поэтомъ-философомъ*. Во главѣ произведеній этого направленія стоитъ *Кавказскій плѣнникъ*. Изъ всѣхъ поэмъ, по мнѣнію Кирѣевскаго, она менѣе всего удовлетворяетъ требованіямъ искусства, но «богаче всѣхъ силою и глубокостью чувства».

Поэтъ становится мыслителемъ и, слѣдовательно,—болѣе оригинальнымъ, чѣмъ просто поэтъ-художникъ. Онъ въ самой поэзіи

стремится выразить «сомнѣнія своего разума», т. е. процессъ своей мысли, а это естественно сообщаетъ предметамъ «общія краски особеннаго воззрѣнія». Въ результатѣ—близость поэзіи къ дѣйствительности: Кавказскій плѣнникъ и Онѣгинъ—люди нашего времени съ ихъ пустотою и прозою.

Сходныхъ чертъ съ произведеніями Байрона можно найти не мало, но сходство обусловлено вовсе не механической случайной подражательностью русскаго поэта, а именно особыми достоинствами лиры Байрона, какъ «голоса своего вѣка». Эта жгучая *современность* байронической поэзіи и захватила Пушкина.

Ясно,—при такихъ условіяхъ подчиненія русскій поэтъ могъ сохранить особенности своего таланта, свое природное направленіе. И все это дѣйствительно сохранилось.

Веневитиновъ былъ не согласенъ съ критиками, обвинявшими Пушкина почти въ плагіатахъ,—но онъ не развилъ своей мысли, не показалъ пушкинской стихіи даже въ байроническихъ отголоскахъ, и можно думать онъ представлялъ ее весьма неясно — до *Бориса Годунова*.

По крайней мѣрѣ, *Евгеній Онѣгинъ* — въ первой главѣ — лишенъ, по мнѣнію Веневитинова *народности*. Критикъ даже возражалъ Полевому въ этомъ смыслѣ, нарочито опровергая статью *Телеграфа* о пушкинскомъ романѣ. Полевой, рѣшительно не признававшій серьезнаго значенія за новымъ произведеніемъ Пушкина, видѣлъ много «своего», «родного» въ легкомысленномъ *capriccio*. Веневитиновъ отвѣчалъ, что не слѣдуетъ «приписывать Пушкину лишнее» и не видѣлъ въ романѣ ничего народнаго, кромѣ именъ петербургскихъ улицъ и ресторацій.

Кирѣевскій понялъ *національность* самого характера Онѣгина. Правда, предъ Кирѣевскимъ было *пять* главъ романа, Веневитиновъ говорилъ только объ *одной*, но московское чайльдъ-гарольдство вполнѣ выяснялось съ самаго начала. На этомъ настаивалъ и самъ авторъ, отвергая сходство своего героя съ другимъ байроновскимъ лицомъ — Донъ-Жуаномъ. На этотъ счетъ пришлось опровергать Марлинскаго, критика — не философа, но тѣмъ не менѣе предубѣжденнаго противъ безусловной оригинальности Пушкина. Кирѣевскій поставилъ вопросъ на настоящую почву, и въ *психологіи* пушкинскаго творчества, въ его манерѣ изображать дѣйствительность—указалъ свидѣтельство независимаго національнаго дарованія.

Борисъ Годуновъ вызываетъ у Кирѣевскаго восторгъ — вѣр-

ностью исторіи и народному складу характеровъ. Критикъ ждетъ отъ трагедіи «чего-то *великаго*» и считаетъ Пушкина «рожденнымъ для драматическаго рода».

Для насъ важна послѣдовательность, усмотрѣнная критикомъ въ постепенномъ ростѣ самобытности и народности пушкинскаго таланта. *Бориса Годунова* признавалъ и Надеждинъ, — но для него трагедія явилась сюрпризомъ и должна была произвести катастрофу во взглядахъ критика. Даже Веневитиновъ не умѣлъ провести связующей нити чрезъ всѣ произведенія Пушкина. Кирѣевскій имѣлъ въ виду именно эту задачу. Въ первой статьѣ она не выполнена съ необходимыми поясненіями и частными примѣрами, но важно, что авторъ созналъ ее и не упускалъ изъ виду и въ дальнѣйшихъ своихъ статьяхъ. Это было зарожденіемъ критики психологической и исторической. Въ идеѣ она не новость: ея требовалъ Веневитиновъ. Но осуществлять практически пришлось Кирѣевскому.

Въ слѣдующей статьѣ *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ*—критикъ попытался представить общую историческую картину русской литературы.

XLIII.

Кирѣевскій во главѣ новѣйшаго умственнаго развитія ставитъ современную господствующую философію. Онъ не называетъ имени Шеллинга, но вполнѣ точно опредѣляетъ основы его системы и искусно приводитъ ихъ въ связь съ научнымъ и нравственнымъ направленіемъ XIX-го вѣка.

Оно можетъ быть выражено двумя словами—*уваженіе къ дѣйствительности*. Это уваженіе политиковъ заставило обратиться къ исторіи и въ ней искать уроковъ для настоящаго и будущаго. Поэзія также приблизилась къ фактамъ и къ жизни, философія сосредочила свои силы на изученіи развитія природы и человѣка.

Кирѣевскій считаетъ это стремленіе высшей ступенью европейскаго просвѣщенія. Философія Шеллинга утвердила гармоническое міровоззрѣніе, объемлющее духъ и бытіе, идеи и дѣйствительность. Авторъ довольно искусственно—въ цѣляхъ стройности своего представленія—изображаетъ раннія ступени умственнаго прогресса. Они характеризуются французскимъ и нѣмецкимъ вліяніемъ. Одно пренебрегало «лучшей стороной нашего бытія—стороной идеальной и мечтательной», другое — полная противопо-

ложность: «идеальность, чистота и глубокость чувства», стремленіе къ темному, равнодушіе ко всему обыкновенному, ко всему, «что не *душа*, что не *любовь*».

Одно вліяніе было воспринято Карамзинымъ, другое—Жуковскимъ.

Можно многое возразить противъ этихъ разсужденій. Прежде всего автору, очевидно, новѣйшая германская философія представляется результатомъ примиренія французскаго и стараго германскаго міросозерцанія. А между тѣмъ, ни самъ авторъ, ни кто другой не могъ бы открыть отраженій французскаго матеріализма XVIII-го вѣка въ шеллингіанствѣ, и мы видѣли, Шеллингъ дошелъ до признанія права дѣйствительности какъ разъ подъ вліяніемъ научныхъ фактовъ и историческихъ событій, не имѣвшихъ ничего общаго съ дореволюціоннымъ просвѣщеніемъ. Это признаніе явилось въ полномъ смыслѣ симптомомъ *новаго* столѣтія, пореволюціонной эпохи. И сбивчивость мысли Кирѣевскаго тѣмъ любопытнѣе, что онъ указываетъ на исключительно-высокое положеніе исторіи среди современныхъ наукъ: «направленіе историческое обнимаетъ *все*». А этотъ фактъ менѣе всего можно привязать къ тому направленію, какое авторъ называетъ «французско-карамзинскимъ». Потомъ, неизвѣстно, какимъ образомъ Карамзина можно пріурочивать къ «жизни дѣйствительной»: напротивъ, болѣе фантастической «словесности» съ притязаніями на «идеальность, чистоту и глубокость чувствъ» — наша литература не знаетъ. Очевидно, авторъ не позаботился ни для читателей, ни даже для себя самого разъяснить свою философію исторіи русской литературы. Но существеннымъ фактомъ остается признаніе исторической и культурной неудовлетворительности карамзинской и романтической школы. Отсюда логически вытекалъ принципъ національнаго реализма.

Именно на основаніи этого принципа *Полтава* признается лучшей поэмой Пушкина: она—*историческая* въ истинномъ смыслѣ слова: она посвящена не *мечтательности*, а *существенности*, т. е. не порывамъ воображенія, а дѣйствительности. Критикъ находитъ и нѣкоторые недостатки, т. е. противорѣчія *истинѣ*—положительной, жизненной правдѣ, напримѣръ, романическая чувствительность Мазепы, когда онъ узнаетъ хуторъ Кочубея. «Эта сцена изъ Корнеля, вплетенная въ трагедію Шекспира».

Уже такое сравненіе показываетъ, чего критикъ искалъ у Пушкина и какъ высоко ставилъ его талантъ. По его мнѣнію,

словесность русская еще не доросла до направленія Пушкина, и поэма не могла имѣть видимаго вліянія на литературу.

Это совершенно вѣрный взглядъ, подтвержденный исторіей. Естественно, Пушкинъ привѣтствовалъ статью Кирѣевскаго, называлъ ее «краснорѣчивой и полной мыслей». Но ему пришлось считаться съ злополучнѣйшимъ выраженіемъ, въ недобрую минуту слетѣвшимъ съ пера критика.

Фраза сдѣлала настоящую карьеру и долгое время не сходила со страницъ журналовъ, не согласныхъ со взглядами Кирѣевскаго или вообще считавшихъ лишними всякіе взгляды, особенно философскіе.

Характеризуя одного изъ подражателей-поэтовъ, барона Дельвига, Кирѣевскій пустился въ фигуральныя словоизвитія и нарисовалъ такую картину:

«Его муза была въ Греціи; она воспиталась подъ теплымъ небомъ Аттики; она наслушалась тамъ простыхъ и полныхъ, естественныхъ, свѣтлыхъ и правильныхъ звуковъ лиры греческой; но ея нѣжная краса не вынесла бы холода мрачнаго Сѣвера, если бы поэтъ не прикрылъ ее нашею народною одеждою; если бы на ея классическія формы не набросилъ душегрѣйку новѣйшаго унынія: и не къ лицу ли гречанкѣ нашъ сѣверный нарядъ?»

Эта «душегрѣйка» съ восторгомъ была встрѣчена современною печатью, и журналы немедленно воспользовались дешевой потѣхой. Но не одобрили душегрѣйки и такіе читатели, какъ Жуковскій и Пушкинъ. Совершенно основательно можно было опасаться за судьбу самыхъ здравыхъ критическихъ идей среди большой публики изъ-за подобной игры стиля.

Но мы уже могли не разъ замѣтить даже по краткимъ образцамъ, что критики-философы далеко не отличались мастерствомъ формы. Одоевскій, повидимому, безпрестанно ощущалъ сердечную тоску по выспренности и загадочности философическаго діалекта; Веневитиновъ, стремившійся къ идеальной ясности, не достигъ ея въ своихъ статьяхъ, а Кирѣевскій вдавался въ аллегорію и лирическія фигуры сомнительнаго достоинства. Мы вспомнимъ всѣ эти изъяны философской критики, когда сопоставимъ съ ней произведенія менѣе ретивыхъ любомудровъ и болѣе искусныхъ публицистовъ,—вродѣ Полевого. Пробѣлы произведутъ на насъ тѣмъ болѣе прискорбное впечатлѣніе, что бойкой публицистикѣ недоставало, въ свою очередь, многихъ положительныхъ качествъ философской критики, и только совмѣстная и единодушная работа

представителей одного въ сущности критическаго направленія, но разныхъ типовъ, могла бы спасти русскую критику отъ безплодныхъ метаній въ разныя стороны и утвердить ее на прочномъ пути послѣдовательнаго развитія.

Эти метанія очень энергично осуждены тѣмъ же Кирѣевскимъ, въ его послѣдней большой статьѣ о современной литературѣ—*Обозрѣніе русской словесности за 1831 годъ*.

Кирѣевскій сѣтуетъ на отсутствіе опредѣленныхъ идей въ русской критикѣ: это еще было горемъ Веневитинова. И нашъ авторъ указываетъ тотъ же источникъ смуты: у русскихъ критиковъ нѣтъ самобытности вкуса, всѣ они поддаются тѣмъ или другимъ иноземнымъ внушеніямъ. Они не успѣли воспитаться на образцахъ отечественныхъ, и появленіе талантливыхъ произведеній застаетъ ихъ врасплохъ.

Замѣчаніе въ высшей степени умѣстное!

Привычка XVIII вѣка сравнивать русскихъ писателей непремѣнно съ иностранными классиками и именовать ихъ «россійскій Вольтеръ», «нашъ Лафонтенъ» и даже «россійская Сафо» долго не вывѣтривалось ни подъ какими новыми вліяніями. Мѣста французскихъ классиковъ заняли англійскіе и нѣмецкіе, и мы увидимъ, что на языкѣ Полевого означало: «гуморъ Шекспировъ», «исполинскія остроты Гюго», «многостороннія творенія Гёте»... Ни болѣе, ни менѣе, какъ рѣшительные приговоры Пушкину и Гоголю.

А между тѣмъ Полевой считалъ себя и былъ въ дѣйствительности однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ и независимыхъ критиковъ своего времени.

Великаго труда стоило русскимъ людямъ дойти до самой, повидимому, простой мысли: разъ русскіе—особая національность, имѣютъ свою исторію и создали свои нравы и свое міросозерцаніе, естественно среди нихъ появиться и особымъ писателямъ, не похожимъ ни на Гёте. ни на Гюго и сильнымъ своими силами и красивымъ своими чертами.

Первая половина этого разсужденія была легко усвоена подъ многообразными воздѣйствіями фактовъ и идей, но вторая давалась крайне медленно. И нетолько критикамъ, имѣвшимъ личные и литературные счеты, напримѣръ, съ Пушкинымъ, но даже друзьямъ поэта и далеко не послѣднимъ величинамъ въ художественной литературѣ и въ критикѣ.

Будто оправдывалась старая истина, что русскіе особенно неохотно признаютъ отечественные таланты и въ культурномъ

отношеніи такъ мало развиты и такъ мало терпимы и вдумчивы, что скорѣе согласятся не понять и осудить, чѣмъ радушно и любовно приглядѣться къ новому лицу и привѣтствовать его истинныя достоинства. Во всякомъ случаѣ, Кирѣевскому удалось напасть на самый болѣзненный недугъ русской критики и пояснить свой діагнозъ чрезвычайно удачнымъ примѣромъ.

Появился *Борисъ Годуновъ*, и посмотрите, что произошло среди русскихъ Аристарховъ!

«Иной критикъ, помня Лагарпа, хвалитъ особенно тѣ сцены, которыя болѣе напоминаютъ трагедію французскую, и порицаетъ тѣ, которымъ не видитъ примѣра у французскихъ классиковъ. Другой, въ честь Шлегеля, требуетъ отъ Пушкина сходства съ Шекспиромъ, и упрекаетъ за все, чѣмъ поэтъ нашъ отличается отъ англійскаго трагика, и восхищается только тѣмъ, что находитъ между обоими общаго... И эта привычка смотрѣть на русскую литературу сквозь чужіе очки иностранныхъ системъ до того ослѣпила нашихъ критиковъ, что они въ трагедіи Пушкина нетолько не замѣтили, въ чемъ состоятъ ея главныя красоты и недостатки, но даже не поняли, въ чемъ состоитъ ея содержаніе».

Кирѣевскій приглашалъ читателей взглянуть на трагедію «глазами не предубѣжденными системою», «отказаться отъ многихъ школьныхъ и ученыхъ предразсудковъ», вообще судить Пушкина, какъ поэта независимаго, оригинальнаго, не обязаннаго непремѣнно находиться въ вѣрноподданствѣ у теорій и у образцовъ.

Это разсужденіе ничто иное, какъ признаніе *свободы художника*, какъ о ней заявилъ Грибоѣдовъ, и повтореніе истины, высказанной Пушкинымъ по поводу грибоѣдовской комедіи: «Драматическаго писателя должно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собой признаннымъ».

Пушкинъ написалъ эти слова одновременно съ заявленіемъ Грибоѣдова, т. е. лѣтъ на шесть раньше Кирѣевскаго. Такъ медленно *идеи* критики совпадали съ *инстинктами* художниковъ! Но совпаденіе все таки происходило, и именно у молодыхъ шеллингіанцевъ, ярко подчеркивая всю жизненность и глубину ихъ литературно-философскихъ стремленій.

Кромѣ того, и *смѣлость* стремленій. Кирѣевскій, сравнивъ разъ поэму Пушкина съ шекспировскими, теперь дѣлаетъ еще болѣе отважный шагъ: рѣшается *Бориса Годунова* сопоставить съ *Прометеемъ* Эсхила. Это классическое общеобожаемое произведеніе также не трагедія, а *стихотвореніе*, въ «ней еще

менѣе *ощутительной* связи между сценами», и въ ней также «развивается воплощеніе мысли».

Выводъ давно намъ извѣстный: «въ Годуновѣ Пушкинъ выше своей публики», какъ онъ былъ выше и въ *Полтавѣ*. Не стояли въ уровень съ нимъ и отечественные Лагарпы и Шлегели. При такихъ условіяхъ настоятельной и по истинѣ спасительной являлась дѣятельность критиковъ, умѣвшихъ отрѣшаться и отъ классическихъ и романтическихъ предразсудковъ, смотрѣть глазами безъ очковъ и судить русскихъ поэтовъ безъ справокъ съ какими бы то ни было авторитетами.

Но будто злой рокъ тяготѣлъ надъ молодыми критиками-философами. Одинъ за другимъ они быстро сходили со сцены и, оставаясь въ цвѣтѣ силъ, очищали поприще «сорокамъ низовскимъ», по выраженію Пушкина. Вмѣстѣ съ *Мнемозиной* ушелъ въ святилище отрѣшенной мысли Одоевскій, съ *Европейцемъ* замолчалъ Кирѣевскій, почти одновременно постигла безвременная кончина и *Московскій Вѣстникъ*. Нива русской критики окончательно поросла бы плевелами, если бы нѣкоторое, правда, непродолжительное время не оставался на стражѣ литературы и литературной публицистики журналъ Полевого «Московскій Телеграфъ.

XLIV.

Полевой явился наслѣдникомъ и продолжателемъ не только критиковъ-философовъ. При одномъ этомъ условіи его журналу врядъ ли удалось бы сыграть такую шумную, даже блестящую роль, какая отмѣтила все время его существованія. Вѣроятно, участь *Телеграфа* напомнила бы «естественныя» кончины *Мнемозины* и *Московскаго Вѣстника*, если бы его руководитель вздумалъ, подобно своимъ благороднымъ современникамъ, воспарить въ высшія сферы германскаго любомудрія и съ неуклоннымъ усердіемъ послѣднія слова философіи прикидывать къ явленіямъ литературы и даже общественной жизни.

Этого не случилось съ *Телеграфомъ*: журналъ, помимо философіи, усвоилъ еще другое направленіе современной критической мысли, далеко не столь громкое и внушительное, какъ философское, но имѣвшее свои особыя достоинства. Они то и оказались исключительно цѣнными въ рукахъ талантливаго публициста.

Мы неоднократно, на основаніи подлинныхъ данныхъ, могли отмѣтить основные изъяны философской критики шеллингіанскаго

направленія. Въ высшей степени ярко и только развѣ отчасти преувеличенно изобразилъ эти изъяны одинъ изъ современниковъ нашихъ философовъ. Судья—безусловно надежный и добросовѣстный, такъ какъ его самого увлекала таже германская философія, хотя въ лицѣ другого учителя. Разница между этимъ судьей и знакомыми намъ любомудрыми—въ чрезвычайно развитомъ дѣятельномъ общественномъ инстинктѣ, въ страстной стремительности теорію видѣть осуществленной дѣйствительностью, идею и принципъ живыми силами человѣческаго бытія.

Мы знаемъ, эти волненія только въ слабой степени могли быть доступны большинству шеллингіанцевъ. Они, несомнѣнно, мечтали о разнообразныхъ плодотворныхъ и вполнѣ жизненныхъ результатахъ своего философствованія, но на уровнѣ мечтаній не стояла ни личная энергія, ни практическое искусство. Естественно, мечтатели, при всей своей благонамѣренности, должны были вызвать суровую отповѣдь у всѣхъ, кто по натурѣ не чувствовалъ себя способнымъ успокоиться на «прекрасныхъ дняхъ Аранжуэца».

Указавъ на извѣстные намъ стилистическіе пороки философско-критическихъ трактатовъ, нашъ очевидецъ продолжаетъ:

«Молодые философы испортили себѣ не одни фразы, но и пониманіе; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное, это было то ученое пониманіе вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля съ студентомъ. Все *въ самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ» [123]).

Нѣкоторыя выраженія этой добродушной сатиры показываютъ, что авторъ мѣтилъ и въ гегельянцевъ, въ позднѣйшее поколѣніе

---

[123]) Герценъ *Былое и думы*. VII. 123.

русско-германскихъ философовъ. Сущность вопроса, дѣйствительно, одинакова въ теченіе всей философской эпохи. Крайняя выспренность чувствъ и настроеній, чисто религіозное пристрастіе къ формуламъ и обобщеніямъ подрывали жизненную силу и здоровую чуткость часто самой вдумчивой и, несомнѣнно, глубокой мысли. Мы видѣли, какъ этотъ подрывъ отражался на самыхъ благородныхъ и практически - настоятельныхъ идеяхъ философской критики.

Ея неотъемлемой заслугой останется по истинѣ рыцарственное представленіе о литературѣ и о личности писателя, какъ художественнаго таланта. Именно философская критика покончила съ старымъ барственнымъ отношеніемъ русскаго общества къ искусству, какъ къ ремеслу, и къ литераторамъ, какъ наемнымъ увеселителямъ.

Но увѣнчивая творчество лаврами и окружая художниковъ ореоломъ исключительности, та же философія доводила процессъ до крайности и готова была впасть въ нелѣпый культъ поэта-жреца, какъ контраста презрѣнной толпѣ. И вина заключалась въ теоретической прямолинейности мыслителей, всегда и вездѣ развивающейся въ ущербъ *такту дѣйствительности* и даже здравому смыслу.

Слѣдовало бы поменьше философіи, побольше непосредственнаго художественнаго чувства и болѣе устойчиваго и энергическаго интереса къ обыденной современности. Пушкину безпрестанно приходилось напоминать критикѣ объ этихъ неотъемлемыхъ качествахъ литературнаго судьи, и мы знаемъ недовѣріе поэта къ философіи и профессіональной учености. Ему болѣе цѣнными казались простота и искренность художественныхъ впечатлѣній и вполнѣ реальный, не теоретическій и безпредразудочный взглядъ на его произведенія.

Естественно, этому требованію могли удовлетворить гораздо успѣшнѣе просто образованные читатели, чѣмъ усердные слушатели философскихъ курсовъ. У этихъ читателей не оказывалось широкихъ эстетическихъ принциповъ, не было глубины въ пониманіи таланта и творческаго процесса, но о частныхъ явленіяхъ литературы, они вполнѣ способны были сказать дѣльное и мѣткое слово. Тѣмъ болѣе, что сама литература, въ лицѣ того же Пушкина, обнаруживала непреодолимое стремленіе окончательно спуститься на землю, покинуть не только облака, но даже Кавказскія горы, и сосредоточиться на невзрачныхъ жанрахъ бѣдной красками будничной жизни.

Впослѣдствіи, хотя сравнительно очень не скоро, поэтъ найдетъ всестороннихъ цѣнителей своего фламандскаго искусства и эти цѣнители съумѣютъ подъискать и принципы, и идеи, освящающія новую поэзію. Это будетъ однимъ изъ величайшихъ завоеваній русской критики, но и теперь, на глазахъ поэта, кое-гдѣ мелькаютъ проблески истины.

Они весьма неярки и неустойчивы. Случайность и какая-то нервная разбросанность—таково наше первое впечатлѣніе. Полная противоположность статьямъ философской школы: тамъ все строго согласовано, соподчинено руководящимъ идеямъ, здѣсь вихрь эффектныхъ фразъ, блестящихъ, мимолетныхъ замѣчаній, импрессіонистскихъ вдохновеній. Противорѣчій можно найти сколько угодно, но въ то же время нельзя не почуять нѣкоего духа, носящагося надъ этимъ хаосомъ. Этотъ духъ—прирожденное эстетическое чувство критика, никогда неизмѣняющая чуткость къ истинной красотѣ и дѣйствительной правдѣ жизни.

Но эти свойства необходимы также и для поэтовъ и нашъ типъ критиковъ, несомнѣнно, долженъ состоять въ тѣсномъ духовномъ родствѣ съ любимцами музъ. Вдохновеніе здѣсь столь же привычное оружіе, какъ и анализъ, даже еще болѣе острое и сильное. И мы дѣйствительно въ лицѣ каждаго критика встрѣчаемъ прежде всего поэта. Творческая способность замѣняетъ здѣсь философскую діалектику и полеты воображенія преобладаютъ надъ послѣдовательнымъ разсудочнымъ изысканіемъ.

Мы отчасти знакомы съ этимъ родомъ критики по разсужденіямъ Кюхельбекера. Мы могли оцѣнить лиризмъ критика во славу русской національной поэзіи, замѣтить отсутствіе спокойныхъ логическихъ доказательствъ безусловно основательной мысли и въ то же время указать, сколько было брошено мѣткихъ замѣчаній юнымъ энтузіастомъ по адресу такихъ признанныхъ свѣтилъ литературы, какъ Жуковскій.

Кюхельбекеръ не особенно высоко цѣнился современниками. Самый почетный отзывъ далъ о немъ Пушкинъ, хотя онъ же не отказывалъ себѣ въ удовольствіи посмѣяться надъ пламеннымъ буршемъ словесности.

«Онъ человѣкъ дѣльный съ перомъ рукахъ,—писалъ Пушкинъ,—хоть и сумасбродъ» [124]). Поэта, несомнѣнно, радовали искры настоящаго художественнаго чувства, освѣщавшія статьи Кю-

[124]) Письмо къ кн. Вяземскому 10 авг. 1825 г.

хельбекера, но въ то же время онъ не могъ забыть, какъ критикъ вздумалъ драться съ нимъ на дуэли за знаменитый стихъ: «и кюхельбекерно, и тошно».

Другіе были менѣе снисходительны къ романтическимъ выходкамъ Кюхельбекера, и Гречъ, напримѣръ, далъ ему уничтожающую характеристику, налегая преимущественно на его полоуміе и другія, еще менѣе привлекательныя нравственныя качества, вродѣ неблагодарности къ благодѣтелямъ [125]). Но во всемъ отзывѣ звучитъ явная желчь и въ нашихъ глазахъ никакія чувства булгаринскаго пріятеля и союзника не понизятъ хотя бы и очень скромныхъ заслугъ несчастнаго товарища Пушкина предъ русской критикой.

Къ той же породѣ поэтическихъ цѣнителей литературы принадлежало еще два писателя,—Рылѣевъ и Бестужевъ-Марлинскій. Эти имена въ литературной исторіи неразрывно связаны другъ съ другомъ и въ теченіе двадцатыхъ годовъ представляютъ едва ли не самый идейный и рыцарственный *союзъ* на поприщѣ журналистики. Недаромъ дѣятельности этого союза неизмѣнно принадлежало горячее сочувствіе Пушкина и только благодаря Рылѣеву и Марлинскому на короткое время установилась было гармонія и вполнѣ сознательное взаимное дружелюбіе между критикой и искусствомъ. А между тѣмъ до потомства если и дошла литературная слава двухъ друзей, то отнюдь не въ критикѣ: Рылѣевъ — поэтъ, Марлинскій — романистъ, одинъ незабвенный авторъ посланія *Ко Временщику*: оно, несомнѣнно, останется столь же безсмертнымъ въ нашей общественной исторіи, какъ и имя Аракчеева, другой когда-то жегъ сердца стремительно-романтическими повѣстями и едва ли не первый изъ русскихъ прозаиковъ явился своего рода властителемъ думъ, по крайней мѣрѣ, двухъ поколѣній.

Но что сдѣлано этими авторами на самомъ трудномъ и смутномъ пути русской словесности, остается забытымъ, хотя можно смѣло сказать, двѣ-три оригинальныхъ мысли въ критикѣ семьдесятъ лѣтъ тому назадъ стоили дороже какого угодно стихотворенія и повѣсти.

---

[125]) *Записки о моей жизни*. Спб. 1886, стр. 381 etc.

XLV.

Мысль о періодическомъ изданіи въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ лелѣялась Марлинскимъ. Еще въ 1819 году онъ добивался разрѣшенія на изданіе журнала, но не имѣлъ успѣха. Три года спустя идея, наконецъ, осуществилась. Марлинскій привлекъ къ своему плану Рылѣева, и съ 1823 года началъ выходить альманахъ *Полярная Звѣзда.*

Предпріятіе задумали очень серьезно. Издатели не намѣрены были печатать книжки для собственнаго удовольствія и ограничиваться наслажденіемъ видѣть свои произведенія въ печати въ собственномъ изданіи. Цѣль ставилась несравненно шире, совершенно такъ, какъ впослѣдствіи ее понялъ Полевой для своего *Телеграфа.*

«Полярные господа», какъ называлъ новыхъ издателей Пушкинъ, желали произвести переворотъ въ литературѣ и въ положеніи русскаго писателя, во что бы то ни стало добиться успѣха изданія и литературный трудъ превратить въ почетную доходную статью. Всѣмъ сотрудникамъ былъ предложенъ гонораръ—фактъ, безпримѣрный для того времени и даже для позднѣйшаго. Пушкинъ стоялъ во главѣ приглашенныхъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ осуществленія предпріятія.

Надежды немедленно оправдались. *Полярная Звѣзда*, по своей судьбѣ среди читателей, дѣйствительно создала эпоху въ исторіи русской журналистики. Въ теченіе трехъ недѣль было раскуплено 1.500 экземпляровъ, успѣхъ совершенно безпримѣрный на современномъ книжномъ рынкѣ. Только *Исторія* Карамзина могла соперничать съ *Полярной Звѣздой*, ни одинъ же журналъ не могъ и мечтать о подобномъ торжествѣ. Издатели не только возмѣстили расходы, но получили даже прибыли до 2.000 рублей [126]).

Альманахъ выходилъ въ теченіе трехъ лѣтъ, закончился 1825 годомъ. Рылѣевъ дѣлилъ свое время между заботами по издательству и собраніями тайнаго общества... Четырнадцатое декабря положило конецъ всѣмъ дѣламъ и надеждамъ: издатель *Полярной Звѣзды* и политическій мечтатель окончилъ жизнь на эшафотѣ.

Близкій свидѣтель событій даетъ очень простую, но очень мѣт-

[126]) *Воспоминанія о Рылѣевѣ*—кн. Е. Оболенскаго. *Полное собраніе сочиненій К. Ѳ. Рылѣева.* Лейпцигъ - Brockhaus. 1861. стр. 57.

кую характеристику Рылѣева: она вполнѣ совпадаетъ и съ его литературной личностью, и критическимъ талантомъ.

«Рылѣевъ былъ не краснорѣчивъ и овладѣвалъ другими не тонкостями риторики или силою силлогизмовъ, но жаромъ простого и иногда несвязнаго разговора, который въ отрывистыхъ выраженіяхъ изображалъ всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда правдивой, всегда привлекательной. Всего краснорѣчивѣе было его лицо, на которомъ являлось прежде словъ все то, что онъ хотѣлъ выразить, точно, какъ говорилъ Муръ о Байронѣ, что онъ похожъ на гипсовую вазу, снаружи которой нѣтъ никакихъ украшеній, но какъ скоро въ ней загорится огонь, то изображенія, изваянныя внутри хитрою рукою художника, обнаруживаются сами собою. Истина всегда краснорѣчива, и ея любимецъ, окруженный ея обаяніемъ и ею вдохновенный, часто убѣждалъ въ такихъ предположеніяхъ, которыхъ ни онъ дѣтскимъ лепетаньемъ своимъ не могъ еще объяснить, ни другихъ довольно вразумить; но онъ провидѣлъ ихъ и заставлялъ провидѣть другихъ» [127]).

Это—довольно точное опредѣленіе именно вдохновляющагося, а не анализирующаго критика. Таковъ именно Рылѣевъ во всѣхъ своихъ немногочисленныхъ и краткихъ разсужденіяхъ о поэзіи и искусствѣ. Собственно подобіе критической статьи имѣютъ только *Нѣсколько мыслей о поэзіи*, да и эти мысли отрывокъ изъ письма. Но равноправное мѣсто съ этимъ разсужденіемъ должны занимать и другія письма Рылѣева, именно письма къ Пушкину. Они чрезвычайно содержательны и часто стòятъ длинныхъ разсужденій.

Въ *отрывкѣ* Рылѣевъ рѣшаетъ самый модный и жгучій вопросъ современной критики: о романтической и классической поэзіи. Мы можемъ предугадать отвѣтъ автора, зная общее направленіе его художественной натуры. Для Рылѣева не существуетъ теоретическихъ опредѣленій поэзіи: нѣтъ, слѣдовательно, ни романтизма, ни классицизма,—это споръ о словахъ, а существуетъ и будетъ существовать «одна истинная, самобытная поэзія» и правила ея всегда будутъ одни и тѣ же. Только духъ времени, степень просвѣщенія общества, условія страны создаютъ для нея различныя формы. И совершенно безцѣльно само стремленіе вообще опредѣлить поэзію. Она ничто иное, какъ осуществленіе «идеаловъ

[127]) *Воспоминаніе о Кондратіѣ Ѳедоровичѣ Рылѣевѣ.* Н. Бестужева. *О. с.* стр. 23—24.

высокихъ чувствъ, мыслей и высокихъ истинъ, всегда близкихъ человѣку и всегда недовольно ему извѣстныхъ». Сущность ея въ оригинальности и независимости, величайшее зло—въ подражательности. Въ этомъ смыслѣ романтиками можно назвать и древнихъ самобытныхъ поэтовъ,—Гомера, Эсхила, Пиндара.

Критикъ не пытался развить своихъ мыслей и пояснить ихъ примѣрами. Его перомъ управляла истина, но у его ума не хватало ни выдержки, ни глубины, чтобы истину всесторонне объяснить и утвердить на общеубѣдительныхъ основахъ. Это не критика, а развѣ только критическія впечатлѣнія и наброски. Но, несомнѣнно, они коренились въ такомъ прочномъ чувствѣ, пожалуй, даже инстинктѣ, что сужденія о частныхъ явленіяхъ поэзіи заранѣе были установлены и критикъ не могъ впасть ни въ одно изъ педантическихъ недоразумѣній старовѣровъ словесности или проглядѣть живую искру непосредственной поэзіи въ погонѣ за философской доктриной.

Письма къ Пушкину и представляютъ приложеніе общаго критическаго настроенія Рылѣева.

Они дышатъ страстнымъ преклоненіемъ предъ геніемъ великаго поэта. Это—сплошныя любовныя объясненія и восторженные гимны, только изрѣдка прерываемые сомнѣніями и оговорками. Общій смыслъ отношенія Рылѣева къ пушкинскому таланту ясенъ изъ слѣдующаго поистинѣ романтическаго воззванія:

«Пушкинъ! ты пріобрѣлъ уже въ Россіи пальму первенства: одинъ Державинъ только еще борется съ тобою, но еще два, много три года усилій и ты опередишь его. Тебя ждетъ завидное поприще: ты можешь быть нашимъ Байрономъ, но, ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго Магомета не подражай ему Твое огромное дарованіе, твоя пылкая душа могутъ вознести тебя до Байрона, оставивъ Пушкинымъ. Если бы ты зналъ, какъ я люблю, какъ я цѣню твое дарованіе! Прощай, чудотворецъ».

Въ такомъ же тонѣ и отзывы объ отдѣльныхъ произведеніяхъ Пушкина. Они не всегда безупречны на нашъ современный взглядъ. Рылѣевъ, напримѣръ, упорно ставитъ *Евгенія Онѣгина* ниже *Бахчисарайскаго фонтана* и *Кавказскаго плѣнника* и «готовъ спорить объ этомъ до второго пришествія». Противъ *Онѣгина* былъ и Марлинскій, но по соображеніямъ, чуждымъ Рылѣеву. Марлинскій находилъ самую тему романа и его содержаніе слишкомъ мелкими, недостойными поэзіи, т. е. онъ стоялъ противъ реализма и будничности.

Пушкинъ въ письмѣ къ Рылѣеву защищалъ свое дѣтище и доказывалъ, что «легкое» и «веселое», вообще «картины свѣтской жизни» входятъ въ область поэзіи.

Рылѣевъ соглашался съ Пушкинымъ и признавалъ за его «чертовскимъ дарованіемъ» способность втолкнуть въ поэзію даже свѣтскую жизнь. Очевидно, романъ страдалъ, по его мнѣнію, другими недостатками Собственно первая глава. И легко догадаться, какими именно. Критикъ усмотрѣлъ ненавистную ему подражательность, заподозрилъ Пушкина въ копированіи Байрона. Это казалось ему нестерпимо-унизительнымъ для русскаго поэта и онъ, не вдумавшись въ сущность самаго типа московскаго Чайльдъ-Гарольда, ополчился на призрачный смертный грѣхъ поэта.

Вообще, пушкинскій байронизмъ для Рылѣева настоящее бѣльмо въ глазу. Онъ уличаетъ поэта въ подражаніи Байрону еще по другому, болѣе серьезному поводу. Здѣсь рѣзкая отповѣдь Рылѣева, своего рода гражданскій подвигъ.

Дѣло коснулось аристократизма Пушкина. Поэтъ имѣлъ слабость подчиняться тону современнаго общества, а кромѣ того, чувствовалъ по временамъ естественную необходимость бороться съ чванствомъ и вызывающимъ варварствомъ этого общества его же оружіемъ.

Общество выше всякаго генія и всякой умственной дѣятельности ставило происхожденіе и чины и съ этой позиціи считало себя въ правѣ смотрѣть на потомка Ганнибала сверху внизъ. Тогда Пушкинъ припоминалъ свою родню съ другой стороны и бросалъ въ лицо своимъ врагамъ «пятисотлѣтнее дворянство» рода Пушкиныхъ.

Рылѣевъ не могъ стерпѣть этихъ комическихъ и недостойныхъ счетовъ геніальнаго поэта съ высокородными пошляками.

Онъ усиленно объяснялъ Пушкину его *личныя* права на высокое положеніе. «Чванство дворянствомъ — непростительно, особенно тебѣ,—писалъ онъ.—На тебя устремлены глаза Россіи, тебя любятъ, тебѣ вѣрятъ, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ».

Рылѣевъ искренне смѣется надъ геральдическими разсчетами поэта и умоляетъ его, ради Бога, «быть Пушкинымъ»: «ты самъ по себѣ молодецъ».

Будущій декабристъ не желаетъ допустить даже мысли о покровительствѣ литературѣ со стороны власти. Онъ всѣми силами души возстаетъ противъ придворнаго и оффиціальнаго меценат-

ства. Вполнѣ достаточно, если правительства просто не будутъ стѣснять талантовъ и предоставятъ ихъ свободнымъ внушеніямъ ихъ вдохновенія. Истинный талантъ, при такихъ условіяхъ, не останется безъ пропитанія. Онъ самъ по себѣ сила вполнѣ довлѣющая и не нуждается ни въ пенсіяхъ, ни въ орденахъ, ни въ ключахъ камергерскихъ.

Мы видимъ, какое значеніе имѣло для Рылѣева близкое участіе въ общественныхъ интересахъ современной передовой молодежи. Если онъ шелъ противъ литературныхъ школъ и піитическихъ теорій подъ вліяніемъ врожденнаго художественнаго чувства, высокія права личности художника и его таланта онъ защищалъ, какъ политикъ и публицистъ. Нечего и говорить,— всѣ эти идеи прекрасно развивались и критиками-философами на основаніи шеллингіанской эстетики. Но у Рылѣева тѣ же идеи явились не доктриной учителя, не внушеніемъ авторитета, а живымъ и дѣятельнымъ инстинктомъ, горячей рѣчью въ полномъ смыслѣ практическаго дѣятеля, убѣжденнаго въ своей вѣрѣ безъ всякихъ философскихъ категорій и, слѣдовательно, свободно заявляющаго о ней всѣмъ простымъ и непосвященнымъ.

И результаты немедленно сказываются, на первый взглядъ едва замѣтно, будто мимоходомъ, но по существу чрезвычайно сильно. Критикъ поэта ставитъ рядомъ съ гражданиномъ: эти понятія для него равнозначущія, точнѣе, поэтическій талантъ самъ по себѣ налагаетъ извѣстныя гражданскія обязательства: на него устремлены глаза его родины!

Философы также мечтали о народномъ просвѣщеніи, но до этой цѣли довольно далеко отъ вершинъ шеллингіанства. Конечно, поэтъ пророкъ, но, пожалуй, его пророческому сану будетъ достойнѣе пребывать гдѣ-нибудь въ пустынѣ или въ надземныхъ высотахъ, чѣмъ среди толпы. Вопросъ весьма трудный, особенно если сообразить всю его божественную исключительность самой природы поэта.

Но замѣните пророка гражданиномъ, и перспективы совершенно преобразовываются. Общаго много между гражданиномъ и пророкомъ въ духовномъ смыслѣ, но въ практическомъ можетъ быть громадная разница. Гражданинъ—это работникъ на общемъ житейскомъ поприщѣ нуждъ, страданій, часто мелкихъ треволненій. Ему требуется и соотвѣтствующая рѣчь, и образъ мыслей. Онъ менѣе всего можетъ углубляться въ неизрѣченныя чувствованія и въ неизглаголанныя грезы; отъ всего этого не прочь

были юные философы. Ему необходимо говорить вразумительно и общедоступно: не даромъ онъ, вѣритъ нашъ авторъ, «не будетъ безъ денегъ и, слѣдовательно, безъ пропитанія». За тайны любомудрія находилось крайне мало охотниковъ платить, хотя любомудріе таило въ себѣ множество высокихъ истинъ и благороднѣйшихъ идеаловъ. *Мнемозина* отцвѣла, не успѣвши разцвѣсть, вся обвѣянная небесными лучами философіи и эстетики.

Полярная звѣзда до конца горѣла ярко и властно, именно потому, что слово «гражданинъ» не было звукомъ пустымъ на языкѣ ея издателя. Она дѣйствительно стремилась свѣтить всѣмъ и на всѣхъ путяхъ, не брезгуя сильнымъ голосомъ страсти, непосредственнаго чувства, злой ироніи и лирическаго паѳоса.

Рылѣевъ еще сравнительно скроменъ въ этихъ пріемахъ, его товарищъ съ самаго начала отвергъ всякій тонъ и профессіональное жеманничанье, столь процвѣтавшее у современныхъ аристарховъ, и самъ же откровенно сознался въ этомъ. Другого пути къ побѣдѣ надъ читателемъ не было. «Чтобы быть прочтену,—заявлялъ онъ публикѣ,—я былъ принужденъ писать коротко, ново и странно».

И Марлинскій, дѣйствительно, гоняясь за новизной, безпрестанно впадалъ въ странности. Но форма не наносила ущерба идеѣ, а между тѣмъ намѣченная цѣль достигалась. И мы, познакомившись съ публицистикой автора, готовы отпустить ему даже еще больше прегрѣшеній по части преднамѣренной оригинальности.

XLVI.

Марлинскій искони считается однимъ изъ самыхъ подлинныхъ русскихъ романтиковъ. Причина—его повѣсти, не менѣе статей изобилующія новизнами и странностями. И все-таки—романтизмъ Марлинскаго нѣчто совершенно другое, чѣмъ классическій романтизмъ Жуковскаго.

Этотъ поэтъ явился излюбленной жертвой нашихъ союзниковъ. Мѣткій ударъ нанесъ ему Кюхельбекеръ, еще больнѣе поразилъ Рылѣевъ,—за мистицизмъ, мечтательность, неопредѣленность и туманность. Всѣ эти пороки «растлили многихъ и много зла надѣлали». Это указаніе для своего времени не малая заслуга: такъ полно и ясно даже Пушкинъ не представлялъ тлетворнаго вліянія поэзіи Жуковскаго на русскую словесность. И, несо-

мнѣнію, лишній ударъ по адресу мистицизма и мечтательности былъ новымъ успѣхомъ реальнаго искусства и здравомыслящей критики.

Марлинскій пошелъ дальше Рылѣева и на своемъ «странномъ» языкѣ произнесъ чрезвычайно эффектный приговоръ старымъ школамъ.

Критику было это очень удобно: онъ писалъ преимущественно обозрѣнія литературы за отдѣльные годы, первый ввелъ ихъ въ обычай и могъ свободно дѣлать какія угодно отступленія, какъ впослѣдствіи будетъ поступать Бѣлинскій. У Марлинскаго эта манера вошла въ привычку и онъ по поводу частныхъ вопросовъ писалъ цѣлые трактаты общаго содержанія, — напримѣръ, въ статьѣ о романѣ Полевого *Клятва при гробѣ Господнемъ*.

Никто, ни раньше, ни позже нашего критика, не подвергъ такой экзекуціи французское вліяніе на русскую литературу, какъ это сдѣлано въ только-что упомянутой статьѣ.

Авторъ не пощадилъ ни одной эпохи, ни одного классическаго героя, ни одного театральнаго мотива. «Мраморная челядь Олимпа», «стриженныя въ видѣ грибовъ аллеи Ленотра», «тираны желудка и терпѣнія въ четырехъ лицахъ»—разумѣются, произведенія французской кухни наравнѣ съ трагическими героями, безпощадное негодованіе на невѣжественныхъ гувернеровъ-эмигрантовъ, на ихъ «душегубныя книжонки», злая иронія подъ смѣсью гасконскаго съ нижегородскимъ,—и все это съ цѣлью наповалъ сразить «сусальную позолоту» очаковскихъ временъ, оставить въ глупцахъ старичковъ, вздыхающихъ о старинѣ и завѣщавшихъ своимъ дѣтямъ долги и болѣзни...

Такъ еще никто не воевалъ съ классицизмомъ. Автора, очевидно, гораздо меньше занимаетъ чисто литературный вопросъ, чѣмъ идейный и культурный. Онъ почти готовъ совсѣмъ миновать піитику ради общественной сатиры. Въ результатѣ предъ нами одинъ изъ самыхъ раннихъ примѣровъ публицистической критики, управляемой безусловно просвѣщеннымъ міросозерцаніемъ и чрезвычайно широкими принципами.

Они обнаруживаются тѣмъ яснѣе, чѣмъ ближе авторъ подходитъ къ современности. Чувствительная школа Карамзина, смѣнившая классицизмъ, подвергается не менѣе жестокой критикѣ. Марлинскій издѣвается надъ увлеченіемъ руской публики *Бѣдной Лизой* и чувствительнымъ путешествіемъ ея автора: «всѣ завздыхали до обморока, всѣ кинулись ронять алмазныя слезы на лан-

дыши, надъ горшкомъ палеваго молока, топиться въ лужѣ. Всѣ заговорили о матери-природѣ—они, которые видѣли природу только съ просонка изъ окна кареты»...

Слѣдующая школа—романтизмъ—подвергается той же участи. Марлинскій, подобно Рылѣеву, понимаетъ отрицательные плоды туманной музы Жуковскаго и полонъ негодованія на «собачій вой балладъ», на «бѣсовъ, пахнущихъ кренделями, а не сѣрою». Даже Пушкинъ, по наблюденіямъ критика, успѣлъ вызвать на свѣтъ божій цѣлую вереницу незаконныхъ дѣтищъ гяуризма и донъжуанизма. «Житья не стало отъ толстощёкой безнадежности, отъ самоубійствъ шампанскими пробками, отъ злодѣевъ съ биноклями, въ перчаткахъ glacés»...

Помимо школъ, русская словесность наплодила не мало и самобытныхъ уродствъ... Подъ вліяніемъ пробужденія національныхъ идей на Западѣ, она пожелала также быть національной и даже народной. Цѣль оказалась чрезвычайно простой, достижимой съ одного натиска. Требовалось только въ изобиліи снабдить романы и повѣсти разными терпкими принадлежностями русскаго простонароднаго быта, — русскимъ квасомъ, прибаутками и пословицами, лубочными картинками нравовъ, по возможности гуще размалеванными.

Это одинъ сортъ народности.

Другой еще забавнѣе, такъ какъ притязаетъ поэтическое изящество соединить съ національными чертами русской жизни. Иванъ Горюнъ поэтому долженъ играть на свирѣлкѣ Дафниса и Меналка, русскіе пѣсенники блистать купидонами и нимфами.

Во всѣхъ подобныхъ напряженныхъ вымыслахъ рабскаго воображенія нѣтъ ни капли ни поэзіи, ни народности. А между тѣмъ эти понятія — неразрывны: народъ всегда жилъ въ мірѣ поэзіи. Она одушевляла его обряды, его вѣрованія, даже его наивныя суевѣрія. Именно народъ сохранилъ для насъ неисчерпаемый источникъ поэтическихъ мотивовъ, мы должны вернуться къ нимъ. «Лучше потѣшаться у горъ на масляницѣ, чѣмъ зѣвать въ обществѣ греческихъ боговъ, или съ портретами своихъ напудренныхъ предковъ».

Марлинскій страстно защищаетъ даже равноправность русской исторіи съ западноевропейской—по части разнообразія и занимательности. Онъ будто предвосхищалъ жалобы Чаадаева на безцвѣтность и безжизненность русской старины. Авторъ не считаетъ ни русскихъ князей, ни русскихъ крестьянъ менѣе интересными и

менѣе культурными, чѣмъ европейскихъ владѣтелей и европейскій народъ. На Руси не было только крестовыхъ походовъ и реформаціи: все остальное, что переживала Европа, пережито и нашимъ отечествомъ. Даже больше. Характеры древнихъ русскихъ людей должны быть ярче, самобытнѣе, рѣшительнѣе, потому что на Руси шла борьба и съ природой, и съ врагами, болѣе жестокая, чѣмъ гдѣ-либо. Естественно, сколько можно почерпнуть здѣсь благодарнаго матеріала для поэзіи, какихъ можно извлечь героевъ и съ какимъ правомъ можно создать національную драму и повѣсть!

Если этого нѣтъ, вина русской тщедушной подражательной образованности. «Мы всосали съ молокомъ безнародность и удивленіе только къ чужому». У насъ нѣтъ народной гордости. Въ восторгѣ предъ чужими геніями, мы вмѣсто того, чтобы соревновать имъ, создать свое, столь же сильное и талантливое, стараемся унизить даже и то, что есть у насъ. И авторъ не находитъ словъ заклеймить русскую общественность, русскій свѣтъ и такъ-называемыхъ просвѣщенныхъ людей.

У насъ нѣтъ склонности къ серьезной умственной дѣятельности. Русскій юноша привыкъ учиться припѣваючи, на лету схватывать кое-какія знанія, балы и увеселенія мѣшать съ наукой и всю жизнь оставаться самонадѣяннымъ недоучкой.

Въ результатѣ—нравственное ничтожество, тунеядство, «безлюдье сильныхъ характеровъ», всеобщій сонъ и апатія. «Наша жизнь безтѣнная китайская живопись, нашъ свѣтъ,—гробъ повапленный».

Отсюда удручающая бѣдность и безсодержательность литературы. У русскихъ людей «мало творческихъ мыслей», и въ результатѣ нищета художественнаго творчества. Чудный русскій языкъ—будто усыпленный младенецъ. Ему недоступна ясная и сильная рѣчь. Слышатся только сквозь сонъ нѣкій гармоническій лепетъ и неопредѣленные стоны. «Лучъ мысли рѣдко блуждаетъ по его лицу». А между тѣмъ, какая мощь таится въ этомъ младенцѣ! Только когда онъ стряхнетъ съ себя сонъ!

Критикъ не указываетъ цѣлительныхъ средствъ, не предписываетъ литературѣ никакихъ правилъ, но его безпрестанныя необыкновенно стремительныя публицистическія отступленія вполнѣ ясно опредѣляютъ его идеалы.

Марлинскій восторженно рисуетъ образъ новаго независимаго гордаго поэта въ противоположность старымъ піитамъ, угодникамъ и слугамъ меценатовъ. Онъ настаиваетъ на совершенномъ отчуж-

деніи талантовъ отъ свѣтской жизни и свѣтской среды. Природа, старина, «мощный свѣжій языкъ», вдумчивое свободное уединеніе—таковы стихіи истиннаго поэта. Ими исчерпывается и такъ-называемый романтизмъ. Онъ ничто иное, какъ «жажда ума народнаго, зовъ души человѣческой». Поэтическій геній въ непосредственномъ общеніи съ народомъ—таковъ краткій и краснорѣчивый принципъ новой романтической поэзіи

И усилія критика направлены на двѣ цѣли: установить идею личнаго самодовлѣющаго достоинства писателя и объяснить историческое и культурное значеніе народа, людей среднихъ.

Здѣсь Марлинскій прямой и единственный предшественникъ Полевого. У издателя *Телеграфа* одной изъ самыхъ излюбленныхъ темъ будетъ прославленіе третьяго сословія, какъ первостепенной культурной силы, какъ единственной могучей основы умственнаго народнаго развитія и, слѣдовательно, литературнаго прогресса. Тѣ же мысли проповѣдуетъ и Марлинскій, по обыкновенію картиннымъ и взволнованнымъ стилемъ.

Среднее сословіе «дало купцовъ, ремесленниковъ, художниковъ, ученыхъ; надѣло рясу священника, парикъ адвоката или судьи, нахлобучило шапку профессора, переодѣлось въ пеструю куртку странствующаго комедіанта; но всего важнѣе—оно дало жизнь писателямъ всѣхъ родовъ, поэтамъ всѣхъ величинъ, авторамъ по нуждѣ и по наряду, по ошибкѣ и по вдохновенью... Первый печатный листъ былъ уже прокламація побѣды просвѣщенныхъ разночинцевъ надъ невѣждами дворянчиками».

Очевидно, литература должна помнить свое происхожденіе и своихъ благодѣтелей. Она обязана сохранить связь съ міромъ, ее создавшимъ, и задача писателя не завоеваніе свѣтскихъ успѣховъ и благосклонности меценатовъ и властей, а неразрывное нравственное единеніе съ народомъ.

Тогда окажутся лишними всякія теоріи и внушенія эстетиковъ. Критикѣ не надо будетъ съ указкой слѣдить за работой писателя. Ея цѣлью станетъ объяснять красоты искусства, силу и свойства талантовъ. Наука для писателей совершенно въ другомъ мѣстѣ, именно въ личномъ тщательномъ знакомствѣ съ родной страной.

«Садитесь на лихую тройку и проѣзжайте по святой Руси», приглашаетъ критикъ будущихъ поэтовъ: «у воротъ каждаго города старина встрѣтитъ васъ съ хлѣбомъ и солью, съ привѣтливымъ словомъ, напоитъ васъ медомъ и брагою, смоетъ, спаритъ

долой всѣ ваши заморскія притиранія, и ударитъ челомъ въ напутье какимъ-нибудь преданьемъ, былью, пѣсенкой».

Критикъ указываетъ, до какой степени поверхностно знакомство просвѣщенныхъ людей съ народомъ. Природу они изучаютъ изъ оконъ кареты, народную жизнь наблюдаютъ по случайнымъ столкновеніямъ съ разнымъ людомъ, угождающимъ барину, въ родѣ извозчиковъ, разносчиковъ. Надо узнать другой народъ—«бодрый, свѣжій, разноязычный, разнообразный, судя по областямъ». Его еще никто не разглядѣлъ во всѣхъ подробностяхъ, его нравовъ и оригинальности его психологіи, никто даже и не думалъ объ этомъ.

А между тѣмъ сколько здѣсь сильныхъ и самобытныхъ чертъ! Съ древнихъ временъ народъ остается одинъ и тотъ же въ глубинѣ своего характера. Сквозь всѣ историческія испытанія онъ пронесъ невредимой свою душу и неприкосновеннымъ свой обликъ, чистымъ свой языкъ, «столь живописный, богатый, ломкій». Это «народъ, у котораго каждое слово завиткомъ и послѣдняя копѣйка ребромъ».

Такъ русскій романтикъ рисуетъ себѣ русскую національность. Въ его картинѣ, очевидно, нѣтъ ни одного штриха, напоминающаго неуловимо-тонкія космополитически-неопредѣленныя и расплывчатыя декораціи Жуковскаго и его подражателей. И сколько бы ни звучало для насъ наивнаго чувства въ народническихъ изліяніяхъ Марлинскаго, они одушевлены яснымъ убѣжденіемъ въ національныхъ путяхъ новой литературы, національныхъ по духу и смыслу, не только по формѣ и обличью, національныхъ не въ силу мучительныхъ потугъ народолюбствующихъ словесниковъ; а подъ вліяніемъ глубокаго проникновенія писателя въ міръ народной души и исторической жизни.

Было бы слишкомъ смѣло Марлинскому приписать вполнѣ опредѣленную систему критическихъ воззрѣній, признать его совершенно установившимся публицистомъ во имя идейности и народности литературы. Онъ не даетъ намъ права—возводить его въ представители своего рода школы и удѣлить ему мѣсто среди учителей-вдохновителей. Онъ самъ, повидимому, не представлялъ этой роли и даже вообще отрицалъ у критики цѣль—«поправлять автора»: это значило бы, по его мнѣнію, «учить серинеткою соловья пѣть, и молнію летать какъ бумажный змѣй». Онъ желалъ только по возможности—*объяснять* и *указывать*, предоставляя таланту полную свободу.

Но, очевидно, назначеніе критики понималось слишкомъ узко.

Самъ критикъ не могъ удержаться отъ весьма энергичныхъ наставленій и усиленныхъ поправленій. И это невольное, но неизбѣжное нарушеніе собственной воли могло принести только пользу современнымъ талантамъ.

Лишній разъ поднять вопросъ о правахъ русской старины и дѣйствительности имѣть свое мѣсто въ поэзіи, выдвинуть на первый планъ оригинальный складъ русскаго характера и подчеркнуть въ немъ драматическія и лирическія черты—значило работать въ томъ самомъ направленіи, въ какомъ шелъ Пушкинъ—одинокій и непризнаваемый признанными знатоками литературы. Недаромъ поэтъ по поводу одного изъ обозрѣній Марлинскаго писалъ ему: «Предвижу, что буду согласенъ съ тобою въ твоихъ мнѣніяхъ литературныхъ» [128]). Фактъ—безпримѣрный, если не считать издателя той же *Полярной звѣзды*—Рылѣева и нѣкоторыхъ счастливыхъ исключеній, въ родѣ статьи Веневитинова. Но несмотря и на эту статьи, сердце Пушкина, несомнѣнно, больше лежало къ поэту-публицисту, чѣмъ къ философу-поэту.

Отсутствіе философіи, конечно, имѣло и свою отрицательную сторону, — Марлинскій писалъ очень длинныя разсужденія и ни разу не додумался до необходимости представить свои взгляды въ цѣльной, строго обоснованной формѣ. Ему приходилось касаться существеннѣйшихъ теоретическихъ вопросовъ, напримѣръ, о реализмѣ въ поэзіи, объ отношеніи искусства къ природѣ. Эти темы требовали тщательнаго и всесторонняго разрѣшенія, имъ предстояло въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій занимать русскую критику, плодить ожесточеннѣйшую полемику и пребывать во главѣ угла всѣхъ разнообразныхъ теченій эстетики и публицистики. Какой плодотворный толчокъ далъ бы вопросу краснорѣчивый романтикъ, если бы попытался остановить на немъ свое вниманіе!

Ничего подобнаго не произошло.

Толкуя о возможности для истиннаго таланта открыть интересъ и поэзію даже въ «старыхъ предметахъ», критикъ рѣшается заявить: «всякой горшокъ тогда найдетъ свою поэзію». Это выраженіе могло бы стать достойной параллелью желчному стиху Пушкина о черни, не цѣнящей художественной красоты Аполлона Бельведерскаго.

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь...

[128]) Письмо отъ 21 марта 1825 г., по поводу статьи Взглядъ на *Русскую словесность въ теченіе 1824 и началѣ 1825 годовъ.*

Эти слова написаны на пять лѣтъ раньше статьи Марлинскаго, въ 1828 году, и критикъ, можетъ быть, имѣлъ въ виду именно ихъ. Это значило вносить поправку въ минутное настроеніе поэта и напоминать ему его же собственную теорію фламандскаго искусства.

Но все дѣло ограничилось одной фразой: мысль, чреватая великими выводами, осталась неразвитой и даже точно не объясненной.

Одновременно Марлинскій написалъ нѣсколько горячихъ строкъ противъ фанатическихъ поклонниковъ реализма, — впослѣдствіи натуралистовъ. Онъ не признаетъ рабскаго фотографированія природы. «Развѣ простота пошлость?.. Природа! Послѣ этого, тотъ, кто хорошо хрюкаетъ поросенкомъ, величайшій изъ виртуозовъ, а фельдшеръ, снявшій алебастровую маску съ Наполеона, первый ваятель!! Искусство не рабски передразниваетъ природу, а создаетъ свое изъ ея матеріаловъ».

Опять — зерно великой истины, но только зерно: авторъ бросилъ его, немедленно умчался дальше, предоставивъ его собственной участи.

И эта молніеность мыслей, точнѣе настроеній нерѣдко головой выдаетъ критика. Роковая судьба всякихъ импрессіонистскихъ сужденій—запутывать автора въ противорѣчія и двусмыслицы.

Сочувствіе Марлинскаго реализму, кажется, достаточно энергично, но оно не мѣшаетъ ему написать фразу, вызвавшую отпоръ Пушкина: Майковъ «оскорбилъ образованный вкусъ своею поэмою *Елисей*».

Пушкинъ въ письмѣ къ Марлинскому припомнилъ какъ разъ самыя реалистическія мѣста изъ забракованной поэмы и находилъ ихъ «уморительными», совершенно не оскорбляясь въ своемъ поэтическомъ вкусѣ [129]).

Попадалъ въ просакъ Марлинскій и по поводу произведеній самого Пушкина. Въ *Онѣгинѣ* онъ не желалъ терпѣть изображенія свѣтской пустоты, романъ считалъ подражаніемъ *Донъ Жуану*. Послѣдняя мысль еще не особенно смертный грѣхъ, но устранять поэтическое творчество отъ будничныхъ явленій хотя бы высшаго общества, значило опять наносить ущербъ реальному искусству и съуживать столь торжественно признанныя права поэта — все дѣлать достояніемъ поэзіи.

[129]) Письмо отъ 13 іюня 1823 года.

Въ результатѣ — критика Марлинскаго переполнена лучами разсѣянной истины, но сама истина — полная и побѣдоносная— такъ и осталась недоступной для талантливаго писателя. Его отрицательные приговоры надъ школами, его восторженные отзывы о народности басенъ Крылова и грибоѣдовской комедіи— неотъемлемыя завоеванія здороваго художественнаго *чувства* но всѣ попытки затронуть область принциповъ и основъ, неизмѣнно сопровождались недоговоренностью, неясностью и противорѣчивостью *мысли*. Правда, эти недостатки нерѣдко выкупались живой идейно-общественной отзывчивостью Марлинскаго, его несомнѣннымъ талантомъ публициста, вѣрнымъ инстинктомъ культурнаго и просвѣщеннаго гражданина. Но всѣ эти достоинства оказывались безсильными, когда приходилось рѣшать чисто-эстетическіе вопросы: о реализмѣ, объ отношеніи творчества къ природѣ и дѣйствительности.

XLVII.

При всѣхъ мѣткихъ сужденіяхъ, высказанныхъ Марлинскимъ о разныхъ литературныхъ вопросахъ, оригинальнѣйшей и въ то же время благороднѣйшей чертой его статей слѣдуетъ признать его отношеніе къ опаснѣйшему сопернику по ремеслу—къ Полевому. Появленіе *Московскаго Телеграфа* критикъ встрѣтилъ не особенно дружелюбно: мы увидимъ,—это значило пѣть хоромъ съ большинствомъ современныхъ литераторовъ. Отзывъ Марлинскаго пріобрѣлъ даже классическую извѣстность и онъ дѣйствительно остроумно, хотя и каррикатурно, схватилъ характеръ журнала.

Телеграфъ «заключаетъ въ себѣ все; извѣщаетъ и судитъ обо всемъ, начиная отъ безконечно малыхъ въ математикѣ до пѣтушьихъ гребешковъ въ соусѣ или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ. Неровный слогъ, самоувѣренность въ сужденіяхъ, рѣзкій тонъ въ приговорахъ, вездѣ охота учить и частое пристрастіе— вотъ знаки сего телеграфа, а *смѣлымъ владѣетъ Богъ*,—его девизъ».

Это писалось въ 1825 году. Восемь лѣтъ спустя взглядъ критика совершенно перемѣнился. Марлинскій—восторженнѣйшій поклонникъ талантовъ Полевого и его журнала. Онъ отказывается даже говорить подробно о главнѣйшихъ русскихъ поэтахъ, находя свою рѣчь безполезной послѣ дѣльныхъ, безпристрастныхъ и увлекательныхъ статей *Телеграфа*. Этимъ журналомъ «должна гор-

диться Россія, который одинъ стоитъ за нее на стражѣ противъ старовѣрства, одинъ для нея на ловлѣ европейскаго просвѣщенія».

Но это, сравнительно, скромно съ рѣшительностью Марлинскаго—встать на защиту *Исторіи русскаго народа.* Злополучнѣйшій трудъ Полевого вызвалъ единодушный натискъ; во главѣ нападавшихъ стояли: Пушкинъ—первый представитель поэзіи и Погодинъ—ученый историкъ. О Надеждинѣ и Каченовскомъ нечего и упоминать: они прямо отводили душу...

И среди этой повальной травли Марлинскій возвысилъ голосъ, и, притомъ, въ самомъ рискованномъ направленіи: онъ Полевому отдавалъ предпочтеніе предъ Карамзинымъ. У того исторія — «златопернатый разсказъ», у Полевого—«повѣствованіе, пернатое свѣтлыми идеями».

Дальше слѣдовалъ горячій панегирикъ широтѣ взглядовъ автора, его мужеству и «неумытному суду» надъ грѣшниками и праведниками. Припоминались имена Баранта, Тьерри, Нибура, Савиньи, и Полевой провозглашался историкомъ, достойнымъ своего времени. Естественно, восторгамъ предъ трудомъ Полевого должны были соотвѣтствовать чувства и рѣчи по адресу его противниковъ, и Марлинскій не пожалѣлъ словъ для достойной отповѣди «университетскому колокольчику», «кислымъ щамъ пузырнымъ»...

Отзывъ относится къ 1833 году, когда журнальная дѣятельность Полевого стояла въ зенитѣ своего развитія и надъ ней уже висѣла правительственная гроза. Любопытно, что́ именно Марлинскій отчасти способствовалъ оффиціальнымъ врагамъ Полевого. Статью объ издателѣ *Телеграфа* онъ напечаталъ въ самомъ *Телеграфѣ* и самая эффектная цитата изъ нея не преминула попасть въ матеріалы къ обвинительному акту, составленному Уваровымъ. Но не только одна цитата, вообще въ составѣ обвиненія играли большую роль «Марлинскаго отзывы, въ *Телеграфѣ* помѣщаемые» [130]).

Это понятно.

Марлинскій, одинъ изъ главныхъ участниковъ декабрьской исторіи, избѣжавшій казни только благодаря рыцарственному самоотверженному признанію своего грѣха, но все-таки сосланный въ Якутскъ, не могъ считаться благонамѣреннымъ писателемъ.

[130]) Сухомлиновъ. *Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и словесности.* Спб. 1889. Н. А. Полевой и его журналъ *Московскій Телеграфъ*, стр. 421, 425.

А между тѣмъ, статью о Полевомъ онъ написалъ въ Дагестанѣ, гдѣ продолжалъ отбывать вторую степень своего искупленія. Въ русской публикѣ не могли забыть издателя *Полярной Звѣзды* и достаточно, напримѣръ, познакомиться съ восторженными воспоминаніями Греча, совершенно не сочувствовавшаго политикѣ Марлинскаго, чтобы оцѣнить почти исключительное положеніе блестящаго свѣтскаго льва и литератора [131]).

И сочувствія такого человѣка, оказывалось, безусловно принадлежали Полевому и его журналу: это стоило какой угодно рекомендаціи и ярко подчеркивало духъ и цѣли *Телеграфа*.

Для насъ фактъ существенно важенъ. Онъ безъ всякихъ подробныхъ изслѣдованій съ совершенной точностью опредѣляетъ мѣсто журнала, смѣнившаго *Полярную Звѣзду*. Альманахъ прекратился какъ разъ въ первый годъ изданія *Телеграфа*, и мы можемъ впервые установить преемственность направленія въ русской періодической печати.

Полярная Звѣзда была кратковременной свѣтлой полосой на горизонтѣ петербургской журналистики, за ней слѣдовала монополія Греча и Булгарина. Въ томъ же 1825 году Гречъ, издававшій *Сынъ Отечества*, вошелъ въ союзъ съ Булгаринымъ, издателемъ *Сѣвернаго Архива*, и немедленно началась чисто биржевая спекуляторская дѣятельность компаніи. Главную роль игралъ Булгаринъ, и Гречъ единолично, вѣроятно, не довелъ бы своего изданія до позорнаго положенія, стяжавшаго безсмертіе въ исторіи русской журналистики. Но благонамѣренности Греча хватило на очень короткое время.

Мы упоминали о возникновеніи *Сына Отечества*, какъ спеціально-патріотическаго органа въ эпоху двѣнадцатаго года. Помимо патріотизма, Гречъ умѣлъ на первыхъ порахъ обнаружить извѣстную смѣтливость и даже талантливость критика. Онъ явился предшественникомъ Марлинскаго въ годичныхъ обозрѣніяхъ литературнаго движенія. Статьи Греча не идутъ ни въ какое сравненіе съ эффектными «взглядами» издателя *Полярной Звѣзды*, но для своего времени они были полезной новостью. Еще важнѣе другая черта журнала Греча: грамотность и возможная правильность языка. Это достоинство впослѣдствіи отмѣтилъ Марлинскій, признавая заслуги Греча предъ русской грамматикой и русскимъ стилемъ. Наконецъ, и самые отзывы Греча, пока онъ дѣйство-

[131]) Гречъ, *О. с.* стр. 393 etc.

валъ самостоятельно, не грѣшили пристрастіемъ и разными не-литературными настроеніями.

Его критику цѣнилъ Пушкинъ, именуя «любезнымъ нашимъ Аристархомъ», Марлинскій заявлялъ: «на пламени его критической лампы не одинъ литературный трутень опалилъ себѣ крылья». Полевой, по свидѣтельству его брата, воспитывалъ себя на статьяхъ *Сына Отечества* и дружественное сближеніе съ авторомъ «считалъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ событій въ жизни своей».

Но положеніе Греча общественное и литературное совершенно измѣнилось, лишь только онъ связалъ свою дѣятельность съ булгаринскими промыслами. И замѣчательно, связалъ уже послѣ того, какъ основательно узналъ продѣлки Булгарина и могъ вполнѣ оцѣнить его нравственную физіономію.

Мы впослѣдствіи еще встрѣтимся съ этимъ дуумвиратомъ и Булгаринъ займетъ свое мѣсто въ нашей исторіи. Въ настоящее время для насъ достаточно опредѣлить литературную обстановку, при какой возникалъ журналъ Полеваго.

Тотъ же Гречъ избавилъ насъ отъ труда рыться въ темной біографіи Булгарина и съ компетентностью близкаго пріятеля подвелъ итогъ его дѣламъ и добродѣтелямъ въ началѣ его издательскаго поприща.

По происхожденію полякъ, офицеръ русскаго гвардейскаго полка, онъ предъ войной двѣнадцатаго года вышелъ въ отставку, перешелъ во французскую службу, участвовалъ въ походѣ Наполеона и въ сраженіяхъ противъ русскихъ. Гречъ по достоинству оцѣниваетъ эти подвиги—«по суду совѣсти и по общему закону чести». Булгаринъ «былъ русскимъ подданнымъ и дворяниномъ, воспитанъ въ казенномъ заведеніи на счетъ правительства, носилъ гвардейскій мундиръ и перешелъ подъ знамена непріятельскія».

Послѣ войны Булгаринъ основался въ Петербургѣ, вошелъ въ милость къ такимъ людямъ, какъ «гнусный Магницкій и сумазбродный Руничъ», велъ какой-то чрезвычайно кляузный процессъ. Гречъ именно этимъ процессомъ объясняетъ окончательное паденіе Булгарина. До 1823 года Булгаринъ почти не занимался литературой.

Она выступила на сцену уже послѣ неудачъ на другихъ поприщахъ. Началось дѣло съ плагіата, съ изданія *Одъ Горація* съ чужими объясненіями, потомъ явился *Сѣверный Архивъ*. Гречъ даетъ безнадежный отзывъ и объ этомъ изданіи.

«Набравъ нѣсколько историческихъ матеріаловъ, сталъ онъ издавать *Сѣверный Архивъ*, печаталъ въ немъ статьи интересныя,

но впадалъ въ страшные промахи, особенно по недостаточному знанію иностранныхъ языковъ, коверкалъ имена собственныя, смѣшивалъ событія, и если бы издавалъ теперь, то не избѣжалъ бы обличеній и насмѣшекъ, но въ тѣ блаженныя времена, когда «печатный каждый листъ казался намъ святымъ», и не то сходило съ рукъ».

Какъ разъ около этого времени Гречъ, раньше увлекавшійся либерализмомъ, «вытрезвился отъ либеральныхъ идей волею и неволею». Особенно сильное впечатлѣніе на него произвела семеновская исторія, онъ быстро превратился въ совершенно подходящій матеріалъ для булгаринскихъ воздѣйствій и закрылъ глаза на всѣ «недоразумѣнія» въ жизни и характерѣ пестраго авантюриста.

Союзъ заключенъ, и *Сынъ Отечества* немедленно измѣнилъ даже свою программу. Обстоятельный библіографическій отдѣлъ былъ уничтоженъ, собственно литературная критика устранена времена, когда въ этомъ отдѣлѣ могъ сотрудничать даже Марлинскій, а въ стихотворномъ являться Пушкинъ, Жуковскій, Баратынскій, Рылѣевъ, прошли безвозвратно. На страницахъ журнала водворился особый жанръ публицистики—смѣсь памфлета, инсинуацій, личной брани и юридическихъ бумагъ. Поставщикомъ этого матеріала былъ преимущественно Булгаринъ, но Гречъ стоялъ рядомъ съ нимъ и, повидимому, не страдалъ ни чувствомъ гнѣва, ни презрѣнія. Онъ правда удерживалъ «сарматскіе порывы Булгарина», т. е. его доносительскій зудъ, но продолжалъ развивать компанейскую дѣятельность. Съ января 1825 года союзники начали третье изданіе, газету *Сѣверную Пчелу*, и окончательно заполонили литературу. *Пчела* на долгіе годы осталась истинной язвой русской журналистики и оказала неисчислимыя растлѣвающія вліянія на публику и писателей.

Издатели съ цинической откровенностью восхваляли взаимно другъ друга. Произведенія Булгарина объявлялись классическими и безсмертными, рядомъ писались торговыя рекламы товарамъ купцовъ, имѣвшихъ счастье заслужить предъ знаменитымъ литераторомъ, до небесъ превозносился и литературный товаръ людей пріятныхъ и приверженныхъ, но зато не было пощады чужимъ.

Пріятельскія критики писались въ такомъ тонѣ: «Покупайте, гг. покупатели! Не скупитесь, папеньки! Да это раскупятъ, какъ конфекты, да и какъ не купить того, что полезно, хорошо и дешево»

[132]) Кс. Полевой. *О. с.* стр. 147.
[133]) *Сѣверная Пчела*. 1830, № 30.

Критики *Сѣверной Пчелы* и *Сына Отечества* не стѣснялись никакими «переоборотами», по выраженію Пушкина: все зависѣло отъ перемѣны въ личныхъ отношеніяхъ. Никакого смысла и значенія не имѣли ни талантъ, ни популярность писателя. Пушкинъ отъ начала до конца оставался неизмѣнной мишенью для отборныхъ булгаринскихъ залповъ, Гоголь прямо не существовалъ на страницахъ газеты и журнала. Исчезла безслѣдно даже грамотность, основное достоинство прежняго *Сына Отечества* и статьи писались на какомъ-то международномъ неосмысленномъ языкѣ. Совершалось сплошное издѣвательство надъ формой и содержаніемъ литературы, и между тѣмъ монополія держалась чрезвычайно прочно.

Союзники съумѣли обезпечить себя не только со стороны цензуры и власти, но производили настоящую панику среди самихъ литераторовъ. И, что особенно оригинально и краснорѣчиво для цѣлаго періода русской литературы, эти факты находятся въ непосредственной связи.

Даже Пушкину и его друзьямъ пришлось испытать нѣкоторую оторопь предъ разнообразными путями булгаринской мести.

Булгаринъ, раздраженный неодобрительной статьей объ его романѣ *Самозванецъ* въ *Литературной газетѣ* и приписавшій ее Пушкину: авторомъ ея былъ Дельвигъ,—напечаталъ въ *Сѣверной Пчелѣ Анекдотъ*, т. е. пасквиль на «французскаго стихотворца» Пушкина и вмѣстѣ съ тѣмъ похвальнѣйшую аттестацію самому себѣ, подъ именемъ Гофмана.

Анекдотъ—типичнѣйшее произведеніе булгаринскаго пера и нѣсколько строкъ подлинника освободятъ насъ на будущее время отъ подробныхъ некрологическихъ экскурсій въ человѣческую и литературную душу автора.

Гофманъ обращается къ одному почтенному французскому литератору съ такимъ письмомъ:

«Дорожа вашимъ мнѣніемъ, спрашиваю у васъ, кто достоинъ болѣе уваженія изъ двухъ писателей. Предъ вами предстаетъ на судъ, во-первыхъ, природный французъ, служащій усерднѣе Бахусу и Плутусу, нежели Музамъ, который въ своихъ сочиненіяхъ не обнаружилъ ни одной высокой мысли, ни одного возвышеннаго чувства, ни одной полезной истины, у котораго сердце холодное и нѣмое существо, какъ устрица, а голова—родъ побрякушки, набитой гремучими риѳмами, гдѣ не зародилась ни одна идея, который бросаетъ риѳмами во все священное, чванится предъ чернью вольнодумствомъ, а тишкомъ ползаетъ у ногъ сильныхъ, чтобъ позволили ему наря-

диться въ шитый кафтанъ, который мараетъ бѣлые листы на продажу, чтобъ спустить деньги на крапленыхъ листахъ, и у котораго одно господствующее чувство—суетность. Во-вторыхъ, иноземецъ, который во всю жизнь не измѣнилъ ни правиламъ своимъ, ни характеру, былъ и есть вѣренъ долгу чести, любилъ свое отечество до присоединенія онаго къ Франціи и послѣ присоединенія любитъ вмѣстѣ съ Франціею, который за гостепріимство заплатилъ Франціи собственною кровью на полѣ битвы, а нынѣ платитъ ей дань жертвою своего ума».

Пушкинъ отвѣчалъ статьей *О запискахъ Видока*, оцѣнивавшей по достоинству патріотизмъ и литературные пріемы Булгарина. Статья страшно обезпокоила друзей Пушкина и онъ рѣшилъ обратиться съ письмомъ къ гр. Бенкендорфу, предупреждая его о возможныхъ шагахъ Булгарина. Бенкендорфъ отвѣтилъ поэту въ успокоительной формѣ, но фактъ достаточно внушителенъ, чтобы представить исключительное положеніе удивительнаго журналиста [134]).

Можно привести и еще болѣе эффектные случаи. Напримѣръ, двумя годами позже исторіи съ Пушкинымъ въ Москвѣ появилось сатирическое стихотвореніе *Двѣнадцать спящихъ будочниковъ*, направленное противъ «Выжигиныхъ», т. е. Булгарина, автора романа *Иванъ Выжигинъ*. Въ *Сѣверной Пчелѣ* въ библіографическомъ отдѣлѣ выписали полное заглавіе баллады и вмѣсто рецензіи напечатали: *Ни слова*! Но для властей и этого оказалось достаточно: цензоръ Аксаковъ, пропустившій балладу, былъ отставленъ отъ должности [135]).

Легко понять, какое раздолье открывалось при такихъ условіяхъ «патріотическимъ» талантамъ Булгарина и съ какой стремительностью онъ пользовался обстоятельствами!

На эти именно годы, на періодъ перваго безудержнаго разгула пасквилянтства и доносительства, падаетъ многотрудная и неожиданно успѣшная дѣятельность Полевого. Въ атмосферѣ, насыщенной булгаринскимъ духомъ, обыкновеннымъ людямъ нелегко было просто дышать,—Полевой съумѣлъ не только жить, но дѣйствовать на свой единоличный страхъ, съ единственнымъ оружіемъ—глубокой вѣрой въ свои силы и въ благородство своихъ цѣлей.

[134]) Барсуковъ, III, 18—19.

[135]) Барсуковъ, IV, 12.

XLVIII.

Судьба Николая Алексѣевича Полевого, какъ писателя, представляетъ одну изъ самыхъ благодарныхъ иллюстрацій къ извѣстной классической истинѣ: современники рѣдко по достоинству оцѣниваютъ талантливыхъ дѣятелей, и только потомство произноситъ правый судъ и отводитъ крупнымъ и мелкимъ героямъ надлежащее мѣсто въ галлереѣ исторіи.

Относительно Полевого это правило осуществилось въ самой рѣзкой прямолинейной формѣ. Приговоръ потомства совпалъ съ итогами, какіе самъ писатель успѣлъ подвести своей дѣятельности. И произошло это послѣ того, какъ знаменитымъ журналистомъ былъ пройденъ въ высшей степени бурный, отъ начала до конца воинственный путь идейной и личной борьбы съ подавляющимъ большинствомъ современниковъ.

За семь лѣтъ до смерти Полевой издавалъ собраніе своихъ критическихъ статей и писалъ предисловіе, болѣе похожее на исповѣдь, чѣмъ на обычное вступленіе къ книгѣ. Писатель говорилъ о себѣ не только какъ о критикѣ и публицистѣ, но совершенно открыто и искренне рисовалъ свой нравственный портретъ. И то и другое было вскорѣ подписано людьми, еще весьма недавно состоявшими, повидимому, въ непримиримой враждѣ съ авторомъ исповѣди.

Полевой писалъ:

«Немногіе изъ русскихъ литераторовъ, говоря вообще, писали столь много и въ столь многообразныхъ родахъ, какъ я. Едва ли какой-нибудь современный предметъ, сколько-нибудь волновавшій умы и сердца моихъ современниковъ, не обращалъ на себя моего вниманія, какъ критика и журналиста. Изученіе и разборъ всего, что мелькало передъ нами, въ минувшія 15, 20 лѣтъ, увлекали меня безпрерывно и постоянно. Осмѣливаюсь думать, что въ томъ, что было мною писано, и не одни современники найдутъ поводъ къ размышленію».

Переходя къ вопросу, какъ онъ относился къ предметамъ своихъ сужденій, авторъ торжественно заявляетъ:

«Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслухъ, что никогда не увлекался я ни злобою—чувствомъ для меня презрительнымъ, ни завистью—чувствомъ, котораго я не понимаю, никогда то, что говорилъ и писалъ я, не разногласило съ моимъ убѣжденіемъ, и никогда сочувствіе добра не оставляло сердца моего; оно всегда

сильно билось для всего великаго, полезнаго и прекраснаго. Смѣю думать, что самые враги мои, если они и въ состояніи сказать обо мнѣ очень многое, въ тайнѣ сердца своего не станутъ противорѣчить симъ словамъ моимъ» [136]).

И они, дѣйствительно, не противорѣчили.

Среди современныхъ литераторовъ Полевой, несомнѣнно, имѣлъ всѣ основанія считать своими «врагами» Бѣлинскаго и Надеждина, и перваго особенно опаснымъ и безпощаднымъ. Братъ и ближайшій сотрудникъ издателя *Телеграфа* съ глубокой грустью и негодованіемъ говоритъ о нападкахъ Бѣлинскаго на Полевого въ послѣдній періодъ его жизни и приписываетъ ихъ «страстямъ низкимъ и ничтожнымъ»: столько, по мнѣнію автора, было желчи и несправедливости въ гоненіяхъ знаменитаго критика! [137]).

Въ дѣйствительности, конечно, Бѣлинскому были чужды чисто личныя побужденія въ какой бы то ни было литературной борьбѣ, и противъ Полевого въ особенности. Дѣло шло прежде всего о Полевомъ-драматургѣ. Это была дѣятельность, менѣе всего достойная ранней славной карьеры журналиста, дѣятельность—ремесленника и дешеваго лубочнаго патріота. Именно «квасной патріотизмъ», когда-то жестоко осмѣянный *Телеграфомъ*, теперь сталъ вдохновителемъ автора *Дѣдушки русскаго флота, Ивана Иолкина, Параши Сибирячки*. Одинъ изъ современныхъ критиковъ, независимо отъ Бѣлинскаго, такъ характеризовалъ содержаніе драмъ Полевого: «Русская рука! русское сердце! не бѣлы-то снѣги! русская баба! русскій штыкъ! русскій морякъ! русскій флагъ! русское ура! урра! уррра!» Этимъ мотивамъ соотвѣтствовали и эпизоды, и личности героевъ, надѣленные, ради ихъ россійскаго народнаго званія, всевозможными доблестями и сверхъестественной удачливостью [138]).

Усердіе автора, конечно, находило соотвѣтствующее поощреніе въ высшихъ сферахъ, но отнюдь не могло подкупить болѣе или менѣе независимую и литературно-просвѣщенную критику.

Несомнѣнно, данничество предъ «квасным патріотизмомъ» свидѣтельствовало и о другихъ, болѣе важныхъ оттѣнкахъ, возникшихъ въ литературной работѣ Полевого въ послѣдніе годы жизни. Врядъ ли можно было съ уваженіемъ отнестись къ сов-

[136]) *Очерки русской литературы*, т. I. Спб. 1839. Нѣсколько словъ отъ сочинителя, стр. VIII, IX.

[137]) Кс. Полевой. *О. с.*, стр. 460—1.

[138]) Статья о Полевомъ, какъ драматургѣ, г. Вл. Боцяновскаго. Въ *Ежегодникѣ Императорскихъ театровъ*. 1894—1895. прилож., кн. 3-я.

мѣстному труду Полевого съ Булгаринымъ надъ романомъ, къ сотрудничеству въ такихъ органахъ, какъ *Библіотека для Чтенія*. Правда, Полевой впослѣдствіи публично отказался отъ статей, напечатанныхъ подъ его именемъ въ этомъ журналѣ: Сенковскій, оказывалось, передѣлывалъ критическіе отзывы Полевого съ невѣроятной безцеремонностью, прибавлялъ «брань» на неугодныхъ ему писателей, уснащалъ всевозможными размышленіями отъ себя... Вообще, говоритъ Полевой, «я хотѣлъ разсуждать, а меня заставляли браниться» [140]).

Но, во-первыхъ, эти факты до авторскаго объясненія оставались редакціонной тайной, а потомъ Полевой ихъ терпѣлъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе двухъ лѣтъ по 1837 годъ и, слѣдовательно, не могъ разсчитывать на полное снисхожденіе своихъ противниковъ.

Позже слѣдовало издательство *Русскаго Вѣстника*, и жестокая война противъ таланта и произведеній Гоголя. *Ревизоръ* являлся безцѣльнымъ и безсмысленнымъ «фарсомъ», *Мертвыя души* вызывали у критика совѣтъ автору перестать лучше писать, чѣмъ «постепенно болѣе и болѣе падать». И все это по поводу клеветы, возведенной, будто бы, Гоголемъ на Россію въ его сатирахъ и особенно крайне неприличнаго языка, не допустимаго «въ порядочномъ обществѣ» [141]).

Все это очень мало напоминало прежняго Полевого, по пріемамъ критики и особенно по руководящимъ идеямъ: основная демократическая струя, ярко прорѣзывавшая энергическія страницы *Телеграфа*, обмелѣла и будто исчезла.

Естественно было наблюдателямъ со стороны заговорить о старческомъ упадкѣ таланта, о попятномъ движеніи идей, о небрежности и нелитературности работы.

Для всего этого существовало въ высшей степени смягчающее обстоятельство—страшная нужда, угнетавшая Полевого. Буквально разгромленный и подавленный катастрофой съ *Телеграфомъ*, онъ принужденъ былъ биться какъ рыба объ ледъ изъ-за многочисленныхъ долговъ и насущнаго пропитанія семьи. Его письма за послѣдніе годы жизни — моменты настоящей мученической агоніи. Мимолетные проблески надежды, безпрестанно смѣняющіяся отчаяніемъ, предъ нами все время утопающій, готовый ухватиться за

[139]) Кс. Полевой, стр. 567.

[140]) *Очерки*. Нѣск. словъ, стр. XVI, XVII, XVIII.

[141]) *Русскій Вѣстникъ*, 1842 годъ.

первый спасительный предметъ. И, несомнѣнно, случись Бѣлинскому прочитать одно изъ этихъ писемъ, онъ смягчилъ бы свои удары и пощадилъ бы идейную немощь во имя добраго чувства къ собрату-писателю [142]).

Но Бѣлинскій видѣлъ только литературные внѣшніе факты.

Послѣ сотрудничества въ *Библіотекѣ для Чтенія* Полевой взялся редактировать *Сынъ Отечества*, превратилъ его изъ еженедѣльнаго изданія въ ежемѣсячный и на первыхъ порахъ, по старой памяти о *Телеграфѣ*, возбудилъ напряженныя ожиданія и надежды у публики.

Въ результатѣ, оказалась полная солидарность по направленію съ *Библіотекой для Чтенія* и неуклонная война съ *Отечественными Записками*, гдѣ первымъ критикомъ состоялъ Бѣлинскій. И онъ, по поводу духа и запальчивости *Сына Отечества*, давалъ слѣдующую фактически-справедливую характеристику новаго пути стараго журналиста:

«Не странное ли зрѣлище представляетъ собою человѣкъ, который съ силою, энергіею, одушевленіемъ, вооруженный смѣлостью и дарованіемъ, явился на литературномъ поприщѣ рьянымъ поборникомъ новаго и могучимъ противникомъ стараго, а сходитъ съ поприща, на которомъ подвизался съ такимъ блескомъ, съ такою славою и такимъ успѣхомъ, сходитъ съ него—противникомъ всего новаго и защитникомъ всего стараго?..»

И дальше перечисляются великія заслуги издателя *Телеграфа* предъ русской критикой: онъ убилъ авторитетъ Корнелей и Расиновъ, онъ привѣтствовалъ Пушкина великимъ поэтомъ, ратовалъ противъ безвкусія, вычурности, натянутости, а теперь его боги—классики и романтики низшаго разбора, и онъ же во главѣ противниковъ Пушкина [143]).

Сопоставленія вполнѣ основательныя и изъ нихъ видно, какъ мало было у Бѣлинскаго желанія развѣнчать всю литературную карьеру Полевого и вычеркнуть изъ исторіи литературы его положительныя заслуги.

Но при всѣхъ оговоркахъ и часто именно благодаря имъ, укоризны критики являлись особенно чувствительными и Полевой умеръ, не доживъ до болѣе яснаго и мирнаго горизонта. Умеръ, и «потомство» въ лицѣ тѣхъ же современниковъ, устами того же

---

[142]) Письма напечатаны у Кс. Полевого, особенно трагиченъ періодъ *Русскаго Вѣстника* (письмо отъ 21 марта 1842 года. стр. 543 etc.).

[143]) *Сочиненія*, III, 105—6.

Бѣлинскаго заговорило, и въ такомъ тонѣ, о какомъ Полевой не могъ и мечтать.

Полевой теперь сразу занималъ первое мѣсто среди литературныхъ героевъ Россіи, его имя ставится рядомъ съ именами Ломоносова и Карамзина, оно, слѣдовательно, знаменуетъ цѣлую эпоху. И какую эпоху! Полагавшую основу дальнѣйшему неуклонному прогрессу руской общественной мысли и русскаго просвѣщенія. Даже самыя шумныя предпріятія Полевого, вызвавшія противъ него исключительное ожесточеніе во всѣхъ лагеряхъ— науки, литературы, интеллигенціи,—объясняются критикомъ съ обычнымъ искусствомъ и полнымъ благоволеніемъ къ почившему бойцу.

Бѣлинскій восхищается статьей Полевого о Карамзинѣ, но за статьей слѣдовала жестокая брань почти всей печати, брань раздражила автора, и его *Исторія Руского народа* вышла переполненной нетерпѣливыми и чрезвычайно пространными нападками на Карамзина... Бѣлинскій говоритъ: «пожалѣемъ о слабости замѣчательнаго человѣка, оказавшаго литературѣ и общественному образованію великія заслуги; но не будемъ оправдывать его слабости или называть ее добродѣтелью».

Но, несомнѣнно, самый существенный фактъ, какой подчеркивалъ Бѣлинскій, полемическіе пріемы *Телеграфа* сравнительно съ современной печатью. Полевой «умѣлъ сохранять свое достоинство въ жару самой запальчивой полемики»: это много значило въ двадцатые и тридцатые годы, гораздо больше, чѣмъ мы можемъ представить въ настоящее время.

Въ общемъ статья Бѣлинскаго—достойный надгробный памятникъ человѣку и писателю, дѣлающій одинаковую честь и автору, еще вчерашнему противнику покойнаго, и самому покойнику [144]).

Десять лѣтъ спустя память Полевого увѣнчалъ и другой его врагъ—Надеждинъ, врагъ въ самомъ рѣзкомъ смыслѣ слова. Даже въ посмертномъ вѣнкѣ былая вражда сказалась нѣсколькими терніями, но результатъ—тожественный съ выводомъ Бѣлинскаго.

«Въ 1829 году, — пишетъ Надеждинъ,—въ Москвѣ выходило не мало журналовъ, изъ которыхъ шесть были чисто-литературные. Странное было то время! Характеръ журналистики былъ тогда по преимуществу полемическій. Живѣе всѣхъ дѣйствовалъ или, по

---

[144]) Отдѣльное изданіе статьи. Спб. 1846.

крайней мѣрѣ, громче всѣхъ кричалъ—*Телеграфъ*, журналъ, издававшійся покойнымъ Н. А. Полевымъ, московскимъ гражданиномъ, при участіи и сочувствіи всѣхъ почти тогдашнихъ литературныхъ знаменитостей. Полевой былъ въ то же время и частнымъ дѣйствователемъ по всѣмъ отраслямъ литературной дѣятельности. Онъ издавалъ книги, судилъ и рядилъ обо всемъ и умѣлъ снискать себѣ такой авторитетъ, какимъ рѣдко кто пользовался въ русской словесности. Извѣстна главная тенденція этого весьма талантливаго и во всякомъ случаѣ замѣчательнаго русскаго писателя. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ разрушителемъ всего стараго, и въ этомъ отношеніи дѣйствовалъ благотворно на просвѣщеніе, пробуждалъ застой, который болѣе или менѣе обнаруживался всюду» [145]).

Всѣ эти отзывы представляютъ намъ довольно точную картину писательской судьбы Полеваго. Начало—полное блеска и энергіи, конецъ—нѣчто въ родѣ медленной нравственной агоніи... Естественно возникаетъ вопросъ, чѣмъ создано было такое заключеніе жизненнаго пути одного изъ талантливѣйшихъ русскихъ журналистовъ? И вопросъ становится тѣмъ поучительнѣе, чѣмъ богаче результаты удачливаго періода жизни Полевого.

По словамъ Бѣлинскаго, они создали эпоху въ исторіи русской литературы. Подобная похвала—исключительный фактъ въ нелицепріятныхъ приговорахъ критика. Но онъ дѣйствительно вполнѣ соотвѣтствуетъ исторической истинѣ. Для Бѣлинскаго, писавшаго непосредственно послѣ кончины Полевого, для читателей—личныхъ свидѣтелей его успѣховъ и паденія—не предстояло необходимости подробно расчленять многообразные идейные и практически просвѣтительные пути критика и публициста. Для насъ эта именно задача является настоятельной. Среди этихъ путей многое въ настоящее время можетъ представлять только историческій интересъ, но рядомъ съ этимъ «архивнымъ матеріаломъ» многое до нашихъ дней сохранило жизненный насущный смыслъ.

XLIX.

Полевой переселился въ Москву изъ далекой провинціи, изъ Курска, отнюдь не съ литературными цѣлями. Его отецъ сначала велъ торговыя дѣла въ Сибири, потомъ короткое время наканунѣ наполеоновскаго нашествія въ Москвѣ, наконецъ въ Курскѣ—родинѣ Полевыхъ. Въ Москву онъ отправилъ сына съ цѣлью устроить

[145]) *Русск. Вѣстн.*, мартъ 1856, стр. 57.

сбытъ для своихъ водочныхъ продуктовъ. Это произошло въ началѣ 1820 года. Николаю Алексѣевичу шелъ двадцать четвертый годъ. Раньше изъ Сибири онъ уже былъ въ Москвѣ также съ торговыми порученіями отъ отца девять лѣтъ назадъ, выполнилъ порученія крайне неудачно, но зато дѣятельно посѣщалъ театръ, читалъ книги безъ счета, пробрался даже въ университетъ и слушалъ Мерзлякова, вообще яростно набросился на умственную пищу, какую только могла предложить столица пятнадцатилѣтнему провинціалу съ свободными матеріальными средствами. Одновременно шло дѣятельное сочинительство. Отцу при первомъ свиданіи пришлось сдѣлать строгій выговоръ и сжечь кипу бумагъ новоявленнаго писателя.

Но природная, чрезвычайно упорная стремительность къ авторству должна была взять верхъ. До первой поѣздки въ Москву будущій критикъ страстно поглощалъ весь книжный матеріалъ, какой только попадался подъ руки. Самъ онъ такъ характеризуетъ свое умственное образованіе до путешествія въ Москву: «я прочиталъ тысячу томовъ всякой всячины, помнилъ все, что прочиталъ, отъ стиховъ Карамзина и статей *Вѣстника Европы* до хронологическихъ чиселъ и Библіи, изъ которой могъ пересказывать наизусть цѣлыя главы. Но это былъ какой-то хаосъ мыслей и словъ, когда самъ я едва начиналъ мыслить».

Одновременно проходилась въ высшей степени содержительная практическая школа, велись дѣла съ откупщиками, шла конторская работа, завязывалось множество знакомствъ и подлинная русская жизнь широкой волной входила въ воспріимчивый духовный міръ юноши.

При такихъ условіяхъ естественно науку приходилось хватать урывками, по счастливымъ случайностямъ и встрѣчамъ. Итальянецъ, пьяный цирульникъ, отбившійся отъ наполеоновской арміи, показываетъ произношеніе французскихъ буквъ, музыкальный учитель научаетъ нѣмецкой азбукѣ. Николай Алексѣевичъ усвоиваетъ все это съ чрезвычайной быстротой и передаетъ свою только что пріобрѣтенную ученость брату Ксенофонту, будущему своему сотруднику. И теперь уже обнаруживаются зачатки журнальныхъ талантовъ: Полевой безпрестанно измышляетъ и издаетъ тетрадки въ формѣ журналовъ, наполняя ихъ собственными статьями и стихотвореніями [146]). Къ 1817 году появляется первая его статья

146) Кс. Полевой, стр. 15.

уже въ настоящемъ журналѣ,—въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, описаніе пребыванія въ Курскѣ императора Александра I. Въ 1818 году въ *Вѣстникѣ Европы* печатается переводъ изъ сочиненій Шатобріана, два года спустя Полевой заводитъ личныя знакомства съ петербургскими и московскими литераторами и издателями, вызываетъ у нѣкоторыхъ даже сильныя чувства, какъ *самоучка*, и путь къ давно взлелѣянной цѣли, повидимому, открывается широкій и свободный.

На первыхъ порахъ Полевому едва ли не всякій литераторъ и ученый кажется достойнымъ всяческаго почтенія. Онъ съ замираніемъ сердца присутствуетъ на засѣданіи Общества любителей россійской словесности, каждаго члена описываетъ потомъ самыми лестными эпитетами, дрожитъ отъ восторга только при видѣ каталога классическихъ европейскихъ писателей,—однимъ словомъ переживаетъ медовый мѣсяцъ, своего рода праздникъ своихъ литературныхъ влеченій и мечтаній.

Но вскорѣ приходится охладить чувства и поразнообразить эпитеты. Москва изобилуетъ литературными обществами. Полевой является всюду и вездѣ съ неизмѣнной идеей объ изданіи журнала. Эта же идея волновала другихъ, но, очевидно, въ совершенно другомъ направленіи, чѣмъ планы Полевого. По крайней мѣрѣ, будущій издатель *Телеграфа* не имѣлъ успѣха въ самомъ просвѣщенномъ современномъ обществѣ литераторовъ, въ раичевскомъ. Мы знаемъ, единственный изъ крупныхъ представителей литературы выразилъ ему сочувствіе, кн. Вяземскій и, по разсказамъ князя, именно ему обязанъ *Телеграфъ* возникновеніемъ. Именно онъ ободрилъ своимъ участіемъ «юношу» и закабалилъ себя новому изданію [147]).

Братъ Полевого также называетъ кн. Вяземскаго «главнымъ одушевителемъ редакціи», который ободрялъ издателя въ началѣ борьбы, обильно снабжалъ журналъ своими статьями и руководилъ даже авторствомъ самого Полевого [148]).

Но всякое внѣшнее руководительство должно было играть второстепенную роль при энергіи и поразительномъ публицистическомъ талантѣ новаго журналиста. Задачи были поставлены самыя широкія, какія только допускались условіями времени. Въ оффиціальной программѣ, представленной въ министерство народнаго

[147]) *Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго*, I, XLVIII—XLIX.

[148]) Кс. Полевой, стр. 126, ср. Сухомлиновъ. *Н. А. Полевой и его журналъ Московскій Телеграфъ. Изслѣдованія и статьи*, II, 370—1.

просвѣщенія, Полевой отказывался быть поставщикомъ «легкаго, поверхностнаго и забавнаго чтенія», имѣлъ въ виду «пользу» читателей, даже въ стихотвореніяхъ обѣщалъ соблюдать строжайшій выборъ, за критическими статьями обезпечивалось безпристрастіе и литературность.

Съ 1825 года началъ выходить журналъ—по двѣ книги въ мѣсяцъ. Въ руководящей статьѣ въ первомъ нумерѣ издатель на первый планъ выдвигалъ литературную критику. Она—пробный камень дарованій и добросовѣстности журналиста, и не должна гоняться за вкусами литературной черни.

Критика дѣйствительно заняла первенствующее мѣсто въ *Телеграфѣ* и Полевой имѣлъ полное право заявлять: «никто не оспоритъ у меня чести, что первый я сдѣлалъ изъ критики постоянную часть журнала» [149]).

Но критикой далеко не ограничились замыслы издателя. Журналъ предназначенъ носить «энциклопедическій характеръ». Онъ будетъ «знакомить читателей съ новыми идеями и важнѣйшими предметами, обращающими на себя вниманіе современной Европы». Это можно сказать всеобъемлющая программа, и ее *Телеграфъ* выполняетъ съ безкорыстной энергіей.

Политики онъ касаться не можетъ, но онъ дѣлаетъ политику при всякомъ удобномъ случаѣ, и мы увидимъ, съ какой находчивостью пріемовъ и смѣлостью воззрѣній.

Въ журналѣ съ каждымъ мѣсяцемъ расширяются и разнообразятся многочисленные отдѣлы. Въ «Библіографіи» издатель намѣренъ давать отчеты обо *всѣхъ* русскихъ книгахъ, помѣщаетъ самостоятельныя рецензіи объ иностранныхъ, чрезвычайно широко пользуется заграничными журналами съ тою же цѣлью, не стѣсняется отчетами даже о такихъ сочиненіяхъ, какъ армянская грамматика, работа по теоріи вѣроятностей на французскомъ языкѣ, въ рецензіяхъ о художественныхъ произведеніяхъ приводятся цитаты иногда на шести языкахъ, не исключая латинскаго и испанскаго [151]). Вообще для редактора нѣтъ препятствій ни въ предметахъ, ни въ способахъ доказывать идеи и просвѣщать читателей: былъ бы только матеріалъ свѣжъ, поучителенъ и общедоступенъ. Въ интересахъ солидности и основательности журналъ не прочь блеснуть

---

[149]) *Очерки*, стр. XIV.

[150]) *М. Тел.*, томъ XIV, 56—7.

[151]) *М. Т.*, XIX, 111; XXII, 365, 416—7.

ученостью и особенно энциклопедичностью, но отнюдь не педантической и не мертвенно-школьной.

Сотрудники *Телеграфа* превосходно знаютъ русскую литературу. Отъ ихъ глазъ не скроется самый ловкій литературный хищникъ и компиляторъ. При журналѣ существуетъ спеціальный «сыщикъ»—гроза современныхъ микробовъ поэзіи и журналистики, и улики журнала всѣ въ высшей степени остроумны и всегда убѣдительны. Булгаринская продѣлка съ одами Горація, компилятивное сочиненіе француза о Россіи, списанное съ книги русскаго писателя, безчисленныя подражанія Пушкину, часто до наивнаго переложенія его стиховъ, особенно изъ *Кавказскаго плѣнника* и *Евгенія Онѣгина*—все это попадаетъ въ неисчерпаемый багажъ русскаго журналиста. Онъ безпощаденъ къ иностранцамъ, присваивающимъ себѣ трудъ русскаго, и печатаетъ всякій разъ нарочитыя и обширныя статьи ради вящей улики. Къ отечественнымъ хищникамъ онъ снисходительнѣе, но его иронія всегда убійственна и всегда строго обоснована [152]).

У издателя богатѣйшій запасъ бойкихъ заглавій для критическихъ вылазокъ въ современный литературный хаосъ. Предъ нами «литературные пріиски»—для разоблаченія заимствованій Надеждина у нѣмецкихъ эстетиковъ, *Литературныя и журнальныя рѣдкости*—для улики *Отечественныхъ Записокъ*, въ перепечаткѣ подъ видомъ новаго оригинальнаго произведенія—старой переводной повѣсти [153]). Кромѣ того, существуетъ постоянное приложеніе *Новый живописецъ общества и литературы*—сатирическое обозрѣніе книгъ и людей, подробные обзоры журналистики, русской и иностранной, и авторъ до такой степени стремителенъ въ этой работѣ, что желалъ бы знать «всѣ журналы, выходящіе нынѣ въ цѣломъ свѣтѣ» [154]).

Вообще журналистика—его задушевнѣйшее дѣтище. *Телеграфъ* печатаетъ исторію русскихъ газетъ и журналовъ «съ самаго начала до 1828 года» съ главной цѣлью доказать культурное и общественное значеніе журналистики и указать «русскимъ отличнымъ литераторамъ» на ихъ равнодушіе къ журналамъ, между тѣмъ какъ на Западѣ въ журналистикѣ принимаютъ участіе первостепенные таланты [155]).

---

[152]) *М. Т.*, XII, 45; XVIII, 35; XIX, 21; XXIX, 368—9; XXIII, 361.

[154]) XXXI, 345; XXXV, 295—7.

[155]) XX, 519.

Въ другой разъ рѣчь *Телеграфа* поднимется до настоящаго паѳоса горечи и гнѣва, и по предмету, на нашъ современный взглядъ менѣе всего заслуживающему подобнаго настроенія.

Редакторъ въ восторгѣ отъ англійской журналистики и желаетъ ее возможно шире распространить въ своемъ отечествѣ. Въ Россіи пока невозможна такая печать. Русская публика «требуетъ отъ журналистовъ пестроты, разнообразія газетнаго, антикритикъ, сказокъ, стиховъ, мелочей. Она хочетъ играть журнальными книжками, а не читать ихъ... Мы еще не знаемъ *общественной литературной жизни*: всякій у насъ работаетъ въ своемъ умѣ, про себя» [156]).

Телеграфъ восхищается не одной содержательностью европейской журналистики, но ея бойкостью—«звучностью и привлекательностью». Для доказательства онъ готовъ даже привести изъ французской газеты объявленіе о помадѣ, дѣйствительно написанное съ ловкостью и вкусомъ [157]).

И журналъ приближается къ своему идеалу, и именно на томъ поприщѣ, гдѣ труднѣе всего было стяжать успѣхъ въ двадцатые и тридцатые годы.

Телеграфъ до неуловимости разнообразенъ и находчивъ въ погонѣ за интересомъ читателей. Бесѣдуя о календаряхъ, онъ умѣетъ сдѣлать любопытныя цитаты и коснуться первостепеннаго вопроса о значеніи тѣхъ же календарей въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія [158]). Кажется, на что неблагодарнѣе темы—критиковать дурныхъ переводчиковъ, сличать подлинникъ съ оригиналомъ, но и здѣсь *Телеграфъ* умѣетъ представить зрѣлище большаго общаго интереса.

Въ одномъ случаѣ онъ лишній разъ нанесетъ рядъ неизлѣчимыхъ ранъ невѣжеству и тупоумію *Вѣстника Европы* Каченовскаго, а въ другомъ дастъ блестящую страницу изъ исторіи русскихъ нравовъ.

Онъ изобразитъ типъ аристократическаго переводчика съ французскаго, барича-недоросля, мужа богатой жены, тунеяднаго посѣтителя клубовъ, вздумавшаго отъ бездѣлья и фанфаронства завоевать славу литератора при помощи «*замушечныхъ* и *забостонныхъ* пріятелей»... [159]). Это цѣлая сатира, и только по поводу перевода мольеровскаго «Скупого».

---

[156]) XVIII, 179, 181, 191.

[157]) XX, 251.

[158]) XXV, 132—3.

[159]) XIX, 124—5.

Эта манера говорить «по поводу», впослѣдствіи чрезвычайно широко усвоенная Бѣлинскимъ, открыта *Телеграфомъ*. И вполнѣ понятно, почему. Издатель задался цѣлью всяческими путями распространять идеи и знанія среди публики, привыкшей забавляться литературой. Онъ ненамѣренно идетъ дорогой французскихъ просвѣтителей XVIII-го вѣка, «украшаетъ разумъ», дѣлая его доступнымъ одинаково «канцлеру и сапожнику». Читатель неожиданно для самого себя проглатываетъ большое количество «невещественнаго капитала»—собственное выраженіе Полевого —проглатываетъ среди живой, увлекательной бесѣды. И великій выигрышъ учителя заключается въ искусствѣ замаскировать свою учительскую роль легкостью стиля, будто случайно вызванной вереницей идей, тонкимъ умѣньемъ «поводъ» связать съ проповѣдью.

Въ результатѣ едва ли не всѣ принципы литературной критики, какъ её понималъ Полевой, множество воззрѣній нравственнаго и общественнаго содержанія, нерѣдко личная исповѣдь писателя высказаны и объяснены «по поводу» какого-нибудь мелкаго книжнаго, театральнаго или житейскаго факта. Эти объясненія,—напримѣръ, тотъ же портретъ высокороднаго литератора,—случалось, увлекали критика далеко за предѣлы поставленнаго вопроса и на его долю приходилось развѣ нѣсколько заключительныхъ замѣчаній. Но читатель не могъ чувствовать себя разочарованнымъ: ничтожество повода достаточно иллюстрировалось этими замѣчаніями, а сама статья всегда оставляла глубокое впечатлѣніе пріятнаго и поучительнаго сюрприза.

L.

Мы знаемъ, надъ журналомъ Полевого издѣвались за небывалую въ русской журналистикѣ пестроту содержанія, особенно доставалось издателю за модныя картинки. Положимъ, модныя картинки издавались при самыхъ серьезныхъ журналахъ и десятки лѣтъ спустя, и, напримѣръ, герой Глѣба Успенскаго испытывалъ при этомъ фактѣ отнюдь не приливъ юмористическаго настроенія, а нѣчто близкое къ драмѣ и горючимъ слезамъ. Его «точно варомъ обдало» при одной мысли, что для нѣкоторыхъ русскихъ читателей надо писать о модахъ, въ какія бы то ни было времена... [160]).

---

160) *На старомъ пепелищѣ.*

Но Полевой поступалъ совсѣмъ иначе, чѣмъ описатель модъ тридцать лѣтъ спустя. Можетъ быть, уловки редактора не лишены наивности, но всѣ онѣ направлены къ одной, менѣе всего наивной цѣли и извѣстный характеръ пріема зависѣлъ всецѣло отъ аудиторіи, внимавшей публицисту.

Напримѣръ, по поводу украшеній дамскихъ шляпокъ и платьевъ совершается экскурсія въ область естественной исторіи и предлагаются свѣдѣнія о птицѣ марабу. Та же бесѣда о модахъ уполномочиваетъ журналиста лишній разъ выступить на защиту просвѣщенія, и только потому, что приходится сообщать о туалетахъ парижскихъ дамъ, посѣтившихъ *засѣданіе академіи* [161]).

Не выше модъ, конечно, вопросъ о балетѣ, именно о четырехактномъ балетѣ *Рауль синяя борода*. Но какъ разъ этотъ балетъ наводитъ автора на воспоминанія о добромъ старомъ времени французскаго классицизма и о жестокихъ гоненіяхъ классиковъ на романтизмъ. А эти воспоминанія, въ свою очередь, вызываютъ автора на разсужденія о неизбѣжности прогресса, о естественной смѣнѣ стараго новымъ. Это ни болѣе, ни менѣе какъ, основной одухотворяющій принципъ всей публицистической дѣятельности Полевого, какъ ее представляетъ Бѣлинскій: «мысль о необходимости умственнаго движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣжать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы». Бѣлинскій прибавляетъ, что эта истина, теперь общее мѣсто, была принята въ свое время «за опасную ересь» [162]).

Но, пожалуй, опасныя ереси безопаснѣе проповѣдывать въ легкой бесѣдѣ о модахъ и балетахъ, чѣмъ въ нарочито важныхъ рѣчахъ, и *Телеграфъ* по случаю *Рауля* пишетъ слѣдующее:

«Никто не ропщетъ на неумолимое время за то, что оно ежеминутно дѣлаетъ человѣка старѣе и старѣе, одно поколѣніе замѣняетъ другимъ; никто не сѣтуетъ о томъ, что дѣти, сохраняя нѣкоторыя черты родителей, не совершенно похожи на нихъ, а имѣютъ собственныя физіономіи. Итакъ, если сама природа столь неутомимо производитъ новое и новое, истребляя все устарѣвшее, то почему же намъ хотѣть положить преграды дѣятельности ума человѣчества?»

И дальше слѣдуетъ живая жанровая картина—старушки, когда-

[161]) XIX, 275; XXXI, 399.

[162]) Отд. изд., стр. 38.

то красавицы и чаровательницы, теперь одинокой и осужденной на одни воспоминанія рядомъ съ прелестными внучками... [163]). Картинка смѣняется остроумной пародіей проповѣдей русскихъ классиковъ съ ископаемыми словечками подлинныхъ статей Каченовскаго, и на долю балета остается всего четыре строчки, но зато устроена лишняя атака на ненавистный старовѣрческій лагерь.

Къ тому же вопросу критикъ *Телеграфа* возвращается и по поводу игры Мочалова въ *Гамлетѣ*, мимоходомъ разсказывается вкратцѣ цѣлая исторія сценической игры въ Россіи. По поводу представленія на московской сценѣ *Школы мужей* обозрѣвается драматическая дѣятельность Мольера, развитіе мѣщанской драмы и судьба театра въ эпоху революціи [164]). Критикъ убѣжденъ, что «и водевиль играетъ свою роль въ жизни нашего просвѣщенія», и принимается «философствовать» «ради» водевиля [165]).

Легко представить, по случаю булгаринскаго *Димитрія Самозванца*, важнаго литературнаго факта своего времени, пишется цѣлая диссертація о классицизмѣ и романтизмѣ, наравнѣ съ классиками жестоко достается неистовымъ романтикамъ [166]).

Мы вполнѣ можемъ оцѣнить эту находчивость и бойкость пера по матеріалу, обильно разсѣянному въ статьяхъ *Телеграфа*, по цитатамъ чужихъ упражненій. *Телеграфу* приходилось разбирать *професорскія* піитики, оригинальныя или переводныя, написанныя такимъ стилемъ:

«Изъ соннаго искусства изсѣкателей извели для наслажденія сладкомечтающихъ художниковъ одну соединенную дѣйствительность». Это изъ переводной книги, обязанной своимъ существованіемъ, между прочимъ, Шевыреву.

Въ журналѣ другого московскаго ученаго, Каченовскаго, печаталась «изящная словесность» на такомъ языкѣ:

«Цыганообразный прибылъ, какъ продолженіе разговора пока-

---

163) XIX, 150, XXIII, 140.

164) XXVIII, 116. Статья принадлежитъ Василію Ушакову дѣятельному театральному критику *Телеграфа*. Сначала онъ, подобно Марлинскому, выступилъ врагомъ *Телеграфа*, но потомъ сталъ сотрудникомъ журнала. О немъ Кс. Полевой, стр. 137—139 и 267—269. Статьи Ушакова въ *Телеграфѣ* подписаны *В. У.*

165) XXIX, 271, 517.

166) XXXII, 232. Статья того же Ушакова, состоявшаго въ близкомъ знакомствѣ съ Булгаринымъ. Этимъ фактомъ объясняются слишкомъ горячія похвалы роману, хотя *Телеграфъ*, за исключеніемъ ранняго періода, не стѣснялся въ самыхъ лестныхъ отзывахъ о произведеніяхъ Булгарина.

зало, изъ Кларенбурга, гдѣ покойная моя бабушка провела послѣднюю половину своей жизни; влекомый потокомъ болтливости, скоро и ея самой коснулся онъ своимъ разсказомъ». Или дальше: «Мы встали; я же нырнулъ въ боковую комнату».

Мы знаемъ, не менѣе оригинальна была рѣчь и третьяго московскаго профессора Надеждина, какъ автора диссертаціи. Онъ вмѣстѣ съ своимъ покровителемъ Каченовскимъ доставлялъ «сыщикамъ» *Телеграфа* богатѣйшую наживу [167]). Даже словари давали *Телеграфу* возможность писать презабавные отчеты и, чтобы убить одно изъ подобныхъ изданій, достаточно было, по его выраженіямъ, составить слѣдующую фразу: «Я взялъ *абшитъ* и теперь живу какъ *безмолвникъ*, но *безмрачный*, ибо *безмятежіе* даетъ *доброгласіе* моимъ чувствамъ. Мнѣ нужна теперь только *добродѣйка* для *благосчастія* въ жизни». Наконецъ, кн. Шаликовъ, комическій воздыхатель и притязательный знатокъ тона и французскаго діалекта, одними только опечатками во французскихъ словахъ вдохновляетъ *Телеграфъ* на убійственную сатиру [168]).

Очевидно, подобные таланты и умы невольно внушали критику пародіи и ими *Телеграфъ* пользовался весьма охотно. Напримѣръ, въ «Отрывкахъ изъ новаго альманаха «*Литературное зеркало*» напечатаны сцены изъ трагедіи *Стенька Разинъ*, превосходно пародирующія таланты и произведенія Демишиллеровыхъ, т. е. псевдоромантиковъ. Сатира не минуетъ, конечно, злополучной «душегрѣйки», одной изъ самыхъ излюбленныхъ мишеней *Телеграфа*. Но здѣсь же направленъ и вполнѣ цѣлесообразный ударъ въ философско-романтическую выспреннюю поэтику. Демишиллеровъ убѣжденъ: «только тѣ минуты жизни поэтовъ, которыя выдаютъ изъ жизни вседневной, имѣютъ право входить въ заколдованный кругъ ихъ мечтаній» [169]).

Эта воинственность, конечно, не оставалась безъ возмездія. *Телеграфъ*, и въ самомъ началѣ встрѣтившій немного друзей, съ каждымъ мѣсяцемъ пріобрѣталъ все больше враговъ. Стрѣлы направлялись на самый, по мнѣнію противниковъ, уязвимый пунктъ— прежде всего на общественное положеніе заносчиваго редактора.

---

[167]) XII, 255; XIX 274—5, XXXI, 353—4.

[168]) XIV. 129, 197. Еще забавнѣе исторія съ отзывомъ *Rèvue encyclopédique* о *Дамскомъ журналѣ* Шаликова. Князь жаловался, почему *Телеграфъ* не привелъ этого отзыва. *Телеграфъ* въ отвѣтъ перепечаталъ статью французскаго журнала и она оказалась менѣе всего лестной для чувствительнаго редактора. XIV, 99.

[169]) XXXII. 74.

Полевой—*купецъ* и даже торговецъ водкой: въ глазахъ Каченовскаго, Шаликова и вообще патентованныхъ педантовъ и благородныхъ литераторовъ—это клеймо и въ нѣкоторомъ родѣ лишеніе правъ. Даже Пушкинъ присоединилъ свой голосъ къ аристократической критикѣ. Сначала поэтъ доволенъ *Телеграфомъ* и «остренькимъ сидѣльцемъ». Но довольство, повидимому, поддерживалось исключительно посредничествомъ кн. Вяземскаго, по крайней мѣрѣ, таковъ смыслъ писемъ Пушкина къ князю. Во всякомъ случаѣ, при всѣхъ нападкахъ на Полевого за невѣжество и даже безграмотность, Пушкинъ цѣнилъ его отзывы и «съ нетерпѣніемъ» ждалъ ихъ о произведеніи Гоголя [170]).

Раздраженіе Пушкина было вызвано крайне рѣзкими нападками *Телеграфа* на «литературную аристократію». Полевой помнилъ, какъ его принимали въ литературныхъ салонахъ, судьба аристократическихъ изданій отнюдь не отличалась блескомъ и силой, и, естественно, *Телеграфъ* не пропускалъ случая посмѣяться надъ привилегированными словесниками. Пушкинъ отвѣчалъ въ *Литературной Газетѣ*.

Поэтъ, какъ часто бывало съ нимъ, пересолилъ въ своемъ гнѣвѣ и статью закончилъ такой исторической справкой:

«Эпиграмма демократическихъ писателей XVIII-го вѣка пріуготовила крики: *Аристократовъ къ фонарю* и ничуть не забавные куплеты съ припѣвомъ: *Повѣсимъ его, повѣсимъ*. Avis au lecteur» [171]).

Любопытно было, что въ числѣ столь опасныхъ враговъ аристократіи оказывались, кромѣ Полевого, Гречъ и Булгаринъ.

Полевой отвѣчалъ достойной отповѣдью «литературной недобросовѣстности», и, конечно, не думалъ прекратить своей войны съ «аристократами».

Въ отместку, на него сыпались сатиры за плебейство. Въ 1830 году въ Москвѣ вышелъ «нравственно-сатирическій романъ»: *Купеческій сынокъ или слѣдствіе неблагоразумнаго воспитанія*: стихи романа должны были пародировать мѣщанскій жаргонъ [172]).

Вопросъ вдругъ принялъ высоко оффиціальный характеръ. Графъ Бенкендорфъ остался недоволенъ статьей *Литературной Газеты* и потребовалъ объясненія у цензуры. Та отвѣчала въ высшей степени краснорѣчивымъ соображеніемъ, очевидно, за свой

[170]) Письма въ іюнѣ и отъ 15 сент. 1825 года. Письмо къ Гоголю отъ 25 авг. 1831 года.

[171]) *Литературная Газета*, 1830, № 45.

[172]) Барсуковъ, III, 232.

счетъ вступая въ литературно-политическую полемику съ журналистомъ-плебеемъ. Здѣсь какъ бы слышатся первые отголоски надвигающейся грозы. Цензоръ доносилъ о «стремленіи *Московскаго Телеграфа* выставить съ дурной стороны русское дворянство, чрезъ осмѣиваніе онаго почти въ каждой книжкѣ журнала разными критическими пьесами». А это стремленіе, по мнѣнію цензора, заслуживало «сильнаго опроверженія», какъ дѣло неблагонамѣренное.

Шаликовъ, чрезвычайно дорожившій своимъ титуломъ грузинскаго князя, клеймилъ Полевого «мюжжикомъ» и отрицалъ у него тонкія чувства [173]). Аристократы, какъ видимъ, не стѣснялись въ эпитетахъ. Особенно отличалась *Галатея*, издававшаяся Раичемъ. Даже кн. Вяземскій, самъ любившій чернильныя войны, возмущался тономъ журнала и находилъ одно объясненіе: Раичъ «спился. Трезвому невозможно такимъ образомъ и такъ скоро опошлиться» [174]).

У Полевого, слѣдовательно, оказывалось два принципіальныхъ врага—литературная аристократія и академическая наука. И замѣчательно, оба врага шли однимъ путемъ, очевидно, вполнѣ соотвѣтствовавшимъ духу времени. Если Пушкинъ договорился до революціонныхъ эпизодовъ, Надеждину и Каченовскому было несравненно легче дойти уже прямо до юридическихъ бумагъ.

Въ *Молвѣ*, среди многочисленныхъ уликъ и критикъ, было представлено такое историческое соображеніе:

«Если находятся еще въ Россіи квасные патріоты, которые, наперекоръ Наполеону, почитаютъ Лафайэта человѣкомъ мятежнымъ и пронырливымъ, то пусть они заглянутъ въ № 16 *Московскаго Телеграфа* (на страницѣ 464) и увѣрятся, что «Лафайэтъ—самый честный, самый основательный человѣкъ во французскомъ королевствѣ, чистѣйшій изъ патріотовъ, благороднѣйшій изъ гражданъ, хотя вмѣстѣ съ Мирабо, Сіесомъ, Баррасомъ, Баррером и множествомъ другихъ былъ однимъ изъ главныхъ двигателей революціи: пусть сіи квасные патріоты увидятъ свое заблужденіе и перестанутъ

Презрѣнной клеветой злословить добродѣтель» [175]).

Мы оцѣнимъ вполнѣ эту справку, встрѣтивъ ее въ обвинительномъ актѣ Уварова противъ Полевого: оффиціальный документъ буквально воспроизведетъ домыселъ журналиста [176]).

—

[173]) Кс. Полевой, 261.

[174]) Барсуковъ, II, 329.

[175]) *Молва*, 1831 года, № 48.

[176]) Сухомлиновъ. *О. с.*, стр. 118.

Ученые шли еще дальше: они не желали допускать Полевого даже въ свою среду. Когда Общество исторіи и древностей россійскихъ выбрало автора *Исторіи русскаго народа* въ свои члены, Арцыбашевъ—одинъ изъ жестокихъ критиковъ Карамзина—заявлялъ свое глубокое негодованіе Погодину. Оно особенно любопытно въ устахъ сравнительно самостоятельнаго и свѣдущаго изслѣдователя русской исторической науки.

«Состояніе Полевого,—писалъ онъ,—укоризна не ему, но тому ученому обществу, которымъ онъ удостоенъ, безъ всякихъ заслугъ, членскаго званія. Купца 3-й гильдіи можетъ судебное мѣсто высѣчь плетьми и—кто знаетъ будущее?—можетъ быть, со временемъ высѣкутъ Полевого».

Арцыбашева приводитъ въ отчаяніе эта возможность, но не ради Полевого, а ради чести ученаго общества. «Есть и крѣпостные люди съ ученостью,—продолжаетъ онъ,—лучшею, нежели Полевой, такъ неужели же и ихъ производить въ члены ученаго общества, состоящаго при университетѣ?» [177]).

Съ теченіемъ времени эта учено-аристократическая атака на удачливаго журналиста плебея перешла даже на театральныя подмостки и московская сцена увидѣла небывалое зрѣлище: полемику драматическаго автора съ критикомъ путемъ веселыхъ куплетовъ.

А. И. Писаревъ, очень плодовитый, талантливый стихотворецъ и драматургъ, обидѣлся отзывомъ Полевого еще въ *Отечественныхъ Запискахъ*, издалъ цѣлую брошюру *Анти-Телеграфъ* и въ водевиль *Три десятки* вставилъ куплеты, долженствовавшіе поразить невѣжество Полевого:

Журналистъ безъ просвѣщенья
Хочетъ публику учить,
Самъ не кончивши ученья,
Всѣхъ сбирается учить;
Мертвыхъ и живыхъ тревожитъ.
Не пора ль ему шепнуть:
«Тотъ другихъ учить не можетъ,
Кто учился какъ-нибудь!»

Въ театрѣ поднялся страшный шумъ: сторонниковъ Полевого среди публики нашлось больше, чѣмъ враговъ, и водевиль скоро былъ снятъ со сцены [178]).

---

[177]) Барсуковъ, III, 45.

[178]) Подробности о Писаревѣ въ *Литературныхъ и театральныхъ воспоминаніяхъ* С. Т. Аксакова. Эпизодъ съ водевилемъ, Кс. Полевой, стр. 141, ср. Колюпановъ, I (2), стр. 300, прим. 72.

Наконецъ, были у Полевого противники болѣе, для него чувствительные и опасные, чѣмъ профессора и поэты—современная университетская молодежь. Журналистъ, естественно, очень дорожилъ ея расположеніемъ, но безпрестанно между нимъ и студентами обнаруживались недоразумѣнія, и по очень простой причинѣ.

Мы знаемъ, Полевой, по строго-практическому складу своего ума, менѣе всего былъ способенъ увлечься чистыми отвлеченностями или даже реальными, но слишкомъ отдаленными умозрительными перспективами. И мы слышали отзывъ философской молодежи о смутѣ философскаго міросозерцанія Полевого. Одинъ изъ представителей этой молодежи отмѣчаетъ еще болѣе существенный недостатокъ: недоступность для Полевого идей, не шеллингіанства и сенъ-симонизма, идей рѣзкой политической и жизненной окраски. Полевой, очевидно, за нѣкоторыми дѣйствительно слишкомъ поэтическими и мечтательными идеалами Сенъ-Симона, не могъ различить преобразовательнаго и особенно критическаго зерна школы.

«Для насъ», писалъ много лѣтъ позже оппонентъ Полевого, «сенъ-симонизмъ былъ откровеніемъ, для него безуміемъ, пустой утопіей, мѣшающей гражданскому развитію» [179]).

Можно представить, какой богатый матеріалъ накоплялся въ современной журналистикѣ на тему *Анти-Телеграфъ*. Уже въ половинѣ 1825 года издатель могъ составить «особенное прибавленіе» къ своему журналу, состоявшее исключительно изъ критическихъ статей противъ *Телеграфа* [180]).

Это предпріятіе, конечно, должно было только еще больше расплодить возраженія и брань, и Полевой, повидимому, начиналъ чувствовать усталость и охлажденіе къ безпрерывнымъ стычкамъ, и въ концѣ 1826 года объявлялъ публикѣ о своемъ рѣшительномъ намѣреніи — больше не печатать антикритикъ [181]). Но эта политика осталась въ проектѣ, журналъ по прежнему продолжалъ воевать и даже прямо заявлялъ о необходимости полемики, «журнальная брань» то же, что «уголовныя слѣдствія въ государственномъ управленіи» [182]).

Но *Телеграфъ* «бранилъ» не личности, а дѣла и произведенія, между тѣмъ какъ противъ него велась почти исключительно личная

---

179) *Былое и думы*, VI, 198.
180) Кс. Полевой, стр. 134.
181) XII, 247—8.
182) XXXI, 417.

война. Краснорѣчивѣйшее доказательство безсилія противниковъ въ литературной борьбѣ, и въ то же время большихъ талантовъ и чрезвычайныхъ успѣховъ Полевого. Даже Уваровъ совѣтовалъ журналистамъ прекратить «дерзкія личности», отнюдь, конечно, не изъ сочувствія къ Полевому, а чтобы «облагородить изданія»[183]).

Замѣчательно, самъ Булгаринъ вожделѣлъ о чемъ-то подобномъ и въ предисловіи къ своимъ *Воспоминаніямъ* укорялъ критику въ неблагородныхъ побужденіяхъ[184]).

Но мы все-таки не должны думать, что хотя бы и въ жалобахъ Бургарина заключалось одно лицемѣріе. Журналы просто *не могли* быть иными и содержаніе ихъ не становилось благороднѣе, отнюдь не по исключительной винѣ издателей.

Мы знаемъ мнѣніе Полевого о современной журнальной публикѣ. Онъ не стѣснялся это мнѣніе высказывать и въ болѣе откровенной формѣ. Большая часть публики любитъ перебранки литераторовъ, запальчивое остроуміе предпочитаетъ какой угодно критикѣ. Въ умственномъ развитіи она едва доросла до творчества Булгарина, и *Телеграфъ*, одобряя *Ивана Выжигина*, отлично сознаетъ секретъ его успѣха,— Вальтеръ Скоттъ не вполнѣ понятенъ для русскихъ читателей, а Булгаринъ «наклоняется до публики»[185]).

Автору и журналисту приходится «угождать» и «услуживать», какъ мы читаемъ въ одной статьѣ *Телеграфа*[186]), не смотря на твердое рѣшеніе издателя не заискивать предъ чернью. Но гдѣ же взять читателей помимо этой черни?

Въ высшемъ обществѣ русскихъ книгъ не читаютъ, тамъ думаютъ и говорятъ на чужихъ языкахъ, и тотъ же Булгаринъ оплакивалъ судьбу русскаго писателя, являющагося ниже иностранца въ своемъ отечествѣ. Даже классическія произведенія распродавались крайне медленно, напримѣръ, *Исторія* Карамзина, сочиненія Батюшкова, Жуковскаго[187]). Въ журналахъ, мы знаемъ, не платили гонорара вплоть до появленія *Телеграфа*: исключеніе сдѣлала на короткое время *Полярная звѣзда*, потомъ съ 1825 года примѣру ея послѣдовалъ Гречъ[188]).

Такія условія менѣе всего могли поднять достоинство литера-

---

183) Барсуковъ, IV, 99.

184) Предисловіе къ IV-й части, изд. 1848 года.

185) XII, 247; XXVIII, 78.

186) XIX, 180.

187) Въ *Русскомъ Архивѣ*. Ср. Весинъ, *Очерки исторіи русской журналистики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ*. Спб. 1881, стр. 223, 165.

188) Кс. Полевой, 203—4.

турнаго труда и журнальныхъ сотрудниковъ. Въ результатѣ, помимо угожденія публикѣ, ихъ тонъ, по самой обстановкѣ, впадалъ въ крайности, и непремѣнно мелочныя и личныя. Тотъ же Уваровъ, желавшій облагородить русскіе журналы, энергично настаивалъ на ихъ «опасномъ направленіи», требовалъ, чтобы они прекратили «дерзкое сужденіе о предметахъ, лежащихъ внѣ ихъ круга». Позже мы увидимъ, что̀ это значило практически и что въ глазахъ министра считалось нестерпимой дерзостью... Можно подивиться таланту Полевого въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ говорить о «предметахъ» среди многообразнѣйшихъ Сциллъ и Харабдъ. Бѣлинскій былъ правъ, отмѣчая прежде всего литературность полемики *Телеграфа*: мы видимъ, это элементарное качество всякой культурной журналистики превращалось въ подвигъ во времена Полевого.

LI.

Уже по отрывочнымъ примѣрамъ мы могли судить о богатствѣ талантовъ нашего журналиста, и на первомъ планѣ стоитъ публицистическій талантъ. Полевой много заботился о критикѣ, но и въ ней онъ оставался политикомъ очень яркой окраски. Сравнительно съ его заслугами, какъ общественнаго мыслителя, его критическая дѣятельность является второстепенной. Въ критикѣ онъ становился вполнѣ сильнымъ и свободнымъ, когда приходилось рѣшать общественный или нравственный вопросъ, а не эстетическій, не чисто художественный.

Мы видѣли, «Телеграфъ» ратовалъ за романтизмъ. Здѣсь ничего не было ни смѣлаго, ни оригинальнаго. *Телеграфъ* только не поскупился на энергію и на остроуміе въ нападкахъ на классиковъ. Защищая, напримѣръ, Мицкевича отъ классическихъ зоиловъ, *Телеграфъ* уподобляетъ ихъ «гаду, перегрызть пилу тщившемуся», при другомъ случаѣ сравниваетъ съ «совами», просиживающими «всю жизнь въ одномъ дуплѣ, не заботясь о мірѣ» и нетерпимыми къ чужой жизни и ко всей вселенной внѣ ихъ гнѣзда [249]). Вообще «педанты» и диктаторы не находятъ пощады у критиковъ *Телеграфа*. Журналъ очень мѣтко опредѣляетъ основную литературно-общественную разницу между классиками и романтиками: одни сидятъ въ крѣпости изъ древнихъ книгъ, другіе увлекаютъ публику, и побѣда ихъ несомнѣнна. Критикъ

[249]) XXII, 305; XXIX, 4, 5, 109, 265.

Телеграфа умѣетъ забавно изложить драматическіе пріемы классиковъ съ не меньшимъ остроуміемъ, чѣмъ когда-то дѣлали то же самое враги классицизма во Франціи XVIII вѣка [190]). Но съ особенной жестокостью уничтожены классики и ихъ ученость по поводу *Горя отъ ума*. Статья безъ подписи и, можетъ быть, принадлежитъ самому издателю: въ прочувствованной рѣчи невольно слышится личное наболѣвшее чувство «самоучки» и «невѣжды».

«Наши ученые,—пишетъ критикъ,—жестоко возстаютъ противъ всего новаго, даже противъ новыхъ понятій, для коихъ необходимы новыя слова. Усердіе ихъ простирается до того, что нынѣ они стараются осмѣять даже *высшіе взгляды*, ибо горько разставаться имъ съ своими *низменными взглядами*. Самою лучшею сатирою на русскую ученость было бы то сочиненіе, въ которомъ кто-нибудь собралъ бы все, что осмѣивали и преслѣдовали наши ученые отъ временъ Тредьяковскаго до нашихъ. Тредьяковскій язвилъ Ломоносова, Ломоносовъ мѣшалъ Миллеру, Сумароковъ перечилъ Ломоносову, а тамъ, а тамъ... можно досчитаться и до нашихъ дней. И все за новые взгляды, за новыя ученія, за новыя слова, за новыя новости. Тредьяковскій думалъ, что Ломоносовъ роняетъ россійскую ученость; Ломоносовъ говорилъ, что Миллеръ оскорбляетъ русскихъ, выводя ихъ отъ шведовъ, а Сумарокову не нравилось все, что было не его, или не господина Расина и не господина Вольтера». Именно новизнѣ характеровъ и драматическаго развитія *Горе отъ ума* обязано жестокой враждой классиковъ [191]).

Естественно, *Телеграфъ* отрицалъ вообще всякія попытки подчинить поэзію правиламъ. Ихъ не существуетъ для искусства всѣхъ временъ, такъ же какъ и для «дѣйствій человѣчества». «Поэзія—самое свободное, неуловимое изъ всего проявляющагося въ человѣчествѣ» [192]).

Этотъ взглядъ *Телеграфъ* съ большимъ успѣхомъ примѣнилъ въ театральной критикѣ, именно въ сравнительной оцѣнкѣ двухъ знаменитѣйшихъ трагиковъ—Мочалова и Каратыгина. Журналъ отдавалъ преимущество московскому артисту: онъ «больше говоритъ душѣ и сердцу зрителей». Каратыгинъ «весь—искусство» Мочаловъ «весь—чувство»; «одинъ какъ будто говоритъ публикѣ

[190]) Напр., Grimm, *Corresp. littéraire*, XV, 238. *М. Тел.*, XXIX, 494.
[191]) XXXVIII, 128—9.
[192]) XIV, 289.

смотри и удивляйся! другой заставляетъ ее невольно раздѣлять съ нимъ его чувство и принимать малѣйшее участіе въ лицѣ, имъ представляемомъ» [193]).

Любопытна тонкость и проницательность, съ какими *Телеграфъ* предсказалъ торжество Мочалова въ роли *Гамлета.* Каратыгинъ, по мнѣнію критика, превосходилъ Мочалова, исполняя роль по искаженному переводу, т. е. по нешекспировскому тексту. Но въ настоящемъ шекспировскомъ Гамлетѣ Мочаловъ, навѣрное, превзошелъ бы всѣхъ другихъ исполнителей. Предсказаніе исполнилось восемь лѣтъ спустя, когда Мочаловъ привелъ Бѣлинскаго въ восторгъ ролью Гамлета по переводу Полевого [194]).

Всѣ эти идеи о свободѣ творчества, о безцѣльной полемикѣ романтиковъ и классиковъ были продолженіемъ дѣла, начатаго другими. Полевой внесъ въ вопросъ больше послѣдовательности, яркости и чисто-публицистической страсти. Для него романтизмъ являлся торжествующей школой во имя практической жизненности, свободы и прогресса, а не философскихъ и эстетическихъ соображеній. *Телеграфъ* поэтому не отказался напечатать въ статьѣ кн. Вяземскаго суровый запросъ русскимъ философамъ, подвизавшимся въ *Московскомъ Вѣстникѣ.* Дѣло началось изъ-за сочиненій Вальтеръ-Скотта.

Критикъ требовалъ «практической рецензіи», столь же ясной и положительной, какъ творчество романиста. Только при такихъ условіяхъ можно «дѣйствовать на умы» русскихъ читателей.

«Русскій умъ любитъ, чтобы ему было за что держаться, а не любитъ плавать въ туманахъ и влажной мглѣ, въ стихіи неопредѣленной, въ которой нѣмцу раздолье, какъ рыбѣ въ прохладной рѣкѣ» [195]).

Но это не значило, будто *Телеграфъ* вообще открещивается отъ философіи. Напротивъ, онъ усвоилъ вполнѣ современный европейскій взглядъ на неё, какъ на положительную науку. Авторитетъ *Телеграфа*—французская философія въ лицѣ Кузэна.

Ксенофонтъ Полевой жестоко напалъ на Кирѣевскаго, когда тотъ непочтительно отозвался о французскомъ философѣ, обвинилъ

---

[193]) XXIX, 107

[194]) Ст. о Мочаловѣ—*В. У.*, XXIX, 275. О переводѣ *Гамлета* и первомъ представленіи трагедіи въ переводѣ Полевого — Кс. Полевой, 365. Особенно любопытенъ разсказъ автора о помощи, какую К. А. Полевой оказалъ Мочалову при изученіи роли Гамлета.

[195]) XXII, 136.

въ заимствованіяхъ у нѣмцевъ. И замѣчательно, даже по этому случаю *Телеграфъ* не забываетъ указать на развитіе литературной и политической жизни Франціи и, повидимому, этотъ именно фактъ заставляетъ критика французскую философію предпочитать всякой другой [196]).

Естественно, журналъ не преминулъ затронуть очень щекотливый вопросъ о философіи XVIII-го вѣка. Мы знаемъ, какъ его рѣшали профессора московскаго университета, въ родѣ Каченовскаго и Надеждина, и, по условіямъ времени, поступали вполнѣ цѣлесообразно. *Телеграфъ* занимаетъ противоположное положеніе.

Онъ прежде всего энергично возражаетъ автору, обвинившему просвѣщеніе въ гибели Франціи XVIII-го вѣка. А потомъ даетъ подробное изображеніе борьбы «ѳеологической школы» противъ того же просвѣщенія. Эта школа не возбуждаетъ въ насъ никакого благороднаго сочувствія, она руководилась почти исключительно «своекорыстіемъ и предразсудками» и возставала противъ просвѣтительной философіи не потому, что она была «чувственная», но потому, что она была «свободномыслящая», враги, слѣдовательно, ненавидѣли ее за то, «что въ ней было лучшаго».

Телеграфъ идетъ дальше. Онъ отдѣляетъ революцію отъ философіи XVIII-го вѣка, считаетъ философію столь же мало виноватой въ ужасахъ революціи, какъ христіанство въ Варѳоломеевской ночи и въ тридцатилѣтней войнѣ [197]).

Сотрудники *Телеграфа* не одобряли ни матеріализма, ни якобинства, и ихъ заслуга состояла именно въ стремленіи выдѣлить, по ихъ мнѣнію, здоровое зерно критицизма и свободы въ философіи прошлаго вѣка и снять съ нея огульное поношеніе реакціонеровъ и мракобѣсовъ [199]).

Это пристрастіе ко всему жизненному и свободному легло въ основу лучшихъ критическихъ статей Полевого.

Телеграфъ съ самаго начала сталъ на сторону Пушкина, провозглашалъ его, не въ примѣръ современному просвѣщенному русскому обществу и даже русскимъ писателямъ, «великимъ знатокомъ языка русскаго». Титулы «великій поэтъ», «человѣкъ геніальный» безпрестанно сопровождаютъ имя Пушкина. Но эти отзывы касались

---

196) XXXI, 219.

197) XII, 253; XXIII, *Нынѣшнее состояніе философіи во Франціи*, стр. 50 etc

198) Кс. Полевой о Гольбахѣ и Гельвеціи и о философской пропагандѣ *Телеграфа*, — *Записки*, стр. 157—159, ср. Колюпановъ, I (2), стр. 61—5.

199) XXI, 513—7; XXIX, 109.

преимущественно «прелестныхъ стихотвореній» поэта. Похвалы понизились въ тонѣ по поводу *Евгенія Онѣгина*, но не сразу. Начало романа привѣтствовалось восторженно, только съ выходомъ дальнѣйшихъ главъ критикъ видѣлъ слишкомъ мало разнообразія въ содержаніи, «краски и тѣни одинаковы», «картина все та же». Критикъ, очевидно, не успѣлъ распознать психологической стихіи въ романѣ и, что еще удивительнѣе, чисто-русскаго реализма въ замыслѣ поэта.

Онъ прикидываетъ «чувствованія» Пушкина къ байроническимъ и находитъ, что первыя «не досягаютъ высоты» вторыхъ. Въ результатѣ совѣтъ поэту—«перейти въ русскій міръ, углубиться въ отечественное, родное ему» [200]).

Три года спустя Полевой давалъ отчетъ о *Борисѣ Годуновѣ* и называлъ Пушкина «первымъ изъ современныхъ русскихъ поэтовъ», «полнымъ представителемъ русскаго духа своего времени», но одновременно подчеркивались два изъяна въ поэзіи Пушкина: карамзинское образованіе въ дѣтствѣ и подчиненіе Байрону. Даже *Евгеній Онѣгинъ*, по мнѣнію Полевого, «русскій снимокъ съ лица Донъ-Жуанова».

Мы знаемъ, это взглядъ, довольно распространенный въ ранней критикѣ пушкинскаго таланта. И все недоразумѣніе было создано не заблужденіемъ поэта, а извѣстнымъ типомъ его героя. Евгеній Онѣгинъ, какъ личность, дѣйствительно, копія байроническихъ фигуръ, такъ его именуетъ и самъ поэтъ. Эта подражательность *жизни* была перенесена критиками на произведеніе *автора*, и даже Полевой, при всей своей чуткости къ живой дѣйствительности, не распозналъ истины.

А между тѣмъ, въ той же статьѣ вѣрно оцѣнены недостатки романтической нѣмецкой и французской драмы. Въ *Эгмонтѣ* Гёте и *Донъ-Карлосѣ* Шиллера критикъ не находитъ строго-исторической истины и жизненной простоты. То же самое и въ драмахъ Гюго, созданныхъ подъ вліяніемъ систематическаго протеста противъ старой теоріи и построенныхъ непремѣнно на странныхъ противоположностяхъ.

Полевой рѣшительно отрицаетъ эстетическія системы. О Шекспирѣ онъ такъ выражается: «его система въ душѣ, его философія въ сердцѣ, его тайна въ великой идеѣ, которую угадалъ его геній». Ничего преднамѣреннаго и напряженнаго. Критикъ возстаетъ осо-

[200]) XXXII, 243, № 6, мартъ 1830 года.

бенно противъ «напряженія», предвосхищая любимый терминъ Писемскаго и всюду ища свободнаго раскрытія природы и таланта поэта.

Полевой идетъ дальше. Онъ готовъ защищать популярнѣйшую идею критики шестидесятыхъ годовъ, о преимуществахъ дѣйствительности надъ творчествомъ. «Никогда фантазія никакого поэта не превзойдетъ поэзіи жизни дѣйствительной».

Слѣдовательно, полная свобода вдохновенной личности художника и реальная жизнь, какъ источникъ вдохновенія. Эти принципы, совершенно установленные Полевымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, въ первое время изданія *Телеграфа* должны были бороться съ юношескими пристрастіями къ романтизму, хотя бы и въ умѣренной дозѣ по части грандіознаго и чрезвычайнаго.

Напримѣръ, въ статьѣ о сочиненіяхъ Шиллера *Телеграфъ* не признавалъ трагедій, взятыхъ изъ будничной жизни. Такія трагедіи не могутъ «возбудить высокихъ ощущеній». На основаніи этого соображенія въ *Коварствѣ и любви* Шиллера критикъ отрицалъ трагическій интересъ [202]).

Впослѣдствіи на склонѣ лѣтъ и въ упадкѣ литературной энергіи и таланта Полевой снова вернется къ призракамъ молодости и выступитъ противъ Гоголя, какъ поэта слишкомъ низменной дѣйствительности. Къ таланту русскаго сатирика будетъ прикинута мѣрка «высокаго гумора Шекспирова» и «исполинскихъ остротъ Виктора Гюго»...

Это возвращеніе къ стародавнимъ наивностямъ краснорѣчивѣе всѣхъ патріотическихъ драмъ свидѣтельствовало о нравственномъ шатаніи критика. Но по статьямъ этого періода никто и не станетъ судить Полевого, какъ критика. Ему не суждено было—мы увидимъ какой судьбой—неуклоннаго и неутомимо бодраго литературно-общественнаго прогресса, какъ онъ осуществился въ жизни его прямого наслѣдника—Бѣлинскаго...

Но въ лучшія времена личной энергіи и публицистическаго таланта Полевой стоялъ на высотѣ, не только недоступной, но даже едва понятной большинству его соперниковъ.

Блестящій примѣръ, тотъ же разборъ «Бориса Годунова», къ сожалѣнію, не дождавшійся окончанія.

Правда, надо имѣть въ виду, что тонъ статьи былъ разгоряченъ

---

[201]) XIV, 229, № 8, 1827 года.

[202]) Статьи о Пушкинѣ въ *Очеркахъ русской литературы*, I.

въ сильнѣйшей степени полемическимъ настроеніемъ противъ Карамзина, но это обстоятельство не только не повредило истинѣ, а даже помогло критику подчеркнуть ее съ нарочитой яркостью.

Карамзинъ безъ всякой критики принялъ разсказъ лѣтописей о преступленіи Бориса и создалъ изъ его судьбы мелодраму. Поэтъ перенесъ съ буквальной точностью этотъ замыселъ на свою сцену.

Полевой спрашиваетъ: «что могъ извлечь Пушкинъ, изобразя въ драмѣ своей тяжкую судьбу человѣка, который не имѣетъ ни силъ, ни средствъ свергнуть съ себя обвиненіе передъ людьми и потомствомъ!.. Вмѣсто того, чтобы изъ жребія Годунова извлечь ужасную борьбу человѣка съ судьбою, мы видимъ только приготовленія его къ казни и слышимъ только стонъ умирающаго преступника».

Въ этой же статьѣ дано краткое и краснорѣчивое опредѣленіе романтической, новой драмѣ. У нея есть также законы, прежде всего строгое единство дѣйствія. Она не похожа на классическую только тѣмъ, что «условія не безобразятъ истину и жизнь» классическая говоритъ, а она дѣйствуетъ...

Неудача Пушкина въ *Борисѣ Годуновѣ*, слѣдовательно, исключительно вина Карамзина, слѣдовательно, внѣшняго отрицательнаго вліянія на поэта. Собственный же талантъ его, на взглядъ Полевого, всегда стоялъ на высотѣ правды и жизненной силы. Немедленно послѣ кончины Пушкина Полевой предлагалъ воздвигнуть ему памятникъ, «достойный его славы и русской чести».

Помимо таланта и дѣятельности Пушкина, *Телеграфъ* безпрестанно обращался и къ другимъ первостепеннымъ русскимъ писателямъ, неизмѣнно стремясь произнести надъ ними судъ принципіальный, всеобъемлющій, истинно-литературный и прочный.

Статьи Полевого о Державинѣ и о Жуковскомъ—цѣлые трактаты, какихъ не знала раньше русская журналистика. Полевой не только попытался опредѣлить поэтическій геній Державина по всѣмъ его произведеніямъ, но отдалъ себѣ ясный отчетъ въ исключительности этого генія для его эпохи. Мы знаемъ, Мерзляковъ уже понималъ поэтическую силу Державина; но это скорѣе было инстинктивнымъ чутьемъ художественной природы критика, чѣмъ подробной и всесторонне развитой идеей. Восторги предъ Державинымъ не помѣшали профессору пользоваться въ своей наукѣ піитиками, Полевой именно примѣромъ Державина воспользовался ради лишней атаки на теоріи и эстетики. Можетъ быть, статья написана даже съ неумѣреннымъ энтузіазмомъ и

подчасъ очень фразисто, что вообще не въ духѣ Полевого, но, какъ и всегда, критика непосредственно переходила въ воинственную публицистику противъ ученаго педантизма и его претензій сковать разсудочными узами свободный полетъ генія.

Отъ проницательности критика не ускользаетъ основной изъянъ державинскаго вдохновенія -- идеализація русской старины вопреки исторической правдѣ. Не будь этого наивнаго увлеченія, Державинъ началъ бы истинно-національный періодъ русской поэзіи. Въ талантѣ поэта было достаточно національныхъ русскихъ стихій, но Державину не доставало яснаго пониманія предмета и даже своего генія. Державинъ легко соблазнился почестями и чиновничьей дѣятельностью, пошелъ въ вельможи и сановники, а подъ конецъ жизни вздумалъ даже сочинить классическую трагедію.

Всѣ эти недоразумѣнія снова даютъ Полевому поводъ къ страстнымъ нападкамъ на его жесточайшихъ враговъ—свѣтъ и классицизмъ. Критикъ одновременно говоритъ гражданскимъ голосомъ даровитаго разночинца и сильнаго литератора и лирической рѣчью романтика.

Статья о Жуковскомъ прежде всего блестящая сатирическая характеристика меценатскаго періода русской литературы. Его смѣнили англійскія и германскія вліянія. Жуковскій явился даровитѣйшимъ романтикомъ, но отнюдь не на почвѣ всего европейскаго романтизма. Въ его поэзіи нѣтъ народности, нѣтъ и живой дѣйствительности. Эти замѣчанія были сдѣланы и другими, но у Полевого они принимаютъ болѣе рѣзкую форму: народность и дѣйствительность означаютъ чуткое отношеніе поэта къ общественной и политической жизни своего отечества.

У Жуковскаго не было этой гражданской чуткости, и Полевой очень тонко даетъ читателямъ понять основной порокъ прекраснодушнаго романтизма пѣвца «Свѣтланы».

Критикъ не желаетъ прослыть хулителемъ таланта Жуковскаго. «Нѣтъ! —продолжаетъ онъ,— мы сами благоговѣемъ предъ младенческою чистотою этой души, ровною струею переливавшейся черезъ страшную долину событій съ 1803 до 1833 года, переливавшейся постоянно съ гармоническимъ журчаніемъ, не смотря на то, по какимъ бы скаламъ, падавшимъ въ нее со всѣхъ сторонъ, ни текла дума поэта».

Благоговѣніе, врядъ ли искреннее въ устахъ критика и попало оно среди въ высшей степени вѣскихъ укоризнъ, ради только законнаго чувства почтенія къ заслуженному литературному имени дѣйствительно добраго человѣка.

Могъ ли Полевой благоговѣть предъ поэтомъ, «не знающимъ національности русской», — Полевой, произнесшій одновременно въ статьѣ о Мерзляковѣ жестокую отповѣдь перелагателямъ русскихъ народныхъ пѣсенъ? Для критика именно въ просторѣ и грубости народныхъ думъ заключаются «красоты необыкновенныя», и сотрудничество тонко-просвѣщенныхъ стихотворцевъ съ народомъ онъ считаетъ театральными плясками съ *па* и *антраша*: «крестьяне въ маскарадѣ... ошибка страшная и нестерпимая!».

И въ доказательство Полевой подробно разлагаетъ Мерзляковскія пѣсни на составные элементы—чисторусскіе и иноземные... Но и послѣ этой критики онъ призывалъ читателей къ снисходительности. «Иначе, хваля и презирая безъ отчета, мы будемъ несправедливы».

Эта сдержанность — характерная черта Полевого, какъ критика, и особенно относительно старыхъ, въ свое время значительныхъ литературныхъ именъ. Только одно оказалось исключеніемъ, и по обстоятельствамъ въ высшей степени любопытнымъ и въ исторіи идейнаго развитія Полевого, и въ судьбахъ всей русской критики. Это имя Карамзина.

LII.

Бѣлинскій, мы видѣли, сѣтовалъ на безтактную запальчивость Полевого относительно Карамзина въ *Исторіи русскаго народа*. Критикъ могъ высказать и болѣе существенный упрекъ—въ прямой непослѣдовательности мнѣній.

Телеграфъ въ первые годы изданія, повидимому, искренне раздѣлялъ «карамзинолятрію», царствовавшую въ нѣкоторыхъ литературныхъ кружкахъ. Это выраженіе принадлежитъ Гречу, очень сильно изображающему исключительное положеніе «исторіографа» въ послѣдній періодъ его жизни. «Изступленные фанатики,—пишетъ Гречъ,—требовали не только признанія таланта въ Карамзинѣ, уваженія къ нему, но и самаго слѣпого языческаго обожанія. Кто только осмѣливался судить о Карамзинѣ, выбрать въ его твореніяхъ малѣйшее пятнышко, тотъ въ ихъ глазахъ становился злодѣемъ, извергомъ, какимъ то безбожникомъ» [203]).

Телеграфъ не противорѣчилъ этимъ настроеніямъ.

[203]) Гречъ, *О. с.*, стр. 409. 413.

Журналъ готовъ сопровождать одами даже такія происшествія въ жизни Карамзина, какъ его отъѣздъ заграницу. Напримѣръ, въ 1826 году печатается такое воззваніе къ «Дельфійскому богу»:

Вѣнецъ тобою данъ
Историку, философу, поэту!
О! будь его вождемъ! Пусть, странствуя по свѣту,
Онъ возвратится здравъ для славы Россіянъ! [204])

По смерти Карамзина журналъ восклицалъ:

«Поэты русскіе! усыпьте могилу его цвѣтами скорби! Вы, которымъ Провидѣніе вручило рѣзецъ исторіи и внушило даръ высокаго краснорѣчія! Воздвигните ему памятникъ нелестнаго сердечнаго слова!» [205]).

Телеграфъ очень хлопоталъ о біографіи, достойной Карамзина, желалъ бы имѣть даже «постоянный журналъ разговоровъ его», изъ иностранныхъ источниковъ собиралъ уважительные отзывы «о первомъ и величайшемъ историкѣ Россіи». Карамзинъ, по мнѣнію *Телеграфа*, «единственный въ слогѣ», представилъ также въ великой и вѣрной картинѣ нашей старины мелкія историческія событія, и журналъ считаетъ долгомъ взять на себя защиту исторіографа предъ иностранцами, ихъ недоразумѣніями, ихъ невѣдѣніемъ русскаго подлинника и дѣйствительнаго положенія русской исторической науки.

Телеграфъ не пропускаетъ случая ссылаться на Карамзина, даже какъ философа, указываетъ, какъ удачно русскій историкъ предвосхитилъ нѣкоторыя мысли Кузэна—величайшаго авторитета сотрудниковъ *Телеграфа* [206]).

Изъ всѣхъ этихъ славословій для насъ особенно важна чрезвычайно высокая оцѣнка историческаго труда Карамзина. Этого мало. *Телеграфъ* взялъ на себя роль оберегателя карамзинской славы, роль очень хлопотливую.

Не всѣ русскіе журналисты оказались зараженными идолопоклонствомъ предъ талантами исторіографа, и на противоположныхъ чувствахъ сошлись самые несходные литераторы и разнообразныя изданія.

Голосъ сомнѣнія раздался въ *Сѣверномъ Архивѣ*, слѣдовательно, изъ устъ Булгарина, еще въ 1825 году, по поводу исторіи Бориса Годунова.

---

[204]) VIII, 84—стих. В. Пушкина.

[205]) IX, 80.

[206]) XV, 70. XVIII, 214, 217—8; XXV, 303.

Критикъ упрекалъ историка въ погонѣ за краснорѣчіемъ, за небрежность въ «доказательствахъ» и изслѣдованіяхъ, и, что еще важнѣе, въ равнодушіи къ бытовой исторіи русскаго народа, развитію его учрежденій, его образованію [207]).

Булгаринъ не могъ идти далеко въ своихъ разсужденіяхъ на подобныя темы, по невѣроятному, анекдотическому невѣжеству, засвидѣтельствованному Гречемъ [208]). Въ Москвѣ нашелся болѣе освѣдомленный журналъ *Московскій Вѣстникъ*, редактируемый Погодинымъ. Онъ открылъ генеральную атаку на *Исторію Государства Россійскаго* статьями Н. С. Арцыбашева.

Это былъ «регистраторъ русской исторіи», по выраженію Погодина, до своихъ статей о Карамзинѣ въ теченіе болѣе двадцати лѣтъ занимался «сводомъ лѣтописей», напечаталъ нѣсколько работъ историко-археологическаго содержанія, и въ глазахъ Погодина, очевидно, обладалъ извѣстнымъ авторитетомъ [209]).

Статьи объ *Исторіи* Карамзина появились въ 1828 году и съ самаго начала обнаружили большую запальчивость и даже безпощадность автора.

Арцыбашевъ прежде всего напалъ на слогъ Карамзина, болѣе *провозглашательный*, нежели *историческій*, на стремленіе историка истиной жертвовать «суесловію», прельщать «любителей легкаго чтенія». И критикъ нерѣдко очень удачно подбираетъ факты для подтвержденія своихъ укоризнъ.

Напримѣръ, гибель Аскольда и Дира.

«Несторъ даетъ знать просто: убилъ или убили Аскольда и Дира: для чего же написано здѣсь, что они пали *подъ мечами къ ногамъ Олеговымъ?* Такія украшенія въ слогѣ бытописательномъ вредятъ истинѣ и могутъ произвести ненужные споры: иной, обнадѣявшись на слова г. исторіографа, будетъ въ самомъ дѣлѣ утверждать, что Аскольдъ и Диръ убиты *мечами* и пали *къ ногамъ Олега*. Сверхъ того, что значитъ *умолчаніе*, которое историкъ намъ означилъ тремя точками?»

Арцыбашевъ, очевидно, не отступалъ и предъ мелочными придирками, но въ общемъ онѣ давали вѣрное представленіе о наивно торжественномъ велерѣчіи исторіографа. Карамзинъ, оказывалось, даже не оправдалъ своей собственной программы, какъ бы она ни была разсчитана на внѣшнія украшенія исторической истины.

---

[207]) *Сѣв. Архивъ*, 1825 г., часть XIII.

[208]) *О. с.*, стр. 452—3.

[209]) Біографія Арцыбашева и отношенія къ Погодину. Барсуковъ, II, 135 etc.

Въ предисловіи историкъ признавалъ непозволительнымъ «для выгодъ своего дарованія обманывать добросовѣстныхъ читателей», «мыслить и говорить за героевъ, которые уже давно безмолвствуютъ въ могилахъ», и послѣ этихъ разсужденій все-таки сочиняется рѣчь Святослава.

Заключеніе—критика: «довольно красиво, да только не очень справедливо», распространяется на весь трудъ Карамзина и всюду подтверждается самыми наглядными примѣрами: сличеніемъ карамзинскаго разсказа съ лѣтописнымъ [210]).

Подобная критика не могла отличаться самостоятельной новизкой и широтой идей, но, несомнѣнно, во многихъ случаяхъ поражала выспренняго исторіографа въ самые чувствительные изъяны его таланта и способа писать исторію на манеръ беллетристики чувствительно проповѣдническаго жанра.

Годъ спустя противъ Карамзина выступилъ Полевой. У него, какъ видимъ, были предшественники, и *Телеграфъ* очень ихъ не жаловалъ. Онъ смѣялся надъ попытками Каченовскаго критиковать исторіографа, съ пренебреженіемъ говорилъ объ Арцыбашевѣ и Погодинѣ, объявившемъ историческій трудъ Карамзина «только памятникомъ краснорѣчія», пишется, наконецъ, спеціальная статья *Антикритика и хладнокровныя замѣчанія на толки г. критиковъ Исторіи государства россійскаго и ихъ сопричетниковъ*. Арцыбашевъ, Строевъ, Погодинъ находятъ достойную, отповѣдь, и особенно достается Погодину, какъ наиболѣе видному ученому [211]).

И въ томъ же году, въ самомъ скоромъ времени, въ томъ же *Телеграфѣ* является статья самого издателя [212]).

Начинается статья очень смѣлыми похвалами *Исторіи* и попутно бросаются укоры по адресу критиковъ въ родѣ Арцыбашева. Вообще Карамзинъ ставится на крайне возвышенный пьедесталъ, наравнѣ съ Ломоносовымъ, но немедленно слѣдуетъ оговорка: значеніе Карамзина, какъ писателя, *историческое*, *сравнительное*. И дальше рядъ замѣчаній касательно *Исторіи*.

Она «неудовлетворительна», «какъ *философъ историкъ*, Карамзинъ не выдерживаетъ строгой критики». Полевой видитъ только «прекрасныя фразы», въ «реторическомъ» карамзинскомъ опредѣленіи исторіи, чрезвычайно ограниченное пониманіе ея цѣлей

[210]) *Московскій Вѣстникъ*, 1828, часть XI, стр. 290—292; часть XII, стр. 73, 87—8, 267—8.

[211]) *М. Т.*, XXIII, 488, 492; ст. О. Сомова о критикахъ Карамзина, XXV, 238.

[212]) *М. Т.*, 1829 года, XXVII; перепечатана въ *Очеркахъ*, т. II.

удовольствіе, *нѣга* читателей, *красота повѣствованія.* Общей руководящей идеи нѣтъ у Карамзина. Ему не доступно представленіе о «духѣ народномъ», вмѣсто исторіи, у него выходитъ галлерея портретовъ. Притомъ безъ всякой исторической перспективы и безъ критическаго анализа.

Полевой не забываетъ поразить едва ли не самый слабый пунктъ карамзинскаго творенія, — превратное чувство любви къ отечеству. У патріотически-настроеннаго, но не мыслящаго историка, даже варвары являются облагороженными, чрезвычайно доблестными, мудрыми, даже художественно-развитыми, только потому, что Рюрикъ, Святославъ—*русские* князья.

У Карамзина нѣтъ ни малѣйшаго представленія объ исторической связи событій, и критикъ, между прочимъ, приводитъ весьма любопытный примѣръ подобнаго же близорукаго историческаго смысла. «Даже въ наше время,—говоритъ онъ,—повѣствуя о французской революціи, развѣ не полагали, что философы развратили Францію, французы, по природѣ вѣтренники, одурѣли отъ чада философіи и вспыхнула революція».

Это «наше время», благодаря историкамъ, въ родѣ Тэна, не сошло со сцены до послѣднихъ дней и, конечно, историческій смыслъ Карамзина долженъ былъ потерпѣть совершенный разгромъ предъ столь простой, но, повидимому, чрезвычайно трудно осуществимой точкой зрѣнія. Естественно, Полевой считаетъ возможнымъ «на каждую главу» исторіи Карамзина написать «огромное опроверженіе, посильнѣе замѣчаній г. Арцыбашева».

Статья не многословная, но поразившая славу Карамзина во всѣхъ существенныхъ источникахъ ея свѣта, патріотическаго чувства и историческаго таланта и разума.

Немедленно поднялась буря. «Идолопоклонники» инстинктивно должны были почувствовать въ Полевомъ несравненно болѣе сильнаго врага, чѣмъ во всѣхъ другихъ зоилахъ Карамзина. Самая сдержанность тона, энергичныя похвалы сообщали особенно рѣзкую соль исторически-сравнительной оцѣнкѣ значенія Карамзина. И во главѣ оскорбленныхъ оказались первостепенные представители современной литературы.

Пушкинъ написалъ рядъ статей объ *Исторіи русскаго народа* и раньше Бѣлинскаго отмѣтилъ будто преднамѣренное совпаденіе *критики и творчества.* Полевой, казалось, за тѣмъ уничтожалъ Карамзина-историка, чтобы самому стать на его мѣсто. Поэтъ говорилъ сдержанно и въ литературномъ тонѣ. Онъ негодовалъ

на *Вѣстникъ Европы* и *Московскій Вѣстникъ*, на статьи Надеждина и Погодина, на «непростительнѣйшее забвеніе обязанности» критика. Но, очевидно, Пушкинъ, вдохновившійся именно *Исторіей* Карамзина въ *Борисѣ Годуновѣ*, не могъ простить Полевому посягательства на геній исторіографа.

Кн. Вяземскій поступилъ гораздо энергичнѣе: отказался отъ сотрудничества въ *Телеграфѣ*, прервалъ даже личныя отношенія съ издателемъ и составилъ о немъ самое удручающее мнѣніе, какъ литераторѣ. Полевой, будто бы, «родоначальникъ литературныхъ наѣздниковъ, какихъ-то кондотьери, низвергателей законныхъ литературныхъ властей. Онъ изъ первыхъ пріучилъ публику смотрѣть равнодушно, а иногда и съ удовольствіемъ, какъ кидаютъ грязью въ имена, освященныя славою и общимъ уваженіемъ, какъ, напримѣръ, въ имена Карамзина, Жуковскаго, Дмитріева, Пушкина» [213]).

Негодовалъ и третій корифей современной литературы — Жуковскій. Такимъ подвигомъ оказалось довольно скромное и безусловно справедливое сужденіе о нѣкоей «литературной власти!». Полевой, ограничившись статьей, въ сущности не отступилъ отъ своихъ прежнихъ чувствъ къ Карамзину, за исключеніемъ развѣ только нѣкоторыхъ неосторожныхъ раннихъ похвалъ *Телеграфа* фактической вѣрности карамзинской *Исторіи*. Весь вопросъ сводился къ исторически-относительной оцѣнкѣ Карамзина и ея-то не желали признать ни идолопоклонники, ни даже такіе журнальные бойцы, какимъ съ гордостью заявлялъ себя кн. Вяземскій.

Естественно, у Полевого заговорила желчь и обида. Съ этихъ поръ Карамзинъ становится для него своего рода кошмаромъ. Помимо двойного текста къ *Исторіи русскаго народа*, *Телеграфъ* безпрестанно метаетъ камни въ огородъ исторіографа и его неразумныхъ почитателей.

До какой степени чувства Полевого были возбуждены нападками на его безусловно искреннюю и литературную попытку опредѣлить мѣсто Карамзина въ русской литературѣ, показываетъ удивительная статья *Телеграфа* о двухъ обозрѣніяхъ русской словесности въ «Денницѣ» и «Сѣверныхъ цвѣтахъ». Статья имѣла въ виду Кирѣевскаго и Сомова, но не упустила и вопроса pro domo sua.

Статья упоминаетъ о злополучной критикѣ *Телеграфа* на Ка-

---

[213]) Полное собр. сочиненій кн. Вяз., 1884 года, IX, 211.

рамзина и заявляетъ: «Авторъ сего разбора, въ качествѣ человѣка, могъ ошибиться, но, какъ гражданинъ и писатель, исполнилъ свой долгъ безукоризненно».

И въ доказательство слѣдуетъ ссылка на иностраннаго критика, во всемъ согласнаго съ русскимъ [214]).

Иностранцы и позже оказываютъ услугу «Телеграфу». Напримѣръ, Брокгаузъ понизилъ цѣны на нѣкоторыя книги, и въ числѣ ихъ оказался нѣмецкій переводъ *Исторіи* Карамзина. Книги эти уступались *за полцѣны*. «Видно, что худо покупаютъ ихъ въ Германіи» [215]).

Въ статьяхъ о разныхъ писателяхъ Полевой не пропускаетъ случая указать на неразумный патріотизмъ Карамзина, на его поверхностное французское отношеніе къ Шекспиру, Канту, Гёте и даже на утомительность его искусственно-красиваго стиля [216]).

Все это несомнѣнные отголоски скорѣе личныхъ настроеній, чѣмъ настоятельной необходимости—добивать величіе Карамзина. Но, соглашаясь съ Бѣлинскимъ касательно патетическаго происхожденія отзывовъ Полевого объ исторіографѣ въ эпоху *Исторіи русскаго народа*, мы не должны упускать изъ виду цѣлесообразности и въ общемъ полной основательности критики Полевого. Онъ, даже и въ порывѣ сильныхъ чувствъ, приносилъ несомнѣнную пользу здравому смыслу и критической правдѣ, не оставляя въ покоѣ лжей и наивностей своего соперника. Полевой, при всемъ полемическомъ азартѣ, именно по отношенію къ карамзинской исторической школѣ, выполнялъ долгъ гражданина и писателя гораздо «безукоризненнѣе», чѣмъ его жертва со всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ и національной гордостью.

Тѣмъ же путемъ шелъ Полевой и въ другихъ общественно-литературныхъ вопросахъ своего времени.

LIII.

Мы отчасти знакомы съ демократическими тенденціями Полевого: они—основной символъ его идейной вѣры. *Телеграфъ* въ русской печати явился первымъ органомъ третьяго сословія, т. е. интеллигенціи, разночинцевъ, всего просвѣщеннаго изъ низшихъ сословій въ противоположность *свѣту* и *баричамъ*. Полевой съ

---

214) XXXI. 214.

215) XXXVIII, 289.

216) Въ статьяхъ о Державинѣ, Жуковскомъ, *Очерки*, I, 78, 104, 140.

гордостью заявлялъ о своемъ происхожденіи изъ купеческаго званія и не остановился предъ самыми презрительными выходками по адресу *боярскихъ дѣтокъ*.

Эти взгляды находились въ совершенно логической связи съ принципами Полевого въ литературной критикѣ. Тамъ *Телеграфъ* неустанно защищалъ талантъ противъ привилегій, т. е. учености, здѣсь—личность противъ правъ рожденія и положенія. Одна и та же идея личной свободы и личнаго достоинства водила перомъ публициста и эстетика.

Орестъ Сомовъ, при всемъ своемъ романтизмѣ, былъ поклонникомъ свѣта и его вліяній на искусство; кн. Вяземскій, при всей своей публицистической воинственности, также не прочь былъ сдѣлать набѣгъ на несвѣтскихъ литераторовъ. *Телеграфъ* достойно отвѣтилъ тому и другому.

«Большой свѣтъ,—заявлялъ журналъ,—никогда не былъ разсадникомъ дарованій, а, напротивъ, много разъ убивалъ самыя счастливыя надежды». И примѣровъ приводится длинный рядъ—все писателей изъ демократической среды и демократическаго развитія таланта. Особенно эффектно сопоставленіе Шекспира съ его покровителемъ, графомъ Соутгамптономъ, и дальше сравненіе литературныхъ вкусовъ людей знатныхъ и народа.

«Они всегда смотрѣли и будутъ смотрѣть на литераторовъ, какъ на ремесленниковъ, болѣе ихъ искусныхъ въ своемъ дѣлѣ, но чуждыхъ имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Они покупаютъ книгу такъ же, какъ покупаютъ лампу, кресло, рояль, какъ удобство, но не какъ произведеніе безсмертнаго духа».

Совершенно иначе, по наблюденіямъ *Телеграфа*, относятся къ литературѣ «низшіе классы». Для нихъ «литература есть та стихія, которою они сближаются съ человѣчествомъ. Она просвѣтитъ ихъ умъ, образуетъ ихъ чувства и покажетъ имъ обязанности ихъ къ Богу, къ царю, къ отечеству» [217]).

Отсюда горячая защита литературы, какъ «потребности жизни», «невещественнаго капитала» наравнѣ съ «вещественнымъ». Это сопоставленіе, заимствованное Полевымъ изъ иностранной политико-экономической литературы, вызвало смѣхъ у завистниковъ и противниковъ *Телеграфа*, но идея отъ этого не утрачивала ни своего достоинства, ни своего практическаго значенія именно для русскаго общественнаго сознанія.

---

[217]) XXXI, 229.
[218]) XXIII, 241.

Только при одновременномъ и одинаково цвѣтущемъ развитіи *промышленности* и *литературы* «государство является въ полнотѣ народнаго бытія» [219]).

Народъ, какъ основа государственной жизни и литературы, какъ просвѣтительная сила—двѣ могучія стихіи прогресса и благоденствія политическаго общества, *Телеграфъ* поэтому неустанно стоитъ на стражѣ писательскаго достоинства и народнаго просвѣщенія путемъ литературы.

«Сословіе литераторовъ есть одно изъ полезнѣйшихъ въ просвѣщенномъ государствѣ. Оно составляется изъ людей благомыслящихъ, которые съ хорошимъ образованіемъ соединяютъ пламенную любовь къ наукамъ и отважную вражду къ невѣжеству».

Прежде всего къ невѣжеству народа. *Телеграфъ* внушаетъ писателямъ идти съ талантами въ народъ, писать для него. *Телеграфъ* собиралъ свѣдѣнія у книгопродавцевъ, и тѣ охотно замѣнили бы сказки и прочій вздоръ, фабрикуемый для народа, «истинно полезными сочиненіями». И журналъ обращается къ подлежащимъ силамъ съ такимъ воззваніемъ:

«Кто изъ литераторовъ захочетъ посвятить себя полезному, но не славному труду: сочиненію для простого народа книгъ, сообразныхъ цѣли ихъ изданія? Пора бы, однакожъ, подумать объ этомъ! Каждый истинный сынъ отечества, конечно, съ большимъ удовольствіемъ увидѣлъ бы появленіе полезной для простого народа книжки, нежели десяти стихотвореній къ Лидѣ, къ Лизѣ, къ Машѣ, къ Сашѣ—этой воды, которая потопляетъ наши альманахи и журналы» [220]).

И снова слѣдуетъ любимое доказательство *Телеграфа*, ссылка на западные культурные порядки. Въ Англіи, напримѣръ, цѣлыя общества для изданія простонародныхъ книгъ. Почему, въ Россіи это дѣло совершенно заброшено? А между тѣмъ народу читать нечего, кромѣ старыхъ и заказныхъ книгопродавческихъ книгъ. И *Телеграфъ* предлагаетъ на первое время воспользоваться календарями для распространенія среди народа положительныхъ знаній и здравыхъ понятій [221])

Полевой оставался вѣренъ себѣ и во «внѣшней политикѣ». Мы знаемъ его недовольство младенческимъ патріотизмомъ Карамзина. Эта тема лежала близко сердцу журналиста. Онъ безпре-

[219]) XXXI, 416.
[220]) XII, 56.
[221]) XIX, 125.

станно возвращается къ ней,—и однажды далъ удивительно мѣткое, ставшее знаменитымъ наименованіе извѣстному сорту «любви къ отечеству».

«Многіе признаютъ за патріотизмъ безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называлъ это *лакейскимъ патріотизмомъ*, *patriotisme d'antichambre*. У насъ его можно бы назвать *квасным патріотизмомъ*. Я полагаю, что любовь къ отечеству должна быть слѣпа въ пожертвованіяхъ ему, но не въ тщеславномъ самодовольствѣ: въ эту любовь можетъ входить и ненависть» [222]).

Нельзя не замѣтить любопытнаго совпаденія нѣкоторыхъ разсужденій Полевого съ идеями первостепеннаго русскаго гуманиста—просвѣтителя Тургенева. Основной принципъ «внутренней политики»—требованіе отъ интеллигенціи работы на пользу народа—скромной, незамѣтной, менѣе всего героической. Во «внѣшней политикѣ»—страстная любовь къ славѣ отечества и жгучая ненависть ко всему, что безславитъ его, приснопамятное потугинское чувство любви и вражды къ родинѣ.

Полевой на каждомъ шагу будетъ напоминать намъ благороднѣйшіе и культурнѣйшіе завѣты нашей литературы.

Унизивъ квасной патріотизмъ, Полевой возсталъ противъ славянофильскаго ученія о гниломъ Западѣ. Онъ соглашался съ Кирѣевскимъ насчетъ «великаго предназначенія» Россіи, но совершенно не вѣрилъ, будто государства Европы отжили свой вѣкъ: «новый вѣкъ для нихъ только начинается» [223]).

И въ доказательство «Телеграфъ» не уставалъ перечислять успѣхи Европы въ XIX-мъ столѣтіи во всѣхъ областяхъ творчества и мысли. Именно въ тщательномъ изученіи этихъ успѣховъ, въ усвоеніи культурной энергіи европейцевъ Полевой видѣлъ задачу русскаго просвѣщенія.

Отсюда безпримѣрное усердіе *Телеграфа* сообщать публикѣ литературныя и ученыя новости Европы. Нѣтъ рѣшительно ни одной литературы, какой бы *Телеграфъ* не коснулся, ни одного знаменитаго европейскаго имени въ наукѣ первой четверти XIX-го вѣка, не упомянутаго журналомъ Полевого.

Этотъ «самоучка» приходилъ въ страстное негодованіе на русскую ученую косность и умственную безжизненность. И негодова-

[222]) XV, 232.
[223]) XXXI, 230—1.
[224]) XXVI, 138—9.

ніе оказывалось вполнѣ праведнымъ, Полевому приходилось высказывать такіе упреки:

«Равнодушіе русскихъ литераторовъ и ученыхъ людей непостижимо. Твореніе Нибура будто и не существуетъ для нихъ. Ни въ одной русской книгѣ не увидите и слѣда, что автору или переводчику знакомъ Нибуръ. У насъ переводятъ нѣмецкую дрянь прошлаго вѣка, подъ именемъ *исторій, географій, юридическихъ книгъ*, — и въ голову не придутъ переводчикамъ ни Нибуръ, ни Риттеръ, ни Савиньи. Мы все еще твердимъ о Ролленѣ, Шренкѣ, Аренвилѣ, Гуго Гроціи и въ Клюберѣ думаемъ видѣть великаго человѣка» [225]).

И *Телеграфъ* имѣлъ право гордиться, что онъ познакомилъ русскую публику съ Нибуромъ, Савиньи.

Но Полевой отнюдь не былъ слѣпымъ поклонникомъ европейскихъ авторитетовъ. Напримѣръ, онъ признавалъ полное невѣжество иностранцевъ относительно Россіи и въ *Телеграфѣ* появлялись убійственныя статьи противъ западныхъ путешественниковъ, изучавшихъ Россію въ гостиныхъ или изъ коляски. Особенно доставалось французамъ—за ихъ національное самодовольство, «площадный патріотизмъ», и дѣйствительно, расовое невѣжество въ культурѣ и нравахъ другихъ народовъ [226]). Вообще,—«галломанія» одинъ изъ спеціальныхъ враговъ *Телеграфа* и онъ настаиваетъ на необходимости учиться русскимъ у англичанъ — практическимъ свѣдѣніямъ, наукѣ, общественности, у нѣмцевъ— философіи, литературѣ, а поэзію англійскую журналъ даже и не осмѣливался сравнивать съ французской [227]). Только Кузэнъ стоялъ для *Телеграфа* внѣ критики, и нѣкоторыя произведенія Виктора Гюго.

Но для насъ особенно любопытна полемика *Телеграфа* въ области политической экономіи съ Ж. Б. Сэемъ. Журналъ противъ неограниченной свободы торговли, потому что всякое государство рано или поздно должно развить собственныя производства во всѣхъ областяхъ промышленности.

Государствъ исключительно земледѣльческихъ или промышленныхъ нѣтъ. «Время, въ которое государство довольствуется земледѣліемъ, показываетъ, что сіе государство ниже другихъ по своему

[225]) Сочиненіе Савиньи *Geschichte des romischen Rechts in Mittelalter*, изложено *Телеграфомъ* подробно, томъ XXVIII.

[226]) XV, 231; XXII, 144.

[227]) XV, 237, XX, 252.

образованію гражданскому». И *Телеграфъ* смѣло перечислялъ рядъ производствъ, дѣйствительно позже развившихся въ Россіи,—напримѣръ, свекловичный сахаръ, и рисовалъ для Россіи будущее всесторонней промышленной дѣятельности. Только она, по мнѣнію журнала, ведетъ къ богатству и просвѣщенію [228]). Статьи по экономическимъ вопросамъ писались въ *Телеграфѣ* очень горячо и популярно: издатель, можетъ быть по своей прежней коммерческой дѣятельности, чувствовалъ себя сильнымъ въ этой области. Во всякомъ случаѣ, политическая экономія открывала издателю запретный путь вообще въ политику и лишній разъ доказывала находчивость и энергію Полевого.

Естественно, *Телеграфъ* стоялъ за самое тѣсное сближеніе русскихъ съ родственнымъ племенемъ, поляками. Въ журналѣ усердно писались статьи о Мицкевичѣ, неизмѣнно восторженныя и проникнутыя горячимъ желаніемъ сближенія двухъ народовъ.

Телеграфъ горько сѣтовалъ на незнакомство русскихъ съ польской литературой и языкомъ, ставилъ журналамъ польскимъ и русскимъ въ обязанность «изготовить предварительныя мѣры семейнаго сближенія» и создать обоюдную пользу для словесностей русской и польской. Полевой открываетъ даже постоянный отдѣлъ *Новости польской литературы* [229]). И здѣсь на сценѣ все та же культурность идей и гуманность стремленій.

И все это разнообразіе предметовъ являлось отнюдь не результатомъ одной практической бойкости издателя. Полевой успѣвалъ серьезно учиться и набирать множество свѣдѣній по всѣмъ предметамъ общепросвѣтительнаго характера. Въ критикѣ на историческія сочиненія онъ обнаруживалъ поразительную эрудицію и библіографическія познанія настоящаго ученаго [230]). Литературныя статьи, часто написанныя наскоро и при полномъ отсутствіи разработки матеріала въ этой области, оказывали большія услуги даже спеціалистамъ ученымъ.

Фактъ въ высшей степени краснорѣчивый и онъ засвидѣтельствованъ академикомъ Я. К. Гротомъ.

«Я сталъ читать Державина,—пишетъ Гротъ—по смирдинскому изданію тридцатыхъ годовъ, съ помощью отдѣльныхъ къ нему объясненій, напечатанныхъ Остолоповымъ и Львовымъ. При

[228]) XXIII, 243.

[229]) Статьи о Мицкевичѣ, XIV, 192; XXV, 233; XXIX, 3, etc.

[230]) Напр., ст. о сочиненіяхъ Берха, Бергмана и Сумарокова. *Очерки* II, 98.

этомъ позволю себѣ небольшое отступленіе, чтобы отдать справедливость слишкомъ забытому нынче писателю, въ свое время принесшему великую пользу литературѣ, именно *Полевому*. Его критическія статьи о русскихъ авторахъ, помѣщавшіяся сначала въ *Московскомъ Телеграфѣ*, а потомъ составившія книгу *Очерки русской литературы*, при всемъ несовершенствѣ своемъ съ точки зрѣнія ученыхъ требованій, имѣли, однакожъ, очень благотворное дѣйствіе, распространяя въ обществѣ историко-литературныя знанія и возбуждая любознательныхъ къ дальнѣйшимъ занятіямъ. Ему былъ я обязанъ первымъ моимъ знакомствомъ съ названными двумя комментаріями къ Державину» [231]).

Способности Полевого шли дальше, чѣмъ распространеніе свѣдѣній и понятій въ литературной исторіи. «Самъ онъ не былъ ученымъ,—говоритъ современный ученый,—но умѣлъ понять всю важность новыхъ изслѣдованій». Полевой, не въ примѣръ заграничнымъ и отечественнымъ ученымъ въ родѣ Каченовскаго, оцѣнилъ литературно-археологическія изслѣдованія Калайдовича [232]).

Подобные факты можно бы умножить, и они свидѣтельствуютъ о совершенно исключительномъ явленіи въ исторіи русской періодической печати, не только временъ Карамзиныхъ и Каченовскихъ, но и позднѣйшей эпохи. Неустанная страсть издателя къ самообразованію, по истинѣ ненасытная жажда знанія—живого, практически дѣйствительнаго, и поразительное искусство пріобщать къ своему умственному капиталу обширную публику. Еще вчера подписчики журналовъ угощались или идиллическими стишками чаще всего на самомъ дикомъ піитическомъ нарѣчіи, или уличной перебранкой ученыхъ и критиковъ, нерѣдко далеко оставлявшей за собой схватку мольеровскихъ педантовъ, или изслѣдованіями о куньихъ мордкахъ и словесныхъ теоріяхъ, одинаково требовавшими перевода на общедоступный языкъ.

Самымъ литературнымъ и отраднымъ явленіемъ приходилось считать диссертаціи шеллингіанцевъ. Но философы слишкомъ рѣдко спускались на землю и возвышенныя идеи осуществляли на оцѣнкѣ современной художественной дѣйствительности. Шеллингіанство посѣяло много плодотворныхъ, преобразовательныхъ сѣмянъ въ эстетикѣ, но оказалось безсильнымъ одушевить ее публицистической энергіей и буднично-настоятельными идеалами.

---

[231]) У Сухомлинова. *О. с.*, стр. 368.

[232]) Пыпинъ, *Меценаты и ученые Александровскаго времени*, Вѣстн. Европы, 1888, V, 720.

Публика по достоинству оцѣнила и педантовъ, и фаустовъ: тѣ умирали естественной смертью отъ худосочія и маразма, эти тщетно усиливались дотянуть до своихъ высотъ толпу.

Явился Полевой, и картина мгновенно измѣнилась.

Журналистъ заговорилъ простой обыденной рѣчью, но о вещахъ важныхъ и поучительныхъ. Идея ни на минуту не утрачивала своего достоинства, и выигрывала въ доступности и простотѣ. Успѣхъ *Телеграфа* быстро доказалъ цѣлесообразность такой политики, и фактъ засвидѣтельствованъ со стороны, соперникомъ и конкуррентомъ.

Среди воинственнаго натиска на *Телеграфъ* со стороны его собратій, *Отечественныя Записки* Свиньина писали о врагахъ московскаго журналиста:

«Что бы они ни дѣлали, какъ ни напрягались, а публика сама видитъ ревность издателя *Телеграфа* ознакомить Россію съ ходомъ наукъ и словесности европейской; публика давно признала журналъ сей лучшимъ литературнымъ журналомъ, великодушно прощаетъ ему нѣкоторую небрежность въ переводахъ, нѣкоторую рѣшительность, рѣзкость въ приговорахъ и сужденіяхъ, искупаемыя, впрочемъ, благонамѣренностью цѣли и слишкомъ, можетъ быть, пламенною любовью къ истинѣ и совершенству, и вопреки гонителей и подражателей подписка на *Телеграфъ* увеличивается ежегодно».

Братъ Полевого приводитъ цифры, показывающія изумительный ростъ популярности *Телеграфа*. Первое изданіе, не много меньше тысячи, разошлось до выхода второй книжки, третью книжку пришлось печатать почти въ двойномъ количествѣ экземпляровъ и доходъ издателя съ каждымъ годомъ увеличивался [233]).

Успѣхъ ободрялъ издателя на дальнѣйшее расширеніе и совершенствованіе дѣла, но тотъ же успѣхъ собиралъ все больше тучъ надъ головой удачливаго журналиста и гроза должна была разразиться надъ *Телеграфомъ* въ полный разгаръ его блеска и жизни.

LIV.

Полевой не намѣренъ былъ ограничиться однимъ изданіемъ и его мечты росли одновременно съ популярностью *Телеграфа*. Уже черезъ два года съ половиной онъ задумываетъ газету *Компасъ*

[233]) Кс. Полевой, 112, ср. Колюпановъ, I (2), 554.

и ученый журналъ *Энциклопедическія лѣтописи отечественной и иностранной литературъ*. Въ іюлѣ 1827 года въ московскій цензурный комитетъ былъ представленъ планъ этихъ изданій.

Издатель свидѣтельствовалъ о серьезныхъ успѣхахъ *Телеграфа* въ такой средѣ, какъ ученыя общества и иностранная журналистика. Эти успѣхи обязываютъ издателя «распространить полезную цѣль» журнала, но его размѣры—непреодолимое препятствіе. Приходится откладывать множество дѣльныхъ и любопытныхъ статей. А между тѣмъ издателю желательно «составить полное обозрѣніе современнаго просвѣщенія и настоящія лѣтописи современной исторіи».

Съ этою цѣлью предлагается газета, выходящая по два раза въ недѣлю, и трехъ-мѣсячный журналъ «совершенно ученаго содержанія». Газета должна имѣть два отдѣла — политическій и литературный.

Цензура не находила препятствій удовлетворить ходатайство Полевого, считала только необходимымъ запросить министра народнаго просвѣщенія, въ коего вѣдомствѣ состояла цензура, насчетъ политическихъ извѣстій и статей о театрѣ. Министръ касательно политики, въ свою очередь, направилъ вопросъ въ министерство иностранныхъ дѣлъ, но сужденія о театральныхъ пьесахъ и объ игрѣ актеровъ — запретилъ безъ всякихъ справокъ. Все прочее Полевому разрѣшалось.

Но пока велось дѣло, шефъ жандармовъ Бенкендорфъ получилъ три обвинительныхъ акта противъ *Московскаго Телеграфа* и дальнѣйшихъ намѣреній его издателя.

Въ запискахъ указывалось на крайнюю опасность политической газеты: она даже своимъ *молчаніемъ* можетъ «волновать умы и посѣвать неблагопріятныя ощущенія въ читателяхъ». Потомъ вообще «духъ» *Телеграфа* «есть оппозиція», уже потому, что Полевой принадлежитъ къ среднему сословію, а это сословіе «всегда болѣе наклонно къ нововведеніямъ», а потомъ самая Москва вообще центръ неблагонамѣренныхъ мыслей и поступковъ писателей. Тамъ отъ временъ Новикова до послѣднихъ дней печатаются всѣ запрещенныя и вредныя книги, тамъ и о политикѣ судятъ по своему, не сообразуясь съ петербургскими внушеніями. Авторы записокъ обнаруживали рѣдкостный талантъ читать между строкъ. Естественно, Полевой уличался въ примѣшиваніи политики къ рецензіямъ о поэзіи, обвинялся въ «самомъ явномъ карбонаризмѣ» и всѣ москвичи, «замѣченные въ якобинизмѣ», сотрудники *Теле-*

графа. Авторы, оказывается, подробно знали личныя знакомства этихъ опасныхъ людей, съ кѣмъ кто «водится» и подкрѣпляли свои домыслы напоминаніемъ о декабрьской исторіи. Сочувственные намеки на декабристовъ добровольцы открывали въ *Телеграфѣ* повсюду и даже кн. Вяземскій попалъ въ авторы «катехизиса декабристовъ», за стихотвореніе *Негодованіе.*

Цѣль была вполнѣ достигнута. Полевой на верху нашелъ единственнаго защитника—И. С. Мордвинова, но защита не принесла никакой пользы. Петербургскіе литераторы и многіе москвичи, по свидѣтельству очевидца, торжествовали побѣду. Полевой не только получилъ отказъ въ своихъ ходатайствахъ, но съ тѣхъ поръ на него обратили особенное вниманіе и ему приходилось теперь дѣйствовать подъ сугубымъ наблюденіемъ.

Неудача не испугала журналиста.

Въ 1831 году онъ является съ новымъ проектомъ расширенія программы и объема *Телеграфа* путемъ приложеній. Программа заканчивалась торжественнымъ изъявленіемъ благонадежности—религіозной и политической. Императоръ Николай не согласился съ этими завѣреніями и на докладѣ министра написалъ: «Не дозволять, ибо и нынѣ ничуть не благонадежнѣе прежняго».

Рѣшеніе состоялось въ ноябрѣ 1831 года, и вскорѣ министромъ народнаго просвѣщенія явился Уваровъ, злѣйшій врагъ *Телеграфа* и его издателя. Новый министръ немедленно представилъ государю докладъ о запрещеніи *Телеграфа*, государь отказалъ; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣдовало второе ходатайство министра, и на этотъ разъ онъ былъ удовлетворенъ.

Что побуждало Уварова къ столь энергическимъ дѣйствіямъ?

Ксенофонтъ Полевой вражду министра къ *Телеграфу* объясняетъ неодобрительными отзывами журнала объ академическихъ изданіяхъ. Но этого обстоятельства врядъ ли было бы достаточно для гоненій министра на журналъ. Уваровъ, несомнѣнно, гораздо важнѣе считалъ «неблагонамѣренность» Полевого касательно другихъ дѣйствій правительства,—не академическихъ изданій. А потомъ, ему не давали покоя все тѣ же добровольцы.

Уваровъ, какъ глава цензурнаго вѣдомства, безпрестанно получалъ жалобы на распущенность цензуры. Самолюбіе начальника, естественно, уязвлялось и онъ принялся собирать матеріалы, подтверждающіе жалобы [234]).

---

[234]) По словамъ Пушкина, эту работу велъ Бруновъ, по совѣту Блудова Сочин., V, 201.—Исторія запрещенія «Телеграфа» у Сухомлинова. *О. с.*

Въ результатѣ составилась толстая тетрадь изъ выписокъ за все время изданія *Телеграфа* [235]).

Это въ высшей степени любопытный и содержательный документъ. Начинается онъ съ идей Полевого о назначеніи журнала и журналиста: журналъ долженъ имѣть въ себѣ *душу*, т. е. цѣль, а журналистъ, являться *колонновожатымъ*. Это, по мнѣнію составителя обвинительнаго акта, означало возвѣщать о необходимости преобразованій и восхвалять революцію. Въ подтвержденіе приводился отзывъ *Телеграфа* о французской революціи, какъ фактѣ *европейскомъ* и *необходимомъ*, презрительное мнѣніе о «большомъ свѣтѣ» старой Франціи.

Тотъ же революціонный характеръ приписывался и демократическимъ взглядамъ Полевого. Приводились дѣйствительно эффектныя мѣста изъ статей *Телеграфа*, напримѣръ, о торжествѣ «чернаго человѣка», купца и раба надъ «феодалистомъ» при помощи «*правительнаго ядра*». Эти слова подчеркивались обвинителемъ. Слѣдовали дальше цитаты и насчетъ «могущественнаго и сильнаго средняго сословія» Россіи, въ Москвѣ, и особенно такое стремительное заявленіе: «Первый печатный листъ былъ уже прокламація побѣды просвѣщенныхъ *разночинцевъ* надъ *невѣждами-дворянчиками*. Латы распались въ прахъ».

Удостоилась отмѣтки и слѣдующая программа общественной литературной дѣятельности: «Мы должны помогать правительству, *создавая* русскую промышленность, *русское воспитаніе*, *русскую* литературу, словомъ, *внутреннее образованіе*».

Актъ былъ готовъ, составъ преступленія опредѣленъ, требовался только поводъ къ процессу. Полевой создалъ его—рецензіей на драму Кукольника *Рука Всевышняго отечество спасла*.

Драма съ перваго представленія попала въ разрядъ высокооффиціозныхъ поэтическихъ произведеній. Патріотизмъ автора одобрилъ государь, избранная публика наполняла театръ, сомнѣваться въ достоинствахъ пьесы — значило не признавать русской славы и обнаруживать духъ возмущенія.

Полевой въ Москвѣ, не зная подробностей объ этихъ тріумфахъ драмы, написалъ статью, безусловно неодобрительную и даже ядовитую, пріѣхалъ въ Петербургъ, увидѣлъ собственными глазами и услышалъ отъ другихъ «вліятельныхъ особъ», какому риску подвергалась его чисто-литературная критика, немедленно по-

[235]) Напечатана у Сухомлинова.

слалъ въ Москву распоряженіе вырѣзать статью. Но распоряженіе пришло поздно, успѣли уничтожить статью только въ нѣсколькихъ экземплярахъ...

Драма признавалась крайне неудачнымъ произведеніемъ, по обилію отступленій отъ исторической истины, по мелодраматическимъ эффектамъ, она «печалила» критика въ то время, когда ея восторгъ былъ признанъ обязательнымъ для всякаго истиннаго патріота.

Гроза назрѣла и разразилась.

Никитенко, въ дневникѣ подъ 5 апрѣля 1834 года, даетъ любопытныя подробности. Государь хотѣлъ сначала очень строго поступить съ Полевымъ, но потомъ призналъ вину правительства въ долготерпѣніи и ограничился запрещеніемъ изданія.

Фактъ вызвалъ «сильные толки». «Одни горько сѣтуютъ, что единственный хорошій журналъ у насъ уже не существуетъ. По дѣломъ ему, говорили другіе, онъ осмѣливался бранить Карамзина. Онъ даже не пощадилъ моего романа. Онъ либералъ, якобинецъ—извѣстное дѣло».

Уваровъ въ разговорѣ съ Никитенко точнѣе опредѣлилъ политическую программу *Телеграфа*: это—органъ декабристовъ.

При всей важности оффиціозныхъ воззрѣній на дѣятельность Полевого и настроеній публики, для насъ еще поучительнѣе впечатлѣніе первостепенныхъ современныхъ литераторовъ. Вопросъ шелъ не только о безпримѣрно вліятельномъ органѣ печати, но и о самой участи русскаго писателя, его положеніи предъ обществомъ и властью.

Былъ ли понятъ лучшими современниками этотъ вопросъ во всемъ его дѣйствительномъ значеніи?

LV.

Мы знаемъ, какую помощь могъ оказать политическимъ обвинителямъ Полевого проф. Надеждинъ. До такой роли не могли снизойти ни Пушкинъ, ни кн. Вяземскій, но именно они привѣтствовали бѣду Полевого.

По какимъ соображеніямъ и подъ давленіемъ какихъ чувствъ?

О кн. Вяземскомъ вопросъ несложенъ: послѣ извѣстной намъ исторіи по поводу Карамзина, мы не можемъ удивляться знакомому намъ негодованію князя на непозволительную смѣлость и вольность *Телеграфа* въ критическихъ пріемахъ.

Князь жалѣетъ, что противъ *Телеграфа* пришлось употребить «усиленную мѣру». Журналъ просто слѣдовало раньше держать въ предѣлахъ цензуры и «онъ упалъ бы самъ собою».

«Все достоинство *Телеграфа* въ глазахъ многихъ,—говоритъ князь,—было его francparler, въ хвостъ и въ голову. Цензура, дѣйствуя на него, какъ на прочихъ, показала бы ничтожество его, ибо онъ бралъ не талантомъ, а грудью. Запрещеніемъ онъ въ глазахъ многихъ дѣлается жертвою, и во всякомъ случаѣ заплатившіе подписчики его становятся жертвами. Теперь я полагаю, что онъ молитъ Бога, чтобы запретили *Исторію* его: это было бы лучшее средство для него поквитаться съ публикою».

Чувства автора этихъ строкъ вполнѣ опредѣленны, но основанія не вполнѣ ясны и совершенно недоказательны. Вопросъ объ издательской лояльности Полевого долженъ бы остаться постороннимъ при сужденіяхъ о катастрофѣ, поразившей журналиста. Оцѣнка талантливости Полевого не зависитъ отъ настроеній его личныхъ недруговъ, но вотъ относительно «груди» кн. Вяземскій обмолвился вѣрнымъ словомъ, неожиданно лестнымъ для своей жертвы.

Полевой дѣйствительно умѣлъ при случаѣ постоять за себя передъ цензурой — дерзость, немыслимая для его журнальныхъ совмѣстниковъ.

Поучительна, напримѣръ, исторія съ статьей *Утро у знатнаго барина князя Беззубова*. Цензура усмотрѣла въ ней намекъ на московскаго сановника, кн. Юсупова. Цензоръ Глинка потребовалъ нѣкоторыхъ передѣлокъ въ статьѣ; Полевой отвѣчалъ, что онъ не намѣренъ исключать ни одной буквы, и цензоръ пропустилъ статью [236]).

Это дѣйствительно значило стоять грудью за свое дѣло... Но сужденія кн. Вяземскаго до такой степени очевидный результатъ извѣстныхъ настроеній, что они характерны скорѣе для судьи, чѣмъ для подсудимаго.

Сложнѣе вопросъ съ Пушкинымъ.

Поэтъ сообщаетъ въ своемъ дневникѣ прежде всего о радости Жуковскаго запрещенію *Телеграфа*. Но прекраснодушный поэтъ въ то же время жалѣетъ о фактѣ. Пушкинъ думаетъ иначе. «*Телеграфъ* достоинъ былъ участи своей. Мудрено съ большей наглостью проповѣдывать якобинизмъ передъ носомъ правительства. Но Полевой былъ баловень полиціи. Онъ умѣлъ увѣрить ее, что его либерализмъ пустая только маска».

---

[236]) Барсуковъ. III, 21.

Это очень сильно и именно противъ либерализма.

Источникъ намъ извѣстенъ. Пушкинъ, какъ публицистъ, не могъ выносить демократическихъ выходокъ Полевого. Его идеалъ складывался въ совершенно противоположномъ направленіи, чѣмъ гимны Полевого среднему сословію, купцу, черному человѣку.

Пушкинъ желалъ въ дворянствѣ видѣть высшую общественную силу, возлагалъ на него историческое назначеніе—быть представителемъ народныхъ нуждъ и народнаго просвѣщенія. Отсюда—идея сословной независимости дворянства и отрицательная критика всѣхъ мѣропріятій правительства, подрывавшихъ привилегированное положеніе родоваго дворянства. Петръ I, конечно, стоялъ во главѣ этой «революціи», слилъ въ своей личности Наполеона и Робеспьера [237]).

Въ основѣ всѣхъ этихъ крайне смѣлыхъ и вдохновенныхъ соображеній лежала политическая мечта, близко напоминающая философію реакціонныхъ идеологовъ начала XIX-го вѣка—Деместра и Бональда.

Они также вожделѣли о дворянствѣ, какъ независимой основѣ государственнаго строя, фантазировали о «патриціатѣ», нигдѣ никогда не существовавшемъ и безусловно невозможномъ въ дѣйствительности, о патриціатѣ, свободномъ отъ кастоваго эгоизма и сословныхъ предразсудковъ, патриціатѣ, всецѣло живущемъ идеалами общаго блага и стоящемъ на стражѣ народнаго благоденствія.

Разница между Пушкинымъ и французскими пророками регресса въ искренней заботливости русскаго поэта о крѣпостномъ народѣ. Онъ до идей дворянскаго государственнаго авторитета дошелъ не путемъ тоски по «старому порядку», а руководимый глубокимъ чувствомъ состраданія къ участи жертвъ крѣпостническаго своеволія. Иного способа исцѣлить вѣковую язву Пушкинъ не видѣлъ въ окружающей жизни.

Изъ того же стремленія родилась и программа Пушкина издавать политическую руководящую газету. Но поэтъ скоро испыталъ во всей прелести тернія даже журнальныхъ замысловъ, не только уже осуществленнаго издательства, и на своей судьбѣ могъ убѣдиться, какъ просто было, въ глазахъ полиціи и цензуры тридцатыхъ годовъ, попадать въ якобинцы или, во всякомъ случаѣ, въ люди неблагонадежные и бунтовщики.

---

[237]) Ср. Анненковъ. *Общественные идеалы А. С. Пушкина. Воспоминанія и критическіе очерки*, отдѣлъ третій. Спб., 1881.

Намъ теперь ясна основная *идейная* причина негодованія Пушкина на Полевого и радость по случаю гибели *Телеграфа.* Оказывалось столкновеніе двухъ непримиримыхъ политическихъ міросозерцаній, и намъ излишне пускаться въ объясненія, какому изъ нихъ принадлежало будущее и какое, слѣдовательно, обнаруживало въ авторѣ болѣе глубокій практическій смыслъ.

Пушкинъ долго не забывалъ «востренькаго сидѣльца», какъ врага «боярскихъ дѣтокъ», и безумно запальчиваго демократическаго и либеральнаго агитатора. Въ статьѣ о Радищевѣ, написанной въ 1836 году, Пушкинъ совершенно порываетъ съ своими юношескими чувствами къ автору *Путешествія изъ Петербурга въ Москву.* Тринадцать лѣтъ назадъ онъ жестоко укорялъ Марлинскаго за то, что онъ забылъ въ обзорѣ русской словесности Радищева. Тотъ же грѣхъ допустилъ и Гречъ въ «Опытѣ исторіи русской литературы».

«Кого же мы будемъ помнить?—спрашиваетъ Пушкинъ.—Это молчаніе непростительно ни тебѣ, ни Гречу: я отъ тебя его не ожидалъ» [238]).

Теперь Радищевъ просто крайне неискусный подражатель французскихъ философовъ XVIII вѣка.

Пушкину особенно не нравится у Радищева «слѣпое пристрастіе къ новизнѣ» и недостатокъ опыта и свѣдѣній. Дальше читаемъ:

«Отымите у него честность,— въ остаткѣ будетъ Полевой. Онъ какъ будто старается раздражить верховную власть своимъ горькимъ злорѣчіемъ: не лучше ли было бы указать на благо, которое она въ состояніи сотворить? Онъ поноситъ власть господъ, какъ явное беззаконіе: не лучше ли было представить правительству и умнымъ помѣщикамъ способы къ постепенному улучшенію состоянія крестьянъ?»

Въ такомъ духѣ долго продолжаетъ Пушкинъ. Онъ недоволенъ и войной Радищева съ цензурой: слѣдовало просто «публиковать о правилахъ, коими долженъ руководствоваться законодатель»..

Смыслъ этихъ поправокъ ясенъ. Пушкинъ искренне воображалъ, что Радищева или кого-либо другого изъ литераторовъ допустили бы дѣлать указанія верховной власти и сочинять проекты касательно основныхъ государственныхъ вопросовъ. Почему же тогда для самого Пушкина эта цѣль оказалась запретной, при всѣхъ красно-

---

[238]) *Сочиненія.* VIII, 50.

рѣчивыхъ свидѣтельствахъ поэта о своемъ укрощенномъ духѣ и о благихъ намѣреніяхъ служить правительству талантомъ писателя?

Очевидно, вся критика Пушкина, направленная и противъ Радищева, и противъ Полевого, явилась результатомъ совершенно естественныхъ запросовъ къ литературѣ по части зрѣлости сужденій и основательности свѣдѣній. Но только эти запросы были столь же не ко двору и могли привести къ не менѣе печальнымъ практическимъ результатамъ, чѣмъ, по мнѣнію Пушкина, безцѣльная и безразсудная запальчивость Полевого.

А между тѣмъ, эта запальчивость въ сущности обманъ зрѣнія. Полевой просто обладалъ несравненно болѣе живымъ публицистическимъ талантомъ, чѣмъ современные ему журналисты. Бойкости пера было не мало и въ статьяхъ Булгарина и Сенковскаго, но цѣли этихъ журналистовъ отъ начала до конца оставались такими мелкими, часто пошлыми, что рядомъ съ дѣятельностью подобныхъ журналистовъ дѣйствительно общественно-просвѣтительная публицистика Полевого рѣзко бросалась въ глаза. Все несчастье *Телеграфа* заключалось именно въ неуклонномъ стремленіи жить насущными запросами современности и по мѣрѣ силъ рѣшать ихъ независимо отъ оффиціальныхъ внушеній и усмотрѣній.

Полевой первый изъ русскихъ издателей додумался до идеи руководящаго *общественнаго* органа, первый возмечталъ въ талантѣ журналиста явить практическую силу и въ русскомъ обществѣ открыть самостоятельныя идейныя теченія. Уже такое представленіе о назначеніи журналиста и періодической печати ставитъ Полевого на недосягаемую высоту сравнительно съ Каченовскими, Надеждиными, Гречами и даже съ критиками-философами. Потому что издатель *Телеграфа* не только мечталъ, но умѣлъ и осуществлять свои мечтанія. Съ его имени русская періодическая печать должна начинать свою исторію общественныхъ идеаловъ и общественнаго просвѣщенія. А именно этой исторіи принадлежитъ самое отдаленное будущее, и Бѣлинскій, отмѣчая именемъ Полевого эпоху въ развитіи русскаго самосознанія, отдалъ законную честь своему непосредственному предшественнику и истинному учителю.

Конецъ II-й части.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ

VII-й г. изд. **МІРЪ БОЖІЙ.** VII-й г. изд.

Выходитъ 1-го числа каждаго мѣсяца въ размѣрѣ отъ 25 до 27 печ. листовъ.

Въ 1898 году журналъ будетъ издаваться по той же программѣ и при томъ же составѣ редакціи и сотрудниковъ, причемъ для напечатанія предполагается, между прочимъ, слѣдующее:

Беллетристика. «Два счастья», романъ **И. Потапенка**; «Равнодушные», романъ **К. Станюковича**; разсказы **Ив. Бунина**, **В. Немировича-Данченка**, **Ю. Безродной**; «Христіанинъ», **Холлъ Кена**, романъ, перев. съ англ.; «Оводъ», **Войничъ** романъ, перев. съ англ.; «Пасынокъ вѣка», ром., перев. съ финск. «Новый Тангейзеръ», ром., перев., съ шведск.

Научныя сочиненія и статьи: «Страна чудесъ на рѣкѣ Еловстонѣ» проф. **А. Павлова**; «Физіологія растеній и раціональное земледѣліе», проф. **Тимирязева**; «Юліусъ Саксъ» (критико-біографическій очеркъ), проф. **Тимирязева**; «Самокалѣченіе и борьба за существованіе у животныхъ», проф. **Фаусека**; «Очерки общественной гигіены и государственнаго врачебновѣдѣнія», проф. **Н. А. Вельяминова**; «Рудольфъ Вирховъ», монографія д-ра **Ю. Г. Макса**; «Популярные обзоры успѣховъ біологіи и медицины», академика **И. Р. Тарханова**; «Очерки по исторіи роскоши», «Исторія классической системы въ Германіи», **Н. Сперанскаго**; «Исторія русской критики», ч. III. отъ Бѣлинскаго до Писарева включительно, **Ив. Иванова**; «Изъ дневника **Н. В. Шелгунова**», извлеченія изъ переписки и дневника; «Адамъ Мицкевичъ» (къ столѣтней годовщинѣ рожденія). «Капитализація земледѣльческой промышленности» **Людвига Крживицкаго**; «Современное естествознаніе и психологія», академика **А. С. Фаминцына**; «Методы изслѣдованія въ современной психологіи», проф **Г. И. Челпанова**; «Спиноза и его міросозерцаніе», популярный очеркъ канд. философ. **Б. Вельбека**; «Забытый утопистъ». **С. Аполлова**; «Въ домѣ народа»; «Культура и народное хозяйство Финляндіи», **В. Фирсова**; «Общественныя увеселенія въ Америкѣ», **П. Тверского**; «Положеніе труда въ Лондонѣ», **Л. Давыдовой**; «Пищеснабженія деревни въ Россіи», **С. Сперанскаго**; «Сравнительная литература», **Макслей-Поснета**, перев. съ англ. **Л. Давыдовой**; «Основы этики», **Мэккензи**, перев. съ англ. подъ редак. проф. **Г. И. Челпанова**; «Чудеса воздуха» очерки по метеорологіи, перев. съ франц. **В. Агафонова**.

Постоянные отдѣлы: 1. **Научное Обозрѣніе.** Дополненіемъ къ этому отдѣлу должны служить «ТЕКУЩІЯ НАУЧНЫЯ НОВОСТИ». Въ отдѣлѣ НАУЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ обѣщали принять участіе господа: В. К. Агафоновъ и лекторъ берлинской «Ураніи» Н. Bürgel; профессора: Павловъ, Тархановъ, Тимирязевъ, Хвольсонъ, Холодковскій, Челпановъ и Фаусекъ. 2. **Критическія замѣтки.** Очерки болѣе или менѣе выдающихся произведеній русской и переводной литературы. 3. **Изъ западной культуры.** Критическій разборъ выдающихся иностранныхъ произведеній. 4. НА РОДИНѢ. Свѣдѣнія о различныхъ сторонахъ русской жизни. 5. ЗАГРАНИЦЕЙ. ИЗЪ ИНОСТРАННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ. 6. **Библіографія.** Рецензіи о русскихъ и иностранныхъ книгахъ. НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи на годъ—8 руб. Безъ доставки на годъ—7 руб. За границу на годъ—10 руб. Вмѣсто разсрочки допускается подписка: **По полугодіямъ:** Съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи на полгода 4 р. За границу 5 р. Безъ доставки по соглашенію съ конторой. **По третямъ года:** Съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи: въ январѣ—3 р., въ маѣ—3 р., въ сентябрѣ—2 р., За границу: въ январѣ—4 р., въ маѣ—3 р., въ сентябрѣ—3 р. Адресъ: С.-Петербургъ Лиговка 25.

Подписавшіеся **НА ПОЛГОДА ИЛИ НА ТРЕТЬ ГОДА** продолжаютъ подписку **безъ повышенія** подписной цѣны.

Уступки съ подписной цѣны никому не дѣлается.

Издательница А. Давыдова. Редакторъ **Викторъ Острогорскій.**

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII-го вѣка. Москва. 1895 г. Цѣна 3 руб. 50 коп.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь. — Личность. — Творчество. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 2 руб.

Шекспиръ. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 25 коп.

Писемскій. С.-Петербургъ. 1897 г. Цѣна 1 руб.

Учитель взрослыхъ и другъ дѣтей. (Бичеръ-Стоу). Москва. 1898 г. Цѣна 30 коп.

Ivanov, Ivan Ivanovich
Istoriia russkoi kritiki